

В. М. Дорошевичъ.

538
319

Сахалинъ.

I. Каторга.

Т 1-2

Со многими рисунками.



Типографія Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая улица, свой домъ.
МОСКВА. — 1907.

Государственная
библиотека СССР
им. В. И. Ленина

44259-48



2007054121

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Татарскій проливъ. — Климатъ. — Природа. — Сѣверный, средний и южный Сахалинъ. — Сахалинская дорога. — Островъ-тюрьма.

Это было 16 апрѣля.

Дулъ порывистый, холодный, пронизывающій нордъ-вестъ, парохдь валяло съ бока на бокъ.

Я стоялъ на верхней палубѣ и всматривался въ открывающіеся суровые, негостепріимные, скалистые, покрытые еще снѣгомъ берега.

Первое впечатлѣніе было безотрадное, тяжелое, гнетущее.

Словно какое-то чудовище, съ покрытой буграми спиной, вытянулось, замерло и выжидаетъ добычи.

— Вонъ мѣсто, гдѣ погибла „Кострома“, — указываетъ мнѣ капитанъ.

Я спускаюсь на нижнюю палубу.

Около иллюминаторовъ на палубѣ смѣняются лица арестантовъ.

Смотрятъ, вглядываются въ берега острова, гдѣ придется кончать свой вѣкъ.

Замѣчанія краткія, мрачныя:

— Сакалинъ!

— Зима еще!

— Дай поглядѣть!

— Не на что и глядѣть. Все подъ снѣгомъ.

Качка усиливается. Мы идемъ Лаперузовымъ проливомъ.

Наѣво—Крильонскій маякъ. Направо—кипятъ и пѣнятся валуны, покрывая „Камень Опасности“. Впереди надвигается полоса льда. Лдины застилаютъ весь горизонтъ.

Право, это звучитъ горькой насмѣшкой.

Провезти людей чуть не кругомъ свѣта. Показать имъ мелькомъ уголокъ земного рая—пышный, цвѣтущій Цейлонъ, дать „взглянуть

однимъ глазомъ“ на Сингапуръ, этотъ роскошный, этотъ дивный этотъ сказочный садъ, что разросся въ полутора градусахъ отъ экватора, дать полюбоваться на чудные, живописные берега Японіи, при входѣ въ Нагасаки,—на берега, отъ которыхъ глазъ не оторвешь, для того, чтобы привезти послѣ всего этого къ скалистымъ, суровымъ берегамъ, покрытымъ снѣгами въ половинѣ апрѣля, въ эту страну пурги, штормовъ, тумановъ, льдинъ, вьюгъ и сказать:

— Живите!

Сахалинъ...

— „Кругомъ — вода, а въ срединѣ — бѣда!“ „Кругомъ — море, а въ срединѣ — горе!“ — какъ зовутъ его каторжные.

— Островъ отчаянія. Островъ безправія. Мертвый островъ! — какъ называютъ его служащіе на Сахалинѣ.

Островъ — тюрьма.

Если вы взглянете на карту Ази, то увидите въ правомъ уголкѣ вытянувшееся вдоль берега, дѣйствительно, что-то похожее на чудовище, раскрывшее пасть и словно готовое проглотить лежащій напротивъ Мацмай.

И крутыя паденья угольныхъ пластовъ и загадочныя, ломаныя линіи обнаженныхъ слоевъ угольнаго сланца,—все говоритъ, что здѣсь происходила когда-то великая революція.

Извивалась спина „чудовища“. Гигантскими волнами колебалась земля. Волны шли съ сѣверо-востока на юго-западъ.

Не даромъ сахалинскія горы похожи, дѣйствительно, на огромныя застывшія волны, а долины,—или „пади“, какъ ихъ здѣсь называютъ по-сибирски,—напоминаютъ собою пропасти, что разверзаются между волнами во время урагана.

Ураганъ конченъ. Чудовище стихло и лишь по временамъ слегка вздрагиваетъ, — то тамъ, то здѣсь.

Это — островъ-нелюдимъ.

Онъ отдѣленъ отъ земли Татарскимъ проливомъ, самымъ вспыльчивымъ, самымъ буйнымъ, своенравнымъ, злымъ проливомъ въ мірѣ.

Проливомъ, гдѣ зимой зги не видно въ снѣжной пургѣ, а лѣтомъ штормы смѣняются густыми туманами, настолько густыми, что среди этой бѣлой пелены еле мерещится верхушка мачты собственнаго парохода.

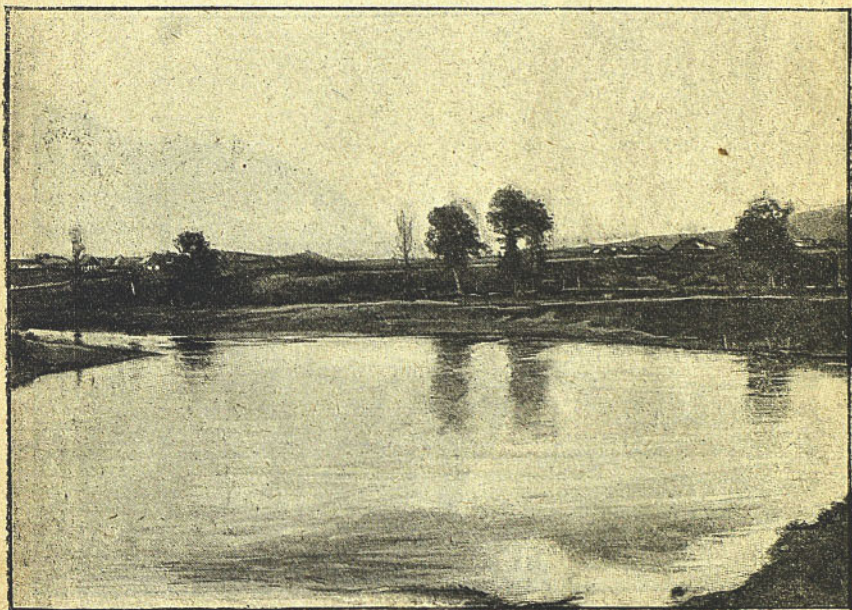
Идя этимъ проливомъ, штурманскому офицеру приходится спать урывками, по четверти часа, не раздвываясь.

Здѣсь штиль смѣняется свирѣлымъ штормомъ въ пять, десять минутъ.

Полный штиль, — вдругъ засвиство въ снастяхъ, — поднимай, а то и руби якоря и уходи въ море, если не хочешь быть вдребезги разбитымъ о камни.

Здѣсь море — предатель, а берегъ — не другъ, а врагъ моряка. Здѣсь надо бояться и моря и земли.

Сахалинъ не любить, чтобы останавливались у его крутыхъ, обрывистыхъ, скалистыхъ береговъ. На всемъ западномъ побережьѣ ни одного рейда. Дно — гладкая и ровная плита, на которой васъ не удержать въ штормъ ни одинъ якорь.



Видъ на Сахалинѣ.

И сколько пароходовъ пошло ко дну, похоронено въ этомъ проливѣ!

Сахалинъ — суровый и холодный островъ.

Его скалистый берегъ лижетъ холодное сѣверное теченіе, въ незапамятныя времена прорвавшееся Татарскимъ проливомъ.

Здѣсь суровая, лютая зима. Здѣсь недѣлями продолжается пурга, крутить огромныя снѣжныя смерчи, по крышу засыпаетъ дома.

Здѣсь безрадостная зима похожа на осень.

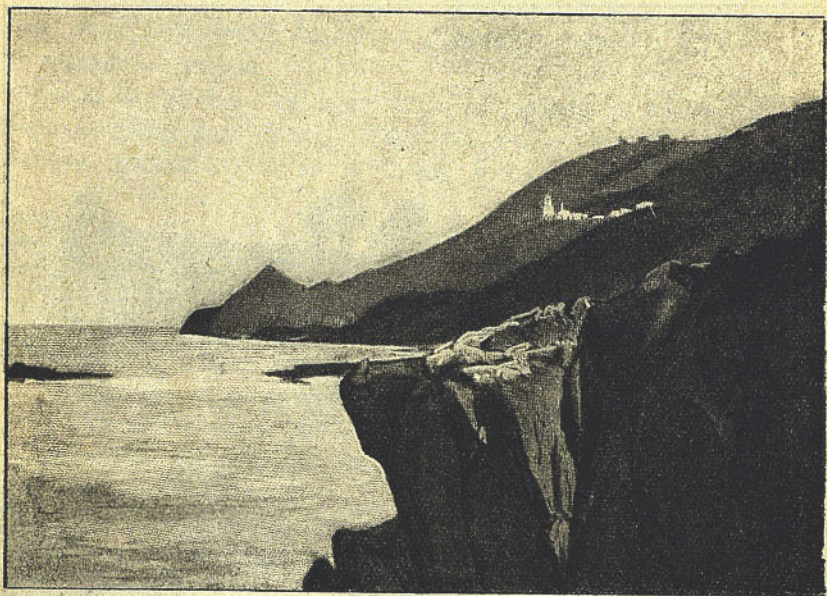
Короткое, холодное, туманное лѣто.

И только осень еще похожа на что-нибудь.

20 мая я приѣхалъ въ Оноръ,—дальнее поселѣ въ самомъ центрѣ острова,—а 21, проснувшись утромъ, увидалъ ясное, свѣжее, прекрасное зимнее утро.

За ночь выпалъ снѣгъ. Снѣжная пелена, въ полъ-аршина, покрывала все,—крыши и землю, тюрьму и поселѣ. Снѣгъ продержался два дня и сошелъ только 23 мая. Вотъ то, что называется на Сахалинѣ „климатомъ“.

Извилистая спина „чудовища“, словно дыбомъ вставшими иглами, покрыта густой хвойной тайгой.



Мысь Жонкьеръ.

Высокій, обрывистый, отвѣсный, неприступный берегъ, по которому зигзагами идутъ желтые пласты глины, дымчатые—угольного сланца, бѣлые—песчаника. Кое-гдѣ проступаетъ ржавчина желѣзной руды.

А наверху—тайга.

Ели и сосны, оголенные, совсѣмъ лишенныя вѣтвей съ наветренной стороны. Онѣ растутъ въ одну сторону. Вершины сосенъ вытянулись по вѣтру, словно дымъ отъ пароходной трубы. Словно эти великаны-деревья, вытянувъ руки, бѣгутъ отъ этого ужаснаго берега, отъ этого суроваго, холоднаго жестокаго моря и вѣтра.

Заберемтесь вглубь.

Мертвая тишина. Только валежникъ хруститъ подъ ногами. Остановишься,—и ни звука. Ни птичьей пѣсни ни писка...

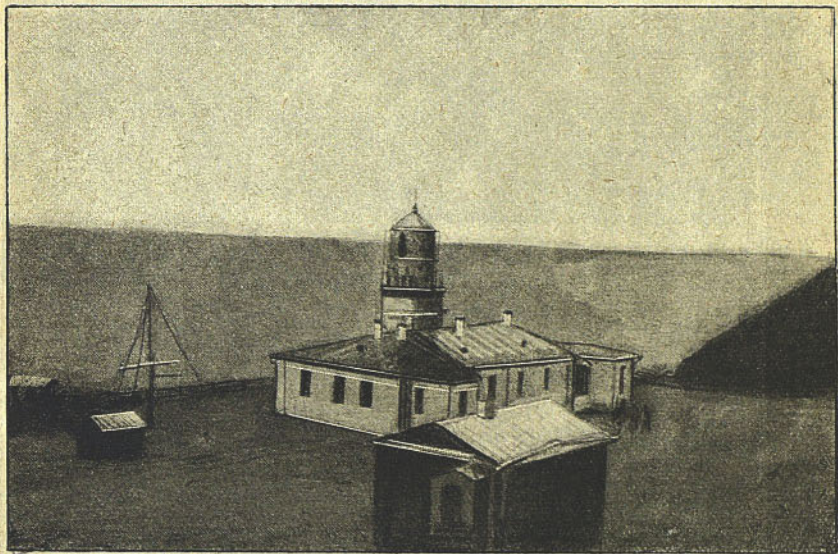
Жутко становится, какъ въ пустой церкви.

Молчанье сахалинской тайги—это тишина заброшеннаго, оставленнаго храма, подъ сводами котораго никогда не раздается шопота молитвы.

Глубже въ эту страну вѣчнаго молчанія.

Вотъ ужъ и свѣта не видно. Тьма кругомъ.

Словно огромный баобабъ стоитъ на своихъ десяткахъ стволовъ.



Маякъ на мысѣ Жонкьерѣ около поста Александровскаго.

Эго вѣтеръ сбиль вершины сосенъ въ одну огромную шапку, скотилъ ихъ вѣтви и иглы. Образовалась плотная крыша, по которой, кажется, можно ходить!

Здѣсь давить. Здѣсь тяжело.

Здѣсь тяжело даже деревьямъ. Здѣсь больны даже эти гиганты. Ихъ стволы искривлены огромными болѣзненными наплывами.

Вотъ вамъ картина природы сѣвернаго Сахалина.

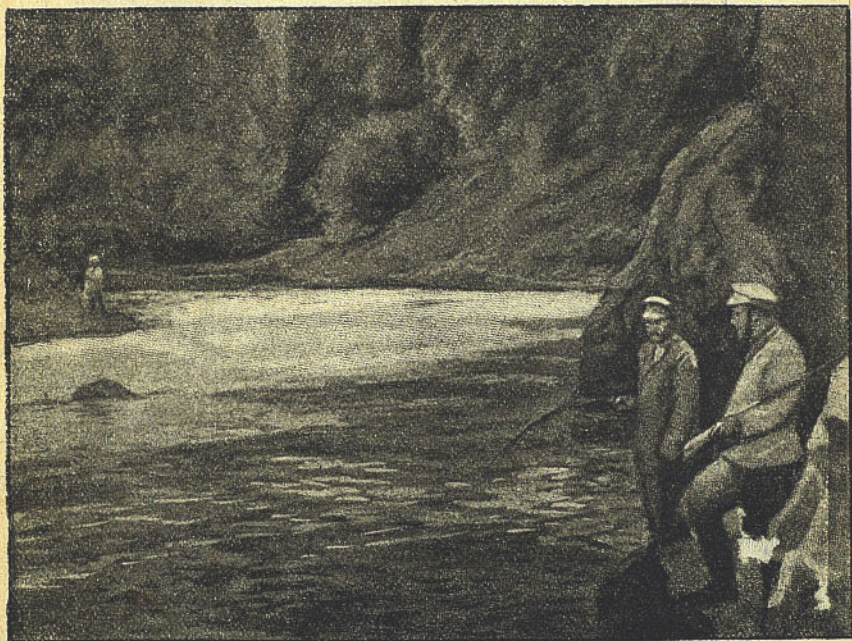
30 лѣтъ тому назадъ здѣсь бродили медвѣди да гиляки,—жалкіе, несчастные дикари, врядъ ли въ умственномъ и нравственномъ отношеніи стоящіе многимъ выше своихъ товарищей по тайгѣ.

Не даромъ же гиляки вѣрятъ, что у медвѣдя такая же точно душа, какъ у гиляка, что душа медвѣдя точно такъ же идетъ послѣ

смерти къ „хозяйну“, богу тайги, жалуется ему на гиляковъ, и хозяинъ судить ихъ какъ равныхъ. Что медвѣдь даже „женать на гилячкѣ“! До того эти жалкіе дикари ставятъ знаки духовнаго равенства между собой и медвѣдями.

Теперь въ этой странѣ медвѣдей и гиляковъ кое-гдѣ разбросаны поселя.

Жалкія, типичныя сахалинскія поселя.



Природа Сахалина. Рѣка Агнева.

Дома для „правовъ“, построенные только для того, чтобы имѣть право получить крестьянство, брошенные, разоренные, полуразрушившіеся.

И здѣсь ни звука. То же вѣчное молчаніе.

— Да есть ли живой человѣкъ?

Въ двухъ-трехъ домахъ еще живутъ. Остальные—пустые.

— Ну, что? Какъ живете?

— Какая ужъ жизнь? Маемся.

— Садите, съете что?

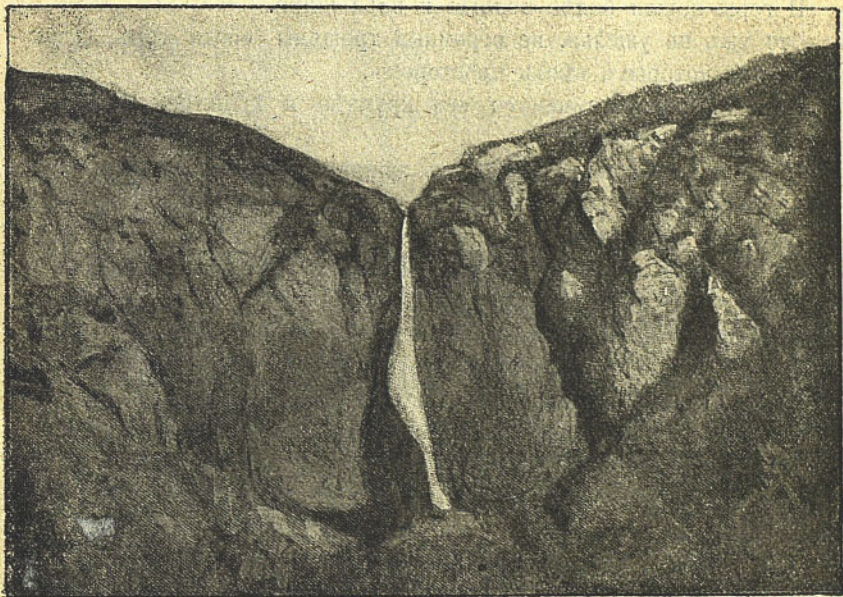
— Что здѣсь растеть! Одна картошка да и то съ грѣхомъ пополамъ.

Живутъ молча, угрюмо, каждый уйдя, замкнувшись въ себя, тоскливо выжидая, когда кончится срокъ поселенья, можно будетъ получить крестьянство и уйти „на материкъ“.

Дальше, дальше отъ этой безотрадной стороны.

Тараторять, заливаются, стонуть звонки подь дугой.

Тройка низкорослыхъ, приземистыхъ, коренастыхъ, крѣпкихъ, выносливыхъ, быстрыхъ сахалинскихъ лошадей съ горки на горку, изъ пади въ падь, несетъ насъ вдоль острова къ югу.



Природа Сахалина. Водопадъ (на сѣверѣ Сахалина) между постами Дуэ и Александровскомъ.

— Вотъ здѣсь застрѣлили Казеева (одинъ изъ убійцъ Арцимовичей),—показываетъ вамъ ямщикъ.—Здѣсь въ пургу занесло снѣгомъ женщину съ ребенкомъ... Сюда я аномедни возилъ доктора—поселенца съ дерева снимали... Повѣсился... Здѣсь въ прошломъ году зарѣзали поселенца Лаврова...

Обычная сахалинская дорога.

Картина природы мѣняется.

Безотрадная сѣверная сахалинская сосна и ель уступаютъ мѣсто веселой, привѣтливой лиственницѣ, начинающей уже покрываться своей мягкой, нѣжною, пахучею хвоей. Кое-гдѣ попадетсѣ невысокій кедръ.

Забѣлѣли мѣстами березовыя рощицы. Березы еще не собираются распускаться, но ихъ бѣленькіе стволы такъ весело, нарядно, чистенько выглядятъ послѣ суровой темно-зеленой одежды хвойнаго лѣса.

Ива, гибкая и плакучая, наклонилась надъ рѣчкой, словно хочетъ разсмотрѣть что-то въ ея быстрыхъ струяхъ.

По оврагамъ еще лежитъ снѣгъ, а по холмамъ, гдѣ пригрѣваетъ солнышко, ужъ пышно распустился лопухъ.

И горы пошли болѣе пологія и пади шире.

Это ужъ не ущелья, не огромныя трещины среди горъ, а равнины, отъ которыхъ вѣетъ просторомъ.

И поселенья встрѣчаются все крупнѣе и крупнѣе. Величиной въ хорошее торговое село.

И чаще на вопросъ: „ну, какъ живете?“—слышится отвѣтъ:

— Живемъ кое-какъ. Лѣто только больно коротенько.

По пути попадаютъ волы, запряженные въ плугъ.

Въ каждомъ селеньѣ найдете двоихъ, троихъ, а то и больше, зажиточныхъ хозяевъ.

Это Тымовскій округъ,—картина средняго Сахалина.

Дальше начинается тундра,—„трунда“, какъ ее зовутъ сахалинцы.

Колеса вязнуть, еле ворочаются въ торфяной массѣ.

Ямщикъ слѣзъ и идетъ рядомъ, чтобы легче было лошадямъ.

Двигаемся еле-еле. Отъ лошадей валить паръ.

Пахнетъ верескомъ. Отъ его удушливаго, тяжелаго запаха, похожего на запахъ кипариса, начинается болѣть голова.

Вся тундра сплошь покрыта его красными кустиками. Словно кровь застеклась.

Тундра и тайга. И снова ни звука. Только дятель простучить да кукушка прокукуетъ вдали.

Тоска, ноющая, щемящая, забирается въ душу. Чѣмъ-то безотраднымъ вѣетъ кругомъ.

И не вѣрится даже, что гдѣ-то на свѣтѣ есть Италія, голубое небо, горячее солнце, что есть на свѣтѣ и пѣсня и смѣхъ... И все, что приходилось видѣть раньше,—все это кажется такимъ далекимъ, словно происходило гдѣ-то на другой планетѣ,—кажется сномъ, невѣроятнымъ, несбыточнымъ.

Океанъ тундры и тайги. И въ этомъ океанѣ, какъ крошечныя островки,—кусочки твердой земли. На этихъ островкахъ прилѣпились было поселья. Люди попробовали жить, побороться,—не смогли и ушли.

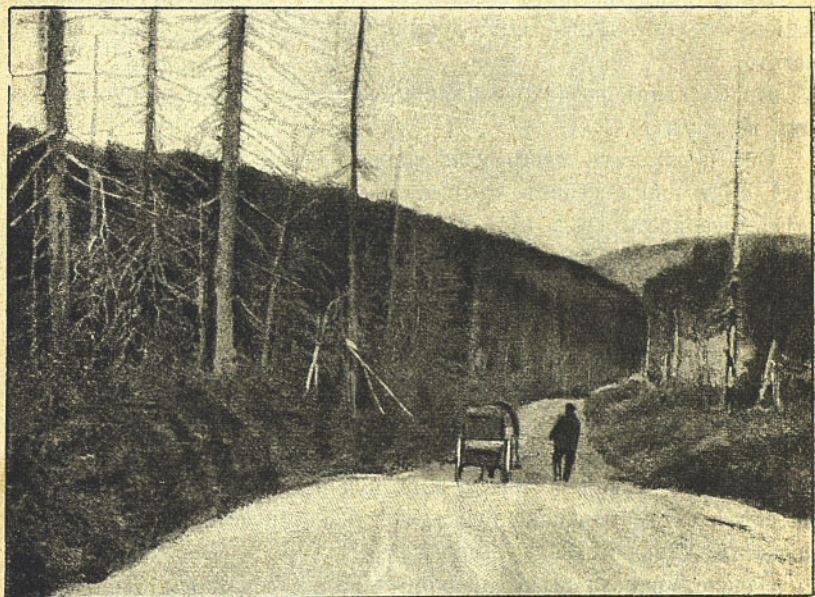
Унылыя, брошенныя поселья. Такъ до Онора.

А дальше ужь совсѣмъ идти тош, трясина, по которой еще проѣзжаютъ на собакахъ зимой и нѣтъ возможности пробраться лѣтомъ...

За этой полосой начинается Корсаковский округъ,—южный Сахалинъ.

Разнообразіе лиственныхъ древесныхъ породъ. Климатъ сравнительно мягче.

Здѣсь все же легче дышится, живется.



Природа Сахалина. Просѣка въ тайгѣ.

Если вы взглянете на подобную карту, весь югъ Сахалина испещренъ черными точками,—все поселѣя. Здѣсь все-таки можно стать ногой на твердую почву.

Здѣсь трудъ тяжелый—немножко окупается.

Здѣсь ужь ранняя весна.

Тянуть вереницами на сѣверъ красавцы-лебеди.

Бѣлая полоса тянется по морю версты на двѣ отъ берега, словно молочная рѣка, — идетъ, трется въ водоросляхъ, и мечетъ икру сельдь.

Птицы свистать и перекликаются въ тайгѣ.

Здѣсь все-таки жизнь, все-таки солнце, все-таки свѣтъ.

Вотъ вамъ картины Сахалина.

Здѣсь воздухъ напоенъ тяжелыми вздохами. Здѣсь въ ночномъ крикѣ птицы чудится стонъ. Здѣсь много пролито крови этими несчастными, которые рѣжутъ другъ друга изъ-за грошей.

Здѣсь что ни уломокъ—то страшное воспоминаніе.

Здѣсь все дышитъ страданьемъ. Здѣсь много было преступленья и труда.

Здѣсь все нужно взять съ боя. Сахалинская почва ничего не родить, если на нее не капнуть потъ и слеза.

Въ глубинѣ Сахалина таится много богатствъ. Могучіе пласты каменнаго угля. Есть нефть. Должно быть желѣзо. Говорятъ, есть и золото.

Но Сахалинъ ревниво бережетъ свои богатства, крѣпко зажалъ ихъ и держитъ.

Онъ прекратитъ вашъ путь непроходимой тайгой, онъ утопитъ васъ въ трясинѣ своихъ тундръ. Желѣзомъ и огнемъ приходится здѣсь пробивать себѣ путь человѣку, потомъ, кровью и слезами сдабривать почву, половину жизни отдавать на то, чтобъ другую половину прожить хоть чуть-чуть сносно.

Вотъ что такое этотъ островъ-тюрьма.

Природа создала его въ минуту злобы, когда ей захотѣлось создать именно тюрьму, а не что-нибудь другое.

Трудно представить себѣ лучшія тюремныя стѣны, чѣмъ Татарскій и Лаперузовъ проливы.

Правда, бѣгаютъ и черезъ тотъ и черезъ другой. Но развѣ есть на свѣтѣ такая тюремная стѣна, черезъ которую не перешагнулъ бы человѣкъ, ставящій волю выше жизни!

Однако, природа была слишкомъ жестока, создавая этотъ островъ-тюрьму.

Итти въ ясную погоду по берегу постылаго острова и ясно видѣть черезъ проливъ противоположный берегъ, который дразнить и манить, уходя вдаль своими голубоватыми очертаніями!

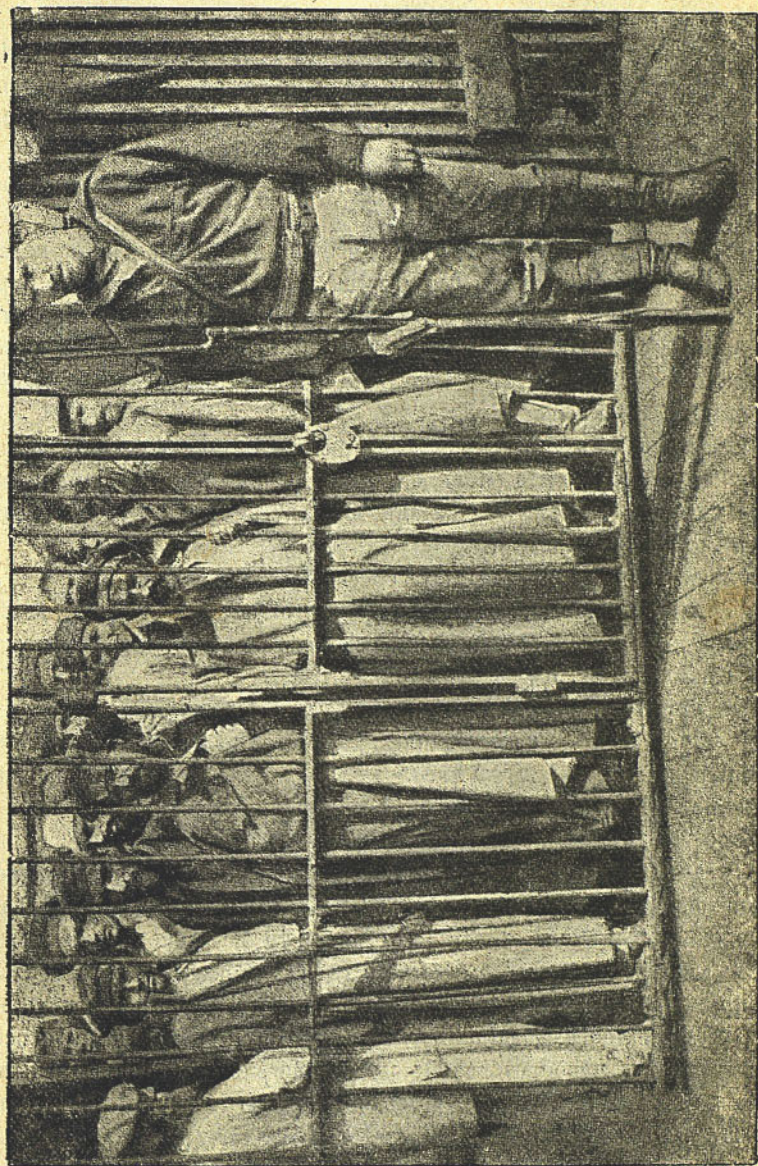
Сознавать, что это такъ близко и такъ недостижимо.

Какую муку создала сама природа!

Первыя впечатлѣнія.

Первое впечатлѣніе всегда самое сильное.

И, конечно, я никогда не забуду минуты, когда я раннимъ утромъ, на зыбкомъ, съ бока на бокъ переваливающемся паровомъ катерѣ, подѣвжалъ къ пристани Корсаковского поста.



Ссылно-каторжные на пароходъ Добровольнаго флота.

На берегу копошились люди.

Еще нѣсколько шаговъ,—и я погружаюсь въ это море, которое мнѣ такъ страстно, такъ мучительно хочется знать.

Море чего?

Странное дѣло, отъ двухъ впечатлѣній я никакъ не могъ отдѣлаться въ теченіе трехъ съ половиной мѣсяцевъ, которые я провелъ среди тюремной обстановки. Два впечатлѣнія давили, гнели, свинцомъ лежали на душѣ. Давать и гнетутъ еще и теперь.

Одно изъ нихъ касается, собственно, самого пути до Сахалина.

Я никакъ не могъ отдѣлаться отъ этого сравненія. Нашъ пароходъ, везшій каторжниковъ изъ Одессы, казался мнѣ огромной баржей, какія обыкновенно употребляются въ приморскихъ городахъ для вывозки въ море отбросовъ. А эти, сбѣжавшіе на берегу сахалинскіе „посты“ и поселья, казались мнѣ просто-напросто колоссальными мѣстами свалокъ.

И тяжело становилось на душѣ при мысли о томъ, что тамъ, внизу, въ тюрьмѣ, подъ вашими ногами, что рядомъ съ вами окончательно перегниваетъ все человѣческое, что еще осталось среди этихъ „отбросовъ“.

Второе впечатлѣніе касается, собственно, Сахалина.

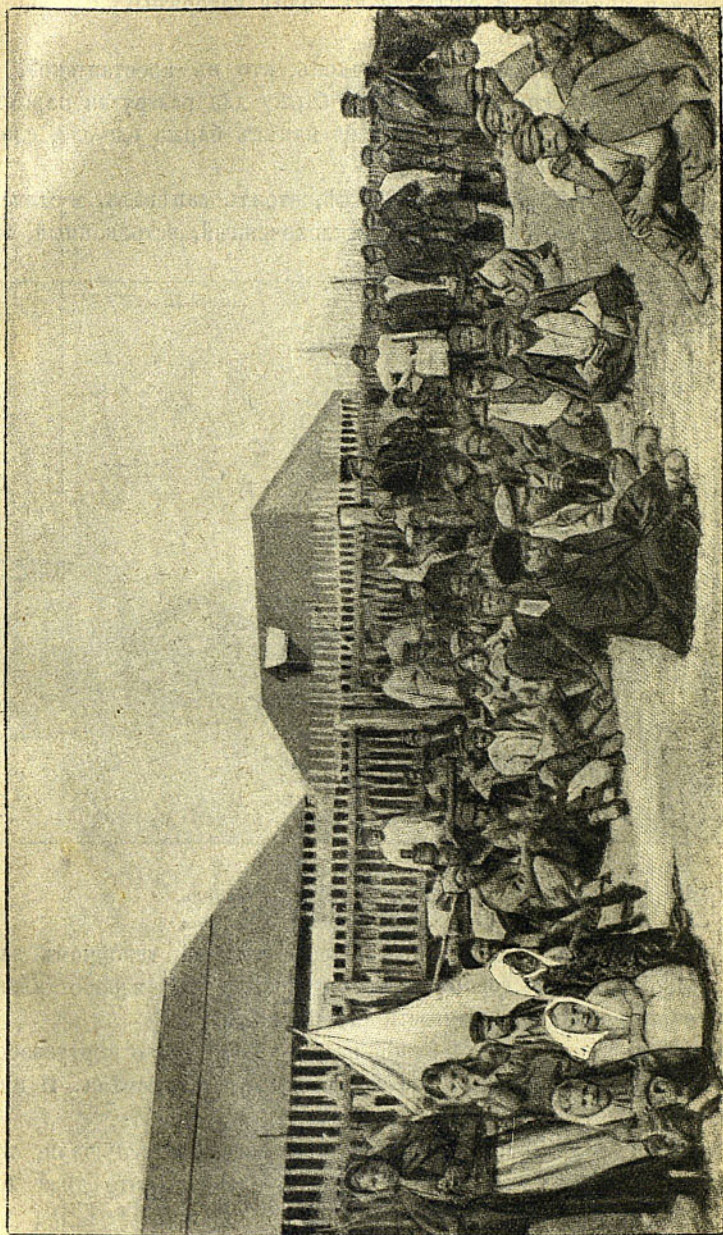
Съ первыхъ же шаговъ, при видѣ этого унылага, подневольнаго труда, этого сниманія шапокъ, мнѣ показалось, что я перенесся лѣтъ за 50 назадъ.

Что кругомъ меня просто-напросто крѣпостное право.

И чѣмъ больше я знакомился съ Сахалиномъ, тѣмъ это впечатлѣніе все глубже и глубже ложилось въ мою душу, это первое сравненіе казалось мнѣ все вѣрнѣе и вѣрнѣе.

Тотъ же подневольный трудъ, тѣ же люди, не имѣющіе никакихъ правъ, унижительныя наказанія, тѣ же дореформенные порядки, безконечное „бумажное“ производство всякихъ дѣлъ, тотъ же взглядъ на человѣка, какъ на „живой инвентарь“, то же распоряженіе человекомъ „по усмотрѣнію“, „сожительства, заключаемыя, какъ браки при крѣпостномъ правѣ, не по желанію, не по влеченію, а по приказу, взглядъ многихъ на каторжнаго, какъ на крѣпостного, — все, кончая „декоративной стороною“ крѣпостного права, обязательнымъ „ломаньемъ шапки“, — все создавало полную иллюзію „отжитаго времени“.

И какъ тяжело дышалось, какъ тяжело, если бы вы знали!



Прибытіє партіі каторжниковъ.

Желаніе исполнено.

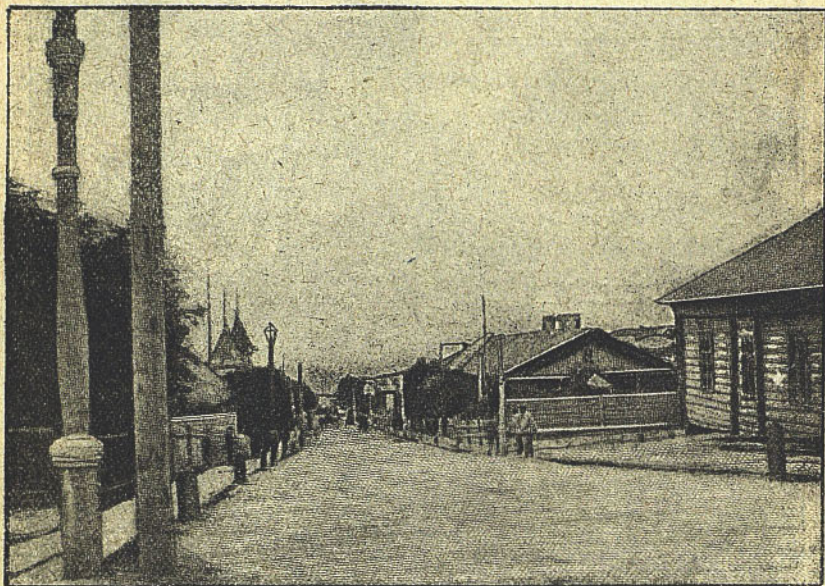
Пройдя пристань, я очутился въ толпѣ каторжныхъ.

На берегу шли работы.

Человѣкъ семьдесятъ каторжниковъ, кто въ арестантской, кто въ своей одеждѣ, спускали въ море баржу для разгрузки парохода.

Пѣли „Дубинушку“, — и подъ ея напѣвъ баржа еле-еле, словно нехотя, ползла съ берега.

Рядомъ съ ней, на другой баржѣ, стоялъ запѣвала, мужиченка въ рваной арестантской курткѣ, всклокоченный, встречанный, жал-



Постъ Корсаковскій на югѣ Сахалина.

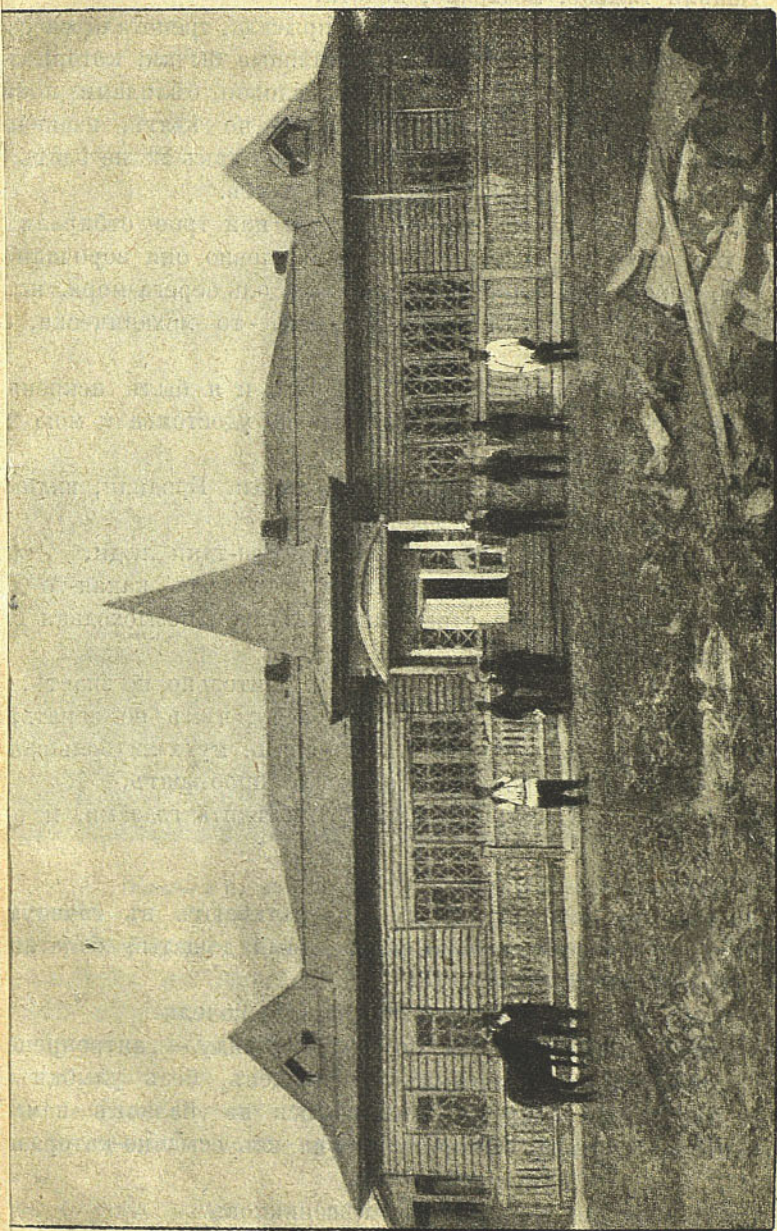
кій, несчастный, и надтреснутымъ, дребезжащимъ теноркомъ запѣвалъ „Дубинушку“, говорившую о необычайной изворотливости, сверхъестественной находчивости его цинизма.

Какой-то цинизмъ, доходившій не „до граціи“, а до виртуозности.

Все это было, конечно, не то, чтобы вызвать смѣхъ. И пикто не улыбался.

Слушали равнодушно, даже скорѣе вовсе не слушали, пѣли припѣвъ, кричали „ух“ лѣнливо, нехотя, словно и это тоже была подневольная работа.

Потомъ я попривыкъ, но первое впечатлѣніе подневольнаго труда—впечатлѣніе тяжелое, гнетущее.



Александровскій дѣтскій пріютъ для дѣтей и сиротъ каторжныхъ.

Около вытаскивали неводъ.

Тащили тяжело, медленно, нехотя.

Въ вытащенномъ неводѣ билась, прыгала, трепетала масса рыбы.

Чего, чего тамъ не было! Колоссальные бычки, которыхъ здѣсь не ѣдятъ, продолговатые съ бѣлымъ, словно бѣлилами покрытымъ брюшкомъ глосы, которыхъ тоже здѣсь не ѣдятъ, извивающіяся, какъ змѣи, миноги, которыхъ здѣсь точно такъ же не ѣдятъ, и мелкая дрянная рыбишка, которую здѣсь ѣдятъ.

Всѣ стояли кругомъ невода, а двое или трое отбирали годную рыбу отъ негодной съ такимъ видомъ, словно они ворочали камни.

Всю дорогу отъ пристани до поста, вдоль берега моря, навстрѣчу попадались поселенцы, машинально, какъ-то механически, спинавшие шапки.

Рука уставала отвѣчать на поклоны, и я былъ искренно признателенъ тѣмъ „дерзунамъ“, которые не удостоивали мою персону этой каторжной чести.

Поселенцы бродили, какъ сонныя мухи. Бродили, видимо, безъ всякой цѣли, безо всякаго дѣла.

— Такъ, молъ, пароходъ пришелъ. Все-таки люди.

Если тамъ, у рабочихъ, на лицахъ читалась какая-то тяжесть то здѣсь была написана страшная, гнетущая, безысходная скука.

Тоска.

Такое состояніе, когда человѣкъ рѣшительно не знаетъ, что ему съ собой дѣлать, куда дѣвать свою особу, чѣмъ ее занять, и провожаетъ глазами все, что мелькнетъ мимо: муха ли большая пролетитъ, человѣкъ ли пройдетъ, собака ли пробѣжитъ.

Посмотрить вслѣдъ, пока можно услѣдить глазами, и опять на лицѣ тоска.

Пѣсня?..

Дрожки, на которыхъ я ѣду, поворачиваютъ въ главную улицу „поста“ и огибаютъ наскоро сколоченный дощатый балаганъ (дѣло происходило на Пасхѣ).

Рядомъ пустыня, какія-то ободранныя качели.

У входа, вѣроятно, судя по унылому виду,—„антрепренеръ“.

Около—толпа скучающихъ поселенцевъ, безъ улыбки слушающихъ площадныя остроты ломающагося на балконѣ намазаннаго, одѣтаго въ ситцевый балахонъ клоуна изъ ссыльно-каторжныхъ.

Изъ балагана слышится пѣсня.

Нестройно, дико оретъ хоръ пѣсенниковъ.

Зазвенѣли кандалы. Мимо балагана проходятъ арестанты кандалной тюрьмы подъ конвоемъ...

Мы въѣзжали въ главную улицу поста.

Съ перваго взгляда Корсаковскъ, всегда и на всѣхъ, производитъ „подкупающее“ впечатлѣніе.

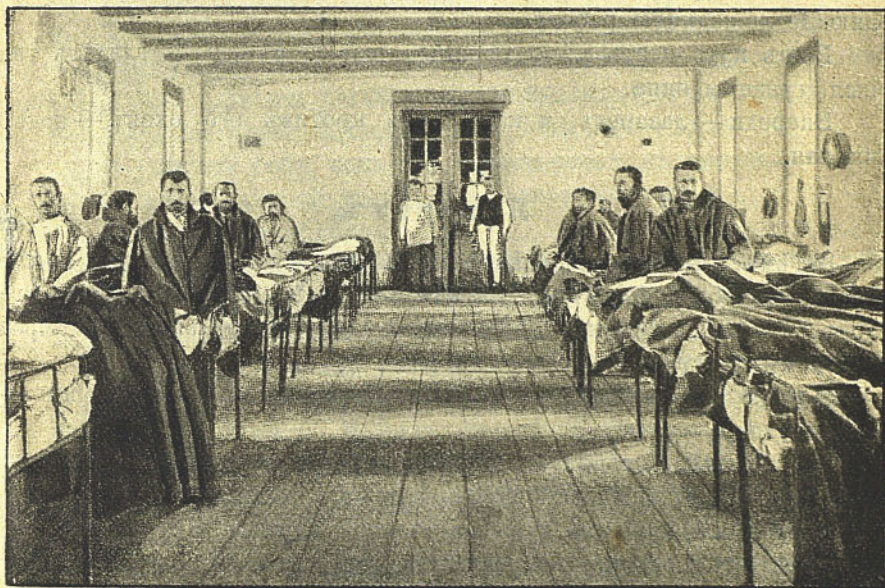
Ничего какъ будто похожаго на „каторгу“

Чистенькій, маленькій городокъ.

Чистенькіе, привѣтливые чиновничьи домики словно разбѣжались и со всего разбѣга двумя рядами стали по высокому пригорку.

Выше всѣхъ взбѣжала тюрьма.

Но тюрьма въ Корсаковскѣ не давить.



Больничная палата въ посту Александровскомъ.

Она—одноэтажная, невысокая, и, несмотря на свое „возвышенное“ положеніе, не кидается въ глаза, не доминируетъ, не командуетъ надъ мѣстностью.

Въ глубину двухъ овраговъ, по обоимъ бокамъ хѣлма, словно свалились, лѣзшіе по кособору, да недолѣзшіе туда домики.

Это—слободки поселенцевъ.

Въ общемъ, во всемъ этомъ нѣтъ ничего ни „страшнаго“ ни мрачнаго.

И вы готовы прійти въ восторгъ отъ „благоустройства“, проѣзжая главной улицей Корсаковска, готовы улыбнуться, сказать:

— Да все это очень, очень, какъ нельзя болѣе мило...

Но подождите!

Сахалинъ, это — болото, сверху покрытое изумрудной, сверкающей травой.

Кажется, чудный лужокъ,—а ступили, и провалились въ глубокую, засасывающую, липкую, холодную трясины.

Не успѣло съ вашихъ устъ сорваться „милѣ“, какъ изъ-за угла зазвенѣли кандалы.

Впрягшись въ телѣгу, ухватившись за оглобли, каторжные везутъ навозъ.

И что за удручающее впечатлѣніе производить эти люди, исполняющіе лошадиную работу.

Вашъ путь идетъ мимо тюрьмы,—изъ-за рѣшетокъ глядятъ темныя, грязныя окна.

Впереди — лазаретъ, и какъ разъ противъ его оконъ — покойницкая.

Лазаретъ.

Затѣмъ, въ Александровскѣ, въ Рыковскомъ я видѣлъ вполне благоустроенныя больницы для каторжанъ; но что за ужасный уголокъ, что за „злая яма“ Дантовскаго ада,—эта больница въ Корсаковскомъ посту.

Я знаю всѣ сахалинскія тюрьмы. Но самая мрачная изъ нихъ — Корсаковскій лазаретъ.

Чесоточный, больной заразительной болѣзнью, которую непріятно называть, и хирургическій больной лежать рядомъ.

Около нихъ бродитъ душевно-больной киргизъ Науръ-Сали.

Какъ и у большинства сахалинскихъ душевно-больныхъ, помѣшательство выражается у него въ маніи величія.

Это — „протестъ духа“. Это — „благодѣяніе болѣзни“.

Всего лишенные, безправные, нищіе, — они воображаютъ себя правителями природы, несмѣтными богачами, — въ крайнемъ случаѣ, хоть смотрителями или надзирателями.

Киргизъ Науръ-Сали принадлежитъ къ несмѣтнымъ богачамъ.

У него неисчислимыя стада овецъ и верблюдовъ. Онъ получаетъ несмѣтные доходы... Но онъ окруженъ врагами.

Тяжелая, угнетающая сахалинская обстановка часто развиваетъ манію преслѣдованія.

Временами Науръ-Сали кажется, что на его стада нападаютъ стаи волковъ, что въ степномъ ковылѣ подползаютъ хищники. Что стада разбѣгаются. Что онъ близокъ къ разоренію. Тогда ужасъ отражается на перекошенномъ и безпрестанно дергающемся ли

Науръ-Сали (онъ эпилептикъ и страдаетъ Виттовымъ плясомъ), онъ мечется со стороны въ сторону, съ крикомъ бѣгаетъ по палатамъ, залѣзаетъ подъ кровати больныхъ, сдергиваетъ съ нихъ одѣяла, — ищетъ своихъ овецъ. И я прошу васъ представить положеніе больного съ переломленной, положенной въ лубки ногой, когда сумасшедшій Науръ-Сали съ вошемъ сдергиваетъ съ него одѣяло.

— Почему же ихъ не размѣстятъ?

— Да куда же я ихъ дѣну?! — съ отчаяніемъ восклицаетъ молодой, симпатичный лазаретный врачъ г. Кирилловъ.

Въ лазаретѣ тѣсно, въ лазаретѣ душно.

За неимѣніемъ мѣста въ палатахъ больные лежатъ въ коридорахъ. „Приемный покой“ для амбулаторныхъ больныхъ импровизируется каждое утро. Въ коридорѣ, около входной двери, ставится ширма, чтобы защитить раздѣвающихся больныхъ отъ холода и любопытства безпрестанно входящихъ и выходящихъ людей.

— Вообразите себѣ, какъ это удобно зимой, въ морозъ, смотрѣть больныхъ около входной двери, — говоритъ докторъ.

Да оно и весной недурно.

Вся обстановка Корсаковского лазарета производитъ удручающее впечатлѣніе. Грубое постельное бѣлье невѣроятно грязно. Больнымъ приходится разрѣшать лежать въ своемъ бѣльѣ.

— На казенныя рубахи полагается мыло, но я руку даю на отсѣченіе, что онѣ его не видятъ! — съ отчаяніемъ клянется докторъ.

Вентиляціи никакой. Воздухъ спертъ, душень, — прямо „мутить“, когда войдешь. Я потомъ дня два не могъ отдѣлаться отъ этого тяжелого запаха, которымъ пропиталось мое платье при этомъ посѣщеніи.

О какой-нибудь операціонной комнатѣ не можетъ быть и помина. Для небольшихъ операцій больныхъ носятъ въ военный госпиталь. Для болѣе серіозныхъ — отправляютъ въ постъ Александровскій, отрѣзанный отъ Корсаковского въ теченіе полугода. Представьте себѣ положеніе больного, которому необходимо произвести серіозную операцію въ ноябрѣ — первый пароходъ въ Александровскъ, „Ярославль“, пойдетъ только въ концѣ апрѣля слѣдующаго года!

Когда я былъ въ Корсаковскомъ лазаретѣ, тамъ не было... гигроскопической ваты.

Для перевязки ранъ варили обыкновенную вату, просушивали ее здѣсь же, въ этомъ воздухѣ, переполненномъ всевозможными микробами и бактеріями.

— Все, чѣмъ мы можемъ похвалиться, это — нашей аптекой. Благодаря заботливости и настояніямъ завѣдующаго медицинской

частью, доктора Поддубскаго, у насъ теперь богатый выборъ медикаментовъ!—со вздохомъ облегченія говоритъ докторъ

Вернемся, однако, къ больнымъ.

Что за картины,—картины отчаянiя, иллюстраціи къ Дантовскому чистилищу.

Съ потерявшихъ свой первоначальный цвѣтъ подушекъ смотреть на насъ желтыя, словно восковыя, лица чахоточныхъ.

Лихорадочнымъ блескомъ горящiе глаза.

Вотъ словно какой-то гномъ, уродливый призракъ.

Лицо—черелъ, обтянутый пожелтѣвшей кожей. Высохшія, выдавшіяся плечевыя кости, ключицы и ребра и неимоვნю раздутый голый животъ. Бѣлье не налѣзаетъ.

Страшно смотрѣть.

Несчастный мучается день и ночь, не можетъ лечь, — его „заливаетъ“. Чахотка въ послѣднемъ градусѣ, осложненная водянкой.

И столько муки, столько невыносимаго страданія въ глазахъ.

Несчастный,—этотъ тонущій въ водѣ скелетъ,—что-то шепчетъ при нашемъ проходѣ.

— Что ты, милый? — нагибается къ нему докторъ.

— Поскорѣй бы! Поскорѣй бы ужъ, говорю! Дали бы мнѣ чего, чтобы поскорѣе! — едва можно разобрать въ лепетѣ этого задыхающагося человѣка.

— Ничего! Что ты! Поправись! — пробуетъ утѣшить его докторъ.

Еще большая мука отражается на лицѣ больного. Онъ отрицательно качаетъ головой.

Тяжело вообще видѣть приговореннаго къ смерти человѣка, а приговореннаго къ смерти здѣсь, вдали отъ родины, отъ всего, что дорого и близко, — здѣсь, гдѣ ни одна дружеская рука не закроетъ глаза, ни одинъ родной поцѣлуй не запечатлѣтся на лбу, — здѣсь вдвое, вдесятеро тяжелѣе видѣть все это.

Вотъ большій, мужчина среднихъ лѣтъ, ранняя просѣдъ въ волосахъ. Красивое, умное, интеллигентное лицо.

Чѣмъ онъ боленъ?

Не надо быть докторомъ, чтобы сразу опредѣлить его болѣзнь по лихорадочному блеску глазъ, по неестественно-яркому румянцу, пятнами вспыхивающему на лицѣ, по крупнымъ каплямъ пота на лбу.

Это — ссыльно-каторжный изъ бродягъ, „не помнящій родства“, учитель изъ селенія Владимировки.

Вы и въ Россіи были учителемъ?

— Былъ и учителемъ... Чѣмъ я только не былъ!—съ тяжелымъ вздохомъ говоритъ онъ, и печаль разливается по лицу.

Тяжко вспоминать прошлое здѣсь...

А вотъ продуктъ каторжной тюрьмы, специально „сахалинскій больной“.

Молодой человѣкъ, казалось бы, такого здоровеннаго, крѣпкаго сложенія.

У него скоротечная чахотка отъ истощенія.

Передъ вами „жиганъ“ — каторжный типъ игрока. Игра — его болѣзнь, больше чѣмъ страсть, единственная стихія, въ которой онъ можетъ дышать.

Его потухшіе глаза на все смотрять равнодушнымъ, безразличнымъ взглядомъ умирающаго и загораются лихорадочнымъ блескомъ, настоящимъ огнемъ только тогда, когда онъ говоритъ объ игрѣ.

Онъ проигрывалъ все: свои деньги, казенную одежду. Его наказывали розгами, сажали въ карцеръ, — онъ игралъ. Онъ проигрывалъ самого себя, проигрывалъ свой трудъ и несъ двойную каторгу, работая и за себя и за того, кому онъ проигралъ.

Онъ *мѣсяцами* сидѣлъ голодный, проигравъ свой паекъ хлѣба чуть не за годъ впередъ, и питался „въ одну ручку“ — жидкой похлебкой — „баландой“ безъ хлѣба.

Его били жестоко, неистово; чтобы играть, онъ воровалъ, все что ни попадало.

Въ концѣ-концовъ, онъ нажилъ истощеніе, скоротечную чахотку.

Онъ и тутъ, въ лазаретѣ, игралъ съ больными, проигрывая свою порцію, но его скоро „накрыли“ и игру прекратили. Онъ проигрывалъ даже свои лѣкарства.

Сахалинскимъ больнымъ все кажется, что имъ „жалѣютъ лѣкарства“ и даютъ слишкомъ мало. Они охотно покупаютъ лѣкарства другъ у друга.

А кругомъ этого несчастнаго такіе же больные, умирающіе, которые не прочь у умирающаго выиграть послѣдній кусокъ хлѣба.

Вотъ отголоски „зимняго сезона“.

Люди, отморожившіе себѣ кто руки, кто ноги, иные на работахъ въ тайгѣ, другіе во время „бѣговъ“.

Они разматываютъ свое тряпье, — и предъ нами засыпанныя іодоформомъ руки, ноги безъ пальцевъ, покрытыя мокнущими ранами, покрывающіяся струпами.

Ихъ стоны, когда приходится ворочаться съ бока на бокъ, смѣшиваются съ бредомъ, идіотскимъ смѣхомъ, руганью умалишенныхъ.

Вотъ интересный больной, Іоркинъ, бывшій морякъ, эпилептикъ.

Ломброзо непременно снялъ бы съ него фотографію и помѣстилъ въ свою коллекцію татуированныхъ преступниковъ.

Іоркинъ татуированъ съ головы до ногъ.

На его груди выгравировано огромное распятіе. Руки покрыты рисунками якорей и крестовъ, символами надежды и спасенія, текстами священнаго писанія.

У Іоркина религиозное помѣшательство, соединенное, по сахалинскому обыкновенію, съ бредомъ величія.

— Мнѣ недолго здѣсь быть,—говоритъ онъ, и глаза его горятъ экстазомъ.— Меня ангелы возьмутъ и унесутъ.

А вотъ жертва лишенія семьи.

Карповъ, донской казакъ, изъ Новочеркасска. Сегодня онъ что-то веселъ, все время улыбается, и съ нимъ можно говорить.

Онъ говоритъ охотно только на одну тему—о своей оставленной на родинѣ семьѣ: о братьяхъ, матери, отцѣ, женѣ. Какъ они живутъ, про ихъ хозяйство. Говоритъ съ увлеченіемъ, весь сіяя отъ этихъ воспоминаній. Это—самыя свѣтлыя для него минуты. Обыкновенно же его состояніе—состояніе тяжелой хандры, задумчивости. Онъ меланхоликъ.

Онъ боится нападенія чертей, которые хотятъ соблазнить его на нехорошее поведеніе. Онъ воздержанникъ и „соблюдаетъ себя“ для семьи, а по ночамъ ему снятся женщины, которыя являются его прельщать. Ихъ посылають черти.

— Тутъ много чертей!—выкрикиваетъ онъ своимъ тоненькимъ, пронзительнымъ голосомъ и лѣзетъ подъ кровать посмотреть: нѣтъ ли ихъ тамъ.

— Есть! Есть! Вотъ они!

Начинается припадокъ.

Берегите ваши карманы. Около все время трется Демидовъ, kleптоманъ, одинъ изъ несчастнѣйшихъ людей на каторгѣ.

Его били смертнымъ боемъ товарищи, и сѣкло начальство, а онъ все продолжалъ оставаться „неисправимымъ“. Ему еще недавно дали 52 лозы, какъ вдругъ, къ общему изумленію, докторъ Кирилловъ взялъ этого „неисправимаго негодяя“ въ лазаретъ.

— Ахъ, вонъ оно что!—ахнули всѣ.—Онъ сумасшедшій! А мы-то его исправляли.

А вотъ жертва нашихъ больницъ, жертва ихъ страсти къ „поспѣшной выпискѣ“.

Это—бродяга Нѣмой.

— Семень Михайловичъ! Какъ поживаешь?—спрашиваетъ докторъ.

„Семень Михайловичъ“ улыбается безсмысленной улыбкой и смотритъ куда-то въ уголь.

— Да онъ что? Дѣйствительно, нѣмой?

— Нѣтъ, онъ страдаетъ одной изъ формъ афазіи, онъ не можетъ говорить, не въ состояніи отвѣчать на вопросы.

И онъ только улыбается своей безсмысленной, безпомощной, жалкой, страдальческой улыбкой.

Въ одну изъ минутъ просвѣтлѣнія, когда къ нему не надолго вернулась способность рѣчи, — онъ рассказалъ доктору свою исторію.

Онъ не бродяга. Онъ крестьянинъ Новгородской губерніи, Семень Михайловъ Глухаренковъ. У него на родинѣ есть семья. Жилъ онъ въ Петербургѣ на заработкахъ, заболѣлъ тифозной горячкой, лежалъ въ больницѣ. Изъ больницы его выписали слишкомъ рано, черезчуръ слабымъ. Денегъ не было ни гроша, паспортъ былъ отосланъ на родину „мѣнять“, приходилось идти пѣшкомъ. Едва выйдя за заставу, онъ „потерялъ сознание“, а затѣмъ съ нимъ „это и случилось“. Его держали въ полиціи, судили, — на всѣ вопросы онъ молчалъ. И пошелъ на полтора года въ каторгу, а затѣмъ на поселеніе на Сахалинѣ, какъ „бродяга Нѣмой“.

Вотъ та маленькая повѣсть, которую успѣлъ рассказать Семень Глухаренковъ доктору въ минуту просвѣтлѣнія, — и снова на его лицѣ заиграла тихая, скорбная улыбка.

Надъ всѣмъ этимъ,—надъ трагическимъ молчаніемъ „бродяги Нѣмого“, надъ тихими стонами, вырывающимися изъ глубины души, надъ тяжкими вздохами, перебранкой больныхъ, надъ рассказами „жигана“ объ игрѣ, надъ звуками удушливаго капля чахоточныхъ,—звуками, въ которыхъ вы слышите, какъ у людей на куски разрываются легкія, надъ бредомъ и идіотскимъ смѣхомъ помѣшанныхъ,—надъ всѣмъ этимъ царить вѣчный, непрестанный крикъ сумасшедшаго стараго солдата.

Въ Корсаковскомъ лазаретѣ нѣтъ мѣста, гдѣ бы до васъ не достигалъ этотъ ужасный, всѣ нервы выматывающій крикъ.

Онъ отравляетъ послѣднія минуты умирающихъ въ маленькой отдѣльной каморкѣ.

Зайдемъ туда.

На постели лежитъ человѣкъ... тѣнь, призракъ человѣка... Не блѣдное, а бѣлое, словно молокомъ вымазанное лицо.

Дыханіе съ хрипомъ и свистомъ вырывается изъ груди.

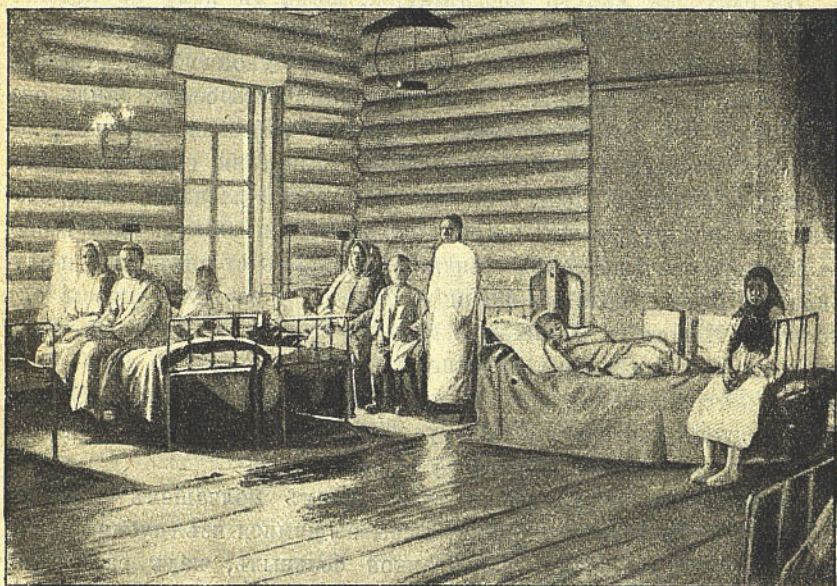
Она задыхается.

Докторъ, дававшій мнѣ объясненія по поводу каждаго больного, тутъ сказалъ только:

— Сами видите!

— Докторъ... докторъ...— еле переводя духъ, говорить больной, и въ самомъ тонѣ его просьбы звучитъ что-то дѣтское, беспомощное, жалкое, хватающее за душу,—докторъ... выпиши ты, ради Господа Бога, мяты... Съ мяты я поправлюсь.

— Хорошо, хорошо, голубчикъ! Выпишч тебѣ мяты,—успокоиваетъ его докторъ.



Женская и дѣтская больница въ посту Александровскомъ.

— То-то!.. Съ мяты... я... живо...

Къ вечеру онъ умеръ.

Изъ каморки умирающаго мы проходимъ узенькимъ коридорчикомъ съ сумасшедшему солдату.

Въ коридорчикѣ при нашемъ проходѣ звенять кандалы.

Со скамьи встаютъ двое кандалныхъ.

— Что такое? Больные?

— Никакъ нѣтъ. Для освидѣтельствованія на предметъ тѣлеснаго наказанія!—рапортуетъ надзиратель.

Въ маленькой „изоляціонной“ комнаткѣ доживаютъ свой вѣкъ двое.

Старый каторжникъ изъ солдатъ, который на вопросъ, сколько онъ въ своей жизни получилъ плетей и розогъ, отвѣчаетъ:

— 72 миллиона, ваше сіятельство!

Онъ воображаетъ себя то фельдфебелемъ, то фельдмаршаломъ, и вся его жизнь отражается въ его мрачномъ помѣшательствѣ.

Онъ только и дѣлаетъ, что приговариваетъ людей къ смерти или къ плетямъ.

— Вотъ этотъ,—кричитъ онъ, указывая на служителя и вытаскивая изодранную „сумасшедшую рубаху“,—связать меня хотѣлъ!



Доктора: Р. А. Погаевскій, завѣдующій медицинской частью Л. В. Поддубскій и Н. С. Лобасъ.

Повѣсить его въ двадцать четыре часа! А этому смерть отмѣняется,—60 тысячъ плетей безъ помощи врача! Живо!

На другой кровати, скорчившись, спитъ единственное существо, которое не приговариваетъ ни къ смерти ни къ плетямъ, старый, свирѣпый солдатъ,—зовутъ его „Чушка“.

Слѣпой, слабоумный старикъ.

— Чушка, вставай!—кричитъ солдатъ и выщипываетъ у „Чушки“ нѣсколько волосковъ изъ бровей.

„Чушка“ взвизгиваетъ, просыпается и открываетъ свои ничего не видящія глаза.

— Чушка, жрать хочешь?

Но Чушка не отвѣчаетъ.

Услыхавъ голосъ доктора, онъ что-то соображаетъ.

— Докторъ, а докторъ!

— Что тебѣ?

— Сдѣлай мнѣ новые глаза.

— Хорошо, сдѣлаю!

— Сдѣлаешь? Ну, ладно.

И Чушка снова засыпаетъ сномъ слабоумнаго старика.

— Не хочешь жрать, Чушка? Это она при надзирателѣ не хочеть! Повѣситъ надзирателя сію минуту! Становь висѣлицу! Палача! Плелей!—вопить старый солдатъ.

Перейдемъ въ женское отдѣленіе.

Тутъ нѣсколько чище.

— Все-таки женщины!—объясняетъ акушерка.

Родильницы лежатъ съ двумя идиотками, которыя улыбаясь говорить о женихахъ.

Обычный женскій бредъ на Сахалинѣ.

Къ доктору подходитъ душевно-больная молоденькая бабенка, Ненила, прифранченная, нарядно одѣтая.

— Докторъ, скоро меня выпишешь-то?

— Тебѣ зачѣмъ?

— Боюсь, какъ бы надзиратель-то другую не взялъ.

— А ты что прифрантилась?

— Да къ нему итти было собралась!

Ненила смѣется.

— Никакого у нея надзирателя нѣтъ. Бредъ!—потихоньку объясняетъ мнѣ докторъ.—Ты вотъ лучше, Ненилушка, расскажи барину, за что сюда попала! Ему хочется знать.

Лицо Ненилы сразу становится грустнымъ.

— Впутали меня, охъ, впутали! Все онъ впуталъ, извергъ, чтобъ вмѣстѣ шла! Впуталъ, а потомъ, гдѣ онъ, ищи его! И должна я одна быть...

Ненила начинаетъ плакать.

— Да ты не плачь. Расскажи, какъ было?

— Какъ было-то, обнаковенно было! Купецъ-то сидѣлъ, вотъ такъ-то. Пьяный купецъ-то. Борода-то на столѣ! — Ненила смѣется.— Я-то около купца, все ему подливаю: „Пей, молъ, такой-сякой, не-мазанный!“ А онъ-то сзади подкрадается... Подкрался къ купцу,—

пьяный, препьяный купецъ! Я его за руки поймала, держу. А онъ его за бороду хватъ, — назадъ оттянулъ, — да по горлу какъ чиркъ! Ай!

Ненила вскрикиваетъ. Быть-можетъ, въ эту-то страшную минуту и „потеряла равновѣсіе“ ея психика.

— Кровь-то въ стѣнку, въ меня полилась, полилась... Корчился купецъ-то, жалостно такъ... Жалостно...

Ненила начинаетъ хныкать, утирать рукавомъ слезы, — и вдругъ разражается смѣхомъ.

— Чего жъ я реву-то, дура? Вотъ дура, такъ дура! И самой смѣшно. Реву, дѣвоньки, и сама не знаю о чемъ! Докторъ, пустите меня къ надзирателю.

— Дай ты мнѣ капелекъ-те, отъ зубовъ-те! — подходитъ къ намъ другая душевно-больная.

Несчастная, сосланная въ каторгу за мужеубійство. Она потеряла психическое равновѣсіе въ первую брачную ночь.

— Съ женщинами это бываетъ... Рано замужъ отдали... Можетъ-быть, мужъ спяна обошелся очень ужъ грубо, — поясняетъ докторъ.

— Спортили насъ-те! — жалобно рассказываетъ она, — взяли-те да въ постелю кровищи-те налили. Я какъ увидала-те, онъ мнѣ и отошнѣлъ... Отошнѣлъ-те, я его и зарѣзала.

Во всей ея позѣ что-то страдальческое, угнетенное.

У нея, въ сущности, не болитъ ничего. Но все-таки остатокъ сознанія требуетъ отчета, почему она въ такомъ угнетенномъ состояніи. И несчастная сама выдумываетъ причины: то жалуется на зубную боль, то черезъ пять минутъ начинаетъ жаловаться на боль въ поясницѣ.

— Третій день-те разогнуться не могу! Болить-те!

— А зубы?

— Зубы ничего-те. Поясница вотъ!

— Видите, при какихъ условіяхъ приходится работать, — со вздохомъ говоритъ докторъ.

Я не думаю, чтобы доктора Кириллова надолго хватило на борьбу съ разными сахалинскими, истинно „каторжными“ условіями.

Очень ужъ у него въ нѣсколько мѣсяцевъ расходились нервы.

Сколько народу бѣжало отсюда, народу, приходившаго сюда съ горячимъ желаніемъ принести посильную помощь страдающимъ!

И это будетъ очень жаль.

Такіе люди, люди знанія, люди дѣла, люди просвѣщенные, люди гуманные, люди честные, съ чуткой, доброй, отзывчивой душой,— такіе-то люди и нужны Сахалину.

Людей плохихъ много и въ пароходномъ трюмѣ каждый годъ присылають.

Каторжное кладбище.

Отъ Корсаковского лазарета педалеко до кладбища.

Проѣдемъ къ „маяку“.



Похоронная процессія на Сахалинѣ.

Кладбище расположено на горѣ около Корсаковского маяка.

— Нѣтъ ужъ, ваше высокое благородіе, видать, мнѣ къ маяку пора!—говорилъ одинъ тяжкій больной утѣшавшему его доктору.

Что эта за странная процессія взбирается по косоугору?

Десятокъ каторжныхъ, уцѣпившись за оглобли, подталкивая сзади, тащатъ телѣгу, на которой лежитъ большой, неуклюжій, бѣлый, некрашенный гробъ и лопата.

Сзади со скучающимъ видомъ идетъ посланный смотрѣть за каторжниками надзиратель, съ револьверомъ на шнуркѣ.

Вотъ и вся похоронная процессія.

— Ну! ну! Наддай!—покрикиваютъ каторжные.

Вотъ и все похоронное пѣніе

Что-то щемящее, что-то хватающее за душу есть въ этой картинѣ сахалинскихъ похоронъ... Эта телѣга, этотъ надзиратель, эти сѣрыя куртки...

Единственное лицо, которое могло бы проводить покончившаго свои дни „несчастливаго“ въ мѣсто послѣдняго упокоенія,—тоже лежить въ могилѣ.

Хоронятъ поселенца.

Изъ ревности онъ зарѣзалъ „сожительницу“ и самъ убѣжалъ изъ дома и отравился „борцомъ“. Его трупъ ужъ черезъ нѣсколько дней нашли въ тайгѣ.

Борецъ—ядовитое растеніе, растущее въ Корсаковскомъ округѣ, на югѣ Сахалина. Корень „борца“ тамъ имѣется „на всякій случай“ у каждаго каторжнаго, у каждаго поселенца. Мнѣ показывали этотъ корень многие.

— Да на кой вамъ шутъ держать эту дрянь?

— Такое ужъ заведеніе... На всякій случай... Можетъ, и понадобится!—отвѣчали поселенцы съ улыбкой, какой не дай Богъ, чтобы улыбался человѣкъ.

Сойдемъ, проводимъ.

Телѣга медленно вползла на гору.

Ее подвезли къ первой выкопанной могилѣ. На веревкахъ опустили гробъ. Достали съ телѣги лопаты, поплевали на руки,—и застучала земля по гробовой крышкѣ.

Застучала сильно: здѣсь почва глинисто-каменистая. Не земля, а словно какой-то щебень, битый кирпичъ наваленъ около вырытыхъ могилъ.

Глуше и глуше шумитъ земля... Маленькій холмикъ выросъ надъ могилой. Въ него воткнули наскоро сколоченный изъ двухъ „планокъ“ некрашеный крестъ безъ надписи.

Кто перекрестился, а кто и нѣтъ,—и взялись за телѣгу.

— Теперича ходчѣ пойдемъ!

Пошли бѣгомъ и скрылись за спускомъ.

— Тише, черти!—доносится отчаянный голосъ запыхавшагося надзирателя.

— Легче! Легче!..—слышится подъ горой.

Мы среди безыменныхъ могилъ.

— Что это? Неужели въ лазаретъ такъ много покойниковъ,—съ изумленіемъ смотрю я на массу вырытыхъ „ямъ“.

— Никакъ нѣтъ!—снимая шапку, отвѣчаетъ кучеръ-каторжный.

— Да надѣнь ты шапку, Бога ради! На кладбищѣ всѣ равны.

— Никакъ нѣтъ, ваше высокоблагородіе. Это про запасъ ямы приготовлены. Дѣлать-то было нечего, пароходы не приходили,—вѣтъ и посылали ямы копать. А то горячка пойдетъ, люди на работы нужны будутъ,—не до ямы!

Что за унылая картина!

Маленькіе холмики, на которыхъ торчатъ только какія-то палки вмѣсто крестовъ. Почти ни на одной могилѣ цѣльнаго креста.

А на большинствѣ и совсѣмъ ничего нѣтъ.

— Кто это?

Поселенцы на подтопку таскаютъ. Кому же больше? Въ тайгу-то итти лѣнь. Вотъ отсюда и тащить.

Вотъ могила, — хоронила все-таки, должно-быть, заботливая, можетъ-быть, родная рука. Въ крестѣ былъ вдѣланъ образъ.

Крестъ уцѣлѣлъ, а образъ выломанъ.

И молится теперь передъ этимъ выломаннымъ изъ могильнаго креста образкомъ какой-нибудь поселенецъ въ грязной, темной, пустой избушкѣ.

— Можетъ, кто выломалъ да въ карты спустилъ. Копейкахъ въ двухъ образокъ пошелъ!—словно угадывая ваши мысли, говоритъ кучеръ.

И надъ всѣми этими маленькими, безвѣстными, безыменными могильными холмами царить, возвышается за высокой оградой массивный чугунный крестъ надъ высокой, камнемъ обдѣланной могилой купца Тимоѣева.

— Зарѣзали его!—поясняетъ кучеръ.

— За что зарѣзали?

— За деньги.

И подумавъ объясняетъ болѣе пространно:

— Деньги у него, сказываютъ, были. За это самое и зарѣзали. Здѣсь это недолго...

Уйти бы поскорѣй съ этого безотраднѣйшаго и во всемъ мірѣ и даже на Сахалинѣ кладбища.

Но тутъ должна быть одна „святая могила“.

Могила Наумовой, молодой дѣвушки, учительницы, основательницы Корсаковского пріюта для дѣтей ссыльно-каторжныхъ.

Она училась въ Петербургѣ, бросила все и пріѣхала сюда, увлеченная святой мыслью, горя великимъ святымъ желаніемъ отдать жизнь на служеніе, на помощь этимъ бѣднымъ, несчастнымъ, судьбою заброшеннымъ сюда дѣтямъ преступныхъ отцовъ.

У нея были широкіе планы, она мечтала о ремесленныхъ классахъ для дѣтей, о воскресныхъ школахъ для каторжныхъ, о чтеніяхъ...

Она работала всей душой, энергично, горячо отдаваясь дѣлу. Ей уалось кое-что сдѣлать. Корсаковский пріютъ ей обязанъ своимъ возникновеніемъ.

Но слабой ли дѣвушкѣ было бороться съ сахалинской черствостью, съ сахалинской мертвечиной, съ сахалинскимъ равнодушіемъ къ страданіямъ ближняго.

Молодая дѣвушка не вынесла борьбы съ гг. служащими, враждебно смотрѣвшими на ея „затѣи“, не вынесла тяжелой атмосферы каторги и застрѣлилась, оставивъ двѣ записки.

Одну: „Жить тяжело“. Въ другой просила всѣ ея скудные достатки продать и деньги отдать на ея дѣтище—на пріютъ.

Ихъ прибыло одновременно три, — три подруги, увлеченныя идеей принести посильную помощь страждущимъ; одна застрѣлилась, другая сошла съ ума, третья¹⁾... вышла замужъ за бывшаго фельдшера, изъ ссыльныхъ. Такъ разнo и въ сущности одинаково кончили всѣ три. Да и трудно было устоять въ непосильномъ трудѣ!

Корсаковская „интеллигенція“ устроила Наумовой торжественныя похороны, хотя сахалинская сплетня, сахалинская клевета, ужъ никакъ не могущая понять, что можно жизнь свою отдавать какой-то каторгѣ — даже въ могилѣ не пощадила покойной страдалицы.

Эта могила... Она должна быть здѣсь... Но гдѣ она?

Искалъ, искалъ,—не нашель.

— Должно-быть, тамъ!—говорили мнѣ гг. „интеллигенты“.

А вѣдь со смерти Наумовой прошло еле-еле два года!

Приамурскій генераль-губернаторъ прислалъ на могилу Наумовой чудный металлическій вѣнокъ съ прекрасной надписью на мѣдной доскѣ.

Этотъ вѣнокъ висить... въ полицейскомъ управленіи.

Повѣсить нельзя. Украдутъ!

Да и гдѣ бы они могли его повѣсить?

Такова „долженствующая быть“ святая могила среди безвѣстныхъ грѣшныхъ могилъ.

Т ю р ь м а.

Тюремный „день“ начинается съ вечера, когда производится „нарядъ“, — распредѣленіе рабочихъ на работы.

Такъ мы и начнемъ нашъ „день въ тюрьмѣ“.

¹⁾ У нея мать была сослана въ каторгу.

Нарядъ.

Тюремная канцелярія. Обстановка обыкновеннаго участка. Темновато и грязно.

Писаря изъ каторжныхъ скрипятъ перьями, пишутъ, переписываютъ безконечныя на Сахалинѣ бумаги: рапорты, отношенія, доношенія, записки, выписи, переписи.

При выходѣ смотрителя тюрьмы всѣ встаютъ и кланяются.

Старшій надзиратель подаетъ смотрителю готовое уже распределение на завтра каторжныхъ по работамъ.

— На разгрузку парохода столько-то. На плотничьи работы столько-то. На таску дровъ, бревнотасковъ... Въ мастерскія... Вотъ что, паря, тутъ Иксъ Игрековичъ Дзэетъ просилъ ему людей прислать, огородъ перекопать.

— Людей нѣтъ, ваше высокоблагородіе. Люди всѣ въ расходѣ.

— Ничего. Пошли 6 человѣкъ. Показать ихъ на плотничьихъ работахъ. Да, еще Альфа Омеговна просила ей двоихъ прислать. Отказать невозможно. А тутъ этотъ контроль теперь во все суется: покажи ему учетъ людей. Просто, хоть разорвись! Ну, да ладно, — пошли ей двоихъ, изъ тѣхъ, что на разгрузку назначены...

„Нарядъ“ конченъ.

Начинается пріемъ надзирателей.

— Тебѣ что?

— Ивановъ, ваше высокоблагородіе, очень грубитъ. Ты ему слово, онъ тебѣ десять. Ругается, срамить!

— Въ карцеръ его. На три дня на хлѣбъ и на воду. Тебѣ?

— Петровъ опять буйнить.

— Въ карцеръ! Всѣ?

— Такъ точно, всѣ-съ.

— Зови рабочихъ.

Входитъ толпа каторжныхъ, кланяются, останавливаются у двери. Среди нихъ одинъ въ кандалахъ.

— Ты что?

— Подслѣдственный. Приговоръ, что ли, объявлять звали.

— А! Ступай вонъ къ писарю. Васильевъ, прочитай ему приговоръ.

Писарь встаетъ и наскоро читаетъ, бормочетъ приговоръ.

— Приамурскій областной судъ... Принимая во вниманіе... самовольную отлучку... съ продолженіемъ срока... на 10 лѣтъ! — мелькаютъ слова. — Грамотный?

— Такъ точно, грамотный!

— Распишись.

Кандальный такъ же лѣнливо, равнодушно, какъ и слушалъ, расписывается въ томъ, что ему прибавили 10 лѣтъ каторги.

Словно не о немъ идетъ и рѣчь.

— Уходить можно?—угрюмо спрашиваетъ кандальный.

— Можешь. Иди.

— Опять убѣжить, бестія!—замѣчаетъ смотритель.



Александровская тюрьма.

По правиламъ каторги, „порядочный“ каторжникъ всякій приговоръ долженъ выслушивать спокойно, равнодушно, словно не о немъ идетъ рѣчь. Не показывая ни малѣйшаго волненія. Это считается „хорошимъ тономъ“. Въ случаѣ особенно тяжкаго приговора каторга разрѣшаетъ, пожалуй, выругать судь. Но всякое „жалостливое“ слово вызвало бы презрѣніе у каторги. Вотъ откуда это „равнодушіе“ къ приговорамъ. Въ сущности же, эти продленія срока за „отлучки“ ихъ сильно волнуютъ и мучатъ, кажутся имъ черезчуръ суровыми и несправедливыми. „За 7 день,—да 10 лѣтъ!“ Я самъ видалъ каторжника, только что преспокойно выслушавшаго приговоръ на 15 лѣтъ прибавки. Разговаривая вдвоемъ, безъ свидѣтелей, онъ безъ слезъ говорить не могъ объ этомъ приговорѣ: „Погибшій я теперь человѣкъ! Что жъ мнѣ остается теперь дѣлать? Навѣки у

теперь". И столько горя слышалось въ тонѣ „каналы“, который и „глазомъ не моргнуть“, слушая приговоръ.

— Тутъ еще приговоръ есть. Ѳеодоръ Непомнящій кто?

— Я!—отзывается подслѣповатый мужиченка.

— Ты хлопоталъ объ открытіи родословія?

— Такъ точно.

— Ну, такъ слушай:

Писарь опять начинаетъ бормотать приговоръ.

— Областной судъ... заявленія Ѳеодора Непомнящаго... осужденнаго на четыре года за бродяжество... признать его ссыльно-поселенцемъ такимъ-то... принимая во вниманіе несходство примѣтъ... глаза у Ѳеодора Непомнящаго значатся голубые, а у ссыльно-поселенца сѣрые... носъ большой... постановилъ отклонить... Слышалъ, отказано?

— Носомъ, стало-быть, не вышелъ?—горько улыбается Непомнящій.—Выходить теперь, что и я не я!..

— Грамотный?

— Такъ точно, грамотный. Только по вечерамъ писать не могу. Куриная слѣпота у меня. Меня и сюда-то привели.

— Ну, ладно! Завтра подпишешь! Ступай.

— Стало-быть, опять въ тюрьму?

— Стало-быть!

— Эхъ, Господи!—хочетъ что-то сказать Непомнящій, но удерживается, безнадежно машетъ рукой и медленно, походкой слѣпого, идетъ къ толпѣ каторжныхъ.

Ни на кого ни приговоръ ни восклицаніе не производятъ никакого впечатлѣнія. На каторгѣ „каждому—до себя“.

— Вы что?—обращается смотритель къ толпѣ каторжныхъ.

— Срокъ окончили.

— А! На поселеніе выходите? Ну, паря, до свиданья. Желаю вамъ. Смотрите, ведите себя чисто. Не то опять сюда попадете.

— Покорнѣйше благодаримъ!—кланяются покончившіе свой срокъ каторжане.

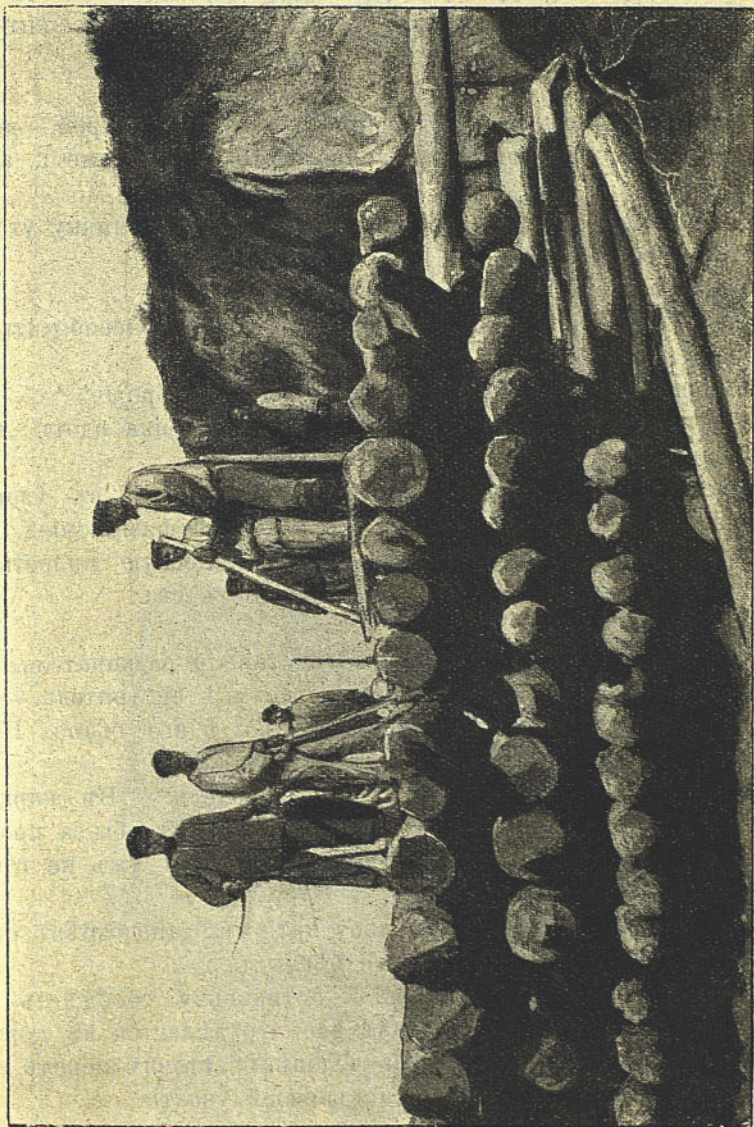
— Опять половина скоро въ тюрьму попадетъ!—успокоиваетъ меня смотритель.—Тебѣ чего?

Толпа разошлась. Передъ столомъ стоитъ одинъ мужиченка.

— Срокъ кончилъ сегодня, ваше высокоблагородіе. Да не отпускаютъ меня. Съ топоромъ у меня...

— Топоръ у него пропалъ казенный,—объясняетъ старшій надзиратель.

- Пропилъ, паря?
— Никакъ нѣтъ. Я не пью.
— Не пьётъ онъ!—какъ эхо подтверждаетъ и надзиратель.



Арестантскія работы. Составленіе плотовъ.

- Украли у меня топоръ-отъ.
— Кто же укралъ? Вѣдь знаешь, небось?
Мужиченка чешетъ въ затылкѣ.

— Нешто я могу сказать, кто. Сами знаете, ваше высокоолагородіе, что за это бываетъ, кто говорить.

— Въдь вотъ народецъ, я вамъ доложу! — со злостью говорить смотритель. — Воровать другъ у друга — воруютъ, а сказать — не смѣй! Что жъ, братъ, не хочешь говорить, — и сиди, пока казенный топоръ не найдется. Большой срокъ-то у тебя былъ?

— Десять годовъ!

— Позвольте доложить, — вступается кто-то изъ писарей, — деньги тутъ у него есть заработанныя, немного. Вычестъ, можетъ, за топоръ можно.

— Такъ точно, есть, есть деньги! — какъ за соломинку утопающій хватается мужиченка.

На лицѣ радость, надежда.

— Ну, ладно! Такъ и быть. Зачтите за топоръ. Освободить его! Ступай, чортъ съ тобой!

— Покорнѣйше благодаримъ, ваше высокоблагородіе!

И „напутствованный“ такимъ образомъ мужиченка идетъ „вести новую жизнь“.

Его мѣсто передъ столомъ занимаетъ каторжникъ въ изорванномъ бушлатѣ, разорванной рубахѣ, съ подбитой физиономіей.

— Ваше высокоблагородіе! Явите начальническую милость! Не дайте погибнуть! — не говорить, а прямо вопіеть онъ.

— Что съ нимъ такое?

— Опять побили его! — докладываетъ старшій надзиратель.

— Вотъ не угодно ли? — обращается ко мнѣ смотритель. — Что мнѣ съ нимъ дѣлать, — куда не переведу, вездѣ его бьютъ. Прямо смертнымъ боемъ бьютъ.

— Такъ точно! — подтверждаетъ и надзиратель. — Въ карцеръ, какъ вы изволили приказать, въ общій сажаль, будто бы за провинность¹⁾. Не повѣрили, — и тамъ избили. На работы ужъ не гоняю. Того и гляди, — совсѣмъ пришыють.

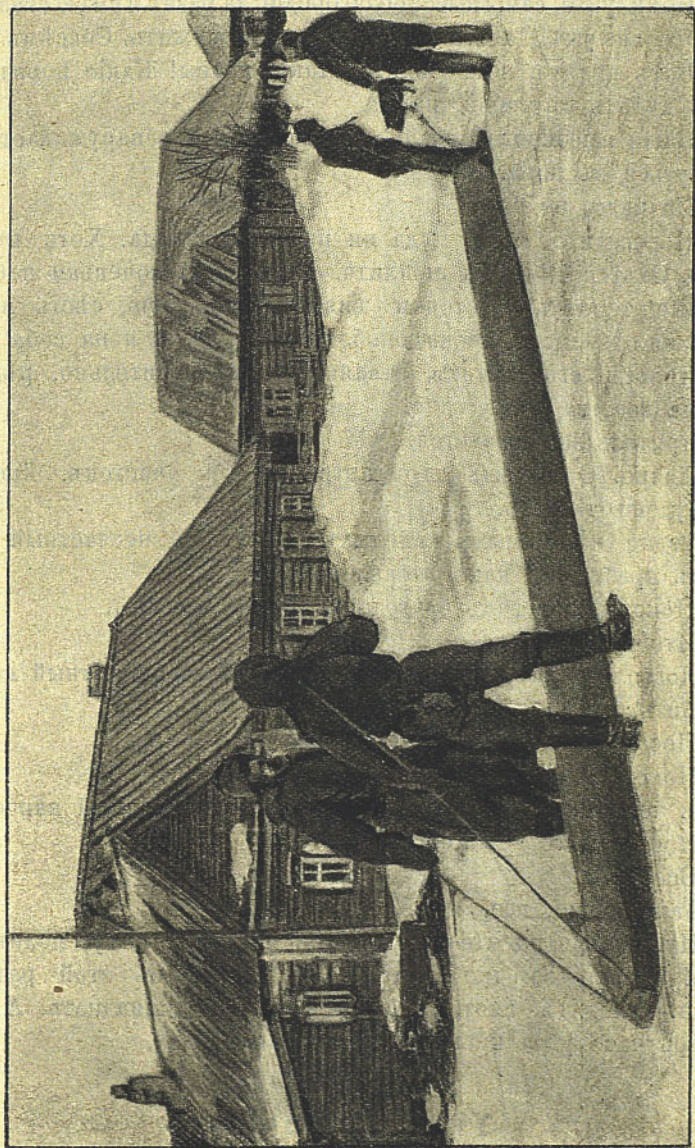
Человѣкъ, заслужившій такую злобу каторги, заподозрѣнъ ею въ томъ, что донесъ, гдѣ скрылись двое бѣглыхъ.

— А полезный человѣкъ былъ! — потихоньку сообщаетъ мнѣ смотритель. — Черезъ него я узнавалъ все, что дѣлается въ тюрьмѣ.

И вотъ теперь этотъ „полезный человѣкъ“ стоялъ передъ нами избитый, безпомощный, отчаявшійся въ своей участи.

¹⁾ Это дѣлается часто; доносчиковъ, „для отвода глазъ“, подвергаютъ наказанію, будто онъ въ немилости у смотрителя. Часто дочосички, заподозрѣнные каторгой, просятъ даже, чтобы ихъ подвергли тѣлесному наказанію, „а то убьютъ“.

Каторга его бьетъ. Тѣ, кому онъ былъ полезенъ,—что они могутъ подѣлать съ освирипѣвшей, остервенившейся каторгой?



Бренотаски.

— Наказывай ихъ, пожалуй! А они еще сильнѣе его бить начнутъ. Уходятъ еще совсѣмъ!

— И уходить, ваше высокоблагородіе,—тоскливо говорить доносчикъ,—безпримѣнно они меня уходятъ.

— Да хоть кто билъ-то тебя, скажи? Зачинщикъ-то кто, по крайней мѣрѣ?

— Помилуйте, ваше высокоблагородіе, да развѣ я смѣю сказать? Будетъ! Довольно ужъ! Да мнѣ тогда одного дня не жить. Совсѣмъ убьютъ.

— Вотъ видите, вотъ видите! Какіе нравы! Какіе порядки! Что жъ мнѣ дѣлать съ тобой, паря?

— Ваше высокоблагородіе!—и несчастный обнаруживаетъ желаніе кинуться въ ноги.

— Не надо, не надо.

— Переведите меня куда ни на есть отсюда. Хоть въ тайгу, хоть на Охотскій берегъ пошлите. Нѣтъ моей моченьки побои эти неистовые терпѣть. Косточки живой нѣтъ. Лечь, състь не могу. Все у меня отбили. Ваше высокоблагородіе, руки я на себя наложу!

Въ голосъ его звучитъ отчаяніе, и, дѣйствительно, рѣшимость пойти на все, на что угодно.

Смотритель задумывается.

— Ладно! Отправить его завтра во 2-й участокъ. Дрова изъ тайги будешь таскать.

Это одно изъ самыхъ тяжелыхъ работъ, но несчастный радъ и ей, какъ празднику, какъ избавленью.

— Покорнѣйше васъ благодарю. Ваше высоко...

— Что еще?

— Дозвольте на эту ночь меня въ карцеръ одиночный посадить! Опять бить будутъ.

— Посадите!—смѣется смотритель.

— Покорнѣйше благодарю.

Вотъ человѣкъ, вотъ положеніе,—когда одиночный карцеръ, пугало каторги, и то кажется раемъ.

— Все?

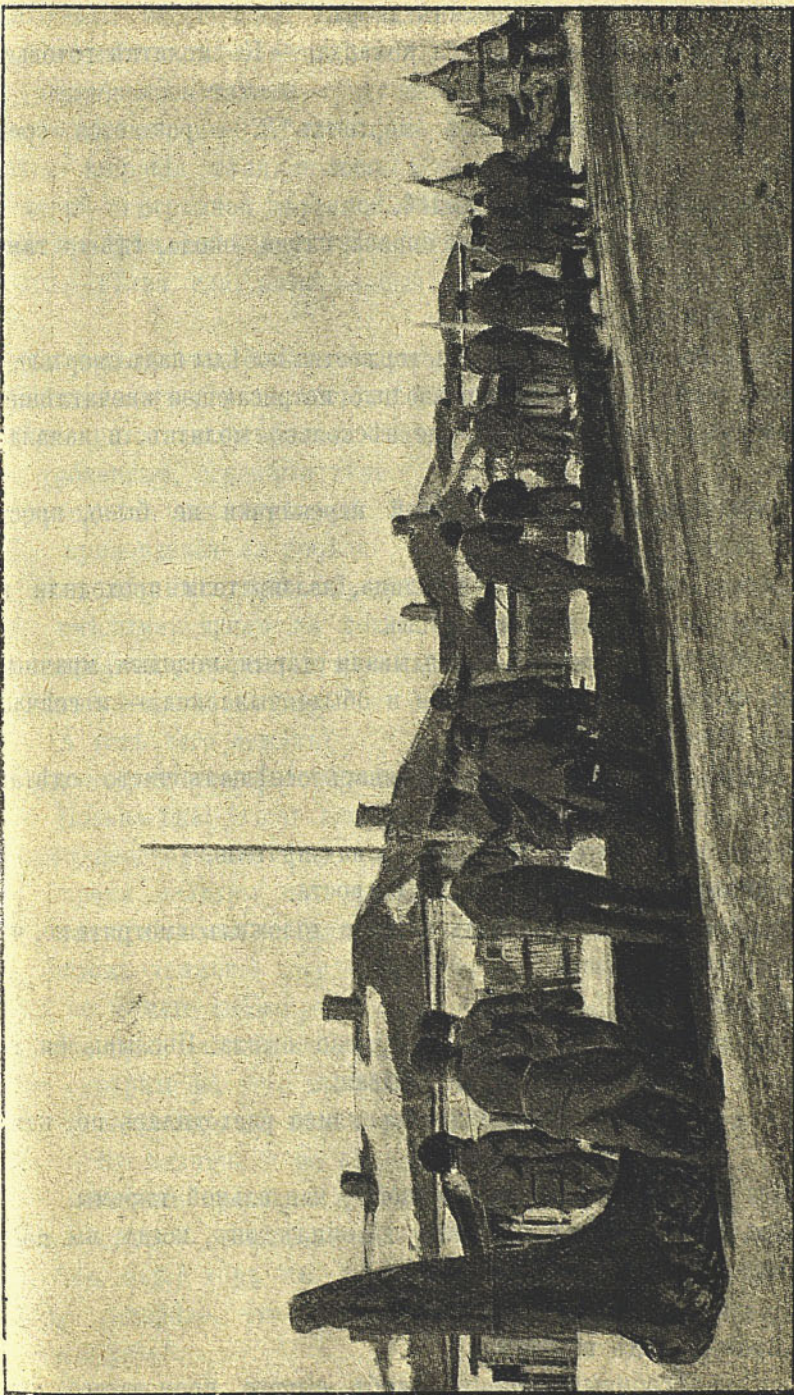
— Такъ точно, все.

— Ну, теперь идемте въ тюрьму, на перекличку, молитву,—да и спать! Поздно сегодня люди спать лягутъ съ этой разгрузкой парохода!—глядитъ смотритель на часы.—Одиннадцать. А завтра въ четыре часа утра прощу на раскомандировку.

Тюрьма ночью.

Холодная, темная, безлунная ночь. Только звѣзды мерцаютъ.

По огромному тюремному двору тамъ и сямъ бѣгаютъ огоньки фонариковъ.



Арестантскія работы. Кіторжане, тащащіе балку для баржи.

Не видно не зги, но чувствуется присутствіе, дыханье толпы. Мы останавливаемся предъ высокимъ чернымъ силуэтомъ какого-то зданія: это—часовня посрединѣ двора.

— Шапки долой! — раздается команда. — Къ молитвѣ готовься. Начинай.

— „Христось воскресе изъ мертвыхъ“... — раздается среди темноты.

Поютъ сотни невидимыхъ людей.

Голоса слышатся въ темнотѣ справа, слѣва, около, гдѣ-то тамъ, вдали!..

Словно вся эта тьма заплѣла.

Этотъ гимнъ воскресенія, пѣснь торжества побѣды надъ смертью, — при такой обстановкѣ! Это производило потрясающее впечатлѣніе.

Невидимый хоръ пропѣлъ еще нѣсколько молитвъ, и началась повѣрка.

За позднимъ временемъ обычной переключки не было, просто считали людей.

Поднявъ фонарь въ уровень лица, надзиратели проходили по рядамъ и пересчитывали арестантовъ.

Изъ темницы на моментъ выглядывали старыя, молодыя, мрачныя, усталыя, свирѣпыя, отталкивающія и обиденныя лица, — и сейчасъ же снова исчезали во тьмѣ.

Въ концѣ каждаго отдѣленія фонарь освѣщалъ чисто одѣтаго старосту.

— Семьдесятъ пять?—спрашивалъ надзиратель.

— Семьдесятъ пять!—отвѣчалъ староста.

Старшій надзиратель подвелъ итогъ и доложилъ смотрителю, что всѣ люди въ наличности.

— Ступай спать!

Толпа зашумѣла. Тьма кругомъ словно ожила. Послышался топъ ногъ, разговоръ, вздохи, позѣвыванія.

Усталые за день каторжники торопливо расходились по камерамъ.

— Кто идетъ?—окрикнулъ часовой у кандалной тюрьмы.

— Кто идетъ? — уже отчаянно завопилъ онъ, когда мы подошли ближе.

— Г. смотритель! Что орешь-то?..

Мы прошли подъ воротами.

Загремѣлъ огромный замокъ, клубъ сырого, промозглаго пара вырвался изъ отворяемой двери, — и мы вошли въ одинъ изъ „номеровъ“ кандалнаго отдѣленія.

— Смирно! Встать!

Наше появленіе словно разбудило дремавшіе кандалы.

Кандалы забренчали, залязгали, зазвенѣли, заговорили своимъ отвратительнымъ говоромъ.

Чувствовалось тяжело среди этого звона цѣпей, въ полумракѣ кандалной тюрьмы. Я взглянулъ на стѣны. По нимъ тянулись какія-то широкія тѣни, полосы. Словно гигантскій паукъ заткалъ все какой-то огромной паутиной... Словно какія-то огромныя летучія мыши прицѣпились и висѣли по стѣнамъ.

Это — вѣтви ели, развѣшанныя по стѣнамъ для освѣженія воздуха.

Пахло сыростью, плѣсенью, испариной.

Кандалныхъ переключекъ по фамиліямъ.

Они проходили мимо насъ, звеня кандалами, а по стѣнѣ двигались уродливыя, огромныя тѣни.

Въ одномъ изъ отдѣленій было двое тачечниковъ. Оба — кавказцы, прикованные за побѣги.

Одинъ изъ нихъ, высокій, крѣпкій мужчина, съ открытымъ лицомъ, смѣлыми, врядъ ли когда отражавшими страхъ глазами, — при переключкѣ, громохая цѣпями, провезъ свою тачку мимо насъ.

Другой лежалъ въ углу.

— А тотъ чего лежитъ?

Тачечникъ что-то проговорилъ слабымъ, прерывающимся голосомъ.

— Больна она! Очень шибко больна! Слаба стала! — объяснилъ татаринъ-переводчикъ.

Во время молитвы онъ поднялся и стоялъ, опираясь на свою тачку, охая, вздыхая, напоминая какой-то страдальческій призракъ, при каждомъ движеніи звенѣвшій цѣпами.

Вы не можете себѣ представить, какое впечатлѣніе производитъ человѣкъ, прикованный къ тачкѣ.

Вы смотрите на него прямо съ удивленіемъ.

— Да чего это онъ ее все возитъ?

И воочию видишь, и не вѣрится въ это наказаніе.

По окончаніи провѣрки кандалные пѣли молитвы.

Было странно слышать: въ „номерѣ“ — 40 — 50 человѣкъ, а поетъ слабенькій хоръ изъ 7—8. Остальные все кавказцы...

Меня удивляло, что въ кандалномъ отдѣленіи не пѣли „Христосъ воскресе“.

— Почему это? — спросилъ я у смотрителя.

— А забыли, вѣроятно!

Люди, забывшіе даже про то, что теперь пасхальная недѣля!..

Раскомандировка.

5 ый часъ. Только-только еще разсвѣло.

Морозное утро. Иней легкимъ бѣлымъ налетомъ покрываетъ все: землю, крыши, стѣны тюрьмы.

Изъ отворенныхъ дверей столбомъ валитъ паръ. Нехотя, почесываясь, потягиваясь, выходятъ невыспавшіеся, не успѣвшіе отдохнуть люди; нѣкоторые на ходу надѣваютъ свое „рванье“, другіе торопятся прожить хлѣбъ.

Нечувствуется обычной свѣжести и бодрости трудового, рабочаго утра.

Люди становятся шеренгами; плотники — къ плотникамъ, чернорабочіе — къ чернорабочимъ.

Надзиратели по спискамъ выкликаютъ фамиліи.

— Здѣсь!.. Есть!.. — на всѣ тоны слышится съ разныхъ концовъ двора голоса, то заспанные, то мрачные, то угрюмые.

— Мохамедъ-Бекъ - Искандеръ-Али-Оглы! — запинаясь читаетъ надзиратель. — Ишь, чортъ, какой длинный!

— Иди, что ли, дьяволъ! Малайка ¹⁾, тебя зовутъ! — толкаютъ каторжные кавказца, за три года каторги все еще не привыкшаго узнавать своего громкаго „бекскаго“ имени въ безбожно исковерканной передачѣ надзирателя.

Надъ всѣмъ этимъ царитъ кашель, хриплый, затяжной, типичный катаральный кашель.

Многихъ прохватываетъ на морозцѣ „цыганскій потъ“. Дрожать, еле попадаютъ зубъ на зубъ.

Ждутъ не дождутся, когда крикнуть:

— Пошелъ!

Еще очень недавно ² этотъ ранній часъ, часъ раскомандировки, былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и часомъ возмездія.

Посрединѣ двора ставили „кобылу“, — и тутъ же, въ присутствіи всей каторги, палачъ наказывалъ провинившагося или не выполнившего наканунѣ урока.

А каторга смотрѣла и... смѣялась.

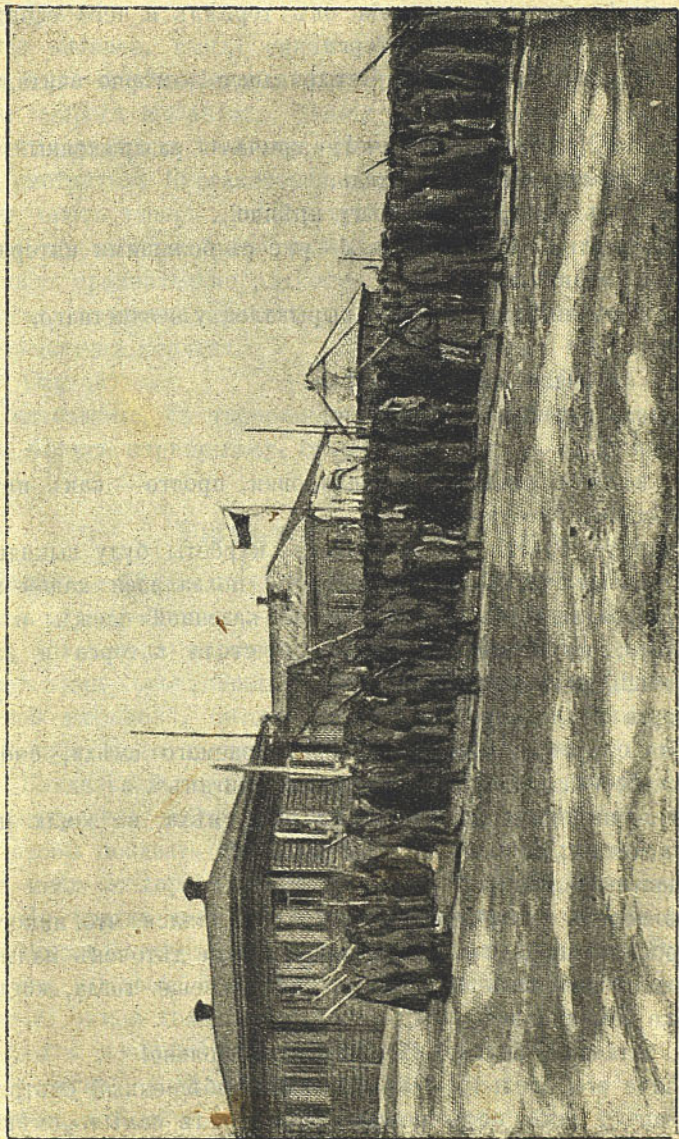
— Баба!.. заверещалъ какъ поросенокъ! Не любишь! — встрѣчали они смѣхомъ всякій крикъ наказуемаго.

Жестокое зрѣлище!

Иногда каторга „экзаменовала“ своихъ стремившихся заслужить уваженіе товарищей и попасть въ „Иваны“, въ герои каторги.

1) Названіе всѣхъ молодыхъ кавказцевъ. Старые зовутся „Вабаями“.

На кобылу клали особенно строптивого арестанта, клявшагося, что онъ ни за что „не покорится начальству“.



Партія кандалныхъ, идущая на работу.

И каторга съ интересомъ ждала, какъ онъ будетъ держать себя подъ розгами.

Стиснувъ зубы, подчасъ до крови закусивъ губы, лежалъ онъ на кобылѣ и молчалъ.

Только дико вращавшіеся глаза да надувшіеся на шеѣ жилы говорили, какія жестокія мученія онъ терпѣлъ и чего стоитъ это молчаніе предъ лицомъ всей каторги.

— Двѣнадцать! Тринадцать! Четырнадцать! — мѣрно считалъ надзиратель.

— Не мажь!.. Рѣже!.. Крѣпче! — кричалъ раздраженный этимъ стоическимъ молчаніемъ смотритель.

Палачъ билъ рѣже, клалъ розгу крѣпче...

— Пятнадцать... Шестнадцать... — уже съ большими интервалами произносилъ надзиратель.

Стонъ, невольный крикъ боли вырывался у несчастнаго.

„Срѣзался! Не выдержалъ!“

Каторга отвѣчала взрывомъ смѣха.

Смотритель глядѣлъ побѣдоносно:

— Сломалъ!

Иногда каторга ждала раскомандировки, просто — какъ интереснаго и смѣшнаго спектакля.

— Смотрите, братцы, какіе я завтра курбеты буду выкидывать, какъ меня драть будутъ. Приставленіе! — похвалялся какой-нибудь „жиганъ“, продувшій въ карты все, до казенной одежды и пайка включительно, пигающий крохами со стола каторги и за это разыгрывающій роль шута.

И каторга ждала „приставленія“.

Помирая отъ внутренняго, еле сдерживаемаго смѣха, смотрѣла она на „курбеты“, которые выдѣлывалъ „жиганъ“.

Многіе не выдерживали, прыскали отъ смѣха, на землю присѣдали отъ хохота: „Не могу, братцы вы мои“.

А несчастный „жиганъ“ старался.

Падалъ передъ смотрителемъ на колѣни, клялся, что никогда не будетъ, просилъ пощадить его, „сироту, ради дѣточекъ малыхъ“.

Не давался положить на кобылу, кричалъ еще тогда, когда палачъ только замахивался.

— Ой, батюшки, больно! Ой, родители, больно!

— Крѣпче его, шельму! — командовалъ взбѣшенный смотритель.

А „жиганъ“, лежа подъ розгами, прибиралъ самыя „смѣшныя“ восклицанія:

— Ой, бабушка моя милая! Родители мои новопреставленные!

И кровью и тѣломъ расплачивался за тѣ крохи, которыя бросала ему со своего стола каторга.

Расплачивался, доставляя ей „довольствие“.

Наказаніе кончилось, и „жиганъ“, часто еле-еле, но непремѣнно съ дѣланной, натянутой улыбкой, подходилъ къ своимъ.

— Ловко!

Еще недавно, выйдя раннимъ морознымъ утромъ на крыльцо, можно было слышать вопли и стоны, несшіеся съ тюремнаго двора.

Но tempora mutantur... Вѣянія нашего великаго гуманнаго вѣка все же сказались и на Сахалинѣ.

И смотритель Корсаковской тюрьмы горько жаловался мнѣ, что ему не даютъ теперь „исправлять“ преступниковъ.

Эти утреннія расправы, экзамены и спектакли для каторги составляютъ сравнительно рѣдкость.

Раскомандировка происходитъ и кончается тихо и мирно.

Переключка кончена.

— Ступай!

И каторжные, съ топорами, пилами, веревками, срываются съ мѣста, бѣгутъ вирипрыжку, стараясь согрѣться на ходу.

Тюрьма кандалная.

„Кандалной“ называется на Сахалинѣ тюрьма для наиболѣе тяжкихъ преступниковъ, — официально „тюрьма разряда испытуемыхъ“, тогда какъ тюрьма „разряда исправляющихся“, — для менѣе тяжкихъ или окончившихъ срокъ „испытваемости“, — называется „вольной тюрьмой“, потому что ея обитатели ходятъ на работы безъ конвоя, подъ присмотромъ одного надзирателя.

— Кандалная тюрьма у насъ плохая! — заранѣе предупреждалъ меня смотритель. — Строимъ новую, — никакъ достроить не можемъ.

И чтобы показать мнѣ, какая у нихъ плохая тюрьма, смотритель ведетъ меня по дорогѣ въ пустое, перестраивающееся отдѣленіе.

— Не угодно ли? Это стѣна? — смотритель отбиваетъ палкой куски гнилого дерева. — Да изъ нея и бѣжать-то нечего! Разбѣжался, треснулея головой объ стѣну, — и вылетѣлъ насквозь. Воздухъ скверный. Зимой холодно, вообще — дрянь.

Гремитъ огромный, ржавый замокъ.

— Смирно! — командуетъ надзиратель.

Громяхаютъ цѣпи, и около наръ вырастаютъ въ шеренгу каторжные.

На первый день Пасхи изъ кандалной тюрьмы бѣжало двое, — несмотря на данное всей тюрьмой „честное арестантское слово“, — и теперь, въ наказаніе, закованы всѣ.

Сыро и душно; запахъ ели, развѣшанной по стѣнамъ, немножко освѣжаетъ этотъ спертый воздухъ.

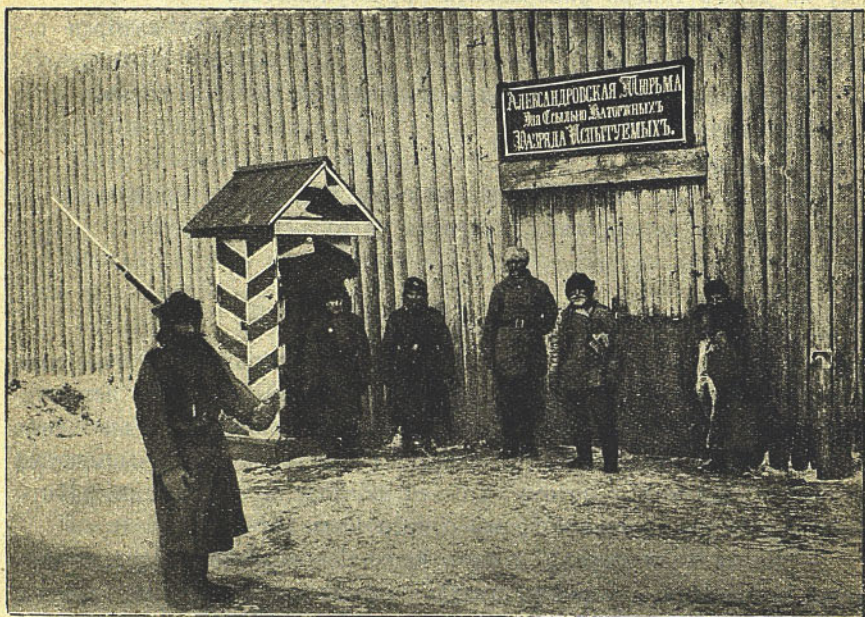
Вентиляціи—никакой.

Пахнетъ пустотой, бездомовьемъ.

Люди на все махнули рукой,—и на себя.

Никакихъ признаковъ хоть малѣйшей, хоть арестантской домовитости. Никакого стремленія устроить свое существованіе по-своему.

Даже обычные арестантскіе сундуки,—рѣдко, рѣдко у кого.



Александровская тюрьма разряда испытуемыхъ.

Голыя нары, свернутые комкомъ соломенные грязные матрацы въ головахъ.

По этимъ голымъ нарамъ бродить, поднимъ хвостъ, ободранная чахлая кошка и, мурлыкая, ласкается къ арестантамъ.

Арестанты очень любятъ животныхъ; кошка, собака—обязательная принадлежность каждого „номера“. Можетъ-быть, потому и любятъ, что только животныя и относятся къ нимъ какъ къ людямъ.

Посреди номера столъ,— даже не столъ, а высокая длинная узкая скамья. На скамьѣ налито, валяются хлѣбныя крошки, стоятъ неубранныя жестяные чайники.

Мы заходимъ какъ разъ въ тотъ „номеръ“, гдѣ живутъ двое „тачечниковъ“.

— Ну-ка, покажи свой инструментъ!

Несмазанная „телѣжка“ визжитъ, цѣпи громяхаютъ, прикованный тачечникъ подвозить къ намъ свою тачку.

Тачка, — вѣсомъ пуда въ два, — прикована длинной цѣпью къ ножнымъ кандаламъ.

Раньше она приковывалась къ ручнымъ, но теперь ручные кандалы надѣваются на тачечниковъ рѣдко, въ наказаніе за особыя провинности.

Куда бы ни шель арестантъ, — онъ всюду везетъ за собой тачку.

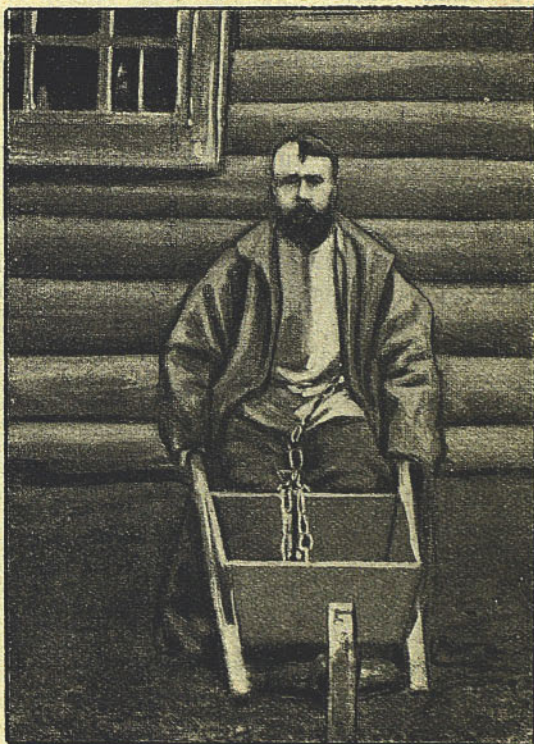
Съ нею и спать, на особой койкѣ, въ уголкѣ, ставя ея подъ кровать.

— На сколько лѣтъ приговоренъ къ тачкѣ? — спрашиваю.

— На два. А до него на этой постели спалъ три года другой тачечникъ.

Я подхожу къ этой постели.

У изголовья дерево сильно потерто. Это — цѣпью. Пять лѣтъ третъ это дерево цѣпью...



Тачечникъ, прикованный къ тачкѣ на два года.

— Дерево, и то стирается! — угрюмо замѣчаетъ мнѣ одинъ изъ каторжниковъ.

Наказаніе тяжкое, — оно было бы совсѣмъ невыносимымъ, если бы тачечники изрѣдка не давали сами себѣ отдыха.

Трудно заковать арестанта „наглухо“. При помощи товарищей, намазавъ кандалы мыломъ, — хоть и съ сильной болью, они иногда снимаютъ на ночь оковы, а съ ними освобождаются и отъ тачки, отдыхаютъ хоть нѣсколько часовъ въ мѣсяцъ.

Бываютъ случаи даже побѣговъ „тачечниковъ“

— Работаютъ у васъ тачечники?

— Я заставляю,—а въ другихъ тюрьмахъ отказываются. Ничего съ ними не подѣлаешь: народъ во всемъ отчаявшійся.

Кругомъ угрюмыя лица. Безнадежностью свѣтящіеся глаза. Холодные, суровые, озлобленные взгляды,—и злоба и страданіе свѣтятся въ нихъ. Вотъ-вотъ, кажется, лопнетъ терпѣніе этихъ „испытываемыхъ“ людей.

Никогда мнѣ не забыть одного взгляда.

Среди каторжныхъ одинъ интеллигентный, нѣкто Козыревъ, москвичъ, сосланный за дисциплинарное преступленіе на военной службѣ.

Симпатичное лицо. И что за странный, что за страшный взглядъ!

Такой взглядъ бываетъ, вѣроятно, у утопающаго, когда онъ въ послѣдній разъ всплываетъ надъ водой и оглянется,—ничего, за что схватиться, ниоткуда помощи, ничего, кромѣ волны, кругомъ. Безнадежно, съ предсмертной тоской взглянетъ онъ кругомъ и молча пойдетъ ко дну, безъ борьбы.

— Поскорѣй бы!

Тяжело и глядѣть на этотъ взглядъ, а каково имъ смотрѣть?

Среди кандалныхъ содержатся бѣглые, рецидивисты и состоящіе подъ слѣдствіемъ.

— Ты за что?

— По подозрѣнію въ убійствѣ.

— Ты?

— За кражу.

— Ты?

— По подозрѣнію въ убійствѣ.

„По подозрѣнію“... „по подозрѣнію“... „по подозрѣнію“.

— Ты за что?

— За убійство двоихъ человѣкъ!—слышится прямой, рѣзкій отвѣтъ, сказанный твердымъ, рѣшительнымъ голосомъ.

— Поселенецъ онъ!—объясняетъ смотритель.—Отбылъ каторгу и теперь опять убилъ.

— Кого жъ ты?

— Сожительницу и надзирателя.

— Изъ-за чего жъ вышло?

— Баловаться начала. Съ надзирателемъ баловалась. „Пойду да пойду къ надзирателю жить, что мнѣ съ тобой, съ поселенцемъ-то каторжнымъ?“—„Врешь,—говорю,—не пойдешь“. Просилъ ее, молилъ, Господомъ Богомъ заклиналъ. И не пошла бы, можетъ, да надзиратель за ней пришелъ—и взялъ. „Я,—говорить,—ее въ посты

поведу. Ты съ ней скверно живешь. Бьешь". — „Врешь, — говорю, — эеіонская твоя душа! Пальцемъ ее не трогаю. И тебѣ ее не отдамъ. Не имѣешь никакого права ее отъ меня отбирать!" — „У тебя, — говорить, — не спрашивался! Одѣвайся, пойдемъ, — чего на него смотрѣть". Упреждалъ я: не дѣлай, молъ, этого, плохо выйдетъ. „А ты, — говорить, — еще погрози, въ карцеи, видно, давно не сиживаль. Скажу слово — и посидишь!" Взялъ ее и повелъ...

Передергиваетъ поселенца при одномъ воспоминаніи.



Маклаки, торгующіе хлѣбомъ у тюрьмы.

— Повелъ ее, а у меня голова кругомъ. „Стой“, думаю. Взялъ ружье, — ружьишко у меня было. Они-то дорогой шли, — а я тайгой, тропинкой, впередъ ихъ забѣжалъ, притаился, подождалъ. Вижу, идутъ, смѣются. Она-то зубы съ нимъ скалить... И прикончилъ. Сначала его, а потомъ ужъ ее, — чтобъ видѣла!

„Прикончивъ“, поселенецъ жестоко надругался надъ трупами. Буквально искромсалъ ихъ ножомъ. Много накопившейся злобы, тяжелой обиды сказалось въ этомъ звѣрскомъ, циничномъ издѣвательствѣ надъ трупами.

— Себя тогда не помнилъ, что дѣлалъ. Радъ только былъ, что ему не досталась... Да и тяжело было.

Поселенецъ—молодой еще человекъ, съ добродушнымъ лицомъ. Но въ глазахъ, когда онъ рассказываетъ, свѣтится много воли и рѣшимости.

— Любишь ты ее, что ли?

— Извѣстно, любишь. Не убивалъ бы, если бъ не любилъ...

— Ваше высокоблагородіе, — пристаётъ къ смотрителю, пока я разговариваю съ сторонкѣ, пожилой мужичонка, — велите меня изъ кандалной выпустить! Что жъ я сдѣлалъ? На три дня всего отлучился. Горе взяло, — выпилъ, только и всего. Досталъ водки бутылку, да и прогулялъ. За что же меня держать?

— Врешь, паря, убѣжишь!

— Господи, да зачѣмъ мнѣ бѣжать? Что мнѣ, въ тюрьмѣ, что ли, нехорошо? — распинается „бѣглець“. — Сами изволите знать, было бы плохо, — взялъ „борцу“, да и конецъ. Сами знаете, лучше ничего и не можетъ быть. Борецъ — отъ каторги средство первое.

— Долго ли меня здѣсь держать будутъ? — мрачно спрашиваетъ другой. — Долго ли, спрашиваю!

— Слѣдствіе еще идетъ.

— Да вѣдь четвертый годъ я здѣсь сижу, задыхаюсь! Долго ли моему терпѣнію предѣла не будетъ? Вѣдь сознаюсь я...

— Мало ли что ты, паря, сознаешься, да слѣдствіе еще не кончено.

— Да вѣдь силъ, силъ моихъ, говорю, нѣту.

— Ваше высокоблагородіе! Что жъ это за баланду дали? Ъсть невозможно! Картошка не чищенная! На Пасху разговляться, — и т. рыбу дали!..

Мы выходимъ.

— Выпустите вы меня, говорю, вамъ...

— Ваше высокоблагородіе, долго ли?.. Ваше...

Надзиратель запираетъ дверь большимъ висячимъ замкомъ.

Изъ-за запертой двери доносится глухой гулъ голосовъ.

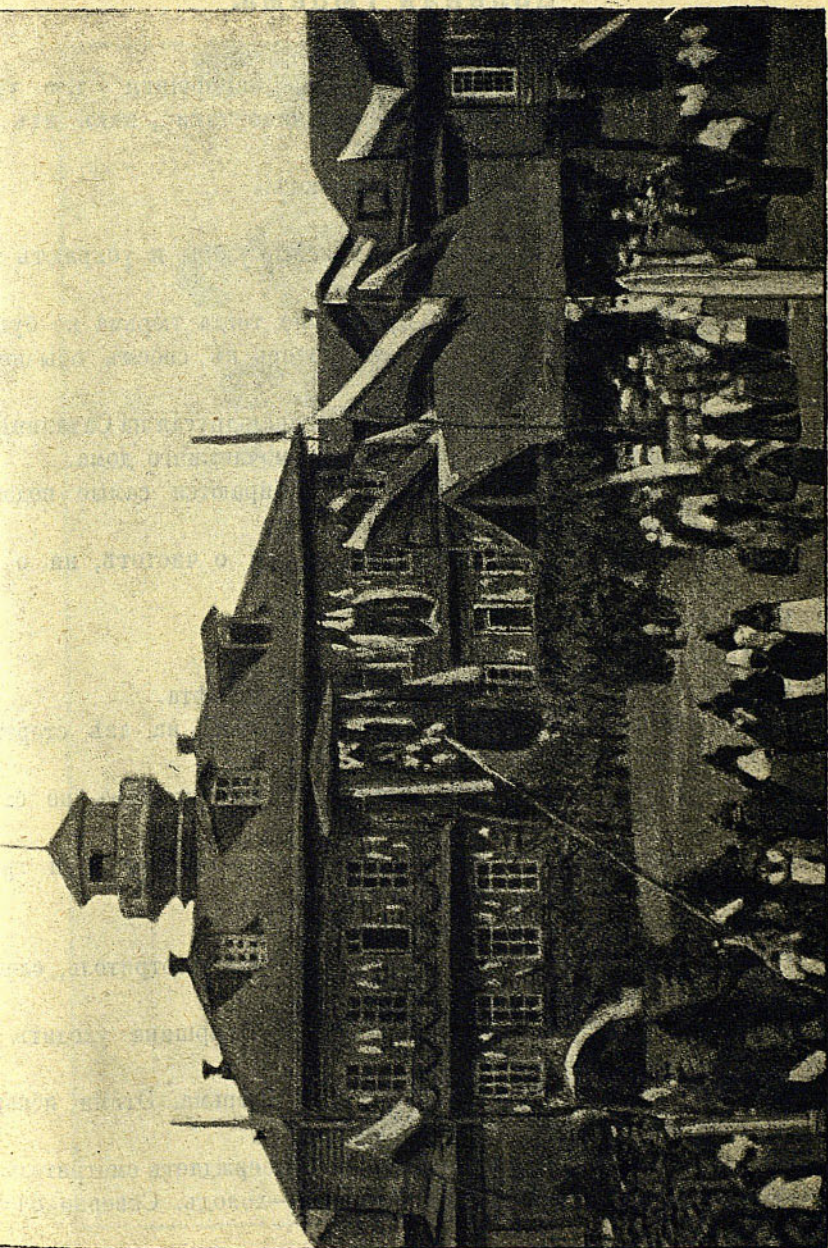
Корсаковская кандалная тюрьма — одна изъ наиболѣе мрачныхъ наиболѣе безотрадныхъ на Сахалинѣ.

Быть-можетъ, ея обитатели произвели на васъ не только неприятное, — отталкивающее впечатлѣніе?

Милостивые государи, вы стоите рядомъ съ человѣческимъ горемъ. А горе надо слушать сердцемъ.

Тогда вы услышите въ этомъ „звѣрствѣ“ много и человѣческихъ мотивовъ, въ „злѣбѣ“ — много страданія, въ „циничномъ“ смѣхѣ — много отчаянія...

По грязному двору кандалной тюрьмы мы переходимъ въ „отдѣленіе исправляющихся“.



Александровская тюрьма въ день пріѣзда высшаго начальства.

Вольная тюрьма.

Люди на работахъ.

Въ тюрьмѣ остались только староста, „каморщики“, т.-е. уборщики камеръ, парашечники, — вообще „чиновники“, какъ ихъ насмѣшливо называетъ каторга.

Метутъ, скребутъ, чистятъ, прибираютъ.

Вездѣ бѣлятъ.

Изъ ельника дѣлаютъ очень живописные узоры и убираютъ ими стѣны.

Ждутъ приѣзда начальства, — и, конечно, тогда тюрьма не будетъ имѣть того вида, какой она имѣетъ теперь въ своемъ обычномъ, повседневно, будничномъ уборѣ.

Вольная тюрьма, — и Корсаковская и всякая другая на Сахалинѣ, — производитъ впечатлѣніе просто-напросто ночлежного дома.

Очень плохого, очень грязнаго, гдѣ собираются самые подонки городской нищеты.

Гдѣ никто не заботится ни о воздухѣ, ни о чистотѣ, ни о гигиенѣ.

Пришелъ, выспался — и ушелъ!

— Пропади она пропадомъ!

Грязныя, тусклыя окна пропускаютъ мало свѣта.

Нары — посреди каждаго „номера“ — скатомъ на двѣ стороны. Нары вдоль стѣнъ.

Грязь — хоть ножомъ отскабливай. Мыломъ никакимъ не отмоешь.

Когда моютъ полы, поднимаютъ одну изъ половицъ, и грязь просто-напросто стекаетъ подъ полъ.

Мы застаемъ какъ разъ такую картину.

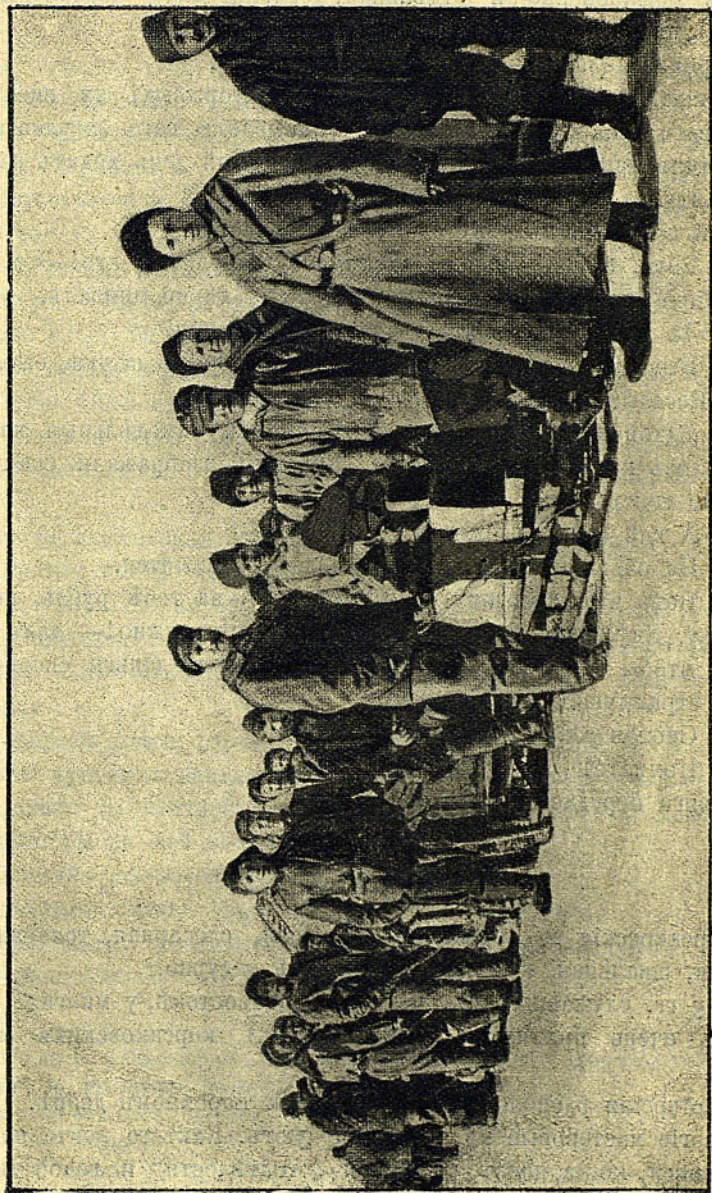
— Ахъ, свиньи, свиньи! — качаетъ головой смотритель, словно въ этомъ виноваты однѣ „свиньи“.

Пробую палкой, — палка чуть не на полъ-аршина уходитъ въ жидкую грязь въ подполицѣ.

На этомъ-то болотѣ изъ грязи стоитъ тюрьма. Этими испареніями дышатъ люди.

— Очень, очень скверная тюрьма! — подтверждаетъ смотритель. — Теперь еще ничего, только сыро. А зимой — холодъ. Скверно, очень очень скверно.

Почти во всякой тюрьмѣ, въ какомъ-нибудь номерѣ, вы непременно увидите скрипку. Она виситъ обыкновенно на передней стѣнѣ.



Партія арестантовъ.

гдѣ висить все, что есть наиболѣе цѣннаго у тюрьмы, — образъ, лубочныя картины, какія есть, лучшее платье. Около этой же стѣны стоитъ обыкновенно и отдѣльная, сравнительно чистая постель — всегда „чисто“ одѣтаго въ свое платье старосты.

Скрипка — любимый инструментъ каторги.

Помню, я рассказалъ кому-то изъ каторжныхъ ту сцену изъ „Мертваго дома“, гдѣ Достоевскій описываетъ, какъ загулявшій каторжанинъ нанимаетъ скрипача, и тотъ цѣлый день ходитъ за нимъ и пицить на скрипкѣ.

Мой собесѣдникъ даже словно обрадовался.

— Вотъ, вотъ, — для этого самаго! Загуляетъ кто! Это господинъ, про котораго вы изволите говорить, вѣрно описаль.

— Да вѣдь онъ описывалъ давнишнее время.

— Все одно, — и теперь-съ. Скрипка — первая штука, ежели гулять. Веселый струментъ.

Въ одной изъ камеръ на стѣнѣ висѣли самодѣльныя картины одного изъ каторжныхъ, Бабаева. Картины изображали скачущихъ верхами генераловъ.

— А гдѣ самъ художникъ?

— На обахтѣ сидитъ. Въ одиночкѣ содержится.

— Вотъ что, я возьму одну картину, — на тебѣ рубль, передай Бабаеву. Ему, чай, на табачишко, на сахаръ нужно! — далъ я нарочно, чтобы испытать, передастъ ли человѣкъ деньги своему еще болѣе страждущему товарищу.

— Смотри же, передай!

— Помилте!

Деньги переданы не были.

Мастерскія.

Корсаковскія мастерскія, — столярная, слесарная, токарная, сапожная, швальная, кузница, — работаютъ недурно.

И у гг. служащихъ и... даже во Владивостокѣ, у многихъ можно видѣть очень приличную мебель работы корсаковскихъ мастерскихъ.

Мастерскія расположены здѣсь же на тюремномъ дворѣ.

Многіе мастеровые въ нихъ и почуютъ. Какъ-то легче на душѣ становится, когда послѣ тюремной „оголтѣлости“ и голой нищеты входишь въ мастерскія.

Здѣсь хоть чуть-чуть да пахнетъ въ воздухѣ достаткомъ, у всякаго есть хоть что-нибудь и лишнее.

Люди имѣютъ кое-какой посторонній заработишко,—по праздникамъ, во время, полагающееся для отдыха.

У кого есть кроватишка, у кого хоть какое-нибудь лишнее тряпье.

Да и лица не такія ужъ „каторжныя“,—трудъ все-таки кладесть на нихъ благородный, человѣческій отпечатокъ.

Трудъ подневольный, „барщина“,—но если вы хотите видѣть какъ можетъ работать арестантъ, съ какой охотой, какъ старательно онъ работаетъ, если хоть чуть-чуть заинтересованъ въ трудѣ,—похвалите работу.

— Отличные, молъ, коты (арестантскіе башмаки). Видно, хорошій мастеръ. Тонкую работу исполнять можешь.

Доброе слово на каторгѣ — рѣдкость ¹⁾.

Доброе слово, непривычное, производить на каторжнаго больше впечатлѣнія, чѣмъ привычная розга.

Отъ похвалы лицо рабочаго распухнетъ въ улыбку,—онъ не-премѣнно достанетъ изъ „укладки“ и похвастается работою „на сторону“.

И что за тщательная, что за любовная работа! Подошва у другого, и та вся выстрочена какими-то рисунками.

Не то, чтобъ ему за это заплатили дороже, а любить онъ „свою“ работу, старается надъ ней, отдѣлываетъ сапогъ какой-нибудь, словно художникъ-ювелиръ гранить рѣдкій, ему самому нравящійся брилліантъ.

И не даромъ люди, хорошо знающіе каторгу, говорятъ, что, если бы ее хоть чуть-чуть заинтересовать матеріально въ трудѣ, каторга меньше давала бы лѣнтяевъ, игроковъ, рецидивистовъ,—меньше народу падало бы въ ней окончательно.

Но довольно „философій“.

Передъ нами опять — мрачная, „каторжная“ картина.

Молодой парень сколачиваетъ большой, неуклюжій гробъ. Другой, уже оконченный, стоитъ тутъ же на полу.

¹⁾ Помню въ п. Александровскомъ меня привѣтствовалъ при встрѣчѣ какой-то слегка подвыпившій поселенецъ.

— Христось воскресе, баринъ!

— Воистину воскресе!

Поселенецъ снялъ шапку, поклонился въ поясъ,—нѣтъ, ниже, чѣмъ въ поясъ, рукой чуть не касаясь земли.

— Поко-орнѣйше васъ благодарю.

— Да за что ты меня благодаришь-то, чудакъ-человѣкъ?

— За хорошій отвѣтъ. Больно ласково отвѣтили.

— Покойники развѣ есть?

— Нѣтъ. Да изъ лазарета присылали сказать: будутъ. Ну, и готовимъ.

Парень со злостью заколачиваетъ гвоздь.

— Возись съ чертями! Хорошій, природный столяръ былъ, у Файнера, въ Кіевѣ, мастеровымъ служилъ, можетъ, изволите знать, первый магазинъ, — а теперь вотъ гроба сколачивай! Тфу!

— А за что пришелъ!

— Въ Кіевскомъ университетѣ за убійство.

— Съ грабежомъ?

— Съ нимъ. Много награбили, держи карманъ шире!

— А надолго?

— Безъ срока.

Неподалеку старичокъ въ очкахъ, низко нагнувшись, мастерить „коты“, тщательно заколачиваетъ гвоздики.

— Давно здѣсь, дѣдушка?

— Недавно, милостивый государь мой, — привѣтливо говоритъ онъ, — недавно.

— А за что?

— Старуху свою убилъ.

— Жену?

— Нѣтъ, такъ. Полюбовница была. Десять лѣтъ душа въ душу выжили... И этакій грѣхъ вышелъ!

— Что же случилось?

— Сдурѣла, старая. Въ Θεодосіи мы жили, я хорошимъ мастеромъ слылъ, жилъ скромно, деньжонки имѣлъ. На нихъ-то она и зазрилась. „Умреть, молъ, самъ, все родные отберутъ! Отравлю да отравлю и деньгами воспользуюсь“. А тутъ еще путаться съ молодымъ начала. „Отравлю!“ — да и все. Замѣчаю я. Живемъ, какъ два волка въ клѣткѣ, другъ на друга зубами щелкаемъ. Мнѣ ея боязно, — того и гляди, отравить; она меня опасается, — потому видать, что замѣчаю. Такъ тяжело въ тѣ поры было, такъ тяжело... Не выдержалъ... убилъ.

Какихъ, какихъ только драмъ здѣсь нѣтъ.

„Околотокъ“.

Корсаковскій тюремный околотокъ, это — тотъ же лазаретъ по назначенію, та же тюрьма по характеру.

Околотокъ, это — мѣсто, куда кладутъ не особенно тяжкихъ больныхъ, нуждающихся въ отдыхѣ.

Здѣсь же живутъ и „богодулы“, богадѣльщики, старики и молодые, неспособные, вслѣдствіе болѣзни или увѣчья, къ работѣ.

Въ околоткѣ только одно удобство — у всякаго своя постель. Воздухъ такой же спертый и душный, какъ въ тюрьмѣ.

Околоткомъ завѣдуетъ врачъ Сурминскій, „старый сахалинскій служака“, про котораго мнѣ съ восторгомъ говорилъ смотритель.

— Вотъ это докторъ, такъ докторъ! Нѣ нынѣшнимъ, не молодымъ, чета! У него слабыхъ арестантовъ не бываетъ почти, все полносильныя, всѣ годятся въ работу. Пришелъ къ нему арестантъ, жалуется, — „врешь!“ Нѣ то, что нынѣшніе!

О томъ, что это за докторъ, вы можете составить себѣ понятіе по слѣдующему.

Нашъ матросъ съ парохода „Ярославль“ обварилъ себѣ въ банѣ кипяткомъ голову.

Ожогъ былъ страшный: лицо, голова вся напоминала какую-то сплошную, безформенную массу.

Послали больного къ доктору Сурминскому.

— Пусть везутъ на пароходъ! У нихъ на пароходѣ свой врачъ есть!

И пришлось везти несчастнаго на пристань, ждать добрый часъ, пока вернется катеръ, везти больного въ сильное волненіе на зыбкомъ, качающемся катерѣ, версты за полторы отъ берега, на пароходъ.

Послѣ этого станутъ понятными всѣ рассказы, которые ходятъ въ каторгѣ про д-ра Сурминскаго.



Арестантскіе типы.

Въ разговорѣ съ нимъ меня очень удивило его нѣжное, почти любовное отношеніе къ тѣлеснымъ наказаніямъ.

— Взбрызнуть—и все.

Словно о резедѣ какой-то шла рѣчь.

И онъ съ такимъ смакомъ говорилъ это „взбрызнуть“.

Но Господь съ нимъ! Займемся лучше тюремными типами.

Вотъ чисто, даже щеголевато одѣтый пожилой человѣкъ.

Онъ нарочно прожигаетъ себѣ нѣбо папиросой и растрavляетъ рану, чтобы лежать въ околоткѣ.

— Работать, что ли, не хочетъ?

— Какое тамъ!—смѣются больные.—Старостой былъ въ „номерѣ“, за воровство прогнали. Вотъ теперь и стыдно въ „номерѣ“ глаза показать. То все спалъ на своей нарѣ, а теперь пошелъ на общую. Былъ староста, „начальство“, „чиновникъ“, а теперь—такой же каторжный.

Каторга смѣется.

Бѣдняга, видимо, сильно страдаетъ отъ уязвленного самолюбія.

— Ты что, старина?

— Богодулъ я, вашескорodie! Ни къ чему не способный человѣкъ!.. Всѣмъ и себѣ лишній. Такъ вотъ, живу только, паекъ ѣмъ!

— А много лѣтъ-то?

— Лѣтъ-то не такъ, чтобъ ужъ очень много, да побоевъ много. Изъ бродягъ я, еще въ Сибири ходилъ бродяжить. Участъ хотѣлъ перемѣнить. Споймали, такъ били, —сейчасъ отдаетъ. Ни лечь ни встать. Нутра, должно ужъ, у меня нѣтъ. Тяжко здѣсь сидѣть-то, охъ, какъ тяжело! Ну, да теперь ужъ недолго осталось.. Теперь недолго...

— Срокъ скоро кончается?

— Нѣтъ. Помру.

Рядомъ хроникъ-чахоточный

— На ту бы сторону мнѣ. Я бъ и поправился...

— А вѣдь ему ужасно въ этомъ воздухѣ быть, докторъ?

— Да... да... Ну, да что жъ дѣлать!

Женская тюрьма.

Она невелика.

Всего одинъ „номеръ“, человѣкъ на 10. Женщины вѣдь отбываютъ на Сахалинѣ особую каторгу: ихъ отдаютъ въ „сожительницы“ поселенцамъ.

Въ тюрьмѣ сидятъ только состоящія подъ слѣдствіемъ.

При нашемъ появленіи съ нарѣ встають двѣ.

Одна — старуха - черкешенка, убійца - рецидивистка, ни звука не понимающая по-русски.

Другая — молодая женщина. Крестьянка Вятской губерніи. Попала въ каторгу за то, что подговорила кума убить мужа.

— Почему же?

— Неволей меня за него отдали. А кума-то я любила. Думала, вмѣстѣ въ каторгу пойдемъ. Анъ его въ одно мѣсто, а меня въ другое.

Здѣсь она совершила рѣдкое на Сахалинѣ преступленіе.

Съ оружіемъ въ рукахъ защищала своего „сожителя“.

Онъ поссорился съ поселенцами. На него кинулось 9 человѣкъ, начали бить.

Тогда она бросилась въ хату, схватила ружье и выстрѣлила въ перваго попавшагося изъ нападавшихъ.

— Что жъ ты полюбила его, что ли, сожителя?

— Извѣстно, полюбила. Ежели бы не полюбила, развѣ стала бы его собой защищать, — чай, меня могли убить... Хорошій человѣкъ; думала, вѣкъ съ нимъ проживемъ, а теперь на-тко...

Она утираетъ набѣжавшія слезы и принимается тихо, беззвучно рыдать.

— Ничего ей не будетъ, — успокоиваетъ меня смотритель. — Осудятъ, отдадутъ на дальнее поселеніе опять къ какому-нибудь поселенцу въ сожительницы... Женщины у насъ, на Сахалинѣ, безнаказанны.

Дѣйствительно, съ одной стороны — какъ будто безнаказанность.

Но какое наказаніе можно придумать тяжелѣе этой „отдачи“ другому, отдачи женщины, полюбившей сильно, горячо, готовой жертвовать своей жизнью.

Не пахнуло ли чѣмъ-то затхлымъ, тяжелымъ на васъ? Отжитымъ временемъ? Крѣпостнымъ правомъ, когда такъ спокойно „отдавали“, играя чужой жизнью и сердцемъ?

Изъ всѣхъ тюремъ, которыя мы только что обошли съ вами, эта маленькая производитъ самое тяжелое впечатлѣніе.

Карцеры.

Сыро, тяжелый, зловонный, невыносимый воздухъ, но довольно свѣтло.

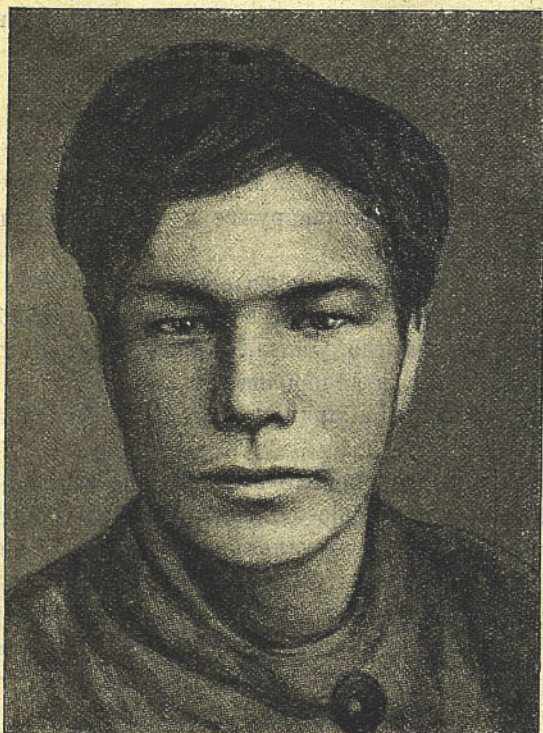
Таково общее впечатлѣніе корсаковскихъ одиночныхъ карцеровъ при гауптвахтѣ.

Здѣсь содержатся одиночные подслѣдственные и наиболѣе провинившіеся каторжные.

Вотъ — Авдеевъ.

Юноша, съ непріятнымъ лицомъ, отталкивающимъ взглядомъ. Необыкновенно циничный.

Онъ производитъ впечатлѣніе волчонка, затравленнаго и злобнаго.



Арестантскіе типы.

Словно для дополненія сходства, онъ постоянно стоитъ около окошечка въ двери и грызетъ дерево. Отгрызъ ужъ порядочно, какъ будто точить зубы.

Авдееву теперь около 19 лѣтъ, а въ пятнадцать онъ былъ ужъ признанъ неисправимымъ преступникомъ.

Авдеевъ приговоренъ къ вѣчной каторгѣ.

Въ 14 лѣтъ онъ совершилъ тяжчайшее преступленіе: убилъ отца и мать ¹⁾.

— За что же ты ихъ убилъ?

— За что убиваютъ? За деньги!

Его коротенькая жизнь—цѣлый романъ.

Его незаконный отецъ—офицеръ. Мать—плѣнная турчанка.

Отецъ сошелся съ ней во время послѣдней войны и привезъ вмѣстѣ съ прижитымъ ребенкомъ, въ Россію.

Ни отецъ ни мать не любили этого несчастнаго малыша.

Довольно состоятельные люди, они совсѣмъ забросили ребенка Авдеева еле умѣть читать.

— Извѣстно, если бы хорошо со мной обращались,—не зарѣзалъ бы

1) Убіеніе въ Воронежѣ.

О своемъ преступленіи Авдеевъ говорить спокойно, хладнокровно, цинично.

— Деньги были хорошія, — 30 тысячъ. Удраль бы за границу, — и все! Да нѣтъ, пьянствовать началъ! Извѣстно, малъ былъ, глупъ еще!

Въ каторгѣ Авдеевъ выходитъ изъ карцера, чтобы лечь на кобылу, подь розги, — и встаетъ съ кобылы, чтобъ сѣсть въ карцеръ.

Онъ упорно отказывался работать. Пробовалъ бѣжать, — поймали.

Завремя каторги онъ успѣлъ получить 500—600 розогъ.

И объ этомъ говорить такъ же спокойно, хладнокровно и цинично.

— Да почему же ты отказываешься работать?

— А такъ! Не хочу — и не стану.

— Да вѣдь что же впереди? Задерутъ!

— Задрать не смѣютъ.

— Да вѣдь больно?

— Больно, — терпѣть нужно.

— Неужели же это лучше, чѣмъ работать?

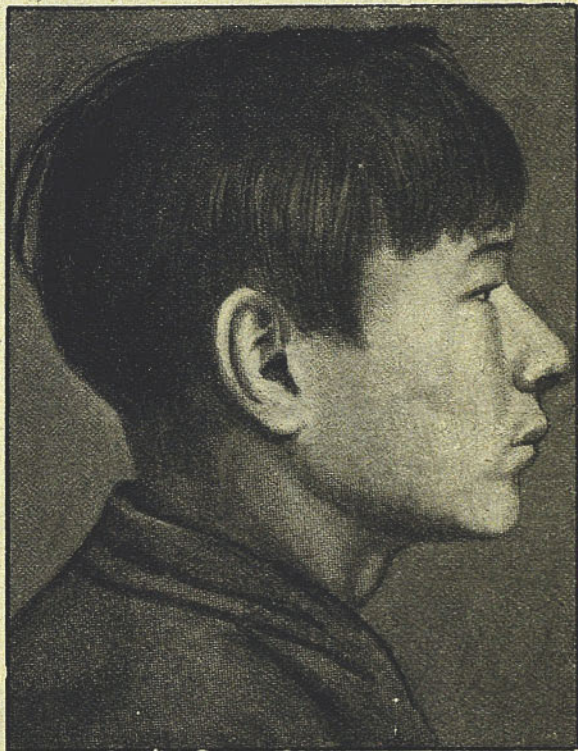
— Извѣстно, лучше. Отдеруть, — да перестануть. А работа — то съ утра до ночи, каждый день.

— Ну, а въ карцерѣ сидѣть развѣ пріятно?

— Ничего! Сидятъ люди!.. А только я вамъ прямо говорю: работать не буду! Положите, дерите хоть до смерти, — не буду!

Онъ производитъ тяжелое впечатлѣніе.

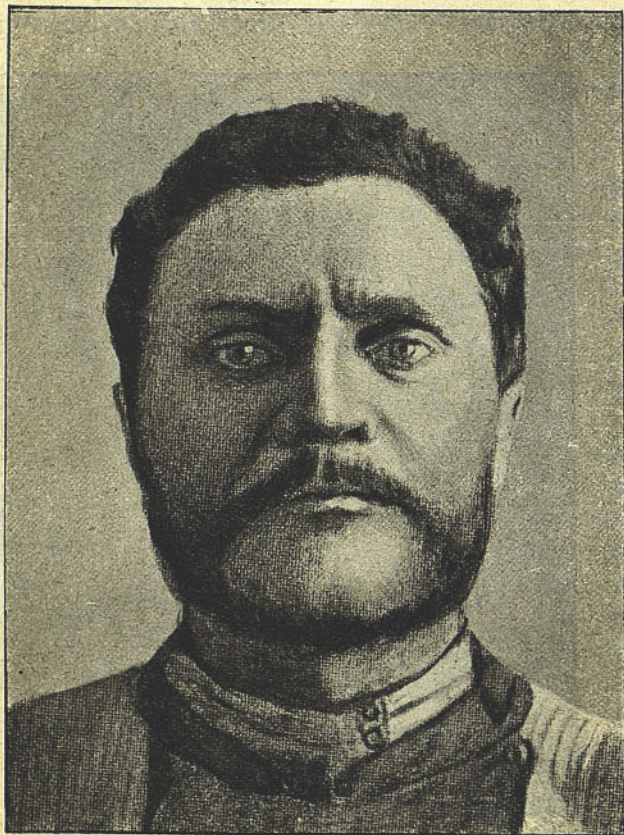
На меня лично онъ произвелъ впечатлѣніе „задерганной лошади“.



Арестантскіе типы.

Лошадь, которую сильно дергали и нахлестывали, которая остановилась и упрямо ни за что не сдѣлаетъ ни шагу впередъ, какъ бы ее ни били.

Въ такихъ случаяхъ мало-мальски опытные кучера даютъ лошади просто немного передохнуть



Арестантскіе типы.

И мнѣ кажется, что хорошая доза бромистаго калия оказала бы куда больше дѣйствія, чѣмъ розги, на этого болѣзненно-раздраженнаго, со взвинченными нервами, отвратительнаго и глубоко несчастнаго юношу.

Рядомъ съ нимъ — бывалый каторжникъ Бабаевъ

Армянинъ Эриванской губерніи

Съ симпатичнымъ лицомъ, на которомъ во время разговора играетъ добрая, заискивающая, вкрадчивая улыбка.

Маслянистые глаза, вѣчно какъ будто покрытые влагой.

Мягкій, пріятный голосъ.

Онъ говоритъ такъ мягко, нѣжно, вкрадчиво.

Бабаевъ не лишенъ артистической жилки.

Онъ очень любитъ рисовать и постоянно рисуетъ одно и то же: генераловъ съ „грудью колесомъ“, которые скачутъ на коняхъ тоже съ „грудью колесомъ“. Этими картинками увѣшана вся его камера.

Самый лучший подарокъ для него — ящикъ съ красками.

Тогда въ его глазахъ свѣтится столько счастья...

Его специальность—убивать товарищей.

Во вновь прибывшей партіи онъ высматриваетъ новичковъ съ деньгами и соблазняетъ бѣжать.

Описываетъ ужасы каторги и легкость бѣгства.

Общаетъ достать паспортъ и быть преданнымъ товарищемъ.

И нѣтъ ничего удивительнаго, что новички вѣрятъ добродушному, ласковому тону его голоса, вкрадчивой улыбкѣ, такому симпатичному лицу.

Гдѣ-нибудь въ глухой тайгѣ онъ убиваетъ товарища, отбираетъ деньги и возвращается въ тюрьму.

На эти деньги онъ живетъ, лакомится, покупаетъ себѣ краски и рисуетъ свои любимыя картинки.

Каторга обвиняетъ его въ 6 убійствахъ. Официально онъ обвиняется въ двухъ.

Погоня, отправленная ему вдогонку при послѣднемъ бѣгствѣ, — они бѣжали втроемъ, — наткнулась сначала на одинъ трупъ, потомъ — на другой, — и по этому страшному слѣду добралась до Бабаева.

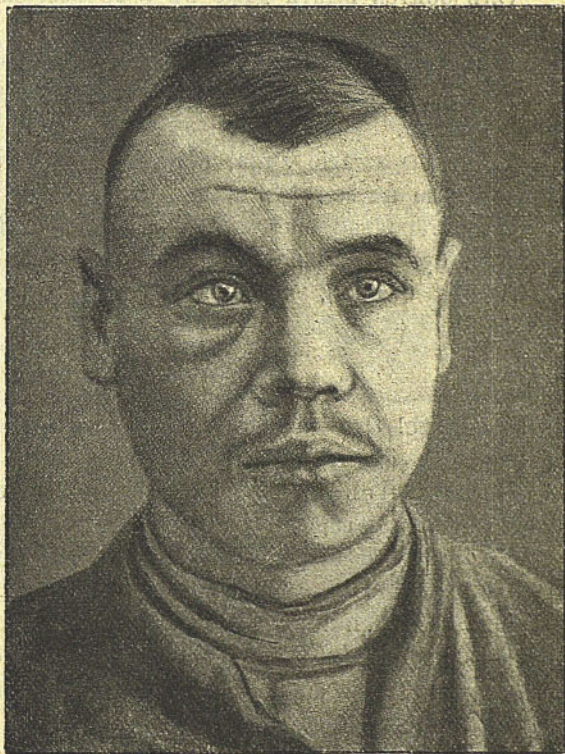
Арестантскіе типы.

Вотъ человѣкъ, „приговоренный къ жизни“.

Слѣдствіе о немъ тянется, по сахалинскому обычаю, нѣсколько лѣтъ; и самая страшная для него минута, это — когда слѣдствіе кончится и его переведутъ изъ одиночнаго заключенія въ общую тюрьму.

Объ этой минутѣ онъ боится и подумать.

Арестанты его убьютъ.



О Боже! Что это за жалкое, за презрѣнное существованіе, которое онъ влачить и которое онъ предпочитаетъ смерти.

Вѣчная мысль о мести со стороны арестантовъ развила у него манію преслѣдованія.

Онъ никуда не выходитъ изъ карцера, отказывается даже отъ прогулокъ.

Онъ боится выйти даже въ сопровожденіи солдатъ.

— Бросится кто-нибудь и убьетъ.

И когда онъ говоритъ это, онъ блѣднѣетъ, судороги пробѣгаютъ по лицу, а глаза полны такого страха, словно надъ нимъ ужъ занесенъ ножъ.

Такое выраженіе лица, вѣроятно, бываетъ у человѣка, когда онъ лежитъ уже на землѣ и ждетъ смертельнаго удара.

Онъ, вѣроятно, сойдетъ съ ума отъ этой мысли,—и... это, быть-можетъ, будетъ лучше для него.

Лучше безуміе, чѣмъ это сознаніе, вѣчный трепеть, вѣчная дрожь.

„Исправился“.

— Хе-хе! Это—человѣкъ, котораго лишили невинности,—сказалъ мнѣ о немъ одинъ изъ сахалинскихъ чиновниковъ.

Человѣкъ, съ которымъ случилось это странное происшествіе,—Баладь-Адашъ, горецъ, осужденный за убійство.

Человѣкъ феноменальной силы, вѣроятно, когда-то такой же отваги, рѣшительный и гордый.

Онъ былъ „негерпимъ на каторгѣ“.

Онъ не отказывался работать, но если ему или кому-нибудь изъ его товарищей назначали работу „не по правиламъ“, онъ протестовалъ тѣмъ, что бросалъ работать.

Онъ былъ вѣжливъ и почитателенъ, но, если его ругали, онъ повертывался и уходилъ.

Если ему дѣлали замѣчаніе „зря, не за дѣло“, онъ возражалъ.

— Ему слово, а онъ—десять.

Онъ былъ прямо помѣшанъ на справедливости. И водворялъ ее всюду, какъ могъ.

— Слово не мы его, а онъ насъ исправлять сюда пріѣхалъ!—обиженно рассказывалъ мнѣ о немъ чиновникъ.

Къ тому же „пороться“ за свои дерзости Баладь-Адашъ не давался.

— Его на „кобылу“ класть, а онъ драться. „Не позволяемъ меня розгамъ трогать! Себѣ, другимъ, какимъ попало, рѣзать будемъ! Не трогай лучше!“—кричить. Что съ нимъ подѣлаешь?!

— Связать бы да выдрать хорошенько! — перебилъ кто-то; присутствовавшій при разговорѣ.

— Покорнѣйше благодарю. Сегодня его свяжешь и выдерешь, а завтра опъ тебѣ ножъ въ бокъ. Съ этими кавказцами шутки плохи.

Въ это время на Корсаковскій округъ налетѣлъ, — именно не прихалъ, а налетѣлъ, — новый смотритель послевій Бестужевъ.

Человѣкъ вида энергичнаго, силы колоссальной, нрава крутого, образа мыслей рѣшительнаго: „Какіе тамъ суды? Въ морду, — да и все“.

Къ нему-то и отправили для „укрошенія“ Баладъ-Адаша.

Отправили съ отвѣтственнымъ предупрежденіемъ, что это за экземпляръ.

Весь округъ ждалъ.

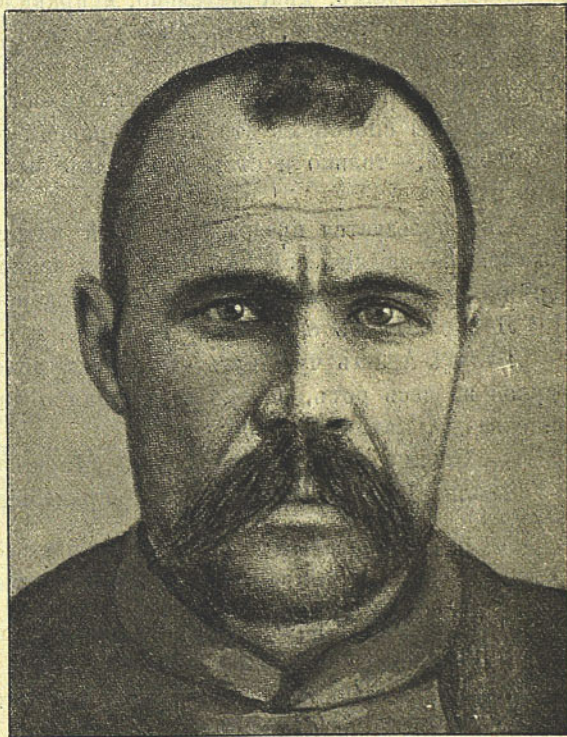
— Что выйдетъ?

Но пусть объ этомъ рассказываетъ самъ энергичный смотритель.

— Выхожу изъ капцеляріи. Смотрю, стоитъ среди арестантовъ типъ этакій. Поза свободная.

Взглядъ смѣлый, дерзкій. Глядитъ, шапки не домасть ¹⁾. И всѣ, сколько здѣсь было народу, уставились: „Что, молъ, будетъ? Кто кого?“ Самолюбіе заговорило. Похожу. „Ты что, молъ, такой сякой, шапки не снимаешь? А? Шапку долой!“ Да какъ развернусь, — съ ногъ!

Баладъ-Адашъ моментально вскочилъ съ земли, „осатаѣлъ“, кинулся на смотрителя: „Ты драться?“



Арестантскіе типы.

¹⁾ Баладъ-Адашъ зналъ, что его прислали для „укрошенія“.

Я развернулся—два. Съ ногъ долой, кровь, безъ чувствъ унесли.

Поединокъ былъ конченъ. Баладъ-Адашъ укрощенъ.

— Думали потомъ, что онъ его зарѣжетъ. Нѣтъ, ничего, обошелся,—разсказывали мнѣ другіе чиновники.

— Плакалъ Баладка въ тѣ поры шибко. Сколько день ни съ кѣмъ не говорилъ. Молчалъ,—разсказывали мнѣ арестанты.

Я видѣлъ Баладъ-Адаша. Познакомился съ нимъ.

Баладъ-Адашъ, дѣйствительно, исправился.

Его можно ругать, бить. Онъ дается съчъ, сколько угодно, и ему частенько приходится испытывать это удовольствіе: пьяница, воръ, лгунъ, мошенникъ, доносчикъ; нѣтъ гадости, гнусности, на которую не былъ бы способенъ этотъ „потерявшій невинность“ человекъ.

Лѣнтяй,—только и старается, какъ бы свалить свою работу на другихъ.

Онъ пользуется презрѣніемъ всей каторги и принадлежитъ къ „хамамъ“—людямъ совсѣмъ ужъ безъ всякой совѣсти, самому презрѣнному классу даже среди этихъ „подонковъ человѣчества“.

Я спрашивалъ его, между прочимъ, и объ „укрощеніи“.

Баладъ-Адашъ чуть-чуть было нахмурился, но сейчасъ же улыбнулся во весь ротъ, словно вспоминая о чемъ-то очень курьезномъ, и сказалъ, махнувъ рукой:

— Сильно мене мордамъ билъ! Шибко билъ!

Таковъ Баладъ-Адашъ и его исправленіе.

Два одессита.

Одесса дала Корсаковской тюрьмѣ двухъ представителей.

Верблинскаго и Шапошникова.

Трудно представить двѣ большія противоположности.

Верблинскій и Шапошниковъ, это—два полюса каторги.

Если собрать все, что въ каторгѣ есть худшаго, подлаго, низкаго, эта квинтъ-эссенція каторги и будетъ Верблинскій.

Съ нимъ я познакомился на гауптвахтѣ, гдѣ Верблинскій содержится по подозрѣнію въ убійствѣ, съ цѣлью грабежа, двухъ японцевъ.

Верблинскій клянется и божится, что онъ не убивалъ. Онъ былъ свидѣтелемъ убійства, при немъ убивали, онъ получилъ свою часть за молчаніе, но онъ не убивалъ.

И ему можно повѣрить.

Нѣтъ той гнусности, на которую не былъ бы способенъ Верблинскій. Онъ можетъ зарѣзать соннаго, убить связаннаго, задушить

ребенка, больную женщину, беспомощнаго старика. Но напасть на двоихъ съ цѣлью грабежа—на это Верблинскій не способенъ.

— Помилуйте!—горячо протестуетъ онъ.—Зачѣмъ я стану убивать? Когда я природный жуликъ, природный карманникъ! Вы всю Россію насквозь пройдите, спросите: можетъ ли карманникъ чело-вѣка убить? Да вамъ всякій въ глаза расхохочется! Стану я японцевъ убивать!

— Имѣешь, значить, свою „спеціальность“?

— Такъ точно. Специальность. Вы въ Одессѣ изволили бывать? Адвоката,—Верблинскій называетъ фамилію когда-то довольно извѣстнаго на югѣ адвоката,—знаете? Вы у него извольте спросить. Онъ меня въ 82 году защищалъ,—въ Елисаветградѣ у генеральши К. 18 тысячъ денегъ, двѣ енотовыя шубы, жемчугъ взялъ. 800 рублей за защиту заплатилъ. Вы у него спросите, что Верблинскій за чело-вѣкъ,—онъ вамъ скажетъ! Да я у кого угодно, что угодно, когда угодно возьму. Дозвольте, я у васъ сейчасъ изъ кармана что угодно выйму,—и не замѣтите. Въ Кіевѣ, на 900-лѣтіе крещенія Руси, у князя К.,—можетъ, изволили слышать,—крупная кража была. Тоже моихъ рукъ дѣло!

Въ тонѣ Верблинскаго слышится гордость.

— И вдругъ я стану какихъ-то тамъ японцевъ убивать! Руки марать,—отродясь не маралъ. Да я захотѣлъ бы что взять, я и безъ убійства бы взялъ. Кого угодно проведу и выведу. Такъ бы под-велъ, сами бы отдали. Вѣдь вотъ здѣсь въ одиночкѣ меня держать,—а захотѣлъ я имъ доказать, что Верблинскій можетъ, и доказалъ!

Верблинскій объявилъ, что знаетъ, у кого заложена взятая у японцевъ пушнина,—собольи шкурки,—но для того, чтобы ее выкупить, нужно 52 рубля и „вѣрнаго чело-вѣка“, съ которымъ бы можно было послать деньги къ закладчику.

Смотритель поселеній г. Глинка, производившій слѣдствіе по этому дѣлу, повѣрилъ Верблинскому и согласился дать 52 рубля.

— Сами и въ конвертъ заклейте!

Г. Глинка самъ и въ конвертъ заклеилъ.

Верблинскій сдѣлалъ на конвертъ какіе-то условные арестантскіе знаки.

— Теперь позвольте мнѣ вѣрнаго чело-вѣка, котораго бы можно послать, потому по начальству я объявлять не могу.

Ему дали какого-то бурята. Верблинскій поговорилъ съ нимъ наединѣ, далъ ему адресъ, сказалъ, какъ нужно постучаться въ дверь, что сказать.

— Смотри, конвертъ не потеряй!

И Верблинскій самъ засунулъ буряту конвертъ за пазуху.

— Выходимъ мы съ гауптвахты,—разсказывалъ мнѣ объ этомъ г. Глинка,—взяло меня сомнѣніе. „Дай,—думаю,—распечатаю конвертъ“. „Нѣтъ,—думаю,—распечатаю, тотъ узнаетъ, пушнины не дастъ“. Или распечатать, или нѣтъ? Въ концѣ-концовъ не выдержалъ,—распечаталъ.

Въ конвертъ оказалась бумага. Верблинскій успѣлъ „перодернуть“, „сдѣлалъ вольтъ“ и подмѣнилъ конвертъ.

Бросились сейчасъ же его обыскивать: 42 рубля нашли, а десять такъ и пропали, какъ въ воду канули.

— За труды себѣ оставилъ!—нагло улыбается Верблинскій.— За науку! Этакого маху дали! А! Я и штуку-то нарочно подстроилъ. Мнѣ не деньги нужны были, а доказать хотѣлось, что я, въ клѣткѣ, взаперти, въ одиночкѣ сидючи, ихъ проведу и выведу. И вдругъ я такую глупость сдѣлаю,—людей рѣзать начну!

— Да ты видѣлъ, какъ рѣзали?

— Такъ точно. Видѣлъ Я сторожемъ поблизости былъ. Меня позвали, чтобъ участвовалъ. Потому иначе донести бы могъ. При мнѣ ихъ и кончали.

— Сонныхъ?

— Одного, чей трупъ нашли,—соннаго. А другой, котораго не нашли,—онъ въ тайгѣ зарытъ,—тотъ проснулся. Метался очень. Его ужъ въ сознаньи зарѣзали.

— Отчего же ты не открылъ убійць? Вѣдь самому отвѣчать придется?

— Помилуйте! Развѣ вы каторжныхъ порядковъ не знаете? Нешто я могу открыть? Убьютъ меня за это.

Верблинскій—одесситъ. Въ Одессѣ онъ имѣлъ галантерейную лавку.

— Для отвода глазъ, разумѣется!—поясняетъ онъ.—Я, какъ докладываю, по карманной части. Или такъ,—изъ домовъ случилось хорошія деньги брать.

Онъ не говоритъ „красть“. Онъ „бралъ“ деньги.

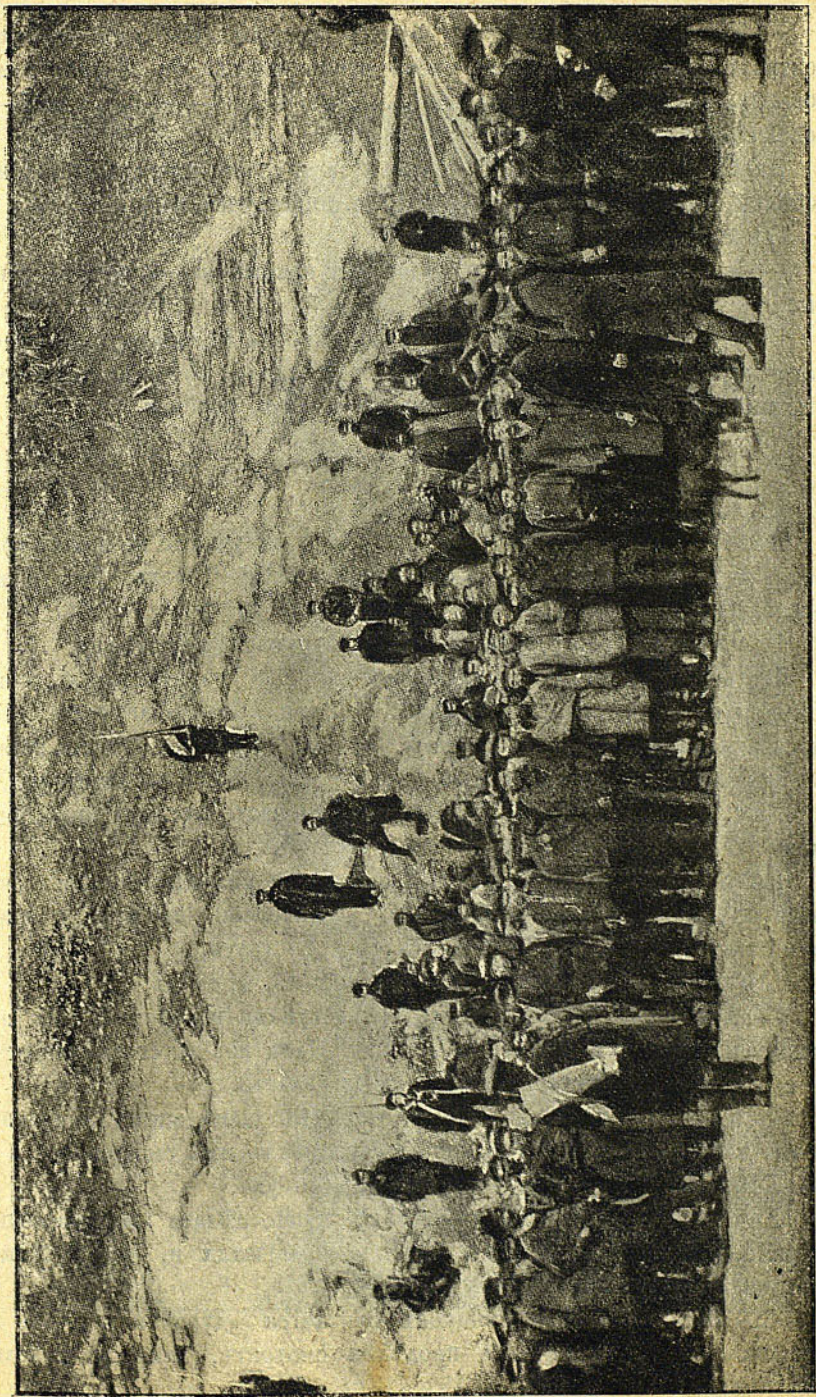
— И много разъ судился?

— Разъ двадцать.

— Все подъ своей фамиліей?

— Подъ разными. У меня именъ-то что было! Здѣсь даже, когда взяли, два паспорта подложныхъ нашли,—на всякій случай, думалъ,—уйду.

Это—человѣкъ, прошедшій огонь, воду и мѣдныя трубы. Всѣ тюрьмы и остроги Россіи онъ знаетъ какъ какой-нибудь туристъ первоклассные отели Европы. И говорить о нихъ, какъ объ отеляхъ.



Изъ жизни ссыльно-каторжныхъ. Раскомандировка.

— Тамъ сыровато... Тамъ будетъ посуше. Въ харьковскомъ централь пища не важная, очень столъ плохъ. Въ московскомъ кормятъ лучше — и жить удобнѣе. Тамъ водка — дорога, тамъ — подешевле.

На Сахалинъ Верблицкій попалъ за гнусное преступленіе: онъ добился силой того, чего обыкновенно добиваются любовью.

Его судили въ Кіевѣ.

— Ни то, чтобъ она ужъ очень мнѣ нравилась, — а такъ недурна была!

Въ его наружности, — типичной наружности бывалаго, „прожженного“ жулика, въ его глазахъ, хитрыхъ, злыхъ, воровскихъ и безстыдныхъ, — свѣтится душонка низкая, подлая, гнусная.

Шапошниковъ — тоже одесситъ.

Въ 87 или 88 году судился въ Одессѣ за участіе въ шайкѣ грабителей подъ предводительствомъ знаменитаго Чумака. Гдѣ-то въ окрестностяхъ, около Выгоды, они зарѣзали купца.

Попавъ на каторгу, Шапошниковъ вдругъ преобразился.

Видъ ли чужихъ страданій и горя такъ подѣйствовалъ, — но Шапошниковъ буквально отрекся отъ себя и изъ отчаяннаго головорѣза превратился въ самоотверженнаго, безкорыстнаго защитника всѣхъ страждущихъ и угнетенныхъ, сдѣлался „адвокатомъ за каторгу“...

Какъ и большинство каторжныхъ, попавъ на Сахалинъ, онъ прямо-таки „помѣшался на справедливости“.

Не терпѣлъ, не могъ видѣть равнодушно малѣйшаго проявленія несправедливости. Обличалъ смѣло, рѣшительно, ни передъ кѣмъ и ни передъ чѣмъ не останавливаясь и не труся.

Его драли, а онъ, даже лежа на кобылѣ, кричалъ:

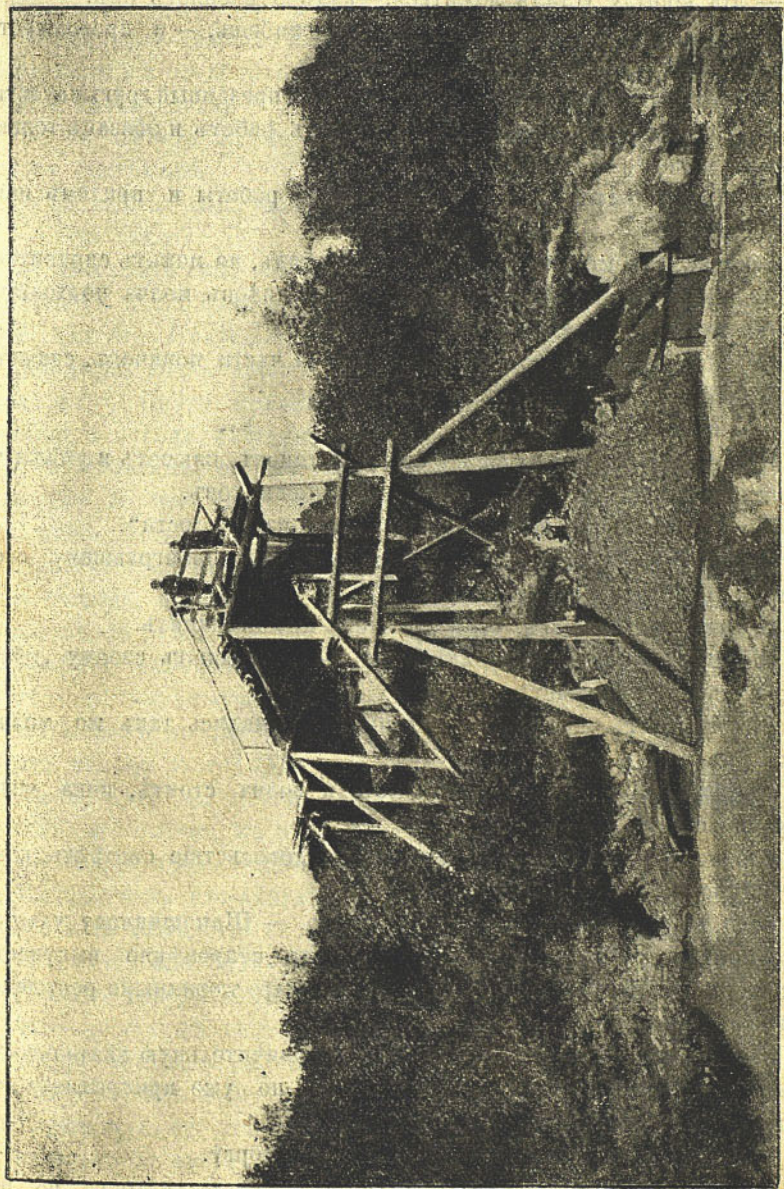
— А все-таки вы съ такимъ-то поступили нехорошо! Насъ наказывать сюда прислали, а не мучить. Насъ изъ-за справедливости и сослали. А вы же несправедливости дѣлаете.

— Тысячъ пять или шесть розогъ въ свою жизнь получилъ. Вотъ какой характерецъ былъ! — рассказывалъ мнѣ смотритель.

Какъ вдругъ Шапошниковъ сошелъ съ ума.

Началъ нести какую-то околесицу, чушь, дѣлать несуразные поступки. Его отправили въ лазаретъ, поддержали и, какъ „тихаго помѣшаннаго“, выпустили.

Съ тѣхъ поръ Шапошниковъ считается „дурачкомъ“, — его не наказываютъ и на всѣ его продѣлки смотрятъ, какъ на выходки безумнаго.



Арестантскія работы. Рудникъ въ Дуэ.

Но Шапошниковъ далеко не „дурачокъ“.

Онъ просто перемѣнилъ тактику.

— На кобылу усталъ ложиться!—какъ оъясняетъ онъ.

Понялъ, что плетью обуха не перешибешь, — и продолжаетъ прежнее дѣло, но въ иной формѣ.

Онъ тотъ же искренній, самоотверженный и преданный другъ каторги.

Какъ „дурачокъ“, онъ освобожденъ отъ работъ и обязанъ только убирать камеру.

Но Шапошниковъ все-таки ходитъ на работы и притомъ наиболѣе тяжкія.

Увидавъ, что кто-нибудь измучился, усталъ, не можетъ справиться со слишкомъ большимъ „урокомъ“, Шапошниковъ молча подходитъ, беретъ топоръ и принимается за работу.

Но бѣда, если каторжникъ, по большей части новичокъ, скажетъ по незнанію:

— Спасибо!

Шапошниковъ моментально броситъ топоръ, плюнетъ и убѣжитъ.

Богъ его знаетъ, чѣмъ питается Шапошниковъ.

У него вѣчно кто-нибудь „на хлѣбахъ изъ милости“.

Онъ вѣчно носитъ хлѣбъ какому-нибудь проигравшему свой паекъ, съ голоду умирающему „жигану“.

И тоже не дай Богъ, если тотъ его поблагодаритъ.

Шапошниковъ броситъ хлѣбъ на полъ, плюнетъ своему „обидчику“ въ лицо и уйдетъ.

Онъ требуетъ, чтобы его жертвы принимались такъ же молча, какъ онъ ихъ дѣлаетъ.

Придетъ, молча положить хлѣбъ и молча стоять, пока человекъ не съѣстъ.

Словно ему доставляетъ величайшее удовольствіе смотрѣть, какъ другой ѣстъ.

Если, — что бываетъ страшно рѣдко, — Шапошникову удастся какъ-нибудь раздобыть деньжонокъ, онъ непременно выкупаетъ какого-нибудь несчастнаго, совсѣмъ опутаннаго тюремными ростовщиками-татарами.

Свое заступничество за каторгу, свою обличительную дѣятельность Шапошниковъ продолжаетъ попрежнему, но уже прикрываетъ ее шутовской формой, маской дурачества.

Онъ обличаетъ уже не начальство, а каторгу.

— Ну, что же вы? — кричитъ онъ, когда каторга на вопросъ начальства: „Не имѣетъ ли кто претензій?“ сурово и угрюмо молчить, — что жъ примокли, черти! Орали, орали, будто

„баланда“¹⁾ плоха, „чалдонъ“, молъ, мясо дрянное кладетъ, такой, дескать, „баландой“ только ноги мыть, а не людей кормить,—а теперь притихли! Вы ужъ извините их!—сбрасывается онъ къ начальству.—Орали безъ васъ здорово. А теперь, видно, баландой ноги помыли, простудились и поохрипли! Вы ужъ съ нихъ не взыщите, что молчать.

Или такая сцена.

— Не имѣетъ ли кто претензій? — спрашиваетъ зашедшій въ тюрьму смотритель.

— Я имѣю!—выступаетъ впередъ Шапошниковъ.

— Что такое?

— Накажите вы, ваше высокоблагородіе, этихъ негодяевъ! — указываетъ Шапошниковъ на каторгу. — Явите такую начальническую милость. Прикажите ихъ перепоротъ. Житья отъ нихъ нѣтъ! Ни днемъ ни ночью покоя. Орутъ, галдятъ! А чего галдятъ? Хлѣбъ, вишь, сыръ. Врутъ, подлецы! Первый сортъ хлѣбъ!—Шапошниковъ вынимаетъ кусокъ, дѣйствительно, сырого хлѣба, выданнаго въ тотъ день арестантамъ, и тычетъ въ него пальцемъ. — Мягкій хлѣбъ! отличный! Я изъ этого хлѣба какихъ фигуръ налѣпилъ! Чудо! А они, вишь, ѣсть его не могутъ. Свиньи!

Особенно не любитъ этого „дурака“ докторъ Сурминскій, въ свою очередь, нелюбимый каторгой за его черствость, сухость, недружелюбное отношеніе къ арестантамъ.

— Ваше высокоблагородіе,—обращается къ нему Шапошниковъ въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда г. Сурминскій обходитъ камеры,—и охота вамъ ношки свои утруждать, къ этимъ идоламъ ходить! Стоять ли они этого? Они васъ докторомъ Водичкой зовутъ, врутъ про васъ, будто вы только водой ихъ и лѣчите, а вы объ нихъ, негодяхъ, заботитесь, къ нимъ ходите. Плюньте вы на нихъ, на бестій.

— Пшелъ прочь!—шипитъ докторъ.

Выходить ли что-нибудь изъ этихъ протестовъ? Но каторга довольна хоть тѣмъ, что ея обиды не остаются безъ протеста.

И стонать при боли —облегченіе.

Я много говорилъ съ Шапошниковымъ.

Это—не старый еще человѣкъ, котораго преждевременно составили горе и страданія, свои и чужія.

Онъ получилъ небольшое образованіе, прошелъ 2 класса реального училища, но кое-что читалъ и, право, показался мнѣ куда интеллигентнѣе многихъ сахалинскихъ чиновниковъ.

¹⁾ Арестантское названіе похлебки. „Чалдонъ“—прозвище, данное каторгой смотрителю.

Среди чудаческихъ выходокъ, онъ много сказалъ и горькаго и дѣльнаго.

— Меня здѣсь полоумнымъ считаютъ! — улыбнулся онъ. — Ополумѣешь! Утромъ встану, ищу голову, — гдѣ голова? Нѣтъ головы! А голова въ грязи валяется! Ха-ха-ха!.. Голову иной разъ теряешь, это вѣрно. Да и трудно не потерять. Кругомъ что?! Грязь, горе, страданія, нищета, развратъ, отчаяніе. Тутъ потеряешься. Трудно человѣку противъ теченія плыть. Шибко трудно! Тонетъ человѣкъ, — а какъ тонетъ, тутъ его всякій по башкѣ и норовитъ стукнуть. Тонушаго-то вѣдь можно. Онъ не ударить, — у него руки другимъ заняты, онъ барахтается. Ха-ха-ха! По башкѣ его, по маковкѣ! А утонетъ человѣкъ совсѣмъ, — говорятъ: „Мерзавецъ!“ Не мерзавецъ, а утонувшій совсѣмъ человѣкъ. Вы въ городѣ Парижѣ изволили бывать?

— Былъ.

— Ну, вотъ я въ книжкахъ читалъ, — не помню, чьего сочиненія, — домъ тамъ есть, „Моргой“ прозывается, гдѣ утопленниковъ изъ рѣки кладутъ. Вотъ наша казарма и есть „Морга“. Иду я, — гляжу, а направо, налѣво, на нарахъ, опухшіе трупы утонувшихъ лежатъ. Воняетъ отъ нихъ! Разложились, ничего похожего на человѣка не осталось, — и не разберешь, какая у него раньше морда была! А видать, что человѣкъ былъ! Они говорятъ: „Мерзавцы“, — не мерзавцы, а утопленники. Видитъ только это не всякій, а тотъ, кто по ночамъ не спитъ. Днемъ-то свои, а по ночамъ чужія думы думаетъ. Чужія болячки у него болятъ. А вы знаете, баринъ, кто по ночамъ не спитъ?

— Ну?

— Я да мышка, а потому всему разговору крышка!

И Шалошниковъ запѣлъ цѣтухомъ и запрыгалъ на одной ножкѣ. Такіе странные, безконечно симпатичные типы создаетъ каторга на ряду съ Верблинскими.

Къ сожалѣнію, рѣдки только эти типы, очень рѣдки.

Такъ же рѣдки, какъ хорошіе люди на свѣтѣ.

Убійцы.

(Супружеская чета).

— Душка, а не выпила ли бы ты чайку? Я бы принесъ.

— Да присядь ты, милый, хоть на минутку. Усталъ!

— И, что ты, душка? Серьезно, я бы принесъ.

Такіе разговоры слышатся за стѣной цѣлый день.

Мои квартирные хозяева, ёсылно-каторжные Пищиковы, — интересный парочка.

Онъ—Отелло. Въ нѣкоторомъ родѣ, даже литературная знаменитость. Герой разсказа Г. И. Успенскаго — „Одинъ на одинъ“. Преступникъ-палачъ, о которомъ говорила вся Россія.

Его дѣло—отголосокъ послѣдней войны. Его жертва была, какъ и многія въ то время, влюблена въ плѣннаго турка. Онъ, ея давнишній другъ, добровольно принялъ на себѣ изъ дружбы роль *postillon d'amour*. Носилъ записки, помогаль сближенію. Мало-по-малу они на этой почвѣ сблизились, больше узнали другъ друга... Онъ полюбилъ ту, которой помогаль пользоваться любовью другого. Она полюбила его. Турокъ былъ забытъ, — уѣхаль къ себѣ на родину. Они повѣнчались, лѣтъ шесть прожили мирно и счастливо. Онъ былъ уже отцомъ четверыхъ дѣтей. Она готовилась вскорѣ подарить его пятымъ.

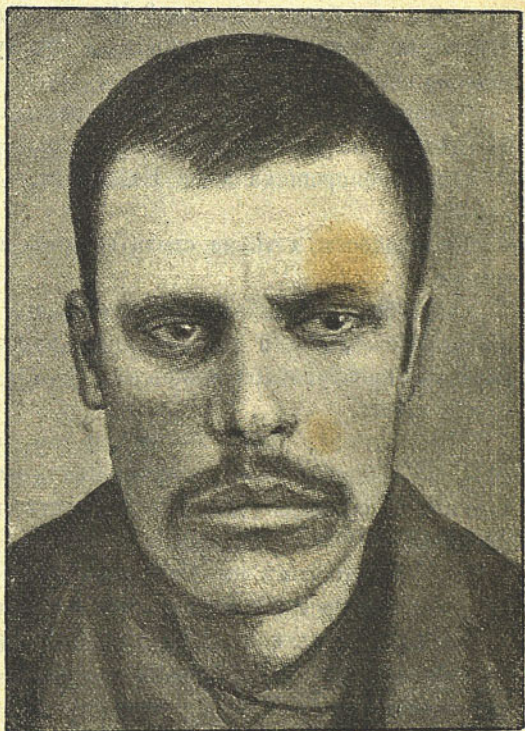
Какъ вдругъ въ немъ проснулась ревность къ прошлому.

Этотъ турокъ мимолетный гость ея сердца, забытый, исчезнувшій съ горизонта, — призракомъ всталъ между ними.

Мысль о томъ, что она дѣлила свои ласки съ другимъ, терзала мучила, жгла его душу.

Ужасныя, мучительныя подозрѣнія вставали въ разстроенномъ воображеніи.

Подозрѣнія, что она любитъ „того“. Что, лаская его, она думаетъ о другомъ.



Арестантскіе типы.

Что дѣти,—его дѣти,—рождены съ мыслью о другомъ.

Эта страшная, эта патологическая душевная драма закончилась страшной же казнью „виновной“.

Пищиковъ привязалъ свою жену къ кровати и засѣкъ ее нагайкой до смерти. Мучился самъ и наслаждался ея мученіями. Истязаніе длилось нѣсколько часовъ... А она... Она цѣловала въ это время его руки.

Любила ли она его такъ, что даже муки готова была принять отъ него съ благодарностью? Или прощеніе себѣ молила въ эти страшныя минуты, — прощенія за тѣ душевныя пытки, невольной виновницей которыхъ была она...

Таковъ онъ—Пищиковъ. Онъ осужденъ въ вѣчную каторгу, но, за скидкой по манифестамъ, ему осталось теперь 4 года.

Она,—теперешняя жена Пищикова,—тоже „вдова по собственной винѣ“.

Ея процессъ, хоть не столь громкій, обошелъ въ свое время всѣ газеты.

Она—бывшая актриса, убила своего мужа, полковника, вмѣстѣ съ другомъ дома, и спрятала въ укромномъ мѣстѣ. Трупъ былъ найденъ, преступленіе раскрыто, ей пришлось итти въ каторгу на долгій срокъ.

„Шаронихѣ“, какъ ее звали на каторгѣ, пришлось вытерпѣть не малую борьбу, прежде чѣмъ удалось отстоять свою независимость, спастись отъ общей участи всѣхъ ссыльно-каторжныхъ женщинъ.

Первымъ долгомъ на Сахалинѣ ее, бойкую, неглупую, довольно интеллигентную женщину, облюбовалъ одинъ изъ сахалинскихъ чиновниковъ и взялъ къ себѣ въ „кухарки“, — со всѣми правами и преимуществами, на Сахалинѣ въ такихъ случаяхъ кухаркамъ предоставляемыми.

Но „Шарониха“ сразу запротестовала.

— Или „кухаркой“, или „сударкой“, — а смѣшивать два эти ремесла есть тѣмъ охотницъ,—я не изъ ихъ числа“.

И протестовала такъ громко, энергично, настойчиво, что ее пришлось оставить въ покоѣ.

Тутъ она познакомилась съ Пищиковымъ; они полюбили другъ друга,—и пара убійцъ повѣнчалась.

Пара убійцъ... Какъ странно звучить это названіе, когда приходится говорить объ этой милой, безконечно симпатичной, душа въ душу живущей, славной парочкѣ.

Ихъ прошлое кажется клеветой на нихъ.

— Не можетъ этого быть! Не можетъ быть, чтобы этотъ нѣжный супругъ, который двухъ словъ не можетъ сказать женѣ, чтобъ не прибавить третьяго—ласковаго, чтобъ онъ могъ быть палачомъ. Не можетъ быть, чтобъ эти вѣчно работающія, честныя, трудовыя руки были обагрены убійствомъ мужа!

Крѣпко схватившись другъ за друга, они выплыли въ этомъ океанѣ грязи, который зовется каторгой, выплыли и спасли другъ друга.

Не отсюда ли эта взаимная, трогательная нѣжность?

Онъ служилъ смотрителемъ маяка и въ канцеляріи начальника округа,—онъ правая рука начальника, знаетъ и отлично, добросовѣстно, старательно ведетъ всѣ дѣла.

Онъ, какъ я уже говорилъ, добрый, славный мужъ, удивительно кроткій, находящійся даже немножко подъ башмакомъ у своей энергичной жены.

Ничто не напоминаетъ въ немъ прежняго Отелло, Отелло-палача.

Только разъ въ немъ проснулась старая болѣзнь—ревность.

Его жена до сихъ поръ вспоминаетъ объ этомъ съ ужасомъ.

Онъ досталъ бритву, наточилъ, заперся и... сбрилъ свою огромную, окладистую бороду и усы.

„Страшно было взглянуть на него!“

— И не подходи ко мнѣ послѣ этого! — объявила г-жа Пещикова.

Онъ долго просилъ прощенія и ходилъ съ виноватымъ видомъ. Больше онъ уже не ревновалъ.

Она... Нѣтъ минуты, когда бы она не была чѣмъ-нибудь занята. То солить сельди, то дѣлаетъ на продажу искусственные цвѣты, работаетъ въ своемъ отличномъ, прямо образцовомъ огородѣ, шьетъ платья корсаковской „интеллигенціи“.

И беретъ... 1 рубль „за фасонъ“.

— Что такъ дешево?—изумился я.—Да вѣдь это даромъ! Вы бы хоть два!

Она даже замахала въ испугъ руками.

Что вы?! Что вы?! Вѣдь ему осталось еще четыре года каторги. Четыре года надъ нимъ все могутъ сдѣлать! На меня разсердятся, а на немъ выместятъ. Нѣтъ! Нѣтъ! Что вы?! Что вы?!

Надо видѣть, какъ говорить о своемъ мужѣ эта женщина, слышать, какъ дрожитъ ея голосъ, когда она вспоминаетъ, что ему осталось еще 4 года каторги... сколько любви, тревоги, боязни за любимаго человѣка слышится то да въ ея голосъ.

Я познакомился съ ней еще на пароходѣ. Она возвращалась изъ Владивостока, гдѣ ей дѣлали трудную операцію, опасную для жизни.

Едва корсаковскій катеръ присталъ къ пароходу, на трапъ первымъ взбѣжалъ мужчина съ огромной бородой,—ея мужъ.

Они буквально замерли въ объятіяхъ другъ друга. Нѣсколько минутъ стояли такъ.

— Милый!

— Дорогая!—слышалось сквозь тихія всхлипыванія.

У обоихъ ручьемъ текли слезы.

Вспоминаютъ ли они о прошломъ?

И онъ и она отъ времени до времени запиваютъ.

Можетъ быть, это—дань, которую они платятъ совѣсти?

Совѣсть вѣдь „беретъ“ и водкой...

Гребенюкъ и его хозяйство.

Бродя по Корсаковской „слободкѣ“, вы непременно обратите вниманіе на маленькій домикъ, удивительно чистенькій, аккуратно сдѣланный, щеголеватый: имѣется даже терраса.

Во дворѣ этого дома вы вѣчно увидите кого-нибудь за работой.

Или пожилая женщина задаетъ кормъ „чушкамъ“, или высокій, сгорбленный, болѣзненного вида мужикъ что-нибудь рубить, строга-етъ, пилить.

Поль, какъ столъ,—чистоты невѣроятной. Отъ двери къ лавкѣ положена дорожка.

На окнахъ—пышно разрослась герань.

Стѣны, потолокъ, — все это тщательно выскоблено, вычищено, выстрогано.

Каждое выстроганное бревнышко по карнизу обведено бордюрикомъ.

Въ этомъ маленькомъ домикѣ я провелъ нѣсколько хорошихъ часовъ. Здѣсь я отдыхалъ душой отъ „сахалинскаго смрада“, отъ сахалинскаго бездомовья, повального разоренія, каторжной оголтелости. Здѣсь дышалось легко. Отъ всего вѣяло трудомъ, любовью къ труду, маленькимъ, скромнымъ достаткомъ.

Когда вы не знаете, куда въ этомъ вылощенномъ домикѣ дѣтъ окурокъ, — Гребенюкъ идетъ къ рѣзному ящику и, бережно, словно драгоценность какую-то, не безъ гордости несетъ оттуда фаянсовую пепельницу.

— У насъ и это есть. Самъ-то я не занимаюсь, — ну, а прий-
детъ кто, все-таки надоть!

Къ своему дому, къ своему хозяйству Гребенюкъ относится чрез-
вычайно любовно.

— Вѣдь я здѣсь каждое бревнышко по имени-отчеству знаю! —
съ доброй улыбкой, съ какой-то прямо нѣжностью оглядывается
онъ кругомъ.— Каждое самъ въ тайгѣ выискалъ, вырубилъ, своими
руками сюда притащилъ. Самъ каждое прилаживалъ, — по праздни-
камъ, а то въ обѣденное время бѣгалъ сюда—работалъ.

И вы видите, что ему, дѣйствительно, знакомо и дорого каждое
бревнышко. Съ каждымъ соединено воспоминаніе о томъ, какъ онъ,
Гребенюкъ, „человѣкомъ дѣлался“.

Гребенюкъ—мастеръ на всѣ руки и работаетъ отъ зари до зари,
не покладая рукъ“!

Онъ и цырюльникъ, и плотникъ, и столяръ, — всему этому вы-
учился въ каторгѣ,—имѣетъ огородъ, разводитъ „чушекъ“.

— Курей тоже много есть. Баба за ними ходить. Овецъ двѣ
пары.

Гребенюкъ еще каторжный. За хорошее поведеніе ему разрѣшено
жить внѣ тюрьмы, на вольной квартирѣ. На тюрьму онъ „испол-
няетъ урокъ“: столярничаетъ нѣсколько часовъ въ сутки, а осталь-
ное время работаетъ на себя.

— Скоро и каторгѣ конецъ: на двадцать я былъ осужденъ: съ
манифестами да съ сокращеніями—черезъ четыре мѣсяца и совсѣмъ
конецъ. Выйду въ поселенцы, тогда ужъ только на свой домъ стану
работать.

Не въ примѣръ прочимъ, Гребенюку „выдана сожительница“,
несмотря на то, что онъ еще каторжный и на такую роскошь не
имѣетъ права.

Пожилая женщина пришла „за мужа“, т.-е. за убійство мужа;
она гораздо старше Гребенюка, некрасивая.

— Ну, да я ее уважаю, и она меня уважаетъ. Хорошо живемъ,
нечего Бога гнѣвить!

— Это, дѣйствительно, сожителство, скорѣе основанное на вза-
имномъ уваженіи, чѣмъ на чемъ-нибудь другомъ. Гребенюкъ ее взялъ
за старательность, за хозяйственность. Она въ работѣ не уступаетъ
самому Гребенюку.

Гребенюкъ попалъ въ каторгу „со службы“.

— По подозрѣнію осужденъ?—задалъ я ему обычный сахалин-
скій вопросъ.

Гребенюкъ помолчалъ, подумалъ.

— Нѣтъ, ужъ если вы, баринъ, такъ до всего доходите, такъ вамъ правду нужно говорить. За убійство я пришелъ. Барина мы убили... Съ денщикомъ мы его порѣшили.

— Съ цѣлью грабежа?

— Нѣтъ. Изъ-за лютой. Лють былъ, покойникъ, — ахъ, какъ лють. Билъ такъ, — у меня и до сихъ поръ его побои болятъ. Нутро все отшибъ, — такъ билъ. За кучера я у него былъ, лошади у него хорошія были. Въ ногахъ я у него сколько разъ валялся, сапоги цѣловалъ: „Отпустите вы меня, баринъ, ежели я такой дурной и никакъ на васъ угодить не могу“. — „Развѣ я, — говоритъ, — тебя держу, тебя лошади держать“. Отъ природы у меня эта склонность была, — за лошадьми ходить. Лошади у меня завсегда въ порядкѣ были... Да шибко вотъ билъ, покойникъ! И теперь вспомнить, — мучить. Тяжко!

— Было это въ 85 году, 29 сентября, въ городѣ Меджибожѣ, Подольской губерніи, — можетъ, изволите знать? Баринъ былъ съ денщикомъ въ Кіевѣ, а я при лошадяхъ оставался. Пріѣзжаетъ баринъ домой и сейчасъ въ конюшню. Замѣсто того, чтобы какъ слѣдуетъ сказать: „Здравствуй, молъ, дьяволъ!“ или что, — прямо на меня. „Это что, — говоритъ, — ты мнѣ, подлецъ этакій, надъ лошадьми сдѣлалъ? А? Совсѣмъ худыя стоятъ лошади! Что надъ ними, подлая твоя душа, сдѣлалъ?“ А у лошадей безъ его мыть былъ. Я ему докладаю: „Помилуйте, баринъ, лошади мылись, оттого и съ тѣла спали. Я вамъ объ этомъ, сами изволите знать, телеграмму билъ!“ — „Врешь, — кричитъ, — подлецъ! Овесъ кралъ! Да меня наотмашъ. А у меня въ тѣ поры ухо шибко болѣло. Я это ладонью ухо-то закрываю, а онъ, нѣтъ, чтобы по другому бить, — а руку мою отдираетъ, и все по большему-то, по больному. Свѣту не взвидѣлъ. Вижу, нѣтъ моей моченьки жить. Я и говорю денщику: „Безпремѣнно намъ его убить надо. Потому, либо намъ, либо ему, а кому-нибудь да не жить“. А онъ мнѣ: „Я и самъ объ этомъ тебѣ сказать хотѣлъ“. Такъ и сговорились. Въ тотъ же вечеръ и кончили.

Гребенюкъ помолчалъ, собрался съ воспоминаніями:

— Было такъ часовъ въ одиннадцать. Я на кухнѣ сидѣлъ, ждалъ. А денщикъ къ нему пошелъ посмотрѣть, „спитъ ли, нѣтъ ли?“ Приходитъ, говоритъ: „Можно, спать! Выпили мы бутылку наливки для куражу, — денщикъ съ вечера припасъ, — разулись, чтобы не слышать было, и пошли... Въ спальнѣ у него завсегда ночникъ такъ вотъ горѣлъ, а такъ онъ лежалъ. Не видать. Руки у него на грудяхъ. Спитъ. „Валяй, молъ“. Кинулись мы къ нему. Денщикъ - то, Царенко, его сгрудилъ, а я петлю на шею захлестнулъ да и удавилъ.

— Сразу?

— Въ одинъ, то-есть, моментъ. И помучить его не удалось, — въ голосъ Гребенюка послышалась злобная дрожь, — и помучить не удалось, потому за стѣной тоже баринъ спалъ, услыхать могъ, проснуться.

— Что же онъ-то проснулся?

— Такъ точно, въ этотъ самый моментъ проснулся, какъ его сгрудили. Только голоса подать не успѣлъ. Руку это у Царенки вырвалъ, да къ стѣнкѣ, — на стѣнкѣ у него револьверъ, пашка, кинжалы висѣли, ружье. Да Царенко его за руку поймалъ, руку отвелъ. А я ужъ успѣлъ петлю сдavitъ. Посмотрѣлъ только онъ на меня... Такъ мы его и кончили.

Гребенюкъ перевелъ духъ.

— Кончили. „Теперь, молъ, концы прятать надоть“. Одѣли мы его, мертвого, какъ слѣдовать, пальто, сапоги съ калошами, шапку, — да на рѣчку подъ мостомъ и бросили. „Дорогой, дескать, кто прикончилъ“. Вернулись домой. „Теперича, — говоритъ Царенко, — давай деньги искать. Деньги у него должны быть. Что имъ такъ-то? А намъ годятся“. Я: „Что ты, что ты? Нешто затѣмъ дѣлали?“ — „Ну, — говоритъ, — ты какъ хошь, а я возьму“. Взялъ онъ денегъ тамъ, сколько могъ, за печкой спряталъ чемоданъ съ вещами, рубахи тамъ были новыя, тонкаго полотна — къ бабѣ къ одной и поволокъ. Баба у него была знакомая. Черезъ это мы и „засыпались“... У бабы-то у этой въ ту пору еще другой знакомый былъ, тоже у другого барина служилъ. Онъ и видѣлъ, какъ Царенко вещи приносилъ. Какъ потомъ, на другой день, нашли нашего покойника, ему и вдомекъ, — то-то, молъ, Царенко вещи приносилъ. Пошелъ объ этомъ слухъ. Дошло до начальства, Царенку и взяли. Онъ ото всего отперся: „Знать, молъ, ничего не знаю, задушили Гребенюкъ гдѣ-то подъ мостомъ, а пришелъ, не велѣлъ никому сказывать и чемоданъ сказалъ отнести, спрятать. Я съ испугу и послушался“. Взяли тутъ и меня. Я долго не въ сознаніи былъ: „Знать, молъ, ничего не знаю“. А потомъ взялъ да все и рассказалъ.

— Совѣсть, что ли, мучила?

— Нѣтъ, зачѣмъ совѣсть! Зло больно взяло. Сидимъ мы съ Царенкой на абвахтѣ по темнымъ карцерамъ. Часовой тутъ, — хоть и запрещено, а разговариваетъ. Свой же братъ, жалѣетъ. Слышу я, Царенко ему говоритъ: „Вотъ, — говоритъ, — долженъ черезъ подлеца теперь сидѣть, безвинный“. Такъ меня отъ этого слова за сердце взяло, — я и вскричалъ: „Ведите, — говорю, — меня къ слѣдователю; всю правду открыть желаю“. Повели меня къ слѣдователю, — я все

какъ есть и объявилъ, какъ было: какъ душили, какъ уговоръ былъ, гдѣ Царенко деньги сховаль. Ему присудили на вѣчную, а мнѣ дали 20 лѣтъ. Такъ вотъ и живу.

— Тяжело, поди?

— Тружусь, пока въ силахъ. Вы обо мнѣ у кого угодно спросите, вамъ всякій скажетъ. Десять лѣтъ, одиннадцатый здѣсь живу, — обо мнѣ слова никто не скажетъ. Не только въ карцерѣ или подъ розгами — пальцемъ меня ни одинъ надзиратель не тронулъ. При какихъ смотрителяхъ работалъ! Ярцевъ тутъ былъ, царство ему небесное. Лютый человекъ былъ. Недраного арестанта вилѣть не могъ. А и тотъ меня не только что пальцемъ не тронулъ, — слова мнѣ грубаго никогда не сказалъ. Трудился, работалъ, дѣлалъ, что велѣть, изъ кожи вонъ лѣзъ. Бывало, другіе послѣ обѣда спать, — а я топоръ за поясъ, — да сюда: постукиваю, домишко лажу... Ничего, хорошо прожилъ. Здоровье вотъ, точно, худо стало, надорвался.

Гребенюкъ и видъ имѣеть надорванный, — съ виду онъ худой, куда старше своихъ лѣтъ.

— Ну, а насчетъ прошлаго какъ?.. Жалко тебѣ бываетъ его, того, что убили? Не раскаиваешься?

— Жалко?.. Вотъ вамъ, баринъ, что скажу. Какъ хотите, такъ ужъ и судите: хорошій я человекъ или негодный. А только я вамъ по совѣсти долженъ сказать, какъ передъ Истиннымъ. Вотъ встань онъ изъ могилы, сюда прійди, — я бѣ его опять задушилъ. Десять разъ бы ожилъ, — десять бы разъ задушилъ! Каторга! Вамъ тутъ будутъ говорить, что трудно да тяжело, — не вѣрьте имъ, баринъ. Врутъ все, подлецы! Они настоящей-то каторги не видѣли. Здѣсь я 10 лѣтъ прожилъ, — что! Тамъ вотъ три года, — вотъ это была каторга, такъ каторга! Здѣсь я только и свѣтъ увидѣлъ!

— Постой, постой! Да вѣдь и здѣсь тяжкія наказанія были!

— Да вѣдь за дѣло. Оно, конечно, иной разъ и безо всякаго дѣла, понапрасну. Да вѣдь это когда случится?! Въ мѣсяцъ разъ... А тамъ день денской роздыху не зналъ. Ночи не спалъ, плакалъ, глаза вотъ какъ опухли. Вы не вѣрьте, баринъ, имъ: они горя настоящаго не видѣли. Потому такъ и говорятъ.

И въ словахъ и въ лицѣ Гребенюка, когда онъ говорить о своей жертвѣ, столько злобы, столько ненависти къ этому мертвецу, — словно не 12 лѣтъ съ тѣхъ поръ прошло, а все это происходило вчера.

Тяжела вина Гребенюка, словъ нѣтъ, тяжело совершенное имъ преступленіе, возмутительно его сожалѣніе о томъ, что „не уда

помучить“, — но вѣдь и довести же нужно было этого тихаго, смирнаго человѣка до такого озлобленія.

Я спросилъ какъ-то у Гребенюка о Царенкѣ: гдѣ тотъ?

— Въ Александровкѣ. Говорятъ, шибко худо живетъ. Пьетъ. Убить все меня собирался, зачѣмъ выдалъ. Пусть его!

Паклинъ.

Убийца и поэтъ. Безпощадный грѣбитель и нѣжный отецъ. Преступникъ и человѣкъ, глубоко презирающій преступленіе. Изъ такихъ противорѣчій созданъ Паклинъ.

Я получилъ записку:

„Достопочтеннѣйшій г. писатель! простите мою смѣлость, что я посылаю Вамъ свои писанья. Можетъ-быть, найдется хоть одно слово, для васъ полезное. А ежели нѣтъ, — прикажите Вашему слугѣ выкинуть все это въ печку. Я жилецъ здѣсь не новый, знаю все вдоль и поперекъ и радъ буду служить Вамъ, въ чемъ могу. Чего не сумѣю написать перомъ, то на словахъ срублю, какъ топоромъ. Еще разъ прошу простить мою смѣлость, но я душою запорожецъ, трусомъ не бывалъ и слыхалъ пословицу, что смѣлость города беречь. Еще душевно прошу Васъ, не подумайте, что это дѣлается съ цѣлью, чтобы получить на кусокъ сахара. Нѣтъ, я бы былъ въ триста разъ больше награжденъ, если бы оказалось хоть одно словцо для васъ полезнымъ. Быть-можетъ, когда-нибудь дорогія сердцу очі родныхъ взглянули бы на мои строки, — хоть и не знали бы они, что строки эти писаны мной. Тимоѳеѣй Паклинъ“.

Въ кухнѣ дожидался отвѣта невысокій, плотный, коренастый, рыжій человѣкъ.

Онъ казался смущеннымъ и былъ красенъ, — только сѣрые холодные глаза смотрѣли спокойно, смѣло, отливали сталью.

— Это вы принесли записку отъ Паклина?

— Точно такъ, я! — съ сильнымъ заиканіемъ отвѣчалъ онъ.

— Почему же Паклинъ самъ не зашелъ?

— Не зналъ, захотите ли вы принять каторжнаго.

— Скажите ему, чтобъ зашелъ самъ.

Онъ помолчалъ.

— Я и есть Паклинъ.

— Зачѣмъ же вы мнѣ тогда сразу не сказали, что вы Паклинъ? — спросилъ я его потомъ.

— Боялся получить оскорбленіе.. Не зналъ, захотите ли вы еще и говорить съ убійцей.

„Паклинъ“—это его не настоящая фамилія. Это его „nom de la guerre“ фамилія, подъ которой онъ совершалъ преступленія, судился въ Ростовѣ за убійство архимандрита.

Звѣрское убійство, надѣлавшее въ свое время много шума.

Передо мной стояла, въ нѣкоторомъ родѣ, „знаменитость“.

Тотъ, кто называетъ себя Паклинымъ, — родомъ казакъ и очень гордится этимъ.

По натурѣ, это — одинъ изъ тѣхъ, которыхъ называютъ „врожденными убійцами“.

Онъ съ дѣтства любилъ опасность, борьбу.

— Не было выше для меня удовольствія, какъ вскочить на молодого, необъѣзаннаго коня и летѣть на немъ; вотъ-вотъ сломаю голову и себѣ и ему. И себя и его измучаю, — а на душѣ такъ хорошо.

Самоучкой выучившись читать, Паклинъ читалъ только тѣ книги, гдѣ описывается опасность, борьба, смерть.

— Больше же всего любилъ я читать про разбойниковъ.

Свою преступную карьеру Паклинъ началъ двумя убійствами.

Убилъ товарища „изъ-за любви“. Они были влюблены въ одну и ту же дѣвушку.

Свое участіе въ убійствѣ ему удалось скрыть, — но по станицѣ пошелъ слухъ, и однажды, въ ссорѣ, кто-то изъ парней сказалъ ему:

— Да ты что? Я вѣдь тебѣ не такой-то! Меня, братъ, не убьешь изъ-за угла, какъ подлецъ!

— Я не стерпѣлъ обиды, — говоритъ Паклинъ, — ночью застѣд-лалъ коня, взялъ оружіе. Убилъ обидчика и уѣхалъ изъ станицы, чтобъ срамъ не дѣлать роднымъ.

Онъ пустился „бродяжить“ и тугъ-то приобрѣлъ себѣ фамилію „Паклинъ“.

Его взяла къ себѣ, вмѣсто безъ вѣсти пропавшаго сына, одна старушка.

Онъ увезъ ее въ другой городъ и тамъ поселился съ нею.

— Я ее уважалъ, все равно какъ родную мать. Заботился объ ней, денегъ всегда давалъ, чтобы нужды ни въ чемъ не терпѣла...

— Гдѣ жъ она теперь?

— Не знаю. Пока въ силахъ былъ, — заботился. А теперь — мое дѣло сторона. Пусть живетъ, какъ знаетъ. Жива, — слава Богу, умерла, — пора ужъ. Деньжонки, которыя были взяты изъ дома при бѣгствѣ, изсякли. Тутъ-то мнѣ все больше и больше и начало представляться: займусь-ка грабежомъ. Въ книжкахъ читалъ я, какъ хорошо да богато живутъ разбойники. Думаю, чего бы и мнѣ? До-

сада меня брала: живутъ люди въ свое удовольствіе, а я какъ собака какая...

Въ это время отъ Паклина вѣяло какимъ-то своеобразнымъ шармомъ Мооромъ.

— Я у бѣдныхъ никогда ни копейки не бралъ. Самъ, случалось, даже помогаль бѣднымъ. Бѣдняковъ я не обижалъ. А у тѣхъ, кто сами другихъ обижаютъ, бралъ,—и помногу, случалось, бралъ.

Паклинъ, впрочемъ, и не думаетъ себя оправдывать. Онъ даже иначе и не называетъ себя въ разговорѣ, какъ „негодяемъ“. Но говорить обо всемъ этомъ такъ спокойно и просто, какъ будто рѣчь идетъ о комъ-нибудь другомъ.

Какъ у большинства настоящихъ, вроденныхъ преступниковъ, — женщина въ жизни Паклина не играла особой роли.

Онъ любилъ „ими развлекаться“, бросалъ на нихъ деньги и мѣнялъ безпрестанно.

Онъ грабилъ, прокучивалъ деньги, вѣдиль по разнымъ городамъ и въ это время намѣчалъ новую жертву. Подъ его руководствомъ работала цѣлая шайка.

Временами на него нападала тоска.

Хотѣлось бросить все, сорвать кушъ, — да и удрать куда-нибудь въ Америку.

Тогда онъ недѣлями запирался отъ своихъ и все читалъ, безъ конца читалъ лубочныя „разбойничьи“ книги.

— И бросилъ бы все и ушелъ бы въ новыя земли искать счастья, да ужъ больно былъ золъ я въ то время.



Арестантскіе типы.

Паклинъ ужъ получилъ извѣстность въ Ростовскомъ округѣ и на сѣверномъ Кавказѣ.

Въ Екатеринодарѣ его судили сразу по 7 дѣламъ, но по всѣмъ оправдали.

— Правду вамъ сказать: мои же подставные свидѣтели меня и оправдали. По всѣмъ дѣламъ доказали, будто я въ это время въ другихъ мѣстахъ былъ.

За Паклинымъ гонялась полиція. Паклинъ былъ неуловимъ и неуязвимъ. Одного его имени боялись.

— Гдѣ бы что ни случилось, все на меня валили: „этого негодяя рукъ дѣло“. И чѣмъ больше про меня говорили, тѣмъ больше я злобился. „Говорите такъ про меня,—такъ пусть хоть правда будетъ“. Ожесточился я. И чѣмъ хуже про меня молва шла, тѣмъ хуже я становился. Отнять—прямо удовольствіе доставляло.

Спеціальность Паклина были ночные грабежи.

— Особенно я любилъ имѣть дѣло съ образованными людьми: съ купцами, со священниками. Тотъ сразу понимаетъ, съ кѣмъ имѣть дѣло. Ни шума ни скандала. Самъ укажетъ, гдѣ лежатъ деньги. Жизнь-то дороже! Возьмешь, бывало, да еще извинишься на прощанье, что побеспокоилъ! — съ жесткой, холодной, иронической улыбкой говорилъ Паклинъ.

— А случалось, что и не сразу отдавали деньги? Приходилось къ жестокостямъ прибѣгать?

— Со всячинкой бывало!—нехотя отвѣчаетъ онъ.

Нахичеванскій архимандритъ оказался, по словамъ Паклина, человѣкомъ „непонятливымъ“.

Онъ отзывается о своей жертвѣ съ насмѣшкой и презрѣніемъ.

— На кого, — говорить, — вы руку поднимаете! Кого убивать хотите? Тоже — обѣтъ нестяжанія далъ, а у самого денегъ куры не клюютъ.

— Какъ зашли мы къ нему съ товарищемъ, — заранѣе ужъ высмотрѣли всѣ ходы и выходы, — испугался старикъ, затрясся. Крикнуть хотѣлъ, — товарищъ его за глотку, держать. Какъ отпустить, онъ кричать хочетъ. Съ часъ я его уговаривалъ: „Не кричите лучше, не доводите насъ до преступленія, покажите просто, гдѣ у васъ деньги...“ Нѣтъ, такъ и не могъ уговорить. „Рѣжь!“ сказалъ я товарищу. Тотъ его ножомъ по горлу. Сразу! Крови что вышло...

Разсказывая это, Паклинъ смотритъ куда-то въ сторону. На его непріятномъ, покрытомъ веснушками лицѣ пятнами выступаетъ и пропадаетъ румянецъ, губы искривились въ неестественную, на-

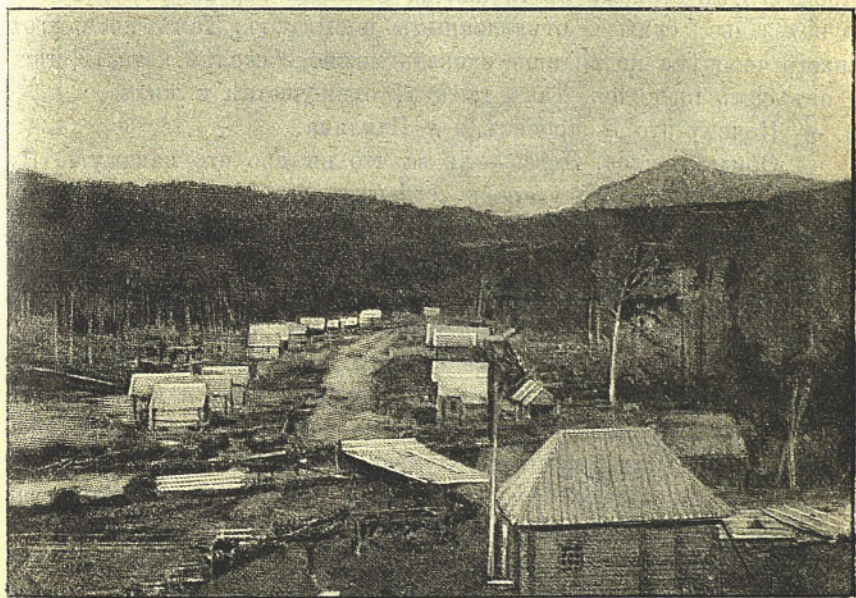
тянутую улыбку. Онъ весь поеживается, потираетъ руки, заикается сильнѣе обыкновеннаго.

На него тяжело смотрѣть.

Наступаетъ длинная, тяжелая пауза.

Ихъ судили вчетверомъ; двоихъ невиновныхъ Паклинъ выгородилъ изъ дѣла.

— Объ этомъ и своего защитника просилъ, — чтобъ только ихъ выгораживалъ. А обо мнѣ не беспокоился. Не хотѣлъ я, чтобы невиновные изъ-за меня шли. Молодецъ онъ, постарался!



Поселенческій бытъ. Селеніе.

Передъ судомъ Паклинъ 11 мѣсяцевъ высидѣлъ въ одиночномъ заключеніи, досидѣлся до галлюцинацій, но „духа не потерялъ“.

Когда любимый всей тюрьмой, добрый и гуманный врачъ ростовской тюрьмы г. К. не поладилъ съ тюремной администраціей и долженъ былъ уйти, Паклинъ поднесъ ему икону, приобретенную арестантами по подпискѣ.

— Въ газетахъ тогда объ этомъ было!

— Еще одинъ вопросъ, Паклинъ, — спросилъ я его на прощанье. — Скажите, вы вѣрите въ Бога?

— Въ Бога? Нѣтъ. Всякій за себя.

На каторгѣ Паклинъ велъ себя, съ перваго взгляда, престранно. Несъ самую тяжкую, „двойную“, такъ сказать, „каторгу“. И по собственному желанію.

— Полоумный онъ какой-то! — рассказывалъ мнѣ одинъ изъ корсаковскихъ чиновниковъ, хорошо знающій исторію Паклина. — Парень онъ трудовой, примѣрный, ему никто слова грубаго за все время не сказалъ. Къ тому же онъ столяръ хорошій, — въ тюрьмѣ сидя, научился, могъ бы отлично здѣсь, въ мастерской, работать, жить припѣваючи. А онъ „не хочу“, Христомъ Богомъ молилъ, чтобы его въ сторожа въ глушь, на Охотскій берегъ послали. Туда, за наказанье, самыхъ отъявленныхъ посылаютъ. Тамъ по полгода живого человѣка не видишь, одичать можно. Тяжелѣй каторги нѣтъ! А онъ самъ просился. Такъ тамъ въ одиночествѣ и жилъ.

— Почему это?—спросилъ я у Паклина.

— Обиды боялся. Здѣсь — ни за что ни про что накажутъ. Ну, а я бы тогда простого удара не стерпѣлъ, не то, что розги, — скажемъ. Отъ грѣха, себя зная, и просился. Гордый я тогда былъ.

— Ну, а теперь?

— Теперь, — Паклинъ махнулъ рукой, — теперь куда ужъ я! За-трещину кто дастъ, — я бѣжать безъ оглядки. Оно, быть-можетъ, я бы и расплатился, да о дѣтяхъ сейчасъ же вспомню. Сожительница вѣдь теперь у меня, за хорошее поведеніе, хоть я и каторжный, дали. Дѣтей двое. Меня ругаютъ, — а я о дѣтяхъ все думаю. Меня пуще, — а я о дѣтяхъ все пуще думаю! — Паклинъ разсмѣялся. — Съ меня все, какъ съ гуся вода. Бейте, — не пикну... Чудная эта штука! Вотъ что въ немъ, кажись, а пискнетъ — словно самому больно!

И въ тонѣ Паклина послышалось искреннее изумленіе.

Словно этотъ человѣкъ удивлялся пробужденію въ немъ обыкновенныхъ человѣческихъ чувствъ.

Я былъ у Паклина въ гостяхъ.

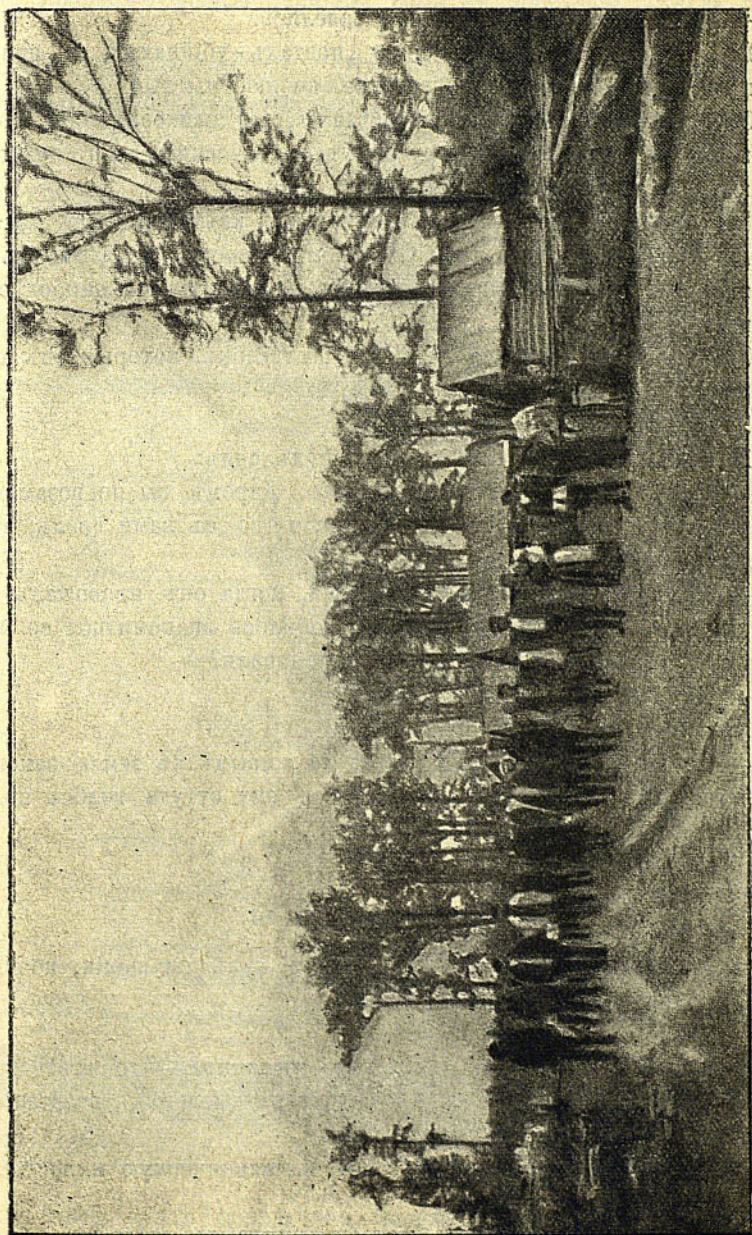
У него домъ — лучшій во всемъ посту. Чистота — невѣроятная.

Его жена, молодая, красивая бабенка, такъ называемая скопческая „богородица“¹⁾, присланная на Сахалинъ за оскотленіе чуть не десятка женщинъ.

Какихъ, какихъ только паръ не сводить вмѣстѣ судьба на Сахалинѣ!

Паклинъ живетъ съ нею, что называется, душа въ душу. На всякій лишній грошъ покупаетъ или ей обнову или дѣтямъ гостинца.

¹⁾ Этихъ дѣвушекъ не скопчатъ; на ихъ обязанности лежитъ только совлекать въ секту другихъ.



Поселенцы.

Своихъ двоихъ крошечныхъ бутузовъ онъ показывалъ мнѣ съ нѣжностью и гордостью отца:

— Вотъ какіе клопы въ домѣ завелись.

Въ другомъ мѣстѣ, говоря о „поэтахъ-убійцахъ“, я приведу стихи Паклина, не особенно важные, но любопытные.

Онъ имѣетъ небольшое представленіе о стихосложеніи. Но въ его неправильныхъ стихахъ, грустныхъ, элегическихъ много чувства... и даже сентиментальности...

Его записки о дикаряхъ-айнцахъ, которыхъ онъ наблюдалъ, живя сторожемъ на Охотскомъ берегу, показываютъ въ немъ много наблюдательности, умѣнья подмѣчать все наиболѣе типичное.

Спеціальность Паклина — работа шкатулокъ, которыя онъ дѣлаетъ очень хорошо.

Я хотѣлъ купить у него одну.

Но Паклинъ воспротивился изъ всѣхъ силъ:

— Нѣтъ, нѣтъ, баринъ, ни за что. Даромъ вы не возьмете, а продать, вы подумаете, что я и знакомство съ вами свелъ, чтобъ шкатулку вамъ продать. Не желаю!

— Скажите, Паклинъ,—спросилъ я, когда онъ провожалъ меня съ крыльца, — для чего вамъ понадобилось знакомиться со мной? Почему вамъ хочется, чтобъ о васъ написали?

— Для чего?

Паклинъ грустно улыбнулся.

— Да вотъ, если человѣка взять да живымъ въ землю закопать. Въ подземелье какое, что ли. Хочется ему оттуда голосъ подать, или нѣтъ? „Живъ, молъ, я все-таки“...

Поселенцы.

— Къ вамъ тамъ поселенцы пришли! — въ смущеніи, почти въ ужасѣ, объявила квартирная хозяйка.

— Такъ нельзя ли ихъ сюда?

— Что вы! Куда тутъ! Вы только взгляните,—что ихъ!

Выхожу на крыльцо. Толпа поселенцевъ—человѣкъ въ двѣсти,—какъ одинъ человѣкъ, снимаютъ шапки.

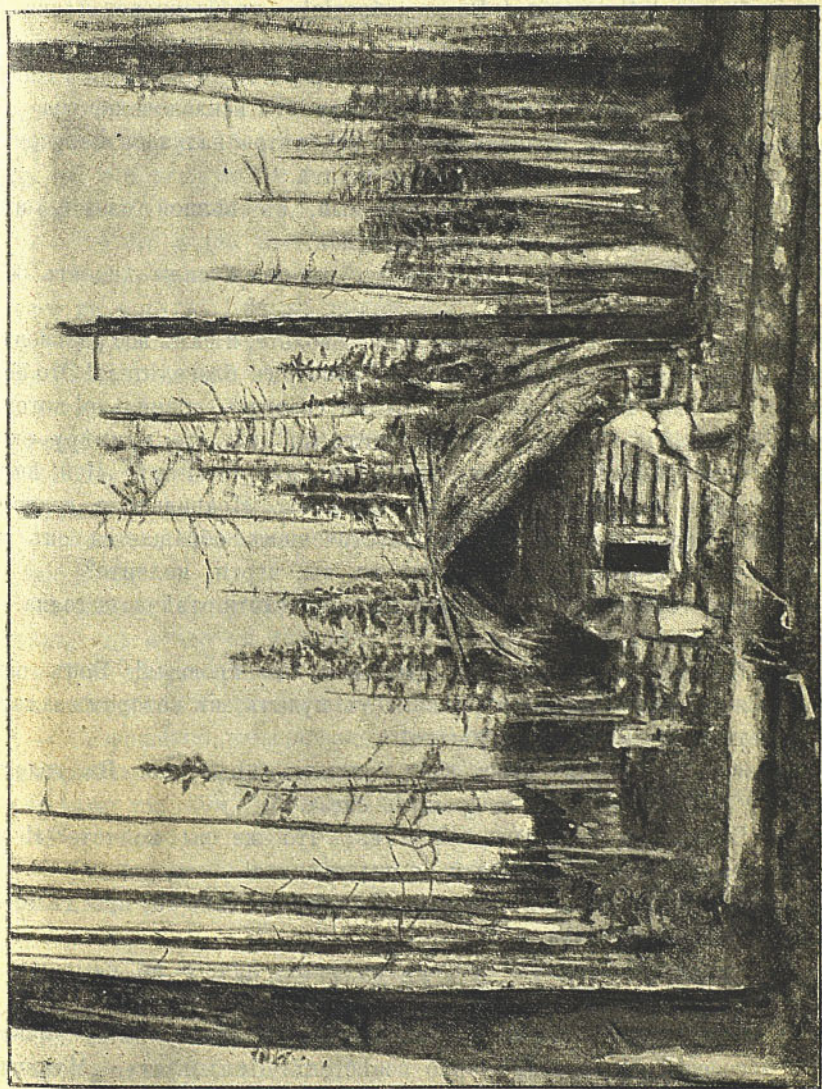
— Ваше высокоблагородіе! Явите начальническую милость...

— Что вамъ?

— Насчетъ пайковъ мы! Способовъ никакихъ нѣтъ...

— Стойте, стойте, братцы! Да вы за кого меня принимаете? Я вѣдь не начальство!

— Точно такъ! Извѣстно намъ, что вы писатель... Такъ ужъ будьте такіе добрые, напишите тамъ, кому слѣдуетъ... Способовъ нѣтъ. Голодомъ мремъ! Пришли сюда съ поселеній, думали рабо-



Начало поселенія въ тайгѣ. Первый домъ.

тишку найти, — всѣ подрядчики японцами работаютъ! Пайковъ не даютъ, на материкъ на заработки не пушаютъ. Помирай тутъ на Сакалинѣ! Что же намъ теперь дѣлать?

— А сельское хозяйство?

— Какое жъ, ваше высокоблагородіе, наше хозяйство! Не то что сѣять, ѣсть нечего. У кого были сѣмена, — сѣбли. Скота не даютъ. Смерть подходит!

— Баринъ! Господинъ! Вашескобродіе! — протискивается сквозь толпу невзрачный мужичишка.

Мужичишка—типъ загулявшаго мастерового. Хоть сейчасъ пиши съ него „Камаринскаго мужика“: „борода его всклокочена, вся дешевкою подмочена“. Красная рубаха отъ вѣтра надулась парусомъ, полы сюртучишка такъ ходуномъ и ходятъ.

Голосъ у мужичишки пронзительный, съ пьяной слезой, изъ самыхъ нѣдръ его пьяной души рвущійся.

Первымъ долгомъ онъ зачѣмъ-то изо всей силы кидаетъ объ полъ картузь.

— Господинъ! Ваше сіятельство! дозвоьте, я вамъ все разъясню, какъ по нотамъ! Ваше сіятельство! Господинъ благодѣтель! Это они все правильно! Какъ передъ Господомъ говорю,—правильно! потому способовъ нѣтъ! Сейчасъ это приходитъ ко мнѣ, къ примѣру скажемъ, онъ: „Мосей Левонтичъ, способовъ нѣтъ“. Я ему: „Пей, ѣшь, спасай свою душу!“ Потому я для всякаго... Правильно я говорю, ай нѣтъ?—вдругъ съ какимъ-то ожесточеніемъ обращается онъ къ толпѣ.—Правильно, аль нѣтъ? Что жъ вы, черти, молчите?

— Оно дѣйствительно... Оно конечно!—нехотя отвѣчаетъ толпа.— Ты про дѣло-то, про дѣло.

— Потому я для всякаго! На свои, на кровныя! Вонъ онъ кровныя-то!—мужичинишка разжимаетъ кулакъ, въ которомъ зажато семь копеекъ,—вонъ онъ! Обидно!

„Мосей Левонтичъ“ бьетъ себя кулакомъ въ грудь. Въ голосъ его все сильнѣе и сильнѣе дрожить слеза.

— Правильно я говорю, ай нѣтъ? Что же вы молчите? Я за васъ, чертей, говорю, стараюсь, а вы молчите!

— Оно конечно... Оно вѣрно... Да ты про дѣло-то, про дѣло!—уже съ тоской отвѣчаетъ толпа.

Но „Мосей Левонтичъ“ вошелъ въ ражъ, ничего не слышитъ и не слушаетъ.

— Какой есть на свѣтѣ человѣкъ Мосей Левонтичъ?! Сейчасъ мнѣ поселеній смотритель лично извѣстенъ. Призываетъ. „Можешь, Мосей Левонтичъ, бюсту для сада сдѣлать“. Такъ точно, могу, — потому я скульпторъ природный. Природный!

„Природный скульпторъ“ начинаетъ опять усиленно колотить себя въ грудь и утираетъ слезы.

— Не какой-нибудь, а природный! Изъ Рассеи еще скульпторъ. Можешь?—Могу.—„На тебѣ двѣ записки на спирт“. Обидно! Что я съ ними, съ записками-то, дѣлать буду? Куда дѣнусь. Ежели у всякаго свои записки есть? Правильно я говорю, ай нѣтъ? Что вы, черти...

— Ну, слушай!—перебиваю я его, видя, что краснорѣчію „скульптора“ конца не будетъ,—я вижу, что ты человѣкъ серьезный. Мы съ тобой въ другой разъ поговоримъ. А теперь дай мнѣ съ народомъ покончить. Поотодвиньте-ка его, братцы.

Десятокъ рукъ берется за природнаго, но огорченнаго скульптора,—и его тщедушная фигурка исчезаетъ въ толпѣ.

Положеніе тягостное.

— Что жъ я для васъ могу сдѣлать? Я ничего не могу.

— Такъ!—уныло говорить толпа,—къ кому ни пойдешь, всѣ ничего не могутъ! Кто жъ можетъ-то? Дѣлать-то теперь что же?

— Этакъ въ тюрьмѣ лучше!.. Куда! не въ примѣръ!.. Тамъ хошь работа, да зато кормь!.. А здѣсь ни работы ни корма. Что жъ теперь дѣлать? Одно остается: убивать, грабить! Пушай опять въ тюрьму забирають. Тамъ хошь кормить будутъ! Больше и дѣлать нечего: хватилъ кого ни попада!—раздаются озлобленные голоса.

Тутъ-то мнѣ въ первый разъ пришелъ въ голову афоризмъ:

— Каторга начинается тогда, когда она кончается—съ выходомъ на поселеніе.

Афоризмъ, который повсюду на Сахалинѣ имѣлъ одинаковый успѣхъ, гдѣ я что ни говорилъ.

— Это дѣйствительно. Это правильно. Это слово вѣрное!—говорили каторжане и поселенцы.—Это истинно, такъ точно!

— Совершенно, совершенно справедливо! Именно, именно такъ!—подтверждали въ одинъ голосъ чиновники.

И даже тѣ, кому, казалось бы, слѣдовало именно заботиться, чтобы это было не такъ,—и тѣ только вздыхали.

— Вы это напишите! Непремѣнно напишите. Это правда, глубокая правда. Ужасъ, ужасъ!

Сожительница ¹⁾.

Что за фантастическая картина! Гдѣ, когда по всей Россіи вы увидите что-нибудь подобное?

¹⁾ Такъ называются на Сахалинѣ каторжныя женщины, выдаваемые поселенцамъ „для совмѣстнаго веденія хозяйства“. Такъ это называлось официально раньше. Теперь даже официально,—напр., въ Сахалинскомъ календарѣ,—это называются „незаконнымъ сожительствомъ, что гораздо ближе къ истинѣ.

— Богъ въ помощь, дядя!

— Покорнѣйше благодарствуемъ, ваше высокородіе! Ты бы встала,—видишь, баринъ идетъ!—говорить мужикъ, вытаскивающий изъ печи только что испеченный хлѣбъ, въ то время какъ баба, развалиясь, лежитъ на кровати.

Баба нехотя начинаетъ подниматься.

— Ничего, ничего! Лежи, милая. Больна у тебя хозяйка-то?

— Зачѣмъ больна?—недовольно отзывается баба, снова принявшая прежнее положеніе.—Слава Те, Господи!

— Что жъ лежишь-то? Нескладно оно, какъ-то, выходитъ. Мужикъ и вдругъ бабѣмъ дѣломъ занимается: стрипааетъ.

— Ништо ему! Чай, руки-то у него не отвалятся. Свои—не куплены. Пушай потрудится!

— Да вѣдь срамъ! Ты бы встала, поработала!

— Пушай ее, ваше высокоблагородіе! Баба! — извиняющимся тономъ говорить мужикъ, видимо, въ теченіе всей этой бесѣды чувствуя себя ужасно сконфуженнымъ.

— Больно мнѣ надоть! Дома поработала, — будетъ. Дома, въ Рассеѣ, работала, да и здѣсь еще стану работать! Эка невидаль! Можетъ и онъ мнѣ потрафить. А не желаетъ, кланяться не буду. Меня вонъ надзиратель къ себѣ въ сожителиницы зоветъ. Ихъ, такихъ-то, много. Взяла,—да къ любому пошла!

Баба—костромичка, выговоръ сильно на „о“, говоритъ необычайно нахально, съ какимъ-то необыкновенно наглымъ апломбомъ.

— Но, но! Ты не очень-то! Разговорилась! — робко, видимо, только для соблюденія приличія, осаживаетъ ее поселенецъ.—Помолчала бы!

— Хочу и говорю. А не ндравится,—хоть сейчасъ, съ полнымъ моимъ удовольствіемъ! Взяла фартукъ и пошла. Много васъ такихъ-то безрубашечныхъ! Ищи себѣ другую,—молчальницу!

— Тфу ты! Вередь — баба, — конфузливо улыбается мужикъ, — прямо вередь.

— А вередь,—такъ и сойти вередь можетъ. Сказала,—недолго.

— Да будетъ же тебѣ. Слова сказать нельзя. Ну, тебя!

— А ты не запягъ, такъ и не пукай! Я тебѣ не лошадь, да и ты мнѣ не извозчикъ!

— Тфу, ты!

— Не плюй. Проплюешься. Вотъ погляжу, какъ ты плеваться будешь, когда къ надзирателю жить пойду...

— Ты какого, матушка, сплава?—обращаюсь я къ ней, чтобы прекратить эту нелѣпую сцену.

- Пятаго года ¹⁾.
 — А за что пришла?
 — Пришла-то за чѣмъ? За что бабы приходятъ? За мужа.
 — Что жъ, сразу къ этому мужику въ сожителицы попала?
 — Зачѣмъ сразу! Третій ужъ. Третьяго смѣняю.
 — Чтожьтъ—

то плохи, что ли, были? Не нравились?

— Извѣстно, были бы хороши, — не ушла бы. Значить, плохи были, ежели и ушла. Ихняго брата, босоногой команды, здѣсь сколько хошь: ѣшь, не хочу! Штука нехитрая. Пошла къ поселеній смотрителю: не хочу жить съ этимъ, назначьте къ другому.

— Ну, а если не назначать? Ежели въ тюрьму?

— Не посаждать. Не бойсь! нашей-то сестры здѣсь не больно много. Ихъ, душегубовъ, кажинный годъ табуны гонять, а нашей сестры мало! Кажный съ удовольствіемъ...

Становилось прямо невыносимо слушать эту наглую циничную болтовню, эти издѣвательства опухшей отъ сна и лѣни бабы.

— Избаловалъ ты свою бабу!—сказала я, выходя изъ избы проважавшему меня поселенцу.



Арестантскіе типы. Сожительница.

¹⁾ 95-го. Женщинъ присылаютъ обыкновенно осенью.

— Всѣ онѣ здѣсь, ваше высокоблагородіе, такія,—все тѣмъ же извиняющимся тономъ отвѣчалъ онъ.

— Меня баловать неча! Сама набалована!—донеслось изъ избы. Я далъ поселенцу рублишко.

— Покорнѣйше благодарствую вашей милости!—какъ-то необыкновенно радостно проговорилъ онъ.

— Постой! Скажи, по чистой только совѣсти, на что этотъ рубль дѣнешь? Пропьешь, или бабѣ что купишь?

Мужикъ съ минуту постоялъ въ нерѣшительности.

— По чистой ежели совѣсти?—засмѣялся онъ.—По чистой совѣсти, полтину пропью, а на полтину ей, подлой, гостинцу куплю!

Черезъ день, черезъ два я проходилъ снова по той же слободкѣ. Вдругъ слышу—жесточайшій крикъ.

— Батюшки, убили! Помилосердуйте, убиваетъ, разбойникъ! Ой, ой, ой! Моченьки моей нѣтъ! Косточки живой не оставилъ! Зарѣжетъ!—пронзительно визжалъ на всю улицу женскій голосъ.

Сосѣди нехотя вылѣзали изъ избы, глядѣли, „кто оретъ?“—махали рукой и отправлялись обратно въ избу:

— Началось опять!

Вопила, сидя на завалинкѣ, все та же—опухшая отъ лѣни и сна баба.

Около стоялъ ея мужикъ и, видимо, уговаривалъ.

Грѣшный человѣкъ: я сначала подумалъ, что онъ потерялъ терпѣніе и „поучилъ“ свою сожительницу.

Но, подойдя поближе, я увидѣлъ, что тутъ было что-то другое.

Баба сидѣла, правда, съ растрепанными волосами, но орала спокойно, совсѣмъ равнодушно и терла кулаками совершенно сухіе глаза!

Увидѣвъ меня, она замолчала, встала и ушла въ избу.

— Ахъ, ты! Вередь-баба! Прямо вередь!—растерянно бормоталъ мужикъ.

— Да что ты! „Поучилъ“, можетъ, ее? Билъ?

— Какое тамъ!—съ отчаяніемъ проговорилъ онъ.—Пальцемъ не тронулъ! Тронь ее, дьявола! Изъ-за полусапожекъ все. Вынь ей да положи полусапожки. „А то,—говорить,—къ надзирателю жить уйду!“ Тьфу, ты! Вопьется этакъ-то, да и ну на улицу голосить, чтобы всѣ слышали, будто я ее тираню, и господину смотрителю поселеній подтвердить могли. А гдѣ я возьму ей полусапожки, подлюгѣ?!

Вотъ вамъ типичная, характерная, обычная сахалинская „семья“.

С о ж и т е л ь.

— Баринъ! Господинъ! Ваше высокобродіе! — слышится сзади крикъ.

Останавливаюсь.

Подбѣгаетъ, безъ шапки, запыхавшійся поселенецъ.

Видимо, гнался за мной долго и упорно.

— Я васъ по всему посту ишу, бѣгаю!

— Что тебѣ?

— Изволили давеча такую-то заходить требовать?

Онъ называетъ мнѣ фамилію одной ссыльно-каторжной, преступленіе которой меня интересовало.

— Да. А что?

— Дозвольте доложить. Онъ теперь дома.

И онъ спрашиваетъ уже, понизивъ голосъ, тономъ чрезвычайноконфиденціальнымъ:

— Къ вамъ ихъ прикажете прислать или сами пойдете?

А на лицѣ такъ и свѣтится „полная готовность“ на всѣ услуги.

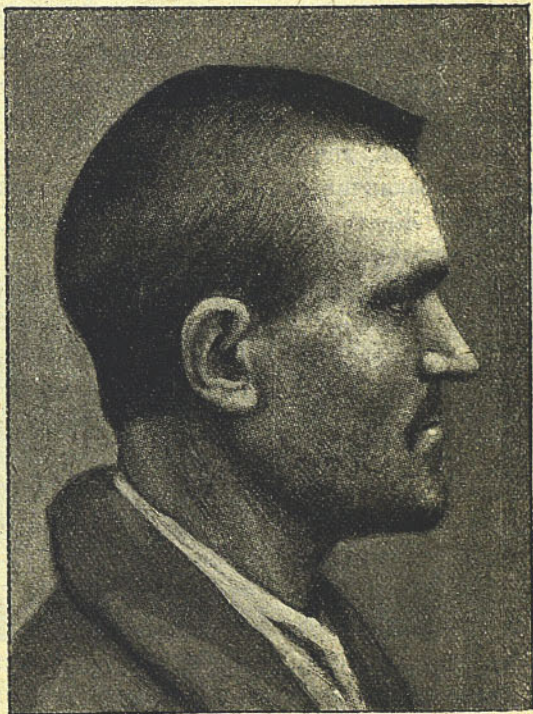
— Да ты думаешь, зачѣмъ мнѣ?

Поселенецъ ослабляется во всю свою физиономію: „Шутникъ, дескать, баринъ“.

— Извѣстно, зачѣмъ господа требуютъ!

Боже! Зачѣмъ я не художникъ, чтобъ нарисовать въ эту минуту эту подлую физиономію!

— Да ты кто жъ такой ей будешь, что этакія дѣла за нее берешься устраивать?



Арестантскіе типы.

— Я-то?

— Ты-то!

Поселенец чешет слегка въ затылкѣ.

— Сожитель ейный!

— Какъ же ты... Какъ тебя даже и назвать, не знаю...

— Михайлой зовуть-сь!

— Какъ же ты... Михайла ты этакій!.. Какъ же ты свою же собственную сожительницу, самъ же...

„Михайла“ смотритъ на меня и удивленно и иронически. „Откуда, моль, такой взялся, что никакихъ порядковъ не знаетъ?“

— Не извольте беспокоиться,—съ усмѣшкой говоритъ онъ,— по здѣшнимъ мѣстамъ это принято. Не токмо что сожительницу или жену тамъ, дочь представляютъ.

И заканчиваетъ ужъ совершенно серьезно:

— Жрать надо, ваше высокоблагородіе... Такъ вамъ, ваше высокоблагородіе, какъ же-сь? Требуется?

Точно становится глядѣть на этого субъекта,—но разговоръ интересный.

— Слушай, ты! Заплачу тебѣ все равно, не за это, а за другое: скажи мнѣ откровенно, гдѣ была твоя сожительница давеча, когда я заходилъ ее спрашивать. Вотъ деньги.

— Покорнѣйше благодарствуемъ...

— Слышь, только откровенно!

— Это мы всегда можемъ. Не извольте сумлѣваться... Гдѣ жъ ей быть? На фартъ ходила ¹⁾).

— Такъ вы и живете?

— Такъ и живемъ. Да нешто мы одни, баринъ? Оно вамъ, конечно, можетъ, спервоначала не кажется. А поживете, обвыкнете! Такъ не требуется?.. Прощенія просимъ. На милости покорнѣйше благодаримъ. Ваши деньги фартовыя. Выиграю на нихъ,—за ваше здоровье выпью...

И, отбѣжавъ на небольшую дистанцію, онъ повернулся и крикнулъ:

— Потребуется что,—кликните Михайлу.

Онъ назвалъ свою фамилію.

— Всегда съ полнымъ моимъ удовольствіемъ!

Вотъ вамъ еще не мѣнѣ типичная, обычная сахалинская „семья“.

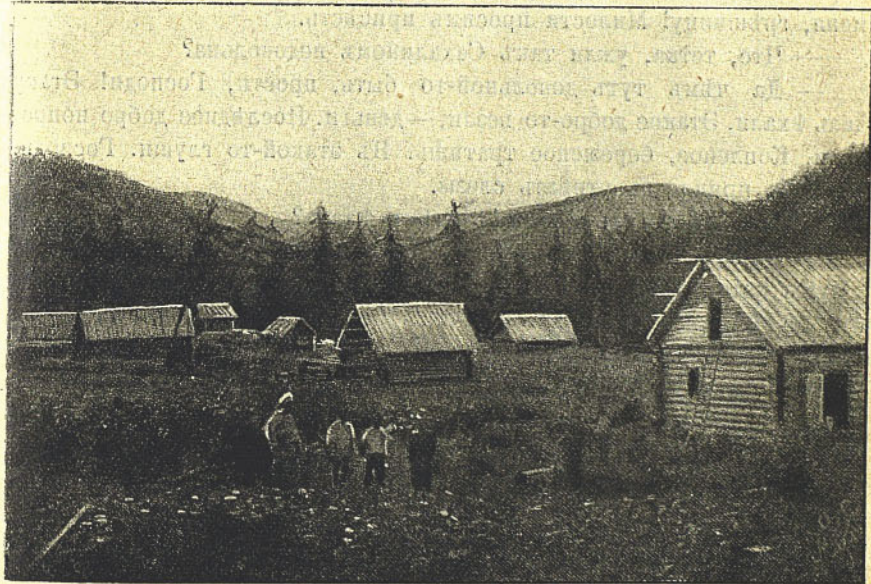
¹⁾ „Фартъ“,—отъ слова „фортuna“,—на арестантскомъ языкѣ означаетъ вообще „счастье“. Фартовый—счастливый. Для женщины „отправиться на фартъ“—имѣетъ особое, специальное значеніе.

Добровольно послѣдовавшая.

Вотъ изба, гдѣ живетъ семья, добровольно послѣдовавшая за своимъ поильцемъ-кормильцемъ на Сахалинъ.

Они прибыли почти въ одно и то же время: онъ—весной, семья—осенью 95 года.

По сахалинскимъ правиламъ, его на первое время освободили отъ работъ, „для домообзаводства“.



Поселенческій бытъ. Строящееся селеніе.

Какъ и большинство такихъ семей, — если онѣ пріѣзжаютъ съ маленькими деньжонками, — они устроились сравнительно недурно.

Купили у какого-то поселенца, выѣхавшаго на материкъ, избенку, завели огородишко, есть корова, разводятъ „чушекъ“.

По-сахалински, это совсѣмъ „слава Тебѣ, Господи“.

Въ избѣ грязновато, но домовито.

Изъ-за ситцевыхъ занавѣсей, закрывающихъ колоссальную постель, выглядываютъ дѣтишки.

Не сахалинскія, хмурья, забитыя, мрачныя дѣтишки, а съ свѣтлыми льняными волосенками, веселыми, продувными глазишками.

Видно, что дѣти хоть, по крайней мѣрѣ, сыты.

Хозяина нѣтъ дома, ушелъ въ тайгу отбивать каторжную работу, таскать бревна. Хозяйка дома работаетъ и, видимо, чѣмъ-то сильно раздражена.

— Здравствуйте, хозяйшка.

— Здравствуй, добрый человѣкъ. Спасибо хоть на добромъ словѣ, что доброе слово сказалъ. А то здѣсь, окромя „подлеца“ да „мерзавца“, и словъ другихъ нѣтъ. Только день денской и слышишь: подлять да мерзавать. Живой бы въ землю легла, чтобъ ушеньки мои не слышали. Сторона тоже, чтобъ пусто ей было. Чтобъ ей, окромя святыхъ иконъ, скрозь землю провалиться. Господи, прости меня, грѣшницу! Милости просимъ присѣсть.

— Что, тетка, ужли такъ Сахалиномъ недовольна?

— Да чѣмъ тутъ довольной-то быть, прости, Господи! Этаку даль ѣхали. Этакое добро-то везли, — деньги. Последнее добро попродали. Копленное, береженое тратишь. Въ этакой-то глуши. Господи! Баба принялась утирать слезы.

— Что жъ теперь дѣлать! Зачѣмъ ѣхала?

— Отчего ѣдутъ? Отъ страму, отъ стыда, — всѣ въ глаза тычутъ: „Мужъ каторжный, мужъ каторжный!“ Побѣжишь куда глаза глядятъ отъ этакой жисти проклятой. Опять же мой душегубъ съ дороги пишетъ: больно хорошо, домъ даютъ, лошадь, корову, свиней, — живи только! Никто, какъ онъ, подлый, чтобъ мои слезы всю жизнь его окаянную, весь вѣкъ отзывались, аспиду каторжному! Все онъ, ничего путемъ не узнавши, отписалъ. Нешто бы я, когда бъ знала, поѣхала! Въ этаку-то глушь! Ни тебѣ лѣта, ни тебѣ ведрышка, ни тебѣ дождичка во-время! Господи!

— Ну, зато мужъ участь облегчила. Мужу легче, какъ семья пришла. Святое дѣло!

На мою собесѣдницу напалъ приливъ ярости.

— Ему-то, идолу, легче! Гниль бы, параличъ его расшиби, въ каторгѣ, въ тюрьмѣ. Ему-то, аспиду, душегубу, чтобъ его лихоманка трясла, чтобъ на него, злодѣя этакого, трясушка напала, — ему-то легче? Да мы-то изъ-за его душегубства за что должны теперь мучиться, муку этакую терпѣть?

— А за что мужъ попалъ?

— Купца, что ли, задавили. Я этими дѣлами не занимаюсь. Это мужики все. Деньги нажить думали. Какъ же, нажили, — свои проживаемъ!.. Изъ-за него, изъ-за душегубца. Дѣти меня держать, дѣти, по рукамъ, по ногамъ вяжутъ. Нешто, если бъ не дѣти, стала бы я этакую муку терпѣть! Быть хуже каторжницы всякой, прости. Господи! чтобъ тебя ниже всякой подлой ставили!

— Ну, матушка, это ужъ того... Кто жъ тебя ниже ставить? Напротивъ...

— А что жъ, по-твоему, выше, что ль? Каторжной — паекъ, а мнѣ—пишъ съ масломъ. Пошла къ окружному просить. „Положенія—говорить—т-кого нѣтъ. На дѣтей получай по полтора цѣлковыхъ, а тебѣ положенія нѣтъ“. Каторжной положеніе есть, а которыя сами пришли,—будто нѣтути. Она, подлая, мужа съ полюбовникомъ убила,—ей паекъ. А я этакую даль за душегубомъ шла, род-



Поселенческій бытъ. Улица въ селеніи Корсаковѣ, въ 2 верстахъ отъ Александровскаго поста.

ныхъ всѣхъ побросала, — мнѣ нѣтъ ничего. Да ежели бъ не дѣти меня вязали...

— Ну, что бы ты сдѣлала, если бъ не дѣти?

— На фартъ бы пошла. Ужли жъ на своего душегуба стала смотрѣть? Въ сожительство бы опредѣлилась. Съ нами вонъ въ партіи гнали каторжныхъ. Какъ теперь живутъ,—любо, дорого. Со стороны поглядѣть лестно. Въ Рассев такъ чисто не ходили: полу-сапожки козловые, платье—кумачъ не кумачъ, ситецъ не ситецъ. Полшалокъ въ три цѣлковыхъ, фартукъ надѣнетъ, — глаза бы не глядѣли. Завистно!

Она утерла слезы.

— А что сдѣлали? Мужей на тотъ свѣтъ поотправляли,—только и всего. А тутъ, прости, Господи, работаешь, бьешься, ровно сабака какая...

Какъ разъ въ эту минуту дверь отворилась, и на порогъ появилась молоденькая „сожительница“, кажется, слегка выпившая:

— Тетенька Арина, нѣтъ ли у васъ яичекъ, къ намъ гости пришли,—верещагу¹⁾ хошь сдѣлать.

— Нѣтъ у меня для тебя яицъ. Куры еще для тебя не неслись!

Бабенка вильнула хвостомъ и выбѣжала.

— Шкура! — напутствовала ее Арина. — Видѣли ее, подлую. Верещаги захотѣла! Въ будень какъ жрутъ! Повѣсить бы ее мало, въ землю бы, подлую, живьемъ закопать надо, на куски рѣзать да не дорѣзывать за дѣло-то за ея. Какъ она мужа на куски изрубила! А она „верещаги“. Да это ли еще! Зимой тутъ всѣмъ каторжнымъ бабамъ работу выдали, рубахи шить. Такъ она, вишь ты, тварь, не можетъ. Я жъ за нее шила, нанималась, отъ рубахи она мнѣ платила. Отъ дѣтей уходила. Я сижу, рубахи шью, а она на кровати лежить,—пряникъ жуетъ. Тьфу!

Это была ужъ высшая степень бѣшенства. Вся горечь, вся обида на эту разницу въ судьбѣ съ каторжной сказала въ этомъ плевкѣ.

Бѣдная баба разразилась горькими слезами.

— Ну, мужъ-то все-таки хорошъ съ тобой? Для дома старается, работаетъ?

— Работаетъ, песь его задави! Да много ль изъ его работы проку-то?—отвѣчала баба сквозь слезы.—Ни тебѣ ржицы, ни тебѣ овсеца, одна картошка. Съ ей и пухни... Господи, за что такое попущеніе!

И слезы полились еще горче. За занавѣской захныкали дѣти.

— Цыцъ вы, дьяволята, нѣтъ на васъ пропасти! — крикнула баба и взялась за ухватъ ставить въ печь корчагу.

Я распрощался и вышелъ.

Вотъ вамъ „героиня“ каторги.

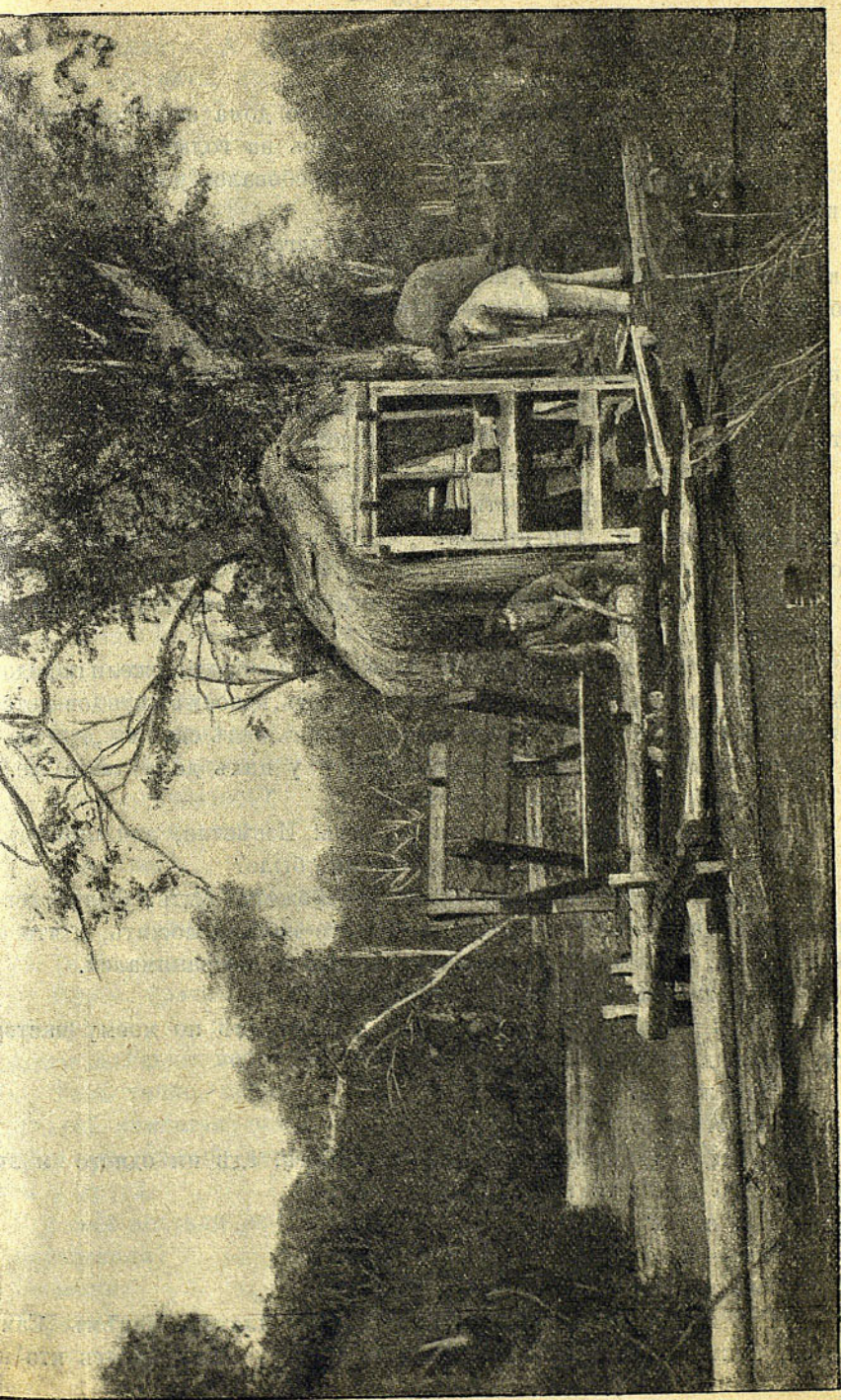
Домовладѣльцы.

Такой домъ только и можно встрѣтить, что на Сахалинѣ.

Домъ, никому рѣшительно не принадлежащій.

Былъ и у него хозяинъ, да ушелъ на материкъ, покупатель не нашлось,—онъ и бросилъ домъ такъ, на произволъ судьбы.

¹⁾ Верещага — яичница.



Поселенческая мельница.

Одно время здѣсь жили, кажется, пѣвчіе.

Теперь это „пріютъ для ночлега“.

Даже не ночлежный домъ. У ночлежнаго дома есть хозяинъ.

А здѣсь приходи, когда хочешь, ложись на голый полъ и спи.

Чтобъ пробраться къ этому дому, потребовался добрый десятокъ минутъ.

— Сюда, баринъ! Шагайте смѣлѣй! Ничего, становитесь!—кричали мнѣ обитатели этого дома, подбрасывая дощечки въ невылазную, зловонную грязь: обитатели дома не любятъ ни за чѣмъ ходить далеко.

Окна всѣ выставлены. Рамъ нѣтъ. Ни скамьи, ничего. Чтобъ мнѣ присѣсть,—притащили откуда-то соединенными усиліями чурку.

И вотъ я сижу въ пустомъ домѣ на чуркѣ, а передо мною стоять безъ шапокъ восемь „домовладѣльцевъ“.

И мы бесѣдуемъ о ихъ „владѣніяхъ“.

У всякаго изъ нихъ есть свой домъ гдѣ-нибудь на поселѣ. Домъ, выстроенный „для правовъ“, чтобъ имѣть право черезъ 5 лѣтъ получить крестьянство и уѣхать „на ту сторону“, „на материкъ“.

— Что жъ ты не живешь въ своемъ домѣ?—спрашиваю наудачу у перваго попавшагося.

— Давъ немъ и жить нельзя!—Въ немъ, вашескобродіе, ежели порядочнымъ пѣтуху да курицѣ, не приведи имъ Господь, вдвоемъ жить доведется, они другъ друга задуютъ!—иронизируетъ онъ надъ своимъ „домомъ“.

Остальные одобрительно улыбаются: и у нихъ дома такіе же.

— Зачѣмъ же ты такой строилъ?

— Зачѣмъ на Сакалинѣ дома строить! Извѣстно, для правовъ.

— Что жъ, у тебя хозяйство, что ли, было?

— Какое, вашескобродіе, хозяйство можетъ быть? Одно слово: Сакалинъ! Да я, вашескобродіе, позвольте вамъ доложить, и что съ ей дѣлаютъ, съ земель-то, не знаю. Отродясь не занимался.

— Что же ты мастерство какое знаешь?

— Такъ точно. Мастерство знаю. Только мнѣ по моему мастерству здѣсь дѣлать нечего.

— Кто же ты?

— Литографъ.

Литографу, дѣйствительно, на Сахалинѣ, гдѣ ни одного и литографскаго камня-то нѣтъ, дѣлать нечего.

— Ну, а ты?

— Мы — плотники.

— Ну, плотнику легче найти работу.

— Гдѣ жъ ее тутъ найдешь?! Поселенцу платить нечѣмъ. Самъ бьется, какъ ни на есть сколачиваетъ. А то у тѣхъ беретъ кто на

материкъ уѣзжаетъ. А господь, на которыхъ бы работать, у насъ, сами изволите знать, нѣту.

— Ну, а ты кто?

— Печники будемъ.

Опять та же пѣсня: поселенецъ самъ печи кладетъ, платить нечѣмъ, а „господь“ нѣту.

— Ты?

— По торговой части занимался... Дозвольте вамъ, вашескорodie, замѣтить, для житья прямо никакихъ способовъ нѣтъ. Питаться нечѣмъ. Казеннаго пайка не даютъ. Прекратили

— Да вѣдь не можетъ же казна васъ всю вашу жизнь кормить!

— Оно, конечно, такъ... Справедливо изволите говорить! Только и намъ безъ пищи жить тоже никакъ невозможно.

— Зачѣмъ же вы сюда пришли, въ постъ?

— Работу найти думали. Какъ можно, все-таки—постъ! Не поселье дикое.

— Ну, и что жъ? Нашли здѣсь работу?

— Нѣтъ! Какая здѣсь работа! На промыслахъ на рыбныхъ все японцы. Вонъ Кармаренковъ господинъ, ему отъ казны вспомошествованіе вышло, каторжными ему и заводъ весь выстроили,—а онъ японцами работает!

— Что жъ вы здѣсь дѣлаете, однако? Работаете хоть что-нибудь!

— Такъ, придется что—работаемъ. Какая здѣсь работа.

— Такъ слоняетесь?

— Такъ слоняемся.

— Вруете?

— Что здѣсь у нихъ украдешь,—самимъ жрать нечего!

— Ну, а сейчасъ чѣмъ занимались, какъ мнѣ прійти?

— Такъ... говорили промежъ себя...

— Врете, братцы. Въ карты, небось, играли? Говорите,—никому не скажу!

Домовладѣльцы переглядываются и улыбаются.

— Такъ точно, играли.

У всей компаніи оказалось, въ общей сложности, 48 копеекъ, которыя они цѣлый день и стараются изо всѣхъ силъ выиграть другъ у друга.

Гдѣ они достали эти 48 копеекъ?

Заработали?

Возможно.

Украли?

Вѣроятно.

Рѣзцовъ.

— Да есть ли, наконецъ, у васъ тутъ хоть одинъ зажиточный поселенецъ, который разжился бы на Сахалинѣ честнымъ трудомъ? — ужъ въ отчаяніи восклицалъ я, исходивъ все поселье. — А то куда ни глянь, или нищета, или если зажиточный, то нажилъ деньги тайной продажей водки, кулачествомъ, ростовщичествомъ, самымъ алчнымъ, жестокимъ, безчеловѣчнымъ обираниемъ своего же брата! Есть ли хоть кто-нибудь, кто разжился бы трудомъ? Или нѣтъ такихъ совсѣмъ?

— Какъ нѣтъ? Очень немного, — но попадаются. Да вотъ вамъ Рѣзцовъ. Зажиточный мужикъ и отличный человекъ. Онъ здѣсь даже старостой слободскимъ одно время былъ. Про него слова дурного никто не скажетъ. На Сахалинъ пришелъ безъ гроша — здѣсь хозяйство — дай Богъ всякому.

Слава Тебѣ, Господи! Иду смотрѣть эту „гордость Сахалина“.

Рѣзцовъ — отличный столяръ и прекрасный хозяинъ. У него хорошіе огороды, 15 штукъ скота, — онъ разводитъ скотину и продаетъ въ казну. И, главное, все это нажито, дѣйствительно, своимъ трудомъ и бережливостью.

Рѣзцовъ пришелъ въ каторгу на 7 лѣтъ за убійство въ дракѣ, окончилъ поселенчество, теперь крестьянинъ...

Захожу въ избу — чисто. Вѣтъ зажиткомъ.

Рѣзцовъ, молодой еще человекъ, производитъ странное впечатлѣніе.

Не то что больной, — нѣтъ. А словно вотъ-вотъ свалится. Такія лица бываютъ у людей, проводящихъ безсонныя ночи, — у людей съ измученными, издерганными нервами.

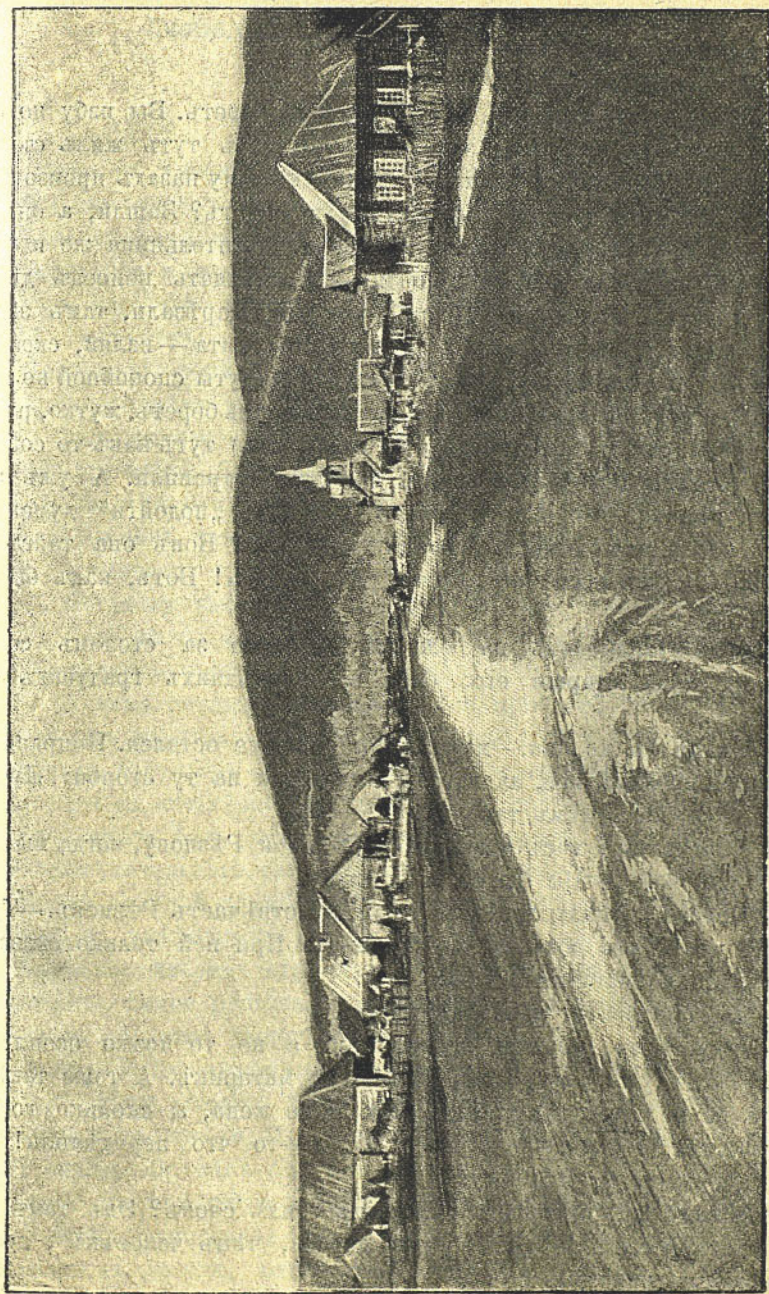
— Здравствуйте, Рѣзцовъ. Пришелъ посмотреть, какъ вы живете-можете.

— Милости просимъ, баринъ. Живемъ ничего. Бога гнѣвить не стану. Огороды есть, работниковъ держу троихъ, скотина... Вотъ, Богъ дастъ, все продамъ, на материкъ поѣду...

— Какъ на материкъ? Да вѣдь у васъ и тутъ хозяйство идетъ, сами же говорите, — слава Богу, столярничаете.

— Ну, это что! Какое здѣсь мастерство? Поселенцамъ столяръ не нуженъ, — а господа въ тюрьмѣ все себѣ дѣлаютъ за дарма.

— Ну, скотъ у васъ, хозяйство.



Поселенческий бытъ. Старое поселене.

— А Богъ съ нимъ и со скотомъ и съ хозяйствомъ. Только бы отсюда выбраться.

— Да почему жъ, наконецъ?

Рѣзцовъ вздохнулъ.

— Жить здѣсь страшно. Жуть, оторопь беретъ. Вы избу по соседству изволили видѣть, — заколочена? Писарь тутъ жилъ съ сожительницей. Деньжонки были... Недѣли двѣ тому назадъ произошло. Утромъ смотримъ, что онъ на службу не идетъ? Зашли, а онъ — мертвый, и кругомъ лужа крови. Зарѣзали. Сожительница же и подвела. Тутъ не токма что за деньги, — за двадцать копеекъ другу дружку рѣжутъ. Только и слуховъ, что тамъ зарѣзали, тамъ зарѣзали. Господь трогать не смѣютъ, а своего брата — валяй, сколько влѣзетъ. Нѣтъ ужъ, ну ее съ такой жизнью! Минуты спокойной не знаешь... Ночью — собака залаетъ, в кочишь, оторопь беретъ, жутко, руки, ноги холодѣютъ: ужъ не подходятъ ли? У меня тутъ какъ-то собака сдохла. Недѣлю потомъ не спалъ. Думалъ — отравили. А ужъ это примѣта вѣрная, — отравятъ собаку, значить, „подойти“ думаютъ. Знаютъ, что у меня есть деньжонки. Долго ли? Вонъ она тайга-то, убѣжалъ, — ищи тамъ его. Нѣтъ ужъ, будетъ! Вотъ, какъ бы не она...

Рѣзцовъ указываетъ на еле-еле сидящую за столомъ сожительницу, куда старше его; баба въ послѣднихъ градусахъ чахотки.

— Ежели бы не она, — минуты бы здѣсь не остался. Поправится немножко, продамъ все, за что ни попадаю, и на ту сторону. Лучше ужъ въ бѣдности, чѣмъ такъ-то!

— Плоховата у васъ хозяйка! — говорю я Рѣзцову, когда мы выходили изъ избы. — Вы бы ее къ доктору.

— Ходить въ лазаретъ! — со вздохомъ отвѣчаетъ Рѣзцовъ. — Тутъ докторъ что! Тутъ докторъ не поможетъ. При ней только сказалъ, что, молъ, „поправится“! Гдѣ!

— Да, плоховата, очень плоховата.

— Жду. Вотъ, можетъ, весной этой, а не то позже осени помретъ. Тогда ужъ распродамъ все и на материкъ. А тоже такъ-то бросать ее не приходится. Все, хоть и не жена, а сколько годовъ вмѣстѣ жили, — радостей немного, а горя-то что передѣлили! Пускай ужъ помретъ. Подожду.

Не правда ли, сухостью вѣетъ отъ этихъ словъ? Эхъ, тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о жизни, — „нѣтъ суше дерева, чѣмъ человѣкъ“, по сахалинской поговоркѣ.

Свободные люди острова Сахалина.

I.

Редакторъ-издатель.

Рѣдко въ жизни бывалъ я изумленъ болѣе.

На пристани, въ коротенькомъ тулупѣ, съ Георгіемъ въ петлицѣ и колоссальными жгутами тюремнаго вѣдомства на плечахъ, стоялъ, громоподобно и молніеносно распоряжался работами... бывший редакторъ-издатель газеты „Голосъ Москвы“ и многихъ другихъ, В. Н. Бестужевъ.

Вообразите себѣ Геркулеса, вся грудь котораго, точно въ кольчугѣ, въ орденахъ и медаляхъ. Въ медаляхъ и орденахъ пожалованныхъ имъ самому себѣ, на ношеніе которыхъ онъ не имѣлъ ни малѣйшаго права. Вотъ вамъ внѣшность этого стихійнаго человѣка. Онъ сдѣлалъ всѣ компаніи, какія только были за его жизнь, вступилъ и вышелъ изъ военной службы рядовымъ. Въ разговорѣ онъ часто упоминалъ:

— Когда въ такомъ-то году я былъ унтеръ-офицеромъ...

— Какъ же ты могъ быть унтеръ-офицеромъ, когда ты рядовой?— интересовались пріятели.

— А меня потомъ разжаловали,—и при всей своей ноздревской натурѣ онъ въ этомъ отношеніи не лгалъ; едва онъ успѣвалъ дослужиться до унтеръ-офицера, какъ моментально подвергался разжалованію за какія-нибудь безобразныя дѣянія. Подчиненныхъ онъ не могъ имѣть безъ того, чтобы не совершить надъ ними какого-либо возмутительнаго самоуправства: мордобойства или насилія.

Послѣ военной службы онъ занимался всѣмъ и ничего не признавалъ въ умѣренныхъ размѣрахъ.

Былъ владѣльцемъ огромнаго имѣнія, вводилъ самое усовершенствованное, самое раціональное хозяйство,—и имѣніе самымъ раціональнымъ образомъ вылетѣло въ трубу.

Затѣмъ имѣлъ огромный мыловаренный и свѣчной заводъ, гдѣ мыло и свѣчи должны были готовиться особенными, еще не виданными, машинами. Но мыла и свѣчей, приготовленныхъ невиданными машинами, такъ никто и не увидѣлъ.

Далѣе мы видимъ его владѣльцемъ самой большой типографіи въ Москвѣ,—типографіи, въ которой одновременно печатались: три ежедневныхъ газеты, одинъ еженедѣльный и одинъ ежемѣсячный журналъ, масса земской и частной работы.

Типографія улетѣла туда же, куда улетѣло и имѣніе вмѣстѣ съ мыловаренными заводами. Бестужевъ судился въ московскомъ окружномъ судѣ за двоеженство, — тогда эти дѣла слушались съ присяжными засѣдателями, — и былъ оправданъ, хотя фактъ преступленія былъ признанъ. Изъ дѣла выяснилось, что свою вторую жену, богатую вдову-купчиху, Бестужевъ прельстилъ, выдавая себя за камеръ-юнкера и несмѣтнаго богача. Все состояніе несчастной женщины было потомъ проиграно въ карты и истрачено на разныя аферы. Разбирательство этого громкаго процесса надѣлало въ свое время много шума въ Москвѣ. Перечислить „мелкія дѣла“ Бестужева не было бы никакой возможности: почти еженедѣльно у кого-нибудь изъ московскихъ мировыхъ судей разбиралось какое-нибудь „Бестужевское дѣло“: или по иску съ него, или по обвиненію его въ самоуправствѣ, дракѣ и насиліи.

Бестужевъ былъ одновременно редакторомъ-издателемъ *четыре* ежедневныхъ газетъ¹⁾ и издавалъ изъ нихъ одновременно три!!!

Его литературная извѣстность была грандіозна, но скоротечна. Онъ вдругъ создалъ себѣ всероссійскую извѣстность, но въ тотъ же моментъ ее и утратилъ.

Онъ въ одно прекрасное утро „проснулся знаменитостью“.

Вона фбе, ничего не подозрѣвая, напечаталъ въ издаваемъ имъ газетѣ „Жизнь“ Пушкинскую „Пиковую даму“... за произведение какого-то начинающаго литератора Ногтева. Всѣ дальнѣйшія извиненія и объясненія редакціи ничего не прибавили къ лаврамъ, заработаннымъ въ одинъ день.

О газетѣ „Жизнь“ говорили всѣ газеты!

Но это была единственная минута литературнаго успѣха.

Бестужевъ въ журналистикѣ игралъ роль душеприказчика, „брата милосердія“.

На его рукахъ умирали газеты.

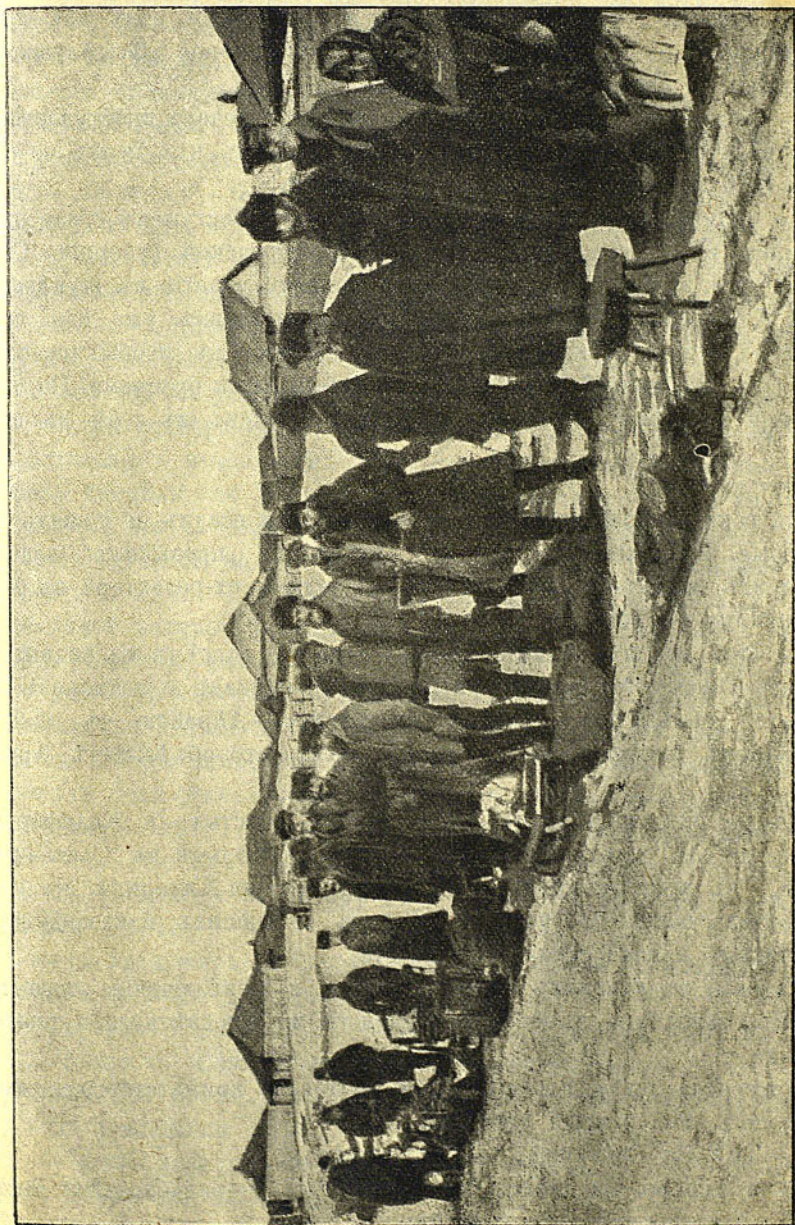
На его рукахъ покончили свои недолгіе, но многострадальныя дни „Голосъ Москвы“.

На его рукахъ скончалась начатая г. Плевако и доконченная литературными самозванцами газета „Жизнь“.

На его рукахъ умеръ имъ же основанный „Вѣстникъ объявленій и промышленности“.

На его рукахъ замерло, не издавъ даже писка, многогрѣшное „Эхо“, купленное Бестужевымъ у петербургскаго адвоката г. Т., —

1) Изъ которыхъ три должны были выходить въ Москвѣ, а одна — въ С.-Петербургѣ.



Поселенческий бытъ. Торговля на базарѣ.

знаменитаго г. Т., который, защищая еще болѣе знаменитую Луизу Филиппо, обвинявшуюся „въ публичномъ оскорбленіи общественной нравственности“, вынулъ среди рѣчи изъ портфеля одну изъ принадлежностей ея туалета, потрясалъ этой шелковой „бездѣлушкой“ въ воздухъ и патетически восклицалъ:

— Неправда! Боть въ чемъ она была въ „вечеръ преступленія“. Какъ видите, все дѣло состоитъ только въ томъ, что шелкъ не выдержалъ и лопнулъ отъ усиленнаго канкана!

По окончаніи литературной дѣятельности, Бестужевъ сразу превратился въ... станового пристава Нижегородской губерніи. Собственно живѣйшее его желаніе было принять участіе въ шумѣвшей тогда Ашиновской экспедиціи. Бестужевъ составилъ уже свой собственный отрядъ и изумлялъ Москву, щеголяя въ необыкновенной черкескѣ, увѣшанный оружіемъ и съ небывалыми орденами. Но знаменитый „атаманъ“ отказался принять Бестужева къ себѣ въ есаулы:

Больно буенъ.

Съ горя бывшій редакторъ и неудавшійся есаулъ и пошелъ въ становые. Въ становыхъ онъ не удержался: „превысилъ“ власть, натворилъ какихъ-то „насилій“, и мы видимъ ех-редактора въ роли исправника въ Томскѣ.

Затѣмъ мы его видимъ,—вѣрнѣе, мы его совсѣмъ не видимъ.

Изъ Томска, не удержавшись въ исправникахъ и натворивъ какихъ-то „дѣлъ“, онъ уѣзжаетъ въ Буэнос-Айрейсъ, съ цѣлымъ караваномъ проводниковъ и слугъ, зачѣмъ-то объѣзжаетъ Аргентину.

Далѣе, онъ живетъ въ Чили, ищетъ счастья въ Калифорніи, отбываетъ за что-то срокъ въ каторжной тюрьмѣ въ Санъ-Франциско,—въ концѣ-концовъ, я встрѣтилъ его на Сахалинѣ, въ роли смотрителя поселеній, устроителя быта отбывшихъ наказаніе преступниковъ и насадителя колонизаціи.

Таковы, въ краткихъ чертахъ, жизнь и приключенія этого помѣщика, заводчика, редактора, станового и кругосвѣтнаго путешественника.

Интересна была первая фраза, которою привѣтствовалъ меня Бестужевъ, мой старый пріятель.

— Ты? На Сахалинъ?—воскликнулъ я.

— А гдѣ жъ ты думалъ меня встрѣтить?—расхохотался Бестужевъ.—Хорошо еще, что хоть чиновникомъ.

При всѣхъ своихъ недостаткахъ, онъ былъ человѣкомъ правдивымъ и какъ-то въ бесѣдѣ сказалъ мнѣ:

— Здѣсь нужны лучше люди, а кого сюда присылаютъ?! Кто тамъ, въ Россіи, ни къ чему не пригоденъ! Да вотъ хоть меня возьми. А я, честное слово, еще не изъ худшихъ.

Онъ дѣйствовалъ на Сахалинѣ такъ же бурно, безтолково и не стѣсняясь никакими законами, какъ и всю свою жизнь.

Онъ основывалъ новыя селенія, устраивалъ мастерскія, построилъ церковь, школу, домъ для пріѣзжихъ,—и все это безъ копейки денегъ,—„за водку“. О „пользѣ“ вообще такой экономической и экономной политики я скажу ниже, а теперь только констатирую фактъ, что въ результатѣ Бестужевскихъ „заботъ“ явилось повальное и совершенное обнищаніе ввѣренныхъ его попеченіямъ поселенцевъ.

Человѣкъ „старого склада мыслей“, онъ слылъ въ своемъ округѣ „крутымъ, но отходчивымъ, безтолковымъ бариномъ“. И я не думаю, чтобы его образъ управленія „ввѣренными душами“ особенно способствовалъ водворенію въ этихъ „душахъ“ какого бы то ни было представленія о законности... Когда по повальному разоренію поселенцевъ увидѣли, что Бестужевъ въ устроители сельскаго хозяйства не годится, его сдѣлали смотрителемъ Корсаковской тюрьмы. Тутъ, оказавшись главою надъ безправными, лишенными возможности протестовать людьми, Бестужевъ развернулся во всю ширь и мощь своей дикой натуры: билъ, колотилъ, дралъ неистово,—что на Сахалинѣ рѣдкость, имѣлъ даже „непріятность“ отъ начальства за то, что подвергалъ жестокимъ тѣлеснымъ наказаніямъ людей, завѣдомо больныхъ и освобожденныхъ отъ тѣлесныхъ наказаній. Богъ вѣсть, чѣмъ бы все это безобразіе кончилось, если бы Бестужевъ вдругъ не попалъ подъ судъ. Контроль открылъ безцеремонное хозяйничаніе казенными деньгами. Бестужевъ былъ смѣщенъ и отданъ подъ судъ.

Надѣясь, что ему удастся какъ-нибудь „отговориться“, онъ поѣхалъ къ генераль-губернатору въ Хабаровскъ, но тамъ его ждалъ послѣдній ударъ.

Бестужевъ дожидался своей очереди въ пріемной, когда вышелъ чиновникъ особыхъ порученій и сказалъ:

— Генераль приказалъ передать вамъ, что онъ васъ не приметъ... Довольно! Ваше дѣло будетъ рѣшено по закону.

Тучный Бестужевъ зашатался, лицо его потемнѣло, онъ упалъ, на губахъ показалась пѣна.

Прибѣжалъ докторъ. Бестужевъ былъ мертвъ.

Онъ умеръ отъ апоплектического удара.

Такъ кончилъ свои дни этотъ „свободный человѣкъ острова Сахалина“.

Каторга, любящая всѣмъ давать свои прозвища, прозвала его „атаманъ-буря“.

II.

„Сахалинскій Орфей“.

Корсаковскъ—это царство селедки.

— Селедка идетъ!.. это—событіе для тюрьмы, поселенцевъ, промышленниковъ,—для всѣхъ. Это то, чѣмъ живутъ цѣлый годъ.

Что за фантастическая картина! Что за декорація изъ какой-то фееріи!

По морю течетъ молочная рѣка.

На версту отъ берега вода побѣлѣла, стала молочнаго цвѣта.

А кругомъ, кругомъ!

Блещутъ фонтаны китовъ, режутъ сивучи (моржи), съ воплями носятся тысячи чаекъ.

И надъ всѣмъ этимъ царить господинъ Крамаренко.

„Сахалинскій Орфей“, промѣнявшій скрипку на селедку.

Но и скрипка не всегда была постояннымъ инструментомъ г. Крамаренка. Когда-то онъ игралъ на другомъ инструментѣ,—щелкалъ на счетахъ, служа въ конторѣ кого-то изъ астраханскихъ рыбопромышленниковъ.

Г. Крамаренко—человѣкъ молодой годами, но „старый опытомъ“.

Въ 30 лѣтъ онъ успѣлъ быть конторщикомъ, скрипачомъ-виртуозомъ и превратиться въ рыбопромышленника.

Вкусилъ лавра и питается селедкой.

Г. Крамаренко—астраханскій мѣщанинъ. Такъ сказать, землякъ астраханской сельди. Но этимъ и кончается все его родство съ соленой рыбой.

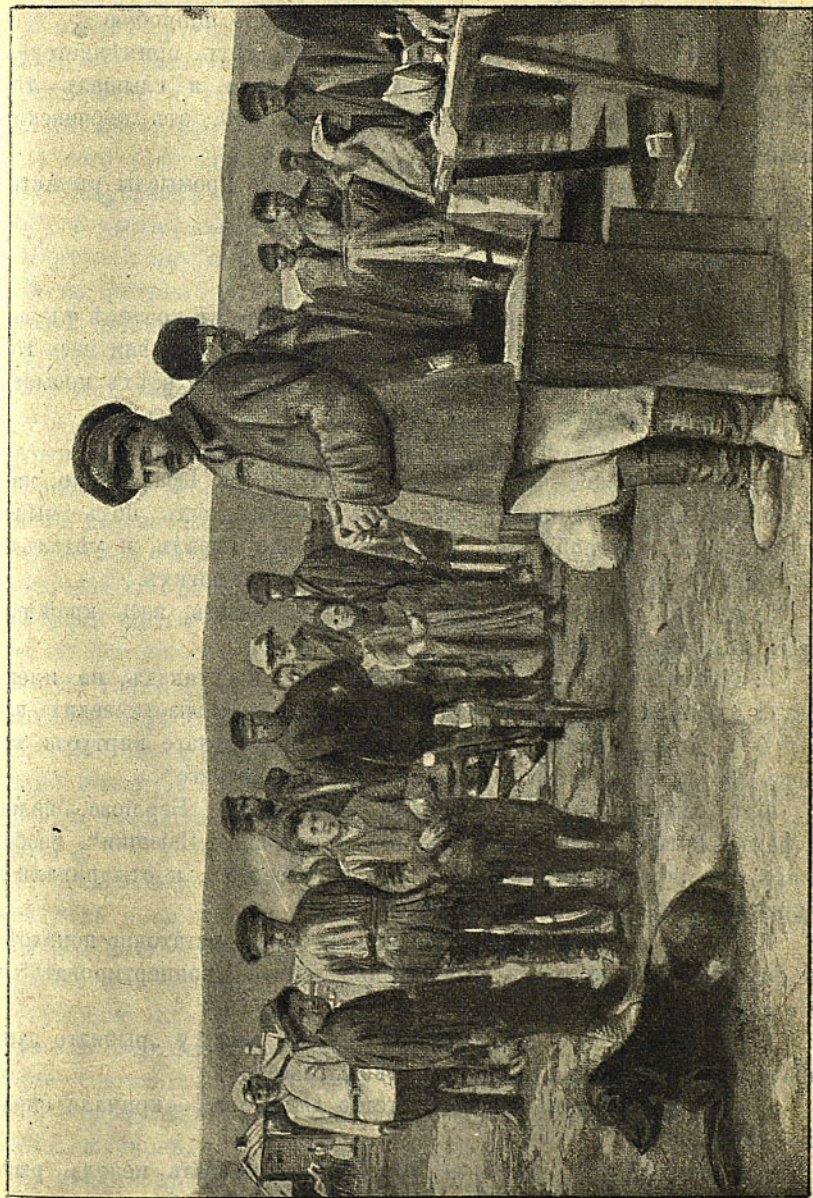
По его собственному, искреннему, чистосердечному и дѣлающему ему честь сознанию, онъ о селедкѣ имѣетъ ровно столько же понятія, сколько всякій, кому случалось видѣть эту рыбу, приготовленную съ уксусомъ, маслицемъ, горчишкой, свеклой, лучкомъ и картофелемъ.

Онъ знаетъ, что селедка—великолѣпная и риема и закуска къ водкѣ.

Но на этомъ всѣ его познанія и кончаются.

Даже вашъ покорнѣйшій слуга,—и тотъ оказался болѣе опытнымъ рыбопромышленникомъ въ сравненіи съ этимъ „сахалинскимъ Орфеемъ“.

— Зачѣмъ вы солите селедку только сухимъ способомъ? То-есть кладете и пересыпаете солью? — спросилъ я. — Отчего бы вамъ не пускать рыбу въ готовый тузлукъ (разсолъ)? Наглотавшись тузлука, рыба лучше бы просолилась и была бы нѣжнѣе.



Поселенческий бытъ. Видъ базара въ воскресный день.

Г. Крамаренко посмотрѣлъ на меня во всѣ глаза, какъ на человека, только что открывшаго Америку.

— А вѣдь, знаете, это—идея!!! Непремѣнно попробую.

Хороша „идея“, которая ужъ десятки лѣтъ примѣняется на практикѣ! Объ этомъ способѣ засола селедки я слышалъ лѣтъ шесть передъ тѣмъ, на нижегородской ярмаркѣ, отъ керченскихъ рыбопромышленниковъ.

— Да у васъ, что же, были свои рыбные промыслы въ Астрахани?

— Нѣтъ.

— Служили вы на промыслахъ?

— Тоже нѣтъ. Я занимался счетоводствомъ въ конторѣ у купца. Ну, а когда начинался ходъ селедки, — эта вѣдь недѣля весь годъ кормить, — тогда всякое счетоводство по боку: насъ всѣхъ посылали на промыслы смотрѣть за рабочими. Тутъ я и видѣлъ.

Вотъ и все. Вся его школа. Всѣ его познанія.

Потерпѣвъ какое-то крушеніе на родинѣ, г. Крамаренко, какъ человекъ предприимчивый, забросилъ счеты, взялъ подъ мышку скрипку, на которой для любителя хорошо игралъ, и уѣхалъ въ Уссурийскій край, куда въ тѣ времена тянуло многихъ.

Здѣсь онъ имѣлъ сразу успѣхъ. Можно сказать, весь край плясалъ подъ его скрипку.

Г. Крамаренко игралъ на свадьбахъ, на крестинахъ, на именинахъ, украшалъ себя фантастическими медалями экзотическихъ владыкъ и давалъ концерты въ качествѣ „придворнаго виртуоза эмировъ афганскаго, бухарскаго и киргизъ-колпакскаго“.

Онъ одинаково охотно игралъ Венявскаго, Берліоза, польку „трамъ-блямъ“, концерты Паганини и кадрили „Вьюшки“, изображалъ при помощи смычка, какъ „баба голосить“, и отжаривалъ на скрипкѣ, какъ на балалайкѣ, трепака.

Когда же все это разнообразное искусство достаточно понадоѣло и ему и всему краю, г. Крамаренко уѣхалъ „концертировать“ на Сахалинъ.

На Сахалинъ онъ попалъ какъ разъ въ минуту „рыбнаго замѣшательства“ и даже „рыбнаго помѣшательства“.

— Рыба — вотъ въ чемъ богатство Сахалина! — кричали справа и слѣва.

На самомъ дѣлѣ, рыбы — „уйма“, рыбы дѣвать некуда, рыбой кишать рѣки, рыба мириадами трется у морскихъ береговъ.

А какъ къ ней приступить, что съ нею дѣлаютъ, какъ ее солить, — никто не зналъ.

Всякій ѣлъ селедку, но рѣшительно не знаетъ, какъ она готовится. Положеніе трагическое!

И вдругъ пріѣзжій скрипачъ-виртуозъ, въ антрактѣ между двумя отдѣленіями танцевъ, объявляетъ:

— А вѣдь я, господа, въ Астрахани былъ, на рыбныхъ промыслахъ жилъ, какъ селедку солить—знаю.

За него ухватились, какъ за находку.

Г. Крамаренка назначили на три года „техническимъ надзирателемъ“ за тюремными рыбными промыслами.

Поручили ему изслѣдованія по рыбному дѣлу на Сахалинѣ.

И въ результатѣ этихъ изслѣдованій помогли выстроить собственный рыбный заводъ.

Астраханскій конторщикъ и свадебный скрипачъ превратился въ крѣпостного владѣльца.

Отпущенные ему въ помощь, за грошовую плату казнѣ, каторжные строили ему заводъ, погреба, подвалы.

Правда, погреба мало на что годятся, рыба въ нихъ портится, подвалы для засола рыбы текутъ, и тузлукъ изъ нихъ уходитъ. Но это ужъ вина не каторжныхъ, отданныхъ во временное крѣпостное пользованіе г. Крамаренка,—это вина самого скрипача-архитектора.

Первые опыты г. Крамаренка были довольно печальны. Съ первыхъ же шаговъ онъ сильно и основательно шлепнулся, можно сказать, „на гладкомъ мѣстѣ“.

Первый ходъ селедки онъ пропустилъ. Второй хоть и не прозѣваль, но толку не вышло: тузлукъ вытекъ, и рыбу пришлось обратно выкинуть въ море. При третьемъ ходѣ хоть и получилась, наконецъ, желанная селедка, но такая дрянъ, что никто брать не хотѣлъ.

Г. Крамаренко теперь „учится“. Да и чего жъ не учиться? Даровой лѣсъ и за гроши доставшійся трудъ каторжныхъ. Въ видѣ маленькой ежегодной субсидіи,—1000 р. впередъ за рыбу, которую г. Крамаренко обязанъ поставить на тюрьму. Потомъ, впрочемъ, эту субсидію отъ г. Крамаренка, кажется, отняли, убѣдившись, что это за рыбопромышленникъ. Въ сахалинскомъ „календарѣ“ вы найдете статью г. Крамаренка, въ которой онъ очень громко и весьма справедливо вопіетъ противъ „хищничества“ японскихъ рыбопромышленниковъ.

На самомъ дѣлѣ! Такую цѣнную рыбу, какъ сельдь, они ловятъ на Сахалинѣ стадами, варятъ въ котлахъ и превращаютъ въ удобри-
тельные туки.

Развѣ это не варварство? Развѣ не хищничество?

Что жъ дѣлаетъ самъ г. Крамаренко?

Ловить сельдь, варить ее и приготовляетъ изъ нея „тукъ“, то-есть занимается тѣмъ же самымъ хищничествомъ, противъ котораго такъ горячо и справедливо вопіетъ. Весь его игрушечный, комическій „засоль“ рыбы не даетъ ни гроша, простая игра „для отвода глазъ“.

Главное его дѣло,—онъ и самъ не скрываетъ,—„туковое дѣло“. Приготовляя удобрительный тукъ изъ селедки, онъ продаетъ его тѣмъ же самымъ японцамъ. Вся разница состоитъ только въ томъ, что казна съ „поощряемаго“ г. Крамаренка получаетъ гораздо меньше, чѣмъ получала бы съ арендаторовъ-японцевъ. Къ хищничеству тутъ слѣдуетъ еще добавить и „обставленіе“ казны. Промыслы г. Крамаренка ничего не даютъ населенію, потому что, самъ подставное лицо японцевъ, г. Крамаренко работаетъ исключительно японскими рабочими.

Въ чемъ же, однако, секретъ такого быстрого, крупнаго и ничѣмъ, казалось бы, не заслуженнаго успѣха этого виртуоза?—спросите вы.

Очень просто.

Въ томъ, что на Сахалинѣ мало кто ѣдетъ по доброй волѣ.

Каждый доброволецъ-предприниматель, какъ рѣдкость, здѣсь встрѣчается съ распростертыми объятіями, находитъ поддержку и помощь.

Жаль только, что эти предприниматели-то...

Нѣтъ спора, край многимъ и многимъ богатый, но онъ требуетъ людей знанія, людей дѣла, а не кулаковъ-эксплуататоровъ, не свадебныхъ скрипачей, готовыхъ схватиться за что угодно, не людей „безъ опредѣленныхъ занятій, средствъ и образа жизни“...

А тамъ исключительно „орудуютъ“ или неудачники, потерпѣвшіе въ Россіи крушенія на всѣхъ поприщахъ, или хищники,—какіе это плохіе устроители благосостоянія дѣйствительно „несчастливыхъ“ острова Сахалина.

III.

„Спиртовая торговля“.

Если Сахалинъ,—какъ въ шутку называютъ его мѣстные чиновники,—„совершенно особое, самостоятельное государство“, то Корсаковский округъ, непроходимыми тундрами и тайгой отрѣзанный отъ административнаго центра, поста Александровскаго, представляетъ собой ужъ „государство въ государствѣ“, „Сахалинъ на Сахалинѣ“.

Здѣсь свои особые порядки, обычаи, законы, даже своя особая денежная единица.

Наши обыкновенные денежные знаки въ Корсаковскѣ упразднены. Вся торговля, всѣ дѣла ведутся на спиртъ.

Денежная единица Корсаковского округа—бутылка спирта, даже не бутылка спирта, а записка на право купить бутылку спирта. Чтобы понять эту „девальвацію“, очень выгодную для многихъ, надо знать условія продажи спирта на Сахалинѣ.

Спиртомъ имѣетъ право торговать только колонизаціонный, онъ же „экономическій“ фондъ.

Невозбранно и въ какомъ угодно количествѣ спиртъ могутъ покупать только люди „свободнаго состоянія“, то-есть чиновники.

Поселенцамъ же разрѣшается покупать спиртъ передъ праздниками или по запискамъ лицъ свободнаго состоянія.

„Отпустить такому-то бутылку спирта. Такой-то“.

Въ „фондѣ“ бутылка спирта стоитъ 1 руб. 25 коп., рыночная ея цѣна колеблется отъ 2 р. 50 коп. до 6 рублей.

Поселенецъ, получивъ такую записку, „выкупаетъ“ на свои деньги въ фондъ бутылку спирта и перепродаетъ ее съ прибылью поселенцамъ же и каторгѣ.

А то просто перепродается самая „записка“. Записки ходятъ какъ ассигнаціи. Бываютъ даже подложныя!

На эти записки чиновники покупаютъ у поселенцевъ соболей,— по запискѣ за шкуру, — этими записками платятъ за поставленные продукты, за сдѣланные работы.

Въ сущности, такимъ образомъ, они получаютъ все даромъ, предоставляя только поселенцамъ возможность заниматься торговлей водкой и спаивать каторгу.

Смотритель поселеній Бестужевъ, лично для себя не примѣнявшій этого „порядка“, какъ я уже говорилъ, пробовалъ зато примѣнить этотъ „порядокъ“ къ казеннымъ работамъ.

Онъ быстро построилъ, безъ копейки денегъ, церковь, школу, мастерскія, домъ для пріѣзжающихъ чиновниковъ, — за все расплачиваясь „записками“.

Онъ разсуждалъ такъ:

— Если гг. служащіе дѣлаютъ такъ, почему же не дѣлать казнѣ? Пусть ужъ лучше въ казенный карманъ идетъ, чѣмъ въ карманы гг. служащихъ.

Совершенно забывая, что „quod licet bovi—non licet Iovi“.

Къ сожалѣнію, изобрѣтательный финансистъ не расчиталъ одного.

Что съ появленіемъ на „рынкѣ“ массы записокъ, цѣна на нихъ упадетъ.

Такъ и случилось.

Работавшіе поселенцы разорились въ конецъ: думая получить за записки рубли, они получили гроши.

Среди нищенствующихъ въ Корсаковскѣ пришлыхъ поселенцевъ мнѣ много приходилось встрѣчать жертвъ этой оригинальной финансовой затѣи.

Я не стану уже говорить о влияніи этой „спиртовой системы“ на нравственность поселенцевъ.

За спиртъ въ Корсаковскѣ продается и покупается все, — до сожителиницы или дочери включительно.

Но какое же уваженіе можетъ имѣть каторга къ чиновникамъ, даромъ покупающимъ ея трудъ, и чиновникамъ, торгующимъ спиртомъ?

А на Сахалинѣ такъ много говорятъ о необходимости поддерживать престижъ.

— Каторга распускается! Становится дерзка, непослушна!

Какъ будто „престижъ“ создается и поддерживается одними наказаніями.

IV.

Биричъ.

Биричъ — мой сосѣдъ по комнатѣ. Онъ живетъ у того же ссыльно-каторжнаго Пищикова, у котораго остановился и я.

Онъ — компаньонъ одного изъ крупныхъ рыбопромышленниковъ и ужасно любитъ говорить о томъ, какіе огромные убытки онъ терпитъ, благодаря дурной погодѣ.

— Помилте-сь. Законтрактованные пароходы съ японцами-сь не идутъ. Тутъ каждый день дорогъ-сь. Не нынче—завтра селедка пойдетъ. Вѣдь это мнѣ тысячными убытками пахнетъ-сь. Вѣдь я тысячи могу потерять-сь.

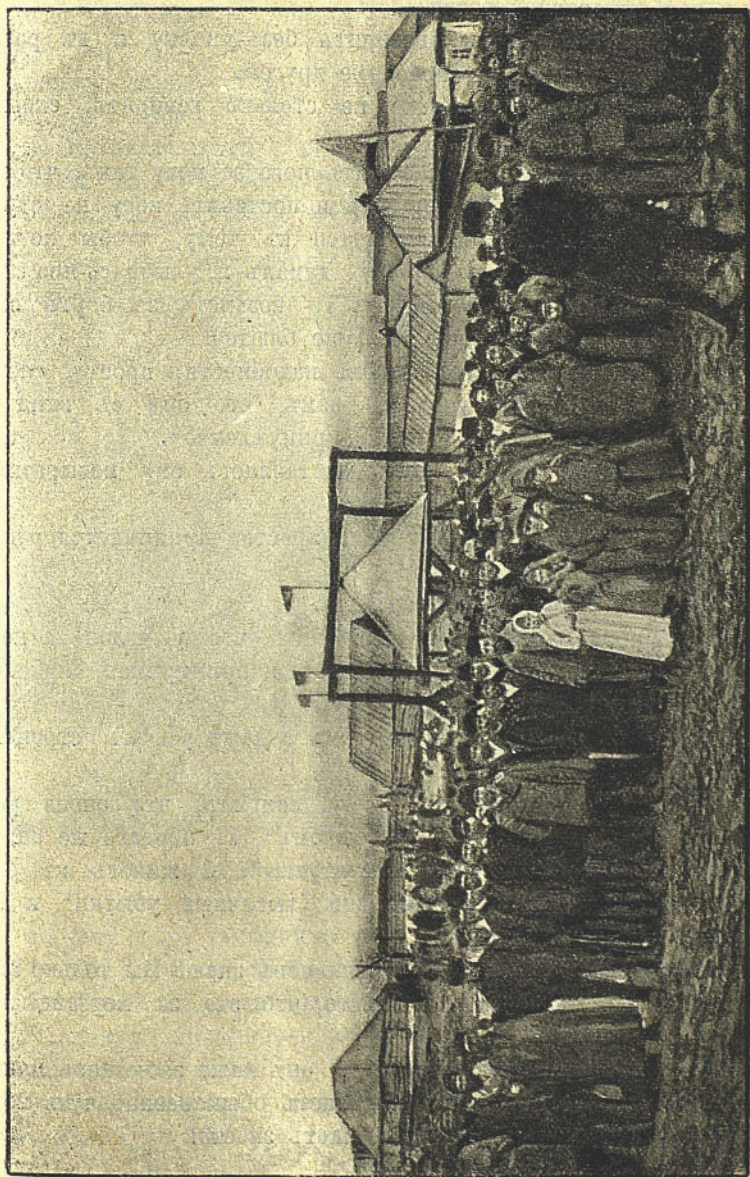
Онъ ужасно любитъ подчеркнуть это слово „тысячи“.

Биричъ — человѣкъ среднихъ лѣтъ, маленькій, невзрачный, одѣтъ не безъ претензіи на франтовство, по жилету „пущена“ цѣпь, на которую смѣло можно бы привязать не часы, а собаку.

Ото всей его особы ужасно вѣетъ не то штабнымъ писаремъ, не то фельдшеромъ, вышедшимъ „въ люди“.

Такъ оно въ послѣдствіи и оказалось.

При встрѣчѣ, при прощаньѣ онъ обязательно по нѣскольку разъ жметъ вамъ руку, словно это доставляетъ ему особое удовольствіе — здороваться „за руку“.



Поселенческій бытъ. Гулянье на Пасхѣ,

Когда „заложить за галстук“, — а это съ нимъ случается часто, — Биричь становится особенно невыносимъ своей назойливостью и необыкновенной развязностью.

Онъ является безъ спроса, говорить безъ-умолку и въ разговорѣ принимаетъ позы одна свободнѣе другой.

Собственно говоря, онъ даже не столько говорить, сколько позируетъ.

То раскинется на стулѣ и заложить ногу за ногу такъ, что онѣ у него чуть не на столѣ. То встанетъ и поставитъ ногу на стулъ.

„Вотъ человѣкъ, который стремится къ тому, чтобы ноги у него были непременно выше головы“, думалъ я, улыбаясь про себя.

То онъ хлопнетъ васъ по колѣну. То возьметъ за бортъ сюртука. То броситъ свой окурокъ въ ваше блюдечко.

И все это рѣшительно безъ всякой надобности, просто, словно онъ каждую минуту хочетъ доказать вамъ, что онъ съ вами на равной ногѣ и можетъ вести себя „непринужденно“.

Эта мысль словно тѣшитъ его, доставляетъ ему невыразимое наслажденіе.

Когда подопъетъ, Биричь особенно яростно принимается ругать ссыльно-каторжныхъ.

Это, кажется, его главное занятіе.

Право, съ перваго раза можно подумать, что у человѣка перерѣзали цѣлую семью. Такая глубокая, непримиримая, яростная ненависть.

Биричь явился ко мнѣ, прежде чѣмъ я даже успѣлъ устроиться въ своей комнаткѣ.

Нѣсколько разъ пожалъ мою руку, заявилъ, что очень радъ „знакомству съ образованнымъ человѣкомъ“, съ перваго же абцуга объявилъ мнѣ, что у него жена институтка*) и живетъ на рыбныхъ промыслахъ, рассказалъ про свои „тысячные убытки“ и вызвался быть моимъ менторомъ.

— Я Сахалинъ какъ свои пять пальцевъ знаю. Вы только меня слушайте. Я вамъ все покажу. Увидите, что это за мерзавцы, за негодяи.

Когда Биричь говоритъ о каторгѣ, онъ даже забываетъ прибавлять „слово ерикъ“, которое прибавляетъ обыкновенно чуть не за каждымъ словомъ. До того его разбираетъ злость!

*) Дочь одной интеллигентной особы, приговоренной за поджоги. По окончании института она пріѣхала къ матери на Сахалинъ и здѣсь сдѣлала такую „партію“.

— Вы хорошенько ихъ, негодяевъ, распишите! Чтобы знали, что это за твари! Распущены, — ужасъ! Еще бы! Деликатничаютъ съ ними! „Жалбють“, мерзавцевъ! Ихъ жалѣть! Драть ихъ, негодяевъ, надо! Вотъ прежде г. Ливинъ былъ смотритель или Ярцевъ — покойникъ, царство ему небесное, — драли ихъ, — тогда и была каторга. А теперь, — помилуйте! Какая это каторга? Развѣ это каторга? Издѣвательство надъ закономъ, — и больше ничего.

— Да вы что... можетъ-быть, не потерпѣли ли черезъ нихъ какого-нибудь убытка? Можетъ-быть, работали они у васъ?



Картинка изъ жизни сс.-каторжныхъ. Водоосвященіе.

Биричъ даже вспыхнулъ весь.

— Я? Да чтобъ съ ними? Да спасеть меня Господь и помилуетъ! Чтобъ съ этимъ народомъ имѣть дѣло?! Да въ петлю лучше! Нѣтъ, у меня японцы, — никого, кромѣ японцевъ, — помилуйте, развѣ можно съ ними? Я въ прошломъ году попробовалъ было взять поселенцевъ, — подрядъ у меня былъ на желѣзную дорогу, на шпалы, — такъ жизни не былъ радъ. Это — такіе негодяи, такіе мерзавцы...

И т. д., и т. д., и т. д. Становилось тошно слушать, а отдѣлаться отъ Бирича было невозможно.

Правилось ему, что ли, со мной вездѣ показываться, но только Биричъ не отставалъ отъ меня ни на шагъ.

Иду по дѣлу, гулять, — Биричъ какъ тѣнь. Въ „каторжный театр“ пошелъ, — Биричъ и тутъ увязался, за мѣсто въ первомъ ряду заплатилъ.

— Посмѣйтесь! Нѣтъ, каковы твари, а? Будній день, а у нихъ театры играютъ.

— Да вѣдь Пасха теперь.

— Для каторжныхъ Пасха—три дня. По-настоящему бы одинъ день надо, да ужъ такъ, распустили, свободу даютъ. А они, негодяи, цѣлую недѣлю. А? Какъ вамъ покажется? И это каторга? Поощреніе мерзавцевъ, а не каторга. Жрутъ, пьютъ, ничего не дѣлаютъ, никакихъ наказаній для нихъ нѣтъ...

Въ концѣ-концовъ, меня даже сомнѣніе начало разбирать.

— Что-то ты, братецъ, ужъ очень каторгу ругать стараешься? Странновато, что-то...

Идемъ мы какъ-то съ Биричемъ по главной улицѣ, — какъ вдругъ изъ-за угла, неожиданно, лицомъ къ лицу, встрѣтился съ нами начальникъ округа.

Биричъ моментально отскочилъ въ сторону, словно электрическимъ токомъ егохватило, и не снялъ, а сдернулъ съ головы фуражку.

Нѣтъ! Этого движенія, этой манеры снимать шапку не опишешь, не изобразишь.

Она вырабатывается годами каторги, поселенчества и не изглаживается потомъ ужъ никогда.

По одной манерѣ снимать шапку передъ начальствомъ можно сразу отличить бывшего ссыльно-каторжнаго въ тысячной толпѣ.

Хотя бы со времени его каторги прошелъ десятокъ лѣтъ, и онъ пользовался бы уже всѣми „правами“.

Вся прошлая исторія каторги въ этомъ поклонѣ, — то прошлое, когда зазѣвавшемуся или не успѣвшему при встрѣчѣ снять шапку каторжному говорили:

— А пойдика, братъ, въ тюрьму. Тамъ тебѣ тридцать дадутъ. Начальникъ округа прошелъ.

Биричъ почувствовалъ, что я понялъ все, и сконфуженно смотрѣлъ въ сторону.

Неловко было и мнѣ.

Мы прошли нѣсколько шаговъ молча.

— Много мнѣ пришлось здѣсь вытерпѣть, — тихо, со вздохомъ сказалъ Биричъ.

Я промолчалъ.

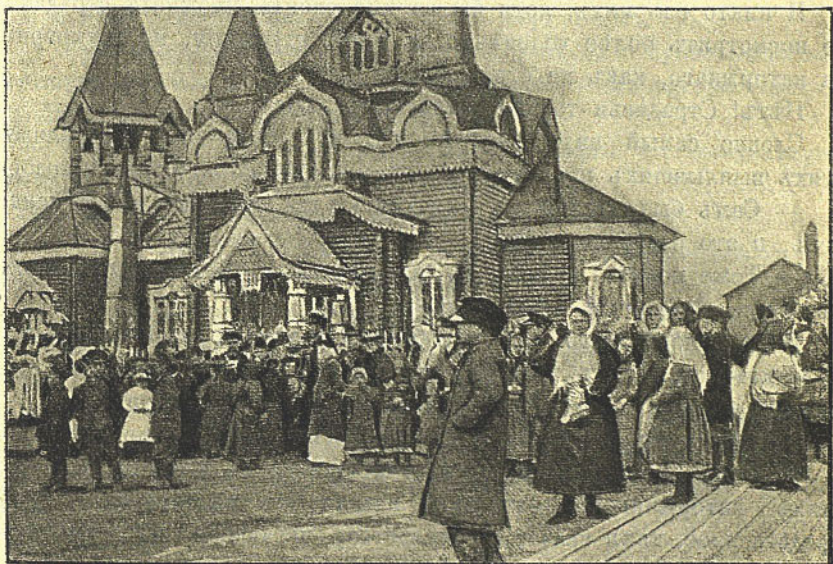
Вплоть до дома мы прошли молча.

А вечеромъ, „заложивъ за галстукъ“, Биричъ снова явился въ мою комнату и принялся ругательски ругать каторгу.

Только уже теперь онъ прибавлялъ:

— Развѣ мы то терпѣли, что они терпятъ? Развѣ мы такъ жили, какъ они теперь живутъ? А за что, спрашивается? Развѣ мы грѣшнѣе ихъ, что ли?

И вся злоба, вся зависть много натерпѣвшагося человѣка къ другимъ, которые не терпятъ „и половины того“, сказывались въ этихъ восклицаніяхъ, вырвавшихся изъ „внутра“ полупьянаго Бирича.



Поселенческій бытъ. Около собора въ праздничный день.

Какъ я узналъ потомъ, онъ — изъ фельдшеровъ, судился за отравленіе кого-то, отбылъ каторгу, поселенчество, теперь не то крестьянинъ, не то ужъ даже мѣщанинъ, всѣми правдами и неправдами скопилъ копейку и кулачить на промыслахъ.

Каторга его терпѣть не можетъ, ненавидитъ и презираетъ какъ „своего же брата“.

Никогда и никто такъ не прижималъ поселенцевъ, какъ Биричъ, когда они работали у него по поставкѣ шналь.

Таковъ Биричъ.

Его мелкая фигурка не стоила бы, конечно, и малѣйшаго вниманія, если бы его отношеніе къ каторгѣ не было типичнымъ

отношеніемъ бывшихъ каторжниковъ къ теперешнимъ. Это безразличное отношеніе выльзшихъ изъ грязи къ тѣмъ, кто тонетъ еще въ этой грязи.

Сколько я не видѣлъ потомъ на Сахалинѣ мало-мальски разжившихся бывшихъ каторжниковъ, — всѣ они говорили о каторгѣ злобно, недоброжелательно.

Не иначе.

У болѣе интеллигентныхъ и воспитанныхъ, конечно, это высказывалось не въ такой грубой формѣ, какъ у Бирича. Но недоброжелательство звучало въ тонѣ и словахъ.

И никто изъ нихъ, хотя бы во имя своихъ прежнихъ страданій, не посмотритъ болѣе человѣчно на чужія страданія, не посмотритъ на каторжнаго, какъ на страдающаго брата.

Нѣтъ! Страданья только озлобляютъ людей!

Словно самый видъ каторжныхъ, ихъ близость, оскорбляютъ этихъ выплывшихъ изъ грязи людей, напоминаютъ о годахъ позора.

— Самъ былъ такой же, — звучитъ для нихъ въ звонѣ кандаловъ, и это озлобляетъ ихъ.

— Тоже носилъ! — читаютъ они на спинѣ арестантскаго халата въ этихъ „бубновыхъ тузахъ“.

И въ основѣ всего ихъ недоброжелательства, всей злобы противъ каторги, всѣхъ жалобъ на „распущенность, слабость теперешней каторги“, звучитъ всегда одинъ и тотъ же мотивъ:

— Развѣ мы то терпѣли? Почему же они терпятъ меньше насъ?

И изъ этихъ-то людей, такъ относящихся къ каторгѣ, изъ бывшихъ каторжниковъ, зачастую назначаютъ надзирателей, непосредственное, такъ сказать, начальство, играющее огромную роль въ судьбѣ ссыльно-каторжнаго.

Можно себѣ представить, какъ относится къ каторгѣ подобный господинъ, когда онъ получаетъ возможность не только словами, но и болѣе существенно выражать свое недоброжелательство.

Каторжный театръ.

На всѣхъ столбахъ, на всѣхъ углахъ поста Корсаковского расклеены афиши, что „въ театрѣ Лаврова, съ дозволенія начальства, въ недѣлю св. Пасхи даются утренніе и вечерніе спектакли“.

У маленькаго, наскоро сколоченнаго балаганчика, съ унылымъ видомъ стоитъ антрепренеръ, — мѣстный булочникъ Лавровъ.

Бѣднягу постигла та же судьба, что и его російскихъ собратьевъ: онъ терпитъ антрепренерскую участь — прогораетъ.

Надѣялся на поддержку „интеллигенціи“, лишенной, кромѣ картъ и водки, какихъ бы то ни было удовольствій. Но чиновники, конечно, въ каторжный театръ не пошли.

До чего *старается* туземная „интеллигенція“ сторониться отъ каторги, показываетъ хотя бы слѣдующій фактъ. Начальникъ округа жаловался мнѣ, что большинство „интеллигенціи“ не пожелало быть подписчиками основывающейся библіотеки только потому, что тамъ подписчиками могутъ быть и каторжные. Словно эти бѣдные люди боятся, что ихъ могутъ смѣшать какъ-нибудь съ каторгой!..

Мое первое посѣщеніе театра вышло неудачнымъ.

„Great attraction“ спектакля, чтеніе „Записокъ сумасшедшаго“ состояться не могло по самой необыкновенной въ исторіи театра причинѣ.

— Такъ какъ артистъ Сокольскій посаженъ въ кандалную тюрьму!—какъ анонсировали со сцены.

Зато на слѣдующій день спектакль удался на славу.

Артистъ Сокольскій не пилъ и въ кандалную не попалъ.

По случаю праздника театръ былъ полонъ.

Артисты старались „передъ литераторомъ“ изо всѣхъ силъ.

Нарочно для меня пѣсельники пѣли не обыкновенныя, а специально тюремныя пѣсни.

Были даже приготовлены куплеты въ честь моего пріѣзда. Куплеты, въ которыхъ привѣтствовался пріѣздъ писателя, и гдѣ я предупреждался, что, показывая мнѣ каторгу, мнѣ часто будутъ напѣвать:

Не моя въ томъ вина,
Наша жизнь вся сполна
Намъ судьбой суждена!..

Но начальство заблаговременно узнало и пѣніе этого куплета запретило.

Театръ убранный по стѣнамъ елочками.

Сцена отдѣлена занавѣской изъ какой-то грязной дерюги, долженствующей изображать „занавѣсъ“. Полъ на сценѣ — земляной.

5 часовъ вечера.

Театръ полонъ. Галерка волнуется.

„Поселки“ со своими „сожителями“. Поселенцы. Сырые „бушлаты“ каторжниковъ. Кой у кого изъ „перворядниковъ“ желтые тузы на спинѣ.

За дерюжной занавѣской пѣсельники тянутъ унылую, мрачную пѣсню сибирскихъ бродягъ:

Милосердные наши батюшки,
Милосердные наши матушки,
Помогите намъ, несчастненькимъ,
Много горя повидѣвшимъ!
Выносите, родные, во имя Христа,
Кто что можетъ сюда,
Бѣднымъ странничкамъ, побродяжничкамъ.
Помогите, родные: золотой вѣнецъ вы получите
На томъ свѣтѣ, а на нынѣшнемъ
Поминать въ тюрьмахъ будемъ мы
Васъ, наши родные.

Пѣсня стихаетъ на долгой жалобной нотѣ. „Занавѣсъ“ отдергиваютъ. Спектакль начался.

Для начала идетъ сцена: „Опять Петръ Ивановичъ!“

Изъ-за грязной занавѣски, долженствующей изображать ширму, появляется традиціонный „Петрушка“.

Плутъ, проказникъ, озорникъ и безобразникъ,—даже бѣдный „Петрушка“, попавъ въ каторгу, „осахалинился“.

Всюду и вездѣ, по всей Руси онъ только плутуетъ и мошенничаетъ, покупаетъ и не платитъ, дерется и надуваетъ квартального.

Здѣсь онъ еще и отцеубійца.

Это уже не веселый „Петрушка“ свободной Руси, это мрачный герой каторги.

Изъ-за занавѣски показывается старикъ, его отецъ.

— Давай, сынокъ, денегъ!

— А много тебѣ?—пищитъ „Петрушка“.

— Да хоть рублей двадцать!

— Двадцать! На вотъ тебѣ! Получай!

Онъ наотмашъ ударяетъ старика палкой по головѣ.

— Разъ... два... три... четыре...—отсчитываетъ „Петрушка“.

Старикъ падаетъ и перевѣшивается черезъ ширму.

„Петрушка“ продолжаетъ его бить лежачаго.

— Да вѣдь ты его убилъ! — раздается за ширмой голосъ „хозяина“.

— Зачѣмъ купилъ, — свой, доморощенный! — острить „Петрушка“.

Это вызываетъ взрывъ хохота всей аудиторіи.

— Не купилъ, а убилъ, — продолжаетъ хозяинъ. — Мертвый онъ!

— Тятенька, вставай! — теребитъ „Петрушка“ отца подъ непрекращающійся смѣхъ публики. — Будетъ дурака-то валять! Вставай! На работу пора!

— Авѣдъ и впрямь убилъ!—рѣшаетъ, наконецъ, „Петрушка“ и вдругъ начинается „выть въ голосъ“, какъ въ деревняхъ бабы воютъ по покойникамъ: „Родимый ты мой батюшка-а-а! На кого ты меня споки-и-нуль! Остался я теперь одинъ одишечене-е-къ, горькимъ сироти-и-нушкой“.

Прямо восторгъ охватываетъ публику.

Стоянь, вой стоять въ театрѣ. Топочуть ногами. Женскій визгливый смѣхъ сливается съ раскатистымъ хохотомъ мужчинъ.

Тошно дѣлается...

Похожденія кончаются тѣмъ, что является квартальный и „Петрушку“ ссылаютъ на Сахалинъ.

Прощай, Одеста,
Славный карантинъ!
Меня посылаютъ
На островъ Сакалинь,—

поетъ „Петрушка“.

— Ловко! — вопить публика.

— Биць! — громче всѣхъ кричитъ какой-то подвыпившій поселепецъ.

Онъ—человѣкъ образованный, въ антрактѣ нарочно громко повѣствуетъ, какъ бывалъ въ Москвѣ „въ Скоморохѣ театрѣ“, всякую камедь видалъ.

„Биць“ онъ кричитъ специально для меня, чтобы обратить вниманіе на свою образованность.

Номера, одинъ другого „фурорнѣе“, слѣдуютъ другъ за другомъ.

Бродяга Оедоровъ въ пестромъ костюмѣ, что-то въ родѣ костюма арлекина, поетъ куплеты на мотивъ изъ „Боккачіо“.

Не моя въ томъ вина...

Оедоровъ служилъ когда-то при театрѣ, былъ театральнымъ парикмахеромъ.

Онъ поетъ вѣрно, безъ аккомпанеента, затрогиваетъ мѣстные злобы дня.

„Баланду“, которой не ѣдятъ даже свиньи; коты, которые надо въ рукахъ, а не на ногахъ носить; расползающіеся по швамъ ханаты и т. п.

Его успѣхъ идетъ все crescendo. Онъ повторяетъ безъ конца, и за каждымъ куплетомъ мой образованный зритель кричитъ:

— Биць!

Оедоровъ сіяетъ, расшаркивается, кланяется на всѣ стороны, прижимаетъ обѣ руки къ сердцу.

Занавѣсъ, снова отдергиваютъ; на сценѣ—три сдвинутыхъ табурета.

Сидѣвшій вчера въ „капдальной“ Сокольскій, въ арестантскомъ халатѣ, читаетъ „Записки сумасшедшаго“.

И что это? Въ этомъ Богомъ забытомъ, людьми проклятомъ уголкѣ на меня пахнуло чѣмъ-то такимъ далекимъ отсюда...

Съ этой „каторжной сцены“ пахнуло настоящимъ искусствомъ. Этотъ „бродяга“, видимо, когда-то любилъ искусство, интересовался имъ. Отъ его игры вѣетъ не только талантомъ, но и знаемъ сцены,—онъ видалъ хорошихъ исполнителей и удачно подражаетъ имъ.

Онъ читаетъ горячо, съ жаромъ, съ увлеченіемъ. „Живой душой“ повѣяло въ этомъ мірѣ подъ сѣрыми халатами погибшихъ людей...

У Сокольскаго настоящее актерское лицо, нервное, подвижное, выразительное.

Онъ—эпилептикъ, въ припадкѣ откусилъ себѣ кончикъ языка, немного шепелявить, — и это слегка напоминаетъ покойнаго В. Н. Андреева-Бурлака.

Въ „Запискахъ сумасшедшаго“ Гоголя осталась только одна фраза:

„А знаете ли вы, что у алжирскаго дея подъ самымъ носомъ шишка“.

Все остальное—импровизація, мѣстами талантливая, мѣстами посыпанная недурной солью.

— Это — Поприщинъ - каторжникъ, ждущій смерти, какъ избавленія.

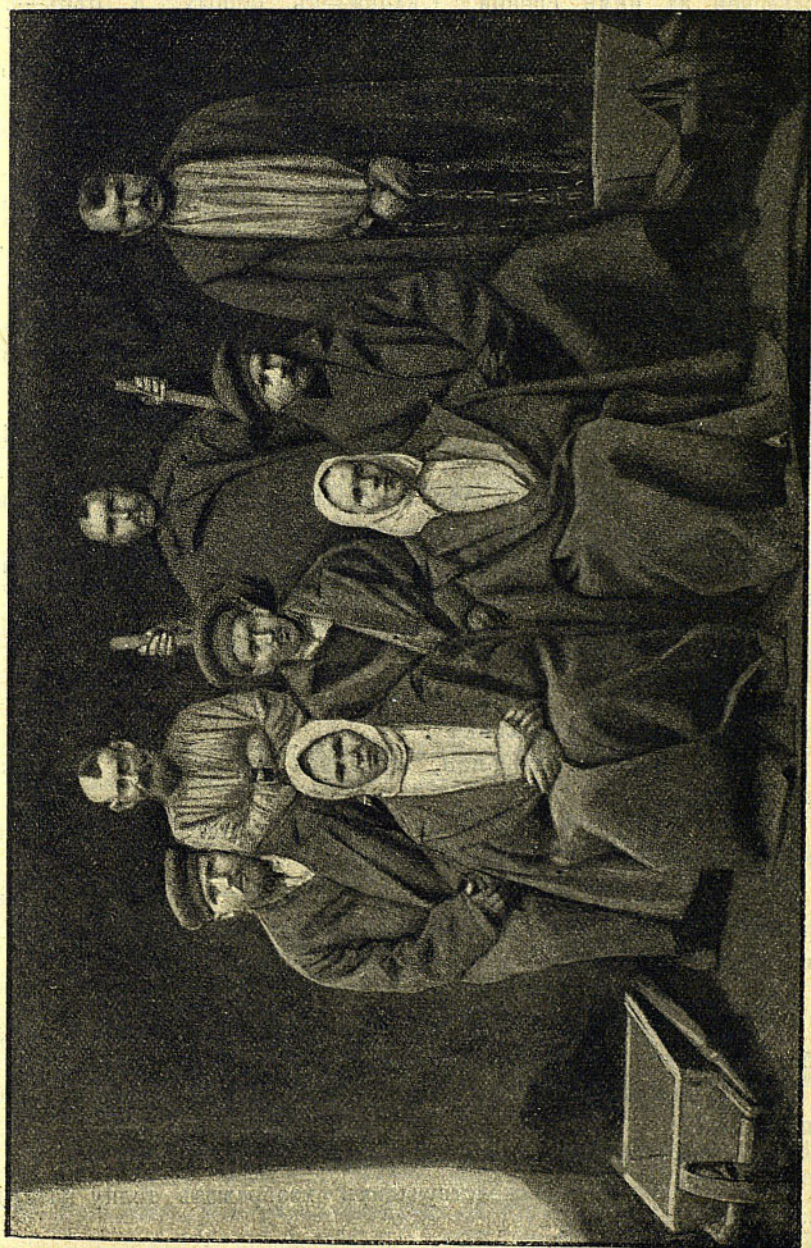
Въ его монологѣ много намековъ на мѣстную тюрьму. Я уже посвященъ въ ея маленькія тайны, знаю, о комъ изъ докторовъ идетъ рѣчь, кого слѣдуетъ разумѣть подъ какой кличкой.

Эти намеки вызываютъ одобрительный смѣхъ публики, но въ настоящій восторгъ она приходитъ только тогда, когда Сокольскій, читающій нервно, горячо, видимо, волнуемый, начинаетъ кричать, стуча кулакомъ по столу:

— Да убейте вы меня! Убейте лучше, а не мучайте! Не мучайте!

— Бицъ его!—не унимается образованный зритель.

И вся публика аплодируетъ, кажется, больше тому, что чело-вѣкъ очень громко кричитъ и бьетъ кулакомъ по столу, чѣмъ его трагическимъ словамъ и тону, которымъ они произнесены.



Группа арестантов.

Мрачное впечатлѣніе „Записокъ сумасшедшаго“ разсѣивается слѣдующей за ними сценой „Сѣдина—въ бороду, а бѣсъ—въ ребро“.

Это—импровизація. Живая, мѣткая, полная юмора и правды картинка изъ поселенческаго быта.

Поселенецъ съ длинной, бѣлой, льняной бородой всячески ухаживаетъ за своей „сожительницей“.

— Куляша! Ты бы прилегла! Ты бы присѣла! Куляша, не труди ножки!

„Куляша“ капризничаетъ, требуетъ то того, то другого и, въ концѣ-концовъ, выражаетъ желаніе плясать въ присядку.

Въ угоду ей, старикъ пускается выдѣлывать вензеля ногами.

Здѣсь же въ публикѣ сидящіе „Куляши“ хихикаютъ:

— Какая мараль!

Поселенцы только крутятъ головой. Каторга отпускаетъ крѣпкія словца.

Какъ вдругъ появляется старуха, законная, добровольно пріѣхавшая къ мужу жена, и метлой гонитъ „Куляшу“.

„Куляша“ садится старику на плечи, и старикъ съ „сожительницей“ за спиной удираетъ отъ законной жены.

Такъ кончается эта комедія... Чуть-чуть не сказалъ „трагедію“.

Теперь предстоитъ самый „гвоздь“ спектакля.

Пьеса „Бѣглый каторжникъ“.

Пьеса, сочиненная тюрьмой, созданная каторгой. Ея любимая, боевая пьеса.

Гдѣ бы въ каторжной тюрьмѣ ни устраивался спектакль, „Бѣглый каторжникъ“ на первомъ планѣ.

Она передается изъ тюрьмы въ тюрьму, отъ одной смѣны каторжныхъ къ другой. Во всякой тюрьмѣ есть человѣкъ, знающій ее наизусть,—съ его голоса и разучиваютъ роли артисты.

Дѣйствіе первое.

Глубина сцены завѣшана какимъ-то тряпьемъ. Справа и слѣва небольшія кулисы, изображающія печь и окно.

Но публика не взыскательна и охотно принимаетъ это за декорацию лѣса.

Сцена изображаетъ каторжныя работы.

Трое каторжанъ, долженствующихъ изображать толпу каторжныхъ, копаютъ землю.

Герой пьесы,—почему-то архитекторъ, Василій Ивановичъ Сунинъ,—сидитъ въ сторонкѣ въ глубокой задумчивости.

— Что лѣнливо работаете, черти, дьяволы, лѣшіе? Пора урокъ кончать!—слышится изъ-за кулисъ.

— Это—голосъ надзирателя.

Бьетъ звонокъ, и каторжные идутъ въ тюрьму.

— Пойдемъ баланду хлебать! Что сидишь?—говорятъ они Василию Ивановичу.

— Сейчасъ, братцы, ступайте! Я васъ догоню,—отвѣчаетъ онъ.

Василій Ивановичъ, — его изображаетъ все тотъ же Сокольскій, главный артистъ труппы, — Василій Ивановичъ тяжело вздыхаетъ.

— И такъ все впереди. Кандалы, работа, ругань, наказанія! Ничего свѣтлаго, ничего отраднаго. На всю жизнь! Вѣдь я—вѣчный каторжникъ. Бѣжать? Но куда? Кругомъ лѣсъ, тайга! Бѣгу! Лучше голодная смерть, лучше смерть отъ хищныхъ звѣрей, чѣмъ такая жизнь! Разобью кандалы и бѣгу, бѣгу...

Василій Ивановичъ снимаетъ кандалы и... и вотъ ужъ этого-то меньше всего можно было бы ожидать.

Съ изумленіемъ, съ испугомъ оглядываюсь на „публику“.

— Да что это?

Каторга разражается гомерическимъ хохотомъ... Хохочутъ просто надъ тѣмъ, какъ легко снять кандалы.

— Прощайте, кандалы! Васъ никто больше носить не будетъ! Я васъ разбилъ!—говоритъ Василій Ивановичъ.—Прощай, неволя!

И уходитъ.

Дѣйствіе второе снова должно изображать лѣсъ.

Накрывшись халатомъ, спитъ каторжанинъ.

Озираясь кругомъ, входитъ Василій Ивановичъ.

— Убѣжалъ отъ погони! Гнались, стрѣляли! Убѣжалъ, но что будетъ со мной? Чѣмъ прикрою свое грѣшное тѣло, когда даже и халата у меня нѣтъ.

Въ это время онъ замѣчаетъ спящаго арестанта.

— Усталъ, бѣдняга, намаялся и заснулъ, гдѣ работалъ, на сырой землѣ... Взять, нешто, у него халатъ... у него, у своего же брата.

Василій Ивановичъ становится на колѣни передъ арестантомъ. Публика начинаетъ хихикать.

— Прости меня, товарищъ, что краду у тебя послѣднее. Спрашивать съ тебя стануть, мучить тебя! Своимъ тѣломъ, кровью своей прійдется тебѣ расплачиваться за этотъ халатъ... Но что жъ дѣлать? Я долженъ позаботиться о себѣ. Ты бы то же самое сдѣлалъ на моемъ мѣстѣ.

Василій Ивановичъ снимаетъ со спящаго товарища халатъ.

Въ публикѣ... гомерическій хохоть.

— Биць его! Биць!—въ какомъ-то изступленіи оретъ „образованный“ зритель.

Для нихъ это только забавно. Они хохочутъ надъ „дядей Сараемъ“¹⁾, который спитъ и не слышитъ, что у него отнимаютъ послѣднее.

— Для нихъ это ловкая кража,—и только.

Внѣшность, одна внѣшность,—о сущности, казалось бы, такой близкой, понятной и трогавшей душу, не думаетъ никто.

Дѣйствіе третье.

Сцена должна изображать домъ богатаго сибирскаго купца Потапа Петровича.

Къ нему-то и является Василій Ивановичъ.

— Примите странника!—робко останавливается онъ у порога.

Милости просимъ, добрый человекъ,—необыкновенно радушно принимаетъ его сибирскій купецъ,—раздѣвайтесь, садитесь. Не хотите ли ѣсть съ дороги?

— Благодарю васъ, что не погнушались принять меня!—отвѣчаетъ Василій Ивановичъ.—Я подожду, пока вы будете обѣдать.

— Какъ вамъ будетъ угодно.

Вообще, купецъ отличается въ разговорахъ съ Васи́ліемъ Ивановичемъ необыкновенной вѣжливостью.

Спрашиваетъ, какъ зовутъ, и, только извинившись, задаетъ вопросъ:

— Куда путь держите, Васи́лій Ивановичъ?

— Моѣ путь лежитъ на всѣ четыре стороны,—отвѣчаетъ со вздохомъ бѣглый каторжникъ.—Иду жить не съ людьми, со звѣрьми. Съ людьми я не ужился.

— Я вижу, вы много горя приняли, Васи́лій Ивановичъ?

— Не стану скрывать отъ васъ, Потапъ Петровичъ: я—бѣглый каторжникъ, кандальникъ, изъ тюрьмы бѣжалъ!—онъ встаетъ со скамьи.—Быть-можетъ, прогоните меня послѣ этого? Сидѣть погнушается съ бродягой? Скажите—я уйду!

— Что вы, что вы, Васи́лій Ивановичъ! Прошу васъ и не думать объ этомъ.

Василій Ивановичъ рассказываетъ свою исторію. Какъ онъ былъ архитекторомъ, какъ поссорился съ отцомъ, какъ отецъ въ ссорѣ хотѣлъ его убить.

— Тогда я взялъ со стѣны ружье и...

1) Такъ арестанты называютъ „простофилю“, „разиню“.

Василій Ивановичъ умолкаетъ.

— Въ такомъ случаѣ (!), — говоритъ купецъ, — прошу васъ, Василій Ивановичъ, остаться жить въ моемъ домѣ. Живите, пока понравится.

— Какъ мнѣ благодарить васъ? — отвѣчаетъ растроганный каторжникъ.

Въ эту минуту вбѣгаетъ дочь купца.

— Ахъ, — восклицаетъ она въ сторону, — кто этотъ незнакомый человекъ? При видѣ его сильно забилося мое сердце. Я полюбила его.

Адскій, невѣроятный хохотъ всей публики сопровождаетъ эту нѣжную тираду.

Да и нѣтъ возможности безъ смѣха смотрѣть на каторжнаго Абрамкина, изображающаго купеческую дочь, въ сарафанѣ до колѣнъ, съ рукавами по локоть.

Онъ и самъ чувствуетъ, что это должно быть очень „чудно“, и улыбается во всю ширину своей глупой, добродушной, кирпичомъ подрумяненной физиономіи.

Любой мрачный меланхоликъ умеръ бы со смѣху при видѣ этой нескладной, долговязой, удивительно нелѣпой фигуры.

Да еще съ такими нѣжными словами на устахъ.

— Позвольте вамъ представить, Василій Ивановичъ, мою единственную дочь, — говоритъ купецъ, — Вареньку! Нашъ гость — Василій Ивановичъ.

— Папаша, обѣдъ готовъ, — заявляетъ „Варенька“, раскланиваясь подъ неумолкающій хохотъ съ Васи́ліемъ Ивановичемъ.

Дѣйствіе четвертое.

— Бѣжать, бѣжать я долженъ отсюда! — говоритъ Василій Ивановичъ. — Я чувствую, что здѣсь мои мученія становятся сильнѣе. Я полюбилъ Вареньку... Я, ссыльно-каторжный, бродяга, котораго каждую минуту могутъ поймать, заключить въ тюрьму, отдать палачу на истязаніе. О, какое мученіе!

Онъ беретъ котомку.

— Куда вы, Василій Ивановичъ? — спрашиваетъ его вошедшая Варенька.

— Прощайте, Варвара Потаповна, — кланяется онъ, — я уйду отъ васъ. Пойду искать... не счастья, — нѣтъ! Счастье мнѣ не суждено! Смерти пойду я искать...

— Зачѣмъ вы говорите такъ? — перебиваетъ его „Варенька“. — Вы много видѣли горя? Вы никогда мнѣ не говорили, кто вы, откуда къ намъ пришли. И папенька мнѣ запретилъ спрашивать васъ объ этомъ. Почему?

— Это я никому не могу сказать!

— Никому? Даже вашей жёнѣ?

— Зачѣмъ вы сказали такое слово?—отирая слезу, говоритъ Василій Ивановичъ.—Вы смѣтаетесь надъ бѣднякомъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! Я сказала это не спроста, не для смѣха. Я люблю васъ, Василій Ивановичъ, я полюбила васъ съ перваго взгляда. Мнѣ вы можете сказать, кто вы такой.

— Такъ слушайте же!—съ отчаяніемъ произноситъ Василій Ивановичъ.—Передъ вами—тяжкій преступникъ, отцеубійца! Бѣгите отъ меня: я—каторжникъ, я—кандалникъ! Я... я... убилъ родного отца!

— Ахъ!—вскрикиваетъ Варенька и, подъ хохотъ публики, падаетъ въ обморокъ.

— Я убилъ и ее!—ломая руки, говоритъ бѣглый каторжникъ.

— Нѣтъ, я жива!—очнувшись, отвѣчаетъ она.—Прошу васъ, не уходите, подождите здѣсь одну минуту!

Вы, конечно, догадываетесь о концѣ.

— Моя дочь сказала мнѣ все! Она любитъ васъ и согласна быть вашей женой!—говоритъ вошедшій отецъ.—Василій Ивановичъ, прошу васъ быть ея мужемъ!

— И для несчастнаго суждена новая жизнь!—этими словами Василя Ивановича подъ аплодисменты публики заканчивается пьеса.

Эта излюбленная пьеса каторги, ея дѣтище, ея греза.

Пьеса, въ которой сказались всѣ мечты, всѣ надежды, которыми живетъ каторга.

Въ ней все нравится каторгѣ.

И удачное бѣгство, и то, что бѣглый каторжникъ находитъ себѣ счастье, и то, что „порядочные люди“ говорятъ съ нимъ вѣжливо—„на вы“, какъ съ человекомъ, и то, что есть на свѣтѣ люди, которыхъ не отталкиваетъ отъ падшаго даже совершенное имъ тягчайшее преступленіе.

Люди, которые видятъ въ преступленіи—несчастье, въ преступникѣ—человѣка.

Послѣ этой пьесы, гдѣ нѣтъ ничего бутафорскаго, гдѣ все настоящее: каторжные, кандалы, халаты,—мы, конечно, не станемъ смотрѣть „разбиванія камня на груди“ и прочихъ прелестей программы.

Пройдемъ за кулисы.

„Каторжные артисты“.

Огарокъ, прилѣпленный къ скамѣ, освѣщаетъ самую оригинальную „уборную“ въ мірѣ

Торопясь къ переключкѣ, артисты переодѣваются въ арестантскіе халаты.

Тѣ, которые играли кандалниковъ въ „Бѣглому каторжнику“, закуриваютъ цыгарку, переходящую изъ рукъ въ руки, и ожидаютъ платы отъ антрепренера.

Имъ переодѣваться нечего: ихъ „костюмы“, ихъ кандалы—не снимаются.

Кулисы всюду и вездѣ—тѣ же кулисы. То же артистическое самолюбіе.

— Благодарю васъ!—крѣпко жметъ мою руку Сокольскій, когда я расхваливаю его чтеніе „Записокъ сумасшедшаго“,—вы меня обрадовали. Все-таки, хоть и такой театръ, но все же это что-то человѣческое... А я, признаться, сильно трусилъ: играть передъ литераторомъ, передъ понимающимъ человѣкомъ... Такъ ничего себѣ?

— Да увѣряю васъ, что очень хорошо! Вы никогда не были актеромъ, Сокольскій?

— Актеромъ—нѣтъ. Но любительствовалъ много. Въ Секретаревкѣ, въ Нѣмчиновкѣ (любительскіе театры въ Москвѣ). Вѣдь я изъ Москвы. Вы тоже москвичъ? Ахъ, Москва! Малый театр! Ермолова, Марья Николаевна! Бывало, лупишь изъ „Скворцовъ“ (студенческіе номера) въ Малый театръ на верхотурье. А помните, Парадизъ привозилъ Барная, Поссарта. Я и теперь его въ Ричардѣ словно передъ глазами вижу. Монологъ этотъ послѣ встрѣчи съ Елизаветой... „На тѣнь свою мнѣ надо наглядѣться!“

— Сокольскій, чортъ! На переключку иди! Опять завтра въ кандалную посадятъ!—высунулась изъ-за занавѣски фізіономія антрепренера.

— Сейчасъ... сейчасъ... Вы меня извините. Къ переключкѣ надо. Вотъ если бы вы позволили... Да ужъ не знаю... Нѣтъ, нѣтъ, вы меня извините!..

— Что? Зайти ко мнѣ?..

— Д-да...

— Сокольскій, какъ вамъ не стыдно?

— Ну, хорошо, хорошо. Благодарю васъ. Такъ завтра, если позволите...

— Да иди же, дьяволь, опять будешь въ кандалной—изъ-за тебя представлѣніе отмѣнять!

— Иду... иду... Значить, до завтра!

Сокольскій побѣжалъ на перекличку въ тюрьму.

— А вы отлично поете куплеты!—обращаюсь я къ Оедорову. Оедоровъ сіяетъ.

— При театрѣ, знаете, понаторѣлъ... А вы къ намъ изъ Одессы изволили, говорятъ, пріѣхать. Кто теперь тамъ играетъ?

— Труппа Соловцова ¹⁾.

— Николая Николаевича? Ну, какъ онъ?

— А вы и его знаете?

— Его-то? Еще съ Корша помню. У Корша я парикмахеромъ былъ. Да кого я не знаю! Марью Михайловну (Глѣбову) сколько разъ завивалъ. Рощинъ-Инсаровъ—хорошій артистъ. Я вѣдь его еще когда помню. Отлично Неклюжева играетъ. Киселевскій, Иванъ Платонычъ—строгий господинъ: парикъ не такъ завьешь,—бѣда!

Оедоровъ смѣется при одномъ воспоминаніи,—и у него вырывается глубокій вздохъ.

— Хотъ бы однимъ глазкомъ посмотрѣть на господина Киселевскаго въ „Старомъ баринѣ!“ Эхъ!

— Абрашкинъ, чего на перекличку не идешь?

Но Абрашкинъ артистъ на роли *ingenue dramatique*, стоитъ, переминается съ ноги на ногу, дожидается тоже комплимента.

— А, здорово, братъ, это ты представляешь?—обращаюсь я къ нему.

Глупая фізіономія Абрашкина расплывается въ блаженную улыбку.

— Я, ваше высокоблагородіе, на рукахъ еще могу ходить,—мѣсто только не дозволяетъ!

— Комедіантъ, дьяволь!—хохочутъ каторжане.

Абрашкинъ со счастливой рожей машетъ рукой.

— Такъ точно!

А вѣдь этотъ добродушный человѣкъ рѣзалъ.

Бродяга Сокольскій.

— Къ вамъ Сокольскій. Говорить, что приказали прійти!—доложила мнѣ рано утромъ квартирная хозяйка.

— Гдѣ же онъ?

— Велѣла на кухнѣ подождать.

¹⁾ Это было въ 1897 году.

— Да просите, просите!

Если бы улыбка не была въ этомъ случаѣ преступленіемъ,—трудно было бы удержаться отъ улыбки при взглядѣ на „штатскій костюмъ“, въ который облачился для визита ко мнѣ Сокольскій.

Рыжій, весь рваный пиджакъ, дырявые штилеты, необыкновенно узкіе и короткіе штаны, обтягивавшіе его ноги какъ трико,—совсѣмъ костюмъ Аркашки.

— А я къ вамъ въ штатскомъ, чтобъ не смущать васъ арестантскимъ халатомъ,—сказалъ онъ.

— Да будетъ вамъ, Сокольскій, о такихъ пустякахъ. Садитесь, будемъ пить чай.

Сначала разговоръ вязался плохо. Сокольскій сидѣлъ на кончикѣ стула, конфузливо вынималъ изъ кармана бѣлую тряпку, которую досталъ вмѣсто платка.

Но мало-по-малу бесѣда оживилась. Оба москвичи, мы вспомнили Москву, театр, пріѣзжихъ знаменитостей.

Оба забыли, гдѣ мы.

Онъ оказался горячимъ поклонникомъ Поссарта, я — Барная. Мы спорили, кипятились, говорили горячо, громко, такъ что хозяйка нѣсколько разъ съ недоумѣніемъ, даже съ испугомъ заглядывала въ дверь.

— Чего, молъ, это они? Не надѣлалъ бы онъ пріѣзжему господину дерзостей?

Я продиктовалъ Сокольскому „Записки сумасшедшаго“, которыя зналъ наизусть. Записывая ихъ, Сокольскій отъ души хохоталъ надъ безсмертными выраженіями Поприщина.

Разговоръ перешелъ на литературу. Сокольскій особенно любитъ, знаетъ и понимаетъ Достоевскаго. Помнить цѣлыя страницы изъ „Мертваго дома“ наизусть.

— Вѣдь я самъ хотѣлъ написать „Записки съ мертваго острова“. Конечно, это былъ бы не „Мертвый домъ“. Куда до солнца! Но все-таки хотѣлось дать понять, что такое теперешняя каторга. Думалъ,—самъ погибъ, но пусть хоть какъ-нибудь пользу принесу. Многіе изъ интеллигентныхъ этимъ увлекаются. Да потомъ... бросаютъ. Здѣсь все бросаютъ... У всѣхъ почти начало есть... если только на дыгарки кто не искурилъ! Вотъ и у меня. Уцѣлѣло. Нарочно вамъ принесъ. Возьмете—радъ буду.

Мы заговорили о разницѣ между „Мертвымъ домомъ“ и теперешней каторгой.

Сокольскій говорилъ горячо, страстно, увлекаясь, какъ человѣкъ, которому на своихъ плечахъ пришлось вынести все это.

— Даже не „Мертвый домъ“!—говорилъ онъ, вскочивъ со стула и энергично жестикулируя.—Даже не онъ! Тамъ даже что-то было. Вспомните этотъ ужасъ, это отвращеніе къ палачу. А здѣсь даже и этого нѣтъ... А эти дивныя строки Федора Михайловича...

Въ эту минуту дверь отворилась, и явившійся ко мнѣ съ визитомъ смотритель поселеній на полуфразѣ перебилъ Сокольскаго.

— Сбѣгай-ка, братецъ, на конюшню. Вели, чтобъ мнѣ тройку прислали!

— Слушаю, ваше высокоблагородіе!—выкрикнулъ Сокольскій и со всѣхъ ногъ бросился изъ комнаты.

Я схватился за голову.

— Зачѣмъ вы это?

Смотритель глядѣлъ на меня во всѣ глаза

— Что зачѣмъ?

— Да развѣ нельзя было кого другого послать?.. Хоть бы изъ уваженія ко мнѣ...

Онъ расхохотался.

— Да вы что это? Гуманничать съ ними думаете? Съ мерзавцами? Да повѣрьте вы мнѣ: мерзавцы, мерзавцы и мерзавцы,—и больше ничего! Что ему сдѣлается?

Съ Сокольскимъ мы потомъ видѣлись часто. Онъ дѣятельно, охотно мнѣ помогаль знакомиться съ каторгой, собирать пѣсни, составлять словарь арестантскихъ выраженій.

Но каждый разъ, какъ я заговариваль о чемъ-нибудь, кромѣ каторги, онъ весь какъ-то съеживался и бормоталь:

— Нѣтъ, нѣтъ. Не надо объ этомъ... Ни о чемъ не надо... Вы уѣдете, а мнѣ еще тяжелѣй будетъ... Не надо!..

Одну странность я замѣтилъ въ Сокольскомъ.

Онъ словно чего-то не договариваль... Приѣдетъ, посидитъ, повертится на стулѣ, поговорить о какихъ-то пустякахъ и уйдетъ... Словно давится онъ чѣмъ-то, что никакъ не можетъ сойти у него съ языка.

Старался навести его на этотъ разговоръ.

— Сокольскій, вы, кажется, мнѣ что-то хотите сказать? Пожалуйста, откровенно...

— Нѣтъ, нѣтъ... Ничего, ничего... Право, ничего... До свиданья, до свиданья!

Становилось тягостно.

— Сокольскій,—какъ-то не безъ страха началъ я,—я скоро уѣзжаю изъ Корсаковска. Вы мнѣ много помогли въ моей работѣ... Я за это вѣдь получаю гонораръ и считаю своимъ долгомъ...

На лицѣ Сокольскаго отразилось страданіе. Во взглядѣ, который онъ кинулъ на меня, было много злобы.

— Къ вамъ идетъ кто-то... идетъ...

Его чуть не на половину откушенный языкъ заплетался и шепелявилъ еще больше:

— Ишдетъ... Ишдетъ...

И Сокольскій выбѣжалъ изъ комнаты.

— Да Боже мой! Что-жъ это все за муки?!—должно-быть, вслухъ крикнулъ я, потому что хозяйка отворила двери и спросила:

— Чаю прикажете?! Звали?

Черезъ нѣсколько времени встрѣчаю моего знакомаго, „адвоката за каторгу“, „дурачка“ Шапошникова¹⁾.

— Слушайте, Шапошниковъ. Вы—пріятель Сокольскаго. Онъ что-то имѣетъ ко мнѣ, да все...

Шапошниковъ пристально посмотрѣлъ мнѣ въ глаза и захохоталъ.

— Подстрѣлить васъ хочетъ, ваше высокоблагородіе, да все не рѣшается!

— Какъ подстрѣлить? Какой вздоръ говорите!

— Какъ „подстрѣливаютъ“? Денегъ попросить семь пѣлковыхъ. Татары насѣли. Онъ тутъ майданщику да другимъ, за водку и за разное, семь рублей долженъ. Узнали, что онъ къ вашему высокоблагородію ходитъ, и насѣли: „Проси да проси у барина“. Избить до полусмерти общаются. А онъ давится, шельма! Ха-ха-ха!.. Давеча отъ васъ въ тюрьму какъ угорѣлый прибѣгъ. „Догадался!“ кричить. Ха-ха-ха!.. Въ каторгѣ да этакія нѣжности!

— Да на-те, на-те вамъ, Шапошниковъ, пойдите, сейчасъ же отдайте... Не говорите ему про нашъ разговоръ... Скажите, что я вамъ далъ, лично вамъ... Сдѣлайте тамъ, какъ хотите...

Во взглядѣ Шапошникова на одно мгновеніе сверкнула какая-то жалость, но онъ сейчасъ же прищурилъ глаза и посмотрѣлъ на меня съ ироніей.

— Вы кого зарѣзали?

— Кто? Я?

— Вы?

— Я никого не рѣзалъ.

— Никого? Такъ за что васъ на Сахалинъ послали?

И Шапошниковъ снова расхохотался своимъ страннымъ смѣхомъ, отъ котораго у непривычнаго человѣка мурашки по тѣлу пробѣгаютъ.

¹⁾ См. очеркъ „Два полюса“.

Преступленіе въ Корсаковскомъ округѣ.

— Мы въ тайгу иначе не ходимъ, какъ съ ножомъ за голинищемъ!—говорили мнѣ сами каторжные.

Вотъ вамъ то, что лучше всякихъ статистическихъ цифръ говорить объ имущественной и личной безопасности на Сахалинѣ.



Просьба въ сахалинской тайгѣ.

Когда разгружаются пароходы, каторжныхъ на бортъ ни за что не пускаютъ.

— Все уволочутъ, что попадется!

У моей квартирной хозяйки поселенцы успѣли стащить въ кухню со стола деньги, едва она отвернулась.

Несмотря на то, что у меня сидѣлъ въ это время ихъ начальникъ, смотритель поселеній.

— Ваше высокоблагородіе, простите ихъ!—молила квартирная хозяйка, когда виновные нашлись.—Простите, а то они меня подожгутъ.

Къ ей просьбѣ присоединился и я.

— Да бросьте вы ихъ! Вѣдь, дѣйствительно, сожгутъ домъ, по міру пойдетъ баба.

Смотритель поселеній долго настаивалъ на необходимости наказанія.

— Невозможно! Подъ носомъ у меня смѣютъ воровать. До чего жъ это дойдетъ?!

Но потомъ энергично плюнулъ и махнулъ рукой.

— А, ну ихъ къ дьяволу! Вѣдь, дѣйствительно, съ голоду все!

Кражи, грабежи, воровство сильно развиты въ округѣ.

Незадолго до моего пріѣзда тутъ произошло четыре убійства.

Одинъ поселенецъ, похороны котораго я описывалъ, хорошій, работающій, „смирный“ парень, зарѣзалъ изъ ревности свою „сожительницу“ и отравился самъ.

Женщина свободнаго состоянія отравила своего мужа, крестьянина изъ ссыльныхъ, за то, что онъ не хотѣлъ ѣхать на материкъ, куда ѣхалъ ея „милый“ изъ ссыльнопоселенцевъ.

Одинъ поселенецъ зарѣзалъ сожительницу и надзирателя¹⁾.

Наконецъ, объ этомъ упоминалось въ разговорѣ съ Рѣзцовымъ, убитъ былъ зажиточный писарь изъ ссылнокаторжныхъ.

Сожительница, которая и „подвела“ убійцъ, не сознается, но, когда я бесѣдовалъ съ ней одинъ на одинъ въ карцерѣ, гдѣ она содержится, она озлобленно отвѣтила:

— А чего жъ на нихъ смотрѣть-то, на чертей? Не законный, чай? Поживеть, кончить срокъ, да и поминай его какъ звали! Куда наша сестра подъ старость лѣтъ безъ гроша дѣнется!...

И, помолчавъ, добавила:

— Не убивала я. А ежели бъ и убила, не каялась бы. Всякій о себѣ тоже долженъ подумать!

Вотъ вамъ сахалинскіе „нравы“.

Отъѣздъ.

Пароходъ готовъ къ отплытію.

По Корсаковской пристани, заваленной мѣшками съ мукой, движется печальная процессія.

На носилкахъ, въ самодѣльныхъ неуклюжихъ креслахъ, несутъ тяжкихъ хирургическихъ больныхъ, отправляемыхъ для операціи въ Александровскъ.

1) Съ несчастнымъ „героемъ“ этого преступленія мы уже встрѣчались въ кандалной тюрьмѣ.

Страдальческія лица... А впереди еще путешествіе по бурному Татарскому проливу...

Тутъ же, на пристани, разыгрывается трагедія-комедія... трагикомедія...

Агаея Золотыхъ уѣзжаетъ съ Сахалина на родину и прощается со своимъ сожителемъ, сс.-поселенцемъ изъ нѣмцевъ.

„Агаея Золотыхъ“,—это ея „бродяжеское“, не настоящее имя,—попала на Сахалинъ добровольно.

Ея другъ сердца былъ сосланъ въ каторгу за поддѣлку монеты.

Чтобы послѣдовать за нимъ на каторгу, она назвалась бродягой.

Ее судили, какъ не помнящую родства, сослали на Сахалинъ,—здѣсь ее ждало новое горе.

Тотъ, ради кого она пошла на каторгу, умеръ.

„Агаея Золотыхъ“ открыла свое „родословіе“ и просила возвратить ее на родину.

А пока „ходили бумаги“,—вѣдь вѣсть-то что-нибудь надо!

Агаея пришлось сойтись съ поселенцемъ, пойти въ „сожительницы“.

Понемногу она привыкла къ сожителю, полюбила его, какъ вдругъ приходитъ рѣшеніе возвратить „Агаею Золотыхъ“ на родину, въ Россію.

— Прощай, Карлушка!—говоритъ, глотая слезы, Агаея.—Не поминай лихомъ. Добромъ, можетъ, не за что!

— Прощайте, Агашка!—отвѣчаетъ нѣмецъ, молодой парень.

Катеръ отчаливаетъ, черезъ полчаса приходитъ обратно, и на пристань выходитъ... „Агаея Золотыхъ“.

На пароходѣ появленіе „Агаеи Золотыхъ“ произвело цѣлую сенсацію.

— Какъ, Агаея Золотыхъ? Какая Агаея Золотыхъ? Да вѣдь мы въ прошломъ году еще увезли Агаею Золотыхъ? Отлично помнимъ. Изъ-за нея даже переписка была. Какъ только пришли въ Одессу, Агаея Золотыхъ, не ожидая, пока за ней явится полиція, сбѣжала съ парохода!

Оказывается, что Агаея Золотыхъ, не желая уѣзжать отъ человека, котораго она успѣла полюбить, „смѣнялась именами“—и подъ ея именемъ уѣхала и гуляетъ себѣ по Руси какая-то ссыльно-каторжная 1).

Теперь „Агаею Золотыхъ“ рѣшительно отказываются принять на пароходъ.

1) Вотъ вамъ доказательство, что, несмотря на фотографическія карточки „смѣны“ бываютъ и до сихъ поръ.

— Да вѣдь это настоящая „Агаея Золотыхъ“! Ее всѣ здѣсь знаютъ! То была какая-то ошибка!—говорить тюремная администрація.

— А намъ какое дѣло! Станемъ мы по два раза одну и ту же „Агаею Золотыхъ“ возить!

Агаею возвращаютъ на берегъ.

— Ну, Карлушка, видно, судьба ужъ намъ вмѣстѣ жить,—говорить Агаея.—Идемъ домой!

— Зачѣмъ же я съ вами пойду, Агашка?—разсудительно отвѣчаетъ нѣмецъ.—Я буду брать себѣ другую бабу, Агашка!

Въ ожиданіи отъѣзда сожительницы, нѣмецъ успѣлъ присмотрѣть себѣ другую, условился, договорился.

Агаея качаетъ головой.

— Былъ ты, Карлушка, подлецъ,—подлецомъ и остался. Тфу!

— Агаея! Агаея! Куда ты? Стой!—кричитъ ей кто-то изъ „интеллигенціи“.—Садись въ катеръ! Я попрошу капитана, можетъ, и возьметъ!

Агаея поворачивается на минутку.

— А идите вы всѣ къ чорту, къ дьяволу, къ лѣшману!—со злобой, съ остервенѣніемъ говорить она и идетъ.

Куда?

— А чортъ ее знаетъ, куда!—какъ говорятъ въ такихъ случаяхъ на Сахалинѣ.

Еще разъ,—въ третій разъ уже жизнь разбита...

Пора, однако, на пароходъ.

— Все готово!—говорить... персидскій принцъ.

Настоящій принцъ, которому письма съ родины адресуются не иначе, какъ „его свѣтлости“.

Онъ осужденъ вмѣстѣ съ братомъ за убійство третьяго брата.

Отбылъ каторгу и теперь что-то въ родѣ надзирателя надъ ссыльными.

Онъ распоряжается на пристани, очень строгъ и говоритъ съ каторжными тономъ человѣка, который привыкъ приказывать.

— Алексѣевъ, подавай катеръ! Пожалуйте, баринъ!—помогаетъ бывший принцъ сойти съ пристани.

Послѣдняя баржа, принимающая остатки груза, готова отойти отъ парохода.

— Такъ не забижаютъ, говорили, надзиратели-то?—кричитъ съ борта одинъ изъ нашихъ арестантовъ,—изъ тѣхъ, которыхъ мы веземъ.

— Куды имъ!—хвастливо отвѣчаетъ съ баржи старый, „здѣшній“ каторжанинъ.

Баржа отплываетъ.

Гремятъ якорныя цѣпи. Съ мостика слышны звонки телеграфа. Раздается команда.

— Право руля!

— Право руля!—какъ эхо вторить рулевой.

— Такъ держать!

— Такъ держать!

„Ярославль“ даетъ три прощальныхъ свистка и медленно отплываетъ отъ береговъ.

Прощай, Корсаковскъ, такой чистенькій, веселый, „не похожій на каторгу“ съ перваго взгляда, такъ много горя, страданій и грязи таящій внутри.

„Ярославль“ прибавляетъ ходу.

Берега тонуть въ туманной дали.

А впереди „настоящая каторга“, Александровскъ, гдѣ содержатся всѣ наиболѣе тяжкіе, долгосрочные преступники, Рыковскъ, Оноръ, тайга, тундра, рудники...

— Корсаковскъ, это еще что! Рай!—говорить одинъ изъ ѣдущихъ съ нами сахалинскихъ служащихъ.—Развѣ Корсаковскъ каторга? Это ли Сахалинъ?

Все, что я вамъ рассказалъ, это только прелюдія къ „настоящей“ каторгѣ.

Настоящая каторга.

Мы съ вами на пароходѣ „Ярославль“ у пристани Александровскаго поста, „столицы“ острова, гдѣ находится самая большая тюрьма, гдѣ сосредоточена „самая головка каторги“.

Сюда два раза въ годъ пристаётъ „Ярославль“ „съ урожаемъ порока и преступленія“. Здѣсь этотъ „урожай“ „выгружается“, здѣсь уже всѣ вновь прибывшіе арестанты распредѣляются и отсюда рассылаются по разнымъ округамъ.

Сирена пронзительно оретъ, — словно пароходъ рѣжутъ, — чтобы поживѣе распоряжались на берегу.

Холодно дуетъ пронзительный вѣтеръ и разводитъ волненіе.

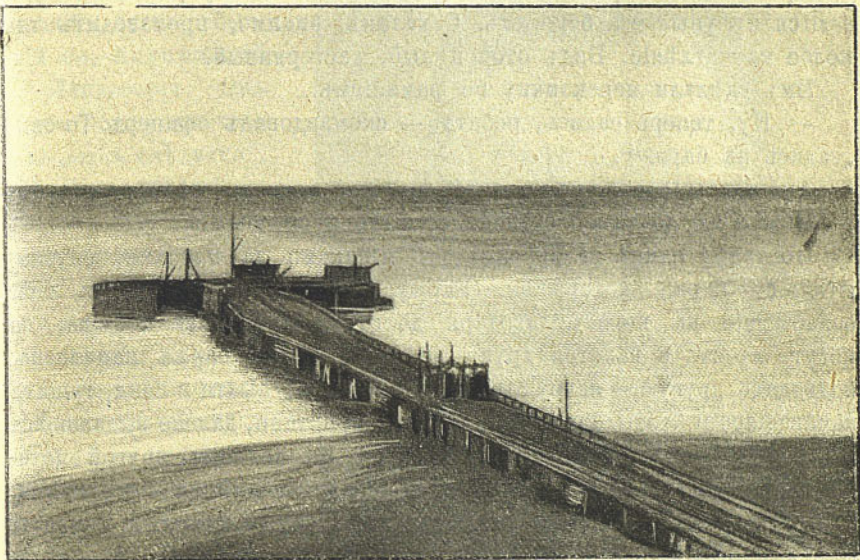
Крупная зыбъ колышетъ стоящія у борта баржи. Пыхтитъ буксирующий ихъ маленькій катерокъ тюремнаго вѣдомства.

Тоскливо на душѣ. Передъ глазами унылый, глинистый берегъ. Снѣгъ кое-гдѣ бѣлѣетъ по горамъ, покрытымъ, словно щетиной, колючей тайгой.

— Это вчера навалило, снѣгъ-то,—поясняетъ кто-то изъ служащихъ, пріѣхавшій на пароходъ за арестантами.—Совсѣмъ было scheintъ сталь, да вчера опять выюга началась.

Сегодня какъ будто потеплѣе. Завтра опять вьются въ воздухѣ бѣлыя мухи. Туманы. Пронизывающіе вѣтры. И такъ — до начала юня. Это здѣсь называется „весна“.

Направо хлещутъ и пѣнятся бурны около Трехъ Братѣвъ, — трехъ скалъ, рядомъ возвышающихся надъ водой. Въ море выдѣлась огромная темная масса мыса Жонкьеръ, съ маякомъ на вершинѣ. Въ темной громадѣ, словно отверстіе отъ пули, чернѣетъ входъ въ тоннель. Богъ его знаетъ, зачѣмъ и кому понадобился этотъ тоннель. Зачѣмъ понадобилось сверлить эту огромную гору.



Пристань на Александровскомъ посту.

— Для чего онъ сдѣланъ?

— А чтобъ соединить постъ Александровскій съ Дуэ.

— Что жъ, ѣздить кто этимъ тоннелемъ?

— Нѣтъ. Ѣздить другой дорогой, — вонъ тамъ, горами. А нужно везти что, — возять на баржахъ, буксируютъ катерами. Да по немъ и не проѣдешь, по тоннелю. Онъ въ извилинахъ.

Тоннель вели подъ руководствомъ какого-то господина, который, вѣроятно, никогда и въ глаза не видалъ никакого тоннеля. Господинъ, по сахалинскому обычаю, ровно ничего не понималъ въ томъ дѣлѣ, за которое взялся. Какъ и всегда, тоннель повели сразу съ обоихъ концовъ, съ такимъ расчетомъ, чтобы партіи работающихъ встрѣтились. Но люди все дальше и дальше закапывались въ гору,

а встрѣчаться не встрѣчались. Было ясно, что работающіе партіи разошлись. Къ счастью, среди ссыльно-каторжныхъ нашелся человекъ, понимающій дѣло, бывшій саперъ, Ландсбергъ, фамилія котораго въ свое время прогремѣла на всю Россію и до сихъ поръ еще не забыта. Ему и отдали подъ команду рабочихъ. Цѣною немовѣрныхъ трудовъ и усилій рабочихъ удалось поправить ошибку. Провели коридоръ въ бокъ, и соединили двѣ разошедшіяся въ разные стороны половины тоннеля.

Вернемся, однако, къ „разгрузкѣ“.

Арестантовъ перваго отдѣленія вывели на палубу. Присматриваются къ унылымъ берегамъ. Сахалинъ, видимо, производитъ тяжелое впечатлѣніе. Видъ оторопѣлый, растерянный.

Имъ сдѣлали перекличку по фамиліямъ.

— Ну, теперь садись, ребята, — скомандовалъ офицеръ. То-есть „садись на баржу“.

Арестанты, словно по командѣ, поджали ноги и... сѣли на палубѣ. Можно же до такой степени оробѣть и смѣшаться.

По трапу одинъ за другимъ, съ мѣшками за плечами, спускаются въ баржу каторжане. Баржу качаетъ, арестанты въ ней, ослабѣвшіе на ноги, благодаря долгому отсутствію моціона, не могутъ стоять и валятся другъ на друга. Одна баржа наполнена, подводятъ другую, — нагружаютъ. И катерокъ, пыхтя и сопя, тащитъ качающіяся и бултыхающіяся баржи къ пристани, далеко выдавшейся въ море. А къ пароходу ужъ ползетъ по волнамъ другой катерокъ съ двумя съ бока на бокъ переваливающимися посудинами. Разгрузка идетъ быстро, — и наступаетъ самый тяжелый моментъ. Изъ лазарета движется удручающаго вида процессія. На самодѣльныхъ неудобныхъ креслахъ, на неуклюжихъ носилкахъ несутъ больныхъ. Доктора съ озабоченными лицами хлопчутъ около процессіи. На ихъ лицахъ такъ и читается укоръ.

И это перевозочныя средства для больныхъ.

Какія измученныя, какія страдальческія лица у несчастныхъ. Одно изъ нихъ словно и сейчасъ смотритъ на меня. Обязанная голова. Заострившіяся черты, словно у покойника, съ застывшимъ выраженіемъ страданія и муки. Восковое лицо. Провалившіеся глаза, въ которыхъ еле-еле свѣтится жизнь, словно погасающій огонекъ догорающаго огарка. Съ губъ его, бѣлыхъ и тонкихъ, срывается чуть слышный стонъ, скорѣе жалобный вздохъ.

По крутому, почти отвѣсному трапу, бережно, подъ наблюденіемъ врачей, но, конечно, все же не безъ страданій для больныхъ, ихъ сносятъ въ кувыркающуюся на волнахъ баржу.

Разгрузка кончена. Жалкій тюремный катерокъ доставляетъ насъ на пристань.

Чувствуется, что вы приближаетесь къ административному центру. Александровская пристань, это — вполне благоустроенная пристань. Сигнальная мачта. Хорошенькій домикъ, съ канцеляріей и командой для ожидающихъ катера гг. чиновниковъ. Нѣсколько времени тому назадъ эту пристань разбило было вдребезги. Но горю

помогъ все тотъ же истинный благодѣтель Сахалина по технической части, бывший сс.-каторжный г. Ландсбергъ. Онъ перестроилъ пристань уже „какъ слѣдуетъ“. На Сахалинѣ вѣчно такъ: сначала сдѣлають кое-какъ, а потомъ передѣлають „по-настоящему“. Да и отчего бы и не дѣлать такихъ опытовъ: рабочихъ рукъ много, и притомъ даровыхъ. По деревянному молу мы идемъ на берегъ.

На молѣ кипитъ работа. Каторжане изъ „вольной тюрьмы“ таскають кули, мѣшки и ящики. Раньше насъ пришелъ какой-то другой пароходъ и привезъ товары изъ Владивостока. Грузополучатели сидятъ тутъ же на своихъ ящикахъ и зорко поглядываютъ.

— Не стащили бы чего.

Нищая тюрьма тащить, что можетъ.

— Надзиратель, надзиратель, — раздается пронзительный крикъ, словно человѣку къ горлу ножъ ужъ приставили, — надзиратель, чего жъ ты не смотришь, куда онъ кулъ-то претъ, оглашенный.



Арестантскіе типы.

Какой же ты надзиратель, ежели воруютъ, а ты не смотришь. Я смотрителю буду жалиться.

— Ты куда это кулъ прешь, такой, разьэтакий?

— Чортъ же его, проклятаго, зналъ, что это его. Я думаль, туды его тащить надобно. Возьми кулъ, оглашенный. Ишь, прорвы на тебя нѣтъ, ореть, анаема.

— Жулье.

— Положь мѣшокъ, положь мѣшокъ, говорятъ тебѣ,—слышится въ другой сторонѣ.

Среди этой суетящейся толпы, не замѣчая никого, медленно движется странная фигура.

Свита изъ сѣраго арестантскаго сукна до пять, похожа на под-рясникъ. Онъ простоволосъ. Вѣтеръ треплетъ его бѣлокурые волосы. Сѣро-голубые, свѣтлые глаза устремлены на небо. На лицѣ застыло выраженіе какого-то благоговѣйнаго восторга. Словно онъ Бога видитъ тамъ, въ далекихъ небесахъ. Въ одной рукѣ у него верба, другая сложена какъ для благословенія. Онъ весь унесся отсюда душой, не слышитъ ничего кругомъ, идетъ прямо, какъ будто кругомъ пусто и нѣтъ никого: его толкаютъ, онъ не замѣчаетъ.

— У-у, анаема. Пропадутъ на тебѣ нѣтъ.

Это—несчастный сумасшедшій Казанцевъ, у него *mania religiosa*. И зиму и лѣто онъ ходитъ вотъ такъ, съ непокрытой головой, въ длинной свитѣ, похожей на подрясникъ, съ высоко поднятой благословляющей рукой. Его нищие родные, пришедшіе за нимъ на Сахалинъ, сдѣлали себѣ источникъ дохода изъ „блаженненкаго“, ходятъ за нимъ и выпрашиваютъ милостыню на „Божьего человѣка“. Въ его лицѣ, въ его фигурѣ, въ поднятой для благословенія рукѣ, въ его походкѣ, торжественной и мѣрной, словно онъ шествуетъ къ какой-то великой, важной цѣли, есть что-то трогательное, если хотите, даже величественное. Контрастъ между этимъ человѣкомъ, унесшимся больной душой далеко отъ этого міра, и кипящей кругомъ суетой нищихъ и несчастныхъ, — контрастъ очень сильный.

У конца мола противный лязгъ желѣза. Здѣсь работаютъ, подъ конвоемъ часовыхъ съ ружьями, кандалные.

— Развязывай штаны,—кричитъ солдатъ, стоя предъ высокимъ, мрачнаго вида, бородатымъ мужикомъ,—сейчасъ развязывай штаны, говорятъ тебѣ.

— А самъ и развязывай, ежели тебѣ есть охота, — спокойно и равнодушно отвѣчаетъ кандалный.—Да ты не дерися!—кричитъ

онъ, когда солдатъ исподтишка даетъ ему прикладомъ. — Ты чего дерешься, чувырло братское? Можно и тебѣ бока-то помять, косопузый.

— Пришить васъ всѣхъ тутъ мало, всѣхъ, сколько есть, дьяволовъ! Хлѣбъ только казенный жрете, пропасти на васъ нѣтъ, проклятыхъ, — ругается солдатъ, весь покраснѣвшій со злости, и принимается развязывать каторжанину исподнее платье.

— Такъ-то лучше. Давно бы такъ, — попрежнему спокойно говорить каторжанинъ.

Этотъ тонъ, спокойный и равнодушный, повидимому, особенно злитъ, раздражаетъ, волнуетъ, мучить и бѣситъ солдата.

— Молчи лучше. Молчи, пока не пришибъ.

— Много васъ здѣсь, пришибаль-то, найдется.

— Молчи, — кричитъ солдатъ, уже весь багровый и отъ злости и отъ усилій развязать панталоны одной рукой: изъ другой нельзя выпустить ружье, — молчи.

— Да ты не дерись, — кричитъ опять каторжанинъ, которому снова влетѣло въ бокъ ружьемъ.

У входа на молъ стоятъ дрожки, тарантасы съ каторжными кучерами на козлахъ. На весь Александровскій постъ имѣется только одинъ извозчикъ, изъ поселенцевъ, да и тотъ не занимается этимъ дѣломъ постоянно, — не стоитъ: за дѣломъ ли, за бездѣльемъ всѣ всегда ѣздятъ на казенныхъ. Зато и достается же лошадямъ на Сахалинѣ. Вотъ для кого здѣсь поистинѣ каторжная работа. Цѣлый день въ Александровскѣ по главной улицѣ только и слышишь, что звонъ колокольцевъ, только и видишь, что бѣшено мчащіяся тройки „подъ гг. служащихъ“.

„Вотъ, — думаешь себѣ, — какая, должно-быть, дѣятельность кипитъ на этомъ островѣ“.

Если бы спросить у лошадей, онѣ бы отвѣтили, что гг. служащие — народъ очень дѣятельный.

Что это, однако, за странная группа, словно группа переселенцевъ, расположилась у стѣны казеннаго сарая. Старики, молодые, женщины, дѣти сидятъ на сундукахъ, на укладкахъ, съ подушками въ рукахъ, съ образами, съ жидкимъ, скуднымъ и жалкимъ скрѣпомъ. Это — „бѣглецы съ Сахалина“. Новые „крестьяне изъ ссыльных“, люди, окончившіе срокъ каторги и поселенчества, получившіе „крестьянство“, а вмѣстѣ съ нимъ и право выѣзда „на материкъ“. Завѣтная мечта каждого невольнаго (да и вольнаго) жителя Сахалина. Распродавъ, а то и прямо бросивъ свои домишки, они стянулись сюда изъ ближайшихъ и дальнихъ поселеній. Желанный, давно

жданный, грезившійся во снѣ и наяву день насталъ. Свищеть вѣтеръ, летаютъ и кружатся въ воздухѣ бѣлыя мухи, а они сидятъ здѣсь, дрожащія, посинѣлыя отъ холода, не зная, когда ихъ будутъ сажать на пароходъ. А сажать будутъ дня черезъ три, не раньше. Никто не позаботился ихъ предупредить объ этомъ, никто не позаботился сказать, когда именно нужно явиться. И они будутъ мерзнуть на вѣтру, на холодѣ, плохо одѣтые, съ маленькими дѣтьми, боясь пропустить „посадку“ и остаться здѣсь, на проклятомъ островѣ.

— Милай, — ноетъ баба, — пусти хошь куды. Мнѣ бы ребенка покормить только. Махонькій ребенокъ-то, грудной. Замреть не ѣмши.

— Здѣсь и корми. Куда жъ тебя еще.

— Холодно, милай; на этакомъ-то холоду нешто можно грудью кормить.

Таковъ „желанный день“. Подойдемъ къ этой полузамерзшей группѣ.

— Давно сидите?

— Съ авчирашняго дня. Авчирашняго еще числа парохода ждали. Дрогнемъ, и отъ вещей отлучиться нельзя: народъ шпанка, сейчасъ свистнеть.

— А куда жъ теперь, на материкъ?

— Такъ точно, на материкъ, ваше высокоблагородіе.

— Ну, а что жъ дѣлать будете тамъ на материкѣ?

— Да ужъ тамъ, что Богъ дастъ. Что Владистокъ (Владивостокъ) окажетъ.

— Да вѣдь на материкъ-то теперь, во Владивостокъ, и своему-то народу дѣлать нечего.

— Все-таки, думается, тамъ лучше. Все не Сокалинъ... Какъ Богъ.

— Ну, а деньги у тебя на дорогу есть?

— Вотъ три рубля есть.

— Да вѣдь билетъ стоитъ не три рубля, а дороже.

— Можетъ, капитанъ смилуется, трешницу возьметъ.

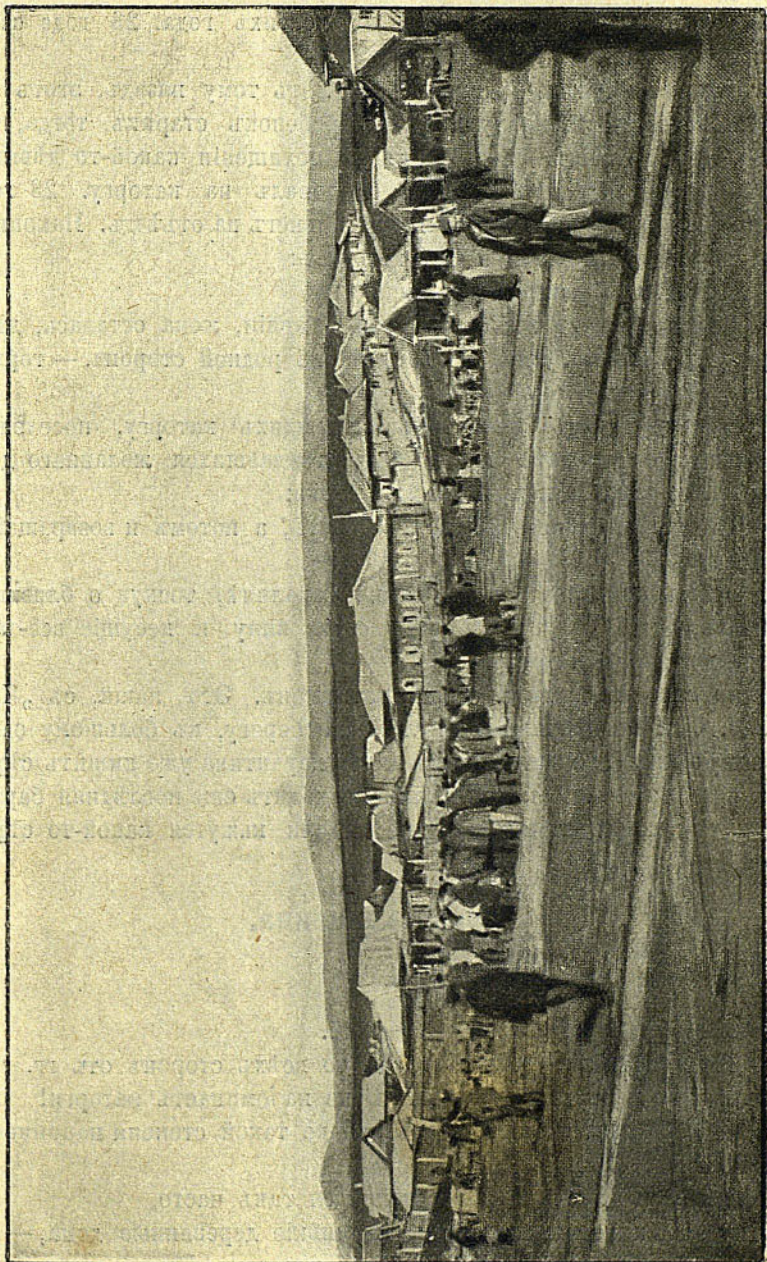
— Да не можетъ капитанъ, у капитана — тарифъ.

— Что жъ, сдыхать здѣсь, что ли? Сдыхать на этомъ острову проклятомъ? Сдыхать?

— Подайте, Христа ради, на билетъ, — слышится то тамъ, то здѣсь.

Нищіе у нищихъ просятъ милостыни.

Въ сторонкѣ, отдѣльно отъ другихъ, сидитъ старикъ на маленькой укладочкѣ и плачетъ. Всхлипываетъ какъ ребенокъ, и слезы ручьемъ текутъ по его посинѣвшему, восточнаго типа лицу.



Видъ улицы въ Александровскомъ посту.

— Что съ тобой, старикъ?

— Дэнга, бачка, домой на родына ѣхать нѣтъ.

23 года ждалъ онъ этого дня. 23 долгихъ года. 23 года сахалинской каторги.

Его фамилія Аюпъ-Гудовичъ. 25 лѣтъ тому назадъ, этотъ маленькій, несчастный, плачущій какъ ребенокъ старикъ, тогда, вѣроятно, лихой горецъ, участвовалъ въ похищеніи какой-то дѣвицы, отстрѣливался, вѣроятно, мѣтко и попалъ на каторгу. 23 года мечталъ онъ объ этомъ днѣ и копилъ денегъ на отъѣздъ. Накопилъ тридцать рублей, явился, и ему говорятъ:

— Куда ты. Нужно 165 рублей.

— Братъя у меня въ Эриванской губерніи, жена осталась, дѣти теперь ужъ большія. Умирать хотымъ на родной сторона, — горько рыдаетъ старикъ.

И сколько такихъ, какъ онъ, отбывшихъ каторгу, поселенье, мечтавшихъ о возвратѣ на родину, дождавшихся желаннаго дня, пришедшихъ сюда и получившихъ отвѣтъ:

— Сначала припаси денегъ на билетъ, а потомъ и возвращайся на родину.

И сидятъ они десятками лѣтъ на Сахалинѣ, тоскуя о близкихъ и милыхъ, — они, искупившіе уже свою вину и несущіе все-таки тяжкую душевную каторгу.

Мимо насъ проходитъ толпа каторжанъ. Это наши, съ „Ярослава“. Они поворачиваютъ налѣво по берегу, къ большому одноэтажному зданію „карантина“. На дворѣ карантина уже кишитъ сѣрая толпа арестантовъ. А къ пристани подходитъ еще послѣдняя баржа, нагруженная арестантами, которые издали кажутся какой-то сѣрой массой.

Столица Сахалина.

I.

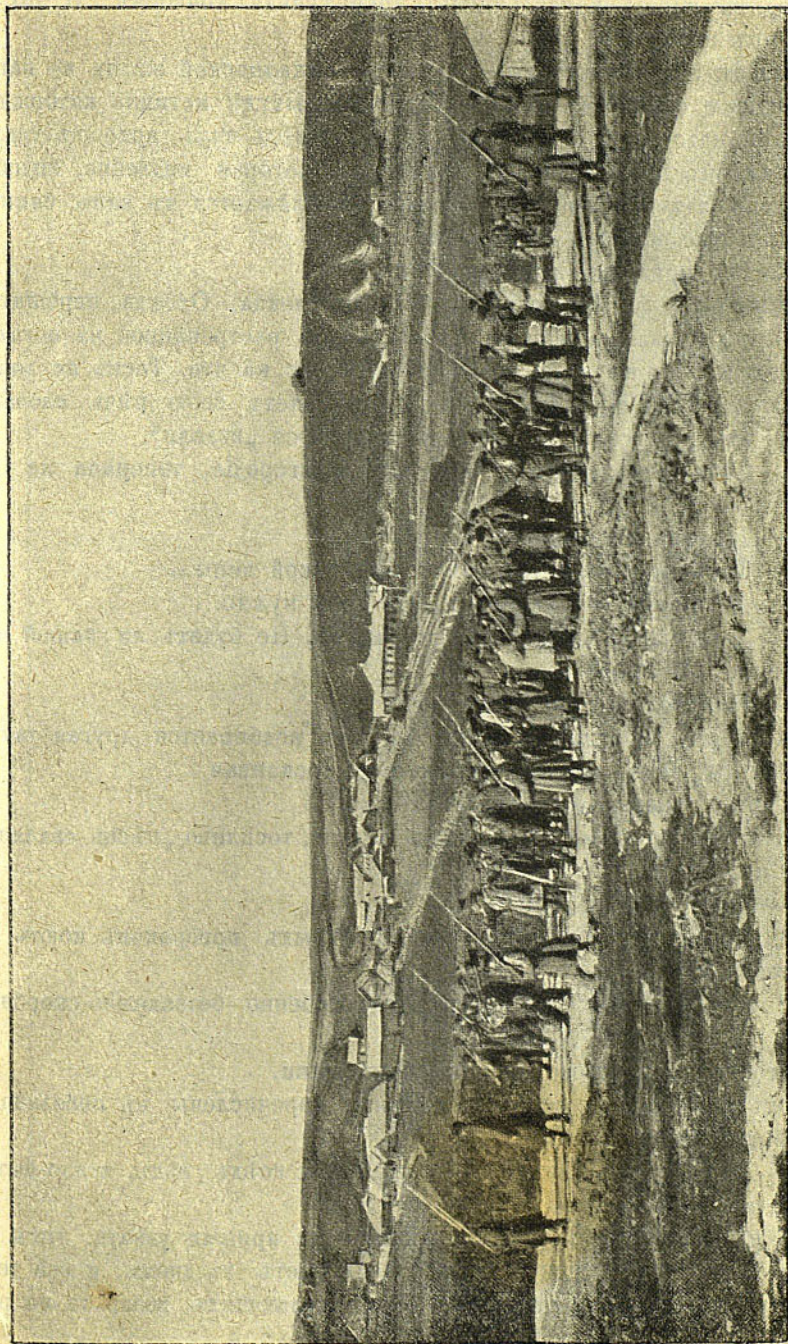
Такъ зовутъ постъ Александровскій.

— Не правда ли, — услышите вы со всѣхъ сторонъ отъ гг. служащихъ, — въ Александровскѣ ничто не напоминаетъ каторги!

Я не знаю другого мѣста, гдѣ все до такой степени напоминало бы о каторгѣ.

Нигдѣ звонъ кандаловъ не слышится такъ часто,

Широкія немощеныя улицы, маленькіе деревянные дома, — все переноситъ въ глухой провинціальный городокъ. Вы готовы забыть, что вы на каторгѣ. Но раздается лязгъ кандаловъ, и изъ-за угла



Партія вновь прибывших каторжанъ.

выходить партія кандалниковъ, окруженная конвоемъ. И это на каждомъ шагу.

Нигдѣ истинно каторжныя условія сахалинской жизни не напоминаютъ о себѣ такъ на каждомъ шагу. Нигдѣ истинно каторжная нищета, каторжное бездомовье не бросаются такъ ярко въ глаза. На каждомъ шагу — фигура поселенца, которая медленно, подобострастно, заискивающе, приниженно приближается къ вамъ, снимая картузь еще за 20 и 30 шаговъ.

Словно призракъ нищеты.

Типичная фигура сахалинскаго поселенца. Одежда, перешитая изъ арестантскаго бушлата. Что-то такое растрепанное на ногахъ, не похожее ни на сапоги, ни на коты, ни на что. Тоска на лицѣ.

Сахалинскій поселенецъ всегда начинаетъ свою рѣчь словами „такъ что“, и всегда обязательно ведетъ ее „издали“.

— Такъ что, какъ мы, ваше высокоблагородіе, теперича на Сахалинѣ неизвѣстно за что...

— Ну, говори толкомъ, что нужно.

— Такъ что, какъ теперича безо всякой вины...

— Да говори же, наконецъ, что тебѣ нужно.

— Такъ что, третій день не ѣмши... Не будетъ ли вашей начальнической милости...

— На. Получай—и проваливай.

А съ другой стороны улицы къ вамъ подбирается другая такая же фигура, такая же сѣрая, такая же тоскливая

Сѣрые призраки сахалинской тоски.

И также начинаетъ нараспѣвъ, тягуче, тоскливо „пѣснь сахалинской нищеты“:

— Такъ что, какъ мы...

А впереди десятки, сотни этихъ сѣрыхъ призраковъ поютъ ту же тоскливую пѣснь.

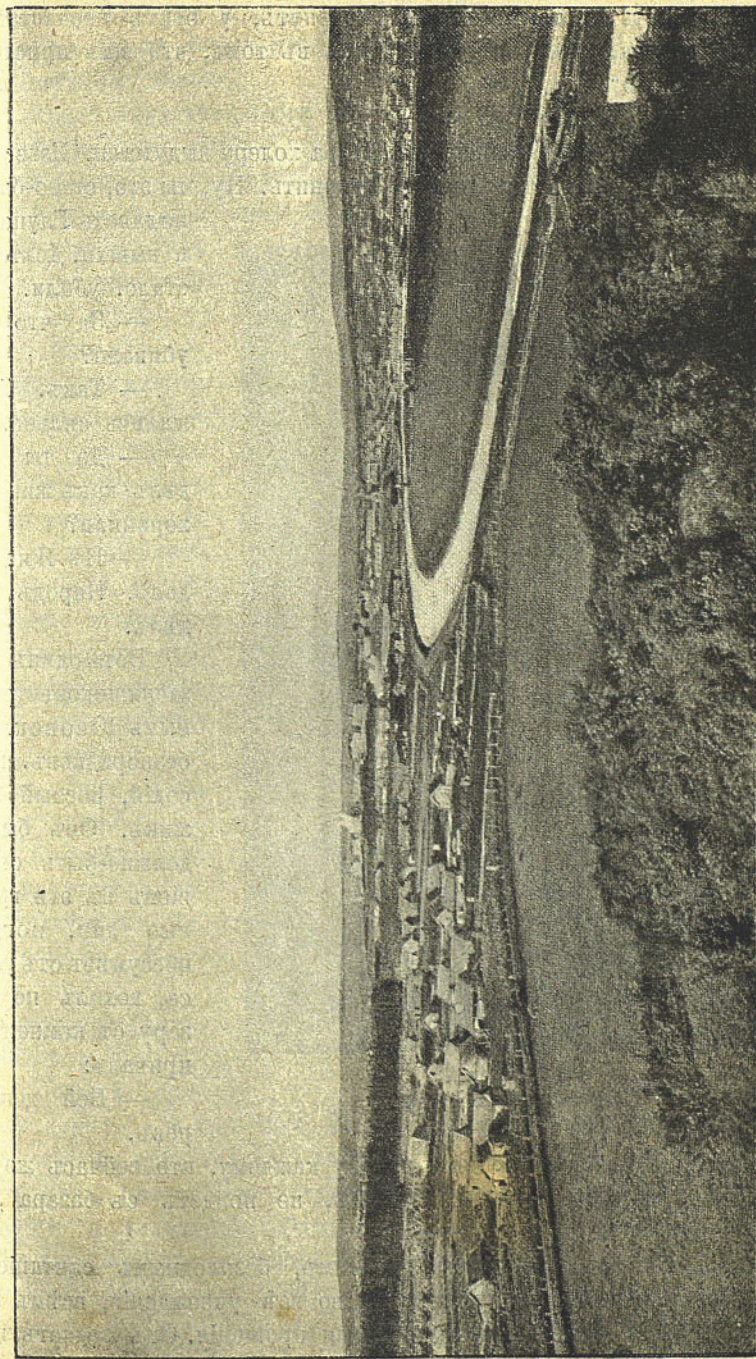
Порой среди нихъ вы встрѣтите особенно безнадежно-скорбное лицо.

Это—сосланные за холерныя безпорядки.

Отъ каторги они всѣ освобождены, перечислены въ поселенцы, хозяйства не заводятъ.

— Не къ чему. Скоро выйдетъ, чтобы всѣхъ насъ, стало-быть, на родину, въ Россію, вернуть.

И слоняются безъ дѣла по посту, куда пришли узнать, нѣтъ ли „манифесту, чтобъ домой ѣхать“. День идетъ за днемъ, и все тоскливѣе, безнадежнѣе дѣлаются лица ожидающихъ возврата на родину.



Видъ Александровскаго поста.

Увѣренность въ томъ, что ихъ вернуть, у этихъ несчастныхъ такъ же сильна, какъ и увѣренность въ томъ, что ихъ прислали сюда „безвинно“.

— За что присланъ?

— Такъ, глупости вышли... Доктора холеру выдумали. Известно стали народъ присыпать, живьемъ хоронить. Ну, мы это, стало-быть

недавать. Глупости и вышли. Доктора, стало, убили.

— За что же убивали?

— Такъ. Спужались сильно.

— Да ты видѣлъ, какъ живыхъ хоронили?

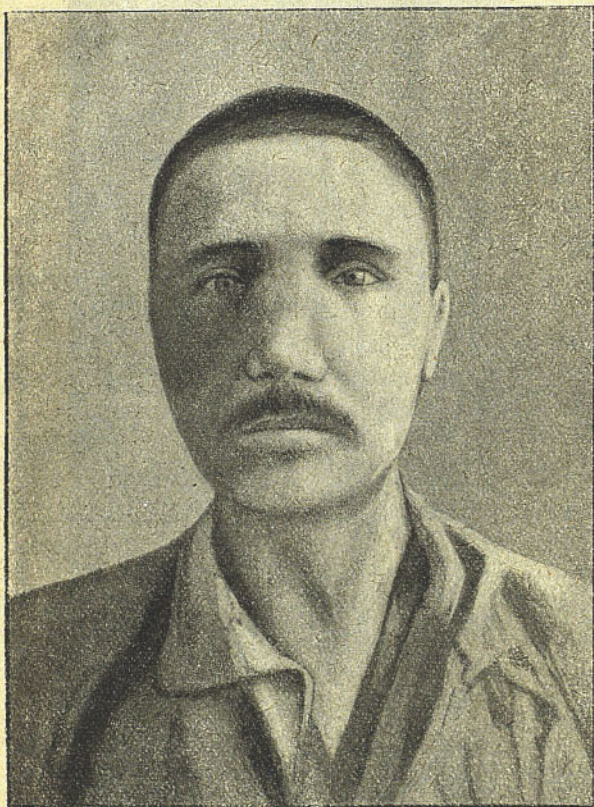
— Нѣ. Я не видалъ. Народъ видѣлъ.

Вотъ одинъ изъ зачинщиковъ страшныхъ Юзовскихъ беспорядковъ. Высокій, рослый мужикъ. Онъ былъ, должно-быть, страшенъ въ эти грозные дни, когда, обезумѣвъ отъ ужаса, ходилъ по базару съ камнемъ и кричалъ:

— Бей докторовъ.

И грозилъ разбить камнемъ голову каждому, кто сейчасъ же не приступитъ къ этой страшной бойнѣ, не пойдетъ съ базара „на докторовъ“.

Теперь у него истомленный долгимъ, бесплоднымъ скитаніемъ видъ. Все ходить по посту, подавая во всѣ учрежденія, всѣмъ начальствующимъ лицамъ самыя нелѣпыя прошенія. Онъ подаетъ ихъ всѣмъ: тюремному смотрителю, горному инженеру, землемѣру и



Герой холернаго бунта.

докторамъ. Онъ такъ и ходить съ бумагой въ рукахъ,—и стоитъ ему увидѣть на улицѣ какого-нибудь „вольнаго человѣка“, онъ сейчасъ же подастъ ему бумагу.

— Явите начальническую милость...

— Да насчетъ чего?

— Насчетъ освобожденія...

— Я-то тутъ при чемъ. Я, милый, ничего не могу сдѣлать.

— Господи! Да

кто же вступится за правду, за истину.

Въ глазахъ его блещетъ отчаяніе. Онъ во всемъ отчаялся, во все потерялъ вѣру — въ правду, въ справедливость. И только въ одномъ увѣренъ глубоко, всѣмъ сердцемъ, всей душой, — въ томъ, что, призывая убивать докторовъ, онъ пострадалъ „безвинно“.

И въ этомъ вы его не разубѣдите.

— Какъ же такъ. Какъ не доктора хитро выдумали? Дозвольте вамъ объяснить...

И онъ принимается рассказывать про извѣсть, которой „присыпали народъ“, и про тѣхъ, заживо похороненныхъ, которыхъ онъ не видалъ, но зато „народъ видѣлъ“.

Вотъ еще интересный сахалинскій типъ.

Держится молодцомъ. Одѣтъ щеголевато. Лицо жульническое. Выраженіе на лицѣ: „готовый къ услугамъ“.

Черный „спинжакъ“. Штаны заправлены въ высокіе крѣпкіе сапоги. На шеѣ — красный шарфъ. Выправка бывшего солдата.



Арестантскіе типы.

Сосланъ за вооруженное сопротивленіе полиціи. Былъ въ Москвѣ въ какомъ-то трактирѣ,—притомъ съ отдѣльными кабинетами,—приказчикомъ. Что тамъ дѣлалось, въ этихъ „отдѣльныхъ кабинетахъ“.— Господь его знаетъ. Но когда не ждано ночью явилась полиція,— онъ пошелъ на все, чтобы только не допустить полиціи до „кабинетовъ“. Заперъ дверь, стрѣлялъ, когда ее выломали, изъ револьвера:

Теперь отбылъ каторгу и числится поселенцемъ. Цѣлые дни вы его видите только на улицѣ, ничего не дѣлая. На вопросъ, чѣмъ занимается, говоритъ:

— Такъ... Торгую...

Когда мнѣ нужно познакомиться поближе съ кѣмъ-нибудь изъ наиболѣе темныхъ личностей,— онъ для меня неоцѣненная протекція.

Какъ онъ прикомандировался ко мнѣ, я даже и объяснить не могу. Не успѣлъ я ступить на пристань,—онъ выросъ передо мною словно изъ-подъ земли, съ своимъ вѣчнымъ выраженіемъ:

„Готовый къ услугамъ“..

Не успѣваю я сказать, что мнѣ нужно, онъ летитъ со всѣхъ ногъ.

Лошадь нужно,—ведетъ лошадь. Квартиру отыскать,—пожалуйста нѣсколько квартиръ. На лицѣ готовность оказать еще тысячу услугъ. Какихъ—безразлично. Ни добра ни зла нѣтъ для этого человѣка „готоваго служить“ чѣмъ угодно и какъ угодно.

Куда бы я ни пошелъ, я всюду наталкиваюсь на него. Выхожу утромъ изъ дома,—какъ столбъ стоитъ у подъѣзда. Возвращаюсь вечеромъ,—въ темнотѣ вырастаетъ, силуэтъ.

— Не будетъ ли какихъ приказаній на завтра?

— Да объясни ты на милость: чего тебѣ отъ меня нужно. Что ты ко мнѣ привязался.

— Ваше высокобродіе, явите начальническую милость. Такъ что, какъ вы со всѣми господами, начальниками знакомы, вамъ ни въ чемъ не откажутъ...

— Ну, къ дѣлу.

— Билетъ на выѣздъ на материкъ. На постройку.

Т.-е. на постройку Уссурийской желѣзной дороги, которая строится каторжными съ острова Сахалина.

— Когда еще въ „работахъ“ былъ, я на дорогѣ находился, работалъ всегда усердно, исправно. Начальство мною было довольно. Ваше высокобродіе, явите такую вашу начальническую милость...

И послѣ этого вѣчный припѣвъ при каждой нашей встрѣчѣ:

— Господи. Работалъ. Всегда были довольны. И теперь должнъ на Сакалинѣ пропадать...

Замѣчаю, однако, что болѣе порядочные поселенцы отъ моего чичероне, уссурійскаго труженика, что-то сторонятся.

Спрашиваю какъ-то у моего кучера, мальчишки изъ хорошей поселенческой семьи, присланной сюда „за монету“ ¹⁾:

— Слышь - ка, что этого, чернаго, высокаго, всѣ какъ будто чураются.

— Не любить его народъ, — нехотятъ отвѣчаетъ мальчишка.

— А за что?

— Кто жъ его знаетъ... На дорогѣ тамъ, что ли... палачомъ былъ... вотъ и чураются...

Вотъ что называется на Сакалинѣ „работой“. И вотъ на какія работы просится уссурійскій труженикъ.

— Ты что жъ? — спрашиваю его. — Ты мнѣ прямо говори. Я теперь знаю. Ты въ палачи хочешь поѣхать наниматься?

— Такъ точно.

И смотреть на меня такими ясными, такими свѣтлыми глазами. Словно рѣчь идетъ о самомъ, что ни на есть почтеннѣйшемъ трудѣ.

О, эта сахалинская улица. Какія встрѣчи на ней!

Надо было мнѣ повидать сахалинскую „знаменитость“, палача Комлева.



Арестантскіе типы.

¹⁾ За выдѣлку фальшивой монеты.

Отыскалъ домъ, гдѣ онъ временно пріютился.

— Подождите, сейчасъ придетъ, — сказала мнѣ хозяйка каторжанка, отданная въ сожительницы.

И въ комнату вошелъ Комлевъ съ ребенкомъ на рукахъ.

Комлевъ явился въ постъ „на работу“, прослышавъ, что въ тюрьмѣ предстоитъ повѣшеніе. А „въ ожиданьи работы“ нанялся... у поселенки няньчить дѣтей.

Развѣ не истинно каторжнымъ вѣть отъ такихъ ежесекундныхъ встрѣчъ въ посту Александровскомъ, отъ этихъ на каждомъ шагѣ попадающихся на глаза картинъ нищеты и крайняго паденія?

II.

Мы на главной улицѣ Александровскаго. Если бы не сѣрые халаты, не арестантскіе „бушлаты“ пѣшеходовъ, смѣло можно было бы вообразить себя на какой-нибудь Милліонной или Дворянской улицѣ маленькаго городка средней полосы Россіи. Широкая немощеная улица. Тротуары, по которымъ сдѣланы дощатые мостики. Палисаднички, въ которыхъ прозябають жалкія деревца. Одноэтажные деревянные домики.

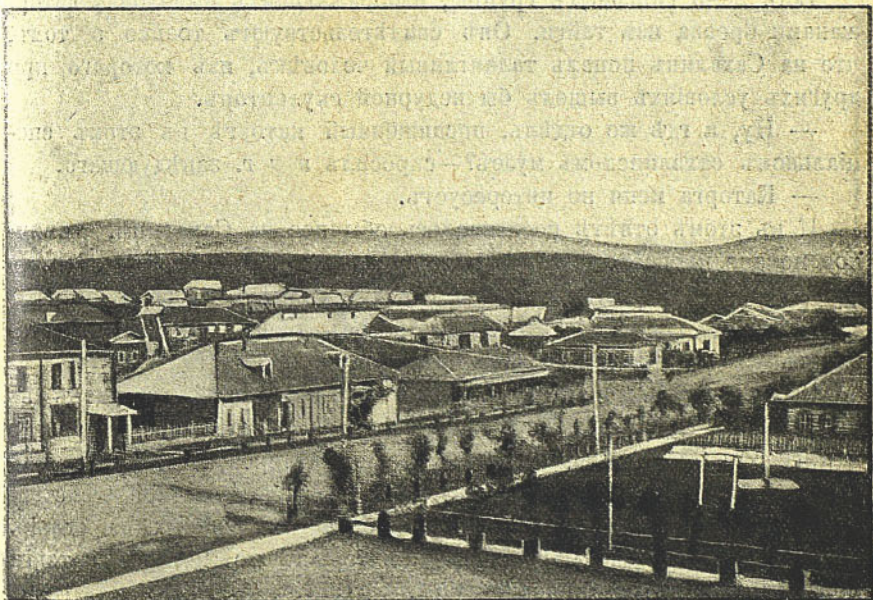
Каменныхъ зданій на главной улицѣ два: очень красивая часовня, построенная въ память избавленія Государя Императора отъ угрожавшей опасности во время путешествія по Японіи, въ бытность Наслѣдникомъ Цесаревичемъ, и зданіе метеорологической станціи, гдѣ помѣщается также и школа.

Видъ главной улицы въ обычное время унылый. Необычное время, это—если пріѣзжаетъ кто-либо изъ Петербурга. Тогда главная улица станвится неузнаваемой. Въ моей коллекціи есть нѣсколько фотографій, снятыхъ съ этой улицы во время пріѣзда г. начальника главнаго тюремнаго управленія. И, конечно, нельзя узнать унылой сахалинской улицы среди триумфальныхъ арокъ и флаговъ. Деревянные домишки становятся, разумѣется, неузнаваемыми подъ зелеными хвойными гирляндами, которыми разубраны ихъ стѣны. Тогда сахалинская улица имѣетъ, дѣйствительно, блестящій видъ. Удивительно прихорашивается, прикрашивается. То же происходитъ тогда и со всѣмъ вообще Сахалиномъ.

Если вы вспомните, однако, что на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь находятся часовня, соборъ, музей, губернаторскій домъ, метеорологическая станція, клубъ, присутственныя мѣста, дома служащихъ, еще 15 лѣтъ тому назадъ былъ глухой, непроходимый боръ, — нельзя не подивиться быстротѣ роста сахалинской колонизаціи.

15 лѣтъ тому назадъ — непроходимый лѣсъ, теперь — улица, какъ улица.

Словно не на каторгѣ, а въ обычномъ уныломъ провинціальномъ городишкѣ. Полной иллюзіи мѣшаютъ, какъ я уже сказалъ, костюмы пѣшиходовъ да еще кости кита, красующіяся на деревянныхъ подпоркахъ передъ зданіемъ сахалинскаго музея. Совсѣмъ необычное украшеніе улицы. Китъ былъ выброшенъ во время шторма на отмель, и его кости — предметъ гордости музея. „Ихъ моютъ дожди,



Николаевская главная улица въ посту Александровскомъ.

посыпаетъ ихъ пыль“, а навѣсь для нихъ все еще „думаютъ“ и „собираются“ строить. „Думать“ и „собираться“ — два самыхъ распространенныхъ занятія на о. Сахалинѣ.

Сахалинскій музей — маленькое, но очень интересное учрежденіе. Все, что могла дать бѣдная исторія и этнографія печальнаго острова, вы найдете здѣсь въ нѣсколькихъ маленькихъ комнатахъ. На васъ глядятъ унылые манекены туземцевъ, дикарей Сахалина: гиляковъ, ороchonъ, тунгусовъ, айновъ. Тупыя, добродушныя, плоскія лица гиляковъ въ мѣховыхъ одеждахъ. Щурятъ свои калмыцкіе глазки тунгусы и ороchonы, зашитые въ мѣха. Невыносимо воютъ айны въ ихъ разноцвѣтныхъ праздничныхъ нарядахъ изъ

рыбьей кожи, это—загадочное, вымирающее племя, какая-то смѣсь монгольскаго типа съ кавказскимъ, странные дикари съ волосами поэтовъ и добрыми, мечтательными глазами. Вамъ покажутъ въ музеѣ домашнюю утварь, оружіе этихъ дикарей, предметы ихъ религіознаго культа. Покажутъ чучела птицъ, заспиртованныхъ рыбъ, водящихся въ сахалинскихъ рѣкахъ, отрѣзы деревьевъ, образцы сахалинскаго каменнаго угля, кое-какія вещицы, въ родѣ остатковъ каменнаго вѣка, по которымъ можно еле-еле намѣтить исторію дикарей о. Сахалина.

Есть 2—3 гипсовыхъ группы, изображающихъ выволочку каторжанами бревна изъ тайги. Онѣ свидѣтельствуютъ только о томъ, что на Сахалинъ попалъ талантливый человѣкъ, изъ котораго при другихъ условіяхъ вышелъ бы недурной скульпторъ.

— Ну, а гдѣ же отдѣлъ, посвященный каторгѣ въ этомъ спеціальному сахалинскому музею?—спросилъ я у г. завѣдующаго.

— Каторга меня не интересуетъ.

И въ этомъ отвѣтѣ послышалось обычное на Сахалинѣ, типичное полное пренебреженіе къ каторгѣ, къ ея жизни и быту.

— Меня интересуютъ только чисто научные вопросы.

Какъ будто изученіе этихъ „отбросовъ общества“ не представляетъ уже никакого научнаго интереса.

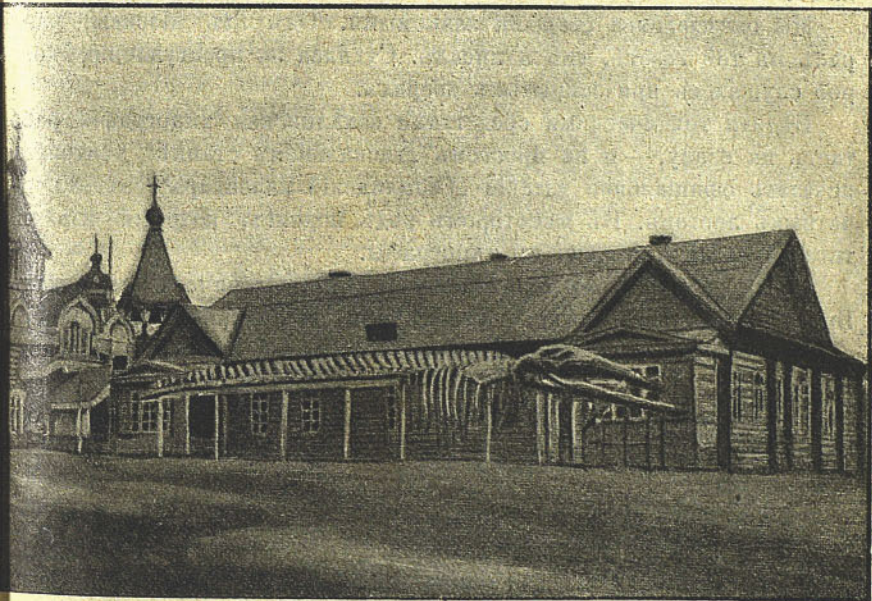
Быть каторги мѣняется въ связи съ перемѣной взглядовъ на преступленіе и наказаніе. Вѣяніе великаго гуманнаго вѣка, теплое и мягкое и согрѣвающее, какъ лѣтній вѣтерокъ, все-таки чувствуется и здѣсь. Многое, что вчера еще было ужасной дѣйствительностью, сегодня уже отходить въ область страшныхъ преданій. И какой бы богатый, поучительный матеріалъ по исторіи каторги могъ бы собрать сахалинскій музей.

Я уже не говорю о томъ неоцѣненномъ матеріалѣ для ученыхъ, для антропологовъ, для юристовъ, для врачей, который погибаетъ на Сахалинѣ, благодаря тому, что тамъ, на каторгѣ, меньше всего интересуются каторгой. Нѣсколько времени тому назадъ одинъ изъ врачей началъ составлять коллекцію типовъ преступниковъ. Для съемки такъ называемыхъ антропологическихъ карточекъ онъ устроилъ при лазаретѣ фотографію. Работы шли прекрасно. Коллекція шла прекрасно и обѣщала быть цѣннымъ вкладомъ въ науку. Какъ вдругъ такое невинное занятіе было найдено почему-то предосудительнымъ. Фотографію приказано было уничтожить.

Почему! По недоразумѣнію, по незнанію... И неоцѣненный матеріалъ для науки гибнетъ, съ одной стороны, вслѣдствіе незнанія, съ другой — вслѣдствіе пренебреженія къ каторгѣ.

— Изучать кого же? „Каторгу“. — Это на Сахалинѣ кажется такимъ же смѣшнымъ, какъ у насъ серьезнымъ.

Жизнь сахалинскихъ служащихъ — жизнь унылая, сѣрая, однообразная. Все ихъ ежедневное общеніе съ міромъ состоитъ въ полученіи телеграммъ „Россійскаго телеграфнаго агентства“. Телеграммы имѣются ежедневно за исключеніемъ, конечно, тѣхъ случаевъ, когда телеграфъ испорченъ. А это случается часто и подолгу. Тогда сахалинскіе служащіе чувствуютъ себя окончательно



Сахалинскій музей.

отрѣзанными отъ всего міра и, по ихъ словамъ, чувствуютъ тогда гнетущую, давящую, ноющую тоску.

— Словно заперли умирать въ казематъ, и никто не услышитъ ни крика, ни вопля, ни стона, — какъ говорила мнѣ одна изъ сахалинскихъ дамъ.

Телеграммы, этотъ послѣдній нервъ, соединяющій „мертвый островъ“ съ живымъ міромъ, получаютъ служащими въ складчину и въ посту Александровскомъ печатаются въ казенной типографіи. Зайдемъ туда. Здѣсь, дѣйствительно, можно на минуту забыть, что находишься на каторгѣ. Знакомая близкая обстановка: кассы, реалы. Привычный стукъ литеръ о „верстатку“. Запахъ типографской

краски. Изъ всѣхъ сахалинскихъ мастерскихъ здѣсь мы можемъ разсчитывать на пріемъ наиболѣе теплый, дружескій, въ которомъ есть даже что-то родственное. Журналистъ и наборщикъ, когда они встрѣчаются между собой, — какъ во встрѣчѣ двухъ солдатъ одного и того же полка. Къ тому же пріятно и поговорить на этомъ особомъ языкѣ типографскихъ терминовъ, близкомъ и понятномъ намъ обоимъ. На языкѣ, на которомъ давно не приходилось говорить.

— Чисто, какъ я въ Москвѣ, — улыбаясь, говоритъ мнѣ метранпажъ.

Мы оказываемся старыми знакомыми. Онъ изъ Москвы, набиралъ въ той газетѣ, гдѣ я писалъ. Судился за преступленіе, которое слушалось при закрытыхъ дверяхъ.

Бѣдная техническими средствами сахалинская типографія работаетъ на славу, — и на простомъ „тискальномъ станкѣ“ ухитряется печатать официальное изданіе „Сахалинскій календарь“ въ 30 печатныхъ листовъ. Въ нѣкоторомъ родѣ подвигъ, который изъ читателей оцѣнять только гг. типографы.

Среди наборщиковъ оригинальный типъ. Старичокъ въ очкахъ. Бродяга. Всю свою жизнь состоитъ при „журнальномъ дѣлѣ“.

— Еще работалъ въ покойномъ, блаженной памяти, „Морскомъ Сборникѣ“.

И онъ говоритъ о „покойномъ“, какъ будто рѣчь идетъ объ умершемъ родственникѣ. Съ какой любовью онъ говоритъ со мной о журналахъ.

— Скучаете здѣсь по журналамъ?

Онъ улыбается грустной улыбкой.

— Шибко-съ. Вѣдь вся жизнь прошла въ этомъ дѣлѣ. Свыкнешься... Одно вотъ теперь успокоеніе нахожу: когда телеграммы набирать. Набираешь, — ровно „на газетѣ“ работаешь. Такъ иной разъ замечтаешься, — смѣшно-съ...

И на глазахъ старика, смѣющагося надъ своими мечтаньями, навертываются слезы.

— А за что здѣсь-то?

— Изъ бродягъ-съ.

— И нельзя открыться?

— Невозможно-съ.

Чего натворилъ этотъ старичокъ, находящій себѣ поэзію въ наборѣ телеграммъ и говорящій, словно о человѣкѣ, о „покойномъ журналѣ“?

Въ переплетной при типографіи мы встрѣчаемъ интересную личность — въ нѣкоторомъ родѣ недавнюю „знаменитость“.

Петербургскій „убійца въ Апраксиномъ переулкѣ“. Преступленіе, обратившее на себя вниманіе своимъ спокойствіемъ, жестокостью, звѣрствомъ. Молодой парнишка, онъ убилъ съ цѣлю грабежа трехъ женщинъ. Присужденъ къ 20 годамъ каторги. Вотъ странные глаза. Совершенно желтаго, золотистаго цвѣта. Такіе глаза бываютъ только у кошекъ. Онъ смотритъ на васъ прямо, открыто, зорко, и, если можно такъ выразиться, никакой души не чувствуется въ этихъ глазахъ. Ни злой ни доброй,—такъ, совсѣмъ никакой. Такой взглядъ встрѣчается у особенно звѣрскихъ, холодныхъ и спокойныхъ убійцъ съ цѣлю грабежа. Они, обыкновенно, очень благообразны, даже симпатичны. На лицѣ у нихъ вы напрасно стали бы искать какой-нибудь „печати Каина“, какихъ-либо „звѣрскихъ“ чертъ. Только въ глазахъ нѣтъ тихаго мерцанія души. Только во взглядѣ вы читаете, что чего-то человѣческаго не хватаетъ этому существу. И вы ясно представляете себѣ, какъ онъ убивалъ. Онъ смотрѣлъ, вѣроятно, на свою жертву тѣмъ же спокойнымъ взглядомъ. Холоднымъ, пристальнымъ взглядомъ очковой змѣи. И отъ этого взгляда холодно, вѣроятно, дѣлалось на душѣ у жертвы. Ни злобы, ни ненависти, ни бѣшенства не было въ этомъ взглядѣ. Онъ смотрѣлъ съ любопытствомъ на льющуюся кровь, на предсмертныя судороги жертвы. Съ любопытствомъ кошки, раздавившей лапой таракана. И только. Чувство жалости, чувство состраданія атрофировано у этихъ людей,—читается въ ихъ взглядѣ. Они лишены отъ рожденія чувства жалости, какъ бываютъ люди, лишенные отъ рожденія чувства зрѣнія.

Бойкій, расторопный мальчишка смотритъ своими кошачьими глазами и спокойно рассказываетъ, какъ убивалъ.

— Какъ же это такъ?

— Съ куражу.

— Пьянъ былъ?

— Никакъ нѣтъ. А такъ вся жизнь тогда въ куражѣ была. Лакеемъ служилъ, половымъ. Постоянный куражъ кругомъ. Съ куражу и подумалъ: „Пойтить, убить, — денегъ добуду“.

— Ну, а теперь?

— Къ ремеслу приучаюсь.

И онъ съ любовью, — съ любовью, въ которой есть что-то сентиментальное, — показываетъ переплетъ, который только что сдѣлалъ.

Переплетъ, любовно сдѣланный тѣми же руками, которые такъ спокойно убивали людей.

— Отличный переплетъ, братецъ, у тебя вышелъ.

По его лицу расплывается широчайшая улыбка удовольствія.

Удивительно странное впечатлѣніе производить этотъ мальчикъ, изъ звѣря-убійцы превращающійся въ подмастерье, котораго тѣшить его дѣло. Словно зарѣзалъ троихъ и сѣлъ въ игрушки играть.

Приговаривается къ каторжнымъ работамъ.

Выражаясь по-сахалински, въ „пятомъ“ (1895) году на Сахалинъ было сослано 2.212 человекъ, въ „шестомъ“ — 2.725.

Замѣчательное дѣло: мы ежегодно приговариваемъ къ каторжнымъ работамъ отъ двухъ до трехъ тысячъ, рѣшительно не зная, что же такое эта самая каторга?

Что значать эти приговоры „безъ срока“, на 20, на 15, на 10 лѣтъ, на 4, на 2 года?

А потому, прежде чѣмъ ввести васъ во внутренній бытъ каторги, познакомить съ ея оригинальнымъ дѣленіемъ на касты, ея обычаями, правами, взглядами на религію, законъ, преступленіе и наказаніе,—я долженъ познакомить васъ съ тѣмъ, что такое эта самая „каторга“, какому наказанію подвергаются люди, ссылаемые на Сахалинъ.

Какъ мы уже видѣли, всѣ каторжники дѣлятся на два разряда: разрядъ испытуемыхъ и разрядъ исправляющихся.

Въ разрядъ испытуемыхъ попадаютъ люди, приговоренные не меньше, какъ на 15 лѣтъ каторги.

Безсрочные каторжники должны пребыть въ разрядѣ испытуемыхъ 8 лѣтъ, присужденные къ работамъ не свыше 20 лѣтъ—5 лѣтъ и присужденные къ работамъ отъ 15 до 20 лѣтъ—четыре года. Остальные, обыкновенно, сейчасъ же зачисляются въ разрядъ „исправляющихся“.

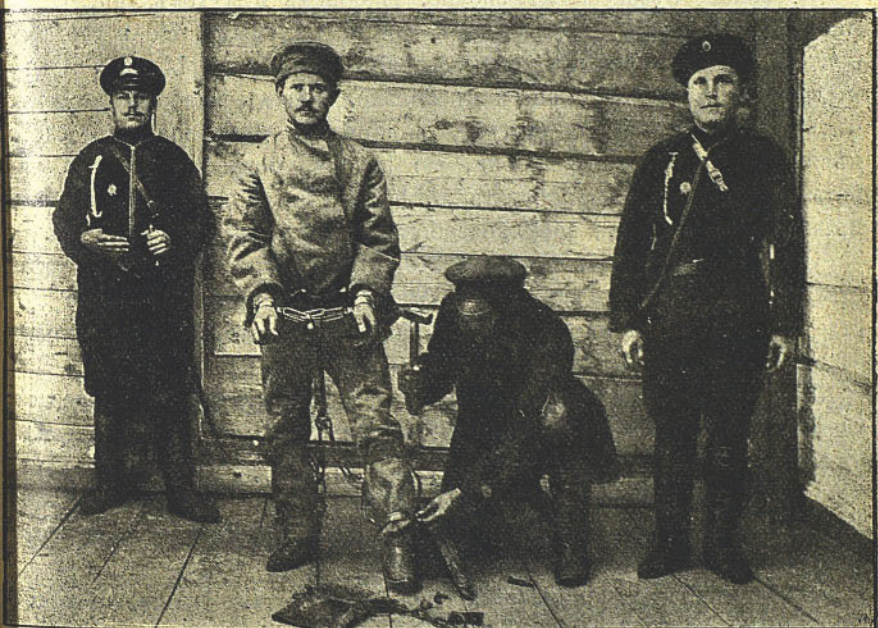
Только тюрьма для испытуемыхъ и представляетъ собою „тюрьму“ такъ, какъ ее обыкновенно понимаютъ.

„Испытуемая“, или, какъ ее обыкновенно зовутъ въ просторѣчѣхъ, „кандальная“ тюрьма построена обыкновенно совершенно отдѣльно, огорожена высокими „палями“, — заборомъ. Вдоль стѣнъ ходятъ часовые, что не мѣшаетъ „испытуемымъ“ бѣгать и изъ этихъ стѣнъ, на виду у этихъ часовыхъ. Какой стѣной удержишь, какимъ часовымъ испугаешь человека, которому, кромѣ жизни, нечего ужъ больше терять? И которому смерть кажется „сластью“ въ сравненіи съ этой ужасной жизнью въ „кандалной“?

Доступъ постороннимъ лицамъ въ тюрьму для испытуемыхъ закрытъ. Ихъ держать, какъ зачумленныхъ, совершенно и изолированно отъ остальной каторги, даже больницы для „испытуемыхъ“—совер-

шенно отдѣльные. Но это, конечно, ничуть не мѣшает „исправляющимся“ арестантамъ все-таки проникать въ „кандальную“, проносить туда водку, играть въ карты. Изобрѣтательности, находчивости каторги нѣтъ предѣловъ. Да къ тому же на Сахалинѣ все покупается, и покупается очень дешево.

Отъ весны до осени, съ начала и до окончанія „сезона бѣговъ“,—испытуемымъ арестантамъ бреютъ половину головы и заковываютъ въ ножные кандалы. И тогда сахалинскій воздухъ, и безъ того проклятый, наполняется еще и лязгомъ кандаловъ. Еще издали,



Заковываніе въ кандалы.

подъѣзжая къ тюрьмѣ, вы слышите, какъ гремитъ цѣпями „кандальная“. Отъ весны до осени, наполовину бритые арестанты, теряютъ человѣческій обликъ и приобрѣтаютъ „обликъ звѣриный“, омерзительный и отвратительный. Что, конечно, глубоко мучить ихъ изъ испытуемыхъ, которые ни о какихъ „побѣдахъ“ не думаютъ и рѣшили было терпѣливо нести свою тяжкую долю. Это заставляетъ ихъ рѣшаться на такіе поступки, которые при другихъ условіяхъ, бытъ-можетъ, и не пришли бы имъ въ голову.

Время работъ какъ „испытуемыхъ“, такъ и „исправляющихся“ долагается по расписанію, глядя по времени года, отъ 7 до 11 ч.

въ сутки. Но это расписание никогда не соблюдается. Если есть пароходы, въ особенности Добровольнаго флота, которые терпятъ не могутъ никакихъ задержекъ, каторжные работаютъ, „сколько влѣзетъ“ и даже сколько не влѣзетъ. Тогда каторжане превращаются совсѣмъ въ крѣпостныхъ гг. капитановъ. И я самъ былъ свидѣтелемъ, какъ работы, начинавшіяся въ 5 часовъ утра, оканчивались въ 11 часовъ вечера: разгружался пароходъ Добровольнаго флота.

Кромѣ трехъ дней для говѣнья и воскресеній, праздничныхъ дней для „испытуемыхъ“ каторжниковъ полагается въ годъ 14.

Крещеніе, Вознесеніе Господне, Троицынъ и Духовъ дни, Благовѣщеніе, — все это не праздники для испытуемыхъ. Но и это требованіе закона не всегда соблюдается. И изъ этихъ 14 дней отдыха у „испытуемыхъ“ отнимается нѣсколько. Я самъ былъ свидѣтелемъ, какъ каторжныхъ гнали разгружать пароходъ Добровольнаго флота въ праздникъ, въ который они, по закону, освобождены отъ работы. Заставляли ихъ работать тогда въ такой день, когда даже крѣпостные въ былое время освобождались отъ работъ.

Отсюда возникаютъ тѣ бунты, которые вызываютъ „соотвѣствующія мѣры“ для усмиренія. Мѣры, при которыхъ часто достается людямъ ни въ чемъ неповиннымъ и которыя еще больше озлобляютъ и безъ того достаточно мучающуюся каторгу.

Такъ было и тогда. „Кандалные“ арестанты Корсаковской тюрьмы рѣшительно отказались итти разгружать пароходъ въ праздникъ.

— Че законъ!

Имъ напрасно обѣщали, что вмѣсто этого дня имъ дадутъ отдохнуть въ будни.

— Знаемъ мы эти обѣщанія! Сколько дней такъ пропало! — отвѣчали кандалные каторжной тюрьмы и рѣшительно не вышли на работу.

— Вотъ-съ она, вотъ-съ, до чего доводитъ эта „гуманность“! — со скорбью и злобой говорилъ мнѣ по этому поводу смотритель. — Какъ же! У насъ теперь „гуманность“. Начальство не любитъ, чтобъ драли! Что жъ, я васъ спрашиваю, я стану съ ними, мерзавцами, дѣлать?!

А каторжанинъ, къ которому я обратился съ вопросомъ:

— Почему вы не хотите выходить на работу? Вѣдь хуже будетъ!

Отвѣчалъ мнѣ, махнувъ рукой:

— Хуже того, что есть, не будетъ. Помилуйте, вѣдь намъ да того и праздничный день данъ, чтобъ мы могли хоть на себя по-

работать, хоть зашить, пришить что. Въдь мы наги и босы ходимъ. Оборвались всѣ. День денской безъ передышки, да еще и въ законный праздникъ, да еще въ кандалахъ, иди на нихъ работать. Въдь ужъ тутъ хуже быть!

Измѣнить на Сахалинѣ установленный самимъ закономъ порядокъ ровно ничего не стоитъ любому капитану, находящемуся въ хорошихъ отношеніяхъ со смотрителемъ.

— Надо поѣхать къ смотрителю!—говорить агентъ какой-нибудь торговой фирмы. — Сказать, чтобъ людей послалъ. А то пароходъ нашъ зафрахтованный пришелъ. Что жъ ему такъ-то стоять!

— Да въдь сегодня, по закону, такой праздникъ, когда каторжные освобождены отъ работы!

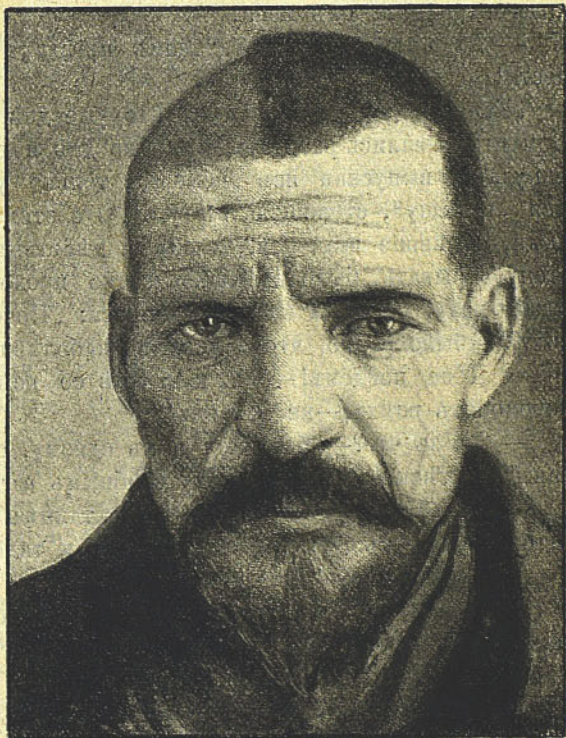
— Ничего не значить.

— Да въдь по закону!

— Пустяки.)

Если вы къ этому прибавите дурную, во все не питательную пищу, одежду и обувь, рѣшительно не грѣющія при мало-мальскомъ холодѣ, — вы, быть-можетъ, поймете и причины того, что терпѣніе этихъ „испытуемыхъ“ людей подчасъ ломается, и причины ихъ безумныхъ побѣговъ и причину того озлобленія, которымъ дышитъ каторга.

Я, по возможности, избѣгалъ посѣщать кандалныя тюрьмы вмѣстѣ съ гг. смотрителями. Мнѣ хотѣлось провалиться на мѣстѣ тѣхъ вещей, которыя имъ въ лицо говорили каторжане. Говорили съ такой дерзостью, какая никогда не приснится намъ. Съ



Арестантскіе тѣты. Приговоренный за убійство и побѣги къ безсрочной каторгѣ.

дерзостью людей, которымъ больше ужъ нечего бояться. Говорили, рискуя многимъ, чтобъ только излить свое озлобленное чувство, — говорили потому, что ужъ, вѣроятно, языкъ не могъ молчать.

Въ „кандалной“ Рыковской тюрьмѣ, когда я пріѣхалъ туда, царило такое озлобленіе, что смотритель не сразу рѣшился меня вести.

— Да это такіе мерзавцы, которыхъ и смотрѣть не стоитъ! — „разговаривалъ“ онъ меня.

— Да вѣдь я и на Сахалинъ пріѣхалъ смотрѣть не рыцарѣй чести!

„Кандалное“ отдѣленіе сидѣло уже двѣ недѣли „на парашѣ“. Они отказывались работать, ихъ уже двѣ недѣли держали взаперти, никуда не выпуская изъ „номера“, только утромъ и вечеромъ мѣняя „парашу“, стоявшую въ углу. Въ этомъ зловонномъ воздухѣ люди, сидѣвшіе взаперти, казались, дѣйствительно, звѣрями. И, не стану скрывать, было довольно жутко проходить между ними. Каждый разъ, когда я касался вопроса: „Почему не идете на работу?“ — было видно, что я касаюсь наболѣвшаго мѣста.

— И не пойдемъ! — кричали мнѣ со всѣхъ сторонъ. — Пускай переморятъ всѣхъ, — не пойдемъ!

— Ты за что? — обратился я къ одному, стоявшему „какъ истуканъ“ у стѣнки и смотрѣвшему злобнымъ взглядомъ.

— А тебѣ на что? — отвѣтилъ онъ такимъ тономъ, что одинъ изъ каторжниковъ тронулъ меня за рукавъ и тихонько сказалъ:

— Баринъ, поостойдите отъ него!

Принимая меня за начальство, они нарочно говорили такимъ тономъ, стараясь вызвать меня на рѣзкость, на дерзость, думая сорвать на мнѣ накопившееся озлобленіе.

„Испытуемые“ посылаюся на работы не иначе, какъ подъ конвоемъ солдатъ. И вы часто увидите такую, на примѣръ, сцену. „Испытуемые“ разогнали пустую вагонетку, на которой они перевозятъ мѣшки съ мукою, и повскакали на нее. Вагонетка летитъ по рельсамъ. А за нею, одной рукой поддерживая шинель, въ которой онъ путается, и съ ружьемъ въ другой, задыхаясь, весь въ поту, бѣжитъ солдатъ. А на вагонетку каторжане его не пускаютъ:

— Нѣтъ! Ты пробѣгайся!

— Братцы, ну, зачѣмъ вы такое свинство дѣлаете? — спрашиваю какъ-то у каторжанъ. — Вѣдь онъ такой же человѣкъ, какъ и вы!

— Эхъ, баринъ! Да вѣдь надо же хоть на комъ-нибудь злость сорвать! — отвѣчаютъ каторжане.

Зато не на рѣзкость и такая, на примѣръ, сцена.

Одинъ изъ „испытываемыхъ“, съ больной ногой, поотсталъ отъ партіи поправить кандалы. Конвойный его въ бокъ прикладомъ.

— Ну, за что ты его?—говорю.—Видишь, человекъ больной.

Конвойный оглянулся:

— А ты не лѣзь, куда не спрашиваютъ!

И во взглядъ его свѣтилось столько накипѣвшей злобы.

Вотъ еще люди, которые отбываютъ на Сахалинъ дѣйствительно каторжную работу!

Въ посту Александровскомъ, въ клубъ для служащихъ, служить дажеемъ Николай, бывшій конвойный, убившій каторжника и теперь самъ осужденный на каторгу.

— Какъ живется?—спрашиваю.

— Да что жъ, — отвѣчаетъ, — допрежде, дѣйствительно, конвойнымъ былъ, а теперь, слава Богу, въ каторгу попалъ.

— Какъ—слава Богу?

— А то что жъ! Работы-то тѣ же самыя, что и у нихъ: такъ же бревна, дрова таскаемъ. Да еще за ними, за чертями, смотри. Всякій тебѣ норовитъ подлость сдѣлать, издѣвку какую учинить, „засыпать“. Того и гляди, — влетишь за нихъ. Гляди въ оба, чтобы не убѣгъ. Да поглядывай, чтобы самого не убили. А тронешь кого, — самъ подъ судъ. Нѣтъ, въ каторгѣ-то оно поспособнѣй. Тутъ смотрѣть не за кѣмъ. За мной пусть смотрятъ!

Пройдитесь пѣшкомъ съ партіей кандалныхъ, идущихъ подъ конвоемъ. О чемъ разговоръ? Непремѣнно про конвойныхъ. Анекдоты рассказываютъ про солдатскую глупость, тупость, хохочутъ надъ наружностью конвойныхъ, а то и просто ругаются.

А каторга, надо ей должное отдать, умѣетъ человѣку кличку дать. Такую, что его и въ жаръ и въ холодъ бросить. И шагаютъ конвойные съ озлобленными, перекошенными отъ злости, лицами, еле сдерживаясь.

— А ты слушай!—злорадствуетъ каторга.

Замолкнетъ на минутку партія, — и сейчасъ же какой-нибудь снова начнетъ:

— Какіе, братцы вы мои, самые эти солдаты дурни, — и уму непостижимо!

И „пойдетъ сначала“.

Немудрено, что эти несчастные, въ концѣ-концовъ, озлобляются невѣроятно. Даже служащіе жалуются на нихъ:

— Хуже каторжныхъ.

Иду какъ-то слишкомъ близко отъ какого-то амбара.

— А ты, чортъ, зачѣмъ здѣсь ходишь!—кричитъ часовой. — Не смѣй здѣсь ходить, дьяволь!

— Да ты чего же сердишься-то? Ты бы безъ сердца сказалъ.

— Разсердишься тутъ! — какъ будто немножко смягчившись, сказалъ часовой, но сейчасъ же опять „вошелъ въ сердце“. — Да ты не смѣй со мной разговаривать! Ежели будешь со мной разговаривать, я тебя приклаюмъ!

Люди, дѣйствительно, озлоблены до невѣроятія. Это взаимное озлобленіе особенно сказывается при бѣгствѣ каторжныхъ и при ловлѣ ихъ солдатами.

— Жалко, что не убилъ конвойнаго! — съ сожалѣніемъ говорилъ бѣглый, добродушный, въ сущности, парень, бѣжавшій для того, чтобы переплыть на лодкѣ... въ Америку.

— Да зачѣмъ же это тебѣ?

— А съ нами они что дѣлають, когда ловять?!

Такова атмосфера, которою дышитъ „испытываемая“ тюрьма.

Озлобленные „испытываемые“ вселяють къ себѣ страхъ, который гг. смотрители стараются обыкновенно прикрыть презрѣніемъ:

— Я съ такими мерзавцами и разговаривать-то не хочу. Если негодяй, — такъ я его и видѣть не желаю!

Можете себѣ представить, что творится въ „испытываемыхъ“ тюрьмахъ, предоставленныхъ цѣликомъ на усмотрѣніе надзирателей, часто тоже изъ бывшихъ каторжныхъ. Что дѣлается въ этихъ тюрьмахъ, наполненныхъ тягчайшими преступниками и мѣсяцами не видящихъ никакого начальства. Что тамъ дѣлается съ каторжными и каторжными же надъ каторжными.

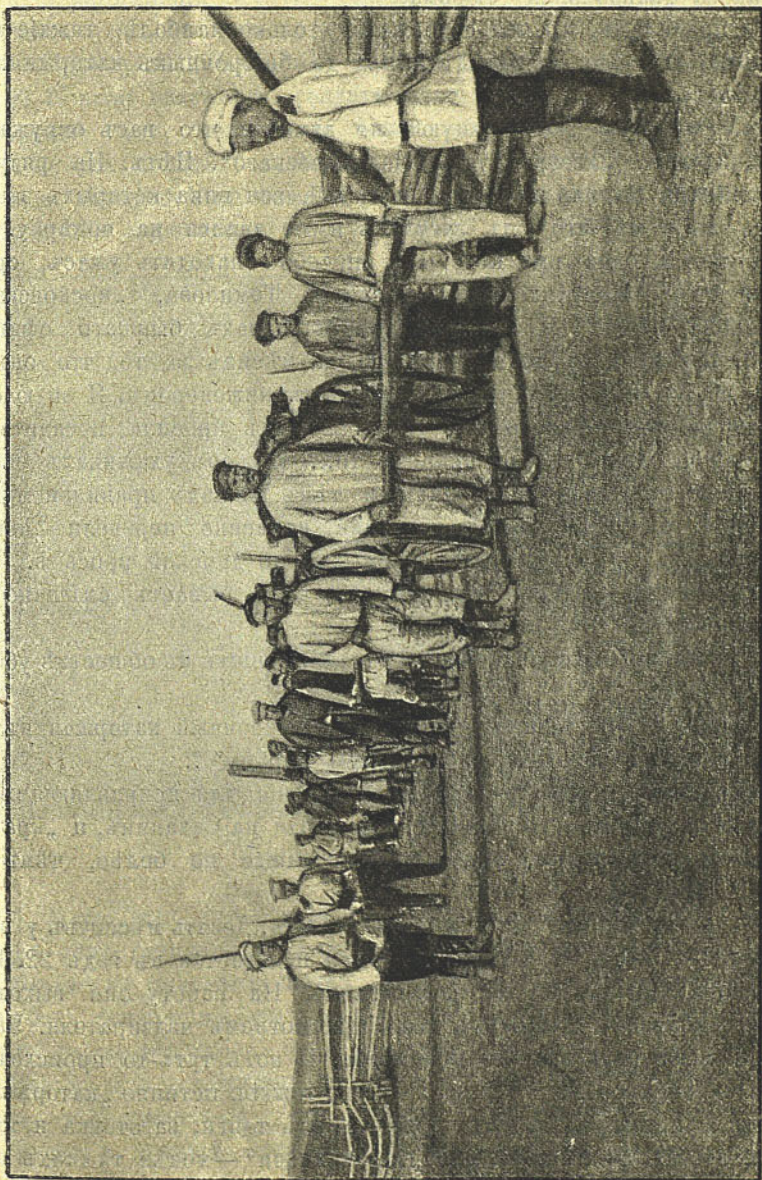
— Да и зайти опасно! — объясняютъ гг. служащіе. — Въдь это все дышитъ злобой!

И это правда... Хотя ходять же туда доктора Лобасъ, Поддубскій-Чердынцевъ. И я думаю, что самымъ безопаснымъ на Сахалинѣ мѣстомъ для семействъ всѣхъ этихъ лицъ была бы кандалная тюрьма, а именно то ея отдѣленіе, гдѣ содержатся безсрочные. Здѣсь они могли бы чувствовать себя застрахованными отъ малѣйшей обиды. Почему это, — въ другомъ мѣстѣ.

Благодаря массѣ различныхъ причинъ, атмосфера „испытываемой“ тюрьмы — недовольство, ея религія — протестъ. Протестъ всѣми мѣрами и всѣми силами.

Подчасъ этотъ протестъ носить забавную, но на Сахалинѣ небезопасную для протестующаго форму. „Испытываемые“, напримѣръ, не снимають шапокъ. Вду какъ-то мимо партіи кандалныхъ. Смотрять вызывающе, — только одинъ нашелся, снялъ шапку.

Я отвѣтилъ ему тѣмъ же, снялъ шапку и поклонился. Моментально вся партія сняла шапки и заорала:



Партія арестантовъ на работѣ.

— Здравствуйте, ваше высокоблагородіе!

И изводили же они меня потомъ этимъ сниманіемъ шапокъ!

Такова „кандальная“ тюрьма.

По правиламъ, въ ней содержатся только наиболѣе тяжкіе преступники, отъ „пятнадцатилѣтнихъ“ до безсрочныхъ каторжниковъ включительно.

Но, входя въ „кандальную“, не думайте, что васъ окружаютъ исключительно „изверги рода человѣческаго“. Нѣтъ. На ряду съ отцеубійцами вы найдете здѣсь и людей, вся вина которыхъ заключается въ томъ, что онъ загулялъ и не явился на повѣрку. Въ толпѣ людей, одно имя которыхъ способно наводить ужасъ, среди „луганскаго“ Полуляхова, „одесскаго“ Томилова, „московского“ Викторова можно было видѣть въ кандалахъ бывшаго офицера К—ра, посаженнаго въ кандальную на мѣсяць за то, что онъ не снялъ шапки при встрѣчѣ съ г. горнымъ инженеромъ. Я знаю случай, когда жена одного изъ гг. служащихъ просила посадить въ кандальную одного каторжника за то... что онъ ухаживалъ за ея горничной, вызывалъ на свиданія и тѣмъ мѣшалъ правильному управленію обязанностей. И посадили, временно перевели „исправляющагося“ въ разрядъ „испытуемыхъ“ по дамской просьбѣ.

Какъ видите, здѣсь смѣшано все, какъ бываетъ смѣшано въ выгребной ямѣ.

И человѣкъ, только не снявшій шапки, гніетъ въ обществѣ убійцы по профессіи.

Окончивъ „срокъ испытваемости“, долгосрочный каторжанинъ изъ „кандалной“ переходитъ въ „вольную тюрьму“...

Такъ въ просторѣчѣхъ зовется „отдѣленіе для исправляющихся“.

Сюда же попадаютъ прямо, по прибытіи на Сахалинъ, и „краткосрочные“ каторжники, т.-е. приговоренные не болѣе, чѣмъ на 15 лѣтъ каторги.

„Исправляющимся“ дается болѣе льготъ. Десять мѣсяцевъ у нихъ считается за годъ. Праздничныхъ дней полагается въ годъ 22. Имъ не бреютъ головъ, ихъ не заковываютъ. На работу они выходятъ не подъ конвоемъ солдатъ, а подъ присмотромъ надзирателя. Часто даже и вовсе безъ всякаго присмотра. И вотъ тутъ-то происходитъ чрезвычайно курьезное явленіе. Самыя тяжкія, истинно „каторжныя“ работы, напримѣръ, вытаска бревенъ изъ тайги, заготовка и таска дровъ, достаются на долю „исправляющихся“—менѣе тяжкихъ преступниковъ, въ то время какъ тягчайшіе преступники изъ отдѣленія испытываемыхъ исполняютъ наиболѣе легкія работы. Человѣкъ, приговоренный на 4, на 5 лѣтъ за какое-нибудь нечаянное убійство

во время драки, съ утра до ночи мучится въ непроходимой тайгѣ, въ то время какъ человѣкъ, съ заранѣе обдуманнѣмъ намѣреніемъ перерѣзавшій цѣлую семью, катаетъ себѣ вагонетки по рельсамъ.

— Помилуйте! Развѣ мы можемъ посылать „испытуемыхъ“ въ тайгу? Конвоя нехватить, солдатъ мало.

Судите сами, можетъ ли такой „порядокъ“ внушить каторгѣ какое-нибудь понятіе о „справедливости“ наказанія,—единственное воззнаніе, которое еще можетъ какъ-нибудь помирить преступника съ тяжестью переносимаго, наказанія.



Везутъ бѣлаго.

— Какая ужъ тутъ правда!—говорятъ „исправляющіеся“.—Что кандалникъ головорѣзъ, такъ онъ поэтому и живи себѣ бариномъ: вагончики по рельсамъ катай. А что я смирный да покорный и меня безъ конвоя послать можно, такъ я и мучься въ тайгѣ. Нешто мое-то супротивъ его-то преступленье?

Тюрьма для исправляющихся, это—менѣе всего тюрьма. Прежде всего, это—ночлежный домъ, грязный, отвратительный, ужасный.

Когда я вошелъ первый разъ подъ вечеръ въ „номеръ“, гдѣ содержатся бревнотаски, дровотаски и вообще занимающіеся болѣе тяжкими работами, у меня закружилась голова и начало „мутить“. Такой тамъ „духъ“!

Арестанты только что вернулись изъ тайги, гдѣ они работали по колѣно въ таломъ снѣгу. Онучи, „коты“, бушлаты,—все было на нихъ мокрое. И они лежали въ поту, во всемъ мокромъ, на нарахъ. Я велѣлъ одному раздѣться и долженъ былъ отступить: такой запахъ шелъ отъ этого человѣка.

— Да вѣдь ты прѣнешь весь?

— Что же дѣлать-то! Прѣю. На ноги вонь и то ужъ больно вступить.

— Чего жъ ты не раздѣнешься? Не развѣсишь платье посушить?

— Развѣсь! Развѣсилъ вонъ Кузька халатъ да онучи, задремалъ,—и свистнули.

— Это у насъ недолго!—подтверждали, улыбаясь, каторжане.

Можете себѣ представить, что дѣлается съ этими людьми, по недѣлямъ не раздѣвающимися. Если бы кто нибудь и пожелалъ вести себя почище, благодаря общимъ нарамъ, это — невозможно. У нихъ и паразиты общіе. Помню, разговариваю въ Онорской тюрьмѣ съ однимъ бѣлокрысымъ арестантомъ, а каторжане меня предупреждаютъ:

— Баринъ, велите-ка ему отъ васъ поотодвинуться: съ него падаютъ.

И съ такимъ-то субъектомъ лежать рядомъ на нарахъ! Заботятся тутъ о чистотѣ!

Этимъ объясняется и „непонятная“, какъ говорятъ гг. смотрители тюремъ, страсть каторжанъ спать подъ нарами.

— Не ложится ему на нарахъ, подъ нары, въ слякоть лѣзеть!

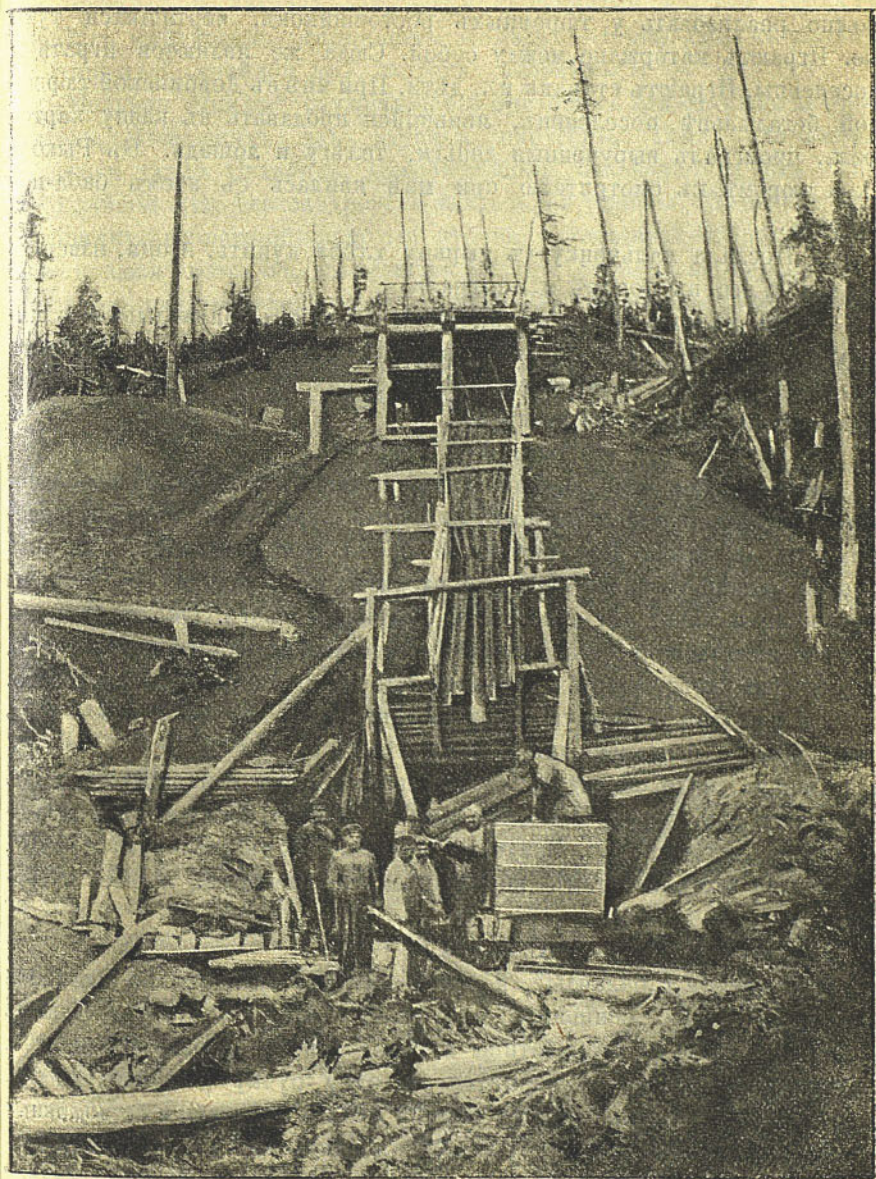
Лучше ужъ лежать въ „слякоти“, чѣмъ рядомъ съ такимъ субъектомъ!

Мнѣ говорили многіе изъ каторжанъ, что они сначала даже ѣсть не могли.

— Тошнило. Вездѣ ползаютъ... Да и теперь припрячешь хлѣба кусокъ: „прийду, молъ, съ работы,—пожую“. Возмешь, а по немъ ползутъ... Тфу!

Каждый разъ, когда мнѣ случалось провести нѣсколько часовъ въ тюрьмѣ, мое платье и бѣлье было полно паразитовъ. Чтобы дать вамъ понятіе объ этой ужасающей грязи, я скажу только, что долженъ былъ выбросить все платье, въ которомъ я ходилъ по тюрьмамъ, и остригся подъ гребенку. Другихъ средствъ „борьбы“ не было! И въ такой обстановкѣ живутъ люди, которымъ нужны силы для работы.

Второе назначеніе „вольной тюрьмы“—быть игорнымъ домомъ. Игра идетъ съ утра до ночи и съ ночи до утра. Въ каждую данную



Сахалинскіе рудники.

минуту заложать банкъ въ нѣсколько десятковъ рублей. Игра идетъ на деньги и на вещи, на пайки хлѣба за нѣсколько мѣсяцевъ впередъ, на предстоящую дачку казеннаго платя. Все это сейчасъ же

можно реализовать у тюремных ростовщиков, вертящихся тут же. Играют каторжане между собой. Сюда же являются играть и поселенцы. Играют старики и... дѣти. При мнѣ въ Дербинской тюремной богадѣльнѣ поселенецъ, явившійся продавать въ казну картофель, проигралъ вырученные деньги, телѣгу и лошадь. Въ Рыковской тюрьмѣ къ смотрителю при мнѣ явилась съ воемъ баба-поселенка.

— Послала мальчонку въ тюрьму хлѣба купить. А они, изверги, заманули его въ номеръ и обыграли.

— Не вѣрьте ей, ваше высокоблагородіе, — оправдывалась каторга, — она сама посылаетъ мальчонку играть. Каждый день онъ къ намъ ходитъ. Выиграетъ, — небось, ничего, а проигралъ — „заманули“. Заманешь его, какъ же!

На повѣрку это все оказалось правдой...

„Исправляющіеся“ выходятъ изъ тюрьмы въ теченіе дня свободно. Они обязаны только исполнить заданный „урокъ“ и явиться вечеромъ къ повѣркѣ. Все остальное время они шатаются, гдѣ имъ угодно. Точно такъ же свободно входятъ и выходятъ изъ тюрьмы постороннія лица; это облегчаетъ сбытъ краденаго. Около „тюрьмы исправляющихся“ всегда толпится нѣсколько десятковъ поселенцевъ, по большей части татаръ. Это — все ростовщики, покупатели краденаго.

Третья роль, которую играетъ „вольная тюрьма“, это — быть притономъ и бездомныхъ и даже бѣглыхъ.

Тюрьма, надо ей отдать справедливость, съ большой жалостью относится къ участи „поселенцевъ“. Вѣдь „поселенецъ“, это — будущее „каторжника“. Зайдя во время обѣда въ „вольную тюрьму“, вы всегда застанете тамъ кормящихся поселенцевъ. Хлѣба каторжане имъ не даютъ.

— Потому самимъ нехватаетъ.

А похлебки, „баланды“, которую каторга продаетъ по 5 копеекъ ведро на кормъ свиньямъ, отпускаютъ сколько угодно. Такимъ образомъ, въ годы безработицы и голодовки, въ „вольной тюрьмѣ“, говоря по-сахалински, „кормится въ одну ручку“ подчасъ до 200 поселенцевъ. Въ вольную же тюрьму ходятъ ночевать и бездомные поселенцы, пришедшіе „съ голоду“ въ постъ изъ дальнѣйшихъ поселеній и не имѣющіе гдѣ приклонить голову.

Они приходятъ передъ вечеромъ, забираются подъ нары и тамъ спать до утра.

Право, есть что-то глубоко-трогательное въ этомъ милосердіи, которое оказываютъ нищіе нищимъ. И сколько разъ воспоминаніе объ этомъ поддерживало меня въ тѣ трудныя минуты, когда мой

умъ мутился, и каторга, благодаря творящимся въ ней ужасамъ, казалась мнѣ только „скопищемъ злодѣевъ“. Нѣтъ, даже въ тюрьмѣ, въ этой злой, гнойной ямѣ, живетъ „человѣкъ“!

„Вольная тюрьма“ служитъ часто приютомъ для бѣглыхъ каторжниковъ, бѣжавшихъ изъ другихъ округовъ. Такъ, напримѣръ, страхъ и ужасъ Сахалина, Широколововъ, отковавшійся отъ тачки и бѣжавшій изъ Александровскій кандалной тюрьмы, Широколововъ, за поимку котораго обѣщано 100 рублей, неуловимый Широколововъ, для поимки котораго посылаютъ цѣлые отряды и переодѣтыхъ сыщиковъ-надзирателей,—этотъ самый Широколововъ тихо и мирно скрывался цѣлую зиму въ Рыковской тюрьмѣ.

— И получалъ казенный паекъ! Какова бестія! — восклицали начальники округа и смотритель тюрьмы.

— Да какъ же это могло случиться?

— А очень просто. Въ лицо мы его не знаемъ. Почему знать: кто онъ такой? А каторга ужъ, разумѣется, не выдастъ. Такъ и прожилъ всю зиму. А потеплѣло, ушелъ—и „дѣла творить“. Что съ нимъ подѣлаешь?

Вообще, вольности „вольныхъ тюремъ“ неисчислимы. Надо было мнѣ отыскать арестанта П., извѣстнаго преступника. Справляюсь у смотрителя.

— На мельницѣ работаетъ.

Иду на мельницу.

— Нѣтъ.

Въ другой разъ „нѣту“. Въ третій „нѣту“. Ходилъ въ шесть часовъ утра,—все „нѣту“. За это время каторга успѣла ужъ со мной познакомиться, я уже сталъ пользоваться ея довѣріемъ. Мнѣ и говорить на мельницѣ:

— Да онъ здѣсь, баринъ, никогда и не бываетъ. Онъ за себя другого поставилъ. За полтора цѣлковыхъ въ мѣсяцъ нанялъ. А самъ въ тюрьмѣ постоянно. У него тамъ дѣло: онъ и майданщикъ (содержатель буфета и тюремнаго стола), онъ и барахольщикъ (старьевщикъ), онъ и отецъ (ростовщикъ).

Посмотрѣлъ изъ любопытства на „сухарника“ (человѣкъ, который нанимается за другого нести каторгу). Жалкій мужичонка, приговоренный на 4 года за убійство въ дракѣ, въ пьяномъ видѣ, въ арестольный праздникъ. До часа дня онъ работаетъ на мельницѣ за другого, а съ часа до вечера исполняетъ свой урокъ. Въ чемъ только душа держится, а несетъ двѣ каторги.

И такіе случаи на Сахалинѣ не только не рѣдки,—они ординарны, заурядны, обыкновенны. Человѣкъ, въ пьяномъ видѣ попавшій

въ бѣду, отбываетъ двойную каторгу, а преступникъ по профессіи, одинъ изъ „знаменитѣйшихъ“ убійцъ, гуляетъ, обираетъ каторгу, наживается на этихъ несчастныхъ.

Полтора рубля на Сахалинѣ, это—побольше, чѣмъ у насъ пятнадцать.

Таковы нравы тюрьмы для исправляющихся.

За хорошее поведеніе арестанта, по истеченіи нѣкотораго времени, могутъ освободить совсѣмъ отъ тюрьмы. Онъ переходитъ тогда въ „вольную каторжную команду“, живетъ не въ тюрьмѣ, а на частной квартирѣ, и исполняетъ только заданный на день „урокъ“.

И если бы вы знали, какъ все, что есть мал-мальски порядочнаго въ тюрьмѣ, стремится къ этому! Какъ они мечтаютъ вырваться изъ этой физической и нравственной грязи тюрьмы и поселиться на вольной, на „своей“ квартиркѣ. Но, къ сожалѣнію, это не всѣмъ удастся, не всѣмъ желающимъ дается. Самъ смотритель не можетъ знать каждаго изъ сотенъ своихъ арестантовъ. Аттестация о „хорошемъ поведеніи“ зависитъ отъ надзирателей, часто самихъ бывшихъ каторжниковъ. „Представленіе“ о переводѣ въ вольную команду составляется писарями, назначаемыми исключительно изъ каторжныхъ. Они все держатъ въ своихъ рукахъ. И часто, изъ-за неимѣнія двухъ-трехъ рублей, бѣднягъ-каторжанину приходится отказаться отъ мечты о „своемъ“ углѣ, отъ всякой надежды на облегченіе участи...

Вырвавшіеся всѣми правдами и неправдами въ „вольную команду“ или снимаютъ гдѣ-нибудь койку за полтинникъ въ мѣсяцъ, или живутъ по-двое въ хибаркахъ. Въ каждомъ посту есть такая „каторжная слободка“.

Заходишь,—бѣдность страшная, имущества никакого. А у людей все-таки въ глазахъ свѣтитъ довольство.

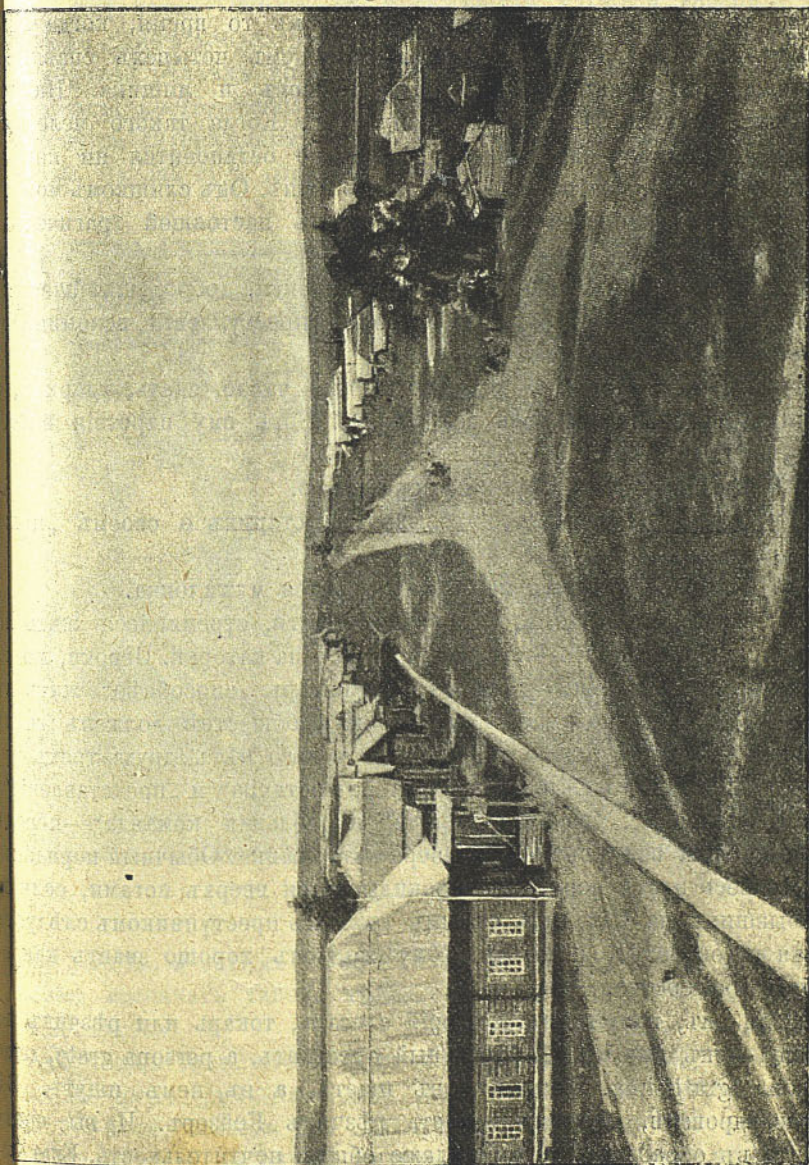
— Слава Те, Господи, вырвались изъ „ея“, проклятой.

Сами себѣ господа! Хибарка—повернуться негдѣ. И Боже, что за людей сводитъ судьба вмѣстѣ! Зайдемъ въ одну мазанку. На пространствѣ въ пять шаговъ длины и ширины живутъ двое.

Одинъ—поликъ. Ему 40 лѣтъ отроду, а на видъ—60. Онъ похожъ на огромный, сгорбившійся скелетъ. Лицо желтое, обтянутое. Глаза горятъ мрачнымъ огнемъ. Онъ вѣчно угрюмъ, необщителенъ, ни съ кѣмъ не говоритъ. Присужденъ на 20 лѣтъ за то, что нанялъ убійцъ убить жену. Онъ замученъ былъ ревностью, но боялся убить самъ. Много, вѣроятно, бурь пережилъ этотъ преждевременно посѣдѣвшій, сгорбившійся, высохшій человѣкъ.

Его „половинникъ“—паренекъ Воронежской губерніи. Попалъ за насиліе надъ дѣвушкой.

— Пьянъ былъ, ваше высокородіе. Гурьбой шли. А она навстрѣчу. Можетъ, я, а, можетъ, и не я. Ничего не помню!



Улица въ селеніи Рыковскомъ.

И живутъ эти два полюса вмѣстѣ.
Вотъ другая пара.

„Сурьезный“, старый мужикъ, сибирякъ. Атлетъ по сложенію. Лицо всегда строгое. Глаза свѣтятся холоднымъ, спокойнымъ блескомъ. Въ нихъ чувствуется заледяная душа. Такъ же холодно и спокойно, вѣроятно, смотрѣли эти глаза и въ то время, когда онъ, хозяинъ постоялаго двора, убивалъ топоромъ четырехъ спавшихъ постояльцевъ: трехъ захмелѣвшихъ купцовъ и ямщика. Нагуп, сильная, могучая. Его „бѣсъ попуталь“. Когда такого человека „бѣсъ попутаетъ“, онъ пойдетъ на все, не остановится ни передъ чѣмъ. Жалость, состраданіе чужды его душѣ. Онъ слишкомъ мстучъ для такихъ „слабостей“. Отъ него вѣетъ настоящей трагической фигурой.

Вмѣстѣ съ нимъ живетъ рыжій мужичонка, добродушнѣйшее въ мірѣ существо, который даже о своемъ преступленіи вспоминаетъ такъ, что нельзя не улыбнуться.

— На сходѣ было... Мужика не въ число, знать, ударили, мужикъ-отъ осерчалъ, да и померъ, дай Богъ ему царствія небеснаго, вѣчный покой!

— И ничего? Уживаетесь?—спрашиваю.

— Парень не озорникъ!—отзывается старикъ о своемъ „полувинщикѣ“.

— Живемъ! Чаво жъ намъ?!—улыбается мужичонка.

Повторяю, въ общемъ, по большей части, стремящіеся жить вольной квартирѣ, это—лучшее, что есть на каторгѣ. Игроки, моты, пьяницы, ростовщики,—тѣмъ не въ примѣръ „способнѣе“ жить въ тюрьмѣ. И когда подумаешь, что въ ихъ обществѣ долженъ быть хорошій человекъ только потому, что у него нѣтъ двухъ-трехъ рублей для надзирателей и писарей за „аттестацию“ и „представленіе“, „Кандалная“, „вольная тюрьма“ и „вольная команда“—переходящими ними прошла вся тюремная карьера каторжника. Обычный порядокъ

Но весь этотъ порядокъ опрокидывается вверхъ ногами, если прибывшимъ на Сахалинъ самымъ тяжкимъ преступникомъ слѣдуетъ семья и, особенно, если, къ тому же, онъ хорошо знаетъ какое-нибудь мастерство.

Если онъ, напримѣръ, хорошій слесарь, токарь или рѣзчикъ въ дереву,—онъ уже не обыкновенный арестантъ, а *persona grata*, да и *persona gratissima*. Уже не онъ ищетъ, а въ немъ ищутъ. Въ Александровскѣ, напримѣръ, есть рѣзчикъ Кейзеръ. И вы сразу видите въ обращеніи съ нимъ даже общую почтительность. Еще бы! Это—единственный рѣзчикъ во всемъ посту; нужно кому-нибудь изъ служащихъ хорошенькую вещицу—бѣгутъ къ нему. Онъ тонко и искусно выполняетъ тѣ вещи, которыя посылаютъ въ Хабаровскъ

чтобы показать, какъ процвѣтають и на какой высокой ступени развитія стоятъ сахалинскія мастерскія.

— Ему лафа!—помню, съ иронической улыбкой говорилъ мнѣ про него одинъ кандалникъ.—А только я вамъ скажу, онъ не то что хорошій рѣзчикъ по дереву, а недурно рѣжетъ и по горлу. Не хуже насъ, многогрѣшныхъ. А живетъ бариномъ.

Если за каторжникомъ приходитъ семья, онъ выпускается изъ тюрьмы, на два года совсѣмъ освобождается отъ какихъ бы то ни



Тачечники.

было работъ, а затѣмъ работаетъ поурочно, при чемъ ему урокъ должны назначать такой, чтобы это не мѣшало правильному веденію хозяйства.

Случается такъ, что за одно и то же преступленіе, на одинъ и тотъ же срокъ, приходятъ двое преступниковъ. За однимъ слѣдуетъ семья, —и онъ живетъ „на волѣ“, два года ничего не дѣлаетъ. А другой—холостой и потому сидитъ въ кандалной тюрьмѣ, на лѣто ему бреютъ голову, его заковываютъ.

Убийца-звѣрь, убійца по профессіи, гуляетъ на свободѣ и работаетъ на себя, потому что онъ семейный. А человѣкъ, осужденный

на 17½ лѣтъ за то, что, разговаривая съ фельдфебелемъ, онъ говорилъ дерзостей и сорвалъ съ себя погоны, томится въ кандалной тюрьмѣ.

— Зналъ бы, напередъ женился,—смѣются каторжане.

Все это мало внушаетъ каторгѣ мысль о справедливости наказанія, которое они несутъ.

Одинъ изъ кандалныхъ, въ бесѣдѣ глазъ на глазъ, убѣждалъ меня, что ему необходимо бѣжать. И какъ я его ни разговаривалъ, стоялъ на своемъ:

— Невмоготу мнѣ!

— Ну, послушай. Будемъ говорить прямо. Тяжко наказаніе, это—вѣрно. Но вѣдь ты же его заслужилъ. Вѣдь ты же въ полчаса пяти человѣкъ топоромъ убилъ. Вѣдь должна же быть на свѣтѣ справедливость!

— Такъ! А тутъ есть, которые не по пяти, а по восьми человѣкъ рѣзали, и живутъ на волѣ, а не въ кандалной, потому что за ними жены пришли. И выходить, стало-быть, что я не потому въ кандалахъ сижу, что пять душъ загубилъ, а потому, что я холостой. Вонъ хоть тотъ же Кейзеръ, взять, бариномъ живетъ. А другой, супротивъ его, половины не сдѣлалъ,—въ кандалной сидитъ. Потому только, что мастерства не знаетъ. Гдѣ же здѣсь справедливость?

Что тутъ станешь говорить?

Прослѣдимъ, однако, дальнѣйшую карьеру каторжника.

Отсидѣвъ свою „испытуемость“ въ кандалной, dokonчивъ свой срокъ въ вольной тюрьмѣ или въ вольной командѣ, каторжанинъ выходитъ въ поселенцы.

Строить гдѣ-нибудь въ глухой тайгѣ „домъ“, въ которомъ и жить-то нельзя, домъ „для правовъ“, потому что каждый поселенецъ, какъ я уже упоминалъ, долженъ заняться „домоустройствомъ“, иначе не получить крестьянства. Промаявшись впроголодь пять лѣтъ, поселенецъ перечисляется въ „крестьяне изъ ссыльных“ и получаетъ право выѣзда „на материкъ“. Мечта сбылась! Онъ ѣдетъ съ проклятаго острова въ Сибирь, которая кажется ему раемъ.

Тамъ онъ долженъ пробыть 12 лѣтъ и, по истеченіи ихъ, имѣетъ право вернуться на родину.

Такимъ образомъ даже „вѣчный каторжникъ“, со скидкою по манифестамъ, со скидками за тяжкія работы, можетъ надѣяться, что хоть черезъ 35—37 лѣтъ, но онъ вернется на родину.

Къ сожалѣнію, такихъ счастливицевъ очень немного.

Пожизненной каторги у насъ нѣтъ.

Пожизненная каторга существует,—и вы это ясно прочтете при вхождѣ въ любую кандалную тюрьму, въ спискѣ содержащихся каторжниковъ:

— Такой-то. Срокъ: 15 лѣтъ+10 лѣтъ+20 лѣтъ+15 лѣтъ.

Что за страшные плюсы!

Есть каторжники, которымъ, въ общей сложности, надо отбыть 70, даже болѣе лѣтъ.

Этими страшными плюсами для всякаго, имѣющаго глаза, написано на дверяхъ кандалной тюрьмы:

— *Lasciate ogni speranza voi che intrate...*

Откуда же получаются эти „плюсы“? Это все—результаты „бѣговъ“.

Страшны не тѣ сроки, на которые присылаютъ каторжанъ, ужасъ вселяютъ тѣ сроки, которые они „наживаютъ“ себѣ здѣсь.

Часто человѣкъ, присланный на 6 лѣтъ, „наживаетъ“ себѣ 40.

Бѣжить,—ловятъ, набавляютъ. Надежды еще меньше; снова бѣжить,—снова ловятъ, снова надбавка. Надежды ужъ никакой. Человѣкъ бѣжить, бѣжить,—„копить“ срокъ. Плюсы растутъ, растутъ.

Бывали случаи, что бѣжали даже изъ лазарета чуть не умирающіе. Сквозь густо сросшіяся вѣтви кустарника, чрезъ непроходимую тайгу, карабкаясь въ валежникъ, бѣжалъ человѣкъ, не человѣкъ, а полутрупъ съ ужасомъ въ гаснущемъ взорѣ.

Изъ этого краткаго очерка, что такое каторга, вы поняли, быть-можетъ, отчасти, что заставляетъ этихъ людей бѣжать, набавлять себѣ срокъ, отягчать участь.

Бѣгутъ отъ ужаса...

Кто правитъ каторгой.

Представьте себѣ такую картину. Кто-нибудь заболѣлъ, и нужно прибѣгнуть къ трудной операціи.

Созывается консилиумъ. Иногда выписываются даже знаменитости. Ученые доктора долго совѣщаются, толкуютъ, какую сдѣлать операцію, какъ ее сдѣлать, какія могутъ быть послѣдствія. И когда все обсудятъ и рѣшатъ, берутъ и уходятъ, а самую операцію поручаютъ сдѣлать сторожу.

— Но это невозможно!

— Но это на Сахалинѣ такъ и дѣлается.

Человѣкъ совершилъ преступленіе. Два ученыхъ юриста, прокуроръ и защитникъ, взвѣшиваютъ каждую мелочь свидѣтельскихъ показаній, какъ онъ совершилъ преступленіе, почему, что это за

человѣкъ. Иногда вызываются даже эксперты-психіатры, которые изслѣдуютъ не только здоровье подсудимаго, но и освѣдомляются о здоровьѣ всѣхъ его родственниковъ по восходящей линіи. Если подсудимый признается виновнымъ,—три ученыхъ юриста совѣщаются, обдумываютъ: какое къ нему примѣнить наказаніе, въ какой мѣрѣ.

А самое наказаніе, долженствующее—деви́зъ Сахалина!—„возродить преступника“, самое это „возрожденіе“ поручается цѣликомъ надзирателю изъ отставныхъ солдатъ или изъ ссыльно-каторжныхъ.

Это именно такъ. Отъ надзирателей зависитъ не только судьба ссыльно-каторжныхъ, но и примѣненіе къ нимъ манифестовъ. Манифесты, сокращающіе сроки наказаній, примѣняются къ тѣмъ, кто заслуживаетъ этого своимъ добрымъ поведеніемъ. О поведеніи ссыльно-каторжныхъ судятъ по штрафнымъ журналамъ. А въ штрафные журналы вписываются наказанія, которыя налагаются надзирателями и никогда не отмѣняются смотрителями тюремъ.

— Это подорветъ престижъ надзирателя въ глазахъ каторги. Какъ же онъ потомъ будетъ съ ней управляться.

На Сахалинѣ больше, чѣмъ гдѣ-либо, помѣшаны на „престижѣ“ и понимаютъ его къ тому же въ высшей степени своеобразно.

Обладаютъ ли эти надзиратели, добрая половина которыхъ состоитъ изъ бывшихъ каторжниковъ, достаточными нравственными качествами, чтобы имъ можно было всецѣло ввѣрять судьбу людей?

При мнѣ, на моихъ глазахъ, никто изъ надзирателей не бралъ съ арестантовъ взятки. То-есть, я никогда не видалъ, чтобы арестантъ передавалъ надзирателю изъ рукъ въ руки деньги. Но, поспѣвая надзирателей, я часто спрашивалъ:

— Откуда у васъ вотъ это? Откуда вотъ то-то?

И часто получалъ отвѣтъ:

— Въ тюрьмѣ подарили... Арестантъ у насъ есть такой, онъ сработалъ.

Нѣсколько разъ, въ то время, какъ я въ тюрьмѣ присутствовалъ при арестантской игрѣ въ карты, входили надзиратели.

— Ну, чего собрались? Разойдитесь!—говорилъ надзиратель, проходя между нарами и рѣшительно не замѣчая разбросанныхъ въ изобиліи картъ.

— Пошелъ на свое мѣсто!—говорилъ онъ банкомету, тюремному шулеру, и не видѣлъ, что тотъ тасуетъ въ это время передъ его носомъ колоду картъ. Вѣроятно, не видѣлъ, потому что не дѣлалъ даже замѣчанія.

Когда мнѣ нужно было узнать, кто въ такой-то тюрьмѣ майдакши́къ, т.-е. торгуетъ водкой и даетъ для игры карты, я всегда об-

радался съ вопросамъ къ надзирателямъ, и они указывали мнѣ всегда безошибочно.

Иногда арестанты потихоньку жаловались мнѣ, что такой-то тюремный главарь, арестантъ изъ породы „Ивановъ“, обижаютъ ихъ, вымогаютъ отъ нихъ послѣднія деньги. И когда я указывалъ на это надзирателямъ, я слышалъ всегда одинъ и тотъ же отвѣтъ:

— Дѣ что же, ваше высокоблагородіе, намъ съ нимъ дѣлать? Человѣкъ отчаянный, чуть что, —сейчасъ ножъ въ бокъ. Нешто онъ останется? Ну, и молчимъ.



Владимирскій рудникъ.

Въ силу отчасти чувства самосохраненія, отчасти по другимъ побужденіямъ, эти низко стоящіе на нравственномъ уровнѣ и безграмотные надзиратели являются потатчиками именно для худшихъ элементовъ каторги: „Ивановъ“, майданщиковъ, шулеровъ—„игроковъ“, „отцовъ“, —и смѣло можно сказать, что, только благодаря надзирателямъ, эти „господа“ каторги имѣютъ возможность держать въ такой кабаль бѣдную, загнанную „шпанку“.

Горный инженеръ о. Сахалина г. М. постоянно жаловался мнѣ, что у него на Владимирскомъ рудникѣ вѣчные „бунты“.

— Хотѣлось бы хоть одинъ рудникъ устроить, какъ слѣдуетъ! А вотъ пойдите же, не дають! Вѣчныя исторіи.

— Но вѣдь у васъ два рудника, въ которыхъ работаютъ каторжане: Владимирскій и Александровскій. Въ Александровскомъ бунтовъ не бываетъ?

— Въ Александровскомъ—нѣтъ.

Богъ знаетъ, словно какой-то особенный сортъ каторжниковъ. Какая-то прямо тайна. Тайна, впрочемъ, обнаружилась очень просто.

За нѣсколько дней до моего отъѣзда съ Сахалина г. М. объявилъ мнѣ при встрѣчѣ:

— На Владимирскомъ рудникѣ бунтъ. На этотъ разъ ужъ всѣмъ настоящий бунтъ. Не хотятъ грузить пароходъ! Я буду требовать для усмиренія солдатъ! Пусть этихъ негодяевъ перепорютъ.

Дѣло, къ счастью, какъ-то уладилось безъ порока и усмиренія: японскій пароходъ „Неяма-Мару“ былъ нагруженъ углемъ, и я благополучно отплылъ на немъ съ Сахалина. Дорогой сопровождающій грузъ угля похвастался мнѣ:

— Какъ скоро нагрузили! А? Пароходъ зафрахтованъ у японцевъ посуточно. Какую я экономію сдѣлалъ, нагрузивъ его такъ скоро!

Похвастаться, дѣйствительно, было чѣмъ: пароходъ былъ нагруженъ изумительно быстро.

— Но какъ же вы это сдѣлали?

— Тамъ человѣчекъ одинъ есть, надзиратель,—удивительно ловкій и дѣльный малый. Я ему далъ красненькую, онъ и заставилъ каторжанъ приналечь. И въ рабочіе и не въ рабочіе часы грузили. Вѣдь отъ него все зависитъ. Тутъ на Сахалинѣ все отъ надзирателей зависитъ.

Вотъ гдѣ была причина Владимирскихъ „бунтовъ“.

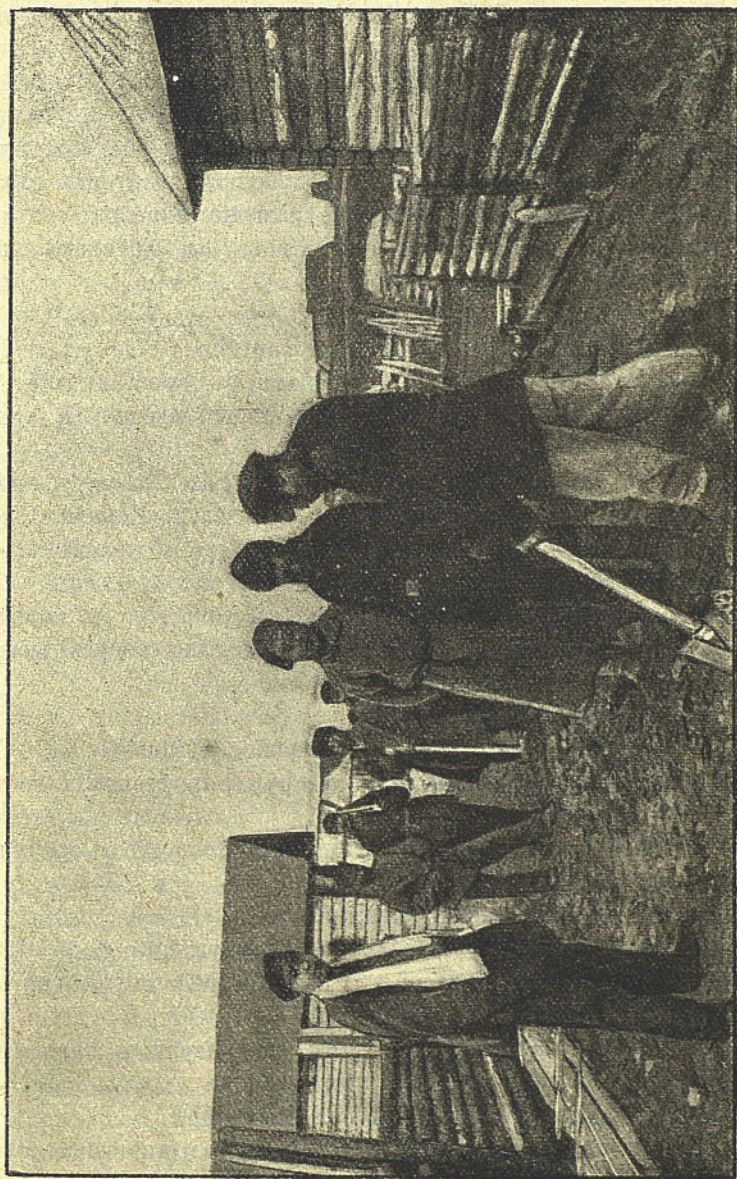
На томъ же Владимирскомъ рудникѣ интересенъ другой надзиратель, Кононбековъ, изъ бывшихъ каторжниковъ. Онъ—кавказецъ, сосланъ за убійство въ запальчивости, во время ссоры.

— Пустая ссора была!—улыбаясь, говорить красавецъ Кононбековъ.—Да я шибко горячій кровь имѣю.

На Сахалинѣ онъ герой: онъ убилъ бѣглаго каторжника Пашенка. За Пашенкомъ числилось 32 убійства. Его побѣгъ изъ кандалной тюрьмы, съ откованіемъ отъ тачки, повергъ въ ужасъ весь Сахалинъ. Кононбековъ его застрѣлилъ, и надо видѣть, съ какимъ наслажденіемъ рассказываетъ Кононбековъ, какъ онъ убивалъ. Какъ горятъ при этомъ его глаза.

— Шелъ вотъ тутъ, по горкѣ. Ружье имѣлъ. Ходилъ, нѣтъ ли бѣглыхъ? Я горкой иду, а внизу шу-шу-шу въ кустахъ. Я прило-

жился,—трахъ! Только вскрикнуло. Изъ кустовъ человѣкъ побѣгъ.
И думалъ, промахъ давалъ. Бросился въ кусты, а тамъ человѣкъ



Арестанты на работѣ.

ворчится. Какъ попалъ! Голову насквозь! А изъ него кровь, кровь,
кровь...

Бѣжавшій изъ кустовъ былъ товарищъ Пащенко, Ширококоловъ.
— Какъ же ты—такъ и стрѣлялъ безъ предупрежденія? Ни слова не говоря?

— Зачѣмъ говорить? Прямо стрѣлялъ!

— И ты часто ходишь такъ?

— Каждый день хожу: нѣтъ ли бѣглыхъ? Бѣглый—стрѣлять. Словно на охоту.

Интересенъ уголокъ, въ которомъ живетъ Кононбековъ. Идеальной чистоты кровать. Надъ кроватью лубочныя картины: охота на тигра, левъ, раздирающій антилопу, сраженіе японцевъ съ китайцами. Издали—одни красныя пятна. Кровь на картинахъ такъ льетъ ручьемъ.

Покупалъ?

— Покупалъ. Самыя мои любимыя картины.

— О чемъ тамъ толкуетъ Кононбековъ съ арестантами?—спросилъ я какъ-то надзирателя, берущаго по 10 рублей за „скорую нагрузку“.

— О чемъ ему больше разговаривать! Разсказываетъ, небось какъ онъ „у себя на Кавказѣ“ убилъ или какъ Пащенко застрѣлилъ. Больше онъ ни о чемъ не говоритъ. Пустой человѣкъ!—маханулъ рукой практичный надзиратель.

У этого Кононбекова какая-то манія къ убійству, къ крови.

И подъ руководствомъ такихъ-то людей должно совершаться нравственное „возрожденіе“ ссыльных!

Въ ихъ рукахъ судьба каторги.

— Но чего же смотреть гг. сахалинскіе служащіе?

Нужно прежде всего знать, изъ кого на девять десятыхъ состоитъ контингентъ этихъ служащихъ.

Самое слово „законъ“ приводитъ такихъ господъ въ изступленіе прямо невѣроятное.

— Законъ...—упоминаетъ каторжникъ.

— А?! Ты бунтовать!—топаетъ ногами служащій.

Нѣтъ ничего удивительнаго, что на Сахалинѣ нѣтъ слова болѣе ругательнаго, чѣмъ слово „гуманный“.

Мы бесѣдовали какъ-то съ однимъ сахалинскимъ землемѣромъ объ одномъ изъ докторовъ.

— Гуманный человѣкъ!—отозвался землемѣръ.

— Вотъ, вотъ!—обрадовался я, что нашелъ единомышленника.— Не правда ли, именно гуманный человѣкъ!

— Вѣрно! Гуманный. Гуманничаетъ только. А нешто съ каторгой такъ можно? Вообще не человѣкъ, а дрянь!

Мы говорили на разныхъ языкахъ.

Гуманничаютъ!—это слово звучить полупрезрѣнiемъ, полуобвиненiемъ въ томъ, что человѣкъ „распускаетъ каторгу“, и для сахалинскаго служащаго нѣтъ обвиненiя страшнѣе, какъ то, что онъ „гуманничаютъ“.

— Откуда они взяли, будто я какой-то „гуманный!“—оправдываются эти добрые люди.

Бестужевъ, о которомъ я рассказывалъ въ „свободныхъ людяхъ Сахалина“, былъ первымъ служащимъ, съ которымъ я столкнулся на Сахалинѣ. Послѣднимъ изъ служащихъ, съ которымъ мнѣ пришлось столкнуться при отъѣздѣ съ Сахалина, былъ г. П. Ко мнѣ явилась его жена:

— Похлопочите, чтобъ и насъ взяли во Владивостокъ на японскомъ пароходѣ.

— А вы развѣ уѣзжаете?

— Мужа выгнали со службы.

— За что?

— Глупость сдѣлалъ.

— А именно?

— Надъ дѣвочкой сдѣлалъ насиліе. Теперь подозрѣвается.

О высотѣ нравственныхъ понятій этихъ господъ можете судить хотя бы по слѣдующему случаю. Одно официальное лицо, посѣтившее Сахалинъ, осматривало карцеры Александровской тюрьмы.

— Ты за что наказанъ?—обратился онъ къ одному изъ сидѣвшихъ по темнымъ карцерамъ.

— За отказъ быть палачомъ.

— Вѣрно?—спросило лицо у сопровождавшаго его помощника начальника тюрьмы.

— Такъ точно-съ. Вѣрно. Я приказалъ ему исполнять обязанности палача, а онъ ослушался, не захотѣлъ.

„Лицо“, извѣстное и въ наукѣ своими просвѣщенными и гуманными взглядами, конечно, не могло прійти въ себя отъ изумленiя.

— Какъ? Вы наказываете человѣка за то, что онъ проявилъ хорошія склонности? Не захотѣлъ быть палачомъ? Да понимаете ли вы, что вы дѣлаете?!

Понимаютъ ли они, что они дѣлаютъ!

Продрогшій, иззябшій, я однажды поздно вечеромъ вернулся къ себѣ домой въ посту Корсаковскомъ.

— Рюмку водки бы! Погрѣться.

— Водки нѣтъ!—отвѣчала моя квартирная хозяйка, ссыльно-каторжная.—Но можно купить.

— Гдѣ же теперь достанешь? „Фондъ“ запертъ.

— А можно достать у...

Она назвала фамилію одного изъ служащихъ.

— Да неужто онъ торгуетъ водкой?

— Не онъ, а его лакей Маметка, изъ каторжанъ. Да это все равно: Маметка отъ него торгуетъ.

На Сахалинѣ ни одному слову не слѣдуетъ вѣрить. Во всемъ нужно убѣдиться своими глазами. Я надѣлъ арестантскій халатъ и шапку и вмѣстѣ съ поселенцемъ, работникомъ моихъ хозяевъ, отправился за водкой.

Мы подошли къ дому служащаго. Поселенецъ постучалъ въ окно условнымъ образомъ. Дверь отворилась, и показался татаринъ Маметка.

— Чего нужно?

— Водочки бы.

— А это кто?—спросилъ Маметка, разглядѣвъ мою фигуру.

— Товарищъ мой.

Маметка, разсмотрѣвъ въ темнотѣ длинный арестантскій халатъ и шапку блиномъ, успокоился.

— Сейчасъ!

Онъ вынесъ бутылку водки.

— Два цѣлковыхъ.

Водка оказалась отвратительнымъ, разбавленнымъ водой спиртомъ.

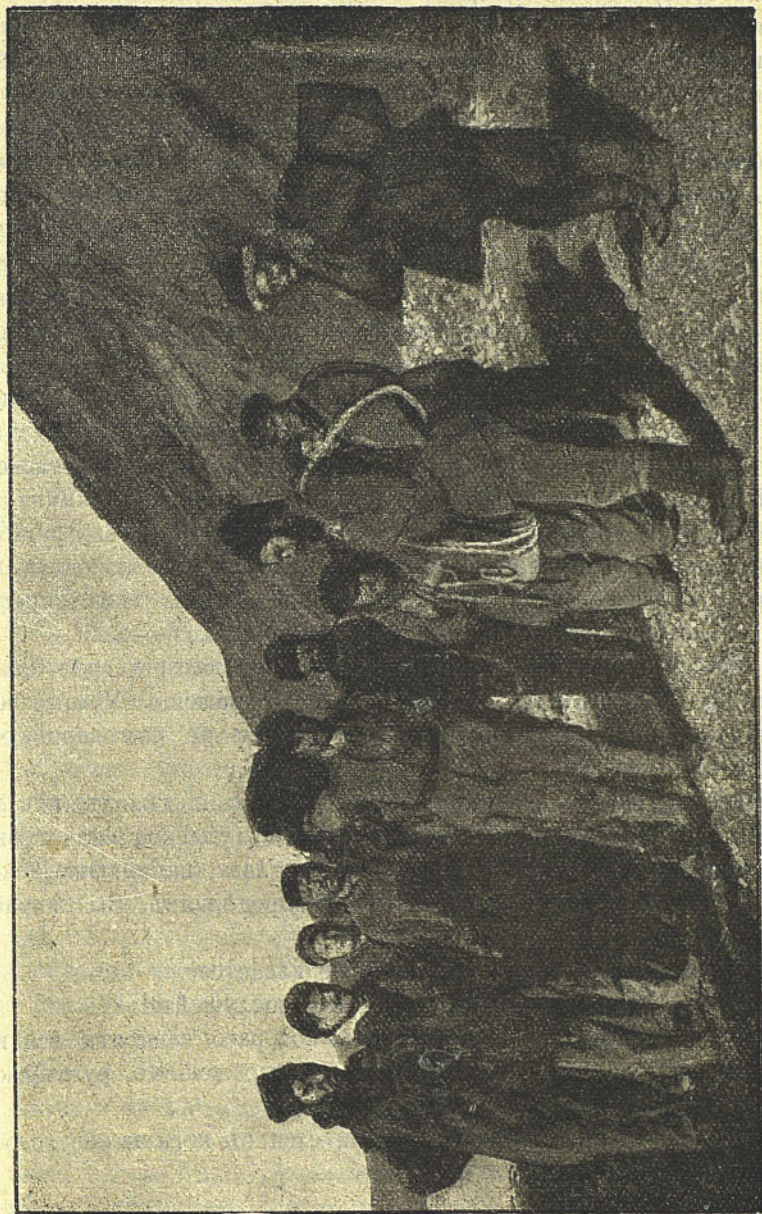
На слѣдующій день я сдѣлалъ визитъ этому служащему, очень много спрашивалъ его о житьѣ-бытьѣ, попросилъ показать квартиру и въ спальнѣ увидалъ цѣлую батарею такихъ же точно бутылокъ, какъ я купилъ наканунѣ.

— Однако, вы живете съ запасцемъ!—улыбнулся я.

— Да, знаете! Пріятели иногда заходятъ. Держу на всякій случай.

Черезъ годъ этотъ служащій былъ уволенъ со службы, и именно за продажу водки поселенцамъ и каторгѣ: при провѣркѣ книгъ „фонда“, — а, кромѣ лавки казеннаго „колонизаціоннаго фонда“, спирта на Сахалинѣ купить негдѣ,—оказалось, что этотъ служащій забираетъ спирту столько, что на этомъ спирту можно бы вскипятить цѣлую рѣку!

— Конечно, сахалинскія мастерскія, это — одна „затѣя!“ Но знаете, при желаніи, и онѣ недурно работать могутъ. Видѣли коляску у Х.? Обратите вниманіе на обстановку у У. Все—работы сахалинскихъ мастерскихъ!—говорили мнѣ еще во Владивостокѣ.



Партія арестантовъ на работѣ.

— Да-съ! Было времечко, да сплыло!—со вздохомъ мнѣ говорилъ по этому случаю смотритель одной изъ тюремъ.—Работали у насъ въ мастерскихъ и иногда хорошо работали: среди нихъ всякій народъ попадается. Да теперь „фактическій контроль“ устроили. Контролеровъ понаслали,—все учитываютъ: сколько рабочихъ часовъ ушло, сколько матеріалу. Только на казну мастерскія и работаютъ. Ну, конечно, себѣ благопріятелямъ тоже въ мастерскихъ все велишь дѣлать; но чтобъ на продажу изготовлять,—нѣтъ, ужъ шабашъ! Трудно.

— Ну, хорошо. Казна ихъ обувала, одѣвала, кормила мастеровъ, которые на васъ работали. А сами-то они отъ васъ что-нибудь получали?

— Они-то? За что? Развѣ ему не все равно, на кого свои работы отбывать: на казну или на меня?

Ко всему этому слѣдуетъ прибавить еще одно. На Сахалинѣ очень распространенъ обычай брать женскую прислугу.

Изъ 260 ссыльно-каторжныхъ женщинъ въ Александровскомъ округѣ въ 1894 году ровно половина числилась „одинокими“, въ услуженіи у гг. служащихъ.

Принимая во вниманіе все это, вы поймете, что гг. служащіе не могутъ пользоваться въ глазахъ каторги именно тѣмъ „престижемъ“, о которомъ гг. служащіе такъ хлопочутъ.

— Ужасные черти! — жаловался мнѣ на каторгу помощникъ смотрителя Рыковской тюрьмы. — Никакого уваженія! Можете себѣ представить, иначе какъ на „ты“ со мной и не разговариваютъ! Да вы сами слышали!

Первое посѣщеніе всякой тюрьмы, которое я дѣлалъ, изъ любезности, со смотрителемъ, всегда оставляетъ ужасное впечатлѣніе.

Каторжане тутъ же, при немъ, ему въ глаза, начинаютъ „докладывать“ вамъ обо всѣхъ его штукахъ и продѣлкахъ. Вы напрасно протестуете:

— Да я не начальство! Это меня не касается!

— Нѣтъ, вы, ваше высокоблагородіе, послушайте!

И они отдѣлываютъ человѣка, отъ котораго зависитъ вся ихъ жизнь, вся ихъ судьба, не стѣсняясь въ выраженіяхъ, ругательски его ругая.

Смотритель-бѣдняга только переминается съ ноги на ногу, словно стоитъ на горячихъ угляхъ.

— Пойдемте-съ!

Послѣ онъ, можетъ-быть, съ этими обличителями и разочтется, но теперь „принять мѣры для поддержанія престижа“, при постоянномъ человѣкѣ, стѣсняется. А возразить?

Что онъ возразить, когда все, что говоритъ каторжанинъ, я только что слышалъ въ домѣ одного изъ его сослуживцевъ и услышу во всякомъ домѣ, куда пойду!

Если эта служащая сахалинская мелкота презираетъ и ненавидитъ каторгу, то и каторга ее презираетъ и ненавидитъ.

Это и заставляетъ гг. сахалинскихъ служащихъ держаться насторожѣ и вдаль отъ каторги, полной ненависти и презрѣнія, заниматься только хозяйственными дѣлами, а весь распорядокъ, весь внутренний строй каторги оставлять дѣликомъ въ рукахъ надзирателей, которые и являются настоящими, полными, безконтрольными хозяевами каторги“.

Гг. сахалинскіе служащіе раздѣляются на двѣ категоріи. Сибиряки, забайкальцы, — „чалдоны“, какъ зовутъ ихъ каторжане, — и служащіе „россійскаго навоза“.

Послѣднее выраженіе отнюдь не слѣдуетъ понимать, какъ что-нибудь оскорбительное, ругательное. „Россійскаго навоза“, это—выраженіе, выдуманное для себя гг. служащими, такъ сказать, изъ аристократизма, для отличія отъ каторжанъ. Арестантовъ на Сахалинъ „сплавляютъ“, а служащихъ на Сахалинъ „навозятъ“. Поэтому у каторжанъ спрашиваютъ:

— Ты какого сплава?

— Весенняго или, тамъ, осенняго, такого-то года.

А гг. служащіе между собой разговариваютъ такъ:

— Вы какого навоза?

— Я навоза такого-то года.

„Чалдоны“, забайкальцы, пріѣзжающіе на службу на Сахалинъ, сами про себя говорятъ, что они „на каторгѣ выросли“.

— Меня, братъ, не проведешь! Я самъ подъ нарами выросъ! — съ гордостью говоритъ про себя „чалдонъ“, смотритель тюрьмы.

По большей части это—тюремщики во второмъ, третьемъ поколѣніи. Дѣдъ былъ смотрителемъ каторжной тюрьмы, отецъ, и онъ смотрительствуетъ“.

— Каторга въ меня съ дѣтства вѣвлася! Я самъ каторжникъ! Меня каторга не проведетъ! Я не баринъ-бѣлоручка россійскаго навоза! — хвастаютъ „чалдоны“.

И если бы не было „форменныхъ отличекъ“, вы, разговаривая съ такимъ господиномъ, ни за что бы не разобрали, да съ кѣмъ вы, наконецъ, говорите: съ каторжаниномъ или служащимъ.

Они говорятъ на томъ же каторжномъ языкѣ: „пришить“ вмѣсто „убить“, „фартъ“ вмѣсто „счастье“, „жуликъ“ — „ножъ и т. д.

— Онъ просто пришить бороду (обмануть) хотѣлъ, да побоялся, что тотъ свезетъ тачку (донесетъ), ну, онъ его жуликомъ и пришилъ. Такой ужъ тому фартъ!

Разберите, кто это говоритъ, каторжанинъ или служащій изъ „чалдоновъ“? Это рассказъ одного изъ смотрителей тюрьмы!

У нихъ и термины каторжные и взгляды, заимствованные у каторги.

Когда эти люди берутся за благоустройство о. Сахалина, выходятъ или одинъ смѣхъ, въ родѣ Александровскаго тоннеля, или ужасъ въ родѣ Онорскихъ работъ.

Да ничего другого и получиться не можетъ, когда за проведеніе дороги берутся забайкальцы,—люди, никогда въ глаза не видавшіе даже шоссеиной дороги и не знающіе, что это за чудище.

Выросши среди каторги, „чалдоны“, въ противоположность служащимъ „россійскаго навоза“, чувствуютъ себя на Сахалинѣ спокойно и отлично. Они занимаются себѣ хозяйственными дѣлами и умѣютъ все для себя очень недурно устроить.

— У меня даже арбузы бываютъ!—хвалится передъ вами „чалдонъ“.—Каторжане мнѣ оранжерейку построили!

„Чалдонъ“—смотритель, желая передъ вами похвалиться своею „дѣятельностью“, прежде всего ведетъ васъ показать свою квартиру, а затѣмъ обращаетъ ваше вниманіе на дома другихъ служащихъ:

— Все я построилъ! Каковы палаты соорудилъ? Ась? Какія удобства!

— Да это все заботы о служащихъ. А каторга-то, каторга какъ у васъ?

— Каторга?! Съ каторгой справляются надзиратели! Повѣрьте мнѣ, батенька, съ каторгой лучше надзирателя никто не справится. Только мѣшать ему не нужно. У меня надзиратели на подборъ. Все изъ каторжанъ. Онъ самъ каторжникъ, его каторга не проведетъ.

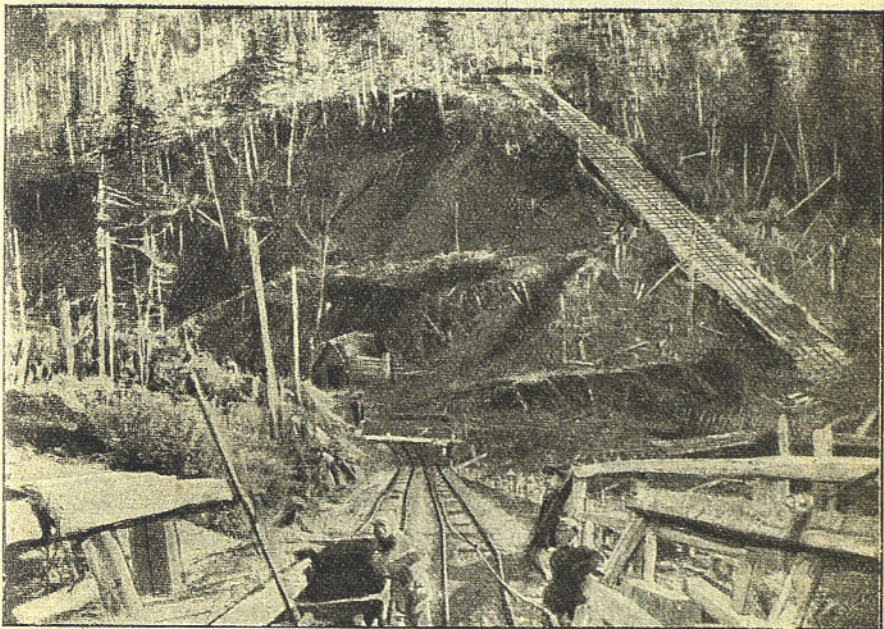
Произволь, полнѣйшій произволь надзирателей не встрѣчаетъ, при такихъ взглядахъ, никакого противодѣйствія со стороны „чалдоновъ“. Дореформенное Забайкалье—плохая школа для порядка и законности.

Служащіе „россійскаго навоза“, это, какъ я уже говорилъ, по большей части неудачники, люди, потерпѣвшіе крушеніе на всѣхъ поприщахъ, за которыя они хватались, ни къ чему не оказавшіеся пригодными въ Россіи. Они „махнули рукой“ и „махнули“ на Сахалинъ.

Они, по большей части, пріѣхали сюда, наслушавшись рассказовъ, что на окраинахъ не житье, а масленица, пріѣхали, мечтая о

колоссальных „припеках“, которые умѣютъ дѣлать на арестантскомъ хлѣбѣ смотрительскіе фавориты — тюремные хлѣбопеки, объ огромныхъ „экономіяхъ“, дѣлаемыхъ при поставкахъ матеріаловъ и т. п. Здѣсь ихъ ждало горькое разочарованіе. Все это „можно“, но далеко не въ такихъ размѣрахъ, какъ грезилось: „фактическій контроль“ мѣшаетъ. Контрольные чиновники во все „нось суютъ“.

— Я васъ спрашиваю, какая же выгода служить на Сахалинѣ, терпѣть эту каторгу? — спрашиваютъ обыкновенно съ горечью эти



Рудникъ.

господа.—Какая выгода? Увеличенное содержаніе? Такъ и продукты здѣсь, за что ни возмись, вдвое, втрое дороже? А доходы? Что соболей покупаемъ за квитанціи? Доходъ, нечего сказать! Служишь—служишь, на тысячу рублей соболей вывезешь. Есть, конечно, такіе, что водочкой поторговываютъ. Тѣ хорошій барышъ имѣютъ. Но вѣдь за это и подъ судъ попадешь, нынче все строже и строже. Того, что прежде было, и въ поминѣ нѣтъ. Прислугу изъ каторжанъ берешь, и за ту въ казну плати. То-есть, никакого профиту!

„Всякому лестно“, конечно, пожить бариномъ при крѣпостномъ правѣ, имѣя слугъ и рабочихъ, которыхъ, „въ случаѣ неудовол-

ствія“, приказаль выдрать или посадить въ тюрьму. Но и эти надежды сбываются плохо.

Среди „оголтѣлаго“, отчаяннаго населенія,—населенія, которому нечего терять, гг. служащіе чувствуютъ себя робко. Къ тому же голодъ заставляетъ это населеніе быть головорѣзами. На Сахалинѣ убійства безпрестанны: убиваютъ за 20 копеекъ и говорятъ, что убили „за деньги“,—такова „порча нравовъ“ вслѣдствіе голода.

И вотъ, съ одной стороны, обманутыя надежды насчетъ „привольнаго житья“, съ другой—вѣчная боязнь каторги,—все это, конечно, вызываетъ въ гг. служащихъ російскаго навоза очень мало симпатій къ Сахалину и его обитателямъ.

Большинство только „отбываетъ свой срокъ“, ждетъ не дождется, когда пройдутъ три года службы,—только послѣ трехъ лѣтъ можно вернуться съ семьей въ Россію на казенный счетъ. И гг. служащіе, какъ и каторга, только и мечтаютъ о „материкѣ“. Весь Сахалинъ мечтаетъ о материкѣ, клянеть и проклинаятъ:

— Этотъ островъ, чтобъ ему провалиться сквозь землю!

И какъ люди мечтаютъ! Я гостилъ у одного служащаго, которому оставалось всего нѣсколько мѣсяцевъ до конца трехлѣтняго „срока“. У него на стѣнкѣ, около кровати, висѣла табличка съ обозначеніемъ дней. Словно у институтки передъ выпускомъ. Каждое утро онъ вставалъ и радостно зачеркивалъ одинъ день.

— Девяносто два осталось.

— Да вы какіе дни-то зачеркиваете? Прошедшіе?

— Нѣтъ, наступающій. Такъ скорѣе какъ-то. Все равно,—всталъ, ужъ день начался, можно его зачеркнуть. Веселѣе, что меньше дней остается!

До такого малодушія можно дойти!

Конечно, не отъ такихъ людей можно требовать, чтобъ они интересовались бытомъ каторги, вникали, сообразно съ закономъ, или несообразно ни съ какими законами правятъ надзиратели каторгой.

— А пропади она пропадомъ, вся эта каторга и надзиратели!

На Сахалинѣ въ служащіе попадаютъ, конечно, и не плохіе люди. Но полное безправіе, царящее на островѣ, населенномъ людьми, лишенными „всѣхъ правъ“, развращаетъ не только управляемыхъ, но и управляющихъ. У Сахалина есть удивительное свойство необыкновенно быстро „осахалинивать“ людей. Жизнь среди тюремъ, розогъ, плетей, какъ чего-то обычнаго, не проходитъ даромъ. И многое, что кажется страшнымъ для свѣжаго человѣка, здѣсь кажется такимъ обычнымъ, зауряднымъ, повседневымъ.

— Вы куда, господа, идете? — остановила насъ съ докторомъ жена помощника начальника округа, очень милая дама. — Ахъ, арестантовъ пороть будутъ? Такъ кончайте это дѣло скорѣе и приходите, я васъ съ самоваромъ ждать буду.



Сахалинъ. Отправленіе на работы.

стантовъ пороть будутъ? Такъ кончайте это дѣло скорѣе и приходите, я васъ съ самоваромъ ждать буду.

Меня била лихорадка въ ожиданіи предстоящаго зрѣлища, а она говорила объ этомъ такъ, словно мы шли въ лавочку папиросъ купить. Сила привычки,—и больше ничего.

Нѣтъ ничего удивительнаго, что сахалинскія дамы ведутъ пре-
странные, на нашъ взглядъ, салонные разговоры. Вы дѣлаете визитъ
супругъ служащаго, и между вами происходитъ такого рода обмѣнъ
мыслей:

— Вотъ вы сами видите каторгу, — говоритъ дама очень лю-
безно. — Согласитесь, что тѣлесныя наказанія для нея необходимы.

— А если бы попробовать...

— Ахъ, нѣтъ! Безъ дранья съ ними ничего не сдѣлаешь. Ка-
торга удивительно какъ распущена. Рѣшительно необходимо, чтобы
кого-нибудь, для примѣра другимъ, повѣсили.

— То-есть, какъ это? Такъ-таки „кого-нибудь?“

— Да, чтобы другимъ не повадно было! А то просто боишься
за мужа. Вдругъ ножомъ пырнуть, что это имъ стоитъ?

Но къ женамъ служащихъ, женщинамъ, по большей части, мало
развитымъ, мало образованнымъ, мы не въ правѣ предъявлять осо-
быхъ требованій. Онѣ могутъ имѣть и куриные мозги.

На Сахалинѣ „осахалиниваются“ и развитые и образованные
люди. Среди осахалинившихся попадаются даже доктора, которые
вообще во всей исторіи каторги представляютъ собой свѣтлое исклю-
ченіе среди царящихъ кругомъ жестокости и безсердечія.

Какъ вамъ понравятся, на примѣръ, такія вещи въ устахъ *моло-
дого* доктора Давыдова, прослужившаго нѣсколько лѣтъ на Саха-
линѣ.

Я цитую его брошюру „О притворныхъ заболѣваніяхъ и дру-
гихъ способахъ уклоненія отъ работъ среди ссыльно-каторжныхъ
Александровской тюрьмы“, изд. 1894 года.

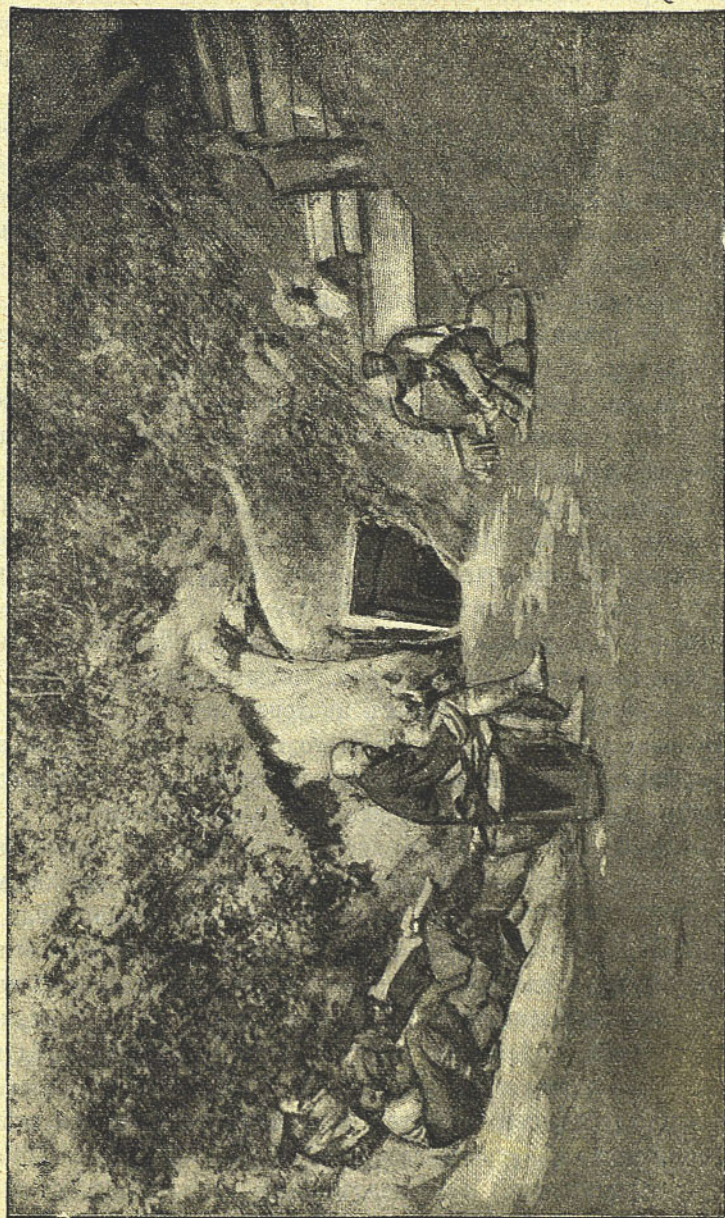
Болѣзни, которыя докторъ Давыдовъ считаетъ „симулятивными“,
слѣдующія: „душевные, бронхиты, гастро-энтериты, обмороки, вы-
вихи, куриную слѣпоту, общее недомоганіе“.

Говоря „о притворствѣ“ арестантовъ, г. Давыдовъ сообщаетъ:

„Арестанты подставляютъ ноги подъ вагонетки съ грузомъ, пада-
ютъ подъ лошадей, или подставляютъ ногу подъ бревно.

„Или же *искусственно* отмораживаютъ себѣ тѣ или другія части
тѣла и отмороженіе наступаетъ быстро и вѣрно, и можетъ достигать
любой степени.

„Одинъ арестантъ не пожелалъ итти на работу, тогда надзира-
тель сталъ просить его честию, а онъ схватилъ въ правую руку
топоръ и отрубилъ себѣ лѣвое предплечье“.



Рудники. Входъ въ штольню.

Все это, по мнѣнію доктора Давыдова, случаи „притворства“, и онъ объясняетъ ихъ лѣнью и нежеланіемъ „работать“. И ни разу у этого врача не шевельнется въ сердцѣ и головѣ вопросъ:

„Да что же это за работы, что люди предпочитаютъ отрубать себѣ руки, „искусственно“ отмораживать или „нарочно“ подставлять подъ вагонетку ноги?“

Докторъ Давыдовъ съ гордостью рассказываетъ, какъ онъ боролся съ такими „притворяющимися“.

Считая всѣ случаи душевныхъ болѣзней за одно притворство со стороны арестантовъ, докторъ Давыдовъ прибѣгалъ къ такимъ приемамъ діагноза.

На Сахалинѣ есть смотритель, поговорка котораго:

— Мое правило *выбить* изъ арестанта за день всѣ сѣдненные имъ 3 фунта хлѣба, а если нужно, то и больше.

Когда къ доктору Давыдову приводили душевно-больного арестанта, онъ, угрозами отправить его къ этому смотрителю, узнавалъ: „душевнобольной арестантъ, или только притворяется“.

Если же это средство не помогало, то Давыдовъ, по его словамъ, прибѣгалъ „къ *assafoetida* (вонючка) въ большой дозѣ“. И больные, по словамъ г. Давыдова, иногда „заявляютъ“, что имъ лучше, и просятъ даже возобновить лѣкарство“.

„Въ этихъ случаяхъ,—замѣчаетъ докторъ Давыдовъ,—имѣешь дѣло или съ симулянтомъ, который, чтобы прогулять полдня, готовъ глотать всякую пакость, или съ ипохондрикомъ“.

Но еще лучше въ практикѣ этого молодого врача, „для пробы“ пичкавшего ипохондриковъ „всякой пакостью“, случай слѣдующаго истязанія, которому онъ подвергъ одного „симулянта“.

„Больной, 30 лѣтъ, нога согнута въ колѣнѣ,—рассказываетъ г. Давыдовъ,—два съ половиной года провелъ въ постели, мышцы ноги были атрофированы. Тогда ему *насилъно* выпрямили ногу, мышцы стали оживать, но больной стоять не могъ. Его выписали изъ больницы, и онъ упалъ у подъѣзда. Больного отнесли въ тюрьму, и никакими наказаніями и лишеніями нельзя было заставить его ходить“. Тогда г. Давыдовъ прибѣгъ „для опыта“ къ слѣдующему способу. „Больному объявили, что отрѣжутъ ногу, приготовили его къ операциі, уложили на столъ, разложили передъ нимъ всѣ пилы и ножи, какіе имѣлись въ лазаретѣ, захлороформировали...“

Хлороформированіе безъ надобности—преступленіе. И въ какой же степени долженъ былъ „осахалиниться“ этотъ „молодой врачъ“, чтобы считать преступленіе чѣмъ-то обыденнымъ, законнымъ, должнымъ, хвастаться имъ въ своемъ „научномъ“ трудѣ!

Этотъ докторъ, по его собственному признанію, подвергавшій пыткамъ больныхъ, — типичное указаніе, какъ „осахалинивается“ Сахалинъ даже образованныхъ и, казалось бы, развитыхъ людей.

Конечно, не отъ такихъ господъ можетъ ждать каторга защиты отъ надзирательскаго произвола!

Есть еще одна, можетъ-быть, самая страшная для каторги категория служащихъ, это—неисправимые трусы. Всѣ служащіе, какъ я уже говорилъ, „побаиваются каторги“, и совершенно естественно человѣку чувствовать себя „не по себѣ“ среди каторжанъ, но есть люди, у которыхъ эта боязнь доходить положительно до геркулесовыхъ столбовъ. Сколько бы они ни служили на Сахалинѣ, они не могутъ преодолѣть своей „боязни каторги“.

Изъ такихъ обыкновенно выходятъ наиболѣе жестокіе тюремщики. Жестокость—родная сестра трусости. Бывшій сахалинскій смотритель тюрьмы, нѣкто Фельдманъ, котораго начальство въ официальныхъ бумагахъ аттестовало „трусомъ“, „человѣкомъ робкимъ“, „человѣкомъ, боявшимся каторжниковъ“,—этотъ смотритель такъ живописалъ затѣмъ въ „Одесскомъ Листкѣ“ свои подвиги на Сахалинѣ.

Арестанты, работающіе въ рудникахъ и желающіе бѣжать, остаются обыкновенно въ рудникахъ. Въ рудникѣ человѣка не поймашь, и начальство обыкновенно ограничивалось тѣмъ, что ставило на ночь караулъ у всѣхъ выходовъ штолень. Караулъ стоялъ нѣсколько ночей, а затѣмъ отмѣнялся,—не вѣкъ же ему стоять! И тогда арестанты ночью выходили изъ рудника и удирали. Фельдманъ выдумалъ такое „средство“. Когда двое арестантовъ остались въ рудникѣ, онъ на ночь не поставилъ караула, а спряталъ его въ кустахъ, съ приказаніемъ, какъ только бѣглые выйдутъ, ихъ убить. Бѣглые поддались на удочку: не видя конвоя, они ночью вышли, и конвой стрѣлялъ. Одинъ изъ бѣглыхъ былъ убитъ на мѣстѣ, и Фельдманъ приказалъ не убирать трупа:

— Въмѣсто двора тюрьмы, гдѣ обыкновенно производится раскомандировка арестантовъ на работу, я производилъ ее около рудника, чтобы арестанты, видя необрунный трупъ товарища, поняли, что прежній способъ бѣгства больше не существуетъ.

Засада, убійство, необрунный трупъ, — жестокость, на которую только и способенъ трусъ. Трусъ, мстящій за то униженіе, которое онъ испытываетъ, боится каторги.

Другіе „робкіе люди“, если не отличаются жестокостью, то попадаютъ цѣликомъ въ руки надзирателей, что для каторги тоже не легко.

Таковъ, напримѣръ, былъ горный инженеръ М., о которомъ я уже говорилъ. Очень добродушный и даже милый человѣкъ по натурѣ, онъ чувствовалъ непреодолимую боязнь къ арестантамъ.

Я не забуду никогда тѣхъ отчаянныхъ воплей, которые онъ издавалъ, когда мы ползли въ рудникъ по параллелямъ и когда надзиратель скрывался хоть на секунду за угломъ штрека.

— Надзиратель! Надзиратель!—вопилъ бѣдняга-инженеръ, словно каторжники ужъ бросились на него со своими кайлами.—Надзиратель! Гдѣ ты? Не смѣй отъ меня отдаляться!

— Ровно звѣри мы!—разсказывали про него каторжане.—Подойти къ намъ боится. Все черезъ надзирателей: что они хотятъ, то съ нами и дѣлають.

Пользуясь его боязнью, надзиратели нагоняли на бѣднаго инженера еще большаго страха разсказами о „бунтахъ“ и готовящихся „возмущеніяхъ“, и инженеръ вѣрилъ имъ безусловно, и оставлялъ каторгу на произволъ надзирателей.

Службу у него въ конторѣ даже,—службу у этого, повторяю, въ сущности, добродушнѣйшаго человѣка, считали, и справедливо считали, худшей каторгой.

Того и гляди, въ кандалное угодишь!

Въ конторѣ всѣми вертѣлъ письмоводитель изъ каторжанъ нѣкто Г., умный, ловкій, но отвратительный, въ конецъ опустившійся субъектъ.

Инженеръ самъ мнѣ жаловался на Г.:

— Нельзя даже подумать, что этотъ Г. еще такъ недавно былъ человѣкомъ изъ лучшаго общества. Пьяница, воръ,—на-дняхъ опять его въ подлогѣ поймалъ: поддѣлалъ квитанцію на 15 бутылокъ водки.

— Зачѣмъ же вы его держите?

— Кого же взять? Что за народъ кругомъ?

Г. хорошо зналъ слабую струнку своего начальника, держалъ его въ постоянномъ страхѣ разсказами о готовящихся злоумышленіяхъ и вертѣлъ судьбой подвластныхъ ему каторжанъ, работавшихъ въ конторѣ, какъ хотѣлъ.

Напримѣръ, бывшій офицеръ К., сосланный за убійство, совершенное подъ вліяніемъ тяжелой обиды, милый и скромный юноша, ни за что ни про что попалъ изъ конторы горнаго инженера на мѣсяць въ кандалную тюрьму.

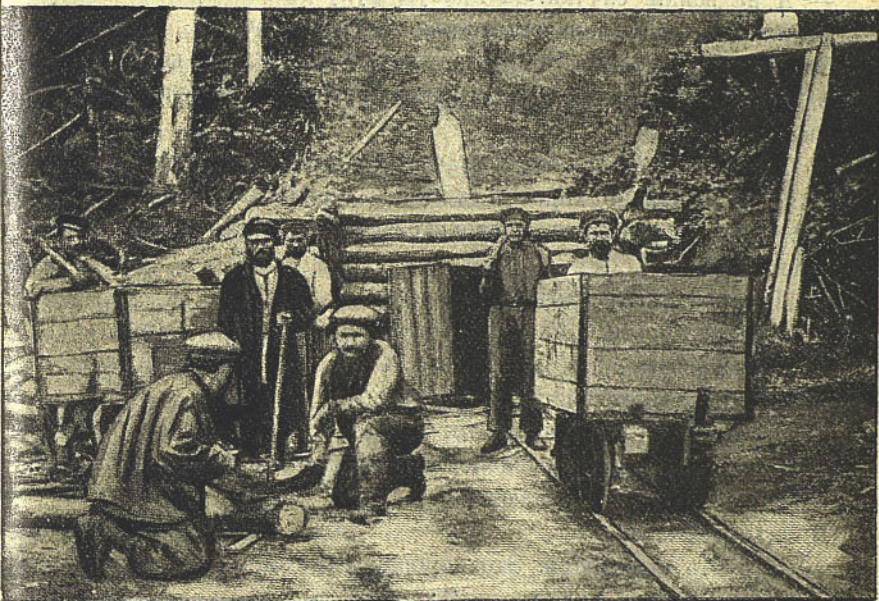
Человѣкъ честный, онъ не хотѣлъ потворствовать Г. въ его плутняхъ, и Г., чтобы избавиться отъ этого „бѣльма на глазу“, насплетничалъ на него инженеру.

Тотъ повѣрилъ, и несчастный К. попалъ въ кандалную. Я самъ слышалъ, какъ этотъ Г., съ полупьяной, избитой физиономіей, оралъ на каторжника:

— Въ кандалы, захочу, закую! Запору!

А вся разница-то между этимъ каторжаниномъ и Г. была та, что сосланъ онъ за меньшее преступленіе, чѣмъ Г., и за преступленіе, не столь гнусное, какъ преступленіе Г.

Сахалинскій служащій... Для меня, видѣвшаго ихъ всѣхъ, даже лучшій изъ сахалинскихъ служащихъ рисуется въ видѣ одного



Арестантскія работы. Передъ входомъ въ рудники.

милѣйшаго смотрителя поселеній Тымовскаго округа, у котораго я прожилъ нѣсколько дней.

Въ качествѣ смотрителя поселеній, онъ обязанъ заботиться объ „устройствѣ поселенческихъ хозяйствъ“, а что онъ могъ сдѣлать, когда и на службу-то на Сахалинъ онъ попалъ именно потому, что „прохозяиничалъ“ свое собственное имѣніе.

— Не дается мнѣ это!—простодушно сознавался онъ.

Пожилой человѣкъ, онъ содержалъ семью, оставшуюся въ Россіи.

— Во всемъ, какъ видите, въ лишней папиросѣ себѣ отказываю! Никогда такой каторги не терпѣлъ.

Онъ страшно тосковалъ по семьѣ и проклиналъ дѣль, когда поѣхалъ на Сахалинъ.

— Жизнь какая! Что за люди кругомъ!

Ложась спать, онъ клалъ себѣ по обѣимъ сторонамъ кровати, на стульяхъ, два револьвера.

Положимъ, „постелить постель“ на Сахалинѣ значить: постлати бѣлье, положить подушки, одѣяло и револьверъ на стулъ около кровати. Такъ всѣ спятъ,—мужчины и женщины.

— Но два-то револьвера зачѣмъ?

— А на всякій случай. За правую руку схватять, я лѣвой буду стрѣлять. Два револьвера спокойнѣе. Здѣсь страшно.

Когда я ему указывалъ, что у него удивительно какъ процвѣтаетъ ростовщичество, и кулаки пьютъ кровь изъ поселенцевъ, онъ отвѣчалъ:

— А какъ же? Знаете, кулачество, это — во вкусѣ русскаго крестьянина. Каждый хорошій хозяинъ непременно кулакомъ дѣлается. Я кулакамъ даже покровительствую, я ихъ люблю: они—хорошіе хозяева.

— Да вѣдь остальнымъ-то отъ нихъ...

— Ахъ, повѣрьте, объ остальныхъ и думать не стоитъ! Это дрянъ, это мерзость, это навозъ, пусть на этомъ навозѣ хоть нѣсколько хорошихъ хозяйствъ вырастеть.

Я обращалъ его вниманіе на то, что каторга и поселенье, оставленныя на произволъ надзирателей, Богъ знаетъ что отъ нихъ терпятъ:

— Положительно страдаютъ.

И онъ отвѣчалъ:

— И пусть страдаютъ. Это хорошо. Страданіе очищаетъ человѣка. Вы не читали книги...

Онъ назвалъ какое-то лубочное изданіе.

— Нѣтъ? Напрасно. А я, какъ сюда ѣхалъ, въ Одессѣ купилъ и дорогой на пароходѣ прочелъ. Очень интересно. Какъ одинъ преступникъ описываетъ, какъ онъ въ какой-то иностранной тюрьмѣ сидѣлъ, и что съ нимъ дѣлали. Волосъ дыбомъ становится. А онъ еще благодаритъ тюремщиковъ, говорить, что, именно благодаря страданіямъ, онъ сталъ чище. Именно, благодаря страданіямъ!

Вѣдь надо же было! Одну, можетъ-быть, книгу прочелъ въ жизни человѣкъ, и та, какъ нарочно, оказалась дрянъ.

Нѣтъ ничего удивительнаго, что, когда я спросилъ этого добраго человѣка, какъ мнѣ проѣхать въ селенье Хандосу вторую, въ его же округъ, онъ отвѣтилъ мнѣ:

— О, это пустое. Въ Онорской тюрьмѣ вамъ дадутъ тройку, а тамъ—верстъ восемь. Въ полчаса доѣдете!

Милый человѣкъ!

А я отъ Оноры до Хандосы 2-й ѣхалъ три съ половиной часа, и не только на тройкѣ, а верхомъ едва черезъ тундру и тайгу пробрался.

Оказалось, что смотритель поселій въ своемъ поселѣ ни разу не былъ!

Такъ „сахалинскіе“ служащіе „входятъ въ соприкосновеніе“ съ людьми, которыхъ имъ ввѣрено „исправлять и возрождать“.

Да если и входятъ въ соприкосновеніе...

Въ Хандосѣ 2-й, затерянномъ среди непроходимой тайги поселѣ, меня обступили поселенцы. Стоять и глядеть.

— Чего смотрите?

— Дай, ваше высокоблагородіе, на свѣжаго человѣка поглядѣть. Два года у насъ никто не былъ.

Безконтрольнымъ распорядителемъ поселья былъ надзиратель; въ его избѣ я и остановился. Надзиратель ушелъ ставить самоваръ, и я бесѣдовалъ съ каторжанкой, отданной ему въ сожительницы.

Она смотрѣла на меня, какъ на начальство.

Въ Хандосѣ 2-й меня интересовала одна каторжанка, Татьяна Ерооеева, отданная въ сожительницы къ поселенцу. Настоящій извергъ, 30 лѣтъ она успѣла овдовѣть три раза и на Сахалинъ попала, какъ гласить приговоръ, за то, что:

1) Задумавъ лишить жизни падчерицу, ударила ее такъ, что та на слѣдующій день умерла.

2) За то, что неоднократно колола глаза иголкой своему сынку и присыпала ихъ солью, послѣдствіемъ чего было плохое зрѣніе въ правомъ глазу и полная потеря зрѣнія въ лѣвомъ.

Я спросилъ у надзирательской сожительницы:

— У васъ въ Хандосѣ живетъ Ерооеева?

— Живетъ!

— Ну, что она? Какъ?

Г.-е. какъ живетъ, хорошо, плохо? И вдругъ услышалъ отвѣтъ:

— Ничаво. Годится.

Согласитесь, что очень типичный отвѣтъ пріѣзжему г. служащему!

Таковы нравы.

И таково отношеніе къ каторгѣ, предоставленной всецѣло на произволъ надзирателей.

Смотрители тюремъ.

Смотритель тюрьмы, это, по большей части, человѣкъ, выслужившійся изъ надзирателей, изъ фельдшеровъ. Полное ничтожество, которое получаетъ вдругъ огромную власть и ею „объѣдается“.

По уставу онъ имѣетъ право въ каждую данную минуту своею властью дать арестанту до 30 розогъ или до 10 плетей.

По закону—каждое наказаніе должно быть вписано въ штрафной журналъ.

На дѣлѣ эти наказанія почти никогда не вписываются.

Отодралъ и кончено.

Сами каторжане просятъ:

— Не записывайте только въ штрафной журналъ.

Переводъ изъ отдѣла испытуемыхъ въ отдѣлъ исправляющихся, изъ „кандальной“ тюрьмы въ такъ называемую „вольную“ тюрьму, сокращеніе сроковъ,—все это зависитъ отъ записей въ штрафномъ журналѣ.

Выдрать и записать въ журналъ, это—уже не одно наказаніе, а два.

Такимъ образомъ, смотритель тюрьмы, по части тѣлесныхъ наказаній, является совершенно безконтрольнымъ.

Отсутствіе записи въ журналъ лишаетъ каторжника возможности жаловаться, и смотритель тюрьмы является совершенно безнаказаннымъ.

Издѣлка всплываютъ на свѣтъ Божій такія дѣла, какъ всплыло дѣло смотрителя тюрьмы Бестужева, который выпоролъ освобожденного отъ тѣлесныхъ наказаній больного падучей болѣзью арестанта Сокольскаго.

Но тамъ за Сокольскаго вступились врачи.

Тѣлесныя наказанія развращаютъ не только тѣхъ, кого наказываютъ, убивая въ арестантахъ послѣднюю даже „каторжную“ совѣсть, но и тѣхъ, кто наказываетъ.

Видъ разложеннаго на позорной скамѣ человѣка заключаетъ въ себѣ что-то развращающее, разнуздывающее звѣря, сидящаго въ человѣкѣ.

— Я тебѣ царь и Богъ!—оретъ ничтожество, вышедшее изъ надзирателей или фельдшеровъ.

Это, какъ я уже говорилъ, любимая поговорка смотрителей тюремъ.

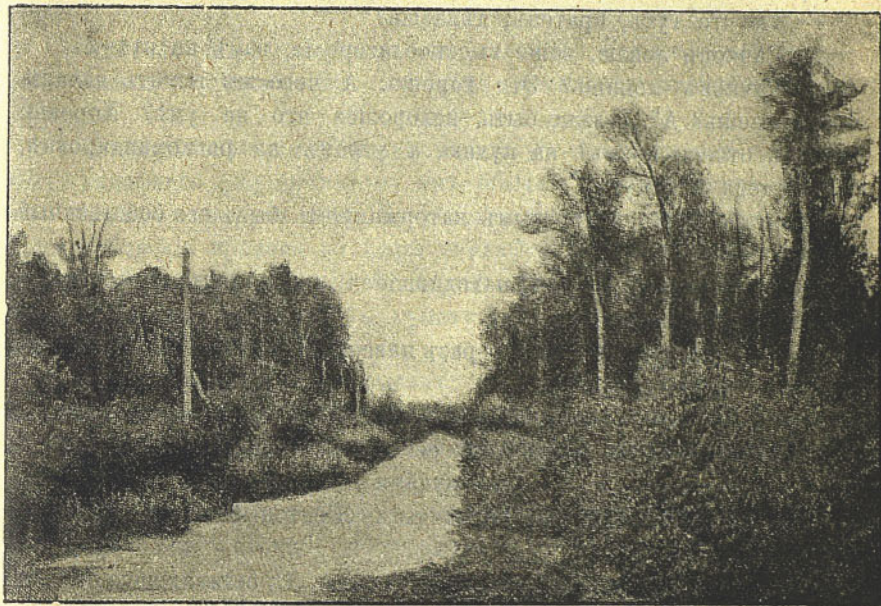
Наказанія доходятъ до удивительнаго издѣвательства.

— Это что теперь за наказанія! — машутъ рукой смотрителя тюремъ. — Прежде, бывало, выпорють арестанта, и онъ долженъ итти смотрителя благодарить.

— За что благодарить?

— За науку. Такой порядокъ былъ. Встанетъ и въ ноги кланяться долженъ: „Благодарю васъ, ваше высокоблагородіе, за то, что поучили меня, дурака!“ А теперь ужъ этого нѣтъ. Распущена каторга! Все „гуманности“ пошли.

Были и есть смотрителя, не признающіе непоротыхъ арестантовъ.



Онорская просѣка.

— Система ужъ у меня такая.

Одинъ изъ нихъ, по каторжному прозвищу „Желѣзный Носъ“, оставилъ по себѣ въ этомъ отношеніи анекдотическую память.

Приходя утромъ на раскомандировку, онъ высматривалъ, нѣтъ ли непоротатаго арестанта.

— Что это, братецъ, ты стоишь не по формѣ? Ногу отставилъ? А? Поди-ка, ляжь!

Если непоротый вель себя „въ аккуратѣ“, стоялъ, что называется, „не дыша“, и Желѣзный Носъ никакъ къ нему придраться не могъ, онъ отворачивался и говорилъ:

— Эй, ты тамъ, тихоня! Поди-ка, ляжь, братецъ. Палачъ, дай-ка ему горяченькихъ!

— За что, ваше высокоблагородіе?

— А, ты еще разговаривать? Разложить!

Онъ охотился за арестантами.

Бдетъ по берегу въ Корсаковскомъ округѣ, видитъ, арестантъ на отмели копается,—къ нему.

Арестантъ, завидѣвъ Желѣзный Носъ, дальше по отмели, смотритель за нимъ. Наконецъ дальше итти некуда: вода по поясъ.

Арестантъ остаѣливается.

— Ты что тутъ, братецъ, дѣлаешь?

— Рачковъ ловлю, ваше высокоблагородіе, вамъ на кухню.

— Рачковъ ловишь? Это хорошо. А чего жъ ты отъ начальства бѣгаешь? А? Должно-быть, нехорошее что на умѣ? Хорошо. Рачковъ отнеси ко мнѣ на кухню, а утромъ на раскомандировкѣ, выйди, тебя посѣкутъ!

Единственнымъ непоротымъ каторжникомъ былъ его собственный поваръ.

Очень искусный поваръ, находившійся за это подъ покровительствомъ смотрительши.

— Ты мнѣ его не тронь!—разъ навсегда объявила смотрительша своему супругу.

Однажды она уѣхала куда-то на цѣлый день къ знакомымъ; возвращается,—мужъ встрѣчаетъ ее сконфуженный.

— Выпоролъ?!—всплеснула руками смотрительша.

— Выпоролъ!—виновато отвѣчаетъ Желѣзный Носъ.—Не сердись, душенька!

Меня интересовала личность смотрителя Л., оставившаго по себѣ на Сахалинѣ поистинѣ страшную память.

Порки при Л. носили какой-то невѣроятный характеръ.

Пороли каждое утро по 30, по 40 человекъ.

Я спрашивалъ арестантовъ, какъ это происходило.

— Выйдетъ онъ, бывало, ничего. Да потомъ себя растревлять начнетъ. Воззрится, замѣтитъ у кого какую неисправность: „У тебя что это, братъ, бушлатъ (куртка) какъ будто рванный? А? Нарочно разорвалъ? Нарочно?“—„Помилуйте, ваше высокоблагородіе, зачѣмъ нарочно? На работѣ разорвался!“—„На работѣ? А ты что жъ не починилъ? А? Такъ-то ты о казенномъ имуществѣ печешься? Такъ-то?“—„Зачинить нечѣмъ!“ Къ этому времени онъ ужъ совсѣмъ озвѣрѣетъ. „Жилы изъ себя, мерзавецъ, вытяни да зашей! Жилы! Изъ кожи куски вырѣзай да заплатки клади! Я тѣло твое такъ

изорву, какъ ты казенный бушлатъ. Палачъ! Клади! Бей!“ И поидетъ. И чѣмъ дальше, тѣмъ пуще звѣрѣетъ. Стовъ стоитъ, а онъ ногами топочетъ. „Притворяются, подлецы. Бей ихъ крѣпче!“ Въ концѣ, бывало, до того въ сердце войдетъ, что напослѣдокъ и палача разложить прикажетъ,—арестантамъ драть велить: „Дерите его, чтобъ спуску вамъ, подлецамъ, не давалъ!“

— Не глупый человекъ былъ!—пояснялъ мнѣ бывший его помощникъ, теперь самъ смотритель. — Зналъ, какъ каторгу держать. Каторгу на палача, да и палача на каторгу озлоблялъ. Стачки быть не можетъ! Ужъ палачъ послѣ этого-то „мазать“ не будетъ.

Смотритель М., при мнѣ завѣдывавшій Корсаковской тюрьмой, считался однимъ изъ наиболѣе жестокихъ смотрителей на Сахалинѣ.

— Доктора—вотъ мое бѣльмо на глазу!—кричалъ онъ по вечерамъ, напиваясь „по принятому имъ обычаю“. — Гуманность разводить! А намъ это не къ лицу. Я—разгильдѣвецъ!—хвастался онъ. — Разгильдѣвскія времена на Карѣ помню! Я прирожденный тюремщикъ. Мой отецъ смотрителемъ тюрьмы былъ. Я самъ подъ нарами выросъ! Мы не баре, чтобъ гуманности разводить! Мы вотъ въ чемъ ходимъ!

И онъ съ гордостью показывалъ свою порыжѣлую, выгорѣвшую на солнцѣ шинель, которой было лѣтъ, можетъ-быть, двадцать.

Въ трезвомъ видѣ не было человека болѣе мягкаго, лстиваго, медоточиваго, чѣмъ этотъ старый лукавый сибирякъ.

Арестантовъ онъ называлъ „братанами“, „братиками“, „родненькими“, „милыми людьми“, „голубчиками“, и безъ „Божьяго слова“ никуда.

— Безъ Божьяго слова развѣ можно?!

Провинившагося арестанта онъ подманивалъ къ себѣ пальчикомъ.

— Пойди-ка, миленькій, сюда. Ляжь-ка, голубушка, тебя взбрызнутъ!

Арестантъ валился въ ноги:

— Ваше высокоблагородіе, за что же? Простите.

— И что ты, миленькій! И что ты, голубчикъ! Развѣ я на тебя сержусь? Я на тебя не сержусь. Ложись, ложись, голубчикъ! А за то, что разговариваешь, пяточекъ прибавимъ.

— Ваше высокоблагородіе...

— И-и, голубчикъ, какъ нехорошо. Тебѣ начальникъ говорить: ложись! А ты не слушаешься. Еще пять. Ложись, братанъ.

Видя, что наказаніе все растеть, арестантъ ложится.

— Вотъ такъ-то, родной, лучше! Съ Богомъ, милый. Взбрызни ка его, Медвѣдевъ. Пороть порѣже, не торопись, милый! Порѣже, покрѣпче! Вотъ такъ, вотъ этакъ! Рѣже-то лучше. Намъ торопиться некуда.

И если арестантъ вопилъ не своимъ голосомъ, М. говорилъ ему:

— Ничего, ничего, потерпи, родненькій! Христось терпѣль и намъ велѣлъ.

Опытные арестанты, разумѣется, ложились безъ всякихъ разговоровъ, зная, что за всякую просьбу бываетъ только прибавка, — и смотритель говорилъ, глядя на нихъ:

— Душа радуется! Братики меня съ одного слова понимаютъ! Живемъ душа въ душу съ миленькими!

— А не случилось такъ, чтобъ „форлыбачили“? — спросилъ я М., слушая, какъ онъ „съ Божьимъ словомъ“ отечески наказуетъ свое стадо.

Онъ захихикалъ.

— И что вы-съ? Какое выдумали! Это у новыхъ, у „гуманныхъ“ каторга распущена. А у меня нѣтъ-съ. Душонка у него, у родненькаго, трясется, какъ ложится. Онъ меня знаетъ.

И, только напиваясь по вечерамъ, онъ кричалъ:

— Въ ужасъ надо каторгу держать! Въ ужасъ! Вы у меня спросите! А эти „гуманные-то“ только унижаютъ насъ! Унижаютъ, подлецы! Ъхали бы гуманичить, куда хотять, а въ каторгу соваться нечего. Каторга — наше дѣло. И въ писаніи сказано: страхъ спасителенъ.

Бывшій фельдшеръ К., смотритель Рыковской тюрьмы, чловѣкъ другого склада.

Онъ любитъ порисоваться и пофигурировать.

Даже о своемъ фельдшерствѣ рассказываетъ небылицы въ лицахъ. Какъ какая-то графиня, отправляя на войну своего мужа, поручала ему:

— Вамъ его поручаю! Берегите его!

— Ваше сіятельство, будьте спокойны.

На сахалинѣ онъ основываетъ по болотамъ поселенія и называетъ ихъ, въ честь себя, своимъ именемъ. Перестраиваетъ тюрьмы „по собственнымъ проектамъ“ и невѣроятно этимъ хвастается.

„Произойдя изъ ничтожества“, онъ уливается властью.

— У меня арестантъ волосокъ каждый на бровяхъ моихъ знаетъ, какъ лежить.

Особенно онъ любитъ вспоминать, какъ временно завѣдывалъ Воеводской тюрьмой, страшѣйшей на Сахалинѣ, теперь упраздненной.

— Выхожу, бывало, на раскомандировку: „Здорово, мерзавцы! Здорово, варнаки!“ Дружный отвѣтъ: „Здравія желаемъ, ваше высокоблагородіе!“ —

и хохотъ. Понимаютъ, что я веселый. А ужъ если молчу, — могила кругомъ. Вышелъ, мерзавцами не называлъ, понижаютъ: „жди!“ Не въ духѣ я, значить. Ни одного генерала на смотру такъ не трепещутъ! Драть велю, — отъ страха едва дышать. „Рррозги, лопаты, яму рыть!“

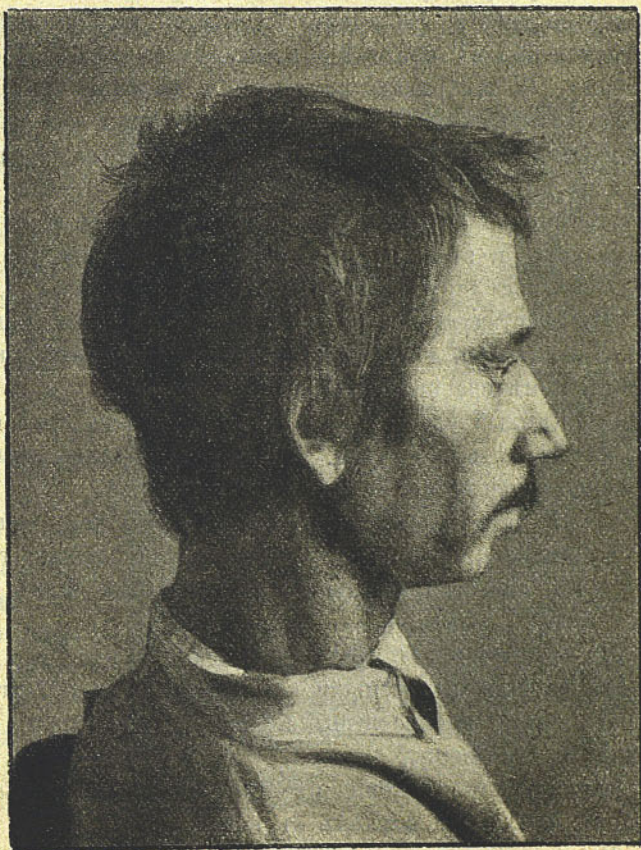
— Это - то зачѣмъ же?

— А могила. Будто на смерть запарывать буду. „Фельдшера!“ кричу. Помощники около, буд-

то меня успокоиваютъ. Арестанты въ ноги валятся. Палачу страшно. И начну наказаніе. „Мазать пришелъ? — кричу. — Мазать? Самого разложу!“

Онъ врагъ тѣлесныхъ наказаній.

— Это ни къ чему не приводитъ! Арестанты привыкаютъ. Это на нихъ не дѣйствуетъ. Онъ 3000 розогъ въ свою жизнь получилъ, что ему? Хоть каждый день дери. Нѣтъ, арестантъ долженъ началь-



Арестантскіе типы.

ника понимать. Если я скажу: „драть!“—у арестанта загодя шкура сходить. Вы у арестантовъ обо мнѣ спросите.

У арестантовъ и спрашивать было нечего: я зналъ о той славѣ, которую пользуется К.

— Я съ вами на наказаніе не пойду,—сказалъ мнѣ какъ-то К.— Если я присутствую на наказаніи, арестанта должны въ лазаретъ замертво унести. Не иначе. Такъ меня ужъ тюрьма знаетъ. Я деру обыкновенно въ конторѣ,—разсказывалъ онъ.—Посрединѣ ставятъ кобылу. Я закуриваю папиросу и начинаю ходить изъ угла въ уголъ. Поравняюсь съ кобылой: „разъ!“ А то еще за дѣло примусь, пишу: будто про него забылъ. А потомъ „разъ!“ Я тридцать розогъ по два, по три часа даю. Онъ у меня измѣняется весь, пока выпорю. И кричить, и стонетъ, и Богу молится, и ругаться начинаетъ, и въ родѣ какъ сумасшедшій дѣлается. Въ контору-то какъ на висѣлицу идетъ. Никогда не забудетъ.

И, дѣйствительно, не забываетъ. Я видѣлъ людей, считавшихъ полученные имъ розги тысячами, но 30 ударовъ „въ конторѣ“ они ни съ чѣмъ сравнить не могли.

— Каждый ударъ прочувствуешь. Ждетъ пока саднѣть перестанетъ. Да опять, что тѣло, душа отъ ожиданья измучается. Смерти просишь, только бы не такое мучительство.

— Но и это,—говоритъ К.,—мало къ чему приводитъ. Я и къ этому рѣдко прибѣгаю. По-моему, нѣтъ лучше темнаго карцера. Вотъ это средство. Страшнѣе всякой порки. Какъ посадятъ недѣли на двѣ... Пойдемте, посмотримъ.

Это нѣчто, дѣйствительно, ужасное.

Мы вошли въ узенькій коридорчикъ, по обѣимъ сторонамъ котораго были расположены маленькія клѣтушки съ крошечными оконцами въ двери.

Отъ воздуха въ коридорѣ кружилась голова. Запахъ словно на псарнѣ или около клѣтокъ съ волками.

И едва мы вошли въ коридоръ, изъ всѣхъ каморокъ послышалась адская ругань по адресу К.

Люди вопили въ бѣшенствѣ, ломились въ двери. Это напоминало буйное отдѣленіе сумасшедшаго дома.

— Отвори-ка Гусева!—приказалъ К.

Надзиратель взялся за замокъ. Но изъ камеры голосъ, полный ужаса:

— Не входите! Не входите ко мнѣ! Я убью!

— И на самомъ дѣлѣ, оставь его!—отмѣнилъ свое распоряженіе К.—Это, какъ видите, почище порки. Порка что!

Замѣчательно, что всѣ эти люди, славящіеся своимъ драньемъ, — всѣ въ одинъ голосъ говорить:

— Порка что! Развѣ она дѣйствуетъ!

И дерутъ.

Смертная казнь.

За четыре года управленія генерала Мерказина, на Сахалинѣ не было ни одной смертной казни.

— Я знаю, это вызываетъ недовольство у многихъ! — говорилъ мнѣ генералъ.

Но прежде, чѣмъ говорить объ этомъ „недовольствѣ“, скажемъ нѣсколько словъ о томъ, какъ происходила обыкновенно смертная казнь на Сахалинѣ.

Послѣдняя, съ Мерказина, казнь на Сахалинѣ происходила около девяти лѣтъ тому назадъ.

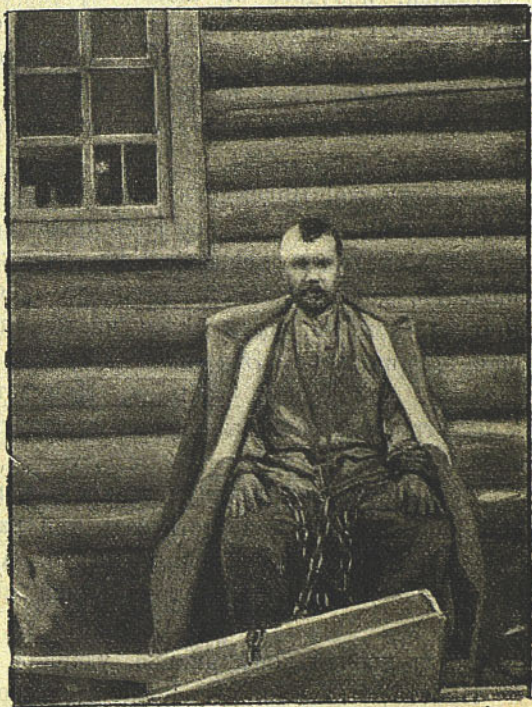
Казнили троихъ каторжниковъ — рецидивистовъ, — старика, бывалаго каторжанина, и двоихъ молодыхъ людей, — за убійство съ цѣлью грабежа, совершенное уже на островѣ.

Мнѣ рассказывалъ о этой казни сахалинскій благочинный, о. Александръ, напутствовавшій осужденныхъ.

Они содержались отдѣльно. О. Александръ, по распоряженію начальства, явился къ нимъ за три дня до смертной казни.

По появленію священника осужденные поняли, что смертный часъ приближается.

— Поблѣднѣли, испугались, оторопѣли, слова выговорить не могутъ, — рассказывалъ о. Александръ, — только старикъ по первоначально куражился, смѣялся, издѣвался надъ смертью, надъ товари-



Арестантскіе типы. Качечникъ.

щами... Начнемъ священное пѣть, — смѣется: „Повеселѣй бы что спѣли!“ — „Ну, — говорю, — братцы, тамъ что будетъ, то будетъ, а пока не мѣшасть и о душѣ подумать“. Ну-съ, хорошо. Принялись за молитву. Молились пристально, съ усердіемъ, всей душой.

— Всѣ три дня?

— Всѣ три дня-съ. Бесѣдовали о загробной жизни, читали житія святыхъ, пѣли псалмы, молились вмѣстѣ. Гулять на дворикъ вмѣстѣ ходили. Не выпускали они меня отъ себя. Молятъ прямо: „Батюшка, побудьте съ нами, страшно намъ“. Сбѣгаешь, бывало, домой часа на полтора, перекусишь, — и опять къ нимъ. Спали они мало, такъ, съ часъ забудется который и опять проснется. И я съ ними не спалъ. Да и до сна ли было!

— Бесѣдовали о чемъ-нибудь съ ними, кромѣ священныхъ предметовъ?

— Какъ же! Надежду въ нихъ все-таки поддерживалъ. „Бывали, молъ, случаи, что и на эшафотѣ прощенье объявляли“. Развѣ можно человѣка надежды лишать? Безъ надежды человѣкъ въ отчаянье впадаетъ. Допытывали они меня все — „когда да когда?“ Ну, а какъ принесли имъ наканунѣ бѣлье чистое, тутъ они все поняли, что, значить, на утро. Эту ночь всю ужъ не спали. Одинъ только, кажется, на полчаса забылся. Причастилъ я ихъ этой ночью. А на утро, еле забрезжилось, — выводить. Надѣлъ черную ризу — повели.

Тутъ произошла задержка: опоздалъ на четверть часа кто-то изъ лицъ, обязанныхъ присутствовать при казни.

— Вѣрите ли, — говорилъ мнѣ о. Александръ, — мнѣ эти четверть часа дольше всѣхъ трехъ дней показались. Мнѣ! А каково имъ?

Когда прочли конфирмацію, ударили барабаны.

Но это была лишняя предосторожность. Никакой обычной въ такихъ случаяхъ ругани по адресу начальства не было.

— Умерли удивительно спокойно. Приложились ко кресту и отдались въ руки палача. Только одинъ, самый молодой, Сютинъ, сказалъ: „Теперь самое жить бы, а нужно помирать“. Сами и на эшафотъ взошли и на западню стали.

Только старикъ, сначала куражившійся надъ смертью, съ каждымъ часомъ все больше и больше падалъ духомъ.

Его пришлось чуть не отнести на эшафотъ. Отъ ужаса у него отнялись руки и ноги.

Предъ казнью онъ просилъ водки.

— Ну, что жъ, дали?

— Нѣтъ. Развѣ можно? Послѣ полночи только приобщались, а въ пять часовъ водку пить не подобаетъ.

Казнь продолжалась долго. Одинъ изъ конвоировъ во время нея упалъ въ обморокъ. Многіе изъ арестантовъ, приведенныхъ присутствовать при казни, не выдерживали и уходили.

Эта послѣдняя казнь на Сахалинѣ происходила во дворѣ Александровской тюрьмы.

Обыкновеннымъ же мѣстомъ смертной казни была, теперь упраздненная и скрытая до основанія, страшная и мрачная Воеводская тюрьма, между постами Александровскимъ и Дуэ.

Висѣлица ставилась посрединѣ двора.

Присутствовать при казни выгоняли изъ тюрьмы 100 арестантовъ, а если казнили арестанта Александровской тюрьмы, то пригоняли еще человѣкъ 25 оттуда.

Воеводская тюрьма была расположена въ ложбинѣ, и съ горъ, амфитеатромъ возвышающихся надъ нею, было какъ на ладони видно все, что дѣлается во дворѣ тюрьмы.

На этихъ-то горахъ спозаранку располагались поселенцы изъ Александровска и „смотрѣли, какъ вѣшаютъ“.

И этотъ амфитеатръ, переполненный зрителями, и эти подмостки висѣлицы,—все это дѣлало воеводскую тюрьму похожей на какой-то чудовищный театръ, гдѣ давались страшныя трагедіи.

• Отъ многихъ изъ зрителей я слышала подробности трагедій, разыгрывавшихся на подмосткахъ Воеводской тюрьмы, но, разумѣется, самыя цѣнныя, самыя интересныя, самыя точныя подробности мнѣ могъ сообщить только человѣкъ, ближе всѣхъ стоявшій къ казненнымъ, присутствовавшій при ихъ дѣйствительно послѣднихъ минутахъ,—старый сахалинскій палачъ Комлевъ.

Онъ повѣсилъ на Сахалинѣ 13 человѣкъ; изъ нихъ 10—въ Воеводской тюрьмѣ.

Его первой жертвой былъ сс.-каторжный Кучерявскій, присужденный къ смертной казни за нанесеніе ранъ зрителю Александровской тюрьмы Шишкову.

Кучерявскій боялся казни, но не боялся смерти.

Въ ночь передъ казнью онъ какъ-то ухитрился достать ножъ и перерѣзалъ себѣ артерію.

Бросились за докторомъ; пока сдѣлали перевязку, пока привели въ чувство бывшаго въ безпамятствѣ Кучерявскаго, наступилъ часъ „выводить“.

• Кучерявскій умиралъ смѣло и дерзко.

Онъ самъ скинулъ бинтъ, которымъ было забинтовано его горло.

И все время кричать арестантамъ, чтобы они послѣдовали его примѣру.

Напрасно билъ барабанъ. Слова Кучерявскаго слышались и изъ-за барабаннаго боя.

Кучерявскій продолжалъ кричать и тогда уже, когда его въ саванѣ взвели на эшафотъ и поставили на западню.

Комлевъ стоялъ около и, по обычаю, держалъ его за плечи.

Кучерявскій продолжалъ изъ-подъ савана кричать:

— Не робѣйте, братцы!

Послѣдними его словами было:

— Веревка тонка, а смерть легка...

Тутъ Комлевъ махнулъ платкомъ, помощники выбили изъ-подъ западни подпорки,—и казнь была совершена.

Процедура казни длилась обыкновенно долго: часа полтора.

Осужденнаго выводили въ кандалахъ.

Въ кандалахъ онъ выслушивалъ приговоръ. Затѣмъ его расковывали, надѣвали саванъ, сверхъ савана петлю, смазанную саломъ...

Въ общемъ, казнь, назначавшаяся обыкновенно въ пять, рѣдко кончалась раньше половины седьмого.

Эти страшные полтора часа рѣдко кто могъ выдержать.

„Иной спадаетъ такъ, что обомлѣетъ совсѣмъ“, по выраженію Комлева.

У большинства хватало силъ лишь попросить палача:

— Поскорѣй только! Прихлесните потуже! Безъ мученій, пожалуйста.

У многихъ нехватало силъ и на это.

Сс.-каторжный Кинжаловъ, казненный за убійство на Сахалинѣ лавочника Никитина ¹⁾, все время молился, пока читали приговоръ, а затѣмъ, когда его начали расковывать, лишился чувствъ.

Его пришлось взнести на эшафотъ.

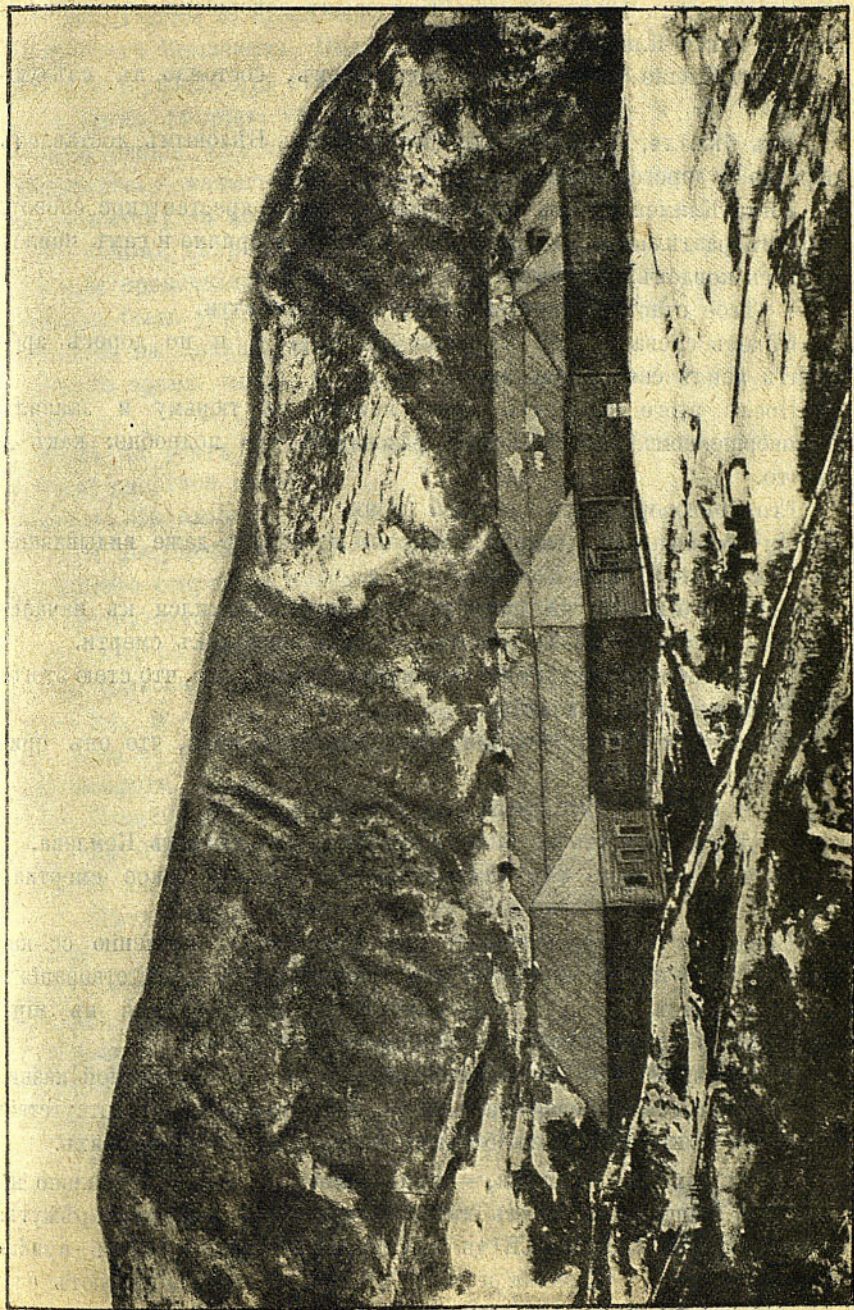
Державшій его Комлевъ говоритъ:

— Пс-моему, ему и петлю-то надѣли ужъ мертвому.

Передъ казнью, по воспоминаніямъ Комлева, почти всякій холодѣетъ и дрожить, весь колотится, дѣлается ужъ не блѣднымъ, а бѣлымъ совсѣмъ.

— Держишь его за плечи, когда стоитъ на западнѣ, черезъ рубашку рукъ слышно, что тѣло у него все холодное, дрожить весь.

¹⁾ Говорятъ, что все это убійство было подстроено знаменитой „Золотой Ручкой“. Она была по этому дѣлу подъ слѣдствіемъ, но освобождена за неимѣніемъ уликъ.



Воеводская, нынѣ упраздненная, тюрьма.

Среди всѣхъ 13 казенныхъ Комлевымъ совершенно особнякомъ стоять нѣкто Клименко.

Преступленіе, совершенное Клименкомъ, состояло въ слѣдующемъ.

Онъ бѣжалъ, былъ пойманъ надзирателемъ Бѣловымъ, доставленъ обратно и дорогой избить.

Тогда Клименко далъ товарищамъ „честное арестантское слово“, что онъ раздѣляется съ Бѣловымъ, бѣжалъ вторично и самъ явился на тотъ кордонъ, гдѣ былъ Бѣловъ.

— Твое счастье—бери. Невмоготу больше итти.

Бѣловъ снова повелъ Клименка въ тюрьму, и по дорогѣ арестантъ убилъ своего конвоира.

Послѣ этого Клименко самъ явился въ тюрьму и заявилъ о совершенномъ имъ убійствѣ, рассказавъ все подробно: какъ и за что.

Его приговорили къ смертной казни.

Ничего подобнаго смерти Клименка не видалъ даже видывавшій на своемъ вѣку виды Комлевъ.

Когда его взвели на эшафотъ, Клименко обратился къ начальству и... благодарилъ за то, что его приговорили къ смерти.

— Потому что самъ, ваше высокоблагородіе, знаю, что стою этого. Заслужилъ,—вотъ и казнятъ.

Единственной его просьбой было „отписать женѣ, что онъ принялъ такую казнь“.

— И отписать, что, молю, за дѣло.

— Даже барабанъ не билъ при казни!—по словамъ Комлева.

Вотъ вамъ, какъ умирали каторжники, и что такое смертная казнь.

Врядъ ли видъ ея особенно содѣйствовалъ исправленію сс.-каторжныхъ, которыхъ выгоняли изъ тюрьмы „для присутствованія“, и поселенцевъ, которые занимали самый естественный въ мірѣ амфитеатръ передъ этой противоестественной сценой.

Теперь перейдемъ къ недовольству отсутствіемъ смертной казни.

Генераль былъ совершенно правъ, когда говорилъ, что отсутствіе смертной казни вызываетъ большое неудовольствіе во многихъ.

— Помилуйте, батенька, — приходилось слышать буквально на каждомъ шагѣ,—вѣдь этакъ жить страшно! Того и гляди, зарѣжутъ! Безнаказанность полная! Вѣдь это курамъ насмѣхъ: только прибавляютъ срока! У человѣка и такъ 40 лѣтъ, а ему набавляютъ еще 15. Не все ли ему равно: 40 или 55 лѣтъ?! Нѣтъ! Эти гуманности надо по боку. Смертная казнь,—вотъ что необходимо!

И когда даже я, привыкшій на Сахалинѣ цѣлые дни проводить въ обществѣ Комлевыхъ, Полуляховыхъ, „Золотыхъ Ручекъ“, выходилъ изъ терпѣнія отъ этихъ разсужденій и говорилъ имъ:

— Тогда, господа, ужъ будетъ лучше говорить о колесованіи, о четвертованіи. Это хоть будетъ имѣть смыслъ. Это хоть еще не примѣнялось,—можетъ-быть, поможетъ. А смертная казнь примѣнялась и ничему не помогала.

На самомъ дѣлѣ!

Когда происходили всѣ эти убійства смотрителей?

Когда былъ убитъ Дербинъ? Селивановъ? Другіе? Когда было покушеніе на Ливина, на Шишкова?

Въ то время, когда за это смертная казнь полагалась обязательно.

Былъ ли убитъ хоть одинъ чиновникъ за эти четыре года, пока не было смертной казни?

Нѣтъ. Ни одного.

— А покушеніе на убійство доктора Чардынцева? А покушеніе на убійство секретаря полиціи Тымовскаго округа ¹⁾?

Дѣйствительно, „въ производствѣ“ имѣлись оба эти дѣла.

На доктора Чардынцева бросился арестантъ Криковъ.

Съ Криковымъ меня познакомилъ... докторъ Чардынецъ.

— Ну, а теперь пойдемте посмотрѣть на человѣка, который чуть меня не зарѣзалъ! — сказалъ мнѣ докторъ, когда мы обошли весь лазаретъ.

— Какъ? Развѣ онъ здѣсь? У васъ?

— Да. Въ отдѣльной комнатѣ.

— И вы не боитесь къ нему ходить?

— Нѣтъ, ничего. Онъ теперь успокоился. Мы съ нимъ большіе друзья.

Въ маленькой отдѣльной комнаткѣ лежалъ больной Криковъ, блѣдный, исхудалый, измученный.

Принявъ меня за доктора, онъ началъ слабымъ, прерывающимся отъ одышки голосомъ жаловаться на сильное сердцебіеніе и расхваливать своего доктора:

— Если бы вотъ не они, — прямо бы на тотъ свѣтъ отправился.

„Сильнѣйшій порокъ сердца“, шепталъ мнѣ докторъ.

Тогда мы перевели разговоръ на недавнее покушеніе. Криковъ сильно заволновался, схватился за голову:

¹⁾ Оба случая въ сел. Рыковскомъ.

— Лучше не поминайте, не поминайте про это!.. Самъ не знаю, что со мной было... У меня бываетъ это: голова кружится, самъ тогда себя не помню... Ужасъ беретъ, когда подумаю, что я чуть-чуть не сдѣлалъ!.. И противъ кого же?.. Противъ доктора!.. доктора!..

И онъ смотрѣлъ на доктора Чардынцева глазами, полными слезъ, съ такой мольбой, съ такимъ благоговѣніемъ, что, право, не вѣрилось: неужели отъ рукъ этого человѣка, дѣйствительно, чуть-чуть не погибъ этотъ-то самый докторъ?

Криковъ не старъй еще человѣкъ, но уже богадѣльщикъ; вслѣдствіе сильнѣйшаго порока сердца не способенъ ни на какую работу. Онъ человѣкъ, несомнѣнно, психически ненормальный. Ему вѣчно кажется, что его преслѣдуютъ, обижаютъ, что къ нему относятся враждебно. Онъ вѣчно всѣмъ недоволенъ. Необычайно, болѣзненно раздражителенъ. По временамъ впадаетъ прямо въ умоизступленіе и тогда, дѣйствительно, не помнить, что дѣлаетъ.

Съ докторомъ Чардынцевымъ онъ все время былъ въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ.

Но въ одинъ изъ такихъ припадковъ обратился съ требованіемъ какого-то лѣкарства. Докторъ отказалъ.

— Ага! Вы меня уморить хотите! Вы меня нарочно въ лазаретъ держите, не лѣчите! Такъ нѣтъ же, не дамъ я вамъ! — завопилъ Криковъ и, прежде чѣмъ кто-нибудь успѣлъ опомниться, выхватилъ изъ-за голенища ножъ и кинулся на доктора.

Къ счастью, г. Чардынцевъ успѣлъ схватить его за руку, обезоружить; сейчасъ же отвелъ его въ отдѣльную комнату и принялся успокаивать.

Когда Криковъ опомнился и пришелъ въ себя, его горю, его отчаянью, стыду не было границъ.

Какъ видите, подъ умышенное покушеніе этого случая подвести никакъ нельзя. Я увѣренъ, — и говорю, строго провѣривъ это, — что во всей каторгѣ не найдется ни одного человѣка, который умышенно захотѣлъ бы причинить вредъ г. Чардынцеву, этому славному, доброму, симпатичному, гуманному врачу.

Онъ чуть не палъ жертвой ненормальнаго субъекта. Какой врачъ, имѣющій дѣло съ душевно-больными, застрахованъ отъ этого?

При чемъ тутъ распушенность каторги?

Случай съ секретаремъ полиціи Тимовскаго округа, — случай странный, загадочный, и если говорить о распушенности, то не одной только каторги.

Г. секретарь — человѣкъ молодой, но быстро усвоившій себѣ сахалинскіе обычаи.

Въ его канцеляріи былъ писцомъ бродяга, пѣкто Тумановъ, молодой человѣкъ, тихій, скромный, трудолюбивый, хорошо воспитанный. Онъ попалъ въ какое-то „дѣло“, не захотѣлъ срамить своей семьи, предпочелъ скрыться и пойти на каторгу подъ именемъ бродяги.

На Сахалинѣ мало стѣсняются насчетъ ругани.

И однажды г. секретарь, будучи почему-то не въ духѣ, ни за что ни про что изругалъ Туманова и при всей канцеляріи назвалъ его „подлецомъ“ и „мерзавцемъ“.

На Туманова это страшно подѣйствовало. Быть-можетъ, въ особенности потому, что это случилось тогда, когда онъ только что выбрался изъ тюрьмы и только-только началъ снова чувствовать себя человѣкомъ.

Онъ нашелъ человѣка, судьба котораго близко подходила къ его. Познакомился съ одной бывшей баронессой, сосланной за поджогъ, и, кажется, между ними установились отношенія болѣе нѣжныя, чѣмъ отношенія простыхъ знакомыхъ ¹⁾.

По ея словамъ, на Тумановѣ, когда онъ пришелъ домой послѣ сцены съ секретаремъ, „лица не было“.

Онъ казался помѣшаннымъ, ходилъ по комнатѣ, хватался за голову, разговаривалъ самъ съ собою.

— Нѣтъ, нѣтъ!.. Это не такъ... Я все, что угодно, но подлецомъ и мерзавцемъ я никогда не былъ. Я потому и въ каторгу пошелъ, что я не подлецъ и не мерзавецъ... Нѣтъ, нѣтъ,—этого такъ оставить нельзя..

Девизъ Сахалина: „Всякій за себя“. Видя, что дѣло можетъ кончиться плохо, баронесса потребовала, чтобъ Тумановъ оставилъ ея домъ:

— Дѣлайте тамъ, что вамъ угодно, но я не желаю быть впутанной въ эту исторію. Довольно съ меня! Я отбыла каторгу, поселенчество, теперь я, слава Богу, крестьянка изъ ссыльныхъ, имѣю булочную, двухъ коровъ. Мнѣ рисковать всѣмъ этимъ не приходится. У меня есть ребенокъ. Оставьте мой домъ немедленно и забудьте, что были со мной знакомы.

— Мнѣ было тяжело говорить ему это,—разсказывала мнѣ она.— Вѣдь онъ на меня чуть Богу не молился. Но вы поймите и мое положеніе.

И вотъ, выкинутый на улицу, потерявшій голову, въ такую трудную минуту оттолкнутый даже той, на которую онъ „чуть Богу не молился“, Тумановъ идетъ и совершаетъ свое безумное дѣло.

¹⁾ См. 2 часть, глава „Баронесса Геймбрукъ“.

У г. секретаря шла, по обычаю, картежная игра. Штоссъ— обычное времяпрепровождение на Сахалинѣ не однихъ каторжанъ. Какъ вдругъ докладываютъ, что г. секретаря желаетъ видѣть Тумановъ „по чрезвычайно важному и неотложному дѣлу“. Г. секретарь вышелъ въ кухню.

— Что тебѣ?

Тумановъ стоялъ передъ нимъ блѣдный, какъ смерть, съ дрожащими губами.

— Я пришелъ поблагодарить васъ за то, что вы сегодня...

Вполнѣ увѣренный, что Тумановъ пришелъ просить прощенія, — на Сахалинѣ это принято, чтобы тѣ, кого обругали, просили прощенія, — увѣренный, что Тумановъ пришелъ просить прощенія, г. секретарь сказалъ:

— Хорошо, хорошо! Приѣдешь завтра!

Тогда Тумановъ сдѣлалъ шагъ впередъ и со словами:

— Это вамъ отъ подлеца и мерзавца!..—выхватилъ револьверъ. Щелкнулъ курокъ, выстрѣла не послѣдовало.

На крикъ перепуганнаго секретаря сбѣжались гости. Но Туманова уже не было. Лишь только произошла осѣчка, онъ бросился изъ кухни.

Г. секретарь и его гости пережили нѣсколько нехорошихъ минутъ. Въ домѣ масса оконъ. Станки закрыты не были. Вотъ-вотъ въ одно изъ оконъ грянетъ выстрѣлъ.

Но тутъ исторія начинается удивительно странной. Страхъ былъ напрасенъ: выстрѣлъ не грянулъ. Убѣгая изъ кухни, Тумановъ выронилъ или выбросилъ револьверъ. Оказалось, что тотъ стволъ, изъ котораго стрѣлялъ Тумановъ въ г. секретаря, не былъ вовсе заряженъ!

Что это было? Случайный недосмотръ, или только желаніе „попугать?“ Если недосмотръ, кто мѣшалъ Туманову выстрѣлить еще разъ, въ то время какъ г. секретарь стоялъ передъ нимъ, схватившись за притолоку, по его собственнымъ словамъ, „опѣпенѣвъ отъ ужаса“, не будучи въ состояніи даже крикнуть, не проявляя никакой попытки сопротивляться или обезоружить врага?

Когда Туманова поймали, въ его карманѣ нашли записку, въ которой онъ пишетъ, что рѣшилъ „покончить съ собой“.

На всѣ вопросы Тумановъ отвѣчалъ только одно:

— Я не стрѣлялъ. Это подлецъ и мерзавецъ стрѣлялъ въ г. секретаря, а не Тумановъ.

И просилъ только перевести его изъ Рыковского въ Александровскъ. По переводѣ туда онъ началъ вести себя еще страннѣе.

Началъ писать докладныя записки, въ которыхъ просить для поправленія здоровья отправить его... то въ Спа, то въ Біаррицъ.

Симулянтъ это или дѣйствительно душевно-больной, — когда я увѣзжалъ съ Сахалина, еще не было выяснено: Тумановъ только что былъ отданъ для испытанія въ психіатрическое отдѣленіе.

Но несомнѣнно, что въ этомъ дѣлѣ много страннаго, много загадочнаго.

Случай этотъ произвелъ сильное волненіе среди гг. служащихъ. Братъ потерпѣвшаго, докторъ, говорилъ мнѣ:

— Какъ я тутъ къ дьяволу гуманность! Если его повѣсятъ, я готовъ задушить его собственными руками.

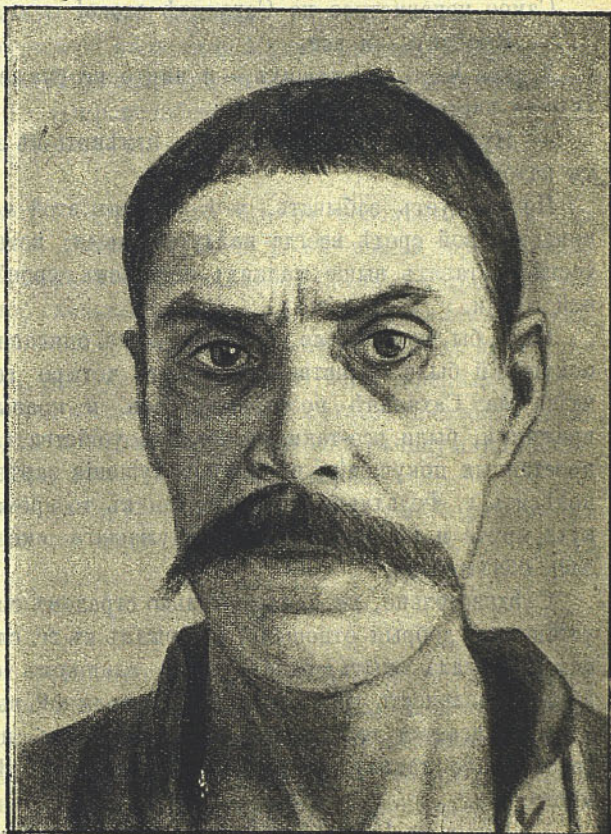
Но братья плохіе судьи въ дѣлахъ, гдѣ замѣшаны ихъ братья.

Остальные гг. служащіе раздѣлились на два лагеря. Одни, — и я не скажу, чтобы это была лучшая часть сахалинскихъ служащихъ, — кричатъ:

— Повѣсить!

— Повѣсить для примѣра! Каторга распушена. Нужно защищать безопасность...

— Но, ради Бога, — говорилъ я имъ, — безопасность чего вы, добрые люди, хотите защищать такимъ страшнымъ путемъ? Безо-



Арестантскіе типы.

пасность ругани, издѣвательства надъ каторжанами и поселенцами? Да развѣ такъ надо обращаться съ „возрождающимся“ человѣкомъ? Вѣдь законъ, правительство — хотять сдѣлать Сахалинъ мѣстомъ „возрожденія“ преступника.

Но въ отвѣтъ раздавалось:

— Вздоръ! Все это—одна „гуманность“!

Самое ненавистное на Сахалинѣ слово!

— Повѣсить—и все.

Другая часть служащихъ,—и никто не скажетъ, чтобы это была худшая часть,—полагаетъ, что:

— Нужно намъ самимъ многое измѣнить въ нашихъ отношеніяхъ къ каторгѣ.

Не слѣдуетъ забывать, что даже въ этой несчастной, забитой, придавленной средѣ всегда найдутся люди, которые остатки своей чести поставятъ выше жалкихъ остатковъ своей горькой, презрѣнной жизни.

Какъ бы то ни было, но фактъ, что описанные мною два случая покушеній были единственными за тѣ четыре года, когда смертная казнь на Сахалинѣ не примѣнялась, и нравы, сравнительно съ прежними, были все-таки мягче. Всѣ убійства служащихъ, всѣ безпрестанныя покушенія, въ родѣ покушенія зарѣзать г. Ливина или повѣсить г. Фельдмана, происходили въ то время, когда нравы были куда круче и когда за убійство служащаго смертная казнь полагалась обязательно.

Слѣдовательно, не однимъ только страхомъ смертной казни можно установить добрыя отношенія каторжанъ къ гг. служащимъ. Веревка, какъ показала опытъ, одна веревка слишкомъ слаба, чтобы удержатъ безопасность гг. служащихъ на должной высотѣ.

Что касается до убійства своего же брата, поселенца, съ цѣлью грабежа, то такихъ случаевъ на Сахалинѣ, дѣйствительно, очень много.

— Ну, а въ Петербургѣ, а въ Москвѣ, во всемъ мірѣ ихъ мало?—основательно замѣчалъ мнѣ по этому поводу противникъ смертной казни, военный губернаторъ острова г. Мерказинъ.—А вѣдь это—островъ, сплошь населенный убійцами.

То, что говорится на Сахалинѣ, дѣйствительно, заставляетъ волосы подниматься дыбомъ, непонятно по своему ужасу для насъ. Но не слѣдуетъ забывать, что Сахалинъ, это—мѣсто, гдѣ все „перевернуто вверхъ ногами“. Въ этой средѣ несчастныхъ, ищущихъ забвенія, бутылка спирта стоитъ подчасъ 10 рублей. Въ этой средѣ нищихъ человѣка рѣжутъ за 60 копеекъ. Поселенцы селенія Вальзы

отправились на охоту за бѣглыми Полуляховымъ, Казѣвымъ и товарищами и стрѣляли по нимъ, боясь, что бѣглые съ голоду зарѣжутъ у нихъ корову.

Слѣдуетъ съ особой осторожностью относиться ко всѣмъ этимъ „убійствамъ съ цѣлью грабежа“. Часто тамъ, гдѣ предполагають грабежъ, таится месть, многолѣтняя, глубокая, затаенная такъ, какъ умѣетъ затаивать обиды только каторга.

У поселенца Потемкина, въ селеніи Михайловскомъ, Александровскаго округа, бѣглый Широколовъ зарѣзалъ жену. И случай этотъ вызвалъ сочувствіе къ Широколову всей каторги.

— И подѣломъ. Не онъ—другой бы это сдѣлалъ.

— За что же?

— Да вы не знаете, баринъ, что онъ за человѣкъ, этотъ Потемкинъ. Майданщикъ бывшій, „отецъ“, на нашей крови, какъ клопъ, раздулся. Нашими слезами напился. Сколько народу изъ-за него навѣкъ погибло, сколькоихъ до „свадьбы“ (смѣны именъ) довелъ, сколько въ бѣга отъ него пустилось и изъ малосрочныхъ въ вѣчные каторжники перешло, сколько народу изъ-за него перерѣзано!

Мнѣ пришлось остановиться у одного богатаго поселенца, домъ котораго положительно представлялъ собою вооруженную крѣпость. По стѣнамъ, надъ постелями,—вездѣ револьверы.

— А на ночь мы вамъ, баринъ, на столикъ около револьверъ положимъ, а свой-то вы подъ подушку сунете. Который будетъ ловчѣе достать.

Я удивился.

— Что такъ?

— Грабить меня собираются. Широколовъ тутъ въ округѣ балуетъ. По ночамъ мнѣ военный караулъ отряжаютъ. Въ сараюшкѣ тутъ непременно прячется. Пусть придутъ, пусть пограбятъ.

Но насмерть перепуганная, слезливая хозяйка не удержалась и повѣдала мнѣ истинную причину ожидавшагося нападенія:

— Убивца одного бѣглаго хозяинъ-то мой въ Александровскѣ призналъ. За то и порѣшили всѣхъ перерѣзать. Не любятъ они хозяина-то: лютъ онъ съ ними, что грѣха таить! Деньгу любить и беретъ. Ну, да вѣдь для того и на Сакалинѣ живемъ, чтобы чѣмъ ни на есть себя вознаградить. Каторгу, поселеніе отбыли,—должны за это что нажить. Вѣдь у насъ дѣти.

И такъ во многихъ случаяхъ, гдѣ сначала подозрѣваютъ только одинъ грабежъ. Много бываетъ случаевъ и убійствъ съ цѣлью только грабежа. Безработица, голодъ, полное неумѣнье заняться тѣмъ дѣломъ, которымъ заставляютъ заниматься, очень часто непривычка

къ труду, нежеланіе трудиться, порча человѣка тюрьмой, страсть къ картамъ,—вотъ что толкаетъ сахалинца итти убивать и грабить. Среди всѣхъ этихъ причинъ страсть къ картамъ и невозможность что-либо заработать—главнѣйшія. Нигдѣ, конечно, нѣтъ столько „голодныхъ убійствъ“, какъ на Сахалинѣ. Мыъ рассказывали двое каторжанъ, какъ они, окончивъ каторгу „по расейскому преступленію“ и выйдя на поселеніе, уже на Сахалинѣ убили поселенца. Выпросили у кого-то на время „поработать“ топоръ и пошли.

— Бить долженъ былъ Степка, потому онъ въ тѣ поры былъ посильнѣе.

„Степка“ размахнулся топоромъ.

— Ударилъ поселенца по головѣ, да съ размаха-то и самъ на него повалился.

— Почему же?

— Ослабъ больно. Три дня передъ тѣмъ ничего не ѣлъ. Онъ, поселенецъ-то, ежели бъ захотѣлъ, самъ бы насъ всѣхъ какъ котятъ передушилъ. Убили—и сейчасъ это на кухню за хлѣбомъ. Енъ тутъ лежитъ, а мы жремъ. Смѣхота!..

Такъ ихъ и „накрыли“.

Но веревка, какъ устрашающее средство, обанкротилась и въ дѣлѣ предупрежденія этихъ убійствъ.

Когда происходили всѣ эти ужасающія убійства, въ родѣ до сихъ поръ памятнаго даже на Сахалинѣ убійства лавочника Никитина?—Въ то время, когда казнь въ Воеводской тюрьмѣ была въ самомъ разгарѣ, и палачъ Комлевъ, по его выраженію, „работалъ“.

Эти случаи были, есть и будутъ, пока на Сахалинѣ не измѣнится многое, толкающее людей на преступленіе.

Имѣетъ ли смертная казнь вообще такое устрашающее вліяніе, какое приписываютъ ей гг. сахалинскіе сторонники повѣшенія „для примѣра“?

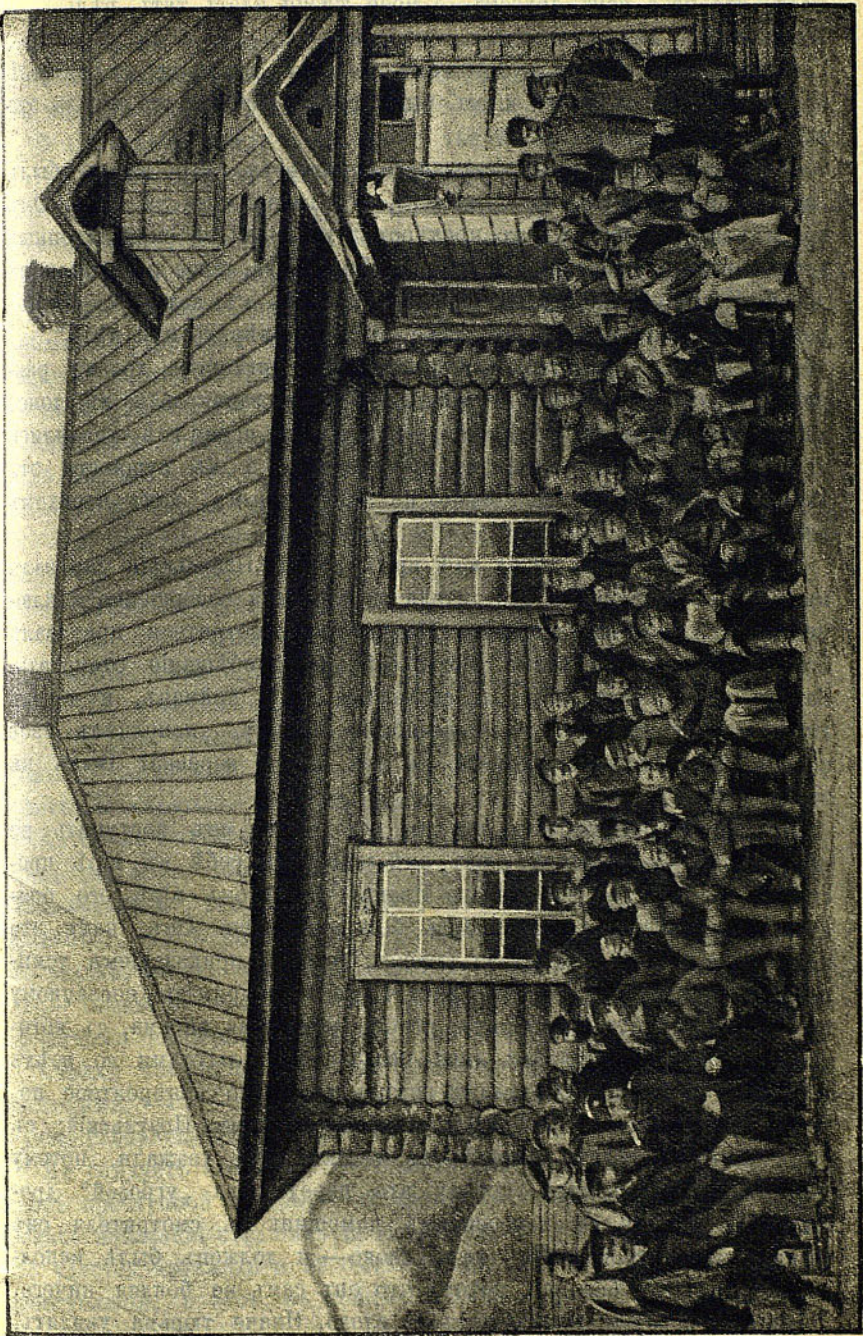
Надо вамъ сказать, что, благодаря невѣжеству и полному незнакомству съ закономъ, очень многіе преступники, совершая преступленіе, были увѣрены, что имъ за него „полагается веревка“.

Полуляховъ, убивая семью Арцимовичей въ Луганскѣ, былъ вполнѣ увѣренъ, что его, если поймаютъ, непременно повѣсятъ.

— Вѣдь не кто-нибудь, — членъ суда. Былъ увѣренъ, что за это веревки не избѣжать.

Единственнымъ послѣдствіемъ этой боязни было то, что онъ убилъ и мальчика, сына Арцимовича.

— Жаль было его убивать. Рука не поднималась!.. Даже и удара-то я ему не могъ нанести какъ слѣдуетъ... Но какъ поду-



Сахалинъ. Сахалинскіе поселенцы.

малъ, что не о чемъ другомъ, о моей жизни идетъ тутъ рѣчь, — и убиль.

Викторовъ, своимъ убійствомъ молодой дѣвушки въ Москвѣ надѣлавшій очень много шума, былъ тоже увѣренъ, что его за это непременно повѣсятъ.

Онъ и на судѣ ждалъ смертнаго приговора. Его ужасъ былъ такъ великъ, что онъ не сознавалъ, что говорилось на судѣ. Онъ до сихъ поръ увѣренъ, что прокуроръ, указывая на окровавленные вещи жертвы, требовалъ, чтобъ его, Викторова, тоже разрубили на части. Когда объявили, что онъ приговоренъ къ каторгѣ, Викторъ „такъ обрадовался, что даже не зналъ: вѣрить или нѣтъ“.

Этотъ страхъ смертной казни заставилъ Викторова только разрубить трупъ убитой имъ дѣвушки на части, запаковать въ чемоданъ и отправить по желѣзной дорогѣ. Въ то время всѣ удивлялись этому хладнокровному звѣрству преступника. А въ сущности это „хладнокровное звѣрство“ было не чѣмъ инымъ, какъ страхомъ передъ веревкой.

Знаменитый когда-то на югѣ преступникъ Пазульскій зарѣзалъ въ Херсонѣ помощника смотрителя тюрьмы при совершенно исключительныхъ обстоятельствахъ. Помощникъ смотрителя приказалъ его отколотить прикладами. Пазульскій далъ обѣщаніе отомстить. Затѣмъ онъ бѣжалъ, два года скрывался, былъ пойманъ, и черезъ два года, попавъ снова въ херсонскую тюрьму, „исполнилъ свое слово“. Зналъ ли онъ, что его за это ждетъ веревка? Былъ въ этомъ увѣренъ.

Но его положеніе было таково, что иначе онъ поступить не могъ. Цѣной большихъ трудовъ онъ завоевалъ себѣ въ мірѣ преступниковъ титулъ „настоящаго Ивана“. Въ этомъ мірѣ его боялись, его приказанія исполнялись безпрекословно. Онъ, какъ это подтверждали мнѣ смотрители тюремъ, однимъ приказаніемъ усмирялъ арестантскіе бунты; онъ давалъ, какъ, напримѣръ, сосланному въ Одессѣ банкиру Іовановичу, рекомендательныя письма, съ которыми рекомендованныя имъ лица пользовались льготами во всѣхъ тюрьмахъ. Я самъ на Сахалинѣ видѣлъ то прямо невѣроятное почитеніе, которымъ въ арестантскомъ мірѣ окруженъ Пазульскій: съ нимъ никто не смѣлъ говорить въ шапкѣ. Его уважали, потому что боялись. Слушались, потому что передъ его „угрозой“ дрожали. Въ случаѣ съ херсонскимъ помощникомъ смотрителя онъ ставилъ на карту все. Онъ далъ слово — и долженъ былъ исполнить угрозу. Его боялись, потому что онъ самъ не боялся ничего. Люди такого сорта должны держать слово. Иначе тюрьма увидитъ,

кто поклонялась простой деревяшкѣ, когда съ идола слѣзетъ позолота. Какъ бы издѣвалась, какъ бы глумилась тюрьма надъ „струсившимъ“ Позульскимъ, какъ поступаютъ люди вообще съ тѣмъ, кто падаетъ съ высокаго пьедестала?

И Позульскій предпочелъ смерть такой жизни и зарѣзалъ.

На Сахалинѣ нѣкто Капитонъ Звѣревъ зарѣзалъ доктора Заржевскаго. Это былъ докторъ стараго закала, какихъ очень любили гг. смотрители. Для него не было больныхъ и слабосильныхъ. Когда являлись на освидѣтельствованіе, онъ, обыкновенно, писалъ: „Дать 50 розогъ“. Звѣревъ надорвался на работѣ, не былъ въ состояніи выполнять „уроковъ“ и, получивъ массу „лозь“, явился къ доктору отпроситься отъ работъ. Докторъ Заржевскій прописалъ ему свой обычный „рецептъ“. Тогда Звѣревъ выхватилъ заранѣе приготовленный ножъ и зарѣзалъ доктора. Это было еще въ тѣ времена, когда вѣшали.

— А не боялся, что повѣсятъ? — спрашивалъ я Звѣрева.

— Даже удивились всѣ, какъ я отъ веревки ушелъ. Увѣренъ былъ, что повѣсятъ.

— Зачѣмъ же дѣлалъ это?

— Да усталъ больно на кобылу ложиться. Такъ рѣшилъ: лучше ужъ смерть, чѣмъ такая жизнь.

— Ну, и покончилъ бы съ собой.

— А онъ, мучитель, другихъ мучить будетъ? Нѣтъ, ужъ такъ рѣшилъ: ежели мнѣ конецъ, то пусть ужъ другимъ хоть лучше будетъ. Помирать, — такъ не одному.

Антоновъ-Балдоха, долго наводившій на Москву трепетъ, какъ одинъ изъ коноводовъ гремѣвшей когда-то шайки „замоскворѣцкихъ баши-бузуковъ“, все время ждалъ, что „поймаютъ, — безпремѣнно повѣсятъ“. Такъ ему и другіе товарищи говорили. Это заставляло его только, по его выраженію, „работать чисто“.

— Возьмешь что, — бьешь. Потому уличить можешь, зачѣмъ въ живыхъ оставлять, — веревка.

Страхъ смертной казни заставляетъ преступника быть болѣе жестокимъ, — это часто. Останавливаетъ ли отъ преступленія? Факты говорятъ, что нѣтъ.

Не слѣдуетъ забывать объ одномъ важномъ, такъ сказать, элементѣ преступной натуры, — о крайнемъ легкомысліи преступника. Всякое наказаніе страшитъ преступника, но онъ всегда надѣется, что удастся избѣжать и не быть открытымъ. Разберите большинство преступленій, и васъ, въ концѣ-концовъ, поразитъ ихъ удивительное легкомысліе.

— Почему же ты убилъ?

— Слыхалъ, что деньги есть.

— Ну, а самъ ты зналъ, есть ли деньги, сколько ихъ?

— А почему я могъ знать? Не зналъ. Люди говорили, будто есть. Анъ, не оказалось.

— Да вѣдь, оставивъ въ сторонѣ все прочее, вѣдь, идя на такое дѣло, ты рисковалъ собой?

— Извѣстно.

— Какъ же ты, рискуя всей своей жизнью, не зналъ даже изъ-за чего ты рискуешь?

Что это, какъ не крайнее легкомысліе!

Или:

— Убилъ, потому, — мужикъ богатый. Думалъ, возьму тыщи двѣ. Хату нову построю, своя-то больно развалилась.

— Такъ. Ты былъ, говоришь, мужикъ бѣдный?

— Бѣднѣющій.

— И вдругъ бы хату новую построилъ. Всѣ бы удивились: на какія деньги? А тутъ рядомъ богатый сосѣдъ убить и ограбленъ. У всякаго бы явилось на тебя подозрѣніе.

— Оно, конечно, такъ. Извѣстно, ежели бъ раньше все обмозговать, — можетъ, лучше бъ и не убивать. Да такъ ужъ въ голову засѣло: убью да убью, — хату нову поставлю, своя-то ужъ больно развалилась.

Или: убилъ, ограбилъ и ушелъ въ притонъ, началъ пьянствовать, хвастаться деньгами, — тамъ его и накрыли. А человекъ бывалый: былъ стрѣлкомъ, форточникомъ, поѣздошникомъ, парадникомъ, громилой. Прошелъ всѣ стадіи своего ремесла, — ничѣмъ другимъ, кромѣ кражъ, въ жизни не занимался. Долженъ знать все „насквозь“.

— Ну, зачѣмъ же пьянствовать сейчасъ же пошелъ, — да еще куда? Знаешь вѣдь, что, случись грабежъ, полиція первымъ дѣломъ въ притонъ бросается: тамъ вашего брата ищеть.

— Извѣстно. Это у нея дѣло первое.

— Ну, зачѣмъ же шелъ?

— Думалъ, что на поѣздъ пойдутъ искать. Будутъ думать, что изъ города уѣхалъ.

Это изумительное легкомысліе заставляетъ ихъ и съ Сахалина бѣжать. Люди знаютъ, что идутъ на вѣрную смерть, что, впереди Татарскій проливъ, лѣсная пустыня, а идутъ, потому что „на-дѣются“.

Этого легкомыслія не пересилить даже страхъ веревки.

Съ другой стороны, есть люди, которыхъ, какъ Позульского, толкають на преступленіе обстоятельства: ему лучше умереть.

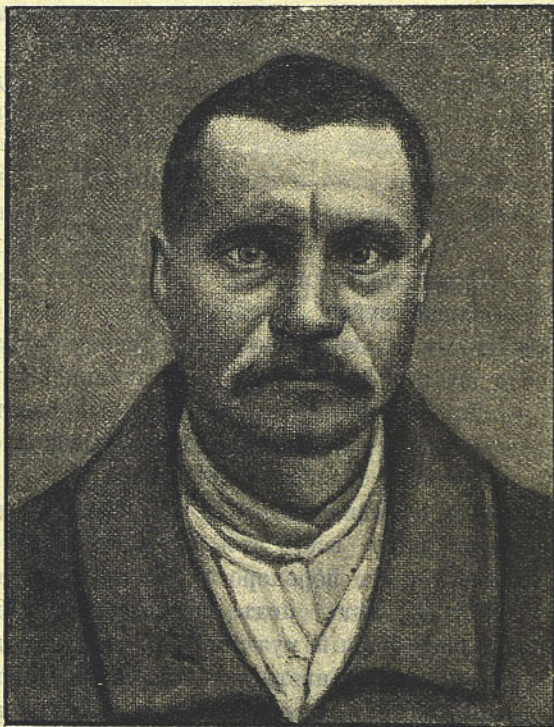
Съ третьей стороны, можно челоѣка, какъ Зѣрева, довести до такого состоянія, когда смерть покажется благомъ.

Наконецъ не слѣдуетъ забывать, что не всегда преступленія на Сахалинѣ совершаются по личной иниціативѣ. Очень часто они совершаются по приговору каторги челоѣкомъ, на котораго палъ жребій. Для такого челоѣка нѣтъ выбора: исполнить или не исполнить онъ приговоръ каторги, — его одинаково ждетъ смерть.

Я не собираюсь писать трактата о смертной казни вообще. Моя задача гораздо болѣе узкая: сказать то, что я знаю о смертной казни на Сахалинѣ.

Но несомнѣнно, что одинъ изъ главныхъ доводовъ, который приводятъ противники смертной казни, — „непоправимость наказанія“ въ случаѣ ошибки правосудія, — нигдѣ не выступаетъ такъ ярко, какъ именно на Сахалинѣ. Нигдѣ онъ не витаетъ такимъ страшнымъ призракомъ.

Правосудіе ошибается повсюду. Но врядъ ли гдѣ такъ трудно избѣжать ошибки, какъ на Сахалинѣ. Производить слѣдствіе тамъ, гдѣ вы должны допрашивать безъ присяги, гдѣ ничто уже не грозитъ за лжесвидѣтельство, производить слѣдствіе въ средѣ исключительно преступной, нищей, голодной, въ средѣ, гдѣ люди продаются и покупаются за десятки копеекъ, гдѣ ложь передъ начальствомъ — обычай, а укрывательство преступниковъ — законъ, —



Арестантскіе типы.

производить слѣдствіе, творить судъ въ такой средѣ, при такихъ обстоятельствахъ особенно трудно.

Тутъ труднѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было, узнать истину. И правосудію, окруженному непроходимой ложью, нигдѣ такъ не легко впасть въ ошибку.

При такихъ условіяхъ „непоправимость наказанія“ вселяетъ особенный ужасъ.

Смертная казнь, это страшное, непоправимое, могущее часто быть ошибочнымъ, 23-лѣтнимъ опытомъ доказавшее свою несостоятельность въ дѣлѣ устрашенія наказаніе, 4 года было спрятано въ архивъ на Сахалинѣ, и никому никакого худа отъ этого не вышло.

Палачи.

Толстыхъ.

— Здравствуй, умница!

— Здравствуйте, дяденька!

— Кому, дурочка, дяденька, а твоему сожителю крестный отецъ! — весело шутить на ходу старый сахалинскій палачъ Толстыхъ.

— Да почему жъ ты ему крестный отецъ?

— Дралъ я ея сожителя, ваше высокоблагородіе!

— А много ты народа передралъ?

Только посмѣивается.

— Да вотъ все, что кругомъ, ваше высокоблагородіе, видите, — все мною перепорото!

Толстыхъ лѣтъ подъ шестьдесятъ. Но на видъ не больше сорока. Онъ бравый мужчина, въ усахъ, подбородокъ всегда чисто-начисто бреетъ. Живетъ по-сахалински, зажиточно. Одѣтъ щеголевато, въ пиджакъ, высокіе сапоги, даже кожаную фуражку, — верхъ сахалинскаго шика. Вообще, „себя соблюдаетъ“. Настроеніе духа у него всегда великолѣпное: шутить и балагурить.

Толстыхъ, — какъ и по его странной фамиліи видно, сибирякъ. На вопросъ, за что попалъ въ каторгу, отвѣчаетъ:

— За жану!

Онъ отрубилъ женѣ топоромъ голову.

— За что жъ ты такъ ее?

— Гуляла, ваше высокоблагородіе.

Попавъ на Сахалинъ, этотъ сибирскій Отелло „не потерялся“. Сразу нашелся: жестокій по природѣ, сильный, ловкій, онъ пошелъ въ палачи.

Человѣкъ рожденъ быть артистомъ. Человѣкъ изъ всего сдѣлаетъ искусство. Какой инструментъ ему ни дайте, онъ на всякомъ сдѣлается виртуозомъ. Сами зрители тюремъ жалуются:

— У хорошаго палача ни за что не разберешь: дѣйствительно онъ поретъ страшно, или видъ только дѣлаетъ. Ударъ наносить, кажется, страшный...

Дѣйствительно, сердце падаетъ, какъ взмахнетъ плетью...

— А ложится плетъ мягко и безъ боли. Умѣютъ они это, подлецы, дѣлать. Не уконтролируешь!

Толстыхъ научился владѣть плетью въ совершенствѣ. И грабилъ же онъ каторгу! Заплатятъ, — послѣ ста плетей человѣкъ встанетъ, какъ ни въ чемъ не бывало. Не заплатятъ, — держись.

Человѣкъ ловкій и оборотистый, онъ умѣлъ вести свои дѣла „чисто“: и начальство его поймать не могло и каторга боялась.

Боялась, но въ тѣ жестокия времена палача, съ которымъ можно столкнуться, считала для себя удобнымъ.

— Зналъ, съ кого сколько взять! — поясняли мнѣ старые каторжане на вопросъ, какъ же каторга терпѣла такого „грабителя“.

— Мнѣ каторга, неча Бога гнѣвить, досталась легко! — говорить Толстыхъ.

Окончивъ срокъ каторги, Толстыхъ вышелъ на поселеніе съ деньгами и занялся торговлей. Онъ барышничаетъ, скупая и перепродавая разное старье.

Его никто не чужается, — напротивъ, съ нимъ имѣютъ дѣло охотно.

— Парень-то больно оборотистый!

Когда я познакомился съ Толстыхъ, онъ переживалъ трудныя времена: кому-то надерзилъ, и его на мѣсяцъ отдали „въ работу“ — назначили разсыльнымъ при тюрьмѣ.

— День денской бѣгаю. Въ дѣлахъ упущенье. Хотя бы вы за меня, ваше высокоблагородіе, похлопотали! — просилъ Толстыхъ. — За что жъ меня въ работу? Затруднительно.

— Въ палачахъ, небось, легче было?

— Въ палачахъ, извѣстно. Тамъ доходъ.

— Что жъ, опять бы въ палачи хотѣлось?

— Зачѣмъ? Я и торговлишкой хлѣбъ имѣю. Палачъ — дѣло каторжное. А я теперь — поселенецъ. Такъ, порю иногда по вольному найму.

— Какъ „по вольному найму“?

— Палача въ прошломъ вотъ году при тюрьмѣ не было. Никто не хотѣлъ. А приговоровъ накопилось, — исполнять надо. Ну, и перепоролъ 50 человѣкъ за три цѣлковыхъ.

— А правду про тебя, Толстыхъ, рассказываютъ, что ты нанимался за 15 рублей насмерть заporоть арестанта Школкина?

Только посмѣивается:

— Сакалинъ, ваше высокоблагородіе!

Медвѣдевъ.

Палачъ Корсаковской тюрьмы, Медвѣдевъ, быть-можетъ, самое отвратительное и несчастное существо на Сахалинѣ.

Вся жизнь его — сплошной трепетъ.

Проходя мимо тюрьмы, вы увидите у воротъ приземистаго, нескладнаго арестанта. Руки, какъ грабли. Большія, оттопырившія уши торчатъ, какъ лопухи. Маленькій красненькій носъ. Лицо — словно морда огромной летучей мыши.

Отъ воротъ онъ не отходить ни шага. Это — Медвѣдевъ „гуляетъ“. Онъ все время держится на глазахъ у часовыхъ и ни за что не отойдетъ въ сторону.

Будто прикованный!

Медвѣдевъ и въ палачи пошелъ „изъ страха“.

Въ 1893 году онъ судился въ Екатеринодарѣ за убійство хозяина постоялаго двора, у котораго служилъ въ рабочихъ. Убійство съ цѣлью грабежа. Хозяинъ, по словамъ Медвѣдева, былъ ему долженъ и не отдавалъ денегъ.

— По подозрѣнію въ убійствѣ! — говоритъ Медвѣдевъ.

И этотъ человѣкъ, вызвавшійся быть палачомъ, вѣшавшій, — упорно отрицаетъ, что онъ убилъ хозяина.

— Не мой грѣхъ, да и все.

Послѣ того, какъ мы познакомились больше, Медвѣдевъ объяснилъ мнѣ, почему онъ такъ упорно отрицаетъ свою вину.

— Не въ сознаніи я судился.

— Ну?

— Ну, и положили мнѣ наказаніе. А скажу, что я, пожалуй, еще наказанія прибавятъ. Мнѣ теперь говорить нельзя.

Въ палачи Медвѣдевъ пошелъ изъ страха передъ каторгой.

— Слыхалъ, что въ каторгѣ людей подъ земь сажаютъ. Боялся шибко. Потому и въ палачи вызвался, — думалъ, въ Рассеѣ при тюрьмѣ оставить.

Въ тюрьмѣ, гдѣ содержался Медвѣдевъ, предстояла казнь двухъ кавказцевъ-разбойниковъ. Палача не было, Медвѣдевъ и „вызвался“.

Объ этой казни Медвѣдевъ рассказываетъ съ тѣмъ же тупымъ, спокойнымъ лицомъ, равнодушно, до сихъ поръ только жалѣетъ, что „не все по положенію получилъ“.

— Рубаха красная мнѣ слѣдовала. Да сшить не успѣли,—такъ рубаха и пропала. Халатъ только новый дали.

— Что жъ ты передъ казнью водку хоть пилъ?

— Нѣтъ, зачѣмъ. Захмелѣть боялся. Былъ тверезый.

— И ничего?—Не страшно было?

— Ничаво. Только какъ закрутился первый, страшно стало. Въ душу подступило.

И Медвѣдевъ указаль куда-то на селезенку.

— Ну, а если бы здѣсь вѣшать пришлось?

— Что жъ. Прикажутъ,—повѣшу.

Надежды Медвѣдева не сбылись: палачомъ его при тюремѣ не оставили, а послали на Сахалинъ.

— Ну, хорошо. Тамъ ты въ палачи пошелъ, боялся, что подъ земь въ каторгѣ посадятъ. А здѣсь-то зачѣмъ же въ палачахъ остался? Здѣсь вѣдь ты увидалъ, что это все сказки и подъ земь не сажаютъ.

— А здѣсь ужъ мнѣ нельзя. Мнѣ ужъ въ арестантскую команду идти невозможно: палачомъ былъ,—пришьютъ. Мнѣ изъ палачей уходить невозможно.

И онъ держится въ палачахъ изъ страха.

Медвѣдевъ живетъ въ страшной нищетѣ: никакого имущества. Ничего, кромѣ кобылы да плети,—казенныхъ вещей, сданныхъ ему на храненіе.

Изъ страха онъ не беретъ даже взятокъ.

Когда пригоняется новая партія, между арестантами всегда идетъ сборъ „на палача“,—для тѣхъ, кто пришелъ на Сахалинъ съ наказаньемъ плетями или розгами, по приговору суда. Ни одинъ арестантъ никогда не откажетъ въ копейкѣ, послѣднюю отдаетъ при сборѣ „на палача“. Это—обычный доходъ палачей.

Но Медвѣдевъ и отъ этого отказывается:

— Нельзя. Возьмешь деньги да тихо драть будешь,—изъ палачей выгонять. А возьмешь деньги да шибко пороть начнешь,—каторга убьетъ.

И то, что онъ не беретъ, въ одинъ голосъ подтверждаетъ вся тюрьма.

— Хоть ты ему что,—запореть!

Деретъ онъ, дѣйствительно, отчаянно.

— Такъ, песъ, смотрителю въ глаза и смотреть. Ему только мигни,—духъ вышибетъ. Нешто онъ что чувствуетъ!

А „чувствуетъ“ Медвѣдевъ, когда передъ нимъ лежитъ арестантъ, вѣроятно, многое. Этотъ трусъ становится на одну минуту могучимъ.

Все вымещаетъ онъ тогда: и вѣчное униженіе, и вѣчный животный страхъ, и нищету свою, и свою боязнь брать. Все напоминаетъ Медвѣдеву, когда передъ нимъ лежитъ человѣкъ, котораго онъ боится. За всю свою собачью жизнь разсчитывается.

И чѣмъ больше озлобляется, тѣмъ больше боится, и чѣмъ больше боится, тѣмъ больше озлобляется.

Изъ страха Медвѣдевъ даже не пользуется тѣмъ нѣкоторымъ комфортомъ, который полагается палачу.

Палачу полагается отдѣльная каморка. Медвѣдевъ въ ней не живетъ:

— Ночью выломаютъ двери и пришьютъ.

Онъ валяется у хлѣбопеконъ. Отъ хлѣбопеконъ зависитъ количество припека: смотрители хлѣбопеконъ цѣнятъ; хлѣбопеконъ не дерутъ,—хлѣбопекамъ не за что злобствовать на палача,—и у нихъ Медвѣдевъ чувствуетъ себя въ безопасности. Хлѣбопеки его, конечно, презираютъ и „держатъ за собаку“. Когда кто-нибудь изъ хлѣбопеконъ напьется, онъ глумится надъ Медвѣдевымъ, заставляетъ его, на примѣръ, спать подъ лавкой.

— А то выгоню!

И тотъ лѣзетъ подъ лавку, какъ собака.

— Ночью-то онъ на минутку выйти боится!

Медвѣдевъ со страхомъ и ужасомъ думаетъ о томъ, о чемъ всякій каторжникъ только и мечтаетъ: когда онъ кончитъ каторгу.

— О чемъ я васъ попросить хотѣлъ, ваше высокоблагородіе! — робко и нерѣшительно обратился онъ однажды ко мнѣ, и въ голосъ его слышалось столько мольбы.—Попросите смотрителя, когда мнѣ срокъ кончится, чтобъ меня въ палачахъ оставили. Какъ мнѣ на поселеніе выйти? Убьютъ меня, безпремѣнно убьютъ!

И онъ даже прослезился,—этотъ человѣкъ, мечта котораго остаться до конца жизни палачомъ, ужасъ котораго — выйти на свободу.

Онъ повалился въ ноги:

— Попросите!

И хотѣлъ цѣловать руки.

Комлевъ.

Противъ оконъ канцеляріи Александровской тюрьмы бродитъ низкорослый, со впалой грудью, мрачный, понурый, человѣкъ. И бродитъ какъ-то странно. Голодные собаки, которыхъ часто бьютъ, ходятъ такъ мимо оконъ кухни. Не спуская глазъ съ оконъ и боясь подойти близко: а вдругъ кипяткомъ ошпарятъ,

Это—Комлевъ, старѣйшій сахалинскій палачъ. Теперь отставной.

Онъ прослышалъ, что въ Александровской тюрьмѣ будутъ вѣшать бродягу Туманова, стрѣлявшаго въ чиновника ¹⁾, и пришелъ съ поселья, гдѣ живётъ въ качествѣ богадѣльщика:

— Безъ меня повѣсить некому.

Онъ повѣсилъ на Сахалинѣ 13 человекъ. Специалистъ по этому дѣлу и надѣется „заработать рубля три“.

А пока, въ ожиданіи казни,—какъ я уже говорилъ,— онъ нанялся у каторжанки, живущей съ поселенцемъ, нянчить дѣтей.

Таковы сахалинскіе нравы.

Комлевъ пришелъ къ тюрьмѣ провѣдать: „не слышно ли, когда“—и бродитъ противъ оконъ канцеляріи, потому что здѣсь есть надзиратели.

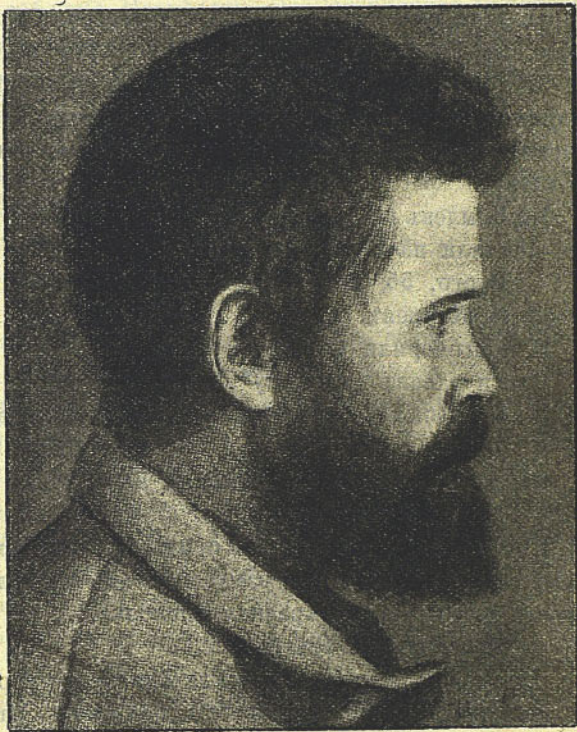
Комлева ненавидитъ вся каторга. Гдѣ бы ни встрѣтился,—его каждый бьетъ. Бьютъ, какъ собаку, пока не свалится безъ чувствъ гдѣ-нибудь въ канаву. Отдыхится—и пойдеть.

Живучъ старикъ необычайно. 50 лѣтъ, и грудь впалая, и тѣло все истерзано, и отъ битья кашляетъ иногда кровью, а въ рукахъ сила необычайная.

„Комлевъ“—это его палачскій псевдонимъ.

Когда бьютъ розгами тонкимъ концомъ, это называется:

— Давать лозы.



Комлевъ.

¹⁾ См. очеркъ „Смертная казнь“.

Когда бьютъ толстымъ,—это:

— Давать комли.

Отсюда и это прозвище „Комлевъ“.

Комлевъ—костромской мѣщанинъ, изъ духовнаго званія, учился въ училищѣ при семинаріи и очень любитъ тексты, преимущественно изъ Ветхаго заветъа.

Онъ былъ осужденъ за денной грабежъ съ револьверомъ на 20 лѣтъ. Въ 77 году онъ бѣжалъ съ Сахалина, но въ самомъ узкомъ мѣстѣ Татарскаго пролива, почти достигнувъ материка, былъ пойманъ гилякомъ, получилъ 96 плетей и 20 лѣтъ прибавки къ сроку. Въ тѣ жестокія времена палачамъ работы было много, и палачу, тоже сахалинской знаменитости, Терскому, потребовался помощникъ. Въ тюрьмѣ бросили жребій: кому итти въ палачи. И жребій выпалъ Комлеву.

Но Комлевъ все еще мечталъ о волѣ, и въ 89 году опять бѣжалъ,—его поймали на Сахалинѣ же, прибавили еще 15 лѣтъ каторги.

— Итого, 55 лѣтъ чистой каторги! — съ чувствомъ достоинства говорить Комлевъ.

И приговорили къ 45 плетямъ.

Плети давалъ „ученику“ Терскій.

— Ну, ложись, ученикъ, я тебѣ покажу, какъ надо драть.

И „показалъ“.

Въ 97 году Комлевъ говорилъ мнѣ:

— До сихъ поръ гвию.

И раздѣлся. Тѣло—словно прижжено каленымъ желѣзомъ. Страшно было смотрѣть. Мѣстами зарубевалось въ бѣлые рубцы, а мѣстами, вмѣсто кожи, тонкая красная пленочка.

— Пожмешь—и течеть!

Пленочка лопнула и потекла какая-то сукровица.

На луэтической почвѣ это наказаніе разыгралось во что-то страшное.

Такъ глумился палачъ надъ палачомъ.

Скоро, однако, Терскаго поймали въ томъ, что онъ, взявъ взятку съ арестанта, наказалъ его легко.

Терскому назначили 200 розогъ и наказать его дали Комлеву.

— Ты меня учишь, какъ плетями, а я тебѣ покажу, что розгами можно сдѣлать.

Терскій до сихъ поръ гніетъ. То, что онъ сдѣлалъ съ Комлевымъ,—шутка въ сравненіи съ тѣмъ, что Комлевъ сдѣлалъ съ нимъ.

— По Моисееву закону: око за око и зубъ за зубъ!—добавляетъ Комлевъ при этомъ разсказѣ.

— Я драть умѣю: на моемъ тѣлѣ выучили.

Бѣглый каторжникъ Губарь, который былъ приговоренъ къ плетямъ за людоедство, послѣ 48 комлевскихъ плетей былъ унесенъ въ лазаретъ и чрезъ три дня, не приходя въ себя, умеръ. И Комлевъ сдѣлалъ это, получивъ взятку отъ каторги, которая ненавидѣла Губаря.

Доктора, присутствовавшіе при наказаніяхъ, которыя приводилъ въ исполненіе Комлевъ, говорятъ, что это что-то невѣроятно страшное.

Это не простое озлобленіе Медвѣдева. Это утонченное мучительство. Комлевъ смакуетъ свое могущество. Онъ даже особый костюмъ себѣ выдумалъ: красную рубаху, черный фартукъ, сшилъ какую-то высокую черную шапку. И крикнулъ:

— Поддержись!

Медлить и выжидаетъ, словно любясь, какъ судорожно подергиваются отъ ожиданія мускулы у жертвы.

Докторамъ приходилось отворачиваться и кричать:

— Скорѣе! Скорѣе!

Чтобы прекратить это мучительство.

— А они меня мало бьютъ? Всю жизнь изъ меня выбили! — говоритъ Комлевъ, когда его спрашиваютъ, почему онъ такъ „лютѣетъ“, подходя къ разложенному на кобылѣ человѣку.

Чѣмъ-то, дѣйствительно, страшнымъ вѣетъ отъ этого человѣка, который выкладываетъ по пальцамъ, „сколько ихъ всего было“:

— Сначала одинъ въ Воеводской... потомъ еще два въ Воеводской... Двухъ въ Александровской... Да двухъ еще въ Воеводской... да еще одинъ... да еще три... да еще одинъ... да еще одинъ... Всего мною было повѣшено 13 человѣкъ.

И было жутко, когда онъ рассказывалъ мнѣ подробно, какъ это дѣлалъ; рассказывалъ монотонно, словно читалъ по покойнику, не говорилъ ни „казнимый“ ни „преступникъ“, а, понижая голосъ:

— „Онъ“.

— Первымъ былъ Кучеровскій. За нанесеніе ранъ смотрителю Шишкову его казнили въ Воеводской, во дворѣ. Вывели во дворъ 100 человѣкъ, да 25 изъ Александровской смотрѣть пригнали. На первомъ беретъ робость, какъ будто трясеніе рукъ. Выпилъ 2 стакана водки... Трогательно и немного жалостливо, когда крутится и судорогами подергивается... Но страшнѣе всего, когда еще только выводять, и впереди идетъ священникъ въ черной ризѣ, — тогда робость беретъ.

— По вечерамъ было особенно трогательно, когда выходишь, бывало, все „онъ“ представляется.

Послѣ первой казни Комлевъ пилъ сильно:

— Страшно было.

Но со второй привыкъ и ни до казни ни послѣ казни не пилъ.

— Просить только: „нельзя ли безъ мученіевъ“. Вѣлѣють всѣ. Дрожать мелкой дрожью. Его за плечи держишь, когда на западнѣ стоять, а черезъ рубашку чувствуешь, что тѣло холодное. Махнешь платкомъ, помощники подпорку и вышибаютъ.

— И ты пришелъ теперь, чтобы дѣлать это?

— Жрать-то нужно?

„Какой ужасный и отвратительный человѣкъ“, скажете вы. А я зналъ женщину, ласками которой онъ пользовался.

И у этой женщины еще былъ мужчина, который избилъ ее и отнялъ подаренныя Комлевымъ двѣ копейки.

Меня интересовало, что скажетъ Комлевъ, если ему сказать такую вещь:

— А знаешь, скоро вѣдъ тѣлесныя наказанія хотятъ уничтожить.

— Дай-то Богъ... Когда бы это кончилось!—сказалъ Комлевъ и перекрестился.

Голынский.

Когда, въ 1897 году, въ Александровской тюрьмѣ, гдѣ собрана вся „головка“ каторги, все, что есть въ ней самаго тяжкаго и гнуснаго, освободилось мѣсто палача, ни одинъ изъ каторжанъ не захотѣлъ быть палачомъ. Это случилось въ первый разъ за всю исторію каторги. Къ этому нельзя было даже принудить, и совершенно бесплодно тѣхъ, на кого палъ выборъ, держали въ карцерѣ.

Но тюрьма не можетъ быть безъ палача.

И „вся команда“ назначила палачомъ Голынскаго.

— И не хотѣлъ итти, а команда приказываетъ, ничего не попишешь!—объясняетъ Голынский.

— Почему же вы его выбрали?—спрашиваю каторгу.

— Хорошій человѣкъ. Доберъ больно.

Голынскому 47 лѣтъ. Но на видъ не больше тридцати пяти.

Удивительно моложавое, простодушное и глупое лицо. Голь какъ соколъ, бѣгаетъ въ опоркахъ, и при взглядѣ на него вы ни за что не сказали бы, что это палачъ.

— Голынский, а сколько ты самъ плетей получилъ?

— Сто.

— А розогъ?

— Тысячи три.

И предобродушно улыбается.

„Терпитъ“ Голынский „сызмальства“.

Онъ человекъ добрый, но вспыльчивъ, горячъ страшно и, вспылъ, золь невѣроятно.

Какъ и Комлевъ, онъ изъ духовнаго званія, учился въ каменецъ-подольской семинаріи и былъ сосланъ подъ надзоръ полиціи за нечаянное убійство товарища во время драки.

— Остервенѣлъ шибко. Треснулъ его по головѣ квадратомъ,—онъ и отдалъ Богу душу

Затѣмъ онъ 4 года служилъ въ военной службѣ и попалъ въ заговоръ: пятеро солдатъ сговорились убить фельдфебеля,—„лють былъ“. Голынский зналъ объ этомъ, не донесъ и былъ осужденъ на 13½ лѣтъ въ каторгу.

Со сбавками по манифестамъ ему пришлось пробыть въ каторгѣ меньше; онъ вышелъ на поселенье, былъ уже представленъ къ крестьянству, но сегодня, завтра получилъ бы право выѣзда съ Сахалина на материкъ, но:

Голода не выдержалъ. Тутъ-то самая голодъба и началась, съ переходомъ въ поселенчество. Въ работники нанимался,—да что на Сахалинъ заработаешь. Такъ и жилъ: гдѣ день, гдѣ ночь.

Эта голодъба кончилась тѣмъ, что онъ, вдвоемъ съ такимъ же голоднымъ поселенцемъ, убилъ состоятельнаго поселенца-казачка.

Я жъ его и убивалъ. Самъ-то былъ какъ тѣнь. Взмахнулъ топоромъ, ударилъ, да самъ, вмѣстѣ съ топоромъ, на него и повалился. А встать и не могу. Подняли ужъ¹⁾.

За это убійство Голынский получилъ 100 плетей и каторгу безъ срока. На этотъ разъ въ каторгѣ ему пришлось туго.

Голынского оговорили, будто онъ донесъ о готовящемся побѣгѣ. И его избили такъ, что „до сихъ поръ ноги болятъ“.

Но и это не озлобило Голынского:

— За что жъ я на всѣхъ серчать буду? А кто оговорилъ, тѣхъ до сихъ поръ дую и впередъ дуть всегда буду!

Этихъ клеветниковъ онъ, говорятъ, бьетъ смертнымъ боемъ при всякой встрѣчѣ, а каторгу „жалѣеть“:

— Потому на своей шкурѣ и лозы, и манты (плети), и голодь,—все вынесъ.

За эту жалостливость его и выбрали... въ палачи.

Сижу какъ-то дома, вдругъ является Голынский.

Лицо перетревоженное:

¹⁾ См. очеркъ „Смертная казнь“.

— Ваше высокоблагородіе, пожалуйста завтра утромъ въ тюрьму безпремѣнно.

— Зачѣмъ?

— Говорять, драть будутъ. А при васъ шибко драть не велятъ. Этотъ „палачъ“, хлопочущій, чтобъ шибко драть не приказали, съ перепуганнымъ лицомъ,—трудно было удержаться отъ улыбки!

— И нескладный же ты человѣкъ, Голынский!

— Такъ точно; нескладный я въ своей жизни человѣкъ, ваше высокоблагородіе!

И предобродушно самъ надъ собой смѣется.

Хрущель.

Палачъ Рыковской тюрьмы Хрущель—приземистый, стройный, необыкновенно ловкій, сильный человѣкъ. Весь словно отлить изъ стали. Сѣрые, холодные, спокойные глаза, въ которыхъ свѣтится страданіе, когда онъ говоритъ о пережитыхъ невзгодахъ. Присмотрѣвшись повнимательнѣе, вы замѣтите асимметрію лица,—одинъ изъ признаковъ вырожденія.

Въ каторгу попалъ за грабежи вооруженною шайкою гдѣ-то около Лодзи.

— Зачѣмъ въ шайку-то пошелъ?

— Устроиться хотѣлъ. Думалъ деньги взять, ваше высокоблагородіе. Земли совсѣмъ не было. Съ голоду опухалъ. Устроиться не было возможности.

На Сахалинѣ онъ думалъ устроиться какъ-нибудь хоть „на новой жизни“.

Съ собой онъ привезъ маленькія деньги, десятка два рублей, и завелъ въ кандальномъ отдѣленіи Рыковской тюрьмы „майданъ“.

Понемножку наживалъ, копилъ и мечталъ, какъ выйдетъ на поселеніе и „устроится“ своимъ домоѣ.

Самъ жилъ впроголодь на одной арестантской порціи.

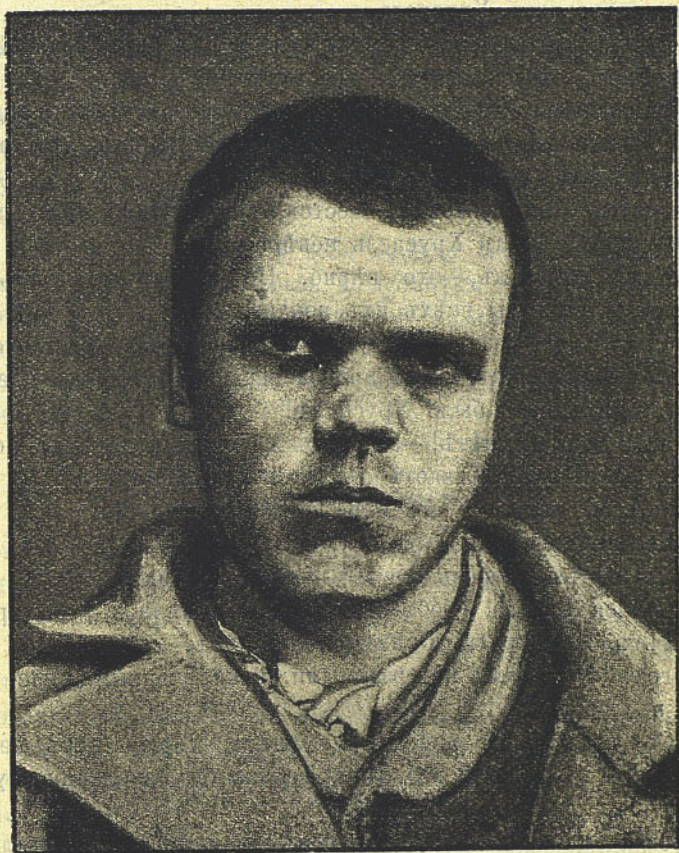
— Бывало, лежишь ночью голодный. Не спишь. Съ голоду-то брюхо подводить. А въ головахъ-то ящикъ стоитъ. Тамъ молоко, хлѣбъ, свинина. Хочется. „Нѣтъ,—думаю,—не трону.“

Въ этомъ ящикѣ изъ-подъ свѣчей, стоявшемъ на нарахъ, въ головахъ, у Хрущеля было все, что онъ имѣлъ: деньги, товаръ. Все, что имѣлъ въ настоящемъ, все его будущее.

По обычаю, вся камера должна слѣдить за тѣмъ, чтобъ имущество майданика было цѣло. Зато и по 15 копеекъ въ мѣсяцъ на брата берутъ.

Но Рыковская кандалная—самая голодная изъ тюремъ.

— Развѣ у насъ, ваше высокоблагородіе, дадутъ человѣку подняться?—со злостью говоритъ Хрущель.—Зависть беретъ, какъ у человѣка что заведется. Злоба... У насъ ничего нѣтъ, пусть и у другого не будетъ! По злобѣ одной всего лишать.



Арестантскіе типы. Сосланъ за изнасилованіе.

Однажды, вернувшись въ камеру, Хрущель увидѣлъ, что ящикъ разломанъ. Ни денегъ ни товару не было.

Кандалная уходила, улыбаясь.

— Спички жгли, папиросы раскуривали.

Самые голодные „жигалы“ на нарахъ дрыхли!

— Нажрались!

А три арестанта, самых отчаянных, изъ породы „Ивановъ“, передъ тѣмъ проигравшіеся догола, теперь сидѣли и на деньги въ карты играли.

Ящикъ изъ-подъ свѣчей былъ не только разломанъ, а еще надѣлали всякихъ гадостей.

— Вошелъ—хохочутъ. Голова у меня пошла кругомъ, свѣта не взвидѣлъ,—говоритъ Хруцель.

— Шибко Хруцель въ тѣ поры выль и объ нары головой бился! Отъ жадности!—разсказываютъ арестанты.

Наплакавшись, Хруцель пошелъ къ смотрителю и предложилъ себя въ палачи. Въ то время при Рыковской тюрьмѣ эта должность была свободной.

Смотритель былъ человѣкъ жестокий, и Хруцель сразу сдѣлался его любимцемъ. Дралъ Хруцель невѣроятно.

— Кожу спускалъ,—это вѣрно. Не дралъ, а рѣзалъ лозой. Шибко я въ тѣ поры всѣхъ ихъ ненавидѣлъ.

Но затѣмъ у Хруцеля „сердце отошло“: трое арестантовъ, которые сломали ящикъ, были приговорены за что-то къ плетямъ, и наказывать ихъ надо было Хруцелю.

— Есть Богъ на свѣтѣ!—говоритъ Хруцель и до сихъ поръ еще ликуетъ, когда разсказываетъ объ этомъ наказаніи.

Радостью горитъ все его лицо при воспоминаніи.

— Черезъ плечо ихъ дралъ.

Ударъ плетью „черезъ плечо“—самый жестокий.

— Боялся одного, чтобъ сознанія не лишились,—доктора отнимутъ. Нѣтъ, выдержали. Всѣмъ сполна далъ.

Враговъ Хруцеля истерзанными, искалѣченными, еле живыми унесли въ лазаретъ.

— Съ тѣхъ поръ переломъ вышелъ. Порю,—какъ велятъ. А лютости той нѣтъ. Мнѣ все одно. Только бы начальническую волю исполнить.

Хруцель живетъ въ маленькомъ домишкѣ. Ему выдали сожигательницу. Молоденькая татарка. У нихъ уже двое дѣтей.

Доходы съ каторги дали ему возможность обзавестись необходимымъ.

— У меня и корова есть. Двѣ овцы! Свиной развожу на продажу!—любуется самъ своимъ хозяйствомъ, показывая его постороннему, Хруцель.

Онъ занимается земледѣліемъ. У него—огородъ.

— Самъ все сажалъ.

И, татарка и онъ очень любятъ чистоту. Въ домѣ у нихъ все блеститъ, какъ стеклышко. А въ переднемъ углу, на чистенькой

долочекъ, лежать бережно казенныя вещи: плетъ, деревянная мыльница, бритва,—головы арестантамъ бреетъ тоже палачъ.

— Дѣты, дѣты нѣ растаскайте прутья! Батка сердитъ будѣтъ!—кричала татарка двумъ маленькимъ славнымъ ребятишкамъ, игравшимъ въ сѣняхъ прутьями, которые нарѣзалъ Хрущель сегодня для предстоящаго тѣлеснаго наказанія.

— Жалюны, жалюны—ужасти!—обратилась ко мнѣ татарка, смѣясь, и въ ея смѣхѣ и въ томъ, какъ она коверкала рѣчь, было что-то дѣтское и очень милое.

Такимъ страннымъ казалось это блестящее, какъ стеклышко, полное дѣтскаго лепета, логово палача.

— Ну, вотъ я и устроился!—говорилъ мнѣ Хрущель, показывая свое „домообзаводство“.

— А каторга не трогаешь у тебя ничего? Не разоряетъ?

— Не смѣютъ. Знаютъ—убью. Подсолнухъ тронуть—убью.

И по лицу, съ которымъ Хрущель сказалъ это, можно было увѣряться, что онъ убьетъ.

А тѣхъ, относительно кого вполнѣ увѣрены, что „онъ убьетъ“, каторга не трогаешь.

Тѣлесныя наказанія.

Уголовное отдѣленіе суда. Публики два-три человѣка. Разсматриваются дѣла безъ участія присяжныхъ засѣдателей: о редакторахъ, обвиняемыхъ въ диффамачіи, трактирщикахъ, обвиняемыхъ въ нарушеніи питейнаго устава, бродягахъ, не помнящихъ родства, бѣглыхъ каторжникахъ и т. п.

— Подсудимый, Иванъ Груздевъ. Признаете ли себя виновнымъ въ томъ, что, будучи приговорены къ ссылке въ каторжныя работы на 10 лѣтъ, вы самовольно оставили мѣсто ссылки и скрывались по подложному виду?

— Да что жъ, ваше превосходительство, признаваться, ежели уличенъ.

— Признаетесь или нѣтъ?

— Такъ точно, признаюсь, ваше превосходительство.

— Г. прокуроръ?

— Въ виду признанія подсудимаго, отъ допроса свидѣтелей отказываюсь.

— Г. защитникъ?

— Присоединяюсь.

Двѣ минуты рѣчи прокурора. О чемъ тутъ много-то говорить?

— На основаніи статей такихъ-то, такихъ-то, такихъ-то...
Двѣ минуты рѣчи защитника „по назначенію“. Что тутъ скажешь?
Судъ читаетъ приговоръ:

— ...Къ наказанію 80 ударамъ плетей...

И вотъ этотъ Иванъ Груздевъ въ канцеляріи Сахалинской тюрьмы подходитъ къ доктору на освидѣтельствованіе.

— Какъ зовутъ?

— Иванъ Груздевъ.

Докторъ развертываетъ его „статейный списокъ“, смотритъ и только бормочетъ:

— Господи, къ чему они тамъ приговариваютъ!

— Сколько? — заглядываетъ въ статейный списокъ смотритель тюрьмы.

— Восемьдесятъ.

— Ого!

— Восемьдесятъ! — какъ эхо повторяетъ помощникъ смотрителя. — Ого!

— Восемьдесятъ! — шепчутся писаря.

И всѣ смотрятъ на человѣка, которому сейчасъ предстоитъ получить 80 плетей. Кто съ удивленіемъ, кто со страхомъ.

Докторъ подходитъ, выстукиваетъ, выслушиваетъ.

Долгія, томительныя для всѣхъ минуты.

— Ну? — спрашиваетъ смотритель.

Докторъ только пожимаетъ плечами.

— Ты здоровъ?

— Такъ точно, здоровъ, ваше высокоблагородіе.

— Совсѣмъ здоровъ?

— Такъ точно, совсѣмъ здоровъ, ваше высокоблагородіе.

— Гмъ... Можетъ, у тебя сердце болить?

— Никакъ нѣтъ, ваше высокоблагородіе, николи не болить.

— Да ты знаешь, гдѣ у тебя сердце? Ты! Въ этомъ боку никогда не болить? Ну, можетъ, иногда, — понимаешь, иногда покалываетъ?

— Никакъ нѣтъ, ваше высокоблагородіе, николи не покалываетъ.

Докторъ даже свой молоточекъ со злостью бросилъ на столъ.

— Смотри на меня! Кашель хотъ у тебя иногда бываетъ? Кашель?

— Никакъ нѣтъ, ваше высокоблагородіе. Кашля у меня никогда не бываетъ.

Докторъ взбѣшенъ. Докторъ чуть не скрежещетъ зубами. Онъ смотритъ на арестанта полными ненависти глазами. Ясно говоритъ взглядомъ:

„Да хоть соври ты, соври что-нибудь, анаеема!“

Но арестантъ ничего не понимаетъ.

— Голова у тебя иногда болитъ?— почти уже шипитъ докторъ.

— Никакъ нѣтъ, ваше высокоблагородіе.

Докторъ садится и пишетъ:

— Порокъ сердца.

Даже перо ломаетъ со злости.

Смотритель заглядываетъ въ актъ освидѣтельствованіи.

— Отъ тѣлеснаго наказанія освобожденъ. Ступай!

Всѣ облегченно вздыхаютъ. Всѣмъ стало легче.

— Въ потъ вогналъ меня, анаеема! Въ потъ!— говоритъ мнѣ потомъ докторъ. — Вѣдь этакій дуботолъ, чортъ! „Здоровъ!“ Дьяволъ! А вѣдь что подѣлаешь? 80 плетей! Вѣдь это же — смертная казнь! Развѣ можно? Если бъ они видѣли, къ чему приговариваютъ.

— Ваше высокоблагородіе, нельзя ли поскорѣйча!—пристали въ Рыковской тюрьмѣ къ помощнику смотрителя два оборванныхъ поселенца, одинъ, Бордуновъ, — длинный какъ жердь, другой — покороче, когда мы съ помощникомъ смотрителя зашли днемъ въ канцелярію.

— Ладно, братъ, ладно. Успѣешь!

— Помилуйте, ваше высокоблагородіе. У меня хозяйство стоитъ. Рабочее время. Нешто можно человѣка столько времени держать? День теряю. Нешто возможно? Ваше высокоблагородіе, явите начальническую милость! Это приставалъ длинный, какъ жердь.

Тотъ, что былъ покороче, даже шапку оземъ бросилъ:

— Жисть! Волы стоятъ не кормлены, а тутъ не отпускаютъ!

— Да вы зачѣмъ пришли?—спросилъ я.

— Пороться, ваше высокоблагородіе, пришли, —отвѣчалъ длинный.

— Драть насъ, что ли, будутъ, —пояснилъ короткій.

— А за что?

— Про то мы неизвѣстны!

— Начальство знаетъ!

— За водку!—объяснилъ мнѣ помощникъ смотрителя. — „Самосядку“ (домодѣльную водку) курили.

— Никакой водки мы не курили!

— Жрать нечего, а то—водку!

— Съ поличнымъ ихъ поймали. Я жъ и накрылъ. Съ топоромъ вотъ этотъ, большой-то, на меня бросился!

— Вреть онъ все, ваше высокоблагородіе, не вѣрьте ему. Вовсе я на него съ топоромъ не бросался, а что боченокъ топоромъ расшибъ, это — вѣрно. Вотъ его зло и беретъ. Зачѣмъ боченокъ расшибъ,—ему не досталось!

Помощникъ смотрителя буркнулъ что-то и выбѣжалъ взбѣшенный. Всѣ кругомъ улыбались.

— Ты чего жъ, дурья голова, его злишь? Вѣдь хуже, братъ, будетъ.

— Да вѣдь зло возьметъ, ваше высокоблагородіе. День, теряемъ. Волы некормленные стоятъ.

— Нешто мы супротивъ дранья что говоримъ. Драть законъ есть. А чтобъ человѣка задерживать, закона нѣтъ.

Мы встрѣтились съ помощникомъ смотрителя на дворѣ:

— Сегодня будутъ пороть пятерыхъ по приговорамъ, да вотъ этихъ двухъ!—пояснилъ онъ мнѣ.—По приговорамъ, что за порка. Только мажутъ! Приговоры, это—не наше дѣло. Это въ Россіи постановлено. Тѣ намъ ничего не сдѣлали. А вотъ этимъ двумъ мерзавцамъ показать надо.

Порка состоялась около пяти часовъ.

Мы съ докторомъ пришли въ канцелярію.

Въ сѣняхъ, широкія двери которыхъ были открыты на дворъ, стояла „кобыла“, лежали двѣ аккуратно связанные вязанки длинныхъ, аршина въ два, розогъ.

— Докторъ! Докторъ!—заговорили по тюремному двору, и передъ открытыми дверями сѣней моментально образовалась толпа арестантовъ.

Въ тусклой и хмурой канцеляріи по стѣнкѣ стояло семь человѣкъ. Въ дверяхъ съ плетью стоялъ палачъ.

Было тяжело, хмуро и страшно.

— Подходи.

Первымъ подошелъ Васютинъ Иванъ, молодой парнишка, бродяга, не помнящій родства,—30 розогъ.

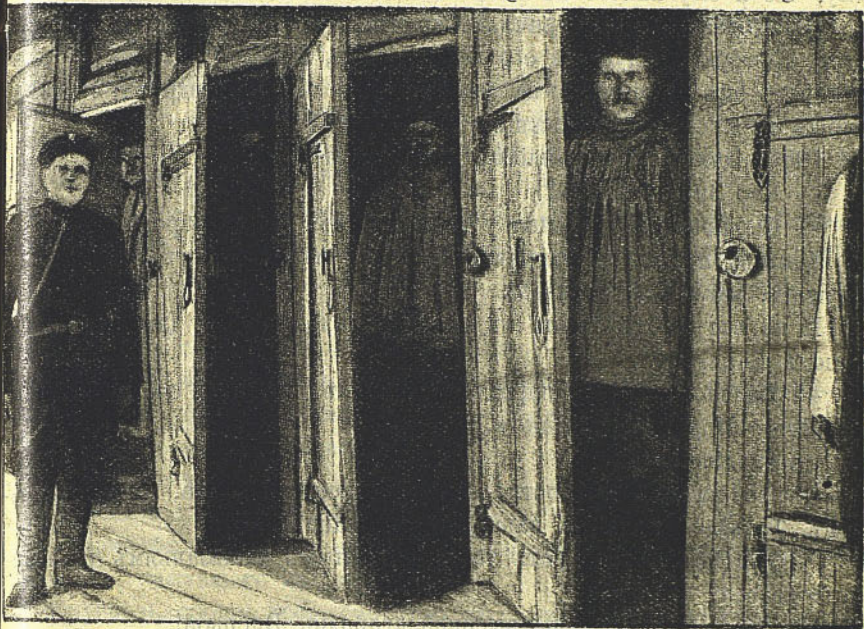
За нимъ шли двое кавказцевъ, потомъ еще одинъ русскій, бѣжавшій изъ сибирской тюрьмы. Всѣ—приговоренные къ тѣлесному наказанію по суду.

Сначала читали приговоръ, при чемъ всѣ въ канцеляріи вставали.

Затѣмъ шло освидѣтельствованіе, опросъ, подвергался ли раньше тѣлеснымъ наказаніямъ, докторъ писалъ актъ освидѣтельствованія.

Приговоренному подали бумагу:

- Грамотный? Подпиши!
- Что это?—спросилъ я.
- Расписка, что получилъ тѣлесное наказаніе.
- Зачѣмъ?
- Такой порядокъ.
- Русскіе были оба грамотны и расписались, при чемъ у Васютина буквы распрыгались вверхъ и внизъ на полвершка другъ отъ друга. Рука его не дрожала, а ходуномъ ходила.



Карцеры.

Татары долго не понимали, что отъ нихъ требуется, имъ разъяснили черезъ переводчика-арестанта, — тотъ съ ними очень долго разговаривалъ, махалъ руками, о чемъ-то спорилъ и, наконецъ, говорилъ:

— Неграмотная она, вашескибродіе!

Это тянулось ужасно, мучительно долго.

— Раздѣвайся!—кричали татарину. —Слышишь ты, раздѣвайся! Переводчикъ, да скажи ему, чтобъ онъ раздѣвался! Что ты стоишь, какъ болванъ?

Переводчикъ начиналъ говорить, кричать, махать руками, при-
сѣдалъ даже зачѣмъ-то. Кавказецъ смотрѣлъ хмуро, недовѣрчиво,
отвѣчалъ односложно, мрачно.

— Раздѣвайся!—кричали ему всѣ и показывали жестами, чтобы снималъ рубаху.

Кавказецъ, наконецъ, медленно раздѣлся.

Докторъ подходилъ къ нему съ трубочкой и молоточкомъ. Въ глазахъ кавказца свѣтилось недовѣріе и страхъ. Онъ пятился.

— Да не пяться ты, чортъ! Не пяться, говорить тебѣ!

Кавказецъ пятился.

— Переводчикъ, болванъ, что ты стоишь, какъ тумба? Объясни ему, что я ему ничего не сдѣлаю!

Переводчикъ опять принялся кричать, жестикулировать, присѣдать. Кавказецъ слушалъ его недовѣрчиво, косился на доктора, котораго онъ принималъ за палача, что ли, — и вдругъ сказалъ что-то коротко и односложно.

Переводчикъ съ отчаяніемъ всплеснулъ руками.

— Что онъ говоритъ?

— Спрашивать трубочка у тебя зачѣмъ, вашискобродіе!

Доктору пришлось положить трубочку и молоточекъ, чтобы выслушать, наконецъ, кавказца.

И на все это смотрѣлъ съ улыбкой только одинъ длинный поселенецъ Бардуновъ.

— Неосновательный народъ!—замѣтилъ онъ, когда очередь дошла до него.— Порядку не знаютъ.

— Раздѣвайся!

— Не имѣю надобности, ваше высокоблагородіе. Всѣмъ здоровъ. Только беспокоить вашу милость занапрасно.

— Раздѣвайся, говорить тебѣ. Тѣлеснымъ наказаньямъ раньше подвергался?

— Ни въ жисть, ваше высокоблагородіе. Впервой!

— Потри его.

Надзиратель потеръ его тѣло суконкой. Тѣло покраснѣло, и на немъ ясно выступили полосы — слѣды прежнихъ наказаній.

— Что жъ ты врешь! Драли?

— Запоминалъ, ваше высокоблагородіе... Я этихъ самыхъ розогъ, ваше высокоблагородіе, ни есть числа при гг. смотрителяхъ принималъ.

Было очевидно, что этотъ поротый и перепоротый арестантъ „валяетъ шута для храбрости“.

Его товарищъ мрачно отвѣчалъ:

— Здоровъ. Скорѣе бы. Волю не кормлены. Раздѣвайся еще! На-те. Смотрите. Жисть! Драли. Много. Сколько, запоминавалъ. Не упомяну. Нешто у меня тѣмъ голова занята? Осмотрѣли? Слава Богу? Нельзя ли насъ первыми? Тамъ хозяйство.

Осмотрѣнные одѣвались, но штановъ не подвязывали, а поддерживали ихъ руками.

— Всѣ. Ну, ступай!

Хрущель сталъ у кобылы. Арестанты, переваливаясь, путаясь въ полупущенныхъ штанахъ, вышли въ сѣни.

— Бардуновъ, покажи удалъ!—крикнулъ кто-то со двора.

Стоявшіе толпой арестанты оглянулись:

— Молчи ты, сволочь!

Всѣ стали по мѣстамъ.

Я стоялъ рядомъ съ докторомъ, у него лицо шло пятнами.

— Васютинъ Иванъ!

Молодой паренекъ подошелъ къ „кобылѣ“.

— Брось, брось штаны!—заговорили кругомъ.

Но онъ только оглядывался, словно не могъ понять, что ему такое говорить.

— Штаны брось!—сказалъ Хрущель и отвелъ ему руки.—Ложись!

Васютинъ сѣлъ верхомъ на „кобылу“, лицомъ къ свѣту.

Онъ былъ — бѣлый, какъ полотно. Глаза бессмысленно смотрѣли впередъ.

— Да не туда головой. Туда! Ложись!

Хрущель взялъ его за плечи, свелъ съ „кобылы“, положилъ.

— Руки уברי! Обними руками „кобылу“!

Васютинъ обнялъ руками доску.

— Вотъ такъ!

Хрущель поправилъ ему рубаху.

Стыдно было, стыдно невѣроятно смотрѣть на полуобнаженного человѣка, лежавшаго на „кобылѣ“.

Хрущель, словно песь, смотрѣлъ въ глаза помощнику смотрителя.

— Тридцать розогъ!

Хрущель взялъ пучокъ розогъ, необыкновенно ловко выдернулъ одну, отошелъ на шагъ отъ кобылы и замеръ.

— Начинай!

Хрущель свистнулъ розгой по воздуху, словно рапирой передъ фехтованіемъ, потомъ еще разъ свистнулъ по воздуху справа, потомъ слѣва.

Свистъ рѣзкій, отчаянный, отвратительный.

— Разъ!

Свистъ, и на вздрогнувшемъ тѣлѣ легла красная полоса.

— Два... Три... Четыре... Пять...

Хрущель бросилъ розгу, выхватилъ другую, перешелъ на другую сторону кобылы. Опять пять ударовъ по другой сторонѣ тѣла.

Каждые пять ударовъ онъ быстро мѣнялъ розгу и переходилъ съ одной стороны на другую.

Свистъ заставлялъ болѣзненно вздрагивать сердце. Мгновенія между двумя ударами тянулись, какъ вѣчность.

Помощникъ смотрителя считалъ:

— 29... 30...

— Вставай... Вставай же!

Васютинъ поднялся и сѣлъ опять верхомъ на кобылу. Глаза его были полны слезъ. Вотъ-вотъ потекутъ.

— Совсѣмъ вставай! Иди же!

— Двѣ съ половиной минуты! — сказалъ смотрѣвшій на часы докторъ.

Я думалъ прошло полчаса.

— Мѣдниковъ Иванъ!

Опять обнаженный до пояса, лежащій на кобылѣ человѣкъ.

Снова свистъ, вздрагиванія, красныя полосы.

Теперь плети!

Хрущель отложилъ розги, взялся за плеть и ловкимъ движеніемъ разложилъ длинную плеть по землѣ.

— Хрущель, клади ихъ.

Хрущель бралъ кавказцевъ за плечи, подталкивалъ къ „кобылѣ“, поднималъ имъ руки и клалъ на „кобылу“. Тѣ тяжело рухались и лежали съ темнымъ обнаженнымъ тѣломъ.

Наказаніе было по „приговорамъ“.

Хрущель по взгляду понялъ приказъ помощника смотрителя и взялъ плеть за середину, тамъ, гдѣ стволъ плети переходилъ въ трехвостку. Наказаніе — „въ полплети“.

Хрущель вертѣлъ свою плеть, словно ручку шарманки, три хвоста хлопали по тѣлу, тѣло краснѣло и пухло.

— Бардуновъ!

Съ блѣднымъ - блѣднымъ лицомъ онъ подошелъ къ „кобылѣ“, сдѣлалъ какую-то жалкую-жалкую гримасу, хотѣлъ улыбнуться.

Началъ ложиться на „кобылу“.

— Штаны, штаны брось! — остановилъ его Хрущель.

— Ежели законный порядокъ требуетъ...

Бардунова колотила дрожь, онъ безпомощно оглядывался кругомъ, словно затравленный заяцъ, и все силился улыбнуться, — выходила гримаса.

Хрущель толкнулъ его слегка въ шею.

— Ложись!

Бардуновъ повалился и крѣпко ухватился за доску, чтобы не кричать, быть-можетъ.

Хрущель снова пустилъ плетъ „по земли“. Зловѣщее движеніе.

Это было наказаніе не по приговорамъ, а ужъ сахалинское.

Тихо было, словно кругомъ никто не дышалъ.

Хрущель впился глазами въ помощника смотрителя.

Тотъ стоялъ, переминаясь на мѣстѣ, смотрѣлъ на меня, на доктора... и сдѣлалъ какое-то движеніе головой.

Хрущель взялъ „въ полплети“.

Словно одинъ какой-то огромный человѣкъ вздохнулъ въ сѣняхъ и на дворѣ.

По тѣлу Бардунова пробѣгали судороги.

Богъ знаетъ, какого удара ждалъ этотъ человѣкъ, и задрожалъ весь мелкой дрожью, когда посыпались сравнительно слабые удары.

— Ваше высокоблагородіе, ваше высокоблагородіе, за что же наказываютъ? Нешто возможно!—послышался его голосъ, но словно не его, какой-то странный.—Нешто возможно?!

На дворѣ въ толпѣ раздались смѣшки.

— Шута строить! Привыкъ!—пробормоталъ помощникъ смотрителя.

Бардуновъ поднялся, захватилъ въ руки штаны и, не натянувъ ихъ, бросился въ толпу арестантовъ.

Видя, что наказаніе на этотъ разъ не будетъ страшнымъ, его товарищъ, Гусятниковъ, короткій и мрачный мужикъ, легъ спокойно, безъ звука вдрагивалъ при каждомъ ударѣ и, сходя съ „кобылы“, даже проворчалъ:

— Только продержали день зря. Волы не кормлены!

— Такъ ужъ, пожалѣлъ мерзавцевъ!—умилялся своей гуманностью помощникъ смотрителя.

Хрущель ловко и проворно убиралъ розги и „кобылу“.

— Ты чего же не одѣваешься?

Васютинъ стоялъ у притолки дверей канцеляріи, какъ столбъ, съ голыми ногами. Штаны съ него свалились.

Онъ икалъ. Крупныя слезы катились по щекамъ.

Было страшно и стыдно смотрѣть на этого парнишку.

Онъ—изъ военной службы, сдѣлалъ какое-то преступленіе, бѣжалъ и, боясь наказанія, „скрылъ свое родословіе“, сказался бродягой Иваномъ Васютинымъ, не помнящимъ родства.

— Какъ же тебя къ розгамъ приговорили?

Бродягъ обыкновенно приговариваютъ къ 1¹/₂ годамъ „принудительныхъ работъ“ и затѣмъ—на поселеніе. Розги имъ прибавляютъ,

если они почему-либо „путають“, не называютъ себя просто „бродягой непомнящим“, а именуются ложнымъ именемъ: крестьянинъ, молъ, такой-то деревни,—а пошлютъ туда, окажется, что нѣтъ. Опытный бродяга дѣлаетъ это въ надеждѣ удрать во время пере-сылки. Но зачѣмъ этому?

— Ты что же, чужимъ именемъ назвался?

— Такъ точно.

— Зачѣмъ? Бѣжать съ дороги хотѣлъ?

— Нѣтъ.

— Тогда зачѣмъ же?

— Въ тюрьмѣ знающій человѣкъ нашелся, сказалъ, что такъ сдѣлать нужно. Я и сдѣлалъ.

— Ты въ первый разъ этому-то подвергался?

— Въ первый.

И по щекамъ его еще сильнѣе текли слезы. И заикалъ онъ сильнѣе.

А у воротъ тюрьмы, когда я выходилъ, сидѣлъ теперь ужъ со-всѣмъ оправившійся Бардуновъ и бахвалился:

— Мнѣ, братцы мои, что на „кобылу“ ложиться, что къ женѣ подъ бокъ,—все единственно. Потому, вотъ какъ я къ ней привыкъ.

Нравы каторги.

„Каторга“, это — официальное названіе. Неофициально каторга зоветъ себя добродушно-ироническимъ именемъ „кобылка“.

— Ну, какъ поживаете, братцы?

— Ничего себѣ, ваше высокоблагородіе, наша кобылка живетъ.

— Это что, тоже рабочій?—спрашиваете вы про кого-нибудь.

— Нашъ же, кобылка.

Названіе, происходящее отъ слова „кобылка“,—скамья, на кото-рой дерутъ арестантовъ.

Каторжане, какъ извѣстно, доставляются на Сахалинъ двумя путями: или „сплавляются“ моремъ, чрезъ Одессу, или идутъ Сибирью, чрезъ Кару.

Соотвѣтственно этому, каторжники дѣлятся на „кругоболотин-цевъ“ или „галетниковъ“, и „каринцевъ“ или „терпигорцевъ“.

Названіе „галетникъ“—названіе даже слегка презрительное.

— Что они тамъ видѣли? Плыли да ѣли галеты. Только и всего!

Тогда какъ „каринцы“ пользуются и нѣкоторымъ почетомъ и уваженіемъ каторги.

Странствуя по сибирскимъ этапамъ, они натерпѣлись горя, по-
чему и зовутся „терпигорцами“.

Въ сибирскихъ „централахъ“ (центральныхъ тюрьмахъ) и на
Карѣ они прошли высшій курсъ каторги, побывали, такъ сказать,
въ академіи каторги. Знаютъ всѣ порядки, обычаи, законы. Сибир-
скій каторжникъ вообще въ почетѣ у сахалинцевъ: въ Сибири
каторга крѣпче держится другъ друга, тамъ есть свои выработан-
ные законы, твердые и ненарушимые, тамъ есть товарищество, чего
вовсе нѣтъ на Сахалинѣ ¹⁾).

Скоро, однако, это различіе сглаживается. „Кругоболотинецъ“
быстро входитъ въ курсъ, осваивается съ правами и обычаями
каторги, становится „почище“ всякаго „каринца“,—и тогда слова
„каринецъ“, „галетникъ“ раздаются только во время перебранки:

— Молчи ты! Съ кѣмъ говоришь-то, мараказія! Я, по крайности,
настоящій каринецъ. А ты кто? Тфу! Одно слово, галетникъ!

Каторга дѣлится на четыре касты:

1) Ивановъ,

2) Храповъ,

3) Игроковъ,

и 4) Несчастную „шпанку“.

Это—аристократія и демократія каторги, ея правящіе классы
и подчиненная масса, патриціи, плебеи и рабы.

И в а н ы .

„Иваны“, это—зло, это—язва, это—бичъ нашей каторги, ея де-
споты, ея тираны.

„Иванъ“ родился подъ розгами, плетью крещенъ, возведенъ въ
звание „Ивана“ рукой палача.

Это—типъ историческій. Онъ родился въ тѣ страшныя вре-
мена, правдивая исторія которыхъ „неизгладимыми чертами“ на-
писана на спинахъ стариковъ-„богодуловъ“ Дербинской каторжной
богадѣльни.

¹⁾ Уже уѣхавъ съ Сахалина, во Владивостокъ я прочелъ въ газетахъ, что
прежнее гнѣшее путешествіе по этапамъ замѣняется перевозкой по желѣзной
дорогѣ. Прочелъ и отъ души порадовался за злосчастныхъ „терпигорцевъ“.
Сколько народа скажетъ спасибо за это облегченіе тяжкаго пути. Сколько
лишнихъ, ненужныхъ страданій упразднено, сколько ужасовъ, творившихся
на этихъ „этапахъ“, отойдетъ въ область преданій. Сколько народу будетъ
буквально спасено. Изъ моихъ дальнѣйшихъ очерковъ вы увидите, что такое
были эти этапы, и какую роковую роль они играли въ жизни многихъ каторжанъ.

Онъ родился на Карѣ во „времена Разгильдѣвскія“, о которыхъ и теперь вспоминають съ ужасомъ ¹⁾).

Тогда въ „разрѣзѣ“, гдѣ добываютъ золото, всегда была наготовѣ „кобыла“ и на дежурствѣ палачъ. Розги тогда считались сотнями, да и то считалась только „одна сторона“, т.-е. человѣку, приговоренному, положимъ, къ сотнѣ ударовъ, палачъ давалъ сотню съ одной стороны, а затѣмъ заходилъ съ другой и давалъ еще сотню, при чемъ послѣдняя сотня въ счетъ не шла. Два удара считались за одинъ. Сѣкли не розгами, а „комлями“, т.-е. брали розгу за тонкій конецъ и ударяли толстымъ. По первому удару показывалась уже кровь. Розги ломались, а занозы впивались въ тѣло. „Урки“, т.-е. заданныя на день работы, были большіе, и малѣйшее неисполненіе „урка“ влекло за собой немедленное наказаніе.

Тогда всякая вина была виновата,—и малѣйшая дерзость, самое крошечное противорѣчіе простому надзирателю изъ ссыльныхъ вели за собой жестокое истязаніе.

Въ это-то тяжелое время, подъ свистъ розогъ, комлей и плетей, и родился на свѣтъ „Иванъ“.

Отчаянный головорѣзъ, долгосрочный каторжникъ, которому нечего терять и нечего ждать, онъ являлся протестантомъ за всю эту забитую, измученную, обираемую каторгу. Онъ протестовалъ смѣло и дерзко, протестовалъ противъ всего: противъ несправедливыхъ наказаній, непосильныхъ „урковъ“, плохой пищи и тѣхъ смѣшныхъ дѣтскихъ курточекъ, которыя выдавались арестантамъ подъ видомъ „одежды узаконеннаго образца“.

„Иванъ“ не молчалъ ни передъ какимъ начальствомъ, протестовалъ смѣло, дерзко, на каждомъ шагу.

„Ивановъ“ приковывали къ стѣнѣ, къ тачкѣ, заковывали въ ручные и ножные кандалы, драли и комлями и плетями. „Иваны“ въ счетъ полученныхъ ими на каторгѣ плетей часто переваливали за двѣ тысячи, а розогъ не считали совсѣмъ.

Все это окружало ихъ ореоломъ мученичества, вызывало почтеніе.

Начальство ихъ драло, но побаивалось. Это были люди, не задумывавшіеся въ каждую данную минуту запустить ножъ подъ ребро, люди, разбивавшіе обидчику голову ручными кандалами.

Въ то время „Иваны“ представляли изъ себя нѣчто въ родѣ „рыцарскаго ордена“. „Иванъ“ былъ „человѣкомъ слова“. Сказалъ—значить, будетъ. Сказалъ убьетъ,—убьетъ. Долженъ убить.

¹⁾ Разгильдѣвъ — тогдашній начальникъ Карійской каторги. Время, близкое къ эпохѣ „Мертваго дома“.

Это вызывало боязнь, дрожь предъ „Иванами“.

Угроза для смотрителей и надзирателей, эти дѣйствительно на все способные люди были грозой для каторги.

Это были ея деспоты, тираны, грабители.

„Иванъ“ прямо, открыто, на глазахъ у всѣхъ, бралъ у каторжныхъ послѣднія, тяжкимъ трудъ мѣ нажитыя крохи, тутъ же, на глазахъ хозяина, пропивалъ, проигрывалъ, проматывалъ ихъ—и не терпѣлъ возраженій.

— Что?! Я за васъ, такихъ-сякихъ, тѣла, крови не жалѣю, коли надо—веревки не побоюсь, а вы...

Что бы „Иванъ“ ни дѣлалъ, каторга обязана была его покрывать. Часто отвѣчала за него своими боками. Если за преступленіе, совершенное „Иваномъ“, карали другого, тотъ долженъ былъ молчать.

— Зато я терплю за васъ.

„Иваны“ держались особой компаніей, стояли другъ за друга и были неограниченными властелинами каторги; распоряжались жизнью и смертью; были законодателями, судьями и палачами; изрекали и приводили въ исполненіе приговоры, — иногда смертные, всегда непридожные.

Среди безчисленныхъ страшныхъ преданій о тѣхъ временахъ до сихъ поръ въ каторгѣ вспоминаютъ о „казни“ въ Омской тюрьмѣ.

Двое „Ивановъ“ рѣшили бѣжать. Какъ вдругъ, чуть не наканунѣ предполагаемаго побѣга, ихъ неожиданно перековали въ ручные и ножные кандалы крѣпко-накрѣпко, усилили караулъ,—и побѣгъ не состоялся.

Два мѣсяца „Иваны“ Омской тюрьмы производили негласно слѣдствіе:

— Кто бы могъ донести?

И, наконецъ, подозрѣніе пало на одного арестанта. Въ то время, какъ онъ ничего не подозрѣвалъ, „Иваны“ произнесли ему приговоръ. Конечно, смертный, потому что за доносъ о побѣгѣ каторга другихъ приговоровъ не знаетъ.

Двѣ ночи работали потихоньку „Иваны“, вынули нѣсколько досокъ около стѣны подъ нарами, выкопали могилу и на третью ночь кинулись на спящаго товарища, заткнули ему ротъ, бросили въ могилу и закопали живымъ.

Вся тюрьма знала объ этомъ и вся молчала, не смѣла заикнуться.

Когда начальство хватилось пропавшаго арестанта,—рѣшили, что онъ незамѣтно проскользнулъ и бѣжалъ, когда отворяли дверь для утренней переклички.

И только черезъ годъ, когда перестраивали Омскую тюрьму, около стѣны, на глубинѣ полутора аршинъ, нашли скелетъ въ кандалахъ.

Преступники остались ненайденными. Ихъ никто не выдалъ. Никто не смѣлъ выдать.

„Иванъ“, это—злой геній каторги.

Сколько арестантскихъ „бунтовъ“ подняли они. Сколько народу поплатилось за эти бунты, и какъ поплатилось! А „Иваны“ всегда выходили сухими изъ воды, потому что ихъ всегда покрывала каторга.

Таковы „Иваны“ „добраго стараго времени“.

„Ивана“ вы отличите сразу, съ перваго взгляда, лишь только войдете въ тюрьму.

Лихо заломленный, на ухо сдвинутый картузь, рубашка съ „кованнымъ“, шитымъ воротомъ, разстегнутый бушлатъ, халатъ еле держится на одномъ плечѣ. Руки непремѣнно въ карманахъ.

Дерзкій, наглый, вызывающій взглядъ. Невѣроятно нахальный, грубый и дерзкій тонъ.

Человѣкъ такъ и нарывается на какую-нибудь непріятность.

Это—тотъ же „на все способный“ головорѣзь-большесрочникъ, и зрителя стараются избѣгать ихъ, обыкновенно маскируя нѣкоторую внутреннюю дрожь тѣмъ, что они „даже и говорить съ такими негодями не желаютъ,—я, молъ, говорю только съ хорошими людьми“. Какъ бы тамъ ни было, но, только изъ-за этого „нежеланія говорить“, „Иванамъ“ сходить съ рукъ многое такое, что, конечно, никогда бы не сошло несчастной, безотвѣтной „шпанкѣ“.

„Иванъ“ то же зло, тотъ же бичъ для всего, что есть въ каторгѣ мало-мальски честнаго, добраго, порядочнаго.

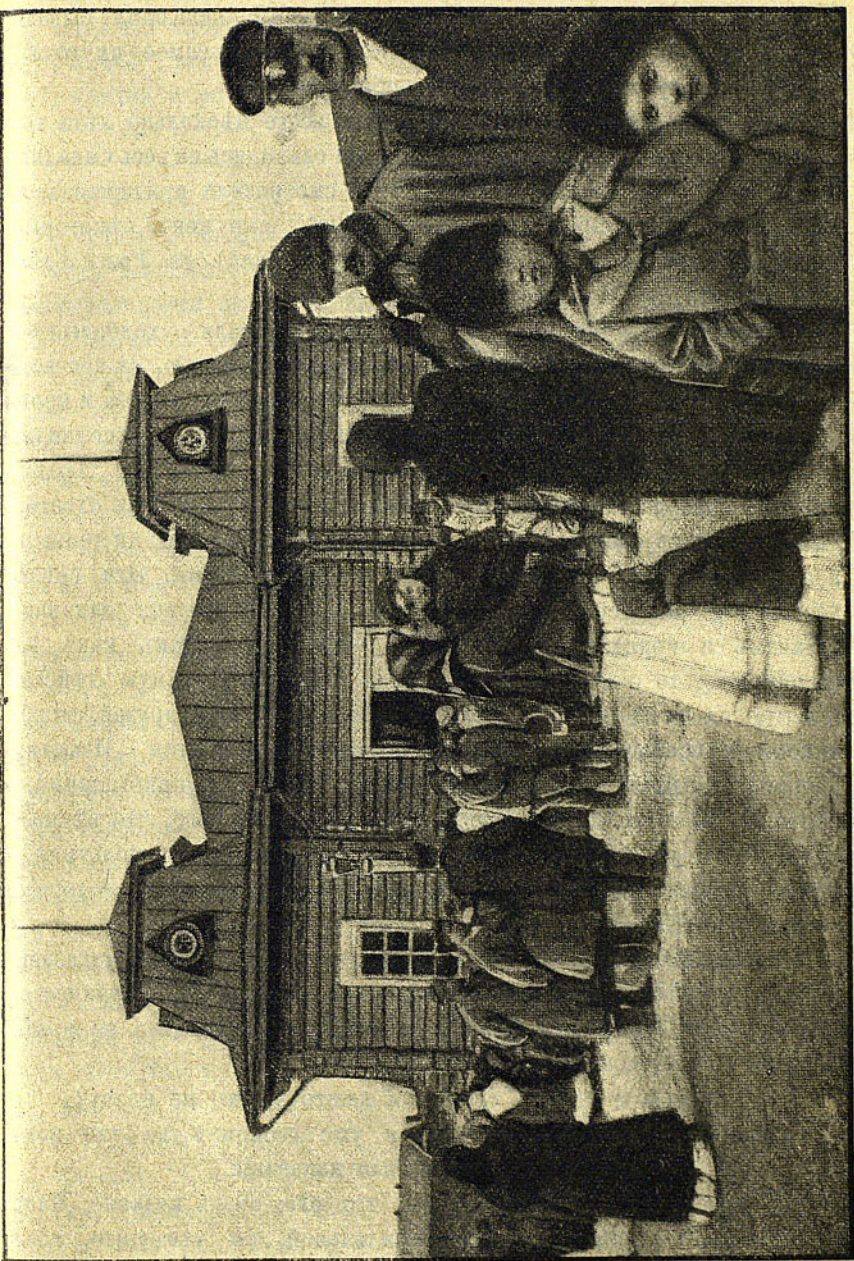
Это—злѣйшіе и гнуснѣйшіе враги всякаго бережливаго арестанта, всякой самой малѣйшей „зажиточности“.

Глядя по обстоятельствамъ, „Иванъ“ то открыто отнимаетъ, то мошеннически выманиваетъ, то просто воруетъ у арестанта всякую тяжкимъ трудомъ добытую копейку.

Но времена уже мѣняются. Вмѣстѣ съ наступленіемъ лучшихъ для каторги временъ наступаютъ плохія времена для „Ивановъ“.

Теперь нѣтъ уже больше этихъ ужасныхъ наказаній. И съ „Ивановъ“ спалъ ихъ ореолъ мученичества. Они постепенно лишаются въ глазахъ каторги своего обаянія. Ихъ ужасная, ихъ тираническая власть при послѣднемъ издыханіи. „Иваны“ вымираютъ.

И чѣмъ мягче, чѣмъ гуманнѣе режимъ, тѣмъ меньше и меньше пагубное вліяніе на каторгу „Ивановъ“.



Поселенческий бытъ. Раздача поаянных вещей изъ Россіи въ помѣщ. пожарн. команды въ посту Александровскомъ.

Въ Александровской тюрьмѣ, самой большой на Сахалинѣ, гдѣ собрана вся „головка“ каторги, самые тяжкіе и долгосрочные преступники, и гдѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ, тѣлесныя наказанія бываютъ только по приговорамъ суда,—вліяніе „Ивановъ“ самое ничтожное. Они не пользуются никакимъ значеніемъ.

Ихъ даже „забижаетъ“ „шпанка“! А всего нѣсколько лѣтъ тому назадъ „Иваны“ Александровской тюрьмы славились на весь Сахалинъ!

„Иваны“ еще держатся тамъ, гдѣ смотрителя придерживаются тѣлесныхъ наказаній. Тамъ еще „Иванъ“ окруженъ нѣкоторымъ ореоломъ, хотя, конечно, далеко не такимъ, какъ въ Разгильдѣевскія времена.

Власть и значеніе „Ивановъ“ сильно подорвали... холерные безпорядки. Въ этомъ отношеніи „не бывать бы счастью, да несчастье помогло“. Въ атмосферу тюрьмы, въ эту атмосферу навоза и крови, ворвалась струя чистаго воздуха. Сахалинскія тюрьмы наполнились людьми, которыхъ на каторгу привело только несчастье. Людьми, которые совершали ужасы только потому, что ихъ самихъ охватилъ ужасъ. Людьми, которые не понимали, что дѣлали. Людьми темными, невѣжественными, несчастными, но не преступными. Эти свѣжіе, честные и работающіе люди не захотѣли подчиняться законамъ, уставамъ и порядкамъ, созданнымъ убійцами. И такъ какъ ихъ было много, то они противопоставили „Иванамъ“ самую дѣйствительную на каторгѣ силу—кулаки. Почувявъ въ нихъ друзей, сторонниковъ и сообщниковъ, бѣдная, ограбленная забитая „Иванами“ „шпанка“ подняла голову и соединилась съ вновь прибывшими, и противъ „Ивановъ“ стала масса. Дѣло дошло до того, что нѣсколькихъ „Ивановъ“ исколотили до полусмерти. „Ивановъ“ исколотили,—фактъ, небывалый въ исторіи каторги. Все это страшно подорвало авторитетъ „Ивановъ“.

Но самый главный ударъ, это—смягченіе тѣлесныхъ наказаній. Съ „Ивановъ“ въ значительной степени снятъ ореолъ мученичества. Ужъ теперь „Иванъ“, отнимая у каторжанина послѣднее, не можетъ сказать:

— А кровью и тѣломъ своимъ я нешто за это не плачу?

„Иваны“ еще держатся, какъ я уже говорилъ, въ тюрьмахъ, смотрители которыхъ любятъ тѣлесныя наказанія.

Но власть ихъ все же не та, что еще очень недавно. Часто подъ вечеръ, гдѣ-нибудь въ углу кандалной, вы услышите, какъ, собравшись въ кучку, „Иваны“ вспоминаютъ о добромъ, старомъ, невозвратномъ времени, когда каторга чтитъ „Ивановъ“, о ихъ подвигахъ, о томъ, какъ они правили каторгой.

Но въ этихъ разсказахъ слышится элегическая нотка, чувствуется грусть о невозвратномъ прошломъ.

Прежней власти, прежняго положенія не вернешь.

„Иваны“, эти аристократы страданій, родились подъ свистъ плетей, комлей и розогъ. Въмѣстѣ съ ними они и умрутъ.

Храпы.

„Храпы“ — вторая каста каторги.

Имъ хотѣлось бы быть „Иванами“, но нехватаетъ смѣлости. По трусливости имъ слѣдовало бы принадлежать къ „шпанкѣ“, но „не дозволяетъ самолюбіе“.

„Храпы не стоятъ того, чтобы надъ ними долго останавливаться. Это — тѣ же „горланы“ деревенскаго схода. Когда въ тюрьмѣ случается какое-нибудь происшествіе, какая-нибудь „заворошка“, храпы всегда лѣзутъ впередъ, больше всѣхъ горланятъ, кричатъ, ораторствуютъ на словахъ, готовы все вверхъ дномъ перевернуть; но когда дѣло доходитъ до „раздѣлки“ и появляется начальство, „храпы“ молча исчезаютъ въ заднихъ рядахъ.

— Ты что жъ, корявый чортъ? — накидывается на „храпа“ тюрьма по окончаніи „раздѣлки“. — Набухвостилъ, да и на попятную?

— А то что жъ? Одинъ я за всѣхъ впередъ полѣзу, что ли? Всѣ молчатъ, и я молчу.

И „храпъ“ начинаетъ изворачиваться, почему онъ смолкъ при появленіи начальства. Но зато пусть-ка еще разъ случится что-нибудь подобное, — онъ себя покажетъ! Названіе „храпъ“ насмѣшливое. Оно происходитъ отъ слова „храпѣть“. И этимъ опредѣляется профессія храповъ: они „храпятъ“ на все. Нѣтъ такого распоряженія, которое они сочли бы правильнымъ. Они въ вѣчной оппозиціи. Все признаютъ неправильнымъ, незаконнымъ, несправедливымъ. Всѣмъ возмущаются. Задали человѣку урокъ, хотя бы и нетрудный, посадили въ карцеръ, хотя бы и заслуженно, не положили въ лазаретъ, хотя бы и совсѣмъ здороваго, — „храпы“ всегда орутъ (конечно, за глаза отъ начальства):

— Несправедливо!

Каторгѣ, которая только и живетъ и дышитъ, что недовольствомъ, это нравится. Тамъ, гдѣ много недовольства, всегда имѣютъ успѣхъ говоруны. А каторга къ тому же любитъ послушать, если кто хорошо и „складно“ говорить. Эта способность цѣнится въ каторгѣ высоко. Среди „храповъ“ есть очень недурные ораторы. Я самъ слушалъ ихъ съ большимъ интересомъ, удивляясь ихъ знанію

аудиторіи. Какое знаніе больныхъ и слабыхъ струнъ своей публики, какое умѣнье играть на этихъ струнахъ! Благодаря этому, „храпы“ иногда, когда тюрьма волнуется ужъ очень сильно, пріобрѣтають нѣкоторое вліяніе на дѣла. Они „разжигаютъ“. И не мало тюремныхъ „исторій“, за которыя потомъ тѣломъ и кровью расплатилась бѣдная, безотвѣтная „шпанка“, возбуждено „храпами“. „Шпанкѣ“, по обыкновенію влетѣло, а „храпы“ успѣли во-время отойти на задній планъ.

„Храпы“ по большей части вмѣстѣ съ тѣмъ и „глоты“, т. е. люди, принимающіе въ спорахъ сторону того, кто больше дастъ. Они берутся и защищать и обвинять,—иногда на смерть,—за деньги. Попался человѣкъ въ какой-нибудь гадости противъ товарищей, „храпы“ за деньги будутъ стоять за него горой, на тюремномъ сходѣ будутъ орать, божиться, что другого такого арестанта-товарища поискать да поискать. Захочетъ кто-нибудь насолить другому, онъ подкупаетъ „хراповъ“. „Храпы“ взводятъ на человѣка какой-нибудь поклепъ, напримѣръ, въ наущничество, въ доносъ, изъ своей же среды выставляютъ свидѣтелей, вопіють о примѣрномъ наказаніи. А тюрьма подозрительна, и человѣкъ, на котораго только пало подозрѣніе, что онъ донесъ, уже рискуетъ жизнью. И сколько жизней, ни за что ни про что загубленныхъ этой несчастной темной, озлобленной тюрьмой, пало бы на совѣсть „храповъ“, если бы у этихъ несчастныхъ была хоть какая-нибудь совѣсть.

У „храповъ“ бываетъ два большихъ праздника въ годъ,—весной и осенью, когда приходитъ „Ярославль“ вывалить на Сахалинъ новый грузъ „общественныхъ отбросовъ“. Тогда „храпы“ орудуютъ среди новичковъ. Растерявшіеся новички, по неопытности, принимаютъ „храповъ“, дѣйствительно, за „первыхъ лицъ на каторгѣ“, по повадкѣ даже путають ихъ съ „Иванами“ и спѣшатъ, при помощи денегъ, заручиться ихъ благоволеніемъ.

Въ обыкновенное же время „храпы“ живутъ на счетъ „шпанки“. Эта бѣдная, безпощадная, беззащитная арестантская масса дрожитъ передъ наглымъ, смѣлымъ „храпомъ“.

— Ну, его! Еще въ такую кашу втюрить,—костей не соберешь! И огкупается.

Игроки.

На каторгѣ, гдѣ все продается и покупается, и притомъ продается и покупается очень дешево, человѣкъ, у котораго есть деньги, да еще шальные, не можетъ не имѣть вліянія.

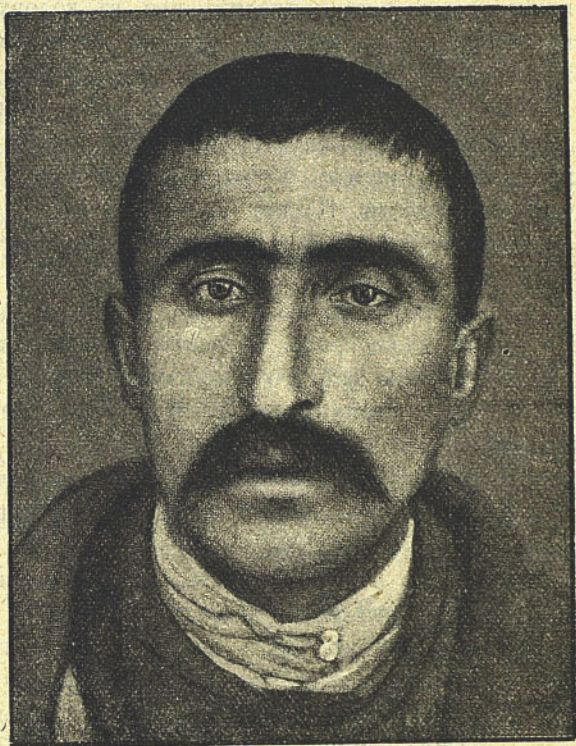
„Игрокъ“, кромѣ игры, ничѣмъ больше и не занимается. Шулера—они всѣ. И когда „игрокъ“ играетъ съ „игрокомъ“, это, въ

сущности, только состязаніе въ шулерничествѣ. Въ то время, какъ одинъ мечетъ подтасованными картами, другой дѣлаетъ вольты, мѣняя карты, подъ которыя подложенъ кушъ. Но да спасетъ Богъ замѣтить: „Да онъ мошенничаетъ!“ Тюрьма изобьетъ до полусмерти.

— Не лѣзь не въ свое дѣло!

Если „игрокъ“ особенно ловкій шулеръ, онъ носитъ почетное имя „мастака“.

Около „игрока“ кормится слишкомъ много народу, чтобы онъ не имѣлъ вѣса и значенія. Во-первыхъ, „игрокъ“ никогда не стбываетъ каторжныхъ работъ, — онъ нанимаетъ за себя „сухарника“. Затѣмъ „игрокъ“ всегда имѣетъ „поддувалу“, иногда даже нѣсколько, которые убираютъ его мѣсто на нарахъ, стелютъ постель, бѣгаютъ за обѣдомъ, завариваютъ чай. „Игрокъ“ даетъ заработокъ майдану, получающему 10 процентовъ съ банкмета и пять съ „понтеровъ“. Благодаря „игроку“, зарабатываетъ и „стремщикъ“,



Арестантскіе типы.

который караулитъ у дверей, пока идетъ игра, и получаетъ за это тоже мзду. Черезъ „игрока“ пускаютъ въ оборотъ свои деньги и „отцы“, — ростовщики, когда появляется неопытный или новичокъ, — а у „игрока“ нѣтъ достаточно денегъ, — они „кладутъ банкъ“ и выигрываютъ навѣрняка. Наконецъ, „игрокъ“ человекъ „фартовый“. Деньги у него шальные, — ему „ничего не составляетъ“ и такъ, здорово живешь, человеку три, пять копеекъ дать.

Въ лицѣ всей этой оравы „игрокъ“ всегда имѣетъ свою партію, которая готова его поддержать, когда угодно, въ чемъ угодно. Онъ

можетъ измѣнять постановленія тюремнаго схода, — за него много народа. Съ нимъ страшно ссориться. Велить отлупить — отлупять. Къ нему нужно подольщаться: прикажетъ помиловать — помилують. Къ тому же отъ него „завсегда мало-мало перепастъ можетъ“, что среди нищихъ, конечно, играетъ огромную роль.

И „кочевряжатся“ же зато „игроки“, пока они въ силѣ. И „измываются“ же надъ товарищами. Какихъ только дикихъ формъ издѣвательства не приходится имъ въ голову. Былъ у меня въ одной изъ тюремъ знакомый „игрокъ“, за которымъ я охотился, какъ за интереснымъ типомъ. Бѣдняга „попалъ въ полосу“, ему не везло. „Игроки“ всегда франты, а тутъ съ него даже лоскъ сошелъ. Ходитъ злой, раздражительный, вѣчно хмурый. Съ себя ужъ даже проигрывать началъ, — часы серебряные продулъ, предметъ величайшей гордости. Плохо!

— Что, братъ, въ „жиганы“ попадаешь?

— Къ тому идетъ!

Только прихожу какъ-то въ тюрьму, — батюшки, да это онъ ли? Не узналъ даже сразу. Развалился на нарахъ, покрикиваетъ. „Поддувала“ еле-еле всѣ его капризы исполнять успѣваетъ.

— Что, — кричить, — Матвѣй Николаевичъ сегодня обѣдать будетъ?

„Поддувала“ подноситъ обычную лаханочку съ баландой.

„Матвѣй Николаевичъ“ приподнялся, поглядѣлъ и въ лаханочку плюнулъ.

— Собакъ этимъ кормить. Кому, дура, подалъ? Станетъ Матвѣй Николаевичъ это ѣсть? Дальше что есть?

„Поддувала“ положилъ на нары нарѣзанный черный хлѣбъ.

— Чайку, Матвѣй Николаевичъ, пожалуйста!

„Матвѣй Николаевичъ“ сшибъ хлѣбъ ногой съ наръ.

— Нешто это Матвѣй Николаевича ѣда? Учить васъ, дураковъ, некому! Станетъ Матвѣй Николаевичъ дураковскую пищу ѣсть? Подавай колбасу!

„Поддувала“ подалъ копченую колбасу и бѣлый хлѣбъ.

— То-то!

„Поддувала“, подбирая съ пола куски черного хлѣба, только улыбнулся въ мою сторону.

— Забавники, молъ!

А кругомъ сидятъ голодные люди.

— Ты чего жъ ему, — спрашиваю потомъ „поддувалу“, — баланду подаешь, чтобы плевалъ, да хлѣбъ, чтобы по полу валялъ? Знаешь, что онъ при деньгахъ кочевряжится и кромѣ своего

ничего не ѣсть. И подавалъ бы ему сразу колбасу съ бѣлымъ хлѣбомъ.

— Нешто можно?—даже испугался „поддувала“.—Не приведи. Господи. „Ты это что же?—сейчасъ спросить.—Кто я такой есть? Арестантъ я, иль ужъ нѣтъ?“—Арестантъ, молъ.—„А если я арестантъ, почему жъ ты мнѣ арестантской пишии не подаешь? А? Можетъ, я не погнушаюсь, ѣсть буду? Почему ты, такой-сякой, знать можешь, что Матвѣй Николаевичъ, человѣкъ сильный, на умѣ содержать? Колбасу подавать, такой-сякой! Мое добро не беречь,—можетъ, я казеннымъ пропитаюсь, а ты мое добро травить хочешь!“ И поидеть! На цѣлый часъ волюнку затреть! Ну, и подаешь ему пайку съ баландой. Для порядка. Ему вѣдь что,—ему только чтобъ власть свою показать! Порядокъ извѣстный! Выигралъ!

А то въ другой разъ послали какъ-то одного „игрока“ въ тайгу на работу. Отвертѣться никакъ не удалось. Такъ онъ на товарищѣ-„жиганѣ“ съ полверсты верхомъ поѣхалъ. Нанялъ и поѣхалъ.

— У меня, — говорить, — ноги болятъ.

Ж и г а н ы.

Бѣда, однако, когда такой „игрокъ“ продуется въ конецъ и превратится въ „жигана“. „Жиганомъ“ въ каторгѣ вообще называется всякій бѣдный, ничего не имѣющій человѣкъ, но, въ частности, этимъ именемъ зовутъ проигравшихся въ пухъ и прахъ „игроковъ“.

Вотъ когда каторга „наверстааетъ свое“. И нѣтъ тогда мѣры, нѣтъ конца издѣвательствамъ надъ человѣкомъ, лишившимся всѣхъ своихъ друзей, поклонниковъ, защитниковъ, прихлебателей и покорнѣйшихъ слугъ. Каторга не знаетъ пощады и не имѣетъ жалости.

Когда „жиганъ“ продулъ ужъ все: деньги, одежду, свой трудъ за годъ впередъ, пайку хлѣба за нѣсколько мѣсяцевъ впередъ,—съ нимъ играютъ или на мѣсто на нарахъ, или на баланду. Ни то ни другое не нужно ровно никому, — играютъ просто для униженія.

— Чортъ съ тобой, промечу тебѣ, псу. Аль-бо три копейки, аль-бо три дня на полу спать будешь!

Или:

— Аль-бо трешница (3 коп.) твоя, аль-бо съ голоду дохни, недѣлю безъ баланды, не пимши, не жрамши, сиди.

Захожу какъ-то въ тюрьму передъ вечеромъ, когда всѣ уже улеглись. Смотрю, — одинъ арестантъ въ проходѣ около наръ на

полу лежить. Увидя меня, вскочилъ, полѣзъ на нары. Сосѣдъ не пускаетъ.

— Стой! Куда лѣзешь? Нѣтъ, ты на полу лежи!

— Чортъ! Дьяволъ! Видишь, баринъ!

— Нѣтъ, ты и при баринѣ лежи. Пусть баринъ видитъ, какая такая ты тварь есть на свѣтѣ. Лежи!

Арестантъ сталъ около наръ.

— Нѣтъ, ты ложись! — слышалось среди смѣха со всѣхъ сторонъ. — Неча вставать. Баринъ сказалъ, что ничего, при немъ можно лежать! Ты и лежи, какъ лежалъ.

— Мѣсто проигралъ, что ли? — спрашиваю.

— Такъ точно, продулъ, песь, а теперь и моркотно.

— Во сколько мѣсто шло?

— Шло въ трешницѣ, да я и цѣлковаго не возьму.

— Получай три!

— Вотъ, ужъ это зачѣмъ же! Мнѣ своя амбиція дороже трехъ цѣлковыхъ вашихъ стоитъ.

Видимо, выигравшій „уперся“: ничего въ такихъ случаяхъ съ арестантомъ не подѣлаешь.

— Проигралъ — и плати. Валяйся на полу. На то игра! А не хочешь платить, — встряска!

За неуплату тюрьма „накрываетъ темную“, т.-е. бьетъ безъ пощады, при чемъ бьютъ рѣшительно всѣ, и тѣ, кто въ игрѣ не былъ заинтересованъ.

— Это ужъ вѣрно! Это такъ! — слышалось кругомъ. — Порядокъ извѣстный! Встряска!

— Ложись, что ль, дьяволъ!

И „жиганъ“, подъ хохотъ всей тюрьмы, легъ на полъ, на которомъ было чуть не на вершокъ липкой, жидкой грязи.

Тюрьмѣ скучно, — она и рада маленькому развлеченію.

А вѣдь этотъ „жиганъ“ пришелъ въ тюрьму за то, что задушилъ изъ ревности свою жену. Въ его душѣ когда-то носились бури. Онъ чувствовалъ и любовь, и ревность, и горькую обиду. Какъ вамъ нравится „Отелло“ въ такой обстановкѣ!...

Захожу въ тюрьму въ обѣденное время. Обѣдъ былъ уже на исходѣ. „Поддувалы“ побѣждали въ кубъ за кипяткомъ, заваривать чай. Кто еще добдалъ, кто пряталъ на вечеръ оставшіеся кушочки хлѣба, кто ложился отдохнуть.

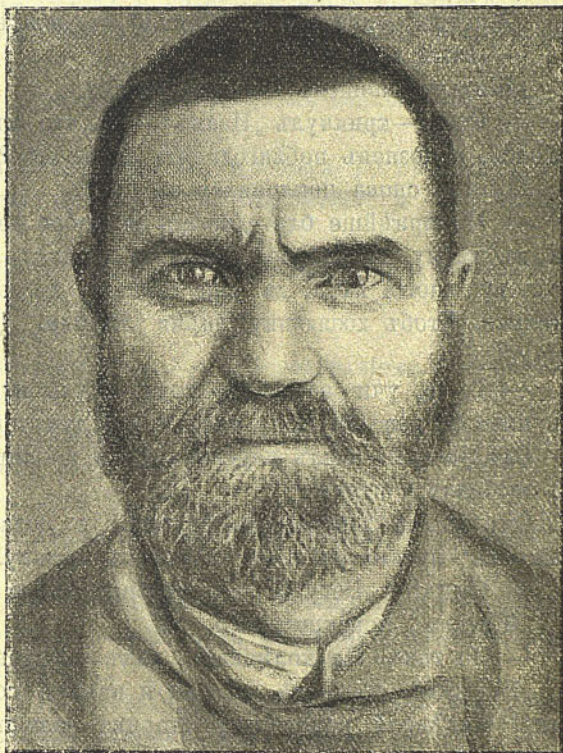
— Ну, теперь, братцы, „жигана“ кормить. Выходи, что ль! Иль апекита нѣтъ?

Съ нарѣ поднялся человѣкъ, съ котораго смѣло можно было бы рисовать „Голодѣ“. Ничего, кромѣ голода, не было написано въ глазахъ, въ блѣдномъ, безъ кровинки, синеватаго цвѣта, лицѣ, во всей этой слабой, обезсиленной фигурѣ. Это былъ „жиганъ“, вторую недѣлю уже проигрывающій даже свою баланду. Дней десять человѣкъ не видалъ крошки хлѣба и питался только жидкой похлебкой, „баландой“. И какъ питался!

Многіе даже приподнялись съ мѣста. Тюрьма предвкушала готовящуюся потѣху. Особенно это было замѣтно на лицѣ одного паренька. Видимо, человѣкъ готовился выкинуть надъ „жиганомъ“ что-то ужъ особенное.

„Жиганъ“ подошелъ къ первому, сидѣвшему съ краю, молча поклонился и сталъ. Тотъ съ улыбкой зачерпнулъ ему полъ-ложки баланды и далъ. „Жиганъ“ хлебнулъ, поклонился снова и подошелъ къ слѣдующему.

Это былъ типичный „Иванъ“, лежавшій въ величественной позѣ на нарахъ.



Арестантскіе типы.

- „Жиганамъ“ почтеніе! Обѣдать, что ли, пришли?
- Такъ точно, Николай Степановичъ, полакомиться!—съ низкимъ поклономъ отвѣчалъ „жиганъ“.
- Тэкъ!.. Ну, а скажи-ка намъ, чего бы ты теперь съѣлъ?
- „Жиганъ“ постарался сдѣлать преуморительную улыбку и отвѣчалъ:
- Съѣлъ бы я теперь, Николай Степановичъ, тетерьки да тетятинки, яичекъ да говядинки, лапши изъ поросятинки, немножечко

ветчинки, чуть-чуточку свининки, съ хрѣнчкомъ солонинки. Слюна бьетъ, какъ подумаю!

Тюрьма хохотала надъ прибаутками. „Иванъ“ обмакнулъ въ баланду ложку и подалъ „жигану“.

— На, лижи!

„Жиганъ“ открылъ ротъ.

— Ишь, раскрылъ пасть! Ложку слопашь! Нѣтъ, ты язычкомъ, съ осторожностью!

„Жиганъ“ слизнулъ прилипшій къ ложкѣ кусочекъ капусты.

— Лижи досыта!

„Жиганъ“ пошелъ къ слѣдующему.

— Стой!—крикнулъ „Иванъ“.—Ты что жъ это, невѣжа, напился, набѣлся, а хозяевъ поблагодарить нѣтъ тебя?

Жиганъ снова поклонился въ поясъ:

— Покорнѣйше благодаримъ за добро да за ласку, за угощенье да за таску, за доброе слово, за привѣтъ да за участіе. Чтобы хозяину многія лѣта, да еще столько, да полстолько, да четверть столько. Чтобы хозяйошку парни любили. Дѣточекъ Господь прибралъ!

— То-то, учи васъ, дураковъ! — улыбнулся „Иванъ“. — А еще въ имназіи учился! Чему васъ тамъ, дураковъ, учать? Невѣжи!

Слѣдующимъ былъ паренекъ, судя по лицу, придумавшій какую-то особенную штуку.

Онъ молча зачерпнулъ баланды и подалъ „жигану“. Но едва „жиганъ“ протянулъ губы, паренекъ крикнулъ:

— Цыцъ! А Богу передъ хлѣбомъ-солью молиться забыть?

„Жиганъ“ перекрестился.

— Не такъ! На колѣнкахъ, какъ слѣддоваить!

„Жиганъ“ сталъ на колѣни и началъ говорить. Что онъ говорилъ! Сидѣвшій неподалеку старикъ-фальшивомонетчикъ даже не выдержалъ, плюнулъ:

— Тфу, ты! Паскудники!

Паренекъ хохоталъ во всю глотку.

— Ну, теперича вотъ, по порядку, на!

Онъ подалъ ему половину ложки.

— Будеть, что ли?

— Слава Богу, Богъ меня наплатъ, никто меня не видалъ, а кто видѣлъ, не обидѣлъ, слава Богу, сытъ покуда, съѣлъ полпуда, осталось фунтовъ семь,—тѣ завтра съѣмъ,—причталь „жиганъ“.

Паренекъ держался за животики:

— Ой, батюшки, уморилъ, проваливай!

Слѣдующимъ былъ добродушнѣйшій рыжій мужикъ, съ улыбкой во весь ротъ.

— Ахъ ты, елова голова! — привѣтствовалъ онъ „жигана“. — Хошь, я въ тебя баланды этой самой сколько хошь волью? Желаетъ?

— Влейте, дяденька!

— Подставляй корыто!

„Жиганъ“ поднялъ голову и раскрылъ ротъ. Мужикъ захватилъ полную большую ложку баланды, осторожно донесъ и опрокинулъ ее въ ротъ „жигана“.

У того судорогой передернуло горло, онъ закашлялся, лицо налилось кровью.

— Отдышитесь! — сказалъ мужикъ, улыбаясь во весь ротъ.

„Жиганъ“ кое-какъ прокашлялся, отдышался и подошелъ къ слѣдующему.

Это былъ фальшивомонетчикъ, степенный старикъ, занимающійся въ тюрьмѣ ростовщичествомъ.

— Угостите, дяденька!

— Прочь пошелъ, паршивецъ! — съ негодованіемъ отвѣчалъ старикъ.

— Только и всего будетъ?

— Говорять, отходи безъ грѣха...

„Жиганъ“ подперъ руки въ боки.

Вся камера превратилась во вниманіе, ожидая, что дальше будетъ.

— Ахъ ты, Асмодей Асмодеевичъ! — началъ срамить „жиганъ“ старика. — На гробъ, что ли, копишь, да на саванъ, да на свѣчку...

— Уходи, тебѣ говорятъ!

— Да наладанъ, да на мѣсто. Скоро тебѣ, Асмодею Асмодеевичу, конецъ придетъ, сдохнешь, накопить не успѣешь...

— Уходи!

— Сгниешь, старый чортъ, съ голода сдохнешь...

Но въ эту минуту „жигана“ схватилъ за шиворотъ вернувшійся изъ кухни съ кипяткомъ „поддувала“ Асмодея Асмодеича.

— Пустя! — кричалъ „жиганъ“.

— Не озорничай!

— Бей его! — словно изстуженный, вопилъ старый ростовщикъ. Огромный верзила-„поддувала“ изо всей силы хватилъ „жигана“ по уху.

— Бей! Бей! — кричалъ старикъ.

— Такъ ты вотъ какъ?! Вотъ какъ?!

„Жиганъ“ поднялся было съ пола, но „поддувала“ сгребъ его „за волосы“, пригнулъ къ землѣ и накладывалъ по шеѣ.

— Бей! Бей!—оралъ остервенѣвшійся старикъ.

Каторга хохотала.

— За-акуска!—трясъ головой и заливался смѣшливый паренекъ.

А вѣдь „Иванъ“ сказалъ правду: этотъ „жиганъ“, дѣйствительно, прошелъ шесть классовъ гимназіи...

Я часто, бывало, спрашивалъ: „За что вы такъ бьете этихъ несчастныхъ?“—и всегда мнѣ отвѣчали съ улыбкой одно и то же:

— Не извольте, баринъ, объ нихъ беспокоиться. Самый пустой народъ. Онъ на всякое дѣло способенъ!

Изъ нихъ-то и формируются „сухарники“, нанимающіеся нести работы за тюремныхъ ростовщиковъ и шулеровъ, „смѣшники“, мѣняющіеся съ долгосрочными каторжниками именемъ и участью, воры и, разумѣется, голодные убійцы.

Шпанка.

„Шпанка“, это—Панургово стадо, это—задавленная „масса“ каторги, ея безправный плебсъ. Это—тѣ крестьяне, которые „пришли“ за убійство въ пьяномъ видѣ во время драки на сельскомъ праздникѣ; это—тѣ убійцы, которые совершили преступленіе отъ голода или по крайнему невѣжеству; это—жертвы семейныхъ неурядицъ, злосчастные мужья, не умѣвшіе внушить къ себѣ пылкую любовь со стороны женъ; это—тѣ, кого задавило обрушившееся несчастье, кто терпѣливо несетъ свой крестъ, кому не хватило силы, смѣлости или наглости завоевать себѣ положеніе „въ тюрьмѣ“. Это—люди, которые, отбывъ наказаніе, снова могли бы превратиться въ честныхъ, мирныхъ, трудящихся гражданъ.

Потому-то и „Иванъ“, и „храпъ“, и „игрокъ“, и даже несчастный „жиганъ“ отзываются о шпанкѣ не иначе, какъ съ величайшимъ презрѣніемъ:

— Нешто это арестанты! Такъ—„отъ сохи взять на время“¹⁾.

Настоящая каторга, „ея головка“: „Иваны“, „храпы“, „игроки“ и „жиганы“,—хохочетъ надъ „шпанкой“.

— Да нешто онъ понималъ даже, что дѣлалъ! Такъ—несуразный народъ.

1) „Отъ сохи на время“ такъ называются, собственно, невинно осужденные. Но это презрительное названіе каторга распространяетъ и на всю „шпанку“.

И совершенно искренно не считает „шпанку“ за людей:

— Какой это человекъ? Такъ — сурокъ какой-то. Свернется и дрыхнетъ!

У этихъ, вѣчно полуголодныхъ людей, съ вида напоминающихъ „босяковъ“, есть два занятія: работать и спать. Слабосильный, плохо накормленный, плохо одѣтый, обутой, онъ наработается, придетъ и, „какъ сурокъ“, заляжетъ спать. Такъ и проходить его жизнь.

„Шпанка“ безотвѣтна, а потому и несетъ самыя тяжелыя работы. „Шпанка“ бѣдна, а потому и не пользуется никакими льготами отъ надзирателей. „Шпанка“ забита, безропотна, а потому тѣ, кто не рѣшается подступить къ „Иванамъ“, велики и страшны, когда имъ приходится имѣть дѣло со „шпанкой“. Тогда „мерзавецъ“, какъ громъ, гремитъ въ воздухъ. „Задеру“, „сгною“, — только и слышится обѣщаній!

„Шпанка“, это—тѣ, кто спитъ не раздѣваясь, боясь, что „свистнутъ“ одежонку. Остающійся на вечеръ хлѣбъ они прячутъ за пазуху, такъ цѣлый день съ нимъ и ходятъ, а то стащатъ. Возвращаясь съ работъ въ тюрьму, представитель „шпанки“ никогда не знаетъ, цѣль ли его сундучокъ на нарахъ, или разбить и оттуда вытащено послѣднее арестантское добро.

Ихъ давятъ „Иваны“, застрачиваютъ и обираютъ „храпы“, надъ ними измываются „игроки“, ихъ обкрадываютъ голодные „жиганы“.

„Шпанка“ дрожитъ всякаго и cadaго. Живетъ всю жизнь дрожа, потому что въ этихъ тюрьмахъ, гдѣ должны „исправляться и возрождаться“ преступники, царитъ самоуправство, произволь „Ивановъ“, полная власть сильнаго надъ слабымъ, „отпѣтаго негодяя“ надъ порядочнымъ человекомъ.

Горе Матвѣя¹⁾.

Мы шли со зрителемъ по двору тюрьмы. Время было подъ вечеръ. Арестанты возвращались съ работъ.

— Не угодно ли посмотрѣть на негодяя? Пойди сюда! Гдѣ халать!—обратился зритель къ арестанту, шедшему, несмотря на ненастную погоду, безъ халата. — Проигралъ, негодяй? Проигралъ, я тебя спрашиваю?

¹⁾ „Матвѣемъ“ называется на каторгѣ хозяйственный мужикъ. Не каторжникъ, не пьяница, не воръ и не мотъ, это, по большей части,—тихий, смиренный трудолюбивый, безотвѣтный человекъ. Я привожу эти два рассказа, какъ характеристику „подвиговъ Ивановъ“.

Арестантъ молча и угрюмо смотрѣлъ въ сторону.

— Чтобъ былъ мнѣ халатъ! Слышишь? Кожу собственную сдери да шей, негодяй! Пороть буду! Въ карцерѣ сгною! Слышалъ? Да ты что молчишь? Слышалъ, я тебя спрашиваю?

— Слышалъ! — глухимъ голосомъ отвѣчалъ арестантъ.

— То-то „слышалъ!“ Чтобъ былъ халатъ! Пшелъ!

И чрезвычайно довольный, что показалъ мнѣ, какъ онъ умѣетъ арестантамъ „задавать пфейфера“, смотритель (изъ бывшихъ ротныхъ фельдшеровъ) пояснилъ:

— Съ ними иначе нельзя. Не только казенное имущество, — тѣло, душу готовы промотать, проиграть! Я вѣдь, батенька, каторгу-то знаю, какъ свои пять пальцевъ! Каждого, какъ облупленного, насквозь вижу!

Промотчикъ, „игрокъ“, дѣйствительно, способный проиграть и душу и тѣло, проигрывающій свой паекъ часто за полгода, за годъ впередъ, проигрывающій не только ту казенную одежду, какая у него есть, но и ту, которую ему еще выдадутъ, проигрывающій даже собственное мѣсто на нарахъ, проигрывающій свою жизнь, свою будущность, мѣняющійся именами съ болѣе тяжкимъ преступникомъ, приговореннымъ къ плетямъ, вѣчной каторгѣ, кандалной тюрьмѣ, — этотъ типъ очень меня интересовалъ, — и на слѣдующій же день, въ обѣденное время, я отправился въ тюрьму уже одинъ, безъ смотрителя, и попросилъ арестантовъ позвать ко мнѣ такого-то.

— А вамъ, баринъ, на что его? — полюбопытствовали арестанты, среди которыхъ были такіе, симпатіями и довѣріемъ которыхъ я уже заручился.

— Да вотъ хочется посмотрѣть на завятаго игрока.

Среди арестантовъ раздался смѣхъ.

— Игрока!

— Да что вы, баринъ! Они вамъ говорятъ, а вы ихъ слушаете. Да онъ и картъ-то въ рукахъ отродясь не держалъ! А вы „игрока!“

— А какъ же халатъ?

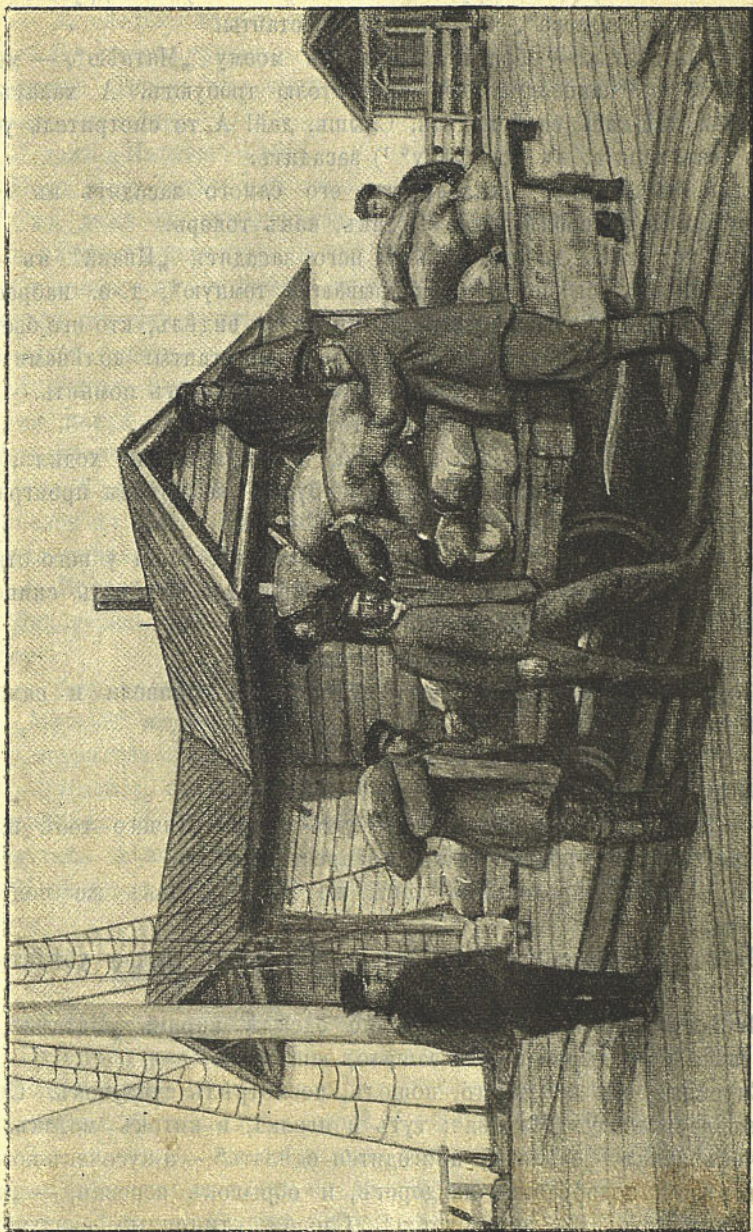
— Халатъ-то?

Арестанты зашумукались. Среди этого шумуканья слышались возгласы моихъ знакомцевъ:

— Ничего! Ему можно!.. Онъ не скажетъ!.. Онъ не выдастъ!..

И мнѣ рассказали исторію этого „проиграннаго“ халата.

Мой „промотчикъ“ оказался тихимъ, скромнымъ „Матвѣемъ“, вѣчнымъ труженикомъ, минуты не сидящимъ безъ дѣла.



Арестантскія работы.

Дня два тому назадъ онъ сидѣлъ на нарахъ и по обыкновенію что-то зашивалъ, какъ вдругъ появился „Иванъ“, изъ другого отдѣленія, или „номера“, какъ зовутъ арестанты.

— Слышь ты, — обратился онъ къ моему „Матвѣю“, — меня зачѣмъ-то въ канцелярію къ смотрителю требуютъ. А халатъ я продалъ. Дай-кась свой надѣть. Слышь, дай! А то смотритель увидитъ безъ халата, въ „сушилку“¹⁾ засадить.

Если бы „Матвѣю“ сказали, что его самого засадятъ въ „сушилку“, онъ не поблѣднѣлъ бы такъ, какъ теперь.

Онъ не дастъ халата, изъ-за него засадятъ „Ивана“ въ сушилку. За это обыкновенно „накрываютъ темную“, т.-е. набрасываютъ человѣку на голову халатъ, чтобы не видѣлъ, кто его бьетъ, и бьютъ такъ, какъ умѣютъ бить только арестанты: колѣнами въ спину, безъ знаковъ, но человѣкъ всю жизнь будетъ помнить.

Приходилось разстаться съ халатомъ.

„Иванъ“, разумѣется, ни въ какую канцелярію не ходилъ, да его и не звали, а просто пошелъ въ другой „номеръ“ и проигралъ халатъ въ штоссъ.

И никто не вступился за бѣднаго „Матвѣя“, когда у него отнимали послѣднее имущество, за которое придется отвѣчать спиной. Никто не вступился, потому что:

— Съ „Иванами“ много не наговоришь!..

Пока мнѣ рассказали всю эту исторію, привели и самого „Матвѣя“.

— Ну, гдѣ жъ, братъ, халатъ?

Матвѣй молчалъ.

— Да ты не бойсь. Баринъ все ужъ знаетъ. Ничего тебѣ плохого не будетъ! — подталкивали его арестанты.

Но „Матвѣй“ продолжалъ такъ же угрюмо, такъ же понуро молчать.

На каторгѣ ничему вѣрить нельзя. Во всемъ нужно убѣдиться лично.

Посмотрѣлъ я на „Матвѣя“, и по одеждѣ впрямь „Матвѣй“, — на бушлатѣ ни дырочки, все зашито, заштопано.

Спросилъ, гдѣ его мѣсто, пошелъ, посмотрѣлъ сундучокъ. Сундучокъ настоящаго „Матвѣя“: тутъ и иголка, и нитокъ мотокъ, и кусочекъ сукна — „заплатку пригодится сдѣлать“, — и кусочекъ кожи, перегорѣлой, подобранной на дорогѣ, и обрывокъ веревки, — „можетъ, подвязать, что потребуется“. Словомъ, типичный сундучокъ

¹⁾ Карцеръ.

Зеркало Карцера

не промوتчика, не игрока, а скромного, хозяйственного, бережливого арестанта.

— За сколько халатъ-то заложенъ?

— Въ шести гривнахъ съ пятаконъ пошелъ. До пѣтуховъ¹⁾ закладывали. Теперь ужъ третьи сутки пошли. Три гривны проценту, значить,росло.

Я далъ „Матвѣю“ рубль.

Надо было видѣть его лицо.

Онъ даже не обрадовался, — онъ просто оторопѣлъ. На лицѣ было написано изумленіе, почти испугъ.

Съ минуту онъ постоялъ молча съ бумажкой въ рукѣ, затѣмъ кинулся опрометью изъ камеры, подъ веселый хохотъ всей арестантской братіи.

Я потомъ встрѣчалъ его много разъ. И всякій разъ, несмотря ни на какую погоду, обязательно въ халатѣ. Онъ, кажется, и спалъ въ немъ.

Всякій разъ, завидѣвъ меня, онъ еще издали снималъ шапку и улыбался до ушей, а на мой вопросъ: „Ну, что какъ халатъ?“ — только смѣялся и махалъ рукой:

— Попалъ, моль, было въ кашу!

Дня черезъ три послѣ выкупа мы встрѣтили его съ смотрителемъ.

— Ага, нашелся-таки халатъ?

„Матвѣй“ молчалъ.

Смотритель торжествовалъ.

— Видите, пригрозилъ, и нашелся? Съ ними только надо умѣть обращаться. Я, батенька, каторгу знаю! Вотъ какъ знаю. Они сами себя такъ не знаютъ, какъ я ихъ, негодяевъ, знаю.

Я не сталъ разубѣждать добраго человѣка. Къ чему?

Безсрочный „испытываемый“ Гловацкій.

47 лѣтъ онъ признанъ неспособнымъ уже не на какую работу.

Избитый, искалѣченный, вогнанный въ чахотку, приговоренный всю свою жизнь не выходить изъ кандалной, — передъ вами, дѣйствительно, быть-можетъ, самый несчастный человѣкъ на свѣтѣ.

Ложась спать, онъ не знаетъ, встанетъ ли завтра, или арестанты ночью его задушатъ. Онъ ни на секунду не можетъ разстаться съ ножомъ. Долженъ каждую минуту дрожать за эту несчастную жизнь.

¹⁾ Заложить „до пѣтуховъ“ — заложить до утра.

На голову этого человѣка свалилось такъ много незаслуженныхъ бѣдъ, несправедливостей, неправды, что, право, начинаешь вѣрить Гловацкому, что и на Сахалинъ онъ попадетъ „безвинно“.

Николай Гловацкій, мѣщанинъ Кіевской губерніи, гор. Звенигородки, присужденъ къ безсрочной каторгѣ за то, что повѣсилъ свою жену.

Окончившій курсъ уѣзднаго училища, по ремеслу шорникъ, Гловацкій въ 1876 году женился, а въ 1877 — ушелъ въ военную службу. Вернувшись черезъ пять лѣтъ, онъ уже не узналъ своей жены. За это время она успѣла „избаловаться“, мѣняла друзей сердца и не хотѣла тихой семейной жизни. А Гловацкій былъ влюбленъ въ свою жену. Онъ отыскалъ себѣ мѣсто въ имѣніи графини Дзелинской, въ Волынской губерніи, и увезъ туда жену, думая, что, вдали отъ соблазна, жена исправится и сдѣлается честной женщиной. Но она бѣжала изъ имѣнія. Гловацкій быстро хватился ея, догналъ и подъ вечеръ привезъ домой. Это была бурная и тяжелая ночь. По словамъ Гловацкаго, жена была въ какомъ-то изступленіи, она кричала:

— Ты противенъ мнѣ. Понимаешь ли, противенъ! Ничего, кромѣ отвращенія, я къ тебѣ не чувствую. Мнѣ что ты, что дягушка. Вотъ какъ ты мнѣ мерзокъ. Мнѣ въ петлю легче, пріятнѣе, чѣмъ быть твоей женой!

Она расхваливала ему интимныя достоинства своихъ друзей сердца. Говорила вещи, отъ которыхъ у Гловацкаго голова плакругомъ. Онъ просилъ, умолялъ ее опомниться, образумиться, плакалъ, грозилъ. И, наконецъ, измученный въ конецъ, подъ утро задремалъ.

— Но вдругъ проснулся, — рассказываетъ Гловацкій, — словно меня толкнуло что. Смотрю, — жены нѣтъ. Зажегъ фонарь, выбѣжалъ изъ дома вслѣдъ, догнать. Выбѣгаю, а она около дома на деревѣ виситъ. Повѣсилась.

Гловацкій, по его словамъ, отъ ужаса не помнилъ, что дѣлалъ. Никто не видалъ, какъ онъ вечеромъ привезъ жену назадъ. Знали только, что она сбѣжала. И Гловацкій почему-то захотѣлъ скрыть ужасный случай.

— Почему, — и самъ не знаю, — говоритъ онъ.

Онъ снялъ трупъ съ дерева, положилъ въ мѣшокъ, пронесъ черезъ садъ и бросилъ въ рѣку. Черезъ нѣсколько дней трупъ въ мѣшкѣ прибило гдѣ-то, ниже по теченію, къ берегу. Гловацкій на всѣ вопросы твердилъ:

— Знать не знаю и вѣдать не вѣдаю.

По знакамъ отъ веревки нарисовали трагедію. И Гловацкій былъ осужденъ въ безсрочную каторгу за то, что, потихоньку привезя домой жену, онъ повѣсилъ ее и, чтобы скрыть слѣды преступленія, хотѣлъ утопить трупъ въ рѣкѣ.

Пусть онъ въ этомъ и будетъ виновенъ. Не будемъ вѣрить его разсказу. Вѣдь они всѣ говорятъ, что страдаютъ „безвинно“. Тайну своей смерти унесла съ собой покойная Гловацкая. И разрѣшить, кто правъ, правосудіе или Гловацкій, — невозможно. Но вотъ дальнѣйшіе факты, свидѣтели которыхъ живы.

На Сахалинѣ Гловацкій пришелъ въ 1888 году. Какъ безсрочный каторжникъ, Гловацкій былъ заключенъ въ существовавшую еще тогда страшную Воеводскую тюрьму, о которой сами гг. смотрители говорятъ, что это былъ „ужасъ“. Въ теченіе трехъ лѣтъ Гловацкій получилъ болѣе 500 розогъ, все за то, что не успѣвалъ окончить заданнаго „урока“. Напрасно Гловацкій обращался за льготой къ тогдашнему врачу Давыдову. Этотъ типичный „осахалинившійся“ докторъ отвѣчалъ ему то же, что онъ отвѣчалъ всегда и всѣмъ:

— Что жъ я тебя въ комнату посажу, что ли?

За обращеніе къ доктору Гловацкаго считали „лодыремъ“ и отправляли на наиболѣе тяжкія работы, — на вытаску бревенъ изъ тайги.

— Три раза за одно бревно пороли: никакъ вытащить не могъ, обезсилѣлъ! — вспоминаетъ Гловацкій одно особенно памятное ему дерево.

Вообще въ этихъ воспоминаніяхъ Гловацкаго, какъ и вообще въ воспоминаніяхъ всѣхъ каторжниковъ бывшей Воеводской тюрьмы, ничего не слышно, кромѣ свиста розогъ и плетей.

Ведутъ, бывало, къ Фельдману, только молишь Бога, чтобы дѣти его дома были. Дѣти, — дай имъ, Господи, всего хорошаго, всѣхъ благъ земныхъ и небесныхъ, — не допускали его до порки. Затрясутся, бывало, поблѣднѣютъ. „Папочка, не дѣлай этого, папочка, не пори!“ Ему передъ ними станетъ совѣстно, ну, и махнеть рукой. Вся каторга за нихъ Бога молила.

Но и это было небольшимъ облегченіемъ.

— Что Фельдманъ! Старшимъ надзирателемъ тогда Старцевъ былъ. Бывало, пока до Фельдмана еще доведетъ, до полусмерти изобьетъ. Еле на ногахъ стоишь!

Все тяжелѣе и тяжелѣе было жить этому измученному человеку. Въ 92 году онъ и совсѣмъ, какъ говорятъ на Сахалинѣ, „попалъ подъ колесо судьбы“.

— Иду какъ-то задумавшись,—вдругъ окрикъ: „Ты чего шапки не снимаешь?“ Господинъ Дмитріевъ. Задумался и не замѣтилъ, что онъ на крылечкѣ сидитъ. „Дать ему сто!“

Но Гловацкому дали только 50. Послѣ пятидесятой розги онъ былъ снятъ съ „кобылы“ безъ чувствъ и два дня пролежалъ въ „околоткѣ“. Не успѣлъ поправиться, — новая порка. Играли въ тюрьмѣ въ карты рядомъ съ мѣстомъ Гловацкаго. Какъ вдругъ нагрянулъ тогда замѣнявшій начальника округа Шилкинъ. „Стремщики“ не успѣли предупредить, тюрьма была захвачена врасплохъ. Картъ не успѣли спрятать и бросили какъ попало, на нары.

— Чье мѣсто? — спросилъ начальникъ, указывая на карты.

— Гловацкаго!

— Сто!

— Да я не игралъ...

— Сто!

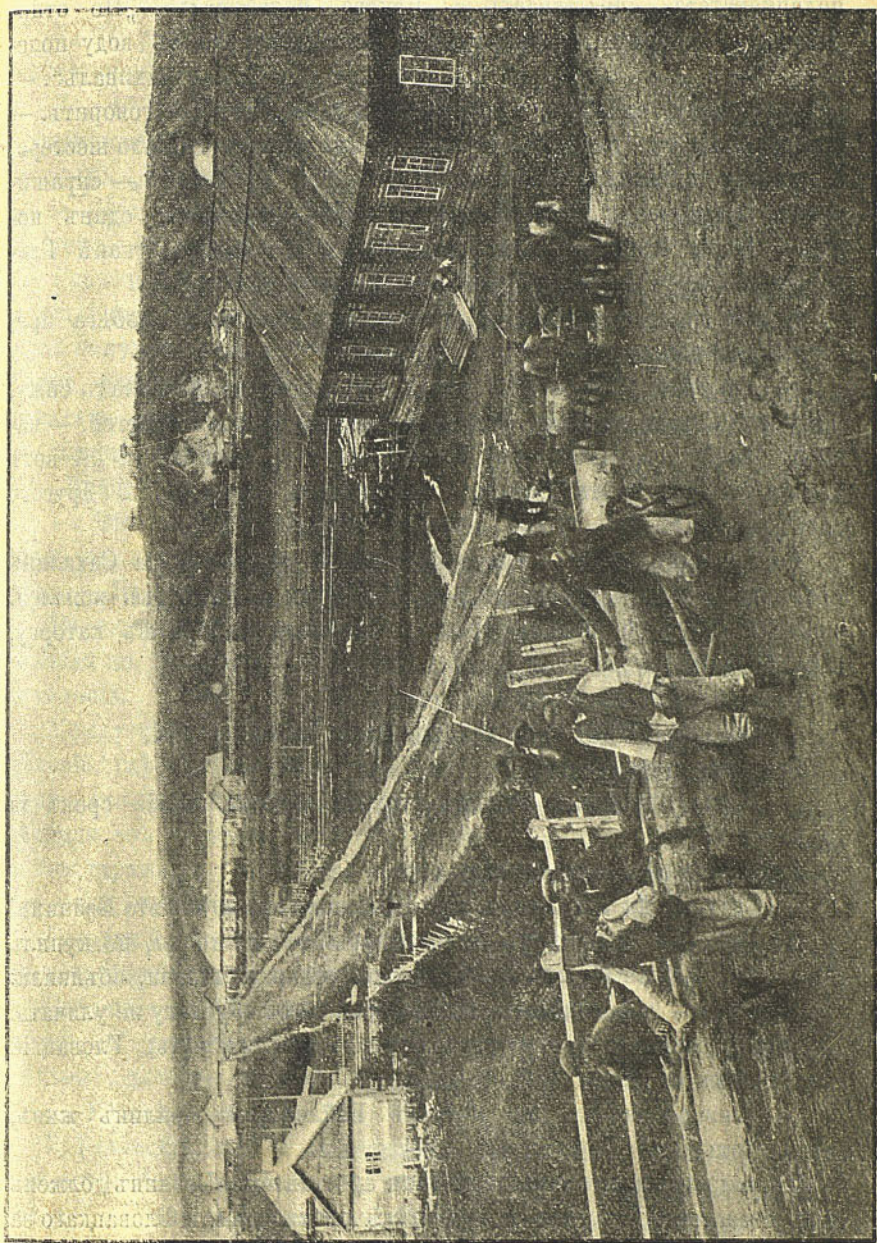
И Гловацкому, дѣйствительно, вовсе не играющему въ карты, „всыпали“ сто. На этотъ разъ Гловацкій выдержалъ всю сотню, но послѣ наказанія даже тогдашній сахалинскій докторъ положилъ его на три дня въ лазаретъ и далъ послѣ этого недѣлю отдыха.

— Только вышелъ, иду, еле ноги двигаю, — голосъ. Господинъ Шилкинъ передъ очами. Ну, ей Богу, мнѣ съ перепуга показалось, что онъ изъ-подъ земли передо мною выросъ. И не замѣтилъ, что онъ въ сторонкѣ сидѣлъ. „Такъ ты вотъ еще какъ? Ты сопротивничать? Не кланяться еще вздумалъ? Пятьдесятъ“. Дали. Вижу, душа ужъ съ тѣломъ разстается. Смерть подходитъ неминуемая.

Какъ разъ въ это время одинъ кабардинецъ собиралъ въ Воеводской тюрьмѣ партію для побѣга. Кабардинцу предстояло получить 70 плетей. Онъ подбиралъ людей, для которыхъ смерть была бы, какъ и для него, — ничто. Къ этой-то партіи и примкнулъ Гловацкій. Бѣжали четверо кавказцевъ, Гловацкій и каторжникъ Бейлинъ, сыгравшій впоследствии страшную роль въ жизни Гловацкаго.

Бейлинъ послѣ ухода изъ тюрьмы отдѣлился отъ партіи и пошелъ бродяжить одинъ. А пятеро бѣглецовъ сколотили плотъ и поплыли по Татарскому проливу.

— Плыдемъ. Вдругъ, — дымокъ показался. Смотримъ — катеръ. Замѣтили насъ. Полицмейстеръ Домбровскій вслѣдъ катить. Значить, не судьба. Ждемъ своей участи. Бьетъ это насъ волнами, бросаетъ нашъ плотъ. Вѣтромъ, — брезентовый пиджакъ тутъ лежалъ, — подхватило, въ воду снесло. Я его шестомъ хотѣлъ достать, — куда тебѣ, унесло. Подходитъ катеръ. „Сдавайтесь!“ —



Арестантскія работы.

Домбровский кричить. Мы — по положенію: на колѣни становимся. Взяли насъ на катерь. „А зачѣмъ человѣка въ воду бросили?“ — полицмейстеръ спрашиваетъ. — „Какого человѣка?“ — „Не отпирайтесь, — говоритъ, — самъ видѣлъ, какъ человѣкъ въ воду полетѣлъ. Вотъ этотъ вотъ, русскій, его еще шестомъ отпихивалъ“. — „Да это, молъ, пиджакъ, а не человѣкъ“. — „Ладно, — говоритъ, — разберется. Самъ видѣлъ“. Привозятъ въ тюрьму. Бѣжало шестеро, а привели пятерыхъ, Бейлина нѣтъ. „Гдѣ Бейлинъ?“ — спрашиваютъ. Клянемся и божимся, что Бейлинъ отдѣлился, одинъ пошелъ. Вѣры нѣтъ, — „самъ полицмейстеръ видѣлъ, какъ Гловацкій человѣка въ воду бросилъ и шестомъ топилъ“.

Пошло дѣло объ убійствѣ Гловацкимъ во время побѣга арестанта Бейлина.

— Два года, какъ тяжкій подслѣдственный, въ кандалахъ сижу, пока идетъ судъ да дѣло. Жду либо висѣлицы, либо плетей, — на смерть запорютъ. Начальству божусь, клянусь, — смѣются: „А вотъ явится съ того свѣта Бейлинъ, тогда тебя оправдають. Другого способа нѣтъ“.

Какъ вдругъ въ 1894 году „Ярославль“ привозитъ на Сахалинъ Бейлина. Бейлину удалось добраться до Россіи, тамъ онъ попался, сказался бродягой непомнящимъ и пришелъ теперь въ каторгу, какъ бродяга, на полтора года.

Бросился Гловацкій къ Бейлину.

— Скажись. Вѣдь меня судятъ, будто я тебя убилъ.

Бейлинъ отказывается.

— Нѣтъ. Какой мнѣ расчетъ полтора года на долгій срокъ да на плети мѣнять.

Гловацкій обратился къ каторгѣ:

— Братцы! Да вступитесь же! Вѣдь вы знаете, что это Бейлинъ!

Но Бейлинъ, у котораго были маленькія деньжонки, подкупилъ „Ивановъ“. „Иваны“, эти законодатели, судьи и палачи, объявили:

— Убьемъ, кто донесетъ. Старый порядокъ: бродягу не уличать.

Тогда, видя, что все равно приходится гибнуть, Гловацкій явился самъ по начальству.

— Меня обвиняють въ убійствѣ Бейлина, а Бейлинъ живъ, здѣсь. Вотъ онъ!

Сличили съ карточками, допросили арестантовъ, Бейлинъ долженъ былъ сознаться. Дѣло объ его убійствѣ прекратили, и Гловацкаго за побѣгъ приговорили къ 11 годамъ „испытваемости“ и 65 плетямъ.

— Только за 6 дней отлучки! — говоритъ онъ, и на глазахъ наворачиваются слезы при воспоминаніи объ этихъ 65 плетяхъ.

Бейлину за побѣгъ тоже вышла прибавка срока и плети, и онъ рѣшилъ отомстить.

— Десяти рублей не пожалѣю, а Гловацкому не жить!

За 10 рублей на Сахалинѣ можно нанять убійцъ и перерѣзать цѣлую семью.

За 10 рублей „Иваны“ нанялись повѣсить Гловацкаго въ „укромномъ“ мѣстѣ. Но Гловацкому кто-то за 20 копеекъ выдалъ заговоръ „Ивановъ“.

— Что было дѣлать? Донести начальству — невозможно. И такъ и этакъ, — все равно убьютъ.

Гловацкій запасся ножомъ и рѣшилъ быть на чеку. Однажды, когда Гловацкій передъ вечеромъ шелъ къ „укромному“ мѣсту, на него кинулась шайка „Ивановъ“, и одинъ изъ нихъ, Степка Шибавъ, накинулъ ему на шею петлю. Гловацкій успѣлъ, однако, схватить одной рукой веревку, а другой ударилъ Степку ножомъ въ животъ.

„Иваны“ кинулись въ сторону.

— Что же вы, подлецы? — кричалъ имъ Гловацкій и, наклонившись къ корчившемуся въ предсмертныхъ мукахъ Шибаву, спросилъ. — Ну, что задавили Гловацкаго, мерзавецъ?

Въ тюрьмѣ убійство. Явилось начальство. Умиравшаго Степку отнесли въ лазаретъ. Гловацкаго арестовали и посадили въ особое отдѣленіе.

Между тѣмъ „Иваны“ пришли въ себя. Они кинулись въ отдѣленіе, гдѣ сидѣлъ обезоруженный Гловацкій, выломали двери и били его до полусмерти. Переломили ему руку, разбили лобъ, „отбили всѣ внутренности“. Къ счастью или къ несчастью, подошла стража, и Гловацкаго еле вырвали полуживого, безъ сознанія, изъ рукъ озвѣрѣвшихъ людей.

Гловацкій остался искалѣченный на всю жизнь. Ему даже говорить трудно. Онъ задыхается.

Слѣдствіе на Сахалинѣ вели, кто придется, люди вовсе не знакомые съ этимъ дѣломъ¹⁾. Свидѣтелями допрашивались тѣ же „Иваны“, которые, конечно, „засыпали“ Гловацкаго:

— Убилъ по злобѣ!

И Гловацкій, только защищавшій свою жизнь, приговоренъ къ пожизненной „испытваемости“, къ пожизненному содержанію въ кандалной тюрьмѣ и 30 плетямъ. Плетей не дали. Какія же плети

¹⁾ Только года четыре тому назадъ на Сахалинѣ назначены были, наконецъ, впервые двое слѣдователей, они же мировые судьи.

полуумирающему? Докторъ призналъ его неспособнымъ къ перенесенію тѣлеснаго наказанія. Но за жизнь, сидя въ кандалной, Гловацкій долженъ дрожать день и ночь, каждую минуту: „Иваны“ приговорили его къ смерти и за Бейлина и за Степку.

— Вотъ у насъ, поистинѣ, страдалецъ! — говорилъ мнѣ смотритель тюрьмы г. Кнохтъ.

— Да что жъ вы-то?

— А я что могу? Слѣдствіе такъ повели!

Я обращался къ каторжанамъ:

— Вы чего же молчали?

— Что это? Соваться, — сказывать, что „Иваны“ нанялись его убить. Убьютъ!

Бейлинъ содержится въ той же тюрьмѣ. Я говорилъ съ нимъ.

— Вѣдь изъ-за тебя невиннаго человѣка повѣсить могли. Чего жъ ты самъ не сказалъ.

— Мнѣ это не полезно. Мнѣ о другихъ думать нечего. Всякій за себя.

Гловацкій никуда не выходитъ изъ своего „номера“. Для бесѣды со мной его водили по тюремному двору подъ конвоемъ, а то убьютъ.

— Я и такъ ножъ всегда при себѣ ношу. „Иваны“ мнѣ Степки не простятъ. Сказали: убьютъ,—и убьютъ. Такъ вотъ живу пѣжду.

И этотъ несчастнѣйшій человѣкъ въ мірѣ, облеченный на смерть въ кандалной, когда я его спросилъ, не могу ли быть чѣмъ-нибудь полезнымъ, просилъ меня не за себя, а за другого:

— Ему очень тяжело.

Каторжные типы.

Сѣрые лица и халаты. Какой однообразной кажется толпа каторжанъ. Но когда вы познакомитесь поближе, войдете въ ея жизнь, вы будете различать въ этой сѣрой массѣ безконечно разнообразныя типы. Мы познакомимся съ главнѣйшими, — съ тѣми, про которые можно сказать, что они составляютъ „атмосферу тюрьмы“, ту атмосферу, въ которой нарождаются преступленія и задыхается все, что попадаетъ въ нее мало-мальски честнаго и хорошаго.

Если вы войдете въ тюрьму въ обѣденное время, вамъ, конечно, прежде всего бросится въ глаза небольшой ящикъ, на которомъ разставлены бутылочки молока, положены варенныя яйца, кусочки мяса, бѣлый хлѣбъ. Тутъ же лежатъ сахаръ и папиросы.

Гдѣ-нибудь подъ нарами, можете быть вполне увѣрены, отлично спрятаны водка и карты. Это — „майданъ“. Около этого буфета вы увидите фигуру, по большей части, *татарина-майданщика*. Прежде, въ сибирскія времена каторги, майданы держали исключительно бродяги. Каторга тамъ была богаче. Тюрьма получала массу подавній. Русскій народъ считаетъ святымъ долгомъ подавать „несчастнѣйшимъ“ и, пространствовавъ пѣшкомъ по городамъ и весямъ, партія арестантовъ приходила въ каторгу съ деньгами. Тогда майданщики наживали въ тюрьмѣ тысячи, — бродяги обирали тюрьму. Вотъ откуда и ведется теперешняя ненависть и презрѣніе каторги къ бродягамъ. Это ненависть историческая, восходящая еще къ страшнымъ разгильдѣевскимъ временамъ. Эта ненависть передана однимъ поколѣніемъ каторги другому. Каторга вымещаетъ бродягамъ обиды историческія. Мститъ за давнія угнетенія, своеволіе, обирательство. Теперь денежная власть изъ рукъ бродягъ перешла къ татарамъ. Нищую сахалинскую каторгу обираютъ татары, какъ „богатую“ сибирскую каторгу обирали бродяги. Вотъ причина той страшной ненависти къ татарамъ, которую я никакъ не могъ понять, когда у насъ въ трюмѣ парохода арестанты чуть не убили татарина только за то, что онъ нечаянно наступилъ кому-то на ногу. Эта національная ненависть носить экономическую подкладку.

Всѣ богатеи Сахалина, зажиточные поселенцы, на которыхъ вамъ съ такой гордостью указываютъ, по большей части, нажились въ тюрьмѣ на майданѣ.

— Нескладно! — упрекалъ я каторжника, когда онъ рассказывалъ мнѣ, какъ зарѣзали одного зажиточнаго поселенца. — Свой же братъ трудомъ, потомъ, кровью нажилъ, а вы же его убили!

— Трудомъ! — каторжникъ даже разсмѣялся. — Будетъ, ваше высокое благородіе, ихъ-то жалѣть, — вы насъ лучше пожалѣйте! Трудомъ! При мнѣ же въ тюрьмѣ майданъ держалъ; сколько изъ-за него народа погибло!

Майданъ — это закусовая, кабакъ, табачная лавочка, игорный домъ и доходная статья тюрьмы. Тюрьма продаетъ право ее эксплуатировать. Майданъ сдается обыкновенно на одинъ мѣсяць съ торговъ 1 числа. Майданщикъ платитъ по 15 к. каждому арестанту камеры, если у него играютъ только въ „арестантскій преферансъ“, и по 20 к., если игра идетъ еще и въ штоссъ и въ кончинку. Кромѣ того, майданщикъ долженъ навять по 1 рублю 50 копеекъ двоихъ *каморщиковъ*, обыкновенно несчастнѣйшихъ жигановъ, которые обязуются выносить „парашу“, подметать, или,

вѣрнѣе, съ мѣста на мѣсто перекаладывать соръ, мыть тюрьму, или, вѣрнѣе, разводить водой и размазывать жидкую грязь.

Майданщикъ же долженъ держать и *стремщика*, который за 15 копеекъ въ день стоитъ у дверей и долженъ предупреждать:

— Духъ! — если идетъ надзиратель.

— Шесть! — если идетъ начальство.

— Вода! — если грозитъ вообще какая-нибудь опасность.

За это тюрьма обязуется охранять интересы майданщика и смертнымъ боемъ бить всякаго, кто не платитъ майданщику долга. Тюрьмѣ нѣтъ дѣла до того, при какихъ условіяхъ задолжалъ товарищъ майданщику. Майданщикъ кричить:

— Что жъ вы, такіе-сякіе, деньги съ меня взяли, а бить не бьете?

И тюрьма бьетъ на-смерть:

— Задолжалъ, — такъ плати.

Самый выгодный и хорошій товаръ майдана — водка. Цѣна на нее колеблется, глядя по мѣсту и по обстоятельствамъ; но обыкновенная цѣна бутылкѣ слабо разведеннаго спирта въ тюрьмѣ для исправляющихся отъ 1 руб. до 1 руб. 50 коп. Водка очень слабая, оставляетъ во рту только скверный вкусъ, и у меня вѣчно выходили изъ-за этого пререканія съ самымъ старымъ каторжникомъ на Сахалинѣ¹⁾, дѣдушкой русской каторги, Матвѣемъ Васильевичемъ Соколовымъ.

— Чего ты мнѣ все деньги даешь! Ты самъ пойдѣ въ майданъ, выпей, — кака-така тамъ есть водка! Ты меня къ себѣ позови, кухаркѣ вели, чтобы чашечку поднесла. Это вотъ — водка!

Цѣны на остальные товары въ майданѣ слѣдующія: бутылку молока, которая самимъ имъ достается за 3—4 копейки, майданщики продаютъ по пятачку. Яйцо — 3 коп., самому 1 р. 20 коп. сотня. Хлѣбъ бѣлый — 6 коп. фунтъ, самому — 4 коп. Свиныя — другого мяса въ тюрьмѣ нѣтъ, коровъ поселенцы не продаютъ: нужны для хозяйства, — вареная свинина рѣжется кусочками по $\frac{1}{6}$ фунта, кусочекъ — 5 копеекъ, фунтъ сырой свинины — 20—25 к. Кусочекъ сахару — копейка. Папироса — копейка.

Это все на наличныя деньги. Можете себѣ представить, по какимъ цѣнамъ все это отпускается въ кредитъ! Главнѣйшая статья дохода майдановъ, какъ и нашихъ клубовъ, карты. Майданщикъ получаетъ 10 процентовъ съ банкмета и 5 — съ понтера. Кромѣ того, майданщики занимаются, конечно, и ростовщичествомъ, по-

¹⁾ Пятьдесятъ лѣтъ въ каторгѣ. Три „вѣчныхъ приговора“.

купкой и сбытом краденаго. Все почти, что заработаетъ, украдетъ или изъ-за чего убьетъ тюрьма, переходить, въ концѣ-концовъ, въ руки майданщика.

Майданщикъ играетъ огромную роль при „смѣнках“, которыя называются на арестантскомъ языкѣ „свадьбой“. „Свадьба“ обыкновенно происходитъ такъ. Если въ тюрьмѣ есть долгосрочный арестантъ, желающій смѣниться именемъ и „участію“ съ краткосрочнымъ, — онъ входитъ въ компанію съ Иванами, храпами, и они



Арестантскіе типы.

привлекаютъ къ участію въ дѣлѣ обязательно майданщика. Они подыскиваютъ подходящаго по внѣшнему виду краткосрочнаго арестанта, по большей части бѣдняка, и начинаютъ за нимъ охоту. Когда съ человѣкомъ сидишь 24 часа вмѣстѣ, поневолѣ изучишь его нравъ, характеръ, узнаешь склонности и маленькія слабости. Компанія начинаетъ работать. Майданщикъ вдругъ входитъ въ необыкновенную дружбу съ намѣченной жертвой. Предлагаетъ голодному въ кредитъ, что угодно:

— Ты ничего. Ты бери. Ты парень, я вижу, добрый. Изъ дома тебѣ пришлютъ, — можетъ, подаеніе будетъ, а либо заработаешь, украдешь что. Я повѣрю. Ты парень честный.

— Да ты водочки не хочешь ли?
И майданщикъ подносить чашечку водочки.

— Пей, пей! Потомъ сочтемся!

Захмелѣвшій арестантъ просить другую. Хмелѣть сильнѣе. А тутъ сосѣдъ „затираетъ“:

— Ты что? Ты человѣкъ фартовый! Ты въ карты сядь, — за всегда и водка и все будетъ... Смотри вонъ, такой-то. Сколько деньжищъ сгрѣбъ, какъ живетъ: водка не водка! Ты не робѣй, главное!

— Денегъ нѣту...

— А ты у майданщика попроси. Онъ къ тебѣ добрый. Дастъ на розыгрышъ! Эй, дядя...

— Чего? Деньжонокъ на розыгрышъ? Играй, — плачу за тебя, потомъ сочтемся!

Тутъ на сцену выступаетъ „мастакъ“, обыгрывающій простака навѣрняка. Нѣсколько рублей, которые „для затравки“ спервоначала даютъ простаку выиграть, кружатъ ему голову.

— Ловко! Молодца! Бухвость его! Дуй въ хвостъ и гриву! — подзадориваютъ толпящіеся около „Иваны“.

— Видать птицу по полету! За такимъ не пропадетъ! Подать водочки? — предлагаетъ майданщикъ.

А опьянѣвшій отъ вина и успѣха герой вопить:

— Бардадымъ два цѣлковыхъ! Шеперка полтина очко!

— Такъ его! Такъ! Дуй! Эта бита, — другая будетъ дана! Мечи, сиволалпый чортъ, не любишь проигрывать?..

Бита!.. Бита!.. Бита!..

Словомъ, когда на утро „герой“ просыпается съ головой, готовой треснуть отъ вчерашняго похмелья, у него проиграно все: казенная дачка хлѣба за годъ впередъ... Съ голода мри... А тутъ еще „барахольщикъ“ подходитъ:

— Отлежался, милъ человѣкъ! Скидавай-ка бушлатъ да штаны. Помнишь, какъ вчера мнѣ продалъ!

„Герой“ съ ужасомъ припоминаетъ, какъ вчера, дѣйствительно, кажется, что-то въ этомъ родѣ было.

— А не помнишь, — тюрьма напомнить. Вотъ они всѣ видѣли! — „барахольщикъ“ указываетъ на „Ивановъ“.

При насъ было!

— Ты и слѣдующую-то дачку тоже не забудь мнѣ отдать. За годъ впередъ проиграно. Аль забылъ? Реберъ, братъ, не бываетъ у тѣхъ, кто забываетъ. Порядокъ арестантскій — извѣстный.

А тутъ и майданщикъ подходитъ:

— Начудилъ ты тутъ вчера, милъ человѣкъ! Теперь за расплату возьмемся. По майдану ты мнѣ задолжалъ столько-то, да проигрышу я за тебя заплатилъ столько-то. Выкладывай! Гдѣ денежки?

— Да вѣдь ты жъ авчерась говорилъ...

— То другое дѣло, милый человѣкъ! Авчерашняго числа авчерашний разговоръ былъ. А сегодняшняго — сегодня. Мнѣ деньги нужны, — за товаръ платить. А ежели ты должать да не платить, — такъ мы по-свойски. Братцы, что жъ это? Грабежъ?

— Какой же такой порядокъ въ тюрьмѣ пошелъ? — орутъ храпы. — Майданщику не платятъ! Мы съ майданщика за майданъ беремъ, а ему не платятъ! Кто жъ послѣ этого майданъ содержать будетъ? Чѣмъ тюрьма жить будетъ? Гдѣ таки порядки писаны?

— Мать будемъ, — заявляютъ „Иваны“. — Нѣтъ такихъ порядковъ въ каторгѣ, чтобъ задолжать да не платить!

Все проиграно, кругомъ въ долгу. Впереди — голодная смерть и переломанныя ребра.

Въ эту-то минуту къ потерявшему голову краткосрочному и подходит *крученный* арестантъ, — торреадоръ каторги.

— Хоть, изъ бѣды выручу?

— Милостивецъ!

— Слухай, словечка не пророни. Есть тутъ такой-то, больше-срочникъ, на тебя смахиваетъ. Наймись за него въ каторгу.

— На двадцать лѣтъ-то? Вѣкъ загубить? — съ ужасомъ глядитъ на демона-искусителя арестантъ, которому и каторги-то всего 3—4 года.

— Все одно, — жизни тебѣ нѣтъ. Убьютъ за то, что въ майданъ не платишь, — аль-бо съ голода подохнешь! А ты слухай хорошенько. Ты человѣкъ молодой, порядковъ не знаешь, а я человѣкъ *крученный*, всѣ ходы и выходы знаю. Зачѣмъ навѣкъ иттить? Сбѣжимъ за первый сортъ! Да тебѣ и вся, сколько есть, каторга поможетъ! Мы завсегда такихъ освобождаемъ. Сколько такихъ-то бѣгало. Такой-то, такой-то, такой-то!..

„Крученный“ сыплеть небывалыми фамиліями:

— Не слыхалъ? Такъ ты у другихъ спроси, какіе поумнѣ. Бѣжалъ, сказался бродягой, никто не выдастъ, — на полтора года. Любехонько. „Сухарнику“ ли не житье! А ты, милъ человѣкъ, пойди къ долгосрочнику да въ ножки поклонись: чтобъ тебя взялъ. Насъ, такихъ-то, много.

Если будущій „сухарникъ“ не соглашается, „*крученому*“ остается только мигнуть.

— Бей его! — вопить майданщикъ.

И каторга принимается истязать неисправного плательщика. На первый раз бьютъ безъ членовредительства, по большей части ногами между лопатокъ, и отнюдь не „въ морду“, чтобъ смѣнщика „не портить“. Но предупреждаютъ:

— А дальше не то тебѣ, такому-сякому, будетъ! До тѣхъ поръ бить стануть, пока все до копеечки въ майданъ не отдашь!

Иваны и храпы слѣдятъ за нимъ и не отступаютъ ни на шагъ: „чтобъ не повѣсился“. Голодный, избитый, во всемъ отчаявшійся онъ идетъ къ долгосрочнику и говоритъ:

— Согласенъ!

— Помни же! Не я звалъ,—самъ напросился. Чтобъ потомъ не на попятную.

И начинается торгъ на человѣческую жизнь. Торгъ мошеннический: долгосрочный арестантъ будто бы платитъ майданщику огромные фиктивные долги „смѣнщика“. А Иваны и храпы, дѣлая видъ, будто они надбиваютъ цѣну, на самомъ дѣлѣ оттягиваютъ всякій грошъ у несчастнаго.

— Ты ужъ и ему дай, что на разживку!—орутъ храпы.

— Съ чего давать-то?—кобенится наемщикъ.—Эку прорву деньжищъ-то платить-то! Въ майданъ плати! У барохольщика его выкупи! За пайку за годъ впередъ заплати. Съ чего давать?

— Ну, дай хоть пятишку!—великодушничаетъ какой-нибудь Иванъ.—Не обижай! Парень-то хорошъ. Да и по примѣтамъ подходить.

— Давать-то не изъ-за чего!

— Хошь пополамъ получку!—шепчетъ несчастному храпъ.—За тебя орать стану, а то ничего не дадутъ. Хошь, что ли-ча?

— Ори!

— Чаво тамъ пятишку!—принимается орать храпъ.—Красенькую дать не грѣшно. Ты ужъ не обижай человѣка-то: твое вѣдь имя приметь. Грѣхи несть будетъ! Давай красный билетъ!

— Пятишку съ него будетъ.

— Красную!

— Цѣнь этихъ въ каторгѣ нѣтъ!

Деньги-то вѣдь настоящія, не липовыя ¹⁾.

— Да вѣдь и онъ-то настоящій, не липовый.

— Чортъ, будь по-вашему! Жертвую красную! Пушай чувствуетъ, чье имя, отчество, фамилію носить!

— Вотъ это дѣло! Ай-да Сидоръ Карповичъ! Это—душа!

1) Липовыя—фальшивыя деньги.

— Вотъ тебѣ и свадьба и тюрьмѣ радость. Требуй, что ль, водки изъ майдана, Сидоръ Карповичъ! Дай молодыхъ вспрыснуть. Дай имъ Богъ совѣтъ да любовь! — балагурить каторга. — Майданщикъ, песій сынъ сиволапый, аль дѣла своего не знаешь? Свадьба, а ты водку не несешь!

И продалъ человѣкъ свою жизнь, свою участь за 10 р., — тогда какъ настоящая-то цѣна человѣческой жизни на каторгѣ, настоящая плата за „смѣнку“ колеблется отъ 5 до 20 рублей. Половину изъ полученныхъ 10 рублей возьметъ себѣ, по условію, храпъ за то, что „надбавилъ“ цѣну, а остальные пять отыграетъ „мастакъ“ или возьметъ майданщикъ „въ счетъ долга“:

— Это что, что за тебя заплатили! Ты самъ за себя заплати! За водку, молъ, не плачено.

Или попросту украдутъ у соннаго и пьянаго. Тюрьмѣ ни до чего до этого дѣла нѣтъ:

— Всякій о себѣ думай!

Но одна традиція свято соблюдается въ тюрьмѣ: человѣка, продавшаго свою „участь“, напаиваютъ до безчувствія, чтобы не мучился.

— Тѣшь, дескать, свою проданную душу!

Онъ мѣняется со своимъ смѣнщикомъ платьемъ. Если раньше не носилъ кандаловъ, ему „пригоняютъ“ на ноги кандалы, смѣнившійся рассказываетъ ему всю свою исторію, и тотъ обязанъ рассказать ему свою, чтобы не сбиться гдѣ на допросѣ. Тутъ же „подгоняютъ примѣты“. Если у долгосрочнаго арестанта значилось въ особыхъ примѣтахъ нѣсколько недостающихъ зубовъ, — то смѣнившемуся краткосрочному вырываютъ или выламываютъ нужное число зубовъ. Если въ особыхъ примѣтахъ значатся родимыя пятна, — выжигаютъ ляписомъ пятна на соответствующихъ мѣстахъ. Все это дѣлается обязательно въ присутствіи всей камеры.

— Помнишь же? — спрашиваютъ у смѣнившагося.

— Помню.

— Всѣ, братцы, видѣли?

— Всѣ! — отвѣчаетъ тюрьма.

Приказываютъ майданщику подать водку, — и „свадьба“ кончена. Человѣкъ продалъ свою жизнь, взялъ чужое имя и превратился въ *сухарника*. Наниматель отнынѣ — его *хозяинъ*. Если сухарникъ вздумалъ бы заявить о „свадьбѣ“ по начальству и „засыпать“ хозяина, — онъ будетъ убитъ. Другого наказанія за это каторга не знаетъ.

И вотъ на утро, снова съ головой, которая трещитъ съ похмелья, просыпается новый долгосрочный каторжникъ.

Онъ — не онъ.

Подъ его именемъ ходить по тюрьмѣ другой и нести наказаніе за его пустяшный грѣхъ.

А у него впереди — 20 лѣтъ каторги. Иногда плети. Наказаніе за преступленіе, котораго онъ никогда не совершалъ.

У него на ногахъ кандалы — чужіе. Преступленіе — чужое. Участь — чужая. Имя — чужое. Нѣтъ, теперь все это не чужое, а свое.

— Это вѣрно! — посмѣивается каторга. — „Самъ не свой“ чело-вѣкъ становится.

Что долженъ чувствовать такой чело-вѣкъ? Серцевѣдь-каторга первое время слѣдить за нимъ: „Не повѣсилъ бы?“ Тогда можетъ все открыться.

— Но затѣмъ привыкнетъ...

— Ко всему подлець-чело-вѣкъ привыкаетъ! — со слезами въ голосъ и на глазахъ говорилъ мнѣ одинъ интеллигентный каторжанинъ, вспоминая слова Достоевскаго.

Эти „свадьбы“ особенно процвѣтали на страшной памяти сибирскихъ этапахъ. Но процвѣтаютъ ли онѣ теперь при существованіи фотографическихъ карточекъ преступниковъ?

Вотъ факты. Не дальше, какъ осенью этого года, при посадкѣ партіи на „Ярославль“, была обнаружена такая „смѣна“. Знаменитостью по части смѣнокъ является какой-то „Иванъ Пройди-Свѣтъ“. Личность, ставшая какой-то миѣической. Въ теченіе трехъ лѣтъ на пароходъ доставлялся для отправки на Сахалинъ „бродяга Иванъ Пройди-Свѣтъ“, — и каждый разъ передъ отходомъ парохода получалась телеграмма: „Вернуть бродягу, доставленнаго подъ именемъ „Ивана Пройди-Свѣтъ“, потому что это не настоящий“. Кто же этотъ „Иванъ Пройди-Свѣтъ“, гдѣ онъ, — такъ и остается неизвѣстнымъ. Вспомните „Агабю Золотыхъ“ ¹⁾, вмѣсто которой съ Сахалина была освобождена, до Одессы доставлена и въ Одессѣ бѣжала какая-то другая арестантка. На Сахалинѣ славится каторжанинъ „Блоха“, когда-то „знаменитый“ московскій убійца. Личность, тоже ставшая полумиѣической. Въ каждой тюрьмѣ бывалъ арестантъ „Блоха“, — и всегда, въ концѣ-концовъ, оказывалось, что это „не настоящий“. На Сахалинѣ было одно время двое „Блохъ“, но ни одинъ изъ нихъ не былъ тѣмъ настоящимъ, неуловимымъ, которому за его неуловимость каторга дала прозвище „Блохи“. Смѣнки происходятъ въ сахалинскихъ тюрьмахъ и при пересылкѣ партій изъ

1) См. гл. „Отъѣздъ“.

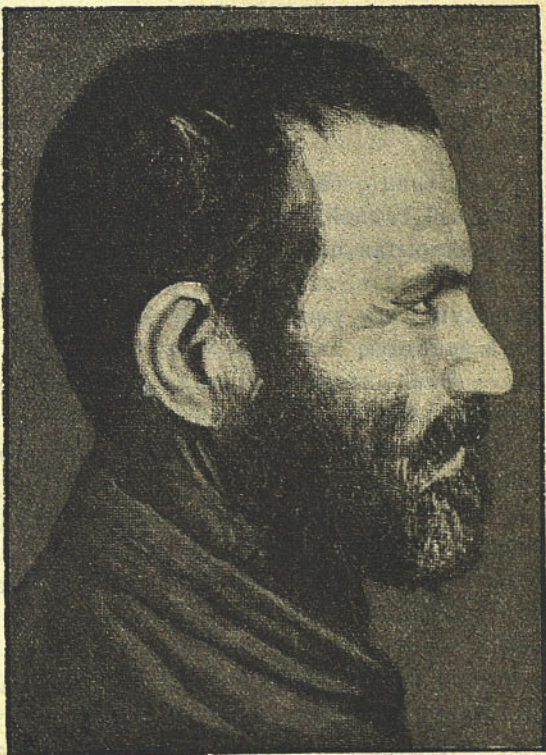
поста въ постъ. Гдѣ же прослѣдить за карточками, когда ихъ тысячи? Кому слѣдить? Карточки снимаются, складываются. И лежатъ карточки въ шкапу, а арестанты въ тюрьмѣ распоряжаются сами по себѣ...

Я нѣсколько уклонился въ сторону, но говоря о майданщикахъ, нельзя не говорить и о смѣнкахъ, потому что нигдѣ такъ ярко не обрисовывается этотъ типъ. Ростовщикъ, кабатчикъ, содержатель игорнаго дома, — онъ напоминаетъ какого-то большого паука, сидящаго въ углу и высасывающаго кровь изъ бьющихся въ его тенетахъ преступниковъ и несчастныхъ.

Принимаются ли какія-нибудь мѣры противъ майданщиковъ?

Принимаются. Смотритель Рыковской тюрьмы съ гордостью говорилъ мнѣ, что въ его тюрьмѣ нѣтъ больше майдановъ, и очень подробно рассказывалъ мнѣ, какъ онъ этого добился.

Это не помѣшало мнѣ въ тотъ же день, когда мнѣ понадобились въ тюрьмѣ спички, купить ихъ... въ майданѣ.



Арестантскіе типы.

Асмодеи, это—Плюшкины каторги. Асмодеемъ называется арестантъ, который копить деньги и отказываетъ себѣ для этого въ самомъ необходимомъ. Нигдѣ, вѣроятно, эта страсть—скупость, не выражается въ такихъ уродливыхъ формахъ. Въ этомъ мірѣ „промотчиковъ“, если у арестанта вспыхиваетъ скупость, то она вспыхиваетъ съ могуществомъ настоящей страсти и охватываетъ человека цѣликомъ. „Асмодей“ продаетъ выдаваемые ему въ мѣсяцъ 24 золотника мыла и четверть кирпича чаю.

Изъ скуднаго арестантскаго пайка продаетъ половину выдаваемого на день хлѣба. Ухитряется по два срока носить казенное платье, которое уже къ концу перваго-то срока превращается обыкновенно въ лохмотья. Оборванецъ даже среди арестантовъ, вѣчно полуголодный, онъ долженъ каждую минуту дрожать, чтобы его не обокрали, безпрестанно откапывать и закапывать въ другое мѣсто деньги такъ, чтобы за нимъ не подсмотрѣли десятки зорко слѣдящихъ арестантскихъ глазъ. Или носить эти деньги постоянно при себѣ, въ ладанкѣ на тѣлѣ, ежесекундно боясь, что ихъ срѣжутъ. Морить себя голодомъ, вести непрерывную борьбу съ обитателями каторги, дрожать за себя, отравлять себѣ и безъ того гнусное существованіе, и для чего? Я сидѣлъ какъ-то въ Дербинской богадѣльнѣ.

— Баринъ, баринъ, глянь!

Старый слѣпой бродяга заснулъ на нарахъ. Халатъ сползъ, грудь, еле прикрытая отвратительными грязными лохмотьями, обнажилась. Старикъ спалъ, зажавъ въ рукѣ висѣвшую на груди ладанку съ деньгами. Онъ уже лѣтъ десять иначе не спитъ, какъ держа въ рукѣ завѣтную ладанку.

— Тсъ!—подмигнувъ одинъ изъ старыхъ каторжанъ и тихонько тронулъ старика за руку.

Слѣпой старикъ вскочилъ, словно его ударило электрическимъ токомъ, и, не выпуская изъ рукъ ладанки, другой рукой моментально выхватилъ изъ-подъ подушки „жулика“ (арестантскій ножъ). Онъ сидѣлъ на нарахъ, хлопая своими бѣльями, ворочая головой и на слухъ стараясь опредѣлить, гдѣ опасность. Въ эту минуту онъ былъ похожъ на испуганнаго днемъ филина. Когда раздался общій хохотъ, онъ понялъ, что надъ нимъ подшутили, и принялся неистово ругаться. И, право, трудно сказать, кто тутъ былъ болѣе ужасенъ и отвратителенъ: эти ли развратничающіе, пьянствующие, азартные игроки-старики, или этотъ „Асмодей“, десять лѣтъ спящій съ ладанкой въ рукѣ и ножомъ подъ подушкой.

Асмодей часто для увеличенія своего состоянія занимается ростовщичествомъ. Для ростовщика у каторги есть два названія. Ростовщикъ - татаринъ титулуется *Бабаемъ*, ростовщиковъ-русскихъ называютъ *отцами*. Обычный закладъ арестантскаго имущества — „до пѣтуховъ“, т.-е. на ночь, до утренней повѣрки. „За ночь выиграешь“. При чемъ самымъ божескимъ процентомъ считается 5 коп. съ рубля. Но обыкновенно процентъ бываетъ еще и зависитъ отъ нужды въ деньгахъ. Для займовъ безъ залога — никакихъ правилъ нѣтъ. „За сколько согласились, то и ладно“. Даютъ въ

займы подь получку казенныхъ вещей, подь кражу, подь убійство. Нищіе и игроки,—тюрьма всегда вся въ рукахъ бабаевъ и отцовъ. Цѣлая масса преступленій на Сахалинѣ объясняется тѣмъ, что бабаи или отцы насѣли: зарѣжь да отдай. Въ Александровской кандалной тюрьмѣ есть интересный типъ—Болдановъ. Онъ сосланъ за то, что зарѣзалъ цѣлую семью,—и на Сахалинѣ въ первый день Пасхи зарѣзалъ поселенца изъ-за 60 копеекъ.

— А я почему зналъ, сколько тамъ у него,—говорилъ онъ мнѣ,—въ чужомъ карманѣ я не считалъ. Праздникъ, гуляетъ человѣкъ, значить, должны быть деньги.

— И рѣзать человѣка изъ-за этого?

— Думаль, отыграюсь.

— Да ты бы у отца какого занялъ?

— Занялъ одинъ такой! Сунься, цѣлкачъ возьмешь, съ жизнью протись. Паекъ отберутъ, а все изъ долга не выльзаешь... Заложилъ бушлатъ, а снимутъ шкуру. Нѣтъ, каждому тоже нужно и о своей жизни помыслить. Всякій за себя.

Говоря объ отцахъ, бабаяхъ и асмодеяхъ, нельзя не упомянуть о ихъ ближайшихъ помощникахъ, *барахольщикахъ*, и самыхъ страшныхъ и неумолимыхъ врагахъ—*крученыхъ*. „Барахломъ“, собственно, на арестантскомъ языкѣ называется старая ни на что больше негодная вещь, лохмотья. Но этимъ же именемъ арестанты зовутъ и выдаваемую имъ одежду. Можете поэтому судить о ея качествахъ. Барахольщикъ, это—старьевщикъ. Онъ, входя въ камеру, выкрикиваетъ:

— Кому чего продать—промотать.

Скупаетъ и продаетъ арестантскія вещи, даетъ смѣнку, то-есть за новую вещь даетъ старую съ денежной придачей. Барахольщики по большей части работаютъ на комиссіи, отъ отцовъ. Но часто, купивъ за безцѣнокъ краденое, барахольщикъ начинаетъ вести дѣло за свой страхъ и рискъ, выходитъ въ отцы или майданчики и получаетъ огромные вѣсъ и вліяніе. И при видѣ злосчастнаго арестанта, входящаго въ камеру съ традиціоннымъ выкрикомъ: „Кому чего продать—промотать“, вы невольно задумаетесь:

„Сколько разъ, быть-можетъ, придется этому человѣку держать въ своихъ рукахъ жизнь человѣческую“.

Съ крученымъ арестантомъ мы уже встрѣчались, когда онъ уговаривалъ будущаго сухарника согласиться на „свадьбу“ съ долгосрочнымъ каторжникомъ и за 5—10 рублей продать свою жизнь. Крученымъ съ любовью и нѣкоторымъ уваженіемъ каторга называется арестанта, прошедшаго огонь, воду, мѣдныя трубы и волчьи

зубы. Такой арестантъ долженъ до тонкости уметь провести начальство, но особую славу они составляютъ себѣ на асмодеяхъ. Втереться въ довѣріе даже къ опасавшемуся всего на свѣтѣ асмодею, насулить ему выходъ, вовлечь въ какую-нибудь сдѣлку, обмошенничать и обобрать, или просто подсмотрѣть, куда асмодей прячетъ свои деньги, украсть самому или „подвести“ воровъ, — специальность крученaго арестанта. И въ этой специальности онъ доходитъ до виртуозности, обнаруживаетъ подчасъ гениальность по части притворства, хитрости, находчивости, выдержки и предательства. „Кругомъ пальца обведетъ“, говорятъ про хорошаго крученaго съ похвалой арестанты. Другой вѣчной жертвой крученaго является *дядя сарай*. Этимъ типичнымъ прозвищемъ каторга зоветъ каждаго простодушнаго и довѣрчиваго арестанта.

— Ишь, дядя, ротъ раскрылъ, что сарай! Хотъ съ возомъ туда въѣзжай да хозяйничай!

Вотъ происхожденіе выраженія „дядя сарай“.

„Туисъ колыванскій!“ зоветъ еще такихъ субъектовъ каторга. Обманъ простодушнаго и довѣрчиваго дяди сарая составляетъ пищу, но не славу для крученaго. Чѣмъ больше асмодеевъ онъ проведетъ, тѣмъ больше славы для него. Асмодея провести, — вотъ что доставляетъ истинное удовольствіе всей каторгѣ. Закабаленная, она въ глубинѣ души ненавидитъ и презираетъ ихъ, но повинуется и относится къ „отцамъ“ съ почетомъ, какъ къ людямъ сильнымъ и „могутнымъ“. Вѣдь это — нищие, нищие до того, что когда въ тюрьмѣ скоростижно умираетъ арестантъ, трупъ обязательно грабятъ: бушлатъ, бѣлье, сапоги, — все это мѣняется на старое.

Чтобы покончить съ почетными лицами тюрьмы, мнѣ остается, кромѣ майданщиковъ, отцовъ, крученыхъ и разжившихся барахольщиковъ, познакомить васъ еще съ однимъ типомъ — съ *обратникомъ*. Такъ называется каторжникъ, бѣжавшій уже съ Сахалина, добравшійся до Россіи и „возвороченный“ назадъ подъ своей фамиліей или подъ бродяжеской. „Обратникъ“ — неопѣненный товарищъ для каждой собирающейся бѣжать арестантской партіи. Онъ знаетъ всѣходы и выходы, всѣ тропы въ тайгѣ и всѣ броды черезъ рѣки на Сахалинѣ. Знаетъ „какъ пройти“. Есть излюбленныя мѣста для бѣговъ — „модныя“ можно сказать. Раньше „въ модѣ“ были Погеби — мѣсто, гдѣ Сахалинъ ближе всего подходитъ къ материку, и Татарскій проливъ имѣетъ всего нѣсколько верстъ ширины. Погеби или „Погиби“ (отъ слова погибнуть) — какъ характерно и вѣрно передѣлали каторжане это гиляцкое названіе. Затѣмъ, когда въ „Погибахъ“ слишкомъ усилили кордоны, „въ моду“ вошелъ Сарту-

най,—мѣсто ближе къ югу Сахалина. Когда я былъ на Сахалинѣ, всѣ стремились къ устьямъ Найры, еще ближе къ югу.

— Да почему?

— Обратники говорятъ: способно. Мѣсто способное.

А гроза всего Сахалина и служащаго и арестантскаго, Широколовъ, пошелъ искать „новаго мѣста“ на крайній сѣверъ въ Тамлово. Но истомленный, голодный, опухшій долженъ былъ добровольно сдаться гилякамъ...

Обратникъ—неоцѣненный совѣтникъ, у него можно купить самыя нужныя свѣдѣнія. Въ моей маленькой коллекціи есть облитая кровью бродяжеская книжка знаменитаго обратника Пашенка ¹⁾. Онъ былъ убитъ во время удивительнаго смѣлаго бѣгства, и книжку, мокрую отъ крови, нашли у него на груди. Завѣтная книжка. Въ ней идутъ записи: 1-я рѣчка отъ „Погибей“—60 верстъ Теньги, 2-я—Найде, 3-я—Тамлово и т. д. Это все рѣки Сахалина. Затѣмъ списокъ всѣхъ населенныхъ мѣстъ по пути отъ Срѣтенска до Благовѣщенска, до Хабаровска, по всему Уссурийскому краю, при чемъ число верстъ отмѣчено съ удивительной точностью: 2271—1998. Далѣе идутъ адреса пристанодержателей и надежныхъ людей.

Обратникъ можетъ снабдить бѣглеца и рекомендательными письмами. Вотъ образчикъ такого рекомендательнаго арестантскаго письма, отобраннаго при поимкѣ у бѣглаго:

„Ю. Гапонико. Гапонико (очевидно, условные знаки). Любезный мой товарищ ²⁾, Юлисъ Ивановичъ, покорнше я васъ прошу прятать етого человека какъ и мене до мого приходу Яковъ“.

Фамилій въ такихъ рекомендаціяхъ, на случай поимки, проставлять не полагается. Среди „обратниковъ“ есть знаменитости. Люди, побывавшіе на своемъ вѣку во многихъ тюрьмахъ и пользующіеся вліяніемъ. И рекомендація такого человѣка много можетъ помочь и въ тюрьмѣ.

У обратниковъ есть еще одна спеціальность.

Намѣтивъ довѣрчиваго арестанта съ деньгами, они подговариваютъ его бѣжать и затѣмъ дорогой убиваютъ, грабятъ и возвращаются въ тюрьму:

— А товарищъ, молъ, отсталъ или поссорился, одинъ пошелъ. Я же съ голодухи вернулся.

Есть люди, убившіе такимъ образомъ на своемъ вѣку по 6 товарищей. Эти преступленія очень часты. Но это ужъ надо дѣлать потихоньку отъ каторги: за это каторга убиваетъ.

¹⁾ Каторга за нимъ числила 32 убійства.

²⁾ Арестанты всегда очень вѣжливы въ письмахъ другъ къ другу.

„Обратниками“ заканчивается циклъ „почетныхъ“ лицъ. Теперь мы переходимъ съ вами къ отверженнымъ даже среди міра отверженныхъ. Къ людямъ, которыхъ презираетъ даже каторга.

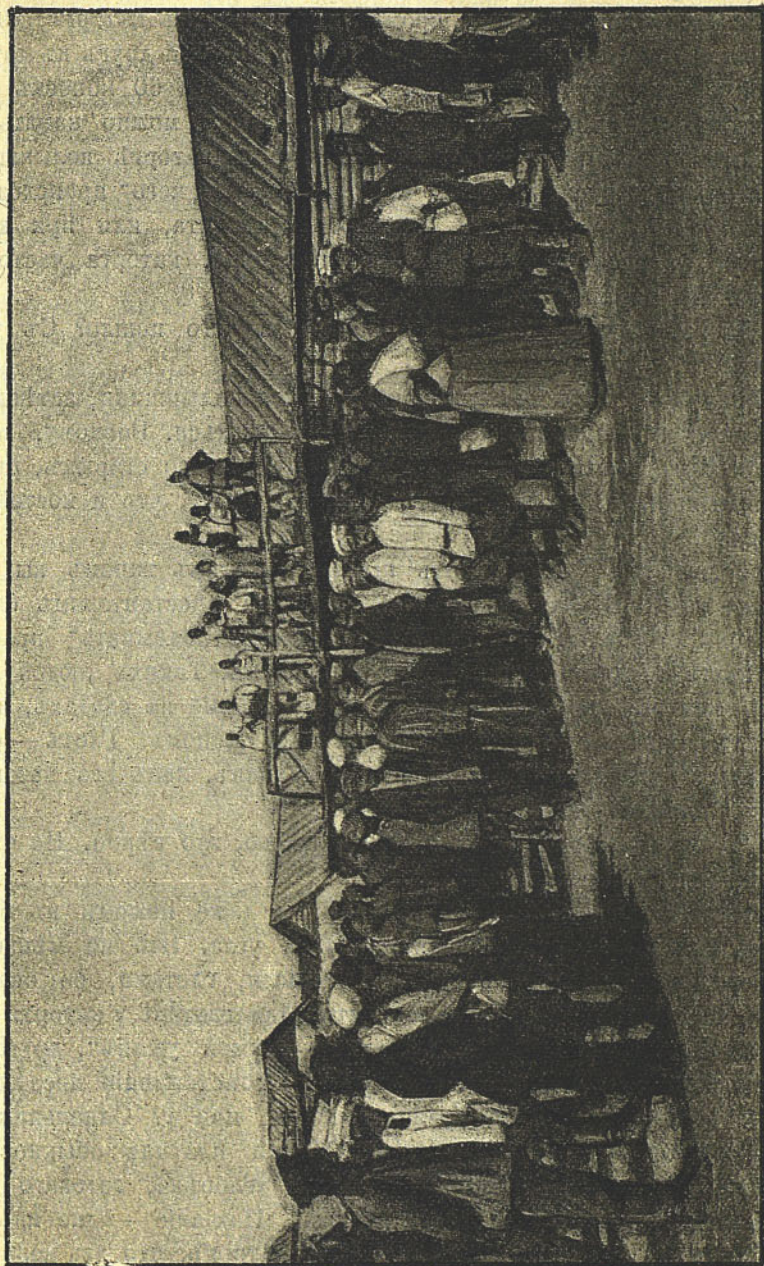
Тутъ мы прежде всего встрѣчаемся съ *крохоборами*, или *кусочниками*. Каторга не любитъ тѣхъ изъ ея среды, кто „выходить въ люди“, дѣлается старостой, кашеваромъ или хлѣбопекомъ. И она права. Чистыми путями нельзя добиться этого привилегированнаго положенія. Только цѣной полного отреченія отъ какого бы то ни было достоинства, цѣной лести, пресмыкательства передъ начальствомъ, взятокъ надзирателямъ, цѣной наущничества, предательства и доносовъ можно пролѣзть на Сахалинѣ въ „старосты“, т.-е. освободиться отъ работъ и сдѣлаться въ нѣкоторомъ родѣ начальствомъ для каторжанъ. Прежде въ нѣкоторыхъ тюрьмахъ даже драли арестантовъ не палачи, а старосты. Такъ что, идя въ старосты, чловѣкъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, долженъ былъ быть готовъ и въ „палачи“. Только нагоняя, по требованію смотрителя, какъ можно больше „припека“, т.-е. кормя арестантовъ полусырымъ хлѣбомъ, хлѣбопекъ и можетъ сохранить за собой свою должность, позволяющую ему иногда кой-что утянуть. Этихъ-то людей, урѣзывающихъ у арестантовъ послѣдній кусокъ и отнимающихъ послѣдніе крохи, каторга и зоветъ презрительнымъ именемъ „крохоборовъ“, или „кусочниковъ“.

— Тоже въ „начальство“ полѣзъ!

— Арестантъ,—такъ ты арестантъ и будь!

Каторга не любитъ тѣхъ, кто старается „возвышаться“, но презираетъ и тѣхъ, кто унижается. Мы уже знакомы съ типомъ *поддувалы*. Такъ называется арестантъ, нанимающійся въ лакеи къ другому. Кромѣ исполненія чисто-лакейскихъ обязанностей, онъ обязанъ еще и защищать своего хозяина, расплачиваться своими боками и бить cadaго, кого хозяинъ прикажетъ. Поддувалы „отцовъ“, напимѣръ, обязаны бить неисправныхъ должниковъ. А если должникъ сильнѣе, то и терпѣть пораженіе въ неравномъ бою. Конечно, даже каторга не можетъ иначе какъ съ презрѣніемъ относиться къ людямъ, торгующимъ своими кулаками и боками.

На слѣдующей ступенькѣ человѣческаго паденія мы встрѣчаемся съ очень распространеннымъ типомъ *волынщика*. „Затереть волынку“ на арестантскомъ языкѣ называется затѣять ссору. Волынщики, это—такіе люди, которые только тѣмъ и живутъ, что производятъ въ тюрьмѣ „запорожки“. Сплетничая, наущичая арестантамъ другъ на друга, они ссорятъ между собою болѣе или менѣе состоятельныхъ



Поселенческий бытъ. Балаганъ на Пасхѣ.

арестантовъ, чтобы поживиться чѣмъ-нибудь отъ того, чью сторону они якобы принимаютъ. Этими волынщиками кипятъ всѣ тюрьмы. Такихъ людей много и вездѣ, кромѣ тюрьмы. Но въ каторгѣ, вѣчно озлобленной, страшно подозрительной, недоувѣрчивой другъ къ другу, голодной и изнервничавшейся, въ каторгѣ, гдѣ за 60 копеекъ рѣжутъ человѣка, гдѣ, имѣя въ карманѣ гроши, можно нанять не только отколотить, но и убить человѣка, — въ каторгѣ волынщики часто играютъ страшную роль. Часто не изъ-за „чего“ происходятъ страшныя вещи. Заколотивъ на-смерть арестанта, или при видѣ лежащаго „съ распоротымъ брюхомъ“ товарища, каторга часто съ недоумѣніемъ спрашиваетъ себя:

— Да изъ-за чего же все случилось? Съ чего пошло? Съ чего началось?

И причиной всѣхъ причинъ оказываются волынщики, затѣявшіе „заворожку“ въ надеждѣ чѣмъ-нибудь поживиться. Робкому, забитому арестанту приходится дружить да дружить со старымъ, опытнымъ волынщикомъ, а то затреть въ такую кашу, что и костей не соберешь.

Ступенью ниже еще стоятъ *глоты*. Съ этимъ типомъ вы уже немножко знакомы. За картами, въ спорѣ на арестантскомъ сходѣ они готовы стоять за того, кто больше дастъ. „Засыпать“ праваго и защищать обидчика имъ ничего не значить. Такихъ людей презираетъ каторга, но они имѣютъ часто вліяніе на сходахъ, такъ какъ ихъ много, и дѣйствуютъ они всегда скопомъ. Глотъ — одно изъ самыхъ оскорбительныхъ названій, и храпъ, какъ его назовутъ глотомъ, полѣзетъ на стѣну:

— Я—храпъ. Храпѣтъ на сходахъ люблю, это вѣрно. Но чтобы я нанимался за кого...

И фраза можетъ кончиться при случаѣ даже ножомъ въ бокъ, камнемъ или петлей, брошенной изъ-за угла. Это не мѣшаетъ, конечно, храпамъ быть, по большей части, глотами, но они не любятъ, когда имъ объ этомъ говорятъ. Для глотовъ у каторги есть еще два прозвища. Одно — остроумное „чужой ужинъ“, другое — историческое „синельниковскій закупъ“. Происхожденіе послѣдняго названія восходитъ еще ко времени, когда, при г. Синельниковѣ, за поимку бродяги въ Восточной Сибири платили обыкновенно 3 рубля. Съ тѣхъ поръ каторга и зоветъ человѣка, готоваго продать ближняго, „синельниковскій закупъ“. Название — одно изъ самыхъ обидныхъ, и, если вы слышите на каторгѣ, что два человѣка обмѣниваются кличками:

— Молчи, чужой ужинъ!

— Молчи, синельниковскій закупъ.

Это значить, что на предпоследней ступенькѣ человѣческаго паденія готовы взяться за ножи.

И, наконецъ, на самомъ днѣ подонковъ каторги передъ нами — *хамъ*. Дальше паденія нѣтъ. Хамъ, въ сущности, означаетъ на арестантскомъ языкѣ просто человѣка, любящаго чужое. „Захамничать“, значить, взять и не отдать. Но хамомъ называется человекъ, у котораго не осталось даже обрывковъ чего-то, похожего на совѣсть, что есть и у глота, и у поддувалы, и у волынщика. Тѣ дѣлають гнусности въ арестантской средѣ. Хамъ — предатель. За лишнюю пайку хлѣба, за маленькое облегченіе онъ донесетъ о готовящемся побѣгѣ, откроетъ мѣсто, гдѣ скрылись бѣглецы. Этотъ типъ поощряется зрителями, потому что только черезъ нихъ можно узнавать, что дѣлается въ тюрьмѣ.

Хамъ—это страшное названіе. Имъ человекъ обрекается, если не всегда на-смерть, то всегда на такую жизнь, которая хуже смерти. Достаточно обыска, даже просто внезапнаго прихода смотрителя, чтобы подозрительная каторга сейчасъ увидала въ этомъ „что-то неладное“ и начала смертнымъ боемъ бить тѣхъ, кого она считаетъ хамами. Достаточно последнему жигану сказать:

— А нашъ хамъ что-то, кажись, „плесомъ бьетъ“ (наушничаетъ начальству).

Чтобъ хаму начали ломать ребра.

Больше того, довольно кому-нибудь просто такъ, мимоходомъ, отъ нечего дѣлать, дать „хаму подзатыльника“, чтобы вся тюрьма кинулась бить хама.

— Бьетъ, значить, знаетъ за что.

Чтобъ хаму „накрыли темную“, завалили его халатами, били, били и вынули изъ-подъ халатовъ полуживымъ.

Посвященіе въ каторжники.

Всякій, конечно, слыхалъ объ этомъ обычаѣ „посвященія въ арестанты“, объ этихъ жестокихъ истязаніяхъ, которымъ умирающая отъ скуки и озлобленная тюрьма подвергаетъ „новичковъ“.

Для чего тюрьма творила надъ „новичками“ эти истязанія, при разсказѣ о которыхъ волосъ встаетъ дыбомъ? Отчасти, какъ я уже говорилъ, отъ скуки, отчасти по злобѣ на все и на вся и изъ желанія хоть на комъ-нибудь выместить накипѣвшую злобу, отъ которой задыхается человекъ, а отчасти и изъ практическихъ соображеній, нужно было узнать человека, устоитъ ли онъ противъ

жалобы начальству, даже если его подвергнуть страшным истязаніямъ. Вѣдь надо же знать человѣка, пришедшаго въ „семью“. Будетъ ли онъ всегда и во всемъ надежнымъ товарищемъ?

Я обошелъ всѣ сахалинскія тюрьмы и могу съ полной достовѣрностью сказать, что прежній страшный обычай „посвященія въ каторжники“, обычай пытать „новичковъ“, отошелъ въ область преданій. Теперь этого нѣтъ. Тогда розга и кнутъ свистѣли повсюду, и это отражалось на нравахъ тюрьмы. Теперь нравы „мягчаютъ“.

„Молодая“ каторга дѣлаетъ только удивленные глаза, когда спрашиваешь: „А нѣтъ ли у васъ такихъ-то и такихъ-то обычаевъ?“ И только старики Дербинской каторжной богадѣльни, когда я имъ напоминалъ о прежнихъ обычаяхъ „посвященія“, улыбались и кивали головами на эти рассказы, словно встрѣтились съ добрымъ старымъ знакомымъ.

— Было, было все это! Вѣрно.

И они охотно пускались въ тѣ пространныя описанія, въ которыя всегда пускается человѣкъ при воспоминаніяхъ о пережитыхъ бѣдствіяхъ.

А „молодая“ каторга и понять даже этихъ обычаевъ не можетъ:

— Да кому жъ какая отъ этого польза?

„Польза“, — вотъ альфа и омега всего міросозерцанія теперешней каторги. И въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго: преобладающій элементъ каторги—убійцы съ цѣлью грабежа, т.-е. люди, совершавшіе преступленіе ради „пользы“. И нравамъ, обычаямъ и законамъ этихъ людей приходится подчиняться остальнымъ: дисциплинарнымъ, жертвамъ случая, семейныхъ неурядицъ и т. д.

„Польза“, это—все. Каторжанинъ, совершившій убійство на Сахалинѣ, рассказывалъ мнѣ о своемъ преступленіи и упомянулъ о томъ, что по его преступленію забрали было и другого ни въ чемъ неповиннаго поселенца:

— Но я его высвободилъ... Потому онъ не могъ быть въ моемъ дѣлѣ полезенъ.

— А если бы „могъ быть полезенъ“, онъ бы запуталъ ни въ чемъ неповиннаго человѣка, и вся каторга бы его поняла:

— Долженъ же человѣкъ думать о своей „пользѣ“. Всякъ за себя.

Все теперешнее „посвященіе въ каторжники“ состоитъ въ томъ, что тюрьма старается извлечь изъ новичка „пользу“, т.-е., пользуясь его неопытностью, обмошенничать его, елико возможно.

Для этого у каторги есть нѣсколько игръ, въ которыя только можно играть, что съ „новичками“: въ платочекъ, въ крестики, въ кошелекъ, въ наперстокъ, въ тузы, въ черное и красное.

Въ этомъ „посвященіи“ есть даже нѣчто симпатичное: тутъ наказывается страсть къ легкой и вѣрной наживѣ, желаніе обогатить своего же брата навѣрняка.

Вновь прибывшая на пароходѣ партія выдержала карантинъ, подверглась медицинскому освидѣтельствуванію, раздѣлена, безо всякой практической пользы и безо всякаго примѣненія этого дѣленія, на „полносільных“, „слабосильных“ и „вовсе неспособныхъ къ труду“, и явилась въ тюрьму.

Еще раньше, пока партія сидѣла свои 3—4 дня въ карантинѣ, тюрьма навела о ней кой-какія справки. У одного съ новой партией пришелъ братъ, у другого—сообщникъ, у третьяго—просто старый товарищъ. Всѣ эти лица, рискуя карцеромъ и розгами, побывали въ карантинѣ и кое-что разузнали. Тюремные брадобреи, рискуя спиной, сбѣгали въ карантинъ, кого побрить-постричь, и поразнюхали, кому изъ вновь прибывшихъ арестантовъ удалось протащить съ собой деньги, кто разжился дорогой игрой въ карты или писаніемъ писемъ и прошеній, у кого вообще водятся деньги. Тутъ все разузнается: сколько гг. пассажиры дали на Пасху пѣвчимъ-арестантамъ, сколько удалось выпросить у постороннихъ „на палача“. И когда новая партія приходитъ въ тюрьму, тюрьма уже знаетъ объ ея имущественномъ положеніи и на кого слѣдуетъ обратить вниманіе.

Въ тюрьмѣ и такъ тѣсно, а тутъ прибавилось народу еще. Приходится спать подъ нарами. Старосты продаютъ новичкамъ лучшія мѣста, конечно, стараясь содрать гораздо дороже того, что обыкновенно стоитъ „хорошее мѣсто“ въ тюрьмѣ. Изголодавшіеся жиганы немножко „обрастаютъ шерстью“, продавая послѣднее, что у нихъ осталось,—мѣста на нарахъ,—и сами залѣзая подъ нары.

Новичокъ еще не можетъ прійти въ себя, собраться съ мыслями; онъ напуганъ, ошарашенъ новой обстановкой, не знаетъ, какъ ступить, какъ держаться; онъ видитъ только одно, что здѣсь, куда ни сунься, все деньги, что безъ денегъ пропадешь, что деньги нужно наживать во что бы то ни стало. Въ это-то время его и уловляютъ.

Новичокъ сидитъ на нарахъ и со страхомъ и съ любопытствомъ смотреть на людей, среди которыхъ ему суждено прожить долгіе, ухъ, какіе долгіе годы.

По тюрьмѣ, съ видомъ настоящаго дяди сарая, ходить какой-то разиня-арестантъ. Изъ кармана бушлата торчитъ кончикъ платка, на которомъ завязанъ узелокъ, а въ узелкѣ, видно, завязана монета.

Другой арестантъ, успѣвшій уже давеча закинуть ласковое слово новичку, тихонько сзади подкрадывается къ дядѣ сараю, хитро подмигнувъ, развязываетъ узелокъ, вынимаетъ двугривенный и завязываетъ копейку. Новичокъ, которому подмигнулъ ловкачъ, сочувственно улыбается: „Здорово, молъ“.

— Эй, дядя! — окрикиваетъ „ловкачъ“ дядю сарая. — Что у тебя фармазонская, что ли, копейка, что ты ее въ узелокъ завязалъ?

— Кака - така копейка? — простодушно спрашиваетъ „дядя сарай“.

— А така, что въ платкѣ завязана. Дура, чортъ! Чувырло братское! Завязалъ копейку да и ходить.

— Буде заливать-то! Заливала-дьяволъ! Не копейка, а двоегривенный!

Дядя сарай прячетъ высунувшійся уголь платка въ карманъ. Кругомъ собирается толпа.

— „Двоегривенный“! — передразниваетъ его „ловкачъ“. — Да ты видалъ ли когда двоегривенные-то какіе бываютъ: ясные-то, не липовые? Завязалъ копейку, ходить-задается: „Двоегривенный“!

— Ахъ ты, такой-сякой! — выходитъ изъ себя дядя сарай. — Ты что жъ срамишь меня передъ всѣми господами арестантами? Хошь парей? На десять цѣлковыхъ, что двоегривенный?

— На десять?!

— То-то, на десять. Прикусилъ языкъ голый!

Толпа хохочетъ.

— Слышь ты, нѣтъ у меня десяти цѣлковыхъ. Ставь красненькую, мнѣ потомъ цѣлковый дашь! — шепчетъ „ловкачъ“ новичку.

Новичокъ колеблется.

— Навѣрняка вѣдь! Самъ видѣлъ.

— Ставь! — подуськиваютъ въ толпѣ.

А пока идутъ эти переговоры, дядю сарая яко бы „отвлекаютъ“ разговорами, чтобы не замѣтилъ.

— Вотъ онъ за меня ставить! — объявляетъ „ловкачъ“, указывая на новичка. — Выкладывай красный билетъ!

Оба „выкладываютъ“ по десяти рублей.

— Давай платокъ! Ты и развязывай!—передаютъ платокъ новичку.

Новичокъ развязываетъ узелъ и блѣднѣетъ: двугривенный!

— Такъ-то! А говоришь, дурашка, копейка! Не лѣзь въ чужомъ карманѣ саргу считать.

— Да это мошенство!—вопить новичокъ, хватаясь за деньги.

Но у него вырываютъ десятирублевку, а если не отдаетъ, бьютъ:

— Проигралъ, плати. Правило.

Только тутъ онъ узнаетъ, что и прикинувшіеся дядей сараемъ, и „ловкачъ“,—все это одна шайка жигановъ и игроковъ.

„Фокусъ“ объясняется просто: дядя сарай долженъ только успѣть развязать въ карманѣ узелокъ, вынуть копейку и завязать двугривенный. Передъ прибытіемъ новой партіи къ этой „ловкости и проворству рукъ“ специально готовятся.

А въ другомъ углу камеры разыгрывается, между тѣмъ, другая сцена.

— Ахъ ты, татарва некрещеная! Бабай проклятый!—оретъ передъ нѣсколькими новичками арестантъ на простофилю, у котораго онъ только что незамѣтно срѣзалъ высунувшійся изъ-подъ рубахи крестъ.

— Какой же я бабай,—запальчиво оретъ простофиля,—ежели я крещеный человѣкъ и у меня крестъ на шеѣ есть?

— Нѣтъ у тебя креста на шеѣ, у бабая!

— Какъ нѣтъ? Парей на пятишку.

— Ребята!—обращается арестантъ къ новичкамъ.—Сложимъ пять цѣлковыхъ, утремъ бабаю носъ.

Всѣ видѣли, какъ крестъ былъ срѣзанъ, а деньги въ каторгѣ ой-ой какъ нужны. Пять рублей немедленно составляются.

— Разстегивай воротъ.

Спорщикъ разстегиваетъ рубаху. На шеѣ крестъ. Тутъ все, конечно, состоитъ только въ томъ, что на человѣкѣ было два креста.

Новички ошеломлены, требуютъ деньги назадъ: „Мошенство!“—но напарываются на кулаки всей тюрьмы:

— Плати, коль проигралъ! Правило!

Не будемъ особенно долго останавливаться передъ новичкомъ, который съ изумленіемъ повторяетъ, глядя въ свой кошелекъ:

— Какъ же такъ? Было двадцать цѣлковыхъ, а стало десять. Значить, украли! Этакъ я жалиться буду!

— Попробуй! Свежи тачку! Легашь поскудный!

Съ нимъ сыграли ту же штуку, какую спеціалисты „подкидчики“ ¹⁾ устраиваютъ часто на улицахъ и Одессы и всѣхъ вообще большихъ городовъ.

Двоемъ съ арестантомъ они нашли кошелекъ и только что хотѣли приступить къ дѣлежу добычи, какъ передъ ними словно изъ подъ земли выросъ владѣлецъ потеряннаго кошелька.

— Мой!

— А твой, такъ возьми!

— Стой! А куда же два серебряныхъ цѣлковика дѣлись. Тутъ два серебряныхъ цѣлковика были!

— Никакихъ мы цѣлковиковъ не видали.

— Анъ, врешь! Это что жъ? Воровство? У своихъ тырить начали?

— Да хоть обыщи, дьяволъ! Чего лаешь!

Арестантъ выворачиваетъ карманы и показываетъ кошелекъ. То же по необходимости дѣлаетъ и новичокъ.

Владѣлецъ двухъ якобы пропавшихъ рублей роется въ его кошелекъ, двухъ цѣлковиковъ, понятно, не находитъ и отдаетъ кошелекъ обратно.

— Знать, другой кто взялъ! Не взыщите! Вижу теперь, что вы люди честные!..

И уходитъ искать два пропавшихъ цѣлковыхъ.

Только потомъ новичокъ, заглянувъ въ кошелекъ, увидить, что изъ него во время осмотра исчезло десять рублей.

Тутъ дѣло снова въ „ловкости и проворствѣ“ да въ томъ, чтобы во время осмотра кто-нибудь сзади будто нечаянно толкнулъ новичка, заоралъ, вообще заставилъ его на секунду отвернуться.

Пойдемъ къ группѣ, собравшейся около игрока. Тутъ идетъ игра „въ наперстокъ“. Два наперстка, подъ однимъ есть шарикъ, подъ другимъ—нѣтъ. Игра идетъ на маленькой скамеечкѣ, во время обѣда замѣняющей столъ, поставленной на нарахъ. Игрокъ съ такой быстротой передвигаетъ наперстки, что нѣтъ возможности замѣтить, который изъ нихъ тотъ, подъ которымъ шарикъ.

— Закручу! Замучу!—оретъ игрокъ.—Ставьте, что ли!

— Ишь, чортъ, дьяволъ, лѣшманъ! Ни свѣтъ ни заря, спозаранку за игру принялся!—раздается сзади игрока въ толпѣ.

¹⁾ Иначе это называется на воровскомъ языкѣ „работать на бугая“, т.-е. обрабатывать человѣка, глупаго какъ лось.

— А тебѣ какое дѣло, треклятому?—отзывается игрокъ.

— А такое, что непорядокъ! Вотъ какое!..

— А ты что тутъ за порядчикъ такой выискался? Тебя кто порядки уставлятъ звалъ? Ты что за шишка?

— А ты не лайся! Звѣздануть тебя въ душу, чорта...

— Молчи, пока арбузъ не раскололи!

— Раскололъ одинъ такой...

Вотъ-вотъ запустятъ руки за голенища, и пойдутъ въ ходъ „жулики“—ножи. Лица озвѣрѣли. Игрокъ забылъ и объ игрѣ. Повернулся лицомъ къ обидчику.

А въ это время арестанты подглядываютъ, подъ какимъ наперсткомъ хлѣбный шарикъ.

— Ставь, ставь красненькую!—шепчутъ они денежному новичку, около мѣста котораго и затѣялась игра.—Ставь! Чего его жалѣть! Всѣхъ обыгрываетъ! Надо и его! Ставь навѣрняка вѣдь. Вотъ такъ, прячь деньги подъ карту...

— Да будетъ вамъ, дьяволы!—обращаются они къ ссорящимся.—Ишь, волынку затерли, дьяволы! А тебѣ что! Не ндравится, проходи, а огня изъ человѣка добывать нечего. Скипидаристый, право, человѣкъ!

Вступившагося въ игру протестанта уводятъ. Игрокъ, ворча и доругиваясь, возвращается къ игрѣ:

— Ну, что тутъ?

— Все сдѣлано. Кушъ подъ картой.

Игрокъ берется за наперстки.

— Нѣтъ, ужъ это ты оставь!—протестуетъ толпа.—Игра составлена. Какъ есть, такъ и будетъ! Вотъ на этотъ онъ поставилъ!

— Да вы, можетъ, подсмотрѣли, дьяволы?

— Видать, что окромя жулья никого не видѣлъ въ жисть. Станетъ кто подсматривать? Нѣтъ, ужъ правило! Игра составлена!

— Да, можетъ, кушъ великъ?!

— Подъ картой сколько есть! Нѣтъ, ты ужъ по правиламъ! А то „темную“. Любишь, щучій сынъ, выигрывать! Умѣй и платить.

— Ну, инъ, будь по-вашему! Ежели правило, я ни слова. Этотъ, что ли?

— Этотъ!—подтверждаетъ новичокъ.

Игрокъ поднимаетъ наперстокъ, подъ наперсткомъ пусто, и тянетъ кушъ изъ-подъ карты.

Дѣло снова въ ловкости рукъ, въ умѣннн быстро и незамѣтно, пока новичокъ волнуется во время спора, передвинуть наперстки одинъ на мѣсто другого.

Тузы и „черное и красное“, это—почти одно и то же. Выбирают по желанію: тузы или другія карты.

Лежатъ крапомъ вверхъ три туза: два черные и одинъ красный. Игрокъ ихъ перекладываетъ съ такой изумительной быстротой, что нѣтъ возможности услѣдить, куда ляжетъ красный.

Но во время игры его отвлекутъ какой-нибудь ссорой или побѣгутъ сказать что-нибудь. Игрокъ отвернется, а въ это время какой-нибудь арестантъ подсмостритъ, гдѣ красный, и сдѣлаетъ на крапѣ карандашомъ мѣтку.

— Ставь на этого,—шепнуть новичку.

Игрокъ кончить ссору или разговоръ, возьмется снова за игру, начнетъ перекладывать карты съ мѣста на мѣсто.

— Готово!

Новичокъ ставить на мѣченаго туза часто все, что у него есть, желая сразу вдвое разбогатѣть. Ему дадутъ самому вскрыть туза, онъ вскрыетъ: черный!

Дѣло въ вольтѣ, который дѣлаетъ во время мѣтки игрокъ. Онъ подмѣняетъ мѣченаго краснаго туза точно такъ же отмѣченнымъ, заранее приготовленнымъ чернымъ.

Такъ шулера обыгрываютъ тѣхъ, кто не прочь бы выиграть навѣрняка.

И вотъ къ вечеру новички, проигравшіеся впряхъ, обманутые, часто избитые за нежеланіе платить, ложатся на нары, думая:

— Ну, народъ!

А сосѣдъ утѣшаетъ:

— Зато ты теперь настоящій арестантъ. Форменный, какъ есть. Всѣ ту же школу проходили. Порядокъ.

Они обобраны и тѣмъ посвящены въ каторжане. Каторга не любить собственности и собственниковъ. Ихъ деньги пошли гулять по тюрьмѣ: сегодня—къ одному, завтра—къ другому...

Нѣкоторые изъ вновь посвященныхъ съ тоской и ужасомъ думаютъ о предстоящихъ дняхъ голодовокъ и всяческихъ лишеній.

Другіе чувствуютъ злобу въ душѣ и засыпаютъ съ мечтою, какъ они и сами будутъ точно такъ же обирать новичковъ.

Интеллигентные люди на каторгѣ.

Приходилось ли вамъ когда-нибудь видѣть въ глаза смерть?

Тогда вы знаете, что „время“, это—вздоръ, что понятіе о „времени“—условность, что часовъ, минутъ, секундъ на свѣтѣ не существуетъ.

Пока поднимется и шелкнетъ куро́къ, вы успе́ете столько пере-думать, переиспытать, перечувствовать, сколько не передумали бы, не перечувствовали, не переиспытали въ годъ.

Годъ каторги... Это—не 12 мѣсяцевъ, изъ которыхъ каждое 20 приносить вамъ жалованье. Это—не „четыре сезона“, какъ для свѣтскихъ людей. Не 365 дней, какъ для всѣхъ. Это—милліоны минутъ, изъ которыхъ многія каждая длиннѣе вѣчности.

Развѣ можно не презирать всѣхъ этихъ „Ивановъ“, „храповъ“, „жигановъ“, „асмодеевъ“, „хамовъ“, „поддувалъ“, „крохоборовъ“. Презирать и быть съ ними за панибрата.

Потому что это „ваше общество“! Потому что рядомъ съ ними вы спите на нарахъ, вмѣстѣ ѣдите, работаете, и съ ними дѣлите вашу жизнь!

Да, если бы даже только „быть за панибрата“.

— Нѣтъ!

„Барина“ каторга ненавидитъ.

„Барина“ каторга презираетъ за его слабость, непривычку къ физическому труду.

— Какой онъ рабочій въ артели? Намъ за него приходится работать

Надъ бариномъ каторга „измывается“, потому что у него есть привычки, заставляющія его сторониться отъ грязи.

— Нѣтъ! Ты попалъ—такъ терпи! Нечего нѣжничать! Такой же теперь!

„Барину“ каторга не довѣряетъ:

— Продастъ, чтобы въ писаря выскочить!

„Баринъ!“—у каторги нѣтъ хуже, нѣтъ презрительнѣе клички.

И вотъ, когда я подумаю о положеніи интеллигенціи въ каторгѣ, цѣлый рядъ призраковъ встаетъ предо мной.

Прямо, призраковъ!

Вотъ несчастный бродяга Сокольскій, бывшій студентъ, о которомъ я уже говорилъ.

Больной, эпилептикъ, издерганный, измученный.

— Боже! Чего, чего я не дѣлалъ, чтобы избавиться отъ этой проклятой клички. Чтобы пасть до нихъ. Чтобы не чувствовать, лежа на нарахъ, что при тебѣ боятся говорить, что тебя считаютъ за предателя, за измѣнника, за человѣка, готового на доносы. Нѣтъ! Какой-нибудь негодяй, какой-нибудь, говоря на нашемъ каторжномъ языкѣ, „хамъ“, готовый за пятакъ продать себя, другихъ, все, обзываетъ тебя „бариномъ“. И даже онъ каторгѣ ближе, чѣмъ ты! А какихъ, какихъ жертвъ я имъ не приносилъ. Я пью, какъ они,

Играю въ карты, какъ они. Меня назначили писаремъ, я ради нихъ набезобразничалъ, чтобы меня выгнали. Чтобы доказать, что я не хочу никакихъ привилегій. Я принялъ участіе въ ихъ мошенничествахъ, въ сбытъ фальшивыхъ ассигнацій. Я помогалъ имъ скрывать эти ассигнаціи. Я пряталъ. Когда поймали, я никого не выдалъ. Мнѣ грозить каторга на много, много лѣтъ. И все-таки я—отверженный среди „отверженныхъ“, я—баринъ!

Вотъ Козыревъ ¹⁾, несчастный юноша со взглядомъ утопающаго человѣка.

Онъ прошелъ все-таки 6 классовъ гимназіи. Сынъ зажиточныхъ родителей. Его родные—богатые московскіе купцы.

Былъ вольноопредѣляющимся, и за оскорбленіе караульнаго начальника попалъ въ каторгу на 6 лѣтъ и 8 мѣсяцевъ.

Теперь онъ сидитъ въ кандалной за грошевой... подлогъ.

У него такое честное, симпатичное лицо. Я это хорошо знаю, онъ всегда готовъ подѣлиться послѣднимъ, дѣлился, дѣлится съ нуждающимся.

Наконецъ родные его не забываютъ. Присылаютъ ему сравнительно помногу.

— И вдругъ какой-то грошевой подлогъ?!

— Эхъ, баринъ!—по совѣсти сказали мнѣ люди, знающіе дѣло.— Да нешто для себя онъ! Каторга заставила. Каторгѣ этотъ подлогъ былъ нуженъ. Они и приказали, а онъ писаремъ былъ, вотъ и сдѣлалъ. Пользуется ли онъ для себя! Да и къ чему ему?

Его будущность тяжка и безотраднa.

Прибавки каторги не выдержать, бѣжить, плети, еще прибавка, безъ конца, испытуемость и безъ выхода сидѣнье въ кандалной тюрьмѣ.

Да что „какой-то“ Козыревъ?

Такіе ли люди гибли въ каторгѣ, тонули, — „вверхъ только пузыри шли“.

Гибли нравственно въ конецъ, безвозвратно.

Въ селеніи Рождественскомъ, въ Александровскомъ округѣ, учителемъ состоитъ нѣкто В.

Человѣкъ, получившій образованіе въ одномъ изъ привилегированныхъ учебныхъ заведеній.

Въ каторгѣ этотъ человѣкъ за пять рублей нанялся взять на себя чужое убійство.

Потребовалось цѣлое слѣдствіе, чтобы доказать, что убилъ не онъ.

¹⁾ Корсаковская кандалная тюрьма.

Одинъ сановникъ, лично знавшій В. въ Петербургѣ, пріѣхавъ на Сахалинъ, захотѣлъ его видѣть, хотѣлъ хлопотать за него въ Петербургѣ.

— Поблагодарите,—просилъ передать ему В.,—и попросите, пусть забудетъ объ этомъ. Поздно. Тамъ ужъ я не гожусь. Пусть меня забудутъ здѣсь.

У меня есть, я взялъ, какъ образчикъ человѣческаго паденія, одинъ доносъ. Доносъ ложный, гнусный, клеветнический, обвиняющій десятокъ ни въ чемъ неповинныхъ людей, своихъ же собратій, и заканчивающійся... просьбой дать мѣсто писаря на 5 рублей въ мѣсяцъ.

Этотъ доносъ писанъ бывшимъ инженеромъ, теперь занимающимся поддѣлкой кредитокъ.

— Неужели же нельзя удержаться на высотѣ? Не падать, не ложиться самому въ эту грязь?

Я задавалъ этотъ вопросъ людямъ, на себѣ испытавшимъ каторгу.

— Неужели нельзя держаться особнякомъ?

— На каторгѣ невозможно. Сейчасъ заподозрять: „Должно-быть, доносчикъ, не хочетъ съ нами заодно быть, въ начальство мѣтить!“ Наконецъ просто почувствуютъ себя обиженными. Изведутъ, отравятъ каждую минуту, каждую секунду существованія. Будутъ дѣлать мерзости на каждомъ шагу, — и нѣтъ ничего изобрѣтательнѣе на мерзости, чѣмъ подонки каторги. Эти-то подонки васъ и доймутъ, въ угоду „сильнымъ“ каторжанамъ.

— Ну, заставить ихъ относиться съ уваженіемъ, съ симпатіей.

— Трудно. Ужъ очень они ненавидятъ и презираютъ „барина“. У меня, впрочемъ, былъ способъ!—разсказывалъ мнѣ одинъ интеллигентный человѣкъ, сосланный за убійство.—Я писалъ имъ письма, прошенія, что ими очень цѣнятся. Конечно, бесплатно. Охотно дѣлился съ ними своими знаніями. Всякое знаніе каторга очень цѣнить, хотя къ людямъ знанія относятся какъ вообще простонародье, какъ ребенокъ, который очень любитъ яблоки и ругаетъ яблоню, зачѣмъ такъ высоко. Мало-по-малу мнѣ начало казаться, что я заслуживаю ихъ расположеніе. Но тутъ мнѣ пришлось столкнуться съ грамотными бродягами и „Иванами“. У первыхъ я отнималъ заработки, даромъ составляя прошенія. Вторые не переносятъ, чтобы кто-нибудь, кромѣ нихъ, имѣлъ вѣсь и вліяніе въ тюрьмѣ. Сколько усилій пришлось потратить, чтобы избѣгать столкновеній съ ними. Меня оскорбляли, вызывали на дерзость. Собирались даже бить. Обвиняли въ доносахъ. Добились того, что каторга перестала мнѣ

вѣрить: убѣдили ихъ, будто я прошенія нарочно составляю не такъ, какъ слѣдуетъ. И это дурачье имъ повѣрило! Короче вамъ скажу,— не знаю, чѣмъ бы все это кончилось,—но меня выпустили изъ кандалной тюрьмы.

Страшна не тяжелая работа, не плохая пища, не лишеніе правъ, подчасъ призрачныхъ, номинальныхъ, ничего не значащихъ.

Страшно то, что васъ, человѣка мыслящаго, чувствующаго, видящаго, понимающаго все это, съ вашей душевной тоской, съ вашимъ горемъ, кинуть на однѣ нары съ „Иванами“, „глотами“, „жиганами“.

Страшно то отчаяніе, которое охватитъ васъ въ этой атмосферѣ навоза и крови.

Страшны не кандалы!

Страшно это превращеніе человѣка въ шулера, въ доносчика, въ дѣлателя фальшивыхъ ассигнацій.

Страшно превращеніе изъ Валентина „въ поддѣлывателя документовъ“ за краденую вытертую шапку.

И какіе характеры гибли!

Тальма на Сахалинѣ.

Это происходило въ канцеляріи Александровской тюрьмы. Передъ вечеромъ, на „нарядѣ“, когда каторжане являются къ начальнику тюрьмы съ жалобами и просьбами.

— Что тебѣ?

— Ваше высокоблагородіе, нельзя ли, чтобы мнѣ вмѣсто бушлата ¹⁾ выдали сукномъ.

— Какъ твоя фамилія?

— Тальма.

Я „воззрися“ на этого большого молодого человѣка, съ блѣднымъ, одутловатымъ лицомъ, добрыми и кроткими глазами, съ небольшою бородкой, въ „своемъ“ штатскомъ платьѣ, съ накиннутымъ на плечи арестантскимъ халатомъ.

— Нельзя. Не порядокъ,—сказалъ начальникъ тюрьмы.

Тальма поклонился и вышелъ. Я пошелъ за нимъ и долго смотрѣлъ вслѣдъ этой тогда еще живой загадкѣ.

Онъ шелъ сторбившись. Сѣрый халатъ съ бубновымъ тузомъ болтался на его большой, нескладной фигурѣ, какъ на вѣшалкѣ. Прощелъ большую улицу и свернулъ вправо въ узенькіе переулочки, въ одномъ изъ которыхъ онъ снималъ себѣ квартиру.

¹⁾ Такъ каторжане называютъ куртку.

Во второй разъ я встрѣтился съ Тальмой на пристани.

Онъ былъ безъ арестантскаго халата. Въ темной пиджачной парѣ, мягкой рубахѣ и черномъ картузѣ.

Мы пріѣхали на катерѣ съ однимъ изъ офицеровъ парохода „Ярославль“, и къ офицеру сейчасъ же подошелъ Тальма.

Они были знакомы. Тальма привезенъ на „Ярославль“.

— Я къ вамъ съ просьбой. Вотъ накладная. Мнѣ прислали изъ Петербурга красное вино. А мнѣ, какъ...

Всѣ интеллигентные и неинтеллигентные одинаково давятся словомъ „каторжный“ и говорятъ „рабочій“.

— Мнѣ, какъ рабочему, его взять нельзя. Будьте добры, отдайте накладную ресторатору. Пусть возьметъ вино себѣ. Я ему дарю. Вино, должно-быть, очень хорошее.

— Странная посылка!—пожалъ плечами офицеръ, когда Тальма отъ насъ отошелъ.

Странная посылка человѣку, сосланному въ каторгу.

Потомъ, когда мы познакомились, Тальма однажды съ радостью объявилъ мнѣ:

— А я телеграмму изъ Петербурга получилъ!

— Радостное что-нибудь?

— Вотъ.

Я хорошо помню содержаніе телеграммы: „Такой-то, такой-то, такой-то, обѣдая въ такомъ-то ресторанѣ, вспоминаемъ о тебѣ и пьемъ твое здоровье“. Подписано его братомъ.

Телеграмма вызвала радостную улыбку на всегда печальномъ лицѣ Тальмы. Поддержала немножко его духъ, что и требовалось доказать.

Разные люди, и разными способами ихъ можно подбодрять!

Я познакомился съ Тальмой въ конторѣ Александровской больницы, гдѣ онъ исполнялъ обязанности писаря.

Я долженъ немножко пояснить читателю.

„Каторги“ такъ, какъ ее понимаетъ публика, для интеллигентнаго человѣка на Сахалинѣ почти нѣтъ. Интеллигентные люди,— „господа“, какъ ихъ съ презрѣніемъ и злобой зоветъ каторга,— не работаютъ въ рудникахъ, не вытаскиваютъ бревенъ изъ тайги, не прокладываютъ дорогъ по непроходимой трясинѣ тундры.

Сахалинъ, съ его безчисленными канцеляріями и управленіями, страшно нуждается въ грамотныхъ людяхъ.

Всякій мало-мальски интеллигентный человѣкъ, прибывъ на Сахалинъ, сейчасъ же получаетъ мѣсто писаря, учителя, завѣдующаго метеорологической станціей, статистика, и что-нибудь подобное. И

отбываетъ каторгу учительствомъ, писарствомъ, корректорствомъ при сахалинской типографіи.

На первый взглядъ вся „каторга“ до интеллигентнаго человѣка состоитъ въ томъ, что его превращаютъ въ обыкновеннаго писаря.

Для интеллигентныхъ людей на Сахалинѣ есть другая каторга.

Лишая всѣхъ правъ состоянія, васъ лишаютъ человѣческаго достоинства. Только!

Всякій „начальникъ тюрьмы“ изъ выгнанныхъ фельдшеровъ, въ каждую данную минуту, по первому своему желанію, можетъ, безъ суда и слѣдствія, назначить до 10 плетей или 30 розогъ.

По первому капризу, запишетъ въ штрафной журналъ: „за непослушаніе“,—и больше ничего.

И можетъ назначить по первому неудовольствію на васъ, по первой жалобѣ какого-нибудь „помощника смотрителя“, ничтожества, которому даже каторга изъ презрѣнія говорить „ты“, по первой жалобѣ какого-нибудь „надзирателя“ изъ бывшихъ ссыльно-каторжныхъ.

Вы можете отлично отбывать свою писарскую каторгу, скромно, старательно,—вами будутъ довольны, но стоитъ вамъ встрѣтиться на улицѣ съ какимъ-нибудь мелкимъ чиновникомъ, которому покажется, что вы недостаточно почтительно или быстро сняли передъ нимъ шапку, и васъ посадятъ на мѣсяцъ, на два въ кандалную.

Такія жалобы гг. чиновниковъ всегда удовлетворяются.

— И жалко мнѣ человѣка, а сажаю! — часто приходится вамъ слышать отъ болѣе порядочныхъ „начальниковъ“ тюремъ.—Сажаю, потому что иначе скажутъ, что я „распускаю“ каторгу!

А этого обвиненія на Сахалинѣ служащіе боятся больше всего.

И вотъ, по первому же вздорному желанію какого-нибудь мелкаго служащаго, заковываютъ на мѣсяцъ, на два въ кандалы, сажаютъ въ общество самаго отребья рода человѣческаго, и вы должны подчиняться этому отребью, потому что „арестантскіе законы“, какъ держать и вести себя въ тюрьмѣ, издаютъ самые отчаянные изъ кандалныхъ каторжанъ, подонки изъ подонковъ тюрьмы. Чѣмъ ниже палъ человѣкъ, тѣмъ выше онъ стоитъ въ арестантской средѣ. И вы должны ему подчиняться.

Интеллигентные люди живутъ подъ вѣчнымъ Дамокловымъ мечомъ. Вотъ „вся“ ихъ каторга. Годами, каждую секунду бояться и дрожать.

Оттого такія унылыя и пришибленные лица вы только и встрѣчаете у интеллигентныхъ каторжанъ.

И многіе изъ нихъ „впадаютъ въ тоску“ огъ такого существованія, въ страшную, безпросвѣтную тоску, отъ этой вѣчной боязни исполняются презрѣніемъ къ самому себѣ, впадаютъ въ отчаяніе. Начинаютъ пить...

И если вы видите постоянно живущаго въ тюрьмѣ и назначаемаго на работы наравнѣ съ другими интеллигентнаго человѣка, это, значитъ, ужъ совсѣмъ погибшій человѣкъ, потерявшій образъ и подобіе человѣческое.

Тюрьмой рѣдко кто изъ интеллигентныхъ людей на Сахалинѣ начинаетъ, но многіе ея кончаютъ.

Съ Тальмой, по прибытіи на Сахалинѣ, случилось то же, что и со всѣми грамотными людьми. Онъ попалъ въ писаря.

Въ конторѣ больницы я съ нимъ познакомился. Тутъ, подѣ начальствомъ прекрасныхъ и гуманныхъ людей, тогдашнихъ сахалинскихъ докторовъ, ему жилось сравнительно сносно. И имъ были всѣ довольны, какъ тихимъ, работающимъ и очень скромнымъ молодымъ человѣкомъ.

Я имѣлъ возможность хорошо узнать Тальму. Я бывалъ у него, и онъ заходилъ ко мнѣ.

Конечно, рѣчь очень часто заходила о дѣлѣ. Но что онъ могъ сказать новаго? Онъ повторялъ только то же, что говорилъ и на процессѣ.

Письма, телеграммы „изъ Россіи“ поддерживали его бодрость, вызывали вспышки надежды. Но это были вспышки магніи среди непроглядной тьмы, яркія и мгновенныя, послѣ которой тьма кажется еще темнѣй.

Самъ онъ, кажется, считалъ свое дѣло „рѣшеннымъ“ разъ и навсегда, и, когда я пробовалъ утѣшать его, что, молъ, „Богъ дастъ“, онъ только махалъ рукой:

— Гдѣ ужъ тутъ!

Интересная черта, что, когда онъ говорилъ о своемъ дѣлѣ, онъ не жаловался ни на страданія ни на лишенія. Не жаловался на загубленную жизнь, но всегда приходилъ въ величайшее волненіе, говоря, что его лишили чести.

Связь съ прошлымъ, какъ святыня, у него хранятся тѣ газеты, въ которыхъ нѣсколько журналистовъ стояли за его невиновность. Достаточно истрепанныя газеты, которыя, видимо, часто перечитываются. Давая ихъ мнѣ на прочтеніе, онъ просилъ:

— Я знаю, знаю, что вы будете съ ними обращаться бережно. Пожалуйста, не сердитесь на меня за эту просьбу!.. Но все-таки, чтобъ что-нибудь не затерялось...

Это все, что осталось. И какъ, вѣроятно, это пересчитывалось, хоть Тальма и знаетъ все, что тамъ написано, наизусть. Онъ сразу безошибочно указывалъ въ разговорѣ столбецъ, строку, гдѣ написана та или другая фраза.

Связь съ настоящимъ,—Тальма показывалъ мнѣ письма его жены и письма нѣкоей Битяевой, странной дѣвушки изъ полуинтеллигентокъ. Письма, дышавшія экзальтированной любовью къ семьѣ Тальма, въ которыхъ Битяева, словно о ребенкѣ, писала о женѣ Тальмы:

„Большой Саша (супруга Тальмы) ведетъ себя нехорошо: все скучаетъ, тоскуетъ и болѣетъ. А маленькій Саша совсѣмъ здоровъ. Большой Саша только и думаетъ, какъ бы поѣхать къ вамъ, и я поѣду вмѣстѣ съ ними, я буду горничной, нянькой, всѣмъ!“

Супруга тоже все увѣдомляла Тальму о скоромъ пріѣздѣ.

И онъ часто говорилъ:

— Вотъ пріѣдетъ жена, устроимся такъ-то и такъ-то...

Но въ тонѣ, которымъ онъ это говорилъ, слышалось какъ будто, что онъ и самъ въ этотъ пріѣздъ не вѣрилъ.

Вѣрилъ, вѣрилъ человѣкъ, да ужъ и отчаялся. А фразу старую повторяетъ такъ, машинально, по привычкѣ:

— Вотъ пріѣдетъ...

На Сахалинѣ это часто слышишь:

— Вотъ жена пріѣдетъ...

— Вотъ мое дѣло пересмотрять...

И говорятъ это люди годами. Надо же хоть тѣнь надежды въ душѣ держать! Все легче.

Да насмотрѣвшись на сахалинскіе порядки, Тальма и самъ, кажется, колебался: хорошо ли, или нехорошо будетъ, если жена и впрямь пріѣдетъ. И писалъ ей письма, чтобъ она думала о своемъ здоровьѣ:

„Разъ чувствуешь себя не совсѣмъ хорошо, и не думай ѣхать. Лучше подождать“.

Впечатлѣніе, которое производилъ Тальма? Это — впечатлѣніе тонущаго человѣка, тонущаго безъ крика, безъ стона, знающаго, что помощи ему ждать неоткуда, что кричи, не кричи, — все равно никто не услышитъ.

Такое же впечатлѣніе онъ производилъ на другихъ.

— Не нравится мнѣ Тальма! — говорилъ мнѣ докторъ, подъ начальствомъ котораго Тальма служилъ, который видѣлъ Тальму каждый день и который, слава Богу, перевидалъ на своемъ вѣку ссыльных. — Съ каждымъ днемъ онъ становится все апатичнѣе, апатичнѣе. Въ полную безнадежность впадаетъ. Нехорошо, когда это у арестантовъ появляется. Того и гляди, человѣкъ на себя рукой махнетъ. А тамъ — ужъ кончено.

Маленькая, но на Сахалинѣ значительная подробность.

Когда я въ первый разъ зашелъ къ Тальмѣ, мнѣ бросилась въ глаза лежавшая на кровати гармоника. Не хорошо это, когда у интеллигентнаго человѣка на Сахалинѣ заводится гармоника.

Значить, ужъ очень тоска одолѣла.

Начинается обыкновенно съ унылой игры на гармоникѣ въ долгіе сахалинскіе вечера, когда за окнами стонетъ и воетъ пурга. А затѣмъ появляется на столѣ водка, а тамъ...

Въ то время, когда я его видѣлъ, Тальма, хоть и охватывало его, видимо, отчаяніе, все еще не сдавался, крѣпился и не пилъ.

Онъ жилъ не одинъ: снималъ двѣ крошечныя каморочки и одну изъ нихъ отдалъ:

— Товарищу!—кратко пояснилъ онъ.

Я стороной узналъ, что это за товарищъ. Круглый бѣднякъ, бывшій офицеръ, сосланный за оскорбленіе начальника. „Схоронили—позабыли“. Никто ему „изъ Россіи“ ничего не писалъ, никто ничего не присылалъ. Занятій, урока какого-нибудь, частной переписки бѣдняга достать не могъ. И предстояло ему одно изъ двухъ: или на улицѣ помирать,—на казенный „паекъ“, который выдается каторжанамъ, не проживешь,—или проситься, чтобъ въ тюрьму посадили.

Къ счастью, о его положеніи узналъ Тальма и взялъ его къ себѣ, чѣмъ и спасъ бѣднягу отъ горькой участи.

— Хорошій такой человѣкъ, скромный, симпатичный, — только очень несчастный!—пояснилъ мнѣ Тальма.

Онъ жилъ на полномъ иждивеніи у Тальмы.

Потому-то Тальма и просилъ у начальника тюрьмы дать ему, вмѣсто бушлата, сукно, чтобъ „товарища“ одѣть.

— Свой у него износился. А мнѣ срокъ подходитъ бушлатъ новый получать. Выдадутъ готовый, — съ меня на товарища великъ будетъ. Вотъ я и просилъ, сукномъ чтобъ выдали. Дома бы на него и сшили.

Тальма заходилъ ко мнѣ, но не по своему дѣлу, а чтобъ попросить за другого, за офицера, тоже сосланнаго за оскорбленіе начальника и только что прибывшаго на Сахалинъ.

— Вы со всѣми знакомы, не можете ли попросить за него, чтобы его какъ-нибудь лучше устроили. Чрезвычайно хорошій, симпатичный человѣкъ!

Знаете, когда человѣкъ тонетъ, ему думать только о

И, глядя на этого человѣка, который находить вре
подумать, когда самъ тонетъ, я невольно думалъ:

„Да полно, онъ ли это?“

Положимъ, я видѣлъ убійцъ, которые дѣлились послѣднимъ кускомъ даже съ кошками. Я видѣлъ кошекъ въ кандалныхъ тюрьмахъ. Люди, которые тамъ сидѣли, увѣряли, „что человѣкъ помираетъ, что собака — все одно“; у каждаго изъ нихъ на душѣ было по нѣскольку убійствъ; но тотъ изъ нихъ, кто убилъ бы эту кошку, былъ бы убитъ товарищами. Кошку они жалѣли.

Но то была не любовь, а сентиментальность.

Сентиментальность — маргаринъ любви.

Сентиментальныхъ людей среди убійцъ я встрѣчалъ много, но добрыхъ, истинно добрыхъ, кажется, ни одного.

А впечатлѣніе, которое осталось у меня отъ Тальмы, — это именно то, что я видѣлъ очень добраго человѣка.

Картежная игра.

— Да что съ нимъ такое?

— Э-хъ!.. Играть началъ! — отвѣчаетъ степенный каторжанинъ или поселенецъ.

И онъ говорить это „играть началъ“ такимъ безнадежнымъ тономъ, какимъ въ простонародѣ говорить: „запилъ!“ Пропалъ, молъ, человѣкъ.

Игра въ каторгѣ, — это ужъ не игра, — это запой, — это болѣзнь. Игра мѣняетъ весь строй, весь бытъ тюрьмы, вверхъ ногами перевертываетъ всѣ отношенія. Дѣлаетъ ихъ чудовищными. Благодаря игрѣ, тяжкіе преступники освобождаются отъ наказанія, къ которому приговорилъ ихъ судъ. Благодаря игрѣ, люди мѣняются именами и несутъ наказанія за преступленія, которыхъ не совершали. Вы выдумываете, совершенствуете системы наказанія, мечтаете (только мечтаете) объ исправленіи преступниковъ, — а тамъ, въ тюрьмѣ, всѣ ваши системы, планы, надежды, мечты, — все это перевертывается вверхъ ногами, благодаря свирѣпствующей въ каторгѣ эпидеміи картежной игры. Именно эпидеміи, потому что о картежной игрѣ на каторгѣ только и можно говорить, какъ о повальной болѣзни. Въ сущности, старую формулу „приговаривается къ каторжнымъ работамъ безъ срока“ можно смѣло замѣнить формулой: „приговаривается къ безсрочной картежной игрѣ“.

адымъ (король)!

ка (шестерка)!

(валетъ)!

Блиновъ (тузъ)!

- Заморская фигура (двойка)!
- Братское окошко (четверка)!
- Мамка! Барыня! Шелихвостка (дама)!
- Помириль (на-пе)!
- Два съ боку! Поле! Фигура! Транспортъ съ кушемъ! По кушу очко! Атанде! Нѣтъ атанде!

Только и слышится въ камерѣ въ обѣденный часъ, вечеромъ, когда арестанты вернулись съ работъ, ночью, рано утромъ передъ раскомандировкой. Игра, въ сущности, продолжается непрерывно: когда не играютъ, говорятъ, думаютъ только объ игрѣ.

У меня былъ одинъ знакомый каторжанинъ въ Александровской тюрьмѣ, которому я давалъ деньги на игру. Онъ не давалъ мнѣ покоя. Удиралъ отъ обѣда, съ работъ, забѣгалъ съ чернаго крыльца, караулилъ на улицѣ.

— Баринъ, приходите! Нынче будетъ здоровая игра!

На работахъ онъ только и дѣлалъ, что глядѣлъ на дорогу.

— Не ѣдетъ ли мой баринъ?

Сосѣди его по нарамъ со смѣхомъ говорили, что онъ и во снѣ только и кричитъ:

— Бардадымъ!.. Шеперка!.. Полтина мазу!..

Онъ игралъ, проигрывалъ, жилъ какъ въ угарѣ, таялъ и горѣлъ, — этотъ человѣкъ съ лихорадочнымъ огнемъ въ глазахъ. На что не былъ бы онъ способенъ, чтобъ достать денегъ на игру.

Это—болѣзнь. Я уже рассказывалъ о жиганѣ, умиравшемъ отъ истощенія, отъ скоротечной чахотки въ Корсаковскомъ лазаретѣ. Онъ проигрывалъ все,—дачку хлѣба. Цѣлыми мѣсяцами сидѣлъ на одной „баландѣ“, которую и сахалинскія свиньи ѣдятъ неохотно, когда имъ даютъ. Въ лазаретѣ началъ проигрывать лѣкарства. Его потухшіе, безжизненные глаза умирающаго отъ истощенія человѣка вспыхиваютъ жизнью, огнемъ, блещутъ только тогда, когда онъ говоритъ объ игрѣ.

Въ одной изъ тюремъ я, по просьбѣ арестантовъ, рассказывалъ имъ объ игрѣ въ Монте-Карло. Старался рассказывать какъ можно картиннѣе, наблюдая, какое впечатлѣніе это производитъ на нихъ.

— Ну... ну!.. — раздался хриплый голосъ, когда я остановился на самомъ интересномъ мѣстѣ.

Этотъ хриплый голосъ человѣка, котораго словно душатъ, принадлежалъ арестанту, который былъ боленъ и лежалъ на нарахъ. Теперь онъ поднялся на локтѣ. На него страшно было смотрѣть. Лицо потемнѣло, налилось кровью, широко раскрытые, горящіе глаза.

— Ну... ну!..

Словно онъ самъ велъ игру, и вотъ-вотъ рѣшалась его судьба. Каждый разъ слова: „номеръ былъ данъ“ или „бито!“ — вызывали то радостные, то полные досады возгласы:

— Э-эхъ, чортъ!

Они участвовали въ игрѣ всѣмъ сердцемъ, всей душой. Я задѣвалъ ихъ самую чувствительную струнку. Они слышать не могутъ объ игрѣ. Это — ихъ болѣзнь.

Почему это?

Во-первыхъ, хоть и плохіе, они все-таки дѣти своей страны. И если вся Русь отъ восьми вечера до восьми утра играетъ въ карты, а отъ восьми утра до восьми вечера думаетъ о картахъ, — что жъ удивительнаго, что въ маленькомъ уголкѣ, на Сахалинѣ, дѣлается то же, что и вездѣ. Во-вторыхъ, на игру позываетъ тюремная скука. Въ-третьихъ, существуетъ какая-то таинственная связь между преступленіемъ и страстью къ карточной игрѣ. Въ тюрьмахъ всего міра страшно развита страсть къ картамъ. Можетъ-быть, какъ нѣчто отвлекающее отъ обуревающихъ мыслей, арестанты любятъ карточную игру, и обычное времяпрепровожденіе приговореннаго къ смертной казни въ парижской Grande Roquette, — это игра въ карты съ „monop“омъ, — арестантомъ, котораго осужденному даютъ для развлечения. Далѣе человѣку, попавшему на Сахалинъ, не на что надѣяться, кромѣ случая. „Выйдетъ случай, — удачно сбѣгу“. Это создало, какъ я уже говорилъ, вѣру въ „фартъ“, въ счастливый случай, дѣлный культъ „фарта“. И карточная игра, — это только жертвоприношеніе богу — „фарту“: гдѣ жъ, какъ не въ картахъ, случай играетъ самую большую роль. Затѣмъ арестанту заработать негдѣ. Выиграть — единственная надежда немножко скрасить свое положеніе: купить сахару, поправить одежонку, нанять за себя на работы. И, наконецъ, этой всепоглощающей игрѣ, этому азарту, въ который человѣкъ уходитъ съ головой, отдается какъ пьянству, какъ средству забыться, уйти отъ тяжкихъ думъ о родинѣ, о волѣ, о прошломъ, — этимъ стараются заглушить мученія совѣсти. По крайней мѣрѣ, наиболѣе тяжкіе преступники обыкновенно и наиболѣе страстные игроки.

Этимъ я объясняю и страсть моего „пріятеля“ изъ Александровской тюрьмы. Онъ пришелъ за убійство жены, которую очень любилъ.

— Не любилъ бы, не убилъ бы! — сказалъ онъ мнѣ разъ такимъ тономъ, что если бы какой-нибудь Отелло въ послѣднемъ актѣ такимъ тономъ сказалъ объ убійствѣ Дездемоны, у зрителей душа перевернулась бы отъ ужаса и жалости.

И мнѣ всегда думалось при взглядѣ на него:

— Вотъ человѣкъ, который въ азартѣ сжигаетъ свои воспоминанія.

Много нравственныхъ мукъ стараются потопить въ этой карточной игрѣ.

Какъ бы то ни было, она губить и каторгу и поселеніе. Заразившись, каторжане такъ и говорятъ: „заразился“ картами, словно о болѣзни; заразившись карточной игрой въ тюрьмѣ, арестантъ уносить ее и на поселеніе. Это мѣшаетъ ему поправиться, стать на ноги. Онъ проигрываетъ послѣднее, что у него есть, крадетъ, убиваетъ, продаетъ дочерей, сожительницу, жену, если она послѣдовала за нимъ въ ссылку.

На Сахалинѣ рѣдко бываютъ вольные люди, но если такой появляется, его осаждаютъ толпы нищенствующихъ поселенцевъ.

— Третій день не ѣмши.

Вы дали двугривенный, и онъ спѣшитъ въ закусочную, которыми обстроена вся Базарная площадь въ Александровскомъ. Вы думаете, купить хлѣба? Нѣтъ, играть. Каждая закусочная въ то же время игорный притонъ; въ задней комнатѣ „мечутъ“, и умирающій отъ голода бѣднякъ надѣется выиграть и тогда ужъ „поѣсть какъ слѣдуетъ въ свое полное удовольствіе“. Страсть къ игрѣ пересиливаетъ даже чувство голода — сильнѣйшее изъ человѣческихъ чувствъ.

Обычная просьба, съ которой, какъ за милостыней, обращаются на Сахалинѣ поселенцы:

— Баринъ, ваше высокоблагородіе! Дайте записочку.

То-есть, напишите въ лавку колонизаціоннаго фонда: „Отпустить для меня бутылку водки. Такой-то“.

— А что, выпить хочется?

— Смерть!

Но у него даже денегъ нѣтъ, чтобы купить по этой запискѣ бутылку водки. Можете быть спокойны. Онъ отправится и поставить „записку“ на карту, потому что эти записки, какъ я уже упоминалъ, ходятъ между поселенцами какъ деньги, цѣнятся обыкновенно въ 50 коп. и принимаются какъ ставка на карту.

Есть даже цѣлыя селенія, занимающіяся исключительно картежной игрой. Таково, напримѣръ, селеніе Аркво, расположенное въ долинѣ рѣки того же имени, по дорогѣ отъ поста Александровскаго къ рудникамъ.

— А, гг. арковскимъ мѣщанамъ почтеніе! — привѣтствуютъ арковского поселенца въ посту.

„Арковскіе мѣщане“ земледѣліемъ занимаются такъ, „черезъ пень въ колоду“, только „балуются по этой части“; ихъ главный источникъ дохода — карты.

Въ дни, когда въ Мгачскихъ рудникахъ происходитъ „дачка“ вольнонаемнымъ рабочимъ-поселенцамъ, вы не найдете въ Арквѣ ни одного взрослого поселенца. Остались дѣти, старики да старухи. А „арковскіе мѣщане“ съ женами и сожительницами, захвативъ самовары и карты, пошли къ Мгачи.

Поставили самовары, обрядили женъ и сожительницъ въ фартуки и новые платки и засѣли на дорогѣ прельщать, угощать и обыгрывать мгачскихъ чернорабочихъ, отправляющихся за покупками въ постъ.

Бду разъ во Владимирскій каторжный рудникъ и по дорогѣ обгоняю толпу „арковскихъ мѣщанъ“.

Бабы разряжены, какъ можетъ „разрядиться“ нищая; мужики оживленно болтають, несутъ самовары.

— Путь добрый! Куда?

— Къ Ямамъ (владимирскій рудникъ) подаемся.

— Что такъ?

— Японецъ (японскій пароходъ) пришелъ. Грузять. Сказываютъ, дачка была, чтобъ поскорѣйча!

„Арковскіе мѣщане“ шли отыгрывать у каторжанъ тѣ жалкіе гроши, которые тѣмъ выдаются съ выработаннаго и проданнаго угля.

Около поста Александровскаго есть знаменитое въ своемъ родѣ „Орлово поле“, можетъ — быть, такъ и названное отъ игры въ орлянку. Колоссальный игорный притонъ подъ открытымъ небомъ.

Что вы подѣлаете съ человѣкомъ, развращеннымъ тюрьмой, „заразившимся“ тамъ страстью къ картамъ! И какъ часто приходится слышать отъ жены, добровольно пошедшей за мужемъ, жены-героини, жены-мученицы, на вопросъ:

— Какъ живете?

Безнадежное:

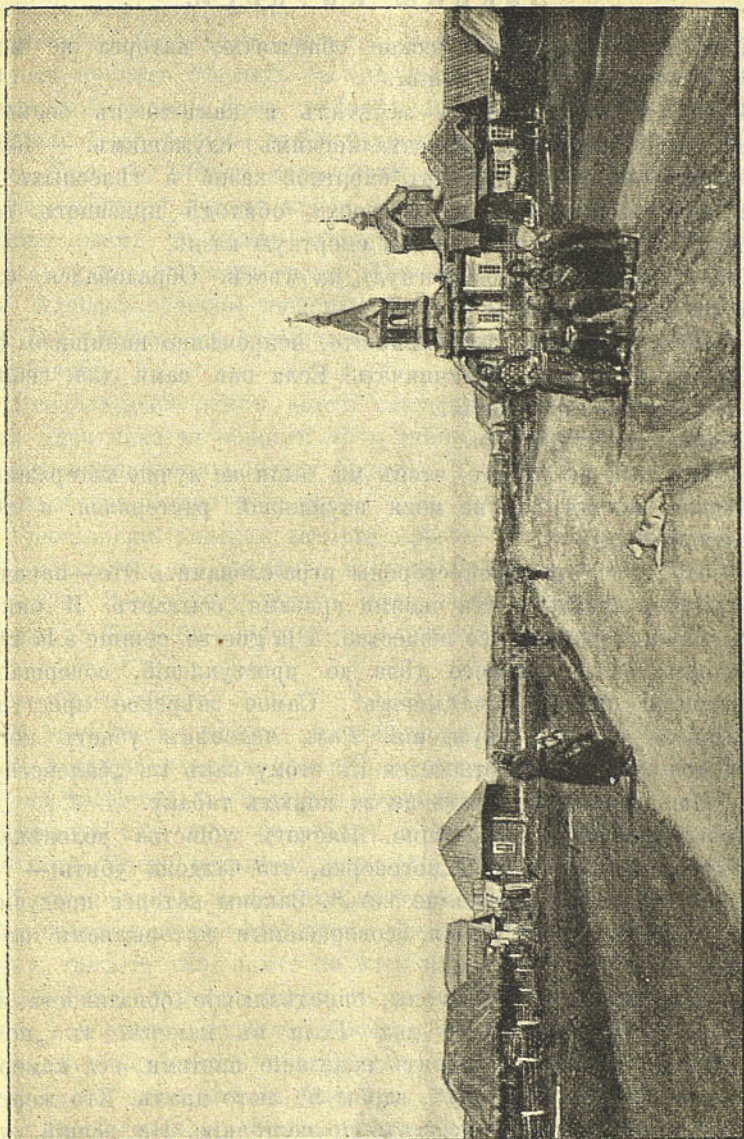
— Какая ужъ жизнь! Нешто съ такимъ подлецомъ жизнь! Все дома голо, все дочиста проиграно! Дѣти голодомъ мрутъ, меня „на фартъ“ посылаетъ. Все для игры. Подлецъ, одно слово. Хамъ!

— Зачѣмъ же за такимъ шла?

— Да нешто онъ такой былъ? Нешто за такимъ шла? Шла за путнымъ. Это ужъ онъ въ тюрьмѣ заразился, прахъ его расшиби! Было бы знато, нешто стала бы себя губить.

И это общая „пѣснь Сахалина“.

Кто сталъ бы изслѣдовать причины многочисленныхъ преступленій на Сахалинѣ, тотъ убѣдился бы, что среди тысячъ при-



Поселенческій бытъ. Старое поселеніе.

чинъ, вызывающихъ эти преступленія, чаще всего является картежная игра, эта болѣзнь тюрьмы, эта эпидемія каторги, ломающая всю жизнь этихъ несчастныхъ людей.

Законы каторги.

Какъ и всякое человѣческое общежитіе, каторга не можетъ обойтись безъ своихъ законовъ.

— Удивительное дѣло! — замѣтилъ я какъ-то въ бесѣдѣ съ однимъ „интеллигентнымъ“ сахалинскимъ служащимъ. — Каторга такъ горячо возстаетъ противъ смертной казни и тѣлесныхъ наказаній. Такъ возмущается. А въ своемъ обиходѣ признаетъ только двѣ мѣры: тѣлесныя наказанія и смертную казнь!

Собесѣдникъ даже подпрыгнулъ на мѣстѣ. Обрадовался, словно я его рублемъ подарилъ.

— Вотъ, вотъ! Вы это напишите, непременно напишите. Пусть знаютъ, какъ съ ними гуманничать! Если они сами для себя ничего другого не признаютъ...

Я невольно улыбнулся.

— Неужели вы хотите, чтобъ мы были не лучше каторжниковъ?

Бѣдняга посмотрѣлъ на меня изумленно, растерялся и только нашелся отвѣтить:

— Это... это съ вашей стороны игра словами... Это—парадоксъ.

Общество считаетъ ихъ своими врагами, ссылаетъ. И они считаютъ своими врагами все общество. *A la guerre, comme á la guerre.*

Каторгѣ нѣтъ никакого дѣла до преступленій, совершаемыхъ каторжанами противъ „чалдоновъ“. Самое звѣрское преступленіе не вызоветъ ничьего осужденія. Разъ человѣкъ убьетъ кого не изъ-за денегъ, каторга отнесется къ этому какъ къ „баловству“.

— Ишь, чортъ, пришилъ ни за понюхъ табаку.

Но скажете это добродушно. Насчетъ убійства человѣка „съ воли“ у каторги есть даже поговорка, что чалдона убить — только „въ среду, пятницу молока не ѣсть“. Законы каторги предусматриваютъ только преступленія, совершаемыя каторжанами противъ каторжанъ.

Сначала рассмотримъ законы, опредѣляющіе обязанности каторжанъ. Ихъ немного, всего два. Если въ камерѣ, въ „номерѣ“ тюрьмы кому-нибудь предстоитъ наказаніе плетью, вся камера дѣлаетъ складчину „на палача“, чтобы не люто дралъ. Кто жертвуетъ копейку, кто двѣ, кто три, глядя по состоянію. Но всякій, у кого есть за душой хоть грошъ, обязанъ его пожертвовать. Это—законъ, отъ котораго отступленій нѣтъ.

Иначе палачъ, при его истинной виртуозности, можетъ плетью и искалѣчить и задрать даже человѣка насмерть. При такихъ смо-

1) на волю, какъ на волю

трителяхъ, какъ упоминавшійся мною Фельдманъ, люившихъ драть, тюрьма прямо разорялась на взятки палачамъ, а палачи благодумствовали и пьянствовали.

Вторая обязанность всякаго каторжанина—помогать бѣглымъ. Тюрьма прячетъ бѣглыхъ съ опасностью для себя. При мнѣ въ банѣ Рыковской тюрьмы былъ пойманъ скрывшійся тамъ бѣжавшій изъ Рыковской же тюрьмы важный арестантъ. Тюрьма носила ему туда ѣсть. Какъ бы бѣденъ и голоденъ ни былъ каторжанинъ, онъ отдастъ послѣдній кусокъ хлѣба бѣглому. Это тоже законъ каторги. Только этимъ и можно объяснить, напримѣръ, такой странный фактъ: гроза и ужасъ всего Сахалина Широколовъ, бѣжавшій изъ Александровской тюрьмы, всю зиму прожилъ въ Рыковской. Каторга укрывала и кормила его, рискуя своей шкурой и дѣлясь послѣднимъ.

Несоблюденіе этихъ двухъ священныхъ обязанностей каторжанина наказывается общимъ презрѣніемъ. А общее презрѣніе на Сахалинѣ выражается общими побоями. Такой человѣкъ—„хамъ“, бить его ежечасно можно и должно.

Гражданскій кодексъ каторги простъ и кратокъ. Каторга предоставляетъ своимъ членамъ заключать между собой какіе угодно договоры. И требуетъ только одно: свято соблюдать заключенный договоръ. Какъ бы возмутителенъ этотъ договоръ ни былъ, каторгѣ дѣла нѣтъ.

— Самъ лѣзь!

И такъ какъ „отцы“, „майданщики“ и „хозяева“,—все это народъ, который платитъ каторгѣ, то каторга всегда на ихъ сторонѣ, и если должникъ не платитъ, отнимаетъ у него послѣднее и еще „наливаетъ ему, какъ богатому“. Этимъ и держится кредитъ въ ихъ мирѣ. Часто человѣкъ, взявшій „подъ пашню“, т.-е. продавшій свой паекъ хлѣба за полгода, за годъ впередъ, съ голода нарочно совершаетъ преступленіе, чтобы его посадили въ карцеръ или одиночку: тамъ-то ужъ никто не отниметъ у него за долгъ его куска хлѣба! Таково происхожденіе многихъ преступленій и проступковъ среди каторжанъ, особенно проступковъ мелкихъ: напримѣръ, „ничѣмъ необъяснимыхъ“ дерзостей начальству. Но если, вмѣсто того, чтобы посадить въ карцеръ, только наказываютъ розгами,—тогда приходится совершить преступленіе по крупнѣе, чтобы попасть въ „послѣдственную“ одиночку и поѣсть. Чтобы избавиться совсѣмъ отъ непосильныхъ долговъ, есть только одинъ способъ—бѣжать. Бѣга—единственное спасеніе, единственная возможность „перемѣнить участь“. И каторга относится къ бѣгамъ съ величайшей сим-

патіей и почтеніемъ. Разъ человѣкъ бѣжалъ изъ тюрьмы,—всѣ обязательства и долги идутъ на смарку, безъ права возобновленія! Часто человѣкъ, запутавшійся въ долгахъ, бѣжитъ безъ всякой надежды выйти на волю. Проплутавъ недѣли двѣ, полуумирающій отъ голода, изодранный въ кровь въ колючей тайгѣ, иззябшій, въ рубищѣ, онъ возвращается въ ту же тюрьму, откуда ушелъ. Получаетъ прибавленіе срока, „наградныхъ“ и собственнымъ тѣломъ расплачивается за сдѣланные долги. Но зато всѣ долги ужъ смараны, и онъ снова кредитоспособный человѣкъ. Вотъ происхождение многихъ сахалинскихъ „бѣговъ“, ставящихъ прямо втупикъ тюремную администрацію:

— Да чѣмъ же, на что надѣясь, они бѣгаютъ?

Уголовное законодательство каторги такъ же просто и кратко.

„Кража“, такого преступленія каторга не знаетъ. На языкѣ каторги „преступленіемъ“ называется только убійство. И если, положимъ, человѣкъ, присужденный за вооруженную кражу, говоритъ вамъ:

— Никакого преступленія я не совершалъ!

Это вовсе не означаетъ „упорнаго заперательства“. Просто вы говорите на двухъ разныхъ языкахъ: онъ никого не убилъ, значить, „преступленія“ не было. И вы очень часто услышите на Сахалинѣ:

— За разбой безъ преступленія.

— За грабежъ безъ преступленія.

— За нападеніе вооруженной шайкой безъ преступленія.

Кража не считается ничѣмъ. Тамъ, гдѣ беззаконія творять всѣ, беззаконіе становится закономъ. Въ случаѣ кражи каторга представляетъ обкраденному самому вѣдаться съ воромъ или нанять людей, которые бы воръ избили. Но если воръ начинаетъ ужъ красть у всѣхъ поголовно, тогда тюрьма учитъ его для острастки вся. Но всѣ подобныя дѣла должны оканчиваться въ тюрьмѣ и самосудомъ. Начальства каторга не признаетъ. И всякая жалоба по начальству,—правъ человѣкъ или виноватъ, безразлично,—оканчивается для жалобщика или донсечика жесточайшимъ избіеніемъ всей тюрьмой. Въ этомъ ни разнорѣчія ни отступленія не бываетъ. Бьютъ всѣ: одни изъ мести, другіе—по злобѣ, третьи—„для порядка“, четвертые—отъ нечего дѣлать: надо же чѣмъ-нибудь развлекаться. Нѣкоторые „изъ прилики“: не будешь такого бить, скажутъ: „Самъ, должно-быть, такой же!“

Теперь мы входимъ въ самую мрачную часть „уложенія“ каторги, гдѣ звучитъ только одно слово „смерть“. Эти законы охраняютъ безопасность бѣгства.

Каждый, кто, зная о готовящемся побѣгѣ, предупредить объ этомъ начальство или, зная мѣсто, гдѣ скрывается бѣглець, указать это мѣсто начальству, подлежитъ смерти. И пусть его для безопасности переведутъ въ другую тюрьму, каторга и туда сумѣетъ дать знать о совершенномъ преступленіи, и такого человѣка убьютъ и тамъ.

Если каторжникъ бѣжалъ, его поймали, привели снова въ ту же тюрьму, и онъ сказывается „бродягой непомнящимъ“, никто изъ знающихъ его, подъ страхомъ смерти, не имѣетъ права его „признать“, т.-е. открыть его настоящее имя. Этому непреложному закону подчиняются не только каторжане, но и надзиратели, никогда почти не признающіе „бродягъ“, которые у нихъ же сидѣли. Этотъ законъ имѣютъ въ виду и другіе служащіе, неохотно „признающіе“ бѣглаго, когда его возвращаютъ:

— Охота потомъ ножа въ бокъ ждать!

Въ Корсаковскій постъ доставили съ японскаго берега Мацмая нѣсколько перебравшихся туда бѣглыхъ. Они выдавали себя за „иностранцевъ“ и лопотали на какомъ-то тарабарскомъ нарѣчіи, сами еле сдерживались отъ смѣха при видѣ пріятелей-каторжанъ и старыхъ знакомыхъ надзирателей. Но ихъ никто „не признавалъ“.

— Впервой видимъ!

Пока, наконецъ, бѣглецамъ не надоѣло „ломать дурака“, и они сами не открыли своихъ именъ.

Мнѣ рассказывалъ одинъ изъ служащихъ:

— Приводятъ къ намъ на постъ бродягу. Смотрю: „батюшки, да онъ у меня же въ лакеяхъ, будучи каторжаниномъ, служилъ“. Думаю: „признавать—не признавать? Уличать—не уличать?“ Попросилъ, чтобы меня съ нимъ оставили наединѣ. Смѣется: „Здравствуйте,—говорить,—ваше вышесоккоблагородіе. Какъ барынино здоровье?“—„Что жъ ты,—спрашиваю,—такъ настоящее свое имя и не думаешь открывать?“—„Не думаю!“—„Да вѣдь тебя здѣсь половина людей знаетъ. Признаютъ!“—„Никто не признаетъ, не беспокойтесь!“—„Да вѣдь я тебя первый уличить долженъ. Не могу не уличить!“—„Что жъ,—говорить,—уличайте, коли охота есть!“ А самъ на меня въ упоръ смотритъ. Бился я съ нимъ, бился, часа два, пока доказалъ, что ему инкогнито своего не скрыть, и самому признаться выгоднѣе,—наказаніе меньше. Насилу уломалъ: „Ладно,—говорить,—сознаюсь!“

Помню испуганное лицо моего ямщика, который часто меня возилъ и былъ ко мнѣ расположенъ, когда я сказалъ ему:

— А я Широколобова видѣлъ!

Даже вздрогнулъ бѣдняга, испугался за меня:

— Бога для, баринъ, никому объ этомъ не говорите! Бѣда будетъ!

Но я успокоилъ его, что пошутилъ.

Вотъ это-то обязательное всеобщее молчаніе относительно бѣлаго и придаетъ надежды сахалинскимъ бѣглецамъ. Немногіе бѣгутъ въ надеждѣ вернуться въ Россію, но всякій надѣется „перемѣнить участь“, при бѣгствѣ сказаться „бродягой“ и вмѣсто десяти, двадцатилѣтней каторги отбыть полуторагодовую.

Убійство каторжаниномъ каторжника каторга не всегда наказываетъ смертію. Но убійство каторжаниномъ „товарища“—всегда и обязательно. „Товарищъ“—не всякій. И часто каторжанинъ, совершившій убійство въ тюрьмѣ, на вашъ вопросъ: „Какъ же такъ, товарища?—съ недоумѣніемъ отвѣтитъ вамъ:

— Какой же онъ мнѣ былъ товарищъ?

И даже смертельно обидится:

— Нешто я могу товарища убить.

Вы говорите на разныхъ языкахъ.

„Товарищъ“—на каторгѣ великое слово. Въ словѣ „товарищъ“ заключается договоръ на жизнь и смерть. Товарища берутъ для совершенія преступленія, для бѣговъ. Берутъ не зря, а хорошенько узнавъ, изучивъ, съ большой осторожностью. Товарищъ становится какъ бы роднымъ, самымъ близкимъ и дорогимъ существомъ въ мірѣ. И я знаю массу случаевъ, когда товарищъ къ товарищу, заболѣвшему, раненому во время бѣговъ, относился съ трогательною нѣжностью. Къ товарищу относятся съ почтеніемъ и любовью и даже письма пишутъ не иначе, какъ: „Любезнѣйшій нашъ товарищъ“, „премногуважаемый нашъ товарищъ“. Почтеніемъ и истинно-братской любовью проникнуты всѣ отношенія къ товарищу.

Убить товарища въ тюрьмѣ—одно изъ величайшихъ преступленій. Убить его съ цѣлью грабежа во время бѣговъ—величайшее, какое только знаетъ каторга.

Во всѣхъ сахалинскихъ тюрьмахъ, въ „подслѣдственныхъ“ одиночкахъ вы найдете несчастнѣйшихъ людей въ мірѣ, ждущихъ какъ казни своего освобожденія изъ одиночки. Полупомѣшанныхъ отъ ужаса, дошедшихъ до маніи преслѣдованія. Все это—лица, заподозрѣнные каторгой въ доносѣ о предстоящемъ побѣгѣ, въ указаніи мѣста, гдѣ скрывается бѣглый, въ уличкѣ бродяги, въ убійствѣ товарища во время бѣговъ. И они имѣютъ всѣ основанія сходить съ ума. Каторга говоритъ:

— Не уйдутъ отъ насъ! Пришьемъ.

Изъ того, что такіе несчастные водятся во *всѣхъ* тюрьмахъ, вы видите, что даже законъ товарищества въ развращенной сахалинской каторгѣ находитъ много нарушителей.

Таковы гражданскій и уголовный кодексы каторги. Мнѣ остается только сказать о постановкѣ слѣдственной части у каторжанъ. Каторга еще не пережила эпохи пытокъ. Производить обыскъ, сыскъ и розыскъ на каторжномъ языкѣ называется „шманать“, и на обыкновенный языкъ это слово слѣдуетъ перевести словомъ: пытать. Творя самосудъ, каторга добывается истины жестокими истязаніями.

Капитанъ Моровицкій рассказывалъ мнѣ, какъ въ бытность его смотрителемъ Дуйской тюрьмы каторга производила тамъ розыскъ убійцъ. Двоихъ заподозрѣнныхъ каторжане подбрасывали вверхъ и разомъ разступались. Несчастные грохались объ полъ. И это продолжалось до тѣхъ поръ, пока несчастные, избитые въ кровь и искалѣченные, не сознались.

— Да это по-нашему называется просто „шманать“! — подтвердилъ мнѣ потомъ и одинъ изъ каторжанъ Ивановъ, производившій это слѣдствіе.

Языкъ каторги.

У каторги есть много вещей, которыхъ постороннимъ лицамъ знать не слѣдуетъ. Это и заставило ее, для домашняго обихода, создать свой особый языкъ. Нарѣчіе интересное, оригинальное, создавшееся цѣлыми поколѣніями каторжанъ, въ немъ часто отражается и міросозерцаніе и исторія каторги. Отъ этого оригинальнаго нарѣчія вѣдетъ то мѣткимъ добродушнымъ русскимъ юморомъ, то цинизмомъ, отдастъ то слезами, то кровью.

Убить—на языкѣ каторги называется *пришить*.

— Я его ударилъ,—онъ и легъ къ землѣ, какъ пришитый.

Вотъ не лишнее висѣльнаго юмора происхожденіе слова „пришить“.

— „Пришить“ просто—означаетъ убить, но *пришить бороду*—означаетъ только обмануть.

— Пришилъ ему бороду, и бери, что знаешь!—говорятъ каторжане.

Происхожденіе этого выраженія кроется, быть-можетъ, въ легендѣ о похожденіяхъ одного славившагося сибирскаго бродяги, преданія о которомъ и до сихъ поръ живутъ въ памяти каторги. Онъ грабилъ специально богатыхъ одинокихъ стариковъ—„столовъ-

ровъ“ (старовѣровъ), спасающихся въ сибирской тайгѣ. И ходилъ, по словамъ легенды, на грабежъ съ одной нагайкой. Онъ никогда не связывалъ своей жертвы, а, хорошенько напугавъ, припечатывалъ старику бороду сургучомъ къ столу. И затѣмъ хозяйничалъ въ избѣ, какъ хотѣлъ. Если же старикъ не указывалъ денегъ, бродяга билъ его нагайкой. Отъ сильныхъ ударовъ старикъ поневолѣ рвался и тогда испытывалъ двойныя страданія: и отъ нагайки и нестерпимую боль отъ припечатанной бороды. Взявъ все, что нужно, бродяга такъ и оставлялъ несчастнаго припечатаннымъ: „Сиди, молю, повѣстки не подашь“ (Знать не дашь). Судя по тому, что мнѣ приходилось слышать вмѣсто „пришить бороду“ также выраженіе „припечатать бороду“—этому объясненію оригинальнаго выраженія можно повѣрить.

У каторги есть два специальныхъ термина для обозначенія того, какъ „пришиваютъ“ людей. Разбить человѣку голову на каторгѣ называется *расколотъ арбузъ* (!), а ударить человѣка ножомъ въ грудь называютъ *ударить въ душу*. Грудь на каторжномъ языкѣ называется душой, и корсаковский палачъ Медвѣдевъ, рассказывая мнѣ, какъ онъ вѣшалъ, говорилъ:

— Какъ закрутились они на веревкѣ, подступило мнѣ что-то въ душу.

И указалъ при этомъ куда-то на селезенку...

„Умереть“ разное называется на Сахалинѣ. Въ посту Корсаковскомъ кладбище помѣщается около маяка, а потому тамъ умереть—это значить *отправиться къ маяку*.

— А гдѣ больной такой-то?

— Къ маяку пошелъ, ваше высокоблагородіе!—отвѣчаютъ вамъ въ лазаретѣ.

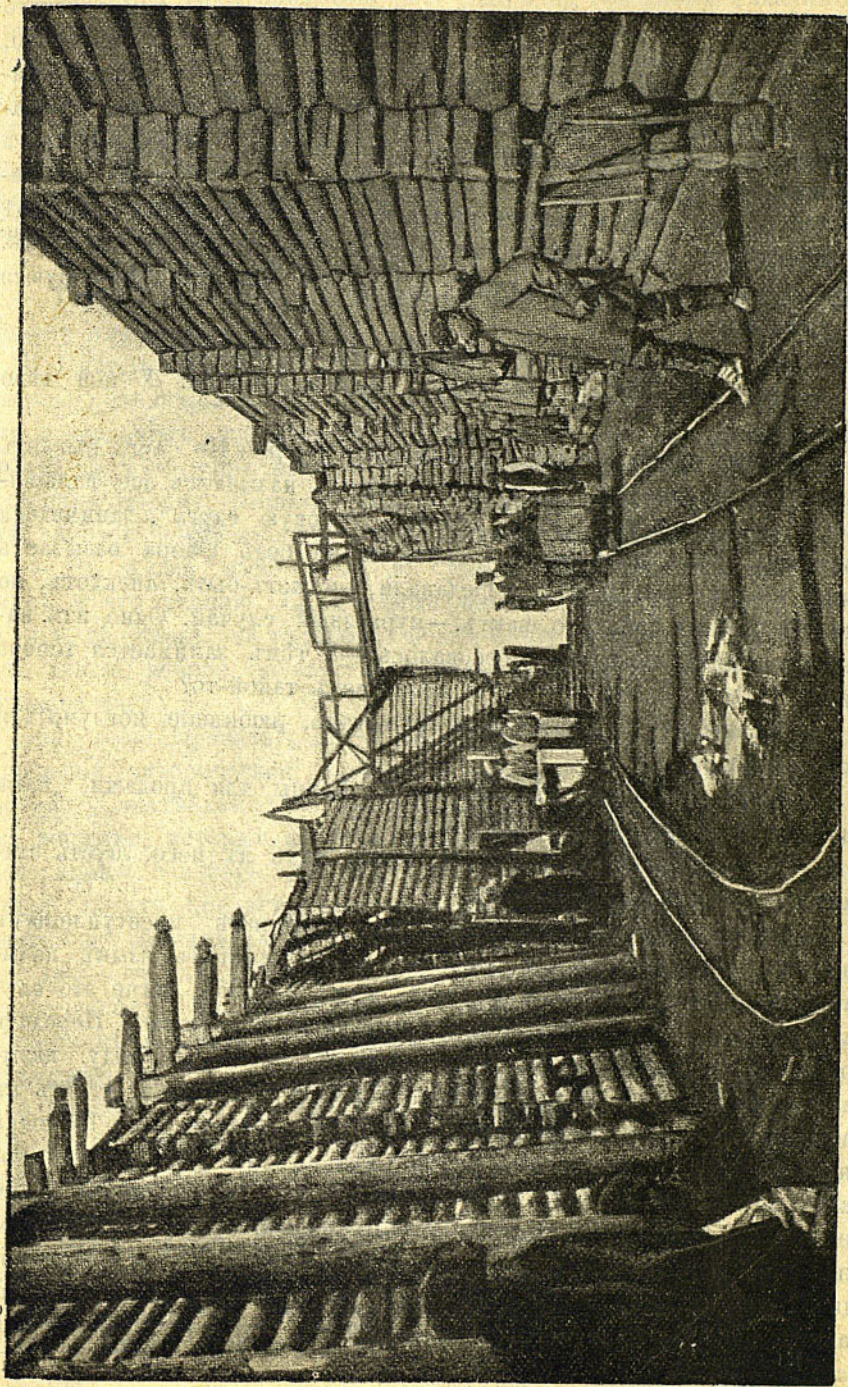
— Къ маяку бы поскорѣй!—стонутъ больные.

Въ Александровскомъ посту кладбище помѣщается на пригоркѣ, который занялъ когда-то ссыльно-поселенецъ Рачковъ для выпаса скота. А потому умереть въ Александровскомъ посту—это значить *отправиться на Рачкову заимку*.

Такъ какъ Александровскій постъ—это главный пунктъ острова, и всякій каторжанинъ обязательно пройдетъ черезъ него, то и „Рачкова заимка“ получила всеобщую извѣстность, и выраженіе „отправиться на Рачкову заимку“ повсемѣстно значить „умереть“.

И угроза „отправить на Рачкову“ равносильна угрозѣ „пришить“.

Изъ преступленій, кромѣ убійства, на Сахалинѣ очень распространено дѣланіе фальшивой монеты. Особенно теперь въ ходу поддѣлка серебряныхъ рублей. Японскій пароходъ „Яеяма-Мару“, при-



Рудники. Угольные склады.

шедшій за углемъ для Владивостока, простоялъ около сахалинскаго Владимирскаго рудника около недѣли. Японцы, по обыкновенію, привезшіе для каторжанъ „саки“ (японская водка) и разные припасы, чтобы мошеннически продать ихъ втридорога, уѣхали съ Сахалина съ карманами, полными... фальшивыхъ рублей. Каторга перемошенничала! Эти фальшивыя монеты на Сахалинѣ фабрикуются повсемѣстно и затѣмъ сбываются въ Уссурійскій край, гдѣ и спускаются неопытнымъ инородцамъ. Это часто на Сахалинѣ. Спрашиваю про „Золотую ручку“, только что при мнѣ вернувшуюся съ материка.

— Да зачѣмъ ей понадобилось ѣздить на материкъ?

— Зачѣмъ! Деньги фальшивыя, небось, возила. У нея дѣло извѣстное.

„Деньги“ на языкѣ каторги называются *сарга*. Но сарга бываетъ настоящая и *липовая*. „Липовымъ“ каторга называетъ все фальшивое: деньги, паспорта, имя. Дѣлать „липовую саргу“, заниматься дѣланіемъ фальшивой монеты, каторга не безъ юмора называетъ также *печь блины*. И мнѣ передавали,—можетъ-быть, анекдотъ, но клялись и божились, что фактъ,—курьезный случай. Одно изъ начальствующихъ лицъ заинтересовалось,—а чѣмъ занимается теперь лично извѣстный ему почему-то поселенецъ такой-то?

— Блины печетъ!—отвѣчали каторжане, любившіе поглумиться надъ начальствомъ.

Начальство поняло, что онъ печетъ блины для продажи, „какъ дѣлается въ городахъ“, и замѣтило:

— А-а, отлично, отлично! Я очень радъ за него, пусть стараются! Это мнѣ очень пріятно.

Третьимъ распространеннымъ на Сахалинѣ преступленіемъ является, конечно, кража. Украсть на каторжномъ языкѣ называется *стырить*. Подучить украсть, сказать, какъ легче это сдѣлать, указать, гдѣ лежатъ деньги, называется *натырить*. Передать краденое въ другія руки, чтобы скрыть концы въ воду, называется *перетырить*. И при дѣлежѣ обмануть сообщника, утаить въ свою пользу часть похищеннаго—именуется *оттырить*. Ни одна мало-мальски крупная кража ни на Сахалинѣ ни у насъ, въ городахъ, не обходится безъ „натырщиковъ“ и „перетырщиковъ“, при чемъ самъ „стырщикъ“ получаетъ обыкновенно сущіе пустяки, потому что львиную долю „оттыриваютъ“ „натырщики“ и „перетырщики“—подводчики и сбытчики завѣдомо краденаго. Воръ на Сахалинѣ, какъ и вездѣ, это—только батракъ, всю жизнь работающій на другихъ.

Нищенство, какъ профессія, мало даетъ на голодномъ Сахалинѣ. Просить милостыню на языкѣ каторги называется *стрѣлять*. И это громкое слово, имѣющее такое мирное значеніе, приведшее въ первый разъ и меня въ смущеніе, сыграло большую роль въ жизни каторжанина Маріана Пищатовскаго. Геркулесъ, добродушнѣйшее въ мірѣ существо, страшный только во время эпилептическихъ припадковъ,—онъ подошелъ къ начальнику, посѣтившему тюрьму, съ самой добродушной фразой:

— А я васъ подстрѣлить хочу...

— Убрать! Въ кандалы!—крикнулъ натурально отшатнувшійся въ сторону начальникъ.

И Пищатовскій нѣсколько мѣсяцевъ отсидѣлъ въ кандалахъ, рѣшительно не понимая,—за что. Полжизни прожившему въ каторгѣ, ему и невдомекъ, что вѣдь не весь же міръ говоритъ на каторжномъ языкѣ! Съ тѣхъ поръ каждый разъ, какъ перепуганный начальникъ посѣщалъ тюрьму, Пищатовскаго уводили и заковывали. Жалуюсь мнѣ на свои заключенія, добрякъ особенно жаловался на это:

— Въ жизнь свою мухи не убилъ (онъ изъ дисциплинарныхъ), а что терплю. Какъ самый отъявленный, И за что?—За то, что на чаекъ, на сахарокъ подстрѣлить хотѣлъ. Обрадовался: вотъ думаю, доброе начальство,—гривенничекъ дать. Вотъ тѣ и обрадовался!

Для слова „просить“, „итти по міру“, у каторги есть и другое выраженіе, историческое, пришедшее изъ Сибири,—*стрѣлять саватѣйки*. „Саватѣйками“ въ Сибири называются очень вкусныя сдобныя лепешки, которыя пекутся на сметанѣ. Зажиточный сибирскій крестьянинъ считаетъ долгомъ совѣсти, дѣломъ хорошимъ „для души“, подать бродягѣ—варнаку—„саватѣйку“. Отсюда „стрѣлять саватѣйки“ значитъ на каторжномъ языкѣ также и итти бродяжить. Но—увы!—въ сахалинской каторгѣ это выраженіе стало уже совсѣмъ историческимъ. На голодномъ Сахалинѣ не то, что „саватѣекъ“, хлѣба-то нѣтъ. Сахалинскій поселенецъ не сибирскій крестьянинъ: у голоднаго не поѣшь. Въ Сибири крестьянинъ кормитъ бродягу, и за то бродяга ни за что ничего у крестьянина не тронетъ. А голодный сахалинскій бродяга рѣжетъ у поселенца на кормъ и корову и послѣднюю лошадь. За то и поселенцы охотятся за бродягами, ловятъ, а то и убиваютъ.

— Здѣсь Сахалинъ, батюшка, всякому до себя!—говорятъ на этомъ островѣ, гдѣ человѣкъ человѣку поневолѣ волкъ.

Перейдемъ теперь къ выраженіямъ, означающимъ наказаніе. Во всѣхъ въ нихъ звучитъ иронія. Эта иронія напоминаетъ мнѣ ту

улыбку, кривую, довольно „плохую“, похожую скорѣе на гримасу, съ которой человѣкъ идетъ ложиться на „кобылу“.

— Стало-быть, такъ порядокъ того требуетъ.

Каторга не любитъ слова „вѣшать“. Она называетъ это *заслужить веревку*. Эта какая-то инстинктивная боязнь страшнаго слова доходитъ до того, что даже палачъ, рассказывая вамъ, какъ онъ повѣсилъ 13 человѣкъ, ухитрится какъ-то избѣжать непріятнаго слова, а если и произноситъ его, то словно давится и какъ будто конфузится. Точно такъ же каторга не любитъ слова „розги“ и предпочитаетъ ироническое названіе *лозы*. Плети каторга зоветъ *мантами*—слово, которое произносится всегда иронически. А вообще получить плети называется—*получить наградныхъ*. При чемъ получить ихъ въ высшемъ, опредѣленномъ закономъ, размѣрѣ называется заслужить *полнякъ*. Для слова „карцеръ“ у каторги есть два выраженія—*пчельникъ* или *сушилка*, при чемъ употребительнѣе послѣднее: оно ироничнѣе.

— А гдѣ такой-то? Что я его третій день не вижу?

— Сухится!

Значить, сидитъ въ темномъ карцерѣ.

Чтобы увернуться отъ всѣхъ этихъ прелестей, начиная съ мантовъ, продолжая лозами и кончая сушилкой, каторжанину нужно быть или ужъ особенно *фатовымъ*, или умѣть *фельдить*.

Этотъ совершилъ 20 преступленій и попался только на 21-мъ, а тотъ и на первомъ „вляпался“, да такъ, что пришелъ на 20 лѣтъ. За тѣмъ числится десятка полтора человѣческихъ жизней, а онъ пришелъ, какъ бродяга, на полтора года „за скрытіе родословія“: отбудетъ и опять уйдетъ, а другой,—каторга это знаетъ,—ни за что сидитъ, и будетъ сидѣть весь долгій срокъ. Тотъ на глазахъ у всѣхъ ушелъ и пробрался въ Россію, а другой и версты отъ тюрьмы не отошелъ: поймали, дали „наградныхъ“ и посадили „съ продолженіемъ срока“. Все заставляетъ каторгу вѣрить въ слѣпой случай. Только случай,—и ничего больше. Даже судъ, по ея характерному взгляду, „это—карты“. Вѣра въ случай—вотъ истинная религія каторги, въ судьбу, въ фортуна. Отъ слова „фортуна“ и происходитъ слово *фартъ*. Собственно, оно означаетъ „счастье“, но, Боже, что подчасъ на Сахалинѣ называется „счастьемъ!“ Соотвѣтственно этому и слова „фартъ“, „фатовый“ имѣютъ много значеній.

— Онъ человѣкъ фатовый! — говорятъ про человѣка, когда хотятъ сказать, что это человѣкъ добрый, широкая натура,—человѣкъ, готовый помочь ближнему безо всякой даже выгоды для себя.

— Онъ *фартовецъ*! Онъ человѣкъ фартовый! — говорятъ съ завистью и про человѣка, которому сходятъ съ рукъ всякія гадости.

А когда поселенецъ говорить про сожительницу, или каторжанинъ про жену, добровольно за нимъ послѣдовавшую: „она пошла на фартъ“, — мнѣ не нужно объяснять вамъ значенія этого выраженія.

Слово *фельдитъ* означаетъ „обманывать“. Но въ то время, какъ каторжанину „пришиваютъ бороду“, — начальство только *берутъ на фельду*. *Фельда* означаетъ обманъ, хитрость, лукавство именно передъ начальствомъ. Говорятъ, что слово „фельда“ специально сахалинское и появилось на свѣтъ въ то время, когда смотрителемъ Воеводской тюрьмы былъ нѣкто Фельдманъ, о которомъ я уже упоминалъ. Тогда только хитрость, только лукавство могло спасти каторжанина отъ мантъ и лозъ: Фельдманъ не признавалъ непоротыхъ арестантовъ. Арестанты и фельдили передъ Фельдманомъ, какъ Фельдманъ, кормившій тюрьму сырымъ хлѣбомъ и экономившій на „припекѣ“, фельдилъ передъ начальствомъ. Историческое объясненіе, не лишенное интереса.

Низкопоклонство и наушничество — два самыхъ испытанныхъ приѣма „фельды“. Для нихъ у каторги есть два выраженія: *бить хвостомъ* и *ударить плесомъ*. Въ сущности, „онъ бьетъ хвостомъ“ или „онъ ударяетъ плесомъ“ значитъ, что арестантъ ловко уклоняется отъ наиболѣе трудныхъ работъ. Но такъ какъ для этого есть на каторгѣ только два средства: подольщаться и наушничать, то каторга и говорить про людей, лебезящихъ передъ начальствомъ:

— Ишь, словно рыба на пескѣ: такъ и бьетъ плесомъ, — не трожь, молъ.

Выраженіе „бить хвостомъ“ показываетъ вамъ, какъ каторга смотреть на доносчика. Она зоветъ его *лягашемъ* или *сучкой*. Онъ передъ начальствомъ „бьетъ хвостомъ“. Она и обращается съ нимъ, какъ съ собакой. Накляузничать на каторжномъ языкѣ называется *лягнуть* или *сезти тачку*. А обвинить передъ начальствомъ человѣка такъ, чтобъ онъ ужъ и не выкарабкался, называется — его совѣмъ ужъ *засыпать*.

За это каторга знаетъ одно наказаніе, которое она съ каторжнымъ юморомъ называетъ: *налить какъ богатому*, т.-е. сильно избить, бить „пока влѣзетъ“, и, чтобъ человѣкъ не видѣлъ, кто его бьетъ, *накрыть темную*, т.-е. закутать ему голову халатомъ.

— Двойная польза, — объясняютъ каторжане, — и головы во злѣ не прошибутъ, — живъ останется, и ужъ „нальютъ какъ богатому“: орать не будетъ.

Какъ и всѣ измученные, изстрадавшіеся, озлобленные, съ издерганными нервами люди, каторжане любятъ злить и мучить другихъ. Бѣда, если каторга, умѣющая тонко подмѣчать у людей слабости, замѣтитъ, что человѣкъ *скипидарный*, т.-е. его можно легко рассердить. Тогда *заскипидаритъ* такого человѣка, изъ него *огня добыть*—первое удовольствіе для каторги. Есть изумительные мастера по этой части. И я только диву давался, какъ они тонко знаютъ свое начальство. Если бы начальство хотъ въ сотую часть такъ знало ихъ! Скажетъ слово, кажется, самое невинное, а глядишь, г. смотритель уже „заскипидарился“.

— Я только, чтобы по закону...

Г. смотритель краснѣетъ:

— А вотъ я тебѣ покажу законъ! Лишенный всѣхъ правъ, а туда же разсуждать лѣзетъ и учить. Законникъ онъ! Ты бы, мерзавецъ, лучше объ законѣ думалъ, когда грабить шель.

— Да мнѣ что жъ! Я только, чтобы, какъ по инструкціямъ...

Смотритель даже подпрыгиваетъ на мѣстѣ. Если бы тутъ не было „писателя“.

— Я тебѣ выпишу инструкціи! Ты учить, учить меня!

— Зачѣмъ учить! Мнѣ только, чтобы, что по табели полагается, выдавали.

— По табели? По табели?

Смотритель весь побагровѣлъ.

— Да вы успокойтесь,—говорю я ему,—ну, чего вамъ волноваться! Стоить ли?

— Нѣтъ, какова каналья! Какъ сыплеть: по закону, по инструкціи, по табели!..

А каторга, глядя на эту сцену,—вижу,—давится со смѣху. Смотрителя *въ пузырькѣ загнали*, — на языкѣ каторги такъ называется довести человѣка до неистовства, когда онъ уже „землю роетъ“.

— Ну, зачѣмъ ты?—спрашиваю потомъ каторжанина.

— А онъ этихъ самыхъ словъ очинно не любитъ. Ему что хошь говори,—ничего. А вотъ „табели“ онъ особенно не уважаетъ!

— Да вѣдь выпоротъ за это можетъ.

— И очень просто!

— Ну, зачѣмъ же ты, чудакъ-человѣкъ?

— Эхъ, ваше высокоблагородіе, не понять вамъ насъ. Посидѣли бы какъ мы, не стали бы спрашивать „зачѣмъ?“ Зло возьметъ. Сорвать хочется.

„Заскипидарить“, „огня добыть“, „въ пузырькѣ загнать“, — все это выраженія примѣнительно къ начальству. Это каторга уважаетъ.

Задѣтъ, оскорбить ни за что ни про что своего брата, это каторга презираетъ и называетъ *укуситъ*. Она смотритъ на человѣка, дѣлающаго это, какъ на шальную собаку, которая кусаетъ людей ни за что ни про что. Она презираетъ это и вѣчно этимъ занимается.

— Особачишься тутъ!—говорятъ каторжане.

Когда, повторяю, у человѣка издерганы нервы, ему доставляетъ удовольствіе дернуть за нервы другого. Я мучаюсь,—и другой пусть чувствуетъ. Страданіе—плохой отецъ состраданія.

Отъ скуки, бездѣлья и оттого, что тамъ большинство вѣдь испорченныхъ людей, на каторгѣ страшно развита ложь. Каторга зоветъ такихъ людей *заливалами*, *звонарами* и *хлопушами*. Но такъ какъ этотъ недостатокъ общій, то относится къ этому добродушно. И для опредѣленія лжеца у нея есть два названія, въ которыхъ больше юмора, чѣмъ злости.

— *Прямой, какъ дуга*,—говоритъ она про такого человѣка, или опредѣляетъ его рассказы такъ:

— Ишь, расписываетъ. *Семь верстъ до небесъ, и все льсомъ!*

Я ужъ говорилъ, что каторга презрительно относится къ тѣмъ изъ своихъ собратій, которые выльзли въ „начальство“: въ старосты и т. п. Такого человѣка она зоветъ *шишкой*. А для надзирателей, дѣйствительно умѣющихъ, если они захотятъ, появиться совершенно незамѣтно и накрыть арестантовъ за игрой или другимъ недозволеннымъ занятіемъ, у каторги есть остроумное названіе—*духъ*.

Я не привожу цѣлой массы менѣе типичныхъ каторжныхъ терминовъ. Но у каторги на все есть свои имена. Каторга скрытна и не любитъ, чтобъ посторонніе понимали даже ея обычные разговоры.

Она какъ будто требуетъ, чтобъ человѣкъ, невольно вступая въ ея среду, отрекся отъ всего прежняго,—даже отъ языка, которымъ онъ говорилъ „тамъ“, на волѣ.

Похлебка, по-каторжному.—„баланда“.

Казенный хлѣбъ—чурекъ.

Ложка—конь.

Водка—сумасшедшая вода.

Шуба—барань.

Ножъ—жуликъ.

И т. д.

Очень мѣтко каторга зоветъ паспортъ—глаза.

— Безъ „глазъ“ человѣкъ слѣпой, куда пойдетъ!

Чтобъ покончить съ языкомъ каторги, мнѣ остается только сказать о ругательствахъ каторги.

Всѣ ругательныя слова русскаго слова на каторгѣ только обычная приправа къ разговору. Но есть одно слово, за которое рѣжутъ.

Это грубое, простонародное слово, въ переводѣ на болѣе благовоспитанный языкъ означающее „кокотку“.

Это объясняется особыми условіями каторги. Но указать на то, что человѣкъ занимается этой профессіей, назвать его этимъ именемъ,—за это хватаются за ножи.

Въ Михайловской „подслѣдственной“ тюрьмѣ одинъ арестантъ, красивый молодой кавказецъ, зарѣзалъ своего товарища.

— За что?

— Онъ мнѣ одно слово говорилъ!

И не надо спрашивать, какое „слово“ тотъ ему говорилъ.

Пѣсни каторги.

Замѣчательно,—даже страшная сибирская каторга былыхъ временъ, мрачная, жестокая, создала свои пѣсни. А Сахалинъ—ничего. Пресловутое:

„Прощай, Одеста,
Славный (?) карантинъ,
Меня посылаютъ
На островъ Сахалинъ“...

кажется,—единственная пѣсня, созданная сахалинской каторгой. Да и та почти совсѣмъ не поется. Даже въ сибирской каторгѣ былъ какой-то отбѣнокъ романтизма, что-то такое, что можно было выразить въ пѣснѣ. А здѣсь и этого нѣтъ. Такая ужасная проза кругомъ, что ее въ пѣснѣ не выразишь. Даже ямщики, эти исконные пѣсенники и балагуры, и тѣ молча, безъ гиканья, безъ прибаутокъ правятъ несущейся тройкой маленькихъ, но быстрыхъ сахалинскихъ лошадей. Слово на козлахъ погребальныхъ дрогъ сидитъ. Развѣ пристыжная забалуешь, такъ прикрикнешь:

— Н-но, ты, каторжная!

И снова молчить всю дорогу, какъ убитый. Не поется здѣсь.

— Въ сердцѣ скука!—говорятъ каторжане и поселенцы.

„Не поется“ на Сахалинѣ даже и вольному человѣку. Помню,—въ праздничный какой-то день изъ воротъ казармъ выходитъ солдатъ—конвойный. Урѣзалъ, видно, для праздника. Въ рукахъ гармонія и поетъ во все горло. Но, что это за пѣсня? Крикъ, вопль, стонъ какой-то. Слово вопитъ человѣкъ „отъ зубной боли въ душѣ“. Не видя, что человѣкъ „веселится“, подумать можно, что рѣжутъ

кого. Да и не запоешь, когда передъ глазами тюрьма, а около нея уныло, словно тѣнь, въ ожиданіи „заработка“ бродить старый палачъ Комлевъ.

Въ тюрьмѣ поютъ рѣдко. Не по заказу. Слышалъ я разъ пѣніе въ Рыковской „кандальной“.

Дѣло было подѣ вечеръ. Повѣрка кончилась, арестантовъ заперли по камерамъ. Начальство разошлось. Тюремный дворъ опустѣлъ. Надзиратели прикурнули по своимъ уголкамъ. Сгущались вечернія тѣни. Вотъ-вотъ наступитъ полная тьма. Иду тюремнымъ дворомъ, остановился, какъ вкопанный. Что это, стонъ? Нѣтъ, поютъ.

Кандальники отъ скуки пѣли пѣсню сибирскихъ бродягъ „Милосердные“... Но что это было за пѣніе! Словно отпѣвають кого, словно похоронное пѣніе несется изъ кандалной тюрьмы. Словно отходную какую-то пѣла эта тюрьма, смотрѣвшая въ сумракъ своими рѣшетчатыми окнами, отходную заживо похороненнымъ въ ней людямъ. Становилось жутко...

„Славится“ между арестантами, какъ пѣсенникъ, старый бродяга Шушаковъ, въ селеніи Дербинскомъ, — и я отыскалъ его, думая „позаймствоваться“. Но Шушаковъ не поетъ острожныхъ пѣсень, отзываясь о нихъ съ омерзѣніемъ.

— Этой пакостью и ротъ поганить не стану. А вотъ что знаю — спою.

Онъ поетъ теноркомъ, немного старческимъ, но еще звонкимъ. Поетъ „пригорюнившись“, подпершись рукою. Поетъ пѣсни своей далекой родины, вспоминая, быть-можетъ, домъ, близкихъ, дѣтей. Онъ уходилъ съ Сахалина „бродяжить“, добрался до дому, шелъ Христовымъ именемъ два года. Лѣто цѣлое прожилъ дома, съ дѣтьми, а потомъ „поймался“ и вотъ ужъ 16 лѣтъ живетъ въ каторгѣ. Онъ поетъ эти грустные, протяжные, тоскливые пѣсни родной деревни. И плакать хочется, слушая его пѣсни. Сердце сжимается.

— Будетъ, старикъ!

Онъ машетъ рукою:

— Эхъ, баринъ! Запоешь, и раздумаешься.

Это не человѣкъ, это „горе поетъ!“

Но у каторги есть все-таки свои любимыя пѣсни. Все шире и шире развивающаяся грамотность въ народѣ сказывается и здѣсь, на Сахалинѣ. Словно слышишь всплескъ какого-то все шире и шире разливающегося моря. Въ каторгѣ очень распространены „книжные“ пѣсни. Каторгѣ больше всѣхъ по душѣ нашъ иетинно-народный поэтъ, — чаще другихъ вы услышите: „То не вѣтеръ вѣтку клонить“, „Долю бѣдняка“, „Вѣтку бѣдную“, — все стихотворенія Кольцова.

А разъ ъду верхомъ, въ сторонкѣ отъ дороги мотыгой поднимаетъ новъ поселенцевъ, потомъ обливается и поетъ: „Укажи мнѣ такую обитель“ изъ некрасовскаго „Параднаго подъѣзда“. Поетъ, какъ и обыкновенно поютъ это, мотивъ изъ „Лукреціи Борджіа“.

— Стой. Ты за-что?

— Поподозрѣнію въ грабежѣ съ убивствомъ, ваше высокоблагородіе.

— Что жъ эту пѣсню поешь? Нравится она тебѣ, что ли?

— Ничаво. Промзительно,

— А выучился-то ей гдѣ?

— Въ тюрьмѣ сидѣмши. Научили.

Приходилось мнѣ раза три слышать:

„Хорошо было Ванюшкѣ сыпать“ передѣлку некрасовскихъ „Коробейниковъ“.

— Ты что же, прочиталъ ее гдѣ, что ли?—спросилъ я пѣвшаго мнѣ сапожника Алфимова.

— Никакъ нѣтъ-съ. Въ тюрьмѣ обучился.

Изъ чисто народныхъ пѣсенъ каторга рѣдко-рѣдко поетъ „Среди долины ровныя“, предпочитая этой пѣснѣ ея каторжное переложеніе:

— „Среди Данилы бревна“...

Безсмысленную и циничную пѣсню, которую, впрочемъ, какъ и все, тюрьма поетъ тоже рѣдко. Любятъ больше другихъ еще и мало-россійскую:

„Солнце низенько,
Вечеръ близенько“

И любятъ за ея разудалый припѣвъ, который поется лихо, съ присвистомъ, гиканьемъ, постукиваніемъ въ ложки „дисциплинарныхъ“ изъ бывшихъ полковыхъ пѣсенниковъ, съ ругательными вскрикиваніями слушателей.

Почти всякій каторжанинъ знаетъ, и чаще прочихъ поется очень милая пѣсня:

„Вечеркомъ красна дѣвица
На прудокъ за стадомъ шла.
Черноброва, круглолица
Такъ гусей домой гнала:

Припѣвъ.

Тяга, тяга, тяга, —
Вы, гуськи мои, домой!

Мнѣ одной любви довольно,
Чтобы вѣкъ счастливой быть,
Но сердечку очень больно
Поневолѣ въ свѣтѣ жить.

Припѣвъ.

Не ищи меня, богатый,
Коль не миль моей душѣ!
Что мнѣ, что твои палаты?
Съ милымъ рай и въ шалашѣ“...

Или послѣдній куплетъ варьируется такъ:

„Вмѣсто стараго, сѣдого,
Буду милаго любить.
Вѣдь сердечку очень больно
Черезъ злато слезы лить!“...

Пѣсня тоже нравится изъ-за припѣва. И помню одного паренька,— онъ попался за какой-то глупый грабежъ,—какъ онъ пѣлъ это „тяга, тяга, тяга, тяга!“ Всѣмъ существомъ своимъ пѣлъ. Раскраснѣлся весь, глаза горять, на лицѣ „полное удовольствіе“: словно и впрямь видить знакомую, родную картину.

Очень принято и тоже чаще другихъ поется сентиментальная пѣсня:

Звѣздочка моя ночная,
Зачѣмъ до полночи горюшь?
Король, король, о чемъ вздыхаешь,
Со страхомъ рѣчи говоришь?
„Красавица моя драгая,
Да полюби-ка ты меня;
Со сбруей, сбруей золотой
Дарю тебѣ коня“.

— Не надо мнѣ твоей златницы,
Не нуженъ мнѣ твой добрый конь. —
Отдай, отдай коня царицѣ,
Женѣ прелестной дорогой.

А мнѣ, мнѣ, красной ты дѣвицѣ,
Верни души моей покой...

Король, съ женою разставаясь,
Дѣтей къ благословенью звалъ:

„Прощай, жена, прощайте, дѣти!—
Едва отъ слезъ онъ имъ сказалъ. —
Живите въ дружескомъ совѣтѣ,
Какъ Самъ Господь вамъ указалъ,
Не мстите зломъ за зло въ отвѣтъ,
Платите добротой!“ сказалъ...

Эта сентиментальная пѣсня про короля, кинувшаго свое королевство изъ-за любимой дѣвушки, поется съ большимъ чувствомъ.

Но все эти пѣсни поются только молодой каторгой,—и вызываютъ негодованіе стариковъ:

— Ишь, черти! Чему обрадовались!

Особенно, помнится, разбѣсила одного старика пѣсня про дѣвицу, которая „гусей домой гнала“. Припѣвъ „тяга, тяга“ приводилъ его прямо въ остервенѣніе.

— Начальству жалиться буду! Покоя не даете, черти! — оралъ онъ. А это угроза на каторгѣ не обычная.

— Да почему жъ тебѣ, дѣдушка, такъ эта пѣсня досадила? — спрашиваю.

— А то, что не къ чему ее играть.

И, помолчавъ, добавилъ:

— Берeditъ. Тфу!

Богъ вѣсть, какія воспоминанія бередали въ душѣ стараго бродяги эти знакомыя слова: „тяга, тяга“¹⁾.

Изъ специально тюремныхъ пѣсень изъ Сибири на Сахалинъ пришли немногія. Если въ тюрьмѣ есть 5—6 старыхъ „еще сибирскихъ“ бродягъ, они подъ вечерокъ сойдутся, поговорять о „привольномъ сибирскомъ житьѣ“:

„Сибирь-матушка благая, земля тамъ злая, а народъ бѣшенный!“

И затануть подъ наплывомъ нахлынувшихъ воспоминаній любимую бродяжескую: „Милосердные наши батюшки“, — я приводилъ эту пѣсню въ статьѣ: „Каторжный театр“. Поютъ, и воспоминается имъ свобода, безпредѣльная тайга, „саватѣйки“, бѣшенный, но добрый сибирскій народъ. А сахалинская каторга, не знающая ни Сибири ни ея отношеній къ каторгѣ, смѣется надъ ними, надъ ихъ воспоминаніями, надъ ихъ пѣсней.

— Нешто это возможно, чтобъ чалдонъ (по-нашему обыватель) былъ къ варнаку добрый! Ни въ жисть не повѣрю! — говорилъ мнѣ одинъ, — да и не одинъ, — „сахалинецъ“.

Есть еще излюбленная „сибирская“ пѣсня, которую время отъ времени затягиваетъ каторга:

„Вслѣдъ за буйными вѣтрами,
Богъ защитникъ — мой покровъ,
Въ тундрахъ нѣтъ зеленой тѣни,
Нѣтъ ни солнца ни зари,
Вдругъ являются, какъ тѣни,
По утесамъ дикари.
Отъ Ангары къ устью моря
Вижу дикія скалы, —
Вдругъ являются, какъ тѣни,
По утесамъ дикари.“

1) Такъ въ деревнѣ ссылаютъ гусей.

Дикари, скорѣй, толпою.
Съ горъ неситесь ко мнѣ,—
Помиритеся со мною:
Я—вашъ братъ,—боюсь людей“...

Когда эту пѣсню, рожденную въ Якутской области, поетъ каторга, — отъ пѣсни вѣтъ какою-то мрачною, могучею силой. Сколько разъ я жалѣлъ, что не могу записать мотивовъ этихъ пѣсень!

Интересно было бы записать напѣвъ и этой, когда-то любимой, а теперь умирающей каторжной пѣсни:

„Идетъ онъ усталый, и цѣпи гремятъ,
Закованы руки и ноги.
Покойный и грустный онъ взглядъ устремилъ
По долгой, пустынной дорогѣ...
Полдневное солнце безщадно палить,
Дышать ему трудно отъ боли,
И каплетъ по каплѣ горячая кровь
Изъ ранъ растравленныхъ цѣпями...“

Эта пѣсня—отголосокъ теперь упраздняемыхъ „этаповъ“.

И пѣла мнѣ каторга свою страшную пѣснь, которую я называлъ бы „гимномъ каторги“. Что за заунывный, какъ стонъ осенняго вѣтра, мотивъ. Всю душу истомившуюся вложила каторга въ этотъ напѣвъ. И когда вы слышите эту пѣсню, вы слышите душу каторги.

„Посреди палатъ каменныхъ, ты подай, подай!
Ты подай вѣсточку въ Москву каменную,
Въ Москву каменну, бѣлокаменну...
Ты воспой, воспой, жавороночекъ,
Ты воспой, воспой! Ты воспой, воспой
Про ту горькую да неволюшку.
Кабы вѣсть подать да отцу рассказать
Про то, что со мною случилось
На чужой на той сторонущкѣ...
Я не воръ вѣдь былъ, не убивецъ,
Но послали меня, добра молодца,
Попровѣдать каторги, распроклятой долюшки.
На чужой на той сторонущкѣ
Больно тяжело вѣдь жить!
Эхъ, невѣста моя!.. А ты, матушка!
Позабыла меня, словно сгинулъ я.
Но вѣдь будетъ пора, и вернусь снова я,
За всѣ бѣды и зло ужъ я вамъ отплачу,—
Будетъ время, вернусь...
Ты о томъ подай, жавороночекъ,
Подай вѣсточку,—ты подай, подай!“

Мнѣ пѣли ее въ тюрьмѣ подѣ вечерѣ, послѣ повѣрки. Пѣли всѣ. Здоровый паренѣ, сидя на нарахъ и глядя куда-то вверхъ, покрывалъ хорѣ своимъ заливнымъ теноромъ и уныло выводилъ прожавороночка, пѣлъ про обиду и месть, словно мечталъ вслухъ. А изъ темныхъ угловъ несло это надрывающее душу:

— Ты подай, подай...

Унылое, безнадежное. Горло себѣ перерѣзать можно, слушая такое пѣніе.

Но всѣ эти пѣсни, въ Сибири рожденные, на Сахалинѣ привезенныя, какъ я уже говорилъ, не любятъ каторга. Онѣ „бередятъ“. И если ужъ пѣтъ, — она предпочитаетъ другія, — „веселыя“. Ихъ нельзя передать въ печати. И что это за пѣсни! Это даже не пинизмъ... Это совсѣмъ ужъ чортъ знаетъ что: бессмысленнѣйшій наборъ словъ, изъ сочетанія которыхъ выходитъ что-то похожее на неприличныя слова.

Вотъ вамъ что поетъ каторга. Говорятъ, что пѣсня — это „душа народа“. И каторга поетъ пѣсни, отъ которыхъ то вѣетъ сентиментальностью этимъ „суррогатомъ чувства“, который часто замѣняетъ у людей настоящее чувство, то вѣчно ноющей раной — тоскою по родинѣ, то злобой, то пережитыми страданіями, то напускнымъ „куражемъ“, то цинизмомъ и каторжной „оголѣлостью“.

А чаще всего каторга молчитъ.

Каторга и религія.

На Сахалинѣ одиннадцать церквей, но религіозна ли каторга?

Мнѣ вспоминается такая картина.

Свѣтлый праздникъ. Ясная, холодная, чуть-чуть морозная ночь. Владивостокъ то тамъ, то здѣсь словно вспыхнулъ, — иллюминированы церкви. Налѣво отъ насъ огнями сіяетъ „Петербургъ“. Нѣсколько подальше гигантъ „Екатеринославъ“ кажется какимъ-то призрачнымъ кораблемъ, сотканнымъ изъ свѣта.

„Христосъ воскрес!“ несется надъ тихимъ рейдомъ. Небо такъ бездонно. Звѣзды такъ ярко горятъ.

На нашемъ „Ярославлѣ“ радостное оживленіе. Изъ каютъ-кампаніи доносится стукъ посуды, — готовятъ разговляться. По палубѣ мигаютъ свѣчки конвойныхъ и команды. Мы цѣлуемся другъ съ другомъ особенно сердечно. Словно дѣйствительно стали другъ къ другу ближе, роднѣе. Какъ-то особенно чувствуется въ эту ночь, вдали отъ дома, отъ близкихъ...

И только тамъ, въ трюмѣ, тихо какъ въ могилѣ. Среди радостнаго ропота „Воистину воскресе“ батюшка идетъ кронить святой водой палубу. Мы проходимъ мимо „особыхъ мѣстъ“, выходящихъ на палубу. Я заглядываю въ иллюминаторъ. Тамъ нѣсколько человѣкъ. Хотя бы кто всталъ, пошевелился при пѣніи проходящихъ мимо пѣвчихъ, когда въ иллюминаторъ виденъ священникъ съ крестомъ.

Мнѣ особенно запомнилось лицо одного старосты отдѣленія, „обратника“. Я словно сейчасъ вижу передъ собой это лицо. Онъ смотритъ на проходящую мимо процессію и—ничего, кромѣ спокойнаго равнодушія.

— Ишь, молъ, сколько ихъ!

Онъ даже не перекрестился, когда, проходя мимо, ему чуть не въ лицо зацѣли „Христось воскресе“.

Такъ встрѣтить Пасху,—сердце невольно сжимается.

— Будетъ батюшка обходить арестантскія отдѣленія?—спрашиваю я у старшаго офицера.

Черезъ полчаса онъ подходитъ ко мнѣ. У него какой смущенный видъ:

— Знаете, я думалъ просить батюшку обойти отдѣленія... Пошелъ, а они всѣ спятъ.

Спать тихо и мирно въ такую ночь. И это послѣ тѣхъ душу переворачивающихъ сценъ, которыя я видѣлъ во время исповѣди еще мѣсяцъ тому назадъ. Но въ томъ-то и дѣло, что въ каторгѣ человѣкъ съ каждымъ днемъ сердцемъ крѣпчаетъ, какъ объяснилъ мнѣ одинъ каторжанинъ-сектантъ.

Англійскій миссіонеръ, членъ библейскаго общества, посѣтивши сахалинскія тюрьмы, раздавалъ каторжанамъ молитвенники. Очередь дошла до стараго каторжанина Пазульского. Онъ въ высшей степени вѣжливо и почтительно поклонился миссіонеру и, отдавая назадъ книгу, холодно и вѣжливо сказалъ переводчику:

— Скажите господину, чтобъ онъ отдалъ книгу кому-нибудь другому: я не курю¹⁾.

Большинство каторги,—атеисты. И если кто-нибудь изъ каторжниковъ вздумаетъ молиться въ трюмѣ,—это вызываетъ общія насмѣшки. Каторга считаетъ это „слабостью“, а слабость она презираетъ.

Какъ они доходятъ до отрицанія? Одни—своимъ умомъ.

— Вы вѣрите въ Бога?—спросилъ я Паклина, убійцу архимандрита въ Ростовѣ.

¹⁾ Т.-е. мнѣ не нужна бумага для „цигарокъ“

— Нѣтъ, всякій за себя,—отвѣчалъ онъ мнѣ кратко и просто. Полуляховъ, убійца Арцимовичей въ Луганскѣ, относился, по его словамъ, съ большой симпатіей къ людямъ религіознымъ, „любилъ ихъ“.

— Ну, а сами вы?

— Я по Дарвину.

— Да вы читали Дарвина?

— Потомъ ужъ, послѣ убійства, случилось.

Изъ разговоровъ съ нимъ можно было видѣть, что онъ Дарвина, дѣйствительно, читалъ, хотя и понималъ его чрезвычайно своеобразно, „по-своему“.

— Гдѣ же Дарвинъ отрицаетъ существованіе Бога?

— Такъ. Жизнь, по-моему, это борьба за существованіе.

„Борьба за существованіе“, понятая грубо, совѣмъ по-звѣриному, — вотъ ихъ религія.

Нѣкоторые дошли до отрицанія, такъ сказать, путемъ опыта.

— Вздоръ все это, — съ улыбкой говорилъ мнѣ одинъ каторжанинъ, — я видалъ, какъ люди умираютъ...

А онъ имѣлъ право это сказать: онъ, дѣйствительно, „видалъ“.

— Меня самого „это“ интересовало. Я нарочно убивалъ и собакъ. Одинаково умираютъ. Никакой разницы. Смотришь, что ему это время нужно: чтобъ пришибить его только поскорѣе, чтобъ не мучился.

Какъ д. ходятъ въ каторгѣ не только до отрицанія, до ненависти къ религіи, ненависти, высказывающейся въ невѣроятныхъ кощунствахъ.

— Въ этакое-то болотѣ нетрудно потеряться, — говорилъ мнѣ въ Корсаковскомъ округѣ одесскій убійца Шапошниковъ въ одну изъ тѣхъ минутъ, когда ему приходила охота говорить здраво и не кородствовать.

Мнѣ вспоминается одинъ каторжанинъ. Онъ трактирщикъ изъ Вологодской губерніи. Въ его заведеніи случилась драка между двумя компаніями. Онъ принялъ сторону одной изъ нихъ и кричалъ:

— Бей хорошенько.

Въ результатѣ—одинъ убитый, и его обвинили въ подговорѣ къ убійству. Говоря о своемъ разрушенномъ благосостояніи, о своей покинутой семьѣ, о томъ, что ему пришлось и приходится терпѣть на каторгѣ,—онъ весь дрожалъ и началъ говорить такія вещи, что я его остановилъ:

— Что ты! Что ты! Что говоришь? Бога бойся! Вѣдь ты христіанинъ.

Несчастный схватился за голову:

— Баринъ, баринъ, ума я здѣсь рѣшаюсь.

Мнѣ вспоминается одна сцена, разыгравшаяся передъ поркой. „Наказанію подлежалъ“ безсрочный каторжанинъ Ѳедотовъ, 58 лѣтъ. Онъ сосланъ на Сахалинъ за разбой. Бѣжалъ, разбойничалъ въ Корсаковскомъ округѣ въ шайкѣ бѣглыхъ, убилъ, защищаясь при поимкѣ, крестьянина. Затѣмъ вмѣстѣ съ однимъ бывшимъ инженеръ-технологомъ былъ пойманъ въ поддѣлкѣ пятирублевыхъ ассигнацій и, наконецъ, укралъ изъ церкви ножичекъ.

— Богъ меня изъ огорода выгналъ, красть у него сталъ. Съ гѣхъ поръ безъ Бога и хожу,—съ грустной улыбкой объяснилъ мнѣ Ѳедотовъ.

За свои три преступленія Ѳедотовъ получилъ три раза по сту плетей и былъ три года прикованъ къ тачкѣ. Теперь у него развился сильнѣйшій порокъ сердца. Онъ еле ходитъ, еле дышитъ. Страдаетъ по временамъ сильными головокруженіями и психически ненормаленъ: его подозрительность граничитъ прямо съ бредомъ преслѣдованія. Во время припадковъ головокруженія онъ кидается съ ножомъ на докторовъ и на начальство. Въ обыкновенное же время это очень тихій, кроткій, добрый человекъ, слабый и крайне болѣзненный.

Преступленіе, за которое онъ подлежалъ наказанію на этотъ разъ, заключалось въ слѣдующемъ. Боясь, что въ Рыковскомъ докторъ лѣчитъ его не „какъ слѣдуетъ“, Ѳедотовъ безъ спроса ушелъ въ Александровское къ доктору Поддубскому, которому вся каторга вѣритъ безусловно. За побѣгъ онъ и былъ присужденъ къ 80 плетямъ. Еще не подозрѣвая, что мнѣ придется передъ вечеромъ встрѣтиться съ Ѳедотовымъ при такой страшной обстановкѣ, я бесѣдовалъ съ нимъ. Онъ подошелъ ко мнѣ съ письмомъ.

— Отъ кого письмо?

— Собственно отъ меня.

— Зачѣмъ же писать было?

— Не зная, будете ли съ такимъ, какъ я, говорить. Да и высказать мнѣ все трудно,—задыхаюсь. Видите, какъ говорю.

Въ письмѣ Ѳедотовъ „считалъ своимъ долгомъ“ извѣстить меня, что каторга относится къ моей любознательности съ большимъ сочувствіемъ, просилъ меня „никому не вѣрить“ и каторги не бояться: „кто къ намъ человекъ, къ тому и мы не звѣри“. И въ заключеніе выражалъ надежду, что мое посѣщеніе принесетъ такую же пользу, какъ и посѣщеніе „господина доктора Чехова“.

И вотъ въ тотъ же день мы встрѣтились съ Ѳедотовымъ при такихъ обстоятельствахъ.

Въ числѣ другихъ „подлежавшихъ наказанію“ былъ приведенъ въ канцелярію и ничего не подозрѣвавшій Ѳедотовъ. Въ сторонкѣ скромно стоялъ палачъ Хрусель со своими „инструментами“, завернутыми въ чистую холстину, подъ мышкой. Около дверей съ испуганными, растерянными лицами толпились „подлежавшіе наказанію“.

Я съ докторомъ и помощникомъ смотрителя сидѣлъ у присутственнаго стола.

— Ѳедотовъ!

Ѳедотовъ съ тѣмъ же недоумѣвающимъ видомъ подошелъ къ столу своей колеблющейся походкой слабаго человѣка.

— Зачѣмъ меня, ваше высокоблагородіе, изволили спрашивать?

— А вотъ сейчасъ узнаешь. Встаньте, пожалуйста: приговоръ, — обратился ко мнѣ помощникъ смотрителя и началъ скороговоркой „вычитывать приговоръ“.

— Принимая во вниманіе... признавая виновнымъ... 80 плетей...

Чѣмъ далѣе читалъ помощникъ смотрителя приговоръ, тѣмъ сильнѣе и сильнѣе дрожалъ всѣмъ тѣломъ Ѳедотовъ. Онъ стоялъ, держась рукою за сердце, блѣдный какъ полотно, и только растерянно бормоталъ:

— За отлучку-то... за то, что къ доктору сходилъ.

И когда кончили читать приговоръ, и мы всѣ сѣли, онъ, удивленно посмотрѣвъ на насъ всѣхъ съ величайшимъ недоумѣніемъ, сказалъ:

— Вотъ такъ Богъ. Значить, пусть отнимають жизнь...

Сказалъ, шагнулъ впередъ, и вдругъ все лицо его исказилось. Его забило, затрясло. Вырвался страшный крикъ.

И посыпался цѣлый рядъ такихъ кошунствъ, такихъ страшныхъ богохульствъ, что, дѣйствительно, жутко было слушать. Ѳедотовъ рвалъ на себѣ волосы, одежду, шатаясь, ходилъ по всей канцеляріи, ударялся головой объ стѣны, о косяки дверей и вопилъ не своимъ голосомъ:

— Рѣжьте, душите, бейте меня. Хрусель, пей мою кровь... Надзиратель, убей меня...

Онъ кидался на надзирателей, разрывая на себѣ рубашку и обнажая грудь:

— Убейте. Убейте.

И пересыпалъ все это такими богохульствами, какихъ я никогда не слыхивалъ и, конечно, никогда ужъ больше не услышу.

Трудно себя представить, что человѣческій языкъ могъ повернуться сказать такія вещи, какія выкрикивалъ этотъ бившійся въ причадкѣ человѣкъ.

Становилось трудно дышать. Докторъ былъ весь блѣдный и трясся. Перепуганный помощникъ смотрителя кричалъ:

— Выведите его! Выведите его!

Еедотова схватили подъ руки. Онъ вырывался, но его вытащили, почти выволокли изъ канцеляріи. Теперь его вопли слышались со двора.

— Да развѣ его будутъ наказывать съ порокомъ сердца? — спросилъ я.

— Кто его станетъ наказывать. Развѣ его можно наказывать, — говорилъ дрожащій докторъ.

— Такъ зачѣмъ же вся эта исторія? Для чего? Что жъ прямо было не успокоить его, не сказать впередъ, что наказаніе приводится въ исполненіе не будетъ, что это только формальность — чтеніе приговора? Вѣдь онъ больной.

— Нельзя-съ, порядокъ, — бормоталъ юноша, помощникъ смотрителя.

Вотъ, быть-можетъ, одна изъ тѣхъ минутъ, когда гаснетъ вѣра, и злоба, одна злоба на все, просыпается въ душѣ.

— Какой я есть православный христіанинъ, — часто приходилось мнѣ слышать отъ каторжанъ, — когда я и у исповѣди, святого причастія не бываю.

Многіе просто отвыкаютъ отъ религіи.

— Просто сидкомъ приходится гонять, — жалуются и священники и смотрители.

Обыкновенно же это уклоненіе имѣетъ своимъ источникомъ глубоко-религіозное чувство.

— Нешто тутъ говѣніе, — говорятъ каторжане. — Изъ церкви придешь, а кругомъ пьянство, игра, ругня. Лобъ перекрестишь, гогочуть, сквернословятъ. Исповѣдуешься — придешь, — ругаться. До причастія-то такъ напोगанишься, — ну, и нейдешь. Такъ годъ за годъ и отвыкаешь.

И сколько истинно глубоко-религіозныхъ людей „отвыкаетъ“. Говоришь съ нимъ, слушаешь и дивишься: „Да неужели все это люди изъ „простой“, вѣрящей, религіозной среды“.

— Помилуйте, гдѣ жъ тутъ, какому тутъ уваженію къ религіи быть, — говорилъ мнѣ одинъ изъ священнослужителей въ селеніи Рыковскомъ. — Еще недавно у насъ покойниковъ голыхъ хоронили.

— Какъ такъ?

— Такъ. Принесутъ въ гробу голаго, и отпѣваемъ. Соблазнъ.

— А гдѣ жъ одежда арестантская?

— Спросите... Не похороны, а смѣхъ.

Большой ударъ религіозному чувству каторги наносятъ и эти „незаконныя сожительства“, отдачи каторжницъ поселенцамъ, практикуемыя „въ интересахъ колонизаціи“. Одно изъ величайшихъ таинствъ, на которое въ нашемъ народѣ смотрятъ съ особымъ почитеніемъ, профанируется въ глазахъ каторги этими „отдачами“.

— Чего ужъ тутъ молиться, — услышите вы очень часто, — чего тутъ въ церковь ходить. Въ этакоемъ грѣхѣ живемъ. У нея вонъ въ Рассей мужъ живъ, а ее чужому мужику даютъ: живи!

Или:

— Мужъ въ каторгѣ въ Корсаковскомъ, а жену въ Александровское: съ чужимъ живи.

Помню „ахи“ и „охи“, какіе возбудило въ Рыковскомъ прибытіе Горошко — мужа, добровольно послѣдовавшаго въ каторгу за женой.

— Ну, дѣла, — качали головой поселенцы. — За ней мужъ изъ Рассеи добровольно идетъ, а ее здѣсь тѣмъ временемъ тремъ мужикамъ по перемѣнкамъ отдавали.

Бракъ потерялъ въ глазахъ каторги значеніе таинства: изрѣдка, очень-очень изрѣдка услышишь очень робкій вздохъ сожительницы-каторжанки:

— Оно хорошо бы повѣнчаться. Вѣнчаннымъ-то на что лучше.

Но большинство, не всѣ — разсуждаютъ такъ.

— Не „крученымъ“ не въ примѣръ лучше. Не ндравится, смѣнилъ. Ровно портянку.

— Развѣ здѣсь заботятся о поддержкѣ религіознаго чувства среди каторжныхъ, — жалуются священники.

Каторжникъ считается „человѣкомъ отпѣтымъ“. И всякое чело-вѣческое чувство считается ему чуждымъ.

— Это все нѣжности, сентиментальности и одна гуманность, — говорятъ гг. сахалинскіе служащіе.

Каторжные, только разряда исправляющихся, освобождаются отъ работъ въ послѣдніе три дня Страстной недѣли. Но частному предпринимателю Маеву, въ посту Дуэ ¹⁾, понадобилось, чтобъ каторжане работали и эти три дня. Равнодушная ко всему, каторга махнула

¹⁾ Общество каменноугольныхъ копей „Сахалинъ“. Г. Маеву даютъ по контракту за ничтожную плату каторжныхъ для работъ въ рудники, но въ сущности въ крѣпостное право; по желанію, онъ посылаетъ рабочаго или въ рудники или беретъ къ себѣ въ дворню: поваромъ, кучеромъ.

рукой и пошла. Это незаконное распоряженіе остановилъ только священникъ въ Дуэ. Онъ вышелъ навстрѣчу къ рабочимъ, шедшимъ въ рудники, съ крестомъ въ рукахъ; это было въ Страстную пятницу. Каторга „опаматовалась“ и вернулась въ тюрьму.

Старики Дербинской каторжной богадѣльни, эти страшные старики-нищіе, которые все на свѣтѣ презируютъ, кромѣ денегъ, жаловались мнѣ, что они:

— Священника-то даже и въ глаза не видятъ. На Пасху и то не былъ.

А дербинскій священникъ говорилъ мнѣ:

— Я ходилъ и велъ съ ними собесѣдованія, но пересталъ: они не умѣютъ себя вести. Тутъ читаешь, ведешь бесѣду, а въ другомъ углу во все горло ругаются между собою площадными словами. Смѣются. Я и прекратилъ свою дѣятельность.

— Мнѣ, наоборотъ, казалось бы, что тутъ-то и слѣдуетъ ее усилить.

Но батюшка только посмотрѣлъ на меня съ изумленіемъ.

Въ библіотекѣ Александровскаго лазарета я нашелъ предназначенныя для духовно-нравственнаго чтенія каторжанамъ слѣдующія книги:

16 экземпляровъ брошюры: „О томъ, что ересеученія графа Л. Толстого разрушаютъ основы общественнаго и государственнаго порядка“.

21 экземпляръ брошюры „О поминовеніи раба Божія Александра“ (поэта Пушкина).

4 экземпляра „Поученія о вегетаріанствѣ“.

14 экземпляровъ брошюры „О театральныхъ зрѣлищахъ Великимъ постомъ“.

Конечно, это играетъ огромную роль: эти брошюры о Толстомъ, о существованіи котораго они и не подозрѣваютъ, о вегетаріанствѣ, о которомъ они никогда и не слыхивали, и особенно „о театраль-ныхъ зрѣлищахъ Великимъ постомъ“.

И въ то же самое время въ этой библіотекѣ на Сахалинѣ, такъ хорошо вооруженной противъ театральныхъ зрѣлищъ, имѣется для раздачи каторжнымъ всего 5 экземпляровъ „Новаго Завѣта“ и только 2 экземпляра „Страстей Христовыхъ“.

Вотъ и все.

Сектанты о. Сахалина.

I.

Большинство каторги все это простой русскій народъ — „къ Богу привычный“, должна же религіозность прорваться въ видѣ протеста, прорваться ярко, страстно, горячо, фанатически.

И она прорвалась.

Въ селеніи Рыковскомъ и окрестныхъ возникла секта „православно вѣрующихъ христіанъ“. Секта эта, ниоткуда не занесенная, чисто сахалинскаго происхожденія. И возникла она, быть-можетъ, именно, какъ невольный протестъ противъ атеизма каторги. Когда я былъ на Сахалинѣ, сахалинскіе „православные христіане“ претерпѣвали „гоненіе“, что еще болѣе закаляло ихъ въ сектантской вѣрѣ.

На мой вопросъ, что это за секта, священникъ села Дербинскаго, „воздвигшій на нихъ гоненіе“, очень оригинальный сахалинскій батюшка, изъ бурятъ, отвѣчалъ мнѣ:

— Молокане.

И отъ самихъ сектантовъ я слышалъ:

— Христось есть камень, о Который разбиваются невѣрующіе, къ примѣру сказать, хоть молокане.

Секта странная, какъ страна ея родина, какъ необычайны люди, ее основавшіе.

Батюшка изъ бурятъ, богословски, по его словамъ, „особенно не образованный“, не особый знатокъ въ опредѣленія сектъ.

Онъ и „гоненіе воздвигъ“, т.-е. началъ дѣло о молоканахъ послѣ того, какъ потерпѣлъ крушеніе на мирномъ пути. Прослышавъ о появленіи сектантовъ, онъ устроилъ съ ними сосесѣдованія: но сектантъ Галактіоновъ, писаніе знающій, дѣйствительно какъ таблицу умноженія, началъ „предерзко засыпать батюшку ложно толкуемыми текстами“. Собесѣдованія эти были такъ „соблазнительны“, что священникъ ихъ прекратилъ и нашель, что секта, съ которой онъ борется, не простая, а „опасная“.

А опасная секта, это, по мнѣнію батюшки, молоканство.

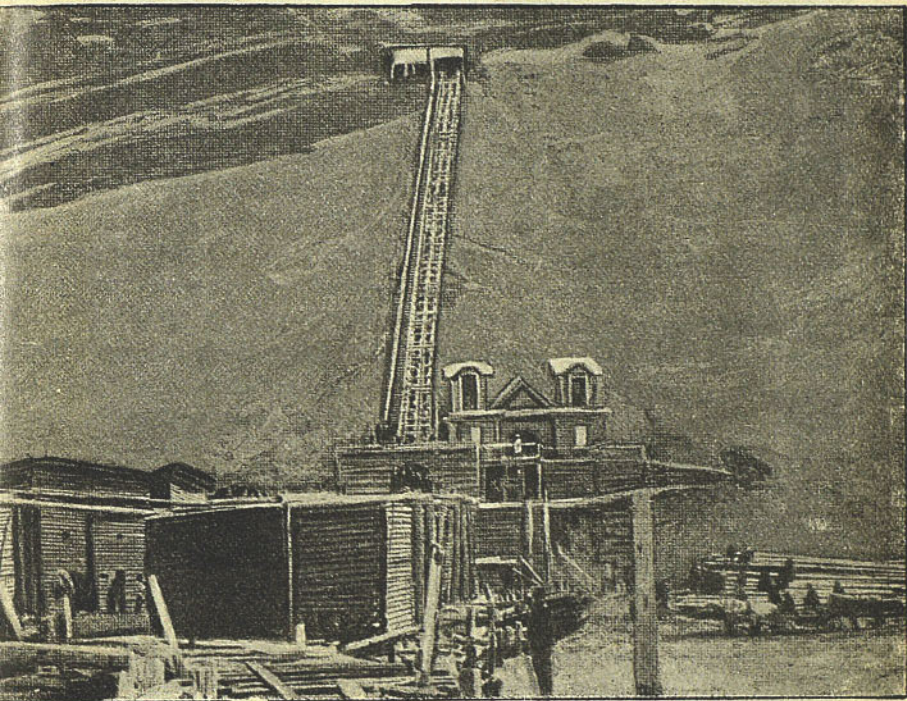
И вотъ страстные сектанты ждали, дожидаться не могли „гоненій“ за то, что они исповѣдуютъ будто бы молоканство. Имъ страстно хотѣлось именно „неправеднаго гоненія“.

— Пусть ижденуть насъ за напраслину!

И они готовились къ этому гоненію за напраслину радостно, какъ къ мученичеству.

Сахалинская секта „православныхъ христіанъ“, еще разъ повторяю, секта странная; въ ней всего есть: и молоканства и духовборчества, есть нѣсколько и хлыстовщины.

Хотя у этой секты и есть „Иисусъ Христосъ“, но главою ея, истинной душой слѣдуетъ считать „апостола Павла“, — Галактіонова.



Старый рудникъ въ Дуэ.

II.

Легкимъ, широкимъ шагомъ, позванивая на ходу желѣзнымъ посошкомъ, идетъ по дорогѣ Галактіоновъ.

Зажиточный поселенецъ, онъ одѣтъ, какъ прасоль, въ пиджакъ, въ длинныхъ сапогахъ. Длинные свѣтлые волосы падаютъ на плечи. Бѣлокурая бородка. Взглядъ голубыхъ глазъ ясный и открытый. На лицѣ вдохновенная дума.

Можетъ-быть, въ эту минуту стихи сочиняетъ.

У Галактіонова около 200 стихотвореній. И стихи онъ любитъ сочинять „жалостные“.

— Чтобъ пѣть можно было.

Для примѣра приведу одно:

Я ошибкой роковою
Какъ-то въ каторгу попалъ,
Уже сколько, я не скрою,
Наказанья я принялъ:
Розги, плети, даже кнутъ
Часто рвали мою плоть, —
Ужъ душа ли, — что на свѣтѣ? —
Позабылъ меня Господь.

Остальные стихотворенія въ томъ же родѣ.

Галактіонову лѣтъ подѣ сорокъ. Но онъ „старый сектантъ“. Сектантъ въ третьемъ, быть-можетъ, въ четвертомъ поколѣнн. Какъ попали его прадѣды въ Томскую губернію, — онъ не знаетъ, но дѣды его въ 1819 году были сосланы изъ Томской губерніи „отъ Туруханска по Енисею, за 400 верстъ“. Родители три раза судились за духоборство.

Галактіоновъ родился „неспроста, а для большого дѣла“. Пророкъ Григорьюшка Шведовъ за три года предсказалъ его рожденіе и объявилъ, что будетъ жить въ немъ. Когда пришла смерть, Григорьюшка собралъ всѣхъ, всталъ, поклонился:

— Ну, теперь до свиданья всѣ!

И умеръ.

— Съ тѣхъ поръ я началъ жить.

— А помнишь ты, Галактіоновъ, какъ ты Григорьюшкой Шведовымъ на свѣтѣ жилъ?

— Для чего не помнить! Все помню!

И Галактіоновъ начинаетъ рассказывать то, что онъ, вѣроятно, слышалъ въ дѣтствѣ отъ старшихъ о пророкѣ, но относительно чего увѣровалъ, что это было все съ нимъ.

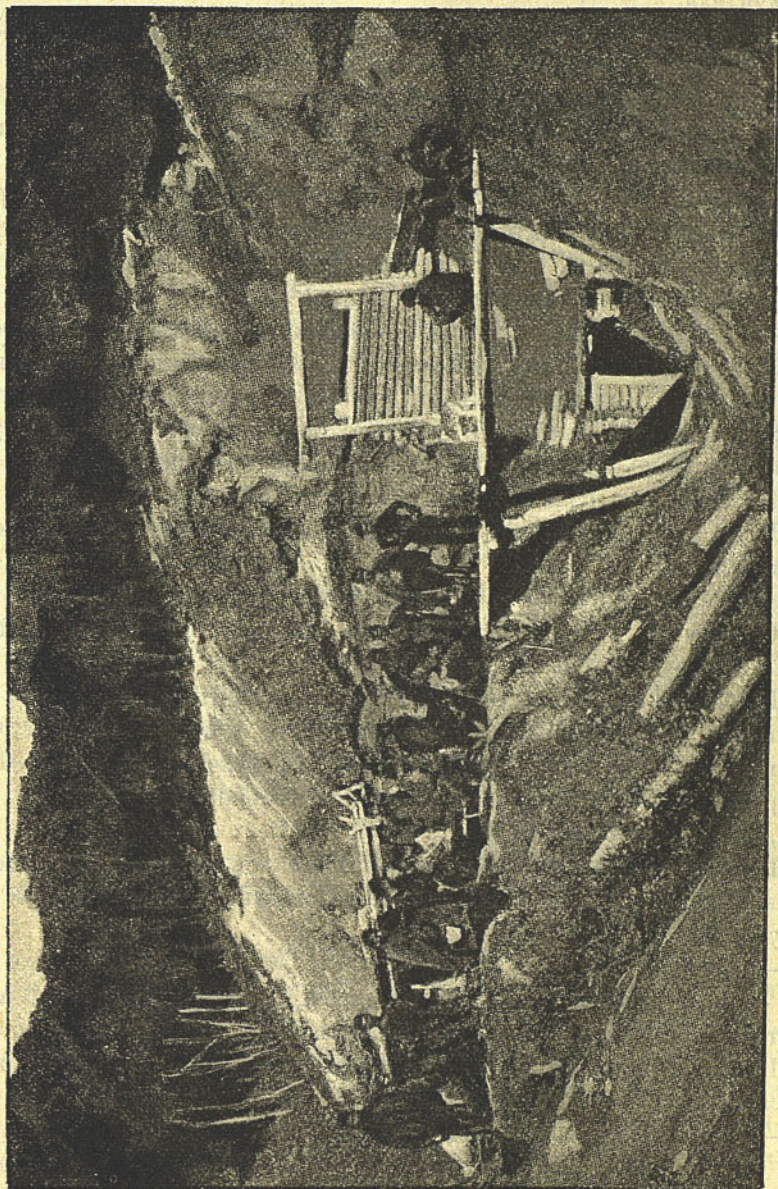
Предназначенный съ дѣтства „для большого дѣла“, онъ жилъ, погруженный въ изученіе Писанія, которое надо знать.

— Вотъ какъ вы табель умноженія знаете. Ночью васъ спросить: „Пятью пять, сколько?“ — вы отвѣтите. Такъ и я всякое мѣсто Писанія знать долженъ.

Сектантское увлеченіе довело Галактіонова до галлюцинацій. При встрѣчѣ съ духовными лицами онъ видѣлъ ихъ въ образѣ дьявола. Отсюда оскорбленія и ссылки. У Галактіонова была своя „заимка“, небольшіе золотые пріиски; его ихъ лишили и сослали въ Камчатку. Изъ Камчатки сослали, съ лишеніемъ всѣхъ правъ, на поселеніе на Сахалинъ, какъ значится въ статейномъ спискѣ, „за порицаніе православной вѣры и Церкви“.

На Сахалинѣ Галактіонова сразу не влюбились всѣ.

— Если бы я сказалъ: „Пойдемъ и обворуемъ“, меня бы полюбили всѣ.



Арестантскія работы. Партія каторжныхъ у входа въ рудники.

А Галактіоновъ занимался тѣмъ, что садился на завалинку, всякаго прохожаго останавливалъ и поучалъ текстами.

Предназначенный отъ рожденія къ „большому дѣлу“, онъ на Сахалинѣ, среди населенія порочнаго и падшаго, превратился въ обличителя.

— Передо мной живой человѣкъ, словно рыба, вынутая на песокъ, трепыхается и бьется, а я его текстами, текстами.

Отправляясь на завалинку, Галактіоновъ говорилъ себѣ:

— Возьму кинжалъ, повѣшу его на бедро. Сегодня я долженъ убить нѣсколько человѣкъ.

— Тутъ и такъ-то человѣку дышать нечѣмъ. А я его текстомъ рѣжу.

— На буквѣ я какъ на тронѣ сидѣлъ, и буквой какъ мечомъ убивалъ! — говорить про себя Галактіоновъ.

— И гналъ я человѣка, аки Савль!

— Люди и такъ въ потемкахъ бродили, а я имъ своими толкованіями тьму еще темнѣе дѣлалъ. Это все равно, что пришелъ бы къ человѣку болящему докторъ ученый и рассказалъ бы ему все подробно, что за болѣзнь и что отъ болѣзни будетъ. И, духу лишивши, хладно бы отвернулся и спокойно бы ушелъ.

Недовольство обличителемъ все росло и росло.

И въ это самое время до Галактіонова стали доходить слухи о живущемъ въ селеніи Рыковскомъ ссыльно-поселенцѣ Тихонѣ Бѣлоножкинѣ, который всѣмъ помогаетъ и никого не осуждаетъ.

Отношеніе Тихона Бѣлоножкина къ преступникамъ, дѣйствительно, преудивительно.

Грозой Сахалина былъ бѣглый тачечникъ Широколовъ, о которомъ я уже упоминалъ. Убийца-извергъ, привезенный на Сахалинъ изъ Забайкалья прикованнымъ къ мачтѣ парохода. Когда Широколовъ бѣжалъ, весь Сахалинъ только и думалъ:

„Хоть бы его убили!“

Широколобова боялись и ненавидѣли всѣ, а Тихонъ Бѣлоножкинъ самъ ему у себя пріютъ предложилъ. Широколовъ даже диву дался.

— Мнѣ?

— Дѣла твои я осудилъ, а не тебя. Дѣла твои дурныя, а кто въ томъ повиненъ, что ты ихъ дѣлалъ, про то намъ неизвѣстно.

И цѣлую ночь, по словамъ Галактіонова, Широколовъ проводился да просопѣлъ въ подпольѣ.

— Заснуть не могъ, себя было жаль. Самъ потомъ говорилъ, что такъ думалъ: „Долженъ я теперь бѣчь и убивать и грабить, а что мнѣ иначе-то дѣлать?“

А утромъ ушелъ и никого не тронулъ, съ Тихономъ, какъ съ братомъ, простился.

Такое отношеніе къ преступленію и преступникамъ Тихона Бѣлоножкина производило сильное впечатлѣніе, и вѣсти о Бѣлоножкинѣ дошли до Галактіонова какъ разъ въ то время, когда озлобленіе окружающихъ противъ обличителя достигло крайнихъ предѣловъ.

— Началь я въ тѣ поры колебаться. Проповѣдую, а вижу: озлобленіе мною въ міръ входитъ.

И заинтересовалъ Галактіонова Тихонъ. Пошелъ.

— До трехъ разъ къ нему ходилъ. До воротъ дворца доходилъ, а во дворецъ не заходилъ. Раздумывалъ. „Какъ, молъ, такъ, съ дѣтства все Писаніе знаю и все, что говорю, по текстамъ. Чему жъ меня можетъ мужикъ сиволапый научить?“ И ворочался.

А въ третій разъ зашелъ.

— Засталъ четверыхъ. И сразу, никогда не выдавши, его узналъ. Поклонился, говорю: „Здравствуйте“. А онъ мнѣ: „Я тебя ждалъ. Видѣли мы всѣ звѣзду яркую, подошедшую къ солнцу“. — „А сколько, — спрашиваю, — разъ звѣзда къ солнцу подходила?“ — „До трехъ разъ“. Тутъ я и затрясся. „Три раза, — говорю, — я къ тебѣ ходилъ“. А Тихонъ смѣется такъ радостно. „И это, — говоритъ, — я знаю“. Тутъ я ему про свои колебанія и началъ. И пошелъ и пошелъ. А онъ все смотритъ, радостно смѣется. „Писанье, — говоритъ, — что о Христѣ писано, все знаешь. Чего жъ теперь-то тебѣ нужно?“ — „Христа, — говорю, — ищу“. — „Ну, и ищи. Найдешь“. Тутъ я ему въ ноги палъ: „Помилуй“. Лежу, а надо мной голосъ, да такой милый. „Раньше, — говоритъ, — ходилъ ты, Савль, по буквѣ разящей, а теперь будешь ходить, Павелъ, по буквѣ животворящей“. Заплакалъ я, бьюсь какъ рыба у ногъ, а онъ меня поднимаетъ да цѣлуетъ, цѣлуетъ. Заглянулъ я къ нему въ очи. Очи — какъ окна, заглянулъ въ горницу, а тамъ такъ мило. И увидалъ я, какъ въ горницѣ у него мило, — скудость-то я своей горницы позналъ, — что украшалъ ее гробами великолѣпными. А у него-то въ горницѣ все живое.

„Горницей“ Галактіоновъ называетъ, конечно, душу.

— И увидавъ, что у него-то въ горницѣ все живое, а у меня гробы великолѣпные, заплакалъ я. А онъ-то все меня цѣлуетъ: „Не плачь! Теперь ты человѣкъ живой“. Говоритъ: „Не плачь“, а самъ въ три ручья плачетъ. Я и спрашиваю: „Какъ же ты мнѣ велишь радоваться, а самъ плачешь?“ — „Это ничего, — говоритъ, — я всѣхъ долженъ плакать, а ты не плачь“. Тутъ-то я и понялъ въ конецъ.

— Что понялъ?

— Кто есть Тихонъ Бѣлоножкинъ.

— Кто же?

— Иисусъ.

— Ну, слушай, Галактіоновъ, вѣдь ты же человѣкъ ученый...

— Премудрость!—съ улыбкой перебилъ Галактіоновъ.

— Ты же знаешь, что Иисусъ Христосъ жилъ земной жизнью 18 сотъ лѣтъ тому назадъ.

— И теперь живетъ.

— Какъ такъ?

— А развѣ можетъ когда безъ Христа быть? Тогда Христосъ за грѣхи людскіе пострадалъ. А новые все накапливаются. За нихъ-то кто же страдать будетъ? Посмотрите кругомъ. Одинъ убилъ, бѣдность да нищета довела, — другого злость человѣческая заставила. Все не они виноваты. Кто же за это страдать долженъ?

— Такъ что всегда Христосъ живетъ въ мірѣ?

— Всегда. Одинъ отстрадаетъ. Другой страдать идетъ.

— Ну, а за что Тихонъ на Сахалинъ сосланъ?

— За убійство!—не мигнувъ, отвѣчаетъ Галактіоновъ. — Двухъ человѣкъ онъ убилъ.

— Какъ же такъ помирить?

— Воронежскій онъ. Изъ зажиточныхъ. У его отца еще съ арендаторомъ сосѣдскимъ вражда была. Дальше да больше. Ъдутъ разъ изъ города вмѣстѣ. Арендаторъ-то и думаетъ: „насъ много“. Напали на Тихона. А Тихонъ-то взялъ оглоблю, да во злѣ арендатора по башкѣ цопъ! А потомъ арендаторша подвернулась,—онъ и ее цопъ. Такъ злоба вѣковѣчная убійствомъ и кончилась.

— Онъ же убилъ! Онъ—убійца!

— Не онъ убилъ, злоба убила. Злоба копилась-копилась въ двухъ семьяхъ и вырвалась. Онъ за эту злобу каторгу и перенесъ.

Во главѣ сахалинскихъ „православно-вѣрующихъ христіанъ“ Тихона Бѣлоножкина поставилъ, несомнѣнно, Галактіоновъ. Это онъ, фанатичный и страстный, убѣдилъ Бѣлоножкина въ его высокой миссіи. Скромному Тихону въ голову бы не пришло называться такимъ именемъ.

Тихонъ Бѣлоножкинъ еще дома, въ Воронежской губерніи, сокрушался, что кругомъ никто „по-божески“ не живетъ, и искалъ такой вѣры, чтобы „не только съ мертвыми ходили цѣловаться, а и съ живыми цѣловались; а то съ мертвыми-то прощаются, а живымъ не прощаютъ“.

Попалось подъ руки молоканство, онъ и принялъ молоканство.

Но къ прибытію на Сахалинъ Тихонъ Бѣлоножкинъ и въ молоканствѣ разочаровался:

— Не то это все. Не настоящее.

И началъ вести свои тихія и кроткія бесѣды съ каторжанами,— какъ, по его мнѣнію, по-настоящему, слѣдуетъ вѣрить и поступать. Его теорія о неосужденіи, быть-можетъ, и привлекла къ себѣ сердца въ силу контраста; кругомъ, на Сахалинѣ, каторжнику всякое лыко въ строку ставятъ, а тутъ человѣкъ говоритъ:

— Дѣянья твои осуждаю, а не тебя.

И людямъ, которыхъ всѣ считаютъ „виновными“, сталъ именно „миль“ человѣкъ, считающій ихъ „ни въ чемъ невиновными“.

— Вѣдь вонъ, почему мы кошку любимъ!—говорилъ мнѣ съ улыбкой каторжанинъ, поглаживая бродившую по нарамъ кандалъной худую, тощую кошку. — Потому для всѣхъ мы „виноватые“, а для кошки мы ничѣмъ не виноваты. Кошкѣ все одно: что вы, что я.

Тихонъ Бѣлоножкинъ, это несомнѣнно, пользовался всегда особыми симпатіями каторги,— и не одной каторги. Есть что-то въ этомъ кроткомъ человѣкѣ, что производитъ впечатлѣніе. Онъ отбывалъ каторгу при смотрителѣ, который не признавалъ непоротыхъ арестантовъ. Тихонъ Бѣлоножкинъ—единственное исключеніе.

— Придетъ на раскомандировку злой,—разсказываютъ каторжане,—20—30 человѣкъ перепоретъ. Такъ и глядитъ рысьими глазами: „кого бы еще!“ А увидитъ Тихона, глаза переведетъ: „Ты,— скажетъ,— тихоня! Стань на заднюю шеренгу“. Не любилъ, когда Тихонъ на него смотреть.

Это казалось каторгѣ непостижимымъ. И нѣкоторыя совпаденія привели каторгу къ мысли, что Бѣлоножкинъ—человѣкъ „особенный“.

Бѣлоножкинъ съ вечера ни съ того ни съ сего плакалъ. Его стыдили:

— Чего нюни распустилъ? Баба!

— Горюшко мнѣ подъ сердышко подкатываетъ.

А на слѣдующій день одного арестанта задрали: съ кобылы за-
мертво сняли, въ лазаретѣ умеръ.

Нѣсколько подобныхъ случаевъ „предвидѣнья“ поразили каторгу страшно, и когда къ Бѣлоножкину пришла семья, и онъ былъ выпущенъ для домообзаводства,— къ „особенному“ человѣку стали собираться поговорить, послушать его странныхъ рѣчей.

Тутъ подвернулся Галактіоновъ.

Озлобившій всѣхъ противъ себя обличитель, въ страдающій міръ внесшій своей проповѣдью еще больше страданій,—Галактіоновъ у кроткаго Тихона нашель тихую пристань, „просвѣтилъ“, понялъ, что „истинно о Христѣ надо дѣлать“, и „увѣровалъ“.

Но старый законникъ сказался,—и вмѣсто простыхъ сходовъ для сердечныхъ бесѣдъ онъ основалъ „церковь“.

Сахалинское общество „православно-вѣрующихъ христіанъ“ имѣетъ 12 „апостоловъ“, и каждый изъ „апостоловъ“ имѣетъ „пророка“.

— Какъ столбъ—подпору.

Кромѣ „апостоловъ“, есть еще 4 „евангелиста“.

— Руки и ноги Христовы.

Гѣ, кто женатъ, какъ самъ Тихонъ Бѣлоножкинъ, живутъ съ женами. Кто не женатъ,—сходятся и живутъ „не въ законѣ, а въ любви, ибо любовь и есть законъ христіанскій“.

Мужчины зовутъ себя „братіей“, а женщинъ—„по духу любимицами“.

Сходясь всѣ вмѣстѣ, они говорятъ:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, благодаримъ нашего Отца!

Кланяются въ ноги, цѣлуютъ другъ друга и бесѣдуютъ.

Бесѣды часто касаются сахалинскихъ злобъ дня и разрѣшаютъ разные вопросы, конечно, въ духѣ, пріятномъ каторгѣ.

Напримѣръ:

— Каждый человѣкъ спастись долженъ. А въ голодномъ мѣстѣ не спасешься, скорѣе человѣка съѣшь. А потому бѣжать съ Сахалина—дѣло доброе. Духомъ родиться можно только на материкѣ, гдѣ можно трудиться. А для рожденія духомъ надо креститься водой, т.-е. переплыть Татарскій проливъ. Татарскій проливъ и есть Іорданъ. Надо сначала „водой креститься“, и потомъ ужъ человѣкъ идетъ на материкъ возрождаться духомъ.

На этихъ радѣніяхъ они рады всякому, кто зайдетъ:

— Гдѣ печка, тамъ пушай грѣются.

Въ горницахъ у многихъ изъ нихъ висятъ иконы:

— Хоть весь домъ изукрась иконами! Хорошаго человѣка повидать всегда пріятно.

Но вѣровать „надо въ духѣ, а не въ буквѣ“, чтобъ „буква эта нашу жизнь оживляла“.

— Приходите къ намъ!—звалъ меня Галактіоновъ.—Какъ начнемъ букву закона къ нашей жизни приводить,—небеса радуются.

— Да почему жъ ты о небесахъ-то знаешь?

— Въ мысляхъ радость. А небеса... Вы думаете высоко небеса? Небеса въ ростъ человѣка.

Галактіонову очень хотѣлось, чтобъ я повидался съ Тихономъ, Бѣлоножкинымъ.

— Сами увидите! Вы такъ ему скажите, что отъ меня.

Тихона засталъ я за работой. У него хорошее хозяйство. Онъ чинилъ телѣгу.

— Здравствуй, Тихонъ. Правда, что ты — то лицо, какъ тебя называютъ Галактіонъ?

Бѣлоножкинъ поднялъ голову и глянулъ на меня своими дѣйствительно „милыми“ глазами, кроткими и добрыми:

— Вы говорите.

— Нѣтъ, но ты-то какъ себя называешь?

Тихонъ улыбнулся, тоже необыкновенно „мило“.

— Буквами чтобъ я себя назвалъ, хотите? Развѣ отъ буквъ что перемѣнится?

Мы долго бесѣдовали съ этимъ добрымъ, кроткимъ и скромнымъ человѣкомъ, — его интересовало, зачѣмъ я пріѣхалъ: я объяснилъ ему, какъ могъ, что собираю матеріалъ, чтобъ описать, какъ живутъ каторжане, — и онъ сказалъ:

— Масло собираете? Понимаю.

И, прощаясь со мною и подавая мнѣ руку, сказалъ:

— Масла вы въ лампадку набрали много. Зажгите ее, чтобъ свѣтъ былъ людямъ. А то зачѣмъ и масло?

Преступники и преступленія.

I.

— Чувствуютъ ли „они“ раскаяніе?

Всѣ лица, близко соприкасающіяся съ каторгой, къ которымъ я обращался съ этимъ вопросомъ, отвѣчали, — кто со злобой, кто съ искреннимъ сожалѣніемъ, — всегда одно и то же:

— Нѣтъ!

— За все время, пока я здѣсь, изъ всѣхъ видѣнныхъ мною преступниковъ, — а я ихъ видѣлъ тысячи, — я встрѣтилъ одного, который дѣйствительно чувствовалъ раскаяніе въ совершенномъ, желаніе отстрадать содѣянный грѣхъ. Да и тотъ врядъ ли былъ преступникомъ? — говорилъ мнѣ завѣдующій медицинской частью докторъ Поддубскій.

Это былъ старикъ, сосланный за холерные безпорядки.

Докторъ записалъ его при освидѣтельствованіи „слабосильнымъ“.

— Стой, дядя! — остановилъ его старикъ. — Ты этого не дѣлай! А когда жъ я свой грѣхъ-то отработаю?

— Да въ чемъ твой грѣхъ-то?

— Доктора мы камнями убили. Камнями швыряли. И я камень бросилъ.

— Да ты попалъ ли?

— Этого ужъ не знаю, не видѣлъ, куда камень упалъ. А только все-таки бросилъ.

Сказать, однако, чтобъ раскаянія они не чувствовали, — рискованно.

Они его не выражаютъ. Это да.

Каторжникъ, какъ и многіе страдающіе люди, прежде всего гордъ. Всякое выраженіе раскаянія, сожалѣнія о случившемся, — онъ считалъ бы слабостью, которой не простилъ бы потомъ себѣ, которой, главное, никогда не простила бы ему каторга.

А развѣ и мы не считаемся со взглядами и мнѣніями того общества, среди котораго приходится жить?

Юноша Негель *), — совершившій гнусное преступленіе, убійца-звѣрь, котораго мнѣ рекомендовали, какъ самаго отчаяннаго негодяя во всей каторгѣ, — этотъ убійца рыдалъ, плакалъ какъ дитя, рассказывая мнѣ, одинъ на одинъ, что его довело до преступленія. И мнѣ пришлось утѣшать его, какъ ребенка, подавать ему воду, гладить по головѣ, называть ласковыми именами.

Помню изумленное лицо одного изъ гг. „служащихъ“, случайно вошедшаго на эту сцену.

Помню, какъ онъ растерялся.

— Что вы сдѣлали нашему Негелю? — спрашивалъ онъ меня потомъ съ изумленіемъ.

Надо было посмотреть на лицо Негеля въ тѣ нѣсколько секундъ, которыя пробылъ въ комнатѣ г. служащій.

Какъ онъ глоталъ слезы, какія дѣлалъ усилія, чтобы подавить рыданія.

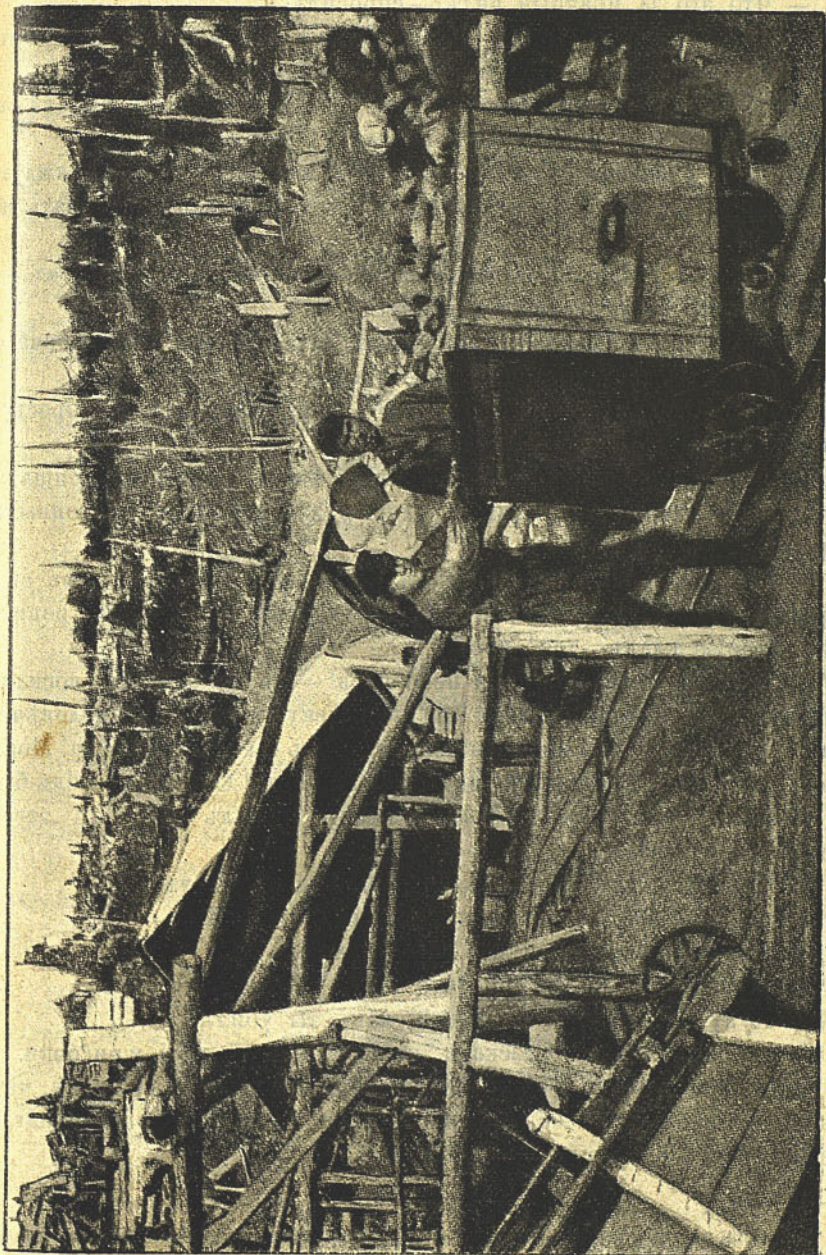
— Вы никому не говорите объ „этомъ“! — просилъ онъ меня на прощанье, — а то въ каторгѣ узнаютъ, смѣяться будутъ, с.....!

Вотъ часто причина этого „холоднаго, спокойнаго отношенія“ къ преступленію.

Не всегда, гдѣ нѣтъ трагическихъ жестовъ, — тамъ нѣтъ и трагедіи. Темна душа преступника, и не легко заглянуть, — что тамъ таится на днѣ?

Въ квартирѣ одного интеллигентнаго убійцы я обратилъ вниманіе на большую картину работы хозяина, висѣвшую на самомъ видномъ мѣстѣ.

*) Александровская тюрьма.



Арестантскія работы. Откатчики въ рудникахъ.

Картина изображала мрачный сѣверный пейзажъ. Хмурья нависшія ели. Посрединѣ—три камня, навороченные другъ на друга.

— Что это за мрачный видъ?—спросилъ я.

— Это пейзажъ, который врѣзался мнѣ въ память! На этомъ мѣстѣ случилось одно трагическое происшествіе.

Это былъ видъ того самаго мѣста, гдѣ хозяинъ дома, вмѣстѣ съ товарищемъ, убили и разрубили на части свою жертву.

Что это? Рисовка? Или болѣзненное желаніе—вѣчно, каждую минуту, безъ конца, беречь ноющую душевную рану, не давать ей зажить?

Рисовка это, или казнь, выдуманная для себя преступникомъ,—эта всегда на виду висящая картина?

Не знаю, какъ раскаяніе, но ужасъ, отчаяніе отъ совершеннаго преступленія живутъ въ душѣ преступника.

Не вѣрьте даже имъ самимъ, чтобъ они относились къ преступленію спокойно

Василій Васильевъ *), убившій въ бѣгахъ своего товарища и питавшійся его мясомъ, слыветъ однимъ изъ наиболѣе спокойныхъ и равнодушныхъ.

— Вы послушайте только, какъ онъ рассказываетъ! Какъ онъ вырѣзалъ куски мяса и варилъ изъ нихъ супъ съ молодой кропивою, которую клалъ „для вкуса“.

— Если бъ только моря я не боялся!—съ отчаяніемъ восклицалъ онъ, рассказывая и мнѣ про „кропивку“ и супъ изъ человѣческаго мяса,—если бъ моря не боялся, убѣгъ бы на край свѣта! Моря боюсь... Ушелъ бы, чтобъ и не видѣлъ меня никто! Отъ себя ушелъ бы!

И какой ужасъ предъ совершеннымъ звучалъ въ тонѣ этого страшнаго человѣка.

Не даромъ послѣ преступленія онъ сходилъ съ ума.

Не вѣрьте „веселымъ“ рассказамъ о преступленіи.

Часто это только неумѣнье спрашивать.

Да, конечно, если вы спросите такъ, „съ наскока“:

— А ну-ка, братецъ, расскажи, какъ ты убилъ?

Тогда вы услышите рассказъ, полный и похвалы и рисовки.

О Полуляховѣ **), убійцѣ семьи Арцимовичей, въ Луганскѣ, мнѣ говорили, что онъ необыкновенно охотно и необыкновенно нагло рассказываетъ о своемъ преступленіи.

*) Сообщение объ этомъ случаѣ людоедства было напечатано докторомъ Н. П. Лобасомъ въ журналѣ „Врачъ“ 1895 г., № 37.

**) Александровская тюрьма.

Съ издѣвательствомъ надъ жертвами, говоря о нихъ всегда во „множественномъ числѣ“:

— Господинъ Арцимовичъ спали вотъ такъ-съ, а г-жа Арцимовичъ — вотъ такъ. Я сначала ихъ убилъ, а потомъ пошелъ г-жу Арцимовичъ съ младенцемъ ихнимъ убивать. „Сударыня!“ говорю... и т. д.

Я бесѣдовалъ съ Полуляховымъ два дня,—правда, съ отдыхомъ въ нѣсколько сутокъ,—нервы бы не выдержали, такъ „тяжелъ“ этотъ человѣкъ.

Я спрашивалъ его внимательно о всей его жизни, терпѣливо выслушивалъ всѣ мельчайшія подробности его дѣтства и юности, интересныя и дорогія только ему, я входилъ въ каждую мелочь его жизни.

И когда, послѣ этого, онъ дошелъ въ разсказѣ до своего звѣрскаго преступленія,—въ его повѣствованіи не было ни „господина“, ни этого ироническаго „множественнаго числа“, ни бахвальства, ни рисовки.

Я никогда не забуду этого вечера.

Мы сидѣли вдвоемъ, близко наклонившись другъ къ другу; онъ говорилъ тихо, словно боясь, что кто-то еще слушаетъ эту страшную повѣсть,—и ему вовсе не легко давался этотъ разсказъ.

О нѣкоторыхъ подробностяхъ даже ему тяжело было говорить. О нихъ онъ всегда умалчиваетъ въ своихъ „веселыхъ“ разсказахъ о преступленіи!

Правда, и подробности же!

Я чувствовалъ, что все плыветъ у меня въ глазахъ. Что еще моментъ,—и я упаду въ обморокъ.

И только нежеланіе показать свою слабость предъ каторжникомъ удерживало меня крикнуть:

— Воды!

Вѣдь мнѣ нужно было мнѣніе каторги: я явился ее изучать.

Помню, какъ я, послѣ одной изъ такихъ подробностей, откинулся, почти упалъ, на спинку кресла, какъ у меня перехватило дыханіе,—и вздохъ, вѣроятно, похожій скорѣе на стонъ, невольно вырвался изъ груди.

— Вотъ, видите, баринъ,—и вамъ даже слушать нехорошо!—сказалъ Полуляховъ.

Я взглянулъ на него: на немъ самомъ лица не было.

Бываютъ разсказы циничные по своей откровенности,—спокойныхъ разсказовъ нѣтъ.

Нѣтъ!

Я много слышалъ исповѣдей, не разказовъ, а именно исповѣдей, когда преступники разказывали мнѣ все, часто съ краской на лицѣ отвѣчали на самые щекотливые вопросы, которые и задавать-то было неловко; мнѣ много пришлось слышать этихъ исповѣдей съ глаза на глазъ, при затворенныхъ дверяхъ, часто говорившихся вполголоса, чтобы кто не услышалъ „тайнъ каторги“, которыя мнѣ разказывали.

Преступники всегда старались казаться спокойными. Но только старались.

Не надо было быть особеннымъ фizioномистомъ, чтобы видѣть, какъ ихъ волнуютъ эти воспоминанія, какъ они стараются подавить, скрыть это волненіе.

Обычная поза преступника, когда онъ разказываетъ подробности преступленія, такая.

Онъ сидитъ къ вамъ бокомъ, смотреть въ сторону, куда-нибудь въ уголь, безсознательно вертитъ что-нибудь въ рукахъ. На его губахъ играетъ дѣланая, принужденная улыбка, глаза горятъ нехорошимъ, лихорадочнымъ какимъ-то огнемъ.

У многихъ часто мѣняется цвѣтъ лица, подергиваются мускулы щекъ, мѣняется и сдавленно звучитъ голосъ.

Почти всякій послѣ 10 минутъ этого разказа кажется усталымъ, утомленнымъ, часто разбитымъ.

А я слыхалъ разказы и видалъ преступниковъ, предъ которыми и Полуляховъ только еще „начинающій“. Мнѣ Лѣсниковъ разказывалъ, какъ онъ вырѣзалъ двѣ семьи: изъ 5 и 6 человѣкъ. Прохоровъ - Мыльниковъ разказывалъ, какъ онъ рѣзалъ дѣтей. Мнѣ разказывали, какъ разрывали могилы. Передавали свои впечатлѣнія люди, приговоренные къ повѣшенію, стоявшіе на западнѣ и услышавшіе помилованіе только тогда, когда около лица болталась петля.

Разговоры „между собой“ о своихъ преступленіяхъ — обычное занятіе каторги.

— Просто ужасъ! — говорили мнѣ интеллигентные люди, бывавшіе въ экспедиціяхъ для изслѣдованія острова, — лежишь вечеромъ и прислушиваешься, о чемъ говорятъ между собой каторжные, мои носильщики и проводники. Только и слышишь: „Я такъ-то убилъ, а я такъ-то“...

Но о чемъ же въ каторгѣ больше и говорить? Въ настоящемъ ничего, рѣчь идетъ о прошломъ.

Когда появляется новый арестантъ, его никто не спроситъ:

— За что?

Это не принято. Всякій соблюдаетъ свое достоинство. Никто не хочетъ показать „слабости“—любопытства.

Разговоръ объ „этомъ“ заводится нѣсколько дней спустя, исподволь: спрашивающій сначала самъ расскажетъ „кстати, къ случаю“, за что пришелъ, и въ разговоръ будто бы нехотя, даже нечаянно, спросить:

— А ты за что?

Непремѣнно такимъ тономъ, въ которомъ звучить: „Хочешь, молъ, говори, а не хочешь,—не больно интересно“.

И тогда рассказъ вновь прибывшаго выслушивается съ большимъ вниманіемъ.

Надо же вѣдь знать, что за человѣкъ пришелъ въ семью, на что онъ способенъ, можетъ ли быть хорошимъ товарищемъ на случай „бѣговъ“ или преступленія.

Съ „бахвальствомъ“, съ рисовкой, съ гордостію рассказываютъ о своихъ преступленіяхъ только „Иваны“.

Мнѣ вспоминается, напримѣръ, Школкинъ¹⁾, преступникъ-рецидивистъ, изъ всѣхъ силъ старающійся прослыть за „Ивана“.

Онъ убилъ уже на Сахалинѣ денщика капельмейстера.

Убилъ нагло, звѣрски, среди бѣлаго дня.

Узнавъ о томъ, что у капельмейстера „должны быть деньги“, онъ явился къ нему на квартиру въ его отсутствіе, оглушилъ ударомъ кистеня денщика, стащилъ его въ подполье и началъ рѣзать.

Тонкій, сильно сточенный кухонный ножъ гнулся и не входилъ въ тѣло.

Тогда Школкинъ перевернулъ свою жертву лицомъ внизъ, приподнялъ грубую, солдатскаго холста, рубаху, прорѣзалъ небольшую ранку и тихо, медленно ввелъ ножъ, заколовивъ его по рукоять.

Въ это время къ капельмейстеру вошелъ еще кто-то, услышалъ возню въ подпольѣ, догадался, что дѣло не ладно, выбѣжалъ, поднималъ крикъ.

Какъ разъ въ это время проѣзжалъ мимо губернаторъ, онъ и отдалъ приказъ объ арестѣ убійцы.

Школкинъ очень гордится своимъ преступленіемъ, тѣмъ, что его „арестовалъ самъ губернаторъ“, тѣмъ, что его, по мнѣнію всей каторги, „ожидала веревка“, — гордится своимъ спокойствіемъ.

¹⁾ Александровская тюрьма.

Я нѣсколько разъ наводилъ разговоръ съ нимъ на эту тему, будто бы забывая то ту, то другую подробность, и — каждый разъ, охотно рассказывая о преступленіи, Школкинъ добавлялъ одну и ту же неизмѣнную фразу:

— Я вышелъ на крыльцо съ улыбкою.

Эта улыбка, съ которой онъ вышелъ на крыльцо къ толпѣ на рода изъ подполья, гдѣ онъ только что дорѣзалъ человѣка, его гордость.

Часто, однако, за этимъ бахвальствомъ кроется нѣчто другое.

Часто это только желаніе заглушить душевныя муки, желаніе нагнать на себя „куражу“.

Желаніе смѣхомъ подавить страхъ.

Такъ дѣти, по вечерамъ боящіеся оставаться въ темной комнатѣ, днемъ хвалятся своею храбростью, смѣются надъ всѣми привидѣніями въ мірѣ:

— Пусть придутъ, пусть!

„Работалъ я въ сапожной мастерской, — рассказывалъ мнѣ одинъ интеллигентный преступникъ, убійца, — вмѣстѣ съ нами работалъ нѣкто Смирновъ рецидивистъ, совершившій много преступленій, молодой человѣкъ. Ужасъ, бывало, беретъ слушать его разговоры. Не было у него и темы другой, кромѣ рассказовъ о своихъ убійствахъ. Онъ вспоминалъ о нихъ съ удовольствіемъ, со смѣхомъ. Какъ онъ издѣвался надъ памятью своихъ жертвъ. Въ какомъ комическомъ видѣ представлялъ ихъ предсмертныя муки, мольбы, съ какимъ цинизмомъ высмѣивалъ ихъ слова, ихъ просьбы о пощадѣ. Просто, бывало, иногда работа падаетъ изъ рукъ!“

„Ужасъ меня бралъ при одномъ звукѣ голоса этого человѣка. А тутъ еще мое мѣсто на нарахъ какъ разъ рядомъ съ нимъ.“

„Онъ спалъ съ краю, я около. Просыпаюсь какъ-то отъ сильного толчка, гляжу, — лампа была какъ разъ около нашихъ мѣстъ, — стоитъ Смирновъ около наръ. Лицо блѣлое, словно мѣломъ вымазано, глаза страшные, широко раскрытые. Ужасъ на лицѣ написанъ.“

„Не подходи... — говорить, — не подходи... убью... не подходи... Дрожить весь, голосъ такой, — жуть беретъ слушать. Испугался я. „Смирновъ, — говорю, — что съ тобою? Съ кѣмъ ты разговариваешь?“ — „Вонъ онъ, — говорить, — вонъ онъ... весь въ крови... изъ горла-то, изъ горла какъ кровь хлещетъ... идетъ, идетъ... сюда идетъ... не подходи!“... Ухватился за меня, держится, руки холодныя какъ ледъ. И у него зубы стучать и меня лихорадка бьетъ. „Господь съ тобой! Кого ты видишь?“ — „Онъ, онъ, послѣдній мой“, шепчетъ. „Да успокойся ты, дай я тебѣ воды принесу!“ — „Нѣтъ, нѣтъ, не

уходи... не уходи... А то онъ... онъ"... Такъ и пришлось вмѣстѣ съ нимъ до кадушки съ водой итти. Онъ за меня держится, кругомъ дико озирается, боится на шагъ отстать. Отпоилъ я его водой, — пришелъ въ себя. Просилъ пустить его на мое мѣсто, — съ краю лежать боялся, — я легъ къ нему поближе. „Страшно мнѣ“, говорить. „Да зачѣмъ же ты днемъ-то надъ ними смѣешься?“ спрашиваю. „Потому и смѣюсь, что страшно. Ходятъ они ко мнѣ по ночамъ. Вотъ днемъ-то и стараюсь храбрости набраться и куражусь“.

„Бахвальство“ преступленіемъ — это часто только крикъ, отчаянный вопль, которымъ хотятъ заглушить голосъ совѣсти.

— Душа преступника — это море, врядъ ли когда бываетъ штиль.

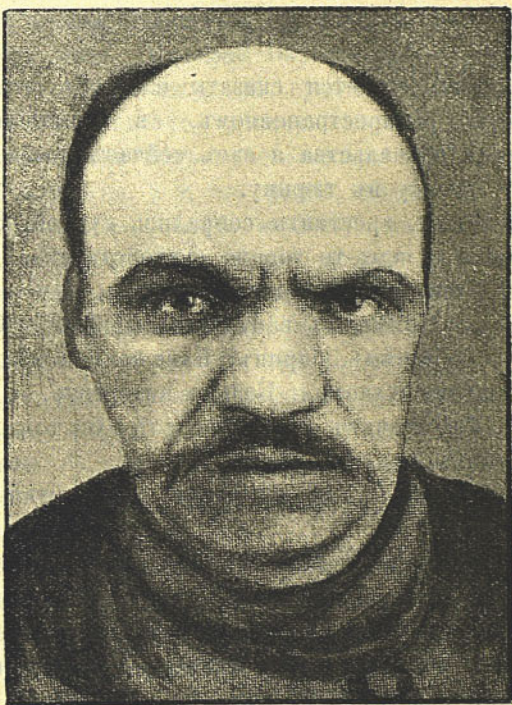
Здѣсь когда-то разыгрывался страшный штормъ. Теперь колышется зыбь.

А очень крупную зыбь такъ легко съ перваго взгляда принять за полный штиль.

Преступленіе оставляетъ неизгладимый слѣдъ, глубокую борозду въ душѣ.

Мнѣ говорилъ одинъ каторжникъ, жалуясь на то, что ихъ заперли въ кандалной за отказъ отъ работъ и двѣ недѣли держали взаперти ¹⁾:

— Что они? Убить насъ, что ли, хотятъ? Задавить, какъ насѣкомую какую? Да нешто человѣка возможно убить? Я вонъ какъ ужъ: кажется, убилъ! Самъ слышалъ, какъ кости затрещали, когда топоромъ по затылку хватилъ. „Нѣтъ, — думаю, — отдышитесь“. Взялъ да еще голову отрубилъ прочь. Откатилась голова... А онъ все живетъ. Тутъ вотъ со мною и живетъ. Ни шагу не отходить. Меня



Арестантскіе типы. Осужденный на 13 лѣтъ каторжныхъ работъ за покушеніе на убійство.

¹⁾ Въ Рыковской тюрьмѣ.

въ „сушилку“¹⁾ посадятъ. Думаютъ, одного, а онъ тутъ со мною, мой-то! „Не убивалъ бы, молъ, меня, не сидѣлъ бы теперь во тьмѣ кромѣшной“. На кобылу ложусь, а онъ тутъ рядомъ съ палачомъ стоитъ, зубы скалитъ: „Не убивалъ бы, на кобылѣ не лежалъ бы“. Вездѣ со мной, какъ тѣнь, идетъ. Живетъ, и покуда я живъ, живъ будетъ, въ могилу за мной, подъ безымянный крестъ пойдетъ. Человѣка совсѣмъ убить невозможно!

II.

Мнѣ остается сказать еще объ одномъ сортѣ „бахвальства“, очень распространенномъ, съ типичнымъ представителемъ этого сорта бахвальства я васъ сейчасъ познакомлю.

Захожу въ тюрьму.

Вижу, арестанты собрались кучкой. Въ серединѣ какой-то краснобай о чемъ-то горячо ораторствуетъ.

Увидаль меня и пересталъ.

— Помѣшалъ вамъ, что ли? Такъ уйду.

— Зачѣмъ, баринъ? Кака-така помѣха... Валяй дальше! Баринъ тоже послушаетъ... Больно интересно.

Разсказчикъ повѣствовалъ о томъ, какъ онъ бѣжалъ изъ тюрьмы.

Слегка, „для приличія“, пококлетничавъ, разсказчикъ продолжалъ:

— Ладно!.. Ударили, говорю я, тревогу. Весь караулъ, всю роту собрали, за мной: этакій рестантъ бѣжалъ! Бѣгутъ, а я отъ нихъ. Они бѣгутъ, а я отъ нихъ. Штыки сверкали, пули свистали... Такъ надъ головой и свищутъ. Мало-мало погода, перестали. Всѣ пули разстрѣляли. Ни одна не попала!..

— Съ бѣгу стрѣляли-то? — интересуется молодой паренекъ, изъ „дисциплинарныхъ“.

— Съ бѣгу.

— Если бы приостановился кто. Стрѣлять способнѣе.

— Тебя, дурака, не спросили, жалко! Фельдфебель! — обрываетъ его кто-то изъ слушателей, — валяй, дальше!

— Сталь я, братцы мои, приставать. Вижу, силъ моихъ нѣтъ. Вотъ-вотъ, думаю, съ ногъ свалюсь, возьмутъ. Да не такой человекъ Ефимъ Трофимовъ, чтобы живымъ въ руки даваться! Слышу, настигаютъ... Все ближе топотъ. Оглянулся, — глядѣтъ страшно.

¹⁾ Карцеръ.

Штыки сверкаютъ. Сила! А по дорогѣ-то, впереди такъ,—дерево... Высоченное дерево, сажень двадцать... Собралъ я силенки,—да къ нему. Разъ, разъ,—да и взобрался... Вскарабкался на сукъ да и сижу. Подбѣгають, запыхались, такъ съ нихъ и лѣтъ, еле дышать. Замучилъ я ихъ, замытарилъ. „Слѣзай,—кричатъ,—чортовъ сынъ, честью!“—„Вотъ,—говорю,—ладно, безпремѣнно слѣзу, когда ракъ свистнетъ. Подождите маленько!..“ Имъ бы пулей меня достать — на что легче, да пули-то всѣ пристрѣляли. А лѣзть-то боялся, потому топоръ при мнѣ,—мнѣ сверху-то по башкѣ способно. Слышу, говоръ идетъ межъ ихъ: „Полѣзай ты сперва!“ — „Нѣтъ, ты!“ — „Нѣтъ, ты...“ А я себѣ сижу, ни гу-гу, отдыхаюсь. Голько, братцы, постояли они такъ-то, рѣшили дерево свалить, чтобы меня достать. Зачали дерево подъ корень штыками. Дрожить все дерево, трясется. Они копаютъ, а я все выше взбираюсь. Они копаютъ, а я выше. Взобрался на самую маковку, жду. Начало дерево подаваться... „Ну, еще! Надай!“—орутъ, дерево валять. А по голосамъ слышать, что еле духъ переводятъ, пристали. „Еще надай“... Ходуномъ подо мной дерево ходить, а я все на маковкѣ сижу, держусь... Да какъ ухнетъ дерево-то, только стонъ пошелъ отъ вѣтвей, хрускъ... Какъ маковка-то объ землю треснулась, я наземъ да въ бѣгъ. Они-то у корня стояли, а я на маковкѣ,—у меня двадцать сажень „мазы“¹⁾... Они-то, дерево копавши, въ конецъ перемучились, а я-то отдохнулъ сидючи!

— Здорово!—одобрили арестанты.

— Вѣдь вотъ говорятъ: „Семь верстъ до небесъ, и все лѣсомъ!“²⁾—не вытерпѣлъ задѣтый давеча за живое паренекъ.

— А тебѣ что?—накинулась на него каторга,—ты чего лѣзешь, волюнку затираешь? Не любо, не слушай! А лѣзть нечего. Чувырло братское.

Каторга негодовала на то, что прервали „занятный рассказъ“.

Много такихъ рассказчиковъ въ каждой тюрьмѣ. И что это за рассказы! Что за дикіе, за фантастическіе, нелѣпые рассказы о небывалыхъ преступленіяхъ! Слушаешь другого,—да диву даешься.

Его дѣйствительныхъ-то приключеній тома бы на три хватило. Да на какихъ тома! А онъ, Богъ его знаетъ, какую чушь выдумываетъ!

¹⁾ Игрѣцкое выраженіе—впередъ.

²⁾ Арестантская поговорка, означающая челоѣка, который слова правды никогда не скажетъ. „Чувырло братское“,—означаетъ арестанта съ отталкивающей наружностью. „Затирать волюнку“,—затѣвать непріятность.

Это Понсонъ-дю-Терайли, Ксавье-де-Монтенены каторги. Имъ не вѣрятъ, да ихъ не для того и слушаютъ.

Каторга относится къ нимъ, какъ мы къ нашимъ „бульварнымъ романистамъ“.

Не требуетъ отъ нихъ правды, довольствуется интересной выдумкой.

Она смотритъ на нихъ, какъ на хорошихъ сказочниковъ.

Это врядъ ли можно назвать „бахвальствомъ преступленіемъ“.

Да я и не думаю, чтобы „бахвальство“ могло произвести на каторгу особое впечатлѣніе.

Сидя съ человѣкомъ 24 часа въ сутки, поневолѣ изучишь его, будешь знать, на что онъ способенъ, на что нѣтъ,—сразу отличишь, что въ его разсказахъ правда, что хвастливая ложь.

Да каторга и не придаетъ особенной цѣны преступленіямъ, совершеннымъ „въ Рассеѣ“.

— Тамъ-то мы всѣ храбры были!

Она относится еще съ нѣкоторымъ уваженіемъ къ преступникамъ, взявшимъ, благодаря преступленію, крупную сумму, — и глубоко презираетъ тѣхъ, кто совершилъ преступленія изъ-за грошей.

Самимъ же преступленіемъ каторги не удивишь. Тутъ, такъ сказать, приходится „играть среди виртуозовъ“.

Герои каторги—рецидивисты.

Она цѣнитъ только преступленія и проступки, совершенные здѣсь, на Сахалинѣ.

И какой-нибудь смѣлый бѣглець или человѣкъ, наговорившій дерзостей зрителю, въ ея глазахъ гораздо болѣе „герой“, чѣмъ человѣкъ, зарѣзавшій цѣлую семью въ Россіи.

Полуляхова каторга стала уважать съ тѣхъ поръ, какъ онъ бѣжалъ, дерзко, на виду у всѣхъ,—вырвавъ ружье у часового.

Есть только одно преступленіе, которое покрываетъ совершившаго его немеркнушей славой. Это убійство кого-нибудь изъ тюремной администраціи.

Къ такому каторга относится всегда съ почтеніемъ.

Человѣкъ шель „на веревку“.

Человѣкъ не боится ничего,—значитъ, надо бояться его.

И къ такому человѣку относятся съ боязливымъ почтеніемъ.

Остальное все не производитъ никакого впечатлѣнія:

— Это все, что было, то прошло! Ты намъ теперь себя выкажи!

Прошлое умерло. Каторгу интересуется только, что въ человѣкѣ „осталось“.

До сихъ поръ мы говорили объ отношеніи только къ самому факту преступленія.

— Ну, а ихъ отношенія къ жертвѣ?

Что они чувствуютъ по отношенію къ ней?

Рѣдко — злобу, часто — презрѣніе, обыкновенно — полное равнодушіе.

— Какъ же! Жалко! — отвѣчаетъ вамъ обыкновенно преступникъ на вопросъ, неужели ему не жаль своей жертвы?

Но лучше бы онъ не говорилъ этого!

Онъ произносить это „жалко“, какъ будто рѣчь идетъ не о жизни, а о какомъ-то пустякѣ, отнятомъ у несчастнаго!

Въ этомъ тонѣ звучитъ такое равнодушіе, — равнодушіе ко всему на свѣтѣ, кромѣ его собственной персоны.

Вы чувствуете, что онъ говоритъ „жалко“ просто „изъ приличія“: „такъ ужъ полагается по-ихнему, чтобъ жалѣть“.

Что этимъ онъ дѣлаетъ уступку вамъ!

Убийцы - грабители вспоминаютъ о своей жертвѣ съ презрѣніемъ, если несчастный не хотѣлъ сразу отдавать деньги, если онъ боролся.

Имъ кажется это достойнымъ презрѣнія: человекъ ставилъ деньги выше жизни!

Одинъ изъ преступниковъ не могъ безъ улыбки вспомнить, какъ его несчастная жертва, когда онъ вошелъ къ ней съ топоромъ, закричала:

— Какъ ты смѣешь? Да ты знаешь ли, на чей домъ нападаешь!

— Сударыня, — отвѣчалъ онъ ей съ улыбкой, — для насъ всѣ равны.

Злобу къ своимъ жертвамъ, злобу непримиримую, которая не угасаетъ никогда, чувствуютъ только тѣ изъ преступниковъ, кому пришлось много перетерпѣть, прежде чѣмъ они рѣшились на преступленіе.

Съ такой злобой отзывался мнѣ о своей жертвѣ одинъ изъ каторжныхъ, бывшій денщикъ-кучеръ, въ Корсаковскомъ округѣ, убившій своего „барина“ за то, что тотъ жестоко съ нимъ обращался.

— Опять бы изъ гроба всталъ, опять бы задушилъ!

И выражалъ сожалѣніе, что не удалось „помучить его передъ смертью“.

Помню, одинъ убійца жены, — онъ отрубилъ ей голову, — на мой вопросъ:

— Неужели же тебѣ не бываетъ жаль ея?

Отвѣчалъ:

— Опять бы жила, — вотъ хоть сейчасъ, — опять бы ей башку отрубилъ, подлой!

И съ такой злобой сказалъ это. А вообще-то это одинъ изъ добродушнѣйшихъ людей въ каторгѣ.

Добрый, безотвѣтный, готовый подѣлиться послѣднимъ.

Видно, и насолела же ему покойница!

Вообще эти люди, со злобой относящіеся къ своимъ жертвамъ, по большей части, люди добродушные, мягкіе.

Это просто люди съ лопнувшимъ терпѣніемъ.

Искреннее, дѣйствительно глубокое сожалѣніе къ своей „ни въ чемъ неповинной жертвѣ“ мнѣ пришлось наблюдать только одинъ разъ.

Это несчастный Горшенинъ, сожалѣвшій объ убитомъ имъ въ припадкѣ раздраженія инженерѣ Коршѣ 1).

Мы дошли до вопроса, который, быть-можетъ, интересуешь васъ такъ же, какъ онъ интересовалъ меня.

До вопроса о галлюцинаціяхъ и снахъ. Объ этой „икотѣ воображенія“, „отрыжкѣ совѣсти“.

Преслѣдуютъ ли „ихъ“ призраки жертвъ, какъ они преслѣдуютъ Шекспировскихъ героевъ, или сахалинскіе преступники сдѣланы изъ другого тѣста.

Но вѣдь и Шекспировскихъ героевъ не всѣхъ одинаково преслѣдуютъ призраки убитыхъ.

Макбетъ видитъ наяву тѣнь Банко, въ то время, какъ Ричарда III мучать призраки во время сна, во время тяжкаго кошмара. А королю Клавдію ни во снѣ ни наяву не является тѣнь убитаго имъ короля и брата.

Я разспрашивалъ всѣхъ тюремныхъ врачей относительно галлюцинацій у каторжниковъ, и изъ всѣхъ врачей только одинъ докторъ Лобасъ, человѣкъ глубоко знающій каторгу, могъ сообщить мнѣ только одинъ случай, когда преступникъ жаловался на преслѣдованія призрака.

Я потомъ видѣлся и съ преступникомъ.

Это нѣкто Вайнштейнъ, рецидивистъ, убившій на Сахалинѣ женщину.

Другіе говорятъ, что онъ убилъ ее, не добившись ничего ухищреніями.

1) Въ Тифлисѣ.

Онъ увѣряетъ, что убилъ ее изъ отвращенія;

— Ужъ не молодая женщина—она измѣняла своему мужу. И какъ измѣняла! Мнѣ стало противно, и я убилъ ее, прямо, изъ какой-то ненависти, изъ презрѣнія, раздавилъ какъ гадину.

Ея окровавленный призракъ не давалъ ему покоя, пока онъ сидѣлъ въ одиночномъ заключеніи.

Онъ не спалъ ночей, потому что она постоянно входила къ нему, и на него „летѣли брызги крови“.

Интересный рассказъ о галлюцинаціяхъ мнѣ пришлось выслушать отъ одного поселенца, котораго я взялся подвезти изъ поста Дуэ въ постъ Александровскій.

— Зачѣмъ пробираешься-то?—спрашиваю дорогой.

— Да къ окружному ишоль, сожительницу себѣ просить новую.

— А что жъ старая-то плоха, что ли?

— Зачѣмъ плоха! Хорошая баба была, да померла... Второй мѣсяцъ какъ померла. А мнѣ безъ хозяйки никакъ невозможно. Хозяйство! Можетъ, дадутъ какую, хоть завалящую!

Мы проѣхали съ четверть версты молча.

— Да и слава Тебѣ, Господи, что померла! Прибралъ же Господь! Успокоилъ, да и меня-то вмѣстѣ съ нею. Мука была мученская.

— Что такъ?

— Тряслась шибко.

— Какъ тряслась?

— Такъ, по ночамъ. Какъ, бывало, ночь, такъ и начнетъ трястись. И меня-то замучила,—страхи! Какъ, бывало, огонь потушимъ, такъ ее и начнетъ бить. Дрожить вся, колотится, руки, ноги какъ ледъ. „Ходить,—говорить,—онъ по избѣ!“ А то вся забьется, вотъ-вотъ, думаю, кончится. „За ноги,—говорить,—меня хватаетъ. —Наклоняется ко мнѣ,—а отъ него-то могилой!“ Все къ ей „онъ“ ходилъ. За мужа она. Мужа отравила,—не нравился, что ль!—а какъ онъ сталъ кончаться да мучиться, съ испугу его и придушила. И такой, бывало, голосъ у ея, самого жуть беретъ. „Молчи, молъ, у меня свой есть“. Самому казаться начало!.. Эхъ, и не вспоминать!.. Такъ вотъ и измаялась, таяла, таяла, да и кончилась. Царство ей небесное, вѣчный покой! Да ужъ гдѣ, чай!

Нѣкоторые, немногіе изъ нихъ, жалуются, что изрѣдка видятъ своихъ во снѣ, но большинство смотритъ на васъ съ изумленіемъ при подобномъ вопросѣ:

— Охота, молъ, такую дрянъ во снѣ видѣть!

Впрочемъ, все это дѣло нервовъ.

Въ концѣ-концовъ, я все-таки не вѣрю,—и не вѣрю потому, что этого не видѣлъ,—чтобы преступникъ совсѣмъ ужъ спокойно относился къ совершенному имъ преступленію.

Быть-можетъ, и эта страсть къ картамъ, эта картежная игра, которой они съ такимъ азартомъ предаются съ утра до вечера, въ каждую свободную минуту, и часто съ ночи и до утра, быть-можетъ, и это средство—„забыться“, „отвлечь свои мысли“.

Наиболѣе тяжкіе преступники, вмѣстѣ съ тѣмъ, и наиболѣе страстные игроки.

Всякій „отвлекается“ и „забывается“ какъ можетъ и чѣмъ можетъ. Я видѣлъ преступника, который послѣ совершеннаго имъ, дѣйствительно, звѣрскаго убійства ¹⁾, искалъ забвенія... въ игрѣ въ тотализаторъ.

— Играешь, и ничего не чувствуешь! Забываешь про „это“.

Къ счастью для него, скачки въ Москвѣ бываютъ по 2, по 3 раза въ недѣлю,—и нѣсколько недѣль, которыя прошли до его ареста, этотъ несчастный и отвратительный человѣкъ прожилъ въ какомъ-то угарѣ отъ пьянства и игры.

Когда тамъ открывали трупъ, онъ думалъ о лошадяхъ:

— Хватить ея на четырехверстную дистанцію, или не хватить?

Какъ они относятся къ наказанію?

На этотъ вопросъ отвѣтить гораздо легче.

Относятся очень просто.

Осудили, лишили правъ, сослали сюда, и они считаютъ всѣ свои счета поконченными и сквитанными.

— Не семь же шкуръ съ насъ драть?!

Имъ сказали: идите на „новую жизнь“.

И они стремятся устроить „новую жизнь“.

Такую, какая нравится имъ, а не правосудію.

Бѣжать, сказаться бродягой и получить полтора года каторги вмѣсто 10, 15 и 20.

Это называется „перемѣнить участь“.

И объ этой „перемѣнѣ участи“ мечтаютъ всѣ.

Не вѣрьте тому, чтобъ преступники жаждали каторги, несли ее какъ искупленіе.

¹⁾ Викторовъ, убившій въ Москвѣ свою любовницу, разбуйшій и изуродовавшій трупъ до неузнаваемости и отправившій его по желѣзной дорогѣ.

Да, можетъ-быть, тамъ, когда они еще не знаютъ, что такое каторга.

Когда еще свѣжи, особенно болѣзненны воспоминанія. Когда совѣсть, этотъ „звѣрь косматый“, мечется и скребетъ когтями душу... Тогда, быть-можетъ, и жаждутъ „страданій“.

Такъ при нестерпимой зубной боли люди бьются головой объ стѣну, чтобъ другой болью пересилить эту, отвлечь мысли отъ этой страшной, невѣроятной боли.

Тамъ... А здѣсь... Можно жаждать страданій, итти на нихъ, надѣть тяжелыя верѣги, спать на острыхъ камняхъ.

Но кто, въ видѣ „искупленія“, захочетъ лечь въ смердящую, вонючую, топкую, жидкую грязь?

А каторга, это—грязь, зловонная, засасывающая грязь.

Мнѣ остается сказать еще объ ихъ отношеніяхъ къ невинно осужденнымъ.

Къ тѣмъ, относительно кого они увѣрены, что человѣкъ страдаетъ напрасно.

Такіе есть на Сахалинѣ, какъ и во всякой каторгѣ.

На арестантскомъ языкѣ они называются:

— „Отъ сохи на время“.

Каторга относится къ нимъ съ презрѣніемъ.

Нѣтъ! Это даже не презрѣніе. Это ненависть, это зависть къ людямъ, не мучающимся душой, выражающаяся только въ формѣ будто бы презрѣнія.

Это ненависть подлеца къ честному человѣку, мучительная зависть грязнаго къ чистому.

И положеніе этихъ несчастныхъ—положеніе горькое вдвойнѣ.

Имъ не вѣрятъ честные люди, ихъ презираетъ и ненавидитъ міръ отверженныхъ...

И въ этой ненависти сказывается все то же страданіе преступной души, мучимой укорами совѣсти.

Преступники и судъ.

„У обвиняемаго не оказалось копій обвинительнаго акта: копій эти они извели на „цыгарки“.

Изъ отчета объ одномъ процессѣ въ Елисаветградѣ.

— Вотъ область!—волось дыбомъ встанетъ.

— Боже, и это граждане, которые незнаціемъ законовъ отговариваться немогутъ?!

Даже наиболѣе опытные изъ нихъ, бывалые, которымъ ужъ, казалось бы, надо это знать, и тѣ плохо понимаютъ, что дѣлается на судѣ.

Я просилъ ихъ передать мнѣ содержаніе рѣчи прокурора,—кажется, должны бы вслушиваться?!—и, Боже, что за чепуху они мнѣ молили.

Одинъ, напримѣръ, увѣрялъ меня, будто прокуроръ, указывая на окровавленные „вещественныя доказательства“, требовалъ, чтобы и съ нимъ, преступникомъ, поступили также, т.е. убили и разрѣзали трупъ на части.

Большинство „выдающихся“ преступниковъ, какъ я уже говорилъ, преувеличиваютъ значеніе своего преступления и ждутъ смертнаго приговора.

— Да вѣдь по закону не полагается!

— А я почему зналъ!

А, кажется, не мѣшало бы освѣдомиться, идя на такое дѣло.

Неизвѣстность, ожиданіе, одиночное предварительное заключеніе, все это разбиваетъ имъ нервы, вызываетъ нѣчто въ родѣ бреда преслѣдованія.

Всѣ они жалуются на „несправедливость“.

Преступникъ окруженъ врагами: слѣдователь его ненавидитъ и старается упечь, прокуроръ питаетъ противъ него злобу, свидѣтели подкуплены или подучены полиціей, судьи обязательно пристрастны.

Многіе рассказывали мнѣ, что ихъ хотѣли „заморить“ еще до суда.

— Дозвольте вамъ доложить, меня задушить хотѣли!

— Какъ такъ?

— Посадили въ одиночку, чтобы никто не видалъ. Никого не допускали. Пищу давали самую что ни на есть худшую, вонь,—нарочно около „такихъ мѣстъ“ посадили. Думали, задохнусь.

Преданья объ „отжитомъ времени“, о „доформенныхъ“ порядкахъ крѣпко вѣлись въ память нашего народа.

Только этимъ и можно объяснить такіе чудовищно нелѣпые рассказы:

— Хозяйку-то ¹⁾ слѣдователь спервоначала забралъ, да она общалась ему три года въ кухаркахъ задаромъ прослужить, безъ жалованья. Онъ ее и выпустилъ. Потомъ ужъ начальство обратило вниманіе, опять посадили.

¹⁾ Рѣчь идетъ о хозяйкѣ, нанявшей рассказчика-работника совершить убійство.

Привычка къ „системѣ формальныхъ доказательствъ“ пустила глубокіе корни въ народное сознаніе, извратила его представленія о правосудіи.

— Не по правотѣ меня засудили! Зря!—часто говоритъ вамъ преступникъ.

— Да вѣдь ты, говоришь, убилъ?

— Убить-то убилъ, да никто не видалъ. Свидѣтелей не было, какъ же они могли доказать? Не по закону!

Эта привычка къ такъ долго практиковавшейся „системѣ формальныхъ доказательствъ“ заставляетъ запирается на судѣ, судиться „не въ сознаніи“,—многихъ такихъ, чья участь, при чистосердечномъ сознаніи, была бы, конечно, куда легче.

Помню, въ Дуэ, старикъ отцеубійца рассказывалъ мнѣ свою исторію.

Сердце надрывалось его слушать. Что за ужасную семейную драму, что за каторгу душевную пришлось пережить, прежде чѣмъ онъ, старикъ, отецъ семейства, пошелъ убивать своего отца.

Ему не дали даже снисхожденія.

Неужели могло найтись 12 присяжныхъ, которыхъ не тронулъ бы этотъ искренній, чистосердечный рассказъ, эта тяжелая повесть?

— Да я не въ сознаніи судился!

— Да почему жъ ты прямо, откровенно, не сказалъ все. Вѣдь жена, сынъ, невѣстка, сосѣди были на судѣ, могли бы подтвердить твои слова?

— Да такъ! Думали—свидѣтелей при убійствѣ не было. Такъ ничего и не будетъ!

Особенно тяжелое впечатлѣніе производятъ крестьяне, „деревенскіе, русскіе люди“.

У этихъ не сразу дознаешься, какъ его судили даже: съ присяжными или безъ присяжныхъ.

— Да противъ тебя-то въ судѣ сидѣли 12 человекъ?

— Насупротивъ?

— Вотъ, вотъ, насупротивъ: 12 вотъ такъ, а два сбоку. Всѣхъ четырнадцать.

— Да кто жъ ихъ считалъ? Справа, вотъ этакъ, много народу сидѣло. Чистый народъ. Барышни... Стой, стой!—вспоминаетъ онъ.— Вѣрно! и насупротивъ сидѣли, еще все входили да выходили сразу. Придутъ, выйдутъ, опять придутъ. Эти, что ли?

— Вотъ, вотъ, они самые! Да вѣдь это и были твои настоящіе судьи?

— Скажи, пожалуйста! А я думалъ, такъ, купцы какіе. Анти-ресуются.

Большинство не можетъ даже отвѣтить на вопросъ: былъ ли у него защитникъ?

— Да защитникъ, адвокатъ-то у тебя былъ?—спрашиваю у мужичонка, жалующагося, что его осудили „безвинно“.

— Абвакатъ? Нѣтути. Хотѣли взять мои-то въ трактиръ одного, да дорого спросилъ. Не по карману!

— Стой, да вѣдь тебѣ былъ назначенъ защитникъ. Задаромъ, понимаешь—задаромъ? И настоящій адвокатъ, а не трактирный!

— Этого я не могу знать.

— Да передъ тобой, передъ рѣшеткой-то, за которой ты на судѣ былъ, сидѣлъ кто-нибудь?

— Такъ точно, сидѣлъ. Красивый такой господинъ. Изъ себя видный. Мундеръ на емъ разстегнуть. Ходить нараспашку. Съ отвагой.

Очевидно, судебный приставъ.

— Ну, а рядомъ съ нимъ? Въ городскомъ платьѣ въ черномъ, еще значокъ у него такой бѣлѣный, серебряный, вотъ здѣсь?

Мужичонка дѣлаетъ обрадованное лицо—вспоминаетъ:

— Кучерявенькій такой? Небольшого росту?

— Ну, ужъ тамъ не знаю, какого онъ росту. Говорилъ вѣдь онъ что-нибудь, кучерявенькій-то?

— Кучерявенькій-то? Дай припомнить. Балакалъ. Сейчасъ, какъ прокуратъ кончилъ, и онъ всталъ. Пронзительно очень говорилъ прокуратъ, твердо. Просилъ все, чтобъ меня на весь вѣкъ, подъ землю,—„въ корни“ его, говорить.

— Ну, хорошо, это прокуратъ. А „кучерявенькій-то“ что же?

— То же говорилъ что-то. Только я не слушалъ, признаться. Не къ чему мнѣ.

— Да вѣдь это и былъ твой защитникъ, твой адвокатъ!

— Скажи! А я думалъ, онъ изъ господъ. Изъ судейскихъ!

— Да передъ этимъ-то, передъ судомъ, въ тюрьмѣ онъ у тебя былъ?

— Кто? Кучерявый?

— Кучерявый!

— Кучеряваго не было. Ай былъ? Ай не былъ? Былъ!—наконецъ вспоминаетъ онъ. — Вѣрно! Былъ одново. Спрашивалъ, есть ли у меня свидѣтели? Какіе жъ у меня свидѣтели могутъ быть? Мы люди бѣдные. Намъ свидѣтелей нанять не на что!

Есть ли что нибудь безпомощнѣе?

Надо правду сказать, что гг. защитникамъ не мѣшало бы внимательнѣе относиться къ своимъ кліентамъ „по назначенію“.

Многіе такъ до суда не знаютъ въ лицо своего защитника...

Женская каторга.

— Виновна ли крестьянка Анна Шаповалова, 20 лѣтъ, въ томъ, что съ заранѣе обдуманномъ намѣреніемъ лишила жизни своего мужа посредствомъ удушенія?

— Да, виновна.

Шаповалову приговорили къ 20 годамъ каторжныхъ работъ.

Въ Одессѣ ее сажаютъ на пароходъ Добровольнаго флота.

— Баба — первый сортъ!

— Хорошій рейдъ будетъ! — предвкушаетъ команда.

Въ Красномъ морѣ входятъ въ тропики, гдѣ кровь всыхиваетъ, какъ спиртъ.

Женскій трюмъ превращается въ пловучій позорный домъ.

— Ничего не подѣлаешь! — говорятъ капитаны. — Борисъ, не борись съ этимъ, ничего не выйдетъ. Черезъ полотняные рукава, которые для нагнетанія воздуха устроены, подлецы ухитряются въ трюмъ спускаться.

Это обычное явленіе, и если этого нѣтъ, каторжанки даже негодуютъ.

Пароходъ „Ярославль“ перевозилъ каторжанокъ изъ поста Александровскаго въ постъ Корсаковскій. Старшій офицеръ г. Ш., человекъ въ дѣлахъ службы очень строгій, ключи отъ трюма взялъ къ себѣ и не довѣрялъ ихъ даже младшимъ помощникамъ.

На пароходѣ „ничего не было“.

И вотъ, когда въ Корсаковскѣ каторжанокъ пересадили на баржу, съ баржи посыпалась площадная ругань:

— Такіе-сякіе! Въ монахи вамъ! Бабъ везли, и ничего. Насъ изъ Одессы везли, съ нами на пароходѣ вотъ что дѣлали!

Женщины лишились маленькаго заработка, на который сильно рассчитывали, и сердились.

Команда таскаетъ въ трюмъ деньги, водку, папиросы, фрукты, платки, матеріи, которыя покупаетъ въ портахъ.

Молодые добываютъ. Старухи — старостихи устраиваютъ комства.

Въ трюмѣ площадная ругань, торговля своимъ — кланяется онъ вые и разнузданные рассказы, щегольство наряде

Падшія женщины, профессиональныя преступницы, жертвы несчастія, женщины, выросшія въ городскихъ притонахъ, крестьянки, идущія слѣдомъ за своими мужьями,—все это свалено въ одну кучу, гнойную, отвратительную. словно живыя свалены въ яму вмѣстѣ съ трупами.

Нѣкоторые еще держатся.

Эта голодная честность, изруганная, осмѣянная, сидитъ въ уголкѣ и поневолѣ завистливыми глазами смотреть, какъ все кругомъ пьетъ, лакомится, щеголяетъ другъ передъ дружкой обновами.

Женщина смотреть съ ужасомъ:

— Куда я попала?

Она теряетъ почву подъ ногами:

— Что я теперь такое?

До Цейлона иныя выдерживаютъ, а въ Сингапурѣ, глядь, всѣ каторжанки на палубу вышли въ шелковыхъ платочкахъ. Это у нихъ самый шикъ! „Ахъ, вы такія-сякія! Щеголяйте тамъ у себя въ трюмѣ, а на палубу чтобъ выходить въ арестантскомъ!“ рассказы-ваютъ капитаны.

И вотъ пароходъ приходитъ въ портъ Александровскій.

Тамъ парохода съ бабьимъ товаромъ ужъ ждутъ.

Поселенцы, такъ называемые „женихи“, всѣ пороги въ канцеляріяхъ обили:

— Ваше высокоблагородіе, явите начальническую милость, дайте сожительницу!

— Это, братъ, прежде было, что бабъ давали. Теперь только дозволяютъ брать.

— Ну, дозвоьте взять бабу. Все единственно.

— Да зачѣмъ тебѣ баба? Ты пьяница, игрокъ!

— Помил-те, ваше высокоблагородіе, для домообзаводства!

Привезенныхъ бабъ размѣстили.

Добровольно слѣдующія съ дѣтьми остались дрогнуть въ карантинномъ сараѣ. Каторжанокъ погнали въ женскую тюрьму.

Передъ окнами женской тюрьмы гулянье.

„Женихи“ смотрять „сожительницъ новаго сплава“. Каторжанки высматриваютъ „сожителей“.

Каторжанки принарядились. Женихи ходятъ гоголемъ.

— Сборный человекъ, одно слово! — похихатываютъ проходящіе

— Куржане „вольной“, „исправляющейся“ тюрьмы. наконецъ всѣ по большей части, „весь собранъ“: картузь взять у есть ли у меняпоги у другого, поддевку у третьяго, шерстяную быть? Мы люди бѣ, жилетку у пятаго,

У многихъ въ рукахъ большая гармоника, верхъ поседенческаго шика.

У нѣкоторыхъ по жилеткѣ даже пущена цѣпочка.

У всѣхъ подарки: пряники, орѣхи, ситцевыя платки.

— Дозвольте орѣшковъ предоставить. Какъ васъ величать-то будетъ?

— Анной Борисовной!

— Вы только, Анна Борисовна, ко мнѣ въ сожительницы пойдете, каждый день безъ гостинца не встанете, безъ гостинца не ляжете. Потому—пронзили вы меня! Возжеся я очень.

— Ладно. Одинъ разговоръ. Работать заставите!

— Ни въ жисть! Развѣ на Сахалинѣ есть такой порядокъ, чтобъ баба работала? Дамой жить будете! Самъ полы мыть буду! Не жисть, а масленица. Бога благодарить будете, что на Сахалинѣ попали!

— Всѣ вы такъ говорите! А вотъ часы у васъ есть? Можетъ, такъ, цѣпочка только пущена.

— Часы у насъ завсегда есть. Глухія съ крышкой. Пожалуйте!

Одиннадцатаго двадцать пять.

— А ну-ка, пройдитеесь!

„Женихъ“ идетъ фертомъ.

— Какъ будто криво ходите!

Будущія „сожительницы“ ломаются, насмѣшничаютъ, острятъ надъ „женихами“.

„Женихи“ конфузятся, злятся въ душѣ, но выказываютъ величайшую вѣжливость.

Степенный мужикъ изъ Андрее - Ивановскаго, угодившій въ каторгу за убійство во время драки „объ самый, объ храмовой праздникъ“, подавалъ по начальству бумагу, въ которой просилъ:

„Выдать для домообзаводства изъ казны корову и бабу“.

Въ канцеляріи ему отвѣтили:

— Коровъ теперь въ казнѣ нѣту, а бабу взять можешь.

Онъ ходитъ подь окнами серьезный, дѣловитый, и осматриваетъ бабъ, какъ осматриваютъ на базарѣ скоть.

— Намъ бы пошире какую. Христьянку. Потому лядаща, куда она? Лядаща была, изъ бродягъ. Только хлѣбъ жевала, да кровича у ей горломъ хлястала. Такъ и умярла, какъ ее по-настоящему звать даже не знаю. Какъ и помянуть-то неизвѣстно. Намъ бы ширококостную. Штобъ для работы.

— Вы ко мнѣ въ сожительницы не пойдете?—кланяется онъ толстой, пожилой, рябой и кривой бабѣ.

— А у ты что есть-то?—спрашиваетъ та, подозрительно оглядывая его своимъ единственнымъ глазомъ.—Можетъ, самому жрать нечего?

— Зачѣмъ нечего! Лошадь есть.

— А коровы есть?

— Коровъ нѣ. Просиль для навозу—не дали. Бабу теперъ дати хотять, а корову—по веснѣ. Идите, ежели жалаете!

— А свиньи у ты есть?

— И свиней двѣ. Курей шесть штукъ.

— „Курей“!—передразниваетъ его лихачъ и щеголь-поселенецъ изъ 1-го Аркова, самаго игрецкаго поселья.—Ему нешто баба, ему лошадь, чорту, нужна! Ты къ нему, кривоглазая, не ходи! Онъ те уходить! Ты такого, на манерь меня, трафъ. Такъ, какъ же, Анна Борисовна, дозволите васъ просить? Желаете на веселое Арковское житье итти? Безъ убоинки за столъ не сядете, пряникомъ водочку закусывать будете, платокъ—не платокъ, фартукъ—не фартукъ. Семень Ильинъ человѣкъ лихой. Даму для развлеченія ищеть, не для чего прочаго!

Прежде хорошенькую Шаповалову взялъ бы кто-нибудь изъ холостыхъ служащихъ въ горничныя и платилъ бы за нее въ казну по три рубля въ мѣсяцъ. Теперъ это запрещено.

Прежде бы ее просто выкликнули:

— Шаповалова!

— Здѣсь.

— Бери вещи, ступай. Ты отдана въ Михайловское, поселенцу Петру Петрову.

— Да я не желаю.

— Да у тебя никто о твоємъ желаніи не спрашиваетъ. Бери, бери вещи-то, не проѣдайся! Некогда съ вами!

Теперъ, если она скажетъ „не желаю“, ей скажутъ:

— Какъ хочешь!

И оставятъ въ тюрьмѣ.

„Сожительницы“ разберутся съ „женихами“, и останется Шаповалова одна въ сѣрой, тусклой, большой пустой камерѣ. И потянутся унылые, сѣрые, тусклые дни.

Хоть бы полы къ кому изъ служащихъ мыть отправили, можетъ, къ холостому. Повеселилась бы.

Я однажды зашелъ въ женскую тюрьму.

Тамъ сидѣла нѣмка съ груднымъ ребенкомъ.

Жила она когда-то съ мужемъ въ Ревелѣ, имѣла „свой лафочка“, захотѣла расширить дѣло:

— Дитя много было.

Подожгла лавочку и пошла въ каторгу.

— Дитя вся у мужа осталось.

Здѣсь она жила съ сожителемъ, прижила ребенка, изъ-за чего-то повздорила съ надзирателемъ, тотъ пожаловался, ее взяли отъ сожителя и посадили въ тюрьму:

— Онъ говорійтъ, что я укралъ. Я нишево не укралъ.

Съ безконечно-унылымъ, тоскующимъ лицомъ она бродила по камерѣ, не находя себѣ мѣста и, принявъ меня за начальство, начала плакать:

— Ваше высокій благородій! У меня молока нѣйтъ. Ребенокъ помирайтъ будетъ. Я отъ баланда молоко потеряла. Прикашите меня хоть полъ мыть отправляйтъ. Я по дорога зарапотаю...

— Чѣмъ же вы заработаете?

— А я...

И она такъ прямо, просто и точно опредѣлила, какъ именно она зарабатываетъ, что я даже сразу не разобралъ.

— Что это? Нарочно циничная, озлобленная выходка?

Но нѣмка смотрѣла на меня такими кроткими, добрыми и ясными, почти дѣтскими глазами, что о какомъ тутъ „цинизмъ“ могла быть рѣчь!

Просто она выучилась русскому языку въ каторгѣ и называла, какъ всѣ каторжанки, вещи своими именами.

— Ваше высокое благородіе! Скашите, чтобъ меня хоть на шась отпустили. Одинъ шась!

И такъ потянулись бы для Шаповаловой долгіе, безконечные дни одиночества: въ женской тюрьмѣ никто не живетъ.

Приведутъ развѣ поселенку.

— Тебя за что въ тюрьму?

— Сожителя пришила.

— Какъ пришила?

— Взяла да задавила.

— За что же?

— А на кой онъ мнѣ чортъ сдался?! Я промышлай, а онъ пропивать будетъ!

— Да ты бы на него начальству пожаловалась!

— Вотъ еще, изъ-за такихъ пустяковъ начальство беспокоить...

— Что жъ теперь съ тобой будетъ?

— А что будетъ! Будутъ судить и покуда въ тюрьмѣ держать. А потомъ каторги прибавятъ и опять кому-нибудь въ сожительницы отдадутъ. А ты за что сидишь?

— Я не хочу въ сожительницы итти.

— Дура! Ну, и сиди въ тюрьмѣ на пустой баландѣ; покуда не скажешь: „Къ сожителю итти согласна!“ Скажешь, братъ! Небось! Неволить итти къ сожителю не неволить теперь, но человѣку предоставляется выборъ: свобода или тюрьма.

Трудно, конечно, думать, чтобъ Шаповалова „заупрямилась“. Никто не упрямится.

И воть Шаповалова у поселенца, съ которымъ она столковалась. Входитъ въ его пустую, совершенно пустую избу.

„Сборный человѣкъ“ вдругъ весь разбирается по частямъ; сапоги съ наборомъ отдаетъ одному сосѣду, поддевку — другому, кожаный картузь — третьему.

И передъ нею на лавкѣ сидитъ оборвышъ.

— Ну-съ, сожительница наша милѣйшая, теперича вы на фартъ идите!

— На какой фартъ?

— А къ господину Ивану Ивановичу. Вы это поскорѣй платочекъ и фартучекъ одѣвайте. Потому господинъ Иванъ Ивановичъ ждать не будутъ. Живо ему другой кто свою сожительницу подстроить. А жрать намъ надоть.

— Да что жъ это я на тебя работать буду?

— Это ужъ какъ на Сакалинѣ водится. Положеніе. Для того и сожительницъ беремъ. Да вы, впрочемъ, не извольте беспокоиться. Я на ваши деньги играну, такой кушъ выиграю, — барыней ходить будете. А теперича извольте отправляться.

— Да вѣдь я тамъ, въ Россіи, за это же за самое мужа, что меня продать хотѣлъ, задушила!

— Хе-хе! Тамъ Рассея! Порядокъ другой. А здѣсь, — что же съ! Ну, и задушите! Другой такой же сожитель будетъ. Все единственно. Потому сказано — каторжныя работы. Пожалуйста-съ!

Несчастнѣйшая изъ женщинъ.

Отъ пристани до поста Александровскаго около двухъ верстъ Дорога ведетъ черезъ лѣсокъ. Направо и налево отъ дороги, за канавой, тянется хвойная тайга, здѣсь повyrубленная и довольно рѣдкая. Въ ямахъ и ложбинкахъ еще лежитъ снѣгъ, а по кочкамъ и на прогалинахъ уже лѣзетъ изъ земли „медвѣжье ухо“. Его желтый листъ лѣзетъ изъ-подъ земли свернутый въ трубочку и пышно разворачивается, словно хочетъ сказать: „Любуйтесь, какое я, медвѣжье ухо, красивое“.

— Ахъ, чортъ ее возьми! — сказалъ какъ-то одинъ изъ служащихъ, когда я проходилъ съ нимъ мимо лѣска. — Сашка Медвѣдева ужъ станъ свой раскинула. Ишь, и флагъ ея болтается. Ахъ, тварь! Въ этакій-то холодъ.

На одномъ изъ деревьевъ болталась грязная тряпка. Познакомиться съ Сашкой Медвѣдовой, это значить — стать на одну изъ послѣднихъ ступеней человѣческаго паденія.

Сашка Медвѣдева — знаменитость Александровскаго поста. Ее знаютъ всѣ, а ея кліентами состоятъ самые нищіе изъ нищихъ каторги: бревнотаски, дровотаски, каторжане, работающіе на кирпичныхъ заводахъ. Сашку Медвѣдеву презираютъ всѣ. Даже самыя послѣднія изъ сахалинскихъ женщинъ говорятъ о ней не иначе, какъ съ омерзѣніемъ. Женщина вообще пользуется небольшимъ почтеніемъ на Сахалинѣ; обыкновенно ихъ зовутъ-таки очень неважнымъ титуломъ, но для Сашки существуетъ особое наименованіе, дальше котораго ужъ презрѣніе итти не можетъ.

Сашкѣ около 45 лѣтъ. Плоское лицо, по которому и не разберешь, было ли оно когда-нибудь хоть привлекательно. Вѣчно мутные глаза. Вѣтеръ, холодъ, непогоды „выдѣлали“ кожу на ея лицѣ, и кожа эта кажется похожей на пергаментъ. Одѣта Сашка, конечно, въ отрепье.

Зимой эта почти уже старуха валяется по ночлежнымъ домамъ въ Александровскихъ слободкахъ, — по этимъ ужаснымъ ночлежнымъ домамъ, содержимымъ бывшими тюремными майданщиками. Эти ночлежные дома и по обстановкѣ совсѣмъ тюрьмы. Тамъ же общія нары вдоль стѣнъ, гдѣ вповалку спятъ мужчины, женщины и дѣти. Здѣсь же валяется и Сашка Медвѣдева, „припасая“ на завтра на выпивку.

Но какъ только въ воздухѣ повѣетъ холодной и унылой сахалинской весной, Сашка переселяется въ тайгу близъ бойкой и людной дороги отъ пристани къ посту; здѣсь, по образному выраженію гг. служащихъ, „разбиваетъ свой станъ“ и выкидываетъ свой флагъ, — вѣшаетъ на одномъ изъ деревьевъ около дороги тряпку.

Это условный знакъ. И вы часто увидите такую сцену. Идетъ себѣ, какъ ни въ чемъ не бывало, по дорогѣ каторжанинъ изъ „вольной тюрьмы“, дойдетъ до дерева съ „флагомъ“, оглянется — нѣтъ ли кого, грузно перепрыгнетъ черезъ канаву и исчезнетъ въ тайгѣ.

А Сашка сидитъ цѣлый день на полянкѣ, иззябшая, продрогшая и поджидаетъ посѣтителей. Проводя время въ лѣсу, Сашка одичала, и если увидитъ какого-нибудь вольнаго человѣка, не каторжника.

бѣжить отъ него такъ, какъ мы побѣжали бы, встрѣтившись съ каторжникомъ. Если Сашкѣ приходится нечаянно встрѣтиться съ кѣмъ-нибудь носъ съ носомъ, она боязливо пятится, и тогда въ ея мутныхъ глазахъ отражается такой страхъ, словно ее сейчасъ исколотятъ.

Контрибуція, которую она беретъ со своихъ нищихъ посѣтителей, колеблется отъ двухъ до трехъ коп. Много ли зарабатываетъ Сашка?—Копеекъ 20 въ день, а въ такіе дни, когда, напримѣръ, въ ближнихъ Александровскихъ рудникахъ углекопамъ выдаютъ „проценты“ за добытый и проданный уголь, тогда заработокъ Сашки доходить копеекъ до сорока.

Такова „Сашка Медвѣдева“, эта человѣческая самка, существующая для нищихъ каторги.

Вы думаете, однако, что коснулись ногой ужъ послѣдней ступени человѣческаго паденія. Нѣтъ. Бездонна эта пропасть и трудно сказать, гдѣ та грань, ниже которой не можетъ уже пасть человѣкъ. И у Сашки есть человѣкъ, къ которому она можетъ относиться съ презрѣніемъ.

Это бродяга Матвѣй. Ея „сожитель“. На что нуженъ онъ Сашкѣ,—трудно понять. Можетъ-быть, это просто какая-то безсознательная привычка имѣть „друга“. Всѣ отношенія между ними ограничиваются, кажется, только тѣмъ, что они дерутся.

Для бродяги Матвѣя Сашка—средство къ существованію.

Подъ вечеръ Сашка сидитъ на полянкѣ и пересчитываетъ добытыя за день деньги. 16 копеекъ. Еще два посѣтителя, — и можно будетъ отправиться въ какой-нибудь изъ притоновъ на базаръ и въ задней комнаткѣ медленно, цѣдя черезъ зубы, выпить большую рюмку сильно разбавленнаго водой спирта.

Въ тайгѣ слышался трескъ сучьевъ. Кто-то идетъ. Сашка насторожилась. Трескъ ближе и ближе. Между деревьями, осторожно ступая, крадучись, показывается Матвѣй. Сашка моментально вскакиваетъ на ноги и бросается въ тайгу.

— Стой, дьяволъ!—кричитъ Матвѣй и кидается за ней.

Ужъ изъ этого манера онъ понималъ, что у Сашки есть деньги.

И начинается бѣгство, травля, погоня озвѣрѣвшаго человѣка за оскотинившимся. Борьба двухъ человѣческихъ существъ за то, кто сегодня выпьетъ рюмку водки.

Сашка бѣжитъ по тайгѣ, старается укрыться въ чащѣ, кружить около деревьевъ, пока, зацѣпившись за кочку, истерзанная, изодранная колючими вѣтвями, не падаетъ на землю. Матвѣй наваливается на нее, бьетъ по чѣмъ ни попадя и вопить:

— Отдай деньги.

— Не дамъ! Не дамъ!—кричитъ Сашка и крѣпко зажимаетъ въ кулакъ свои 16 копеекъ.

Изъ носа у нея идетъ кровь. Матвѣй бьетъ ее кулакомъ по лицу. Но Сашка не разжимаетъ кулака. Матвѣй ломаетъ ей пальцы, давитъ ее колѣнами, крутитъ руки,—пока, наконецъ, отъ нестерпимой боли Сашка не разжимаетъ кулака. Деньги теперь въ кулакѣ Матвѣя.

Ударивъ ее еще разъ, усталый Матвѣй поднимается. Но Сашка моментально вскакиваетъ и, словно собака, схватываетъ его зубами за руку. Матвѣй оттаскиваетъ ее за волосы, кидаетъ на землю и изо всей силы ударяетъ ногой въ животъ:

— Сдыхай, проклятая.

Сашка валится замертво. Въ кровь избитая, окровавленная Сашка приходитъ въ себя, потому что кто-то толкаетъ ее ногой.

— Вставай, что ли. Да утрись хоть, окайнная. Погляди, на что рожа похожа.

Передъ ней „посѣтителъ“. Сашка принимается вытирать слезы, кровь и грязь, смѣшавшіяся на ея лицѣ.

Я не разъ спрашивалъ себя, что это за отношенія. Что ей этотъ Матвѣй?—Сожитель? Другъ? Человѣкъ, къ которому она привыкла?

Сама Сашка отлично опредѣлила это въ разговорѣ со мной:

— Постоянный грабитель.

Такъ и живутъ на свѣтѣ Сашка съ ея „постояннымъ грабителемъ“.

И это тоже называется „жизнью“.

Добровольно слѣдующія.

— Земля-съ у насъ на Сакалинѣ кровью впитана, бабьей слезой полита. Нешто можетъ апосля этого на ней что расти?!—говорилъ мнѣ одинъ старый поселенецъ.

Въ исторіи сахалинской каторги есть страница, написанная кровью и слезами. Это страница о женахъ, добровольно слѣдующихъ за мужьями въ каторгу.

Пароходъ, везущій каторжанъ, подходитъ къ Адену.

Изъ трюмовъ принесли гору,—штуку шестьсотъ, незапечатанныхъ писемъ на родину.

— „А еще извѣщаю васъ, любезная супруга наша,—пишетъ, послѣ безчисленныхъ „поклоновъ“, арестантъ, „осужденный на 12 лѣтъ въ работу“,—прибылъ я на Сахалинъ благополучно, чего и вамъ отъ души желаю. Семейнымъ здѣсь очень хорошо. Земли даютъ

по 20 десятинъ на душу, пару быковъ, корову, пару свиней, овецъ четыре головы, шесть курей и, на первый разъ, 50 мѣръ пшеницы для посѣва и хату. За нами ѣдетъ 1.000 человекъ вольныхъ поселенцевъ. Такъ здѣсь хорошо. Начальство доброе и милостивое, и сейчасъ же спросили, скоро ли вы, супруга наша, пріѣдете. И, коль скоро вы пріѣдете, меня сейчасъ же изъ тюрьмы выпустятъ, и мы будемъ жить по-богато. А куда вы не пріѣдете, долженъ я въ тюрьмѣ томиться“.

И десятки людей, когда пароходъ еще только подходитъ къ Адену, отписываютъ въ деревню, какъ они прибыли на Сахалинъ благополучно и какія тамъ богатства ждутъ семейныхъ.

Это все Васька Горьлый мудрить.

Васька—„обратникъ“. Былъ сосланъ на Сахалинъ, бѣжалъ, на бревнѣ переплылъ бурный Татарскій проливъ, „дохъ съ голода“ въ тайгѣ, добрался до Россіи, совершилъ новое преступленіе, попался. Впереди у него безсрочная, прикованье къ тачкѣ, плети. Въ тюрьмѣ онъ ведетъ игру въ самодѣльные карты, шуллерничаетъ, даетъ, какъ человекъ бывалый, совѣты новичкамъ „насчетъ Сакалина“, беретъ за это съ нихъ послѣдніе гроши, копить деньги, чтобъ занять потомъ въ кандалной тюрьмѣ почетное положеніе, сдѣлаться „отцомъ“, т.-е. ростовщикомъ.

Въ каждомъ трюмѣ имѣются „обратники“, и они-то рассказываютъ каторжанамъ насчетъ Сакалина.

Выписка женъ—часто спекуляція.

— Главное, чтобъ жена поскорѣй пріѣзжала. Жена пріѣдетъ,—сейчасъ выпустятъ для домообзаводства. Въ тюрьмѣ маяться не будешь, дура!..—наставляютъ обратники.

— Ты ей такъ ваяй, будто ужъ пріѣхалъ. И про курей, и про свиней, и сколько на посѣвъ даютъ! Для васъ, для чалдоновъ, это—первое! Чалдонъ желторотое!

„Чалдонъ“ — слово сибирское, означаетъ вольнаго человека, осѣдлаго. Оно переносится и на всякаго, кто имѣетъ домъ, семью, хоть какой-нибудь достатокъ, хоть что-нибудь на свѣтѣ. И въ томъ, какъ бѣглый каторжникъ, „варнакъ“, произноситъ это „чалдонъ“—слышится много ненависти даже къ маленькому достатку, много презрѣнія бездомнаго бродяги ко всему, что зовется домомъ, семьею...

— Про курей, про курей не забудь написать! Скорѣй пріѣдетъ!—глумится „обратникъ“, диктуя письмо писарю.

Въ каждомъ трюмѣ есть свой писарь, который сочиняетъ письма неграмотнымъ.

Во второмъ трюмѣ письма пишетъ бойкимъ, красивымъ писарскимъ почеркомъ бродяга Михайлъ Ивановъ, изъ парикмахеровъ,—чиркнулъ одного по горлу, и потому званіе теперь скрываетъ“.

Бродяга Ивановъ пишетъ письма „всѣ подь одно“, подь диктовку Васьки Горѣлова, съ которымъ они работаютъ пополамъ, въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ описываетъ прелести сахалинскаго житья.

А въ четвертомъ трюмѣ сидитъ настоящій художникъ по части писемъ. Хорошо грамотный полячокъ—столяръ, сосланный за гнусное преступленіе, совершенное надъ родной сестрой. Онъ пишетъ кудреватю:

— „Склоняю свою буйную головушку на ваши дорогія колѣнки и цѣлую ваши сахарныя ножки, ваши бѣлыя, ненаглядныя ручки“.

Бѣдная, бѣдная Матрена Никонова, Тульской губерніи, Епифанскаго уѣзда, сельца Зиборовки! Въ какое недоумѣніе она должна прійти, когда ей прочтутъ по складамъ, что ея „мужикъ“ „Степанъ“ цѣлуетъ ея ножки,—да еще „сахарныя!“

Сколько тоски, тоски недоумѣнія, будетъ у нея на лицѣ, когда ей станутъ читать эту вычурную галиматью.

Бѣдная, бѣдная, неграмотная Русь.

Сколько спекуляціи, но и сколько истинной захватывающей тоски въ этихъ письмахъ къ женамъ. Какимъ страстнымъ, отчаяннымъ призывомъ они полны:

— Приди!

Одни умоляютъ, заклинаютъ:

— „Вспомните клятву вашу въ церкви и какъ вы мнѣ страшную клятву давали въ тюремномъ замкѣ, чтобъ безпремѣнно пріѣхать. Не слушайте никого, поѣзжайте въ городъ, супруга наша, и заарестуйтесь!“

Умоляютъ, заклинаютъ и пишутъ на „вы“, потому что русскій челоѣкъ въ письмахъ любить вѣжливость.

Другіе грозятъ:

— „Пріѣзжайте, потому что намъ извѣстно отъ начальства, если только жена не согласится слѣдовать за мужемъ, можно жениться“.

Молодой солдатъ, сосланный за преступленіе на военной службѣ, описываетъ даже женѣ:

— „А если не пріѣдешь, на зло тебѣ такую здѣсь на Сакалинѣ себѣ кралю возьму, что на тебя плюнуть слюней будетъ жалко!“

Нѣкоторые угрожаютъ „прийти“.

— „Если не пріѣдете, до свиданья, Аннушка. Я все-таки думаю васъ видѣть. Хотя не скоро, увижу. Не близко,—а приду“.

Но больше все-таки молятъ, просятъ. Чѣмъ только не соблазняютъ эти томящіеся люди своихъ женъ:

— Приди!

Одинъ успокиваетъ:

— „Только въ народѣ несправедливо говорятъ, что изъ моря показывается фараонъ, половина туловища рыбнаго, половина чело-вѣчьяго, и съ нимъ чудища. Ничего этого нѣтъ. Поѣзжайте, не бойтесь!“

Другой совѣтуетъ ѣхать „даже для здоровья“.

— „Будете на пароходѣ купаться. Вода хоть и солона, но очень полезна,—если чело-вѣкъ боленъ, то можетъ поправиться на этой водѣ, всякую боль выгоняетъ изъ нутра“.

Какъ это ни странно, но очень многіе стараются соблазнить женъ даже... фруктами.

— „Апельсины, которые вы такъ любите, здѣсь нишечемъ, а въ Суэскѣ (Суэцъ) я даже купилъ десятокъ лимоновъ за двѣ копейки. Лимоны прямо задаромъ!“

И надъ всѣми этими страстными, захватывающими, словно предсмертной мольбы полными призывами, надъ этими наивными соблазнами,—царить, властвуетъ ложь про „привольное, богатое сахалинское житье“.

Право, это могло бы показаться мнѣ выдумкой, если бы я самъ не списалъ этихъ фразъ изъ арестантскихъ писемъ:

— „Не знаю, какъ Бога благодарить, что я попалъ на Сахалинъ“.

— „Житье здѣсь,—однимъ словомъ, не работай, ѣшь, пей душа, веселись!“

И все это сочиняется и посылается въ деревню мѣсяца за полтора до пріѣзда на Сахалинъ, по рассказамъ, по совѣтамъ „обратниковъ“.

И читаются эти письма по деревнямъ. И идутъ въ городъ и „заарестовываются“, и начинается мученическая жизнь.

Что заставляетъ этихъ женщинъ бросать родину, близкихъ, „заарестовываться“, „сидеть въ острогъ“, бродить по этапамъ,—что заставляетъ этихъ женщинъ, для которыхъ міръ кончается за сосѣднимъ селомъ, пускаться въ плаваніе „на край свѣта“, черезъ моря, „черезъ океаны, полные чудовищъ“, ѣхать въ страну чужую, дальнюю, страшную?

Любовь?

— Она проклятая!

Этотъ отвѣтъ вы услышите отъ „добровольно послѣдовавшихъ“ рѣдко.

Чаще услышите:

— Тоже не велика радость, апосля, какъ такое стряслось, на селѣ жить. Глазъ не покажешь! Однихъ попрековъ-то не оберешься. Всякъ тебя срамить, всякъ паскудить: „Каторжница! Мужъ каторжникъ!“ Бѣжала бы, куда глядятъ глазыньки.

Часто услышите также:

— Да вѣдь что онъ, подлець-то писалъ! Каки-таки чудеса! Сакалинъ да Сакалинъ! Думала, есть у него, аспида, совѣсть. Чужого человѣка погубилъ,—можетъ, своихъ-то губить не захочетъ. Повѣрила. Поѣхала,—думала, и впрямь жить будетъ... А тутъ... Вонъ онъ тебѣ и Сакалинъ!

И бѣдная баба съ отчаяніемъ оглядываетъ кое-какъ сколоченную хату, пустой дворъ, на которомъ „ни курочки“, ребятишекъ, которые пищать:

— Мамка! Ёсть хоцю!

А въ домѣ—ни крошки.

Очень многія ѣдутъ по чувству долга:

— Разъ Богъ соединилъ, ничто ужъ разлучить не можетъ.

— Клятва дадена, въ церкви вѣнчаны,—значить, навсегда...

Очень многія ѣдутъ въ надеждѣ „на новыхъ мѣстахъ“ на новую жизнь, спокойную, трудовую, зажиточную. На старомъ мѣстѣ грѣхъ вышелъ, жизнь разбита. На новыхъ мѣстахъ ихъ никто не знаетъ, они никого не знаютъ:

— Ровно вчера родились! Живи.

Земли вволю, на обзаведеніе все дадутъ. Всѣ будутъ работать, не покладая рукъ. А тутъ...

„Добровольно слѣдующихъ“, какъ я ужъ говорилъ, отправляютъ почему-то осеннимъ рейсомъ, самымъ труднымъ.

Пароходъ приходитъ на Сахалинъ, въ портъ Александровскій, нашей поздней осенью, сахалинской ранней зимою.

Вотъ картина прибытія „добровольно слѣдующихъ“,—какъ описываетъ ее мнѣ въ письмѣ супруга одного изъ сахалинскихъ врачей:

— „Мнѣ пришлось посѣтить (добровольно послѣдовавшія семьи) въ карантинномъ сараѣ, когда онѣ, по прибытіи сюда, сидѣли въ этомъ ужасномъ мѣстѣ въ ожиданіи, пока ихъ разберутъ родственники. Многимъ изъ нихъ приходилось сидѣть очень долго, пока на-

водились справки, гдѣ находятся мужья этихъ несчастныхъ женъ. Сахалинская пурга (вьюга) была въ этотъ день во всей своей силѣ. Крутило и рвало такъ, что въ двухъ шагахъ не видно было ничего. Мы еле добрались до сарая. Этотъ сарай, какъ вы знаете, на берегу моря, но моря видно не было, былъ слышенъ только вой, крикъ, гулъ какой-то. Никакого ада злѣе выдумать нельзя, а у многихъ изъ этихъ бѣдныхъ женъ и дѣтей не было ничего, кромѣ лохмотьевъ. Сарай былъ буквально набитъ народомъ. Когда мы вошли съ докторомъ П., то всѣ ринулись къ нему съ разпросами: „Нашелся ли мужъ? Гдѣ мужъ? Когда возьметъ?“ Дѣти плачутъ: „Нашелся тятю? Гдѣ онъ? Когда придетъ?“ А эти тятки и мужья когда-то еще найдутся, да и, отыскавши ихъ, не велико счастье обрящешь..“

— Тѣмъ, у кого мужья на югѣ Сахалина, приходится цѣлую зиму, — студеную, жестокую сахалинскую зиму, — до перваго весенняго рейса жить въ посту Александровскомъ на казенномъ „пайкѣ“, котораго еле-еле хватаетъ, чтобы не умереть только съ голода.

— А одѣться, а обуться нужно? А дѣтишекъ обуть, одѣть?

— Какъ же живутъ?

— Да такъ и живутъ!

Тѣ, кого вы спрашиваете, только машутъ рукой.

На посту Александровскомъ я проѣзжалъ мимо складовъ. Смотрю, — куча бабъ, и начальникъ тюрьмы пайки имъ раздаетъ.

— Что за народъ?

— Добровольно слѣдующія. Завтра на „Байкалѣ“ въ Корсаковскъ къ мужьямъ идутъ.

— Когда же ихъ привезли?

— Привезли-то еще въ прошломъ году въ ноябрѣ. Да тогда ужъ пароходнаго сообщенія съ Корсаковскимъ не было. Вотъ и оставили ихъ зимовать до перваго весенняго рейса въ Александровскъ.

— Да вѣдь пароходъ, который ихъ привезъ, могъ сначала въ Корсаковскъ зайти?

— Могъ-то, могъ, да такой уже порядокъ, чтобы всѣхъ добровольно слѣдующихъ сначала въ Александровскъ доставлять, а отсюда уже разсылаютъ.

— Изголодавшіяся, исголодавшіяся изъ-за „такого порядка“, неизвестно для чего цѣлую зиму просидѣвшія въ Александровскомъ, бабы, ворча и ругаясь, увязывали въ платки „пайки“. Все валили вмѣстѣ: крупу, рыбу, хлѣбъ.

— Ты бы, тетка, поаккуратнѣе!

— Нечего тутъ разбирать! Все въ одинъ день спахтаемъ! Отощамши. Сахалинъ, чтобы ему пусто было!



На пароходъ Добровольнаго флота. Высадка женщинъ на Сахалинъ.

Невдалекѣ одна изъ бабъ сидѣла, разливалась, плакала.

— Чего она?

— Извѣстно, къ мужу итти не хотѣла! Набаловалась за зиму-то!

— Набалуюешься, какъ съ голодудохнуть придется да съ холоду!

— Какъ теперь мужу покажется?

Баба была въ интересномъ положеніи.

— Охъ, убьетъ онъ меня, родныя! Охъ, конецъ моей жизни! — ревѣла несчастная женщина.

А рядомъ съ ней другая причитала по другому поводу.

— И на что я теперь на этотъ Сакалинъ попала? Въ Расеюшку бы!

— Да вѣдь сама ѣхала!

— Да развѣ я для себя ѣхала? Для дѣтей все. Сама-то я одна всегда себя пропитанье найду, въ работницы пойду. А съ дѣтьми куда я дѣнусь? Изъ-за дѣтей сюда и ѣхала.

— Ну, а гдѣ же дѣти?

— Примерли. Двое меньшенькихъ на пароходѣ померли, а старшенькій здѣсь, въ Александровскомъ посту, по зимѣ померъ. Сирота я горькая, чего я теперь къ моему аспиду пойду? Провались онъ пропадомъ!

Я былъ при отходѣ этого парохода „Байкаль“.

На пристани одна баба рвала на себѣ волосы, рыдала навзрыдь. Плакали дѣти. А около стоялъ поселенецъ, убитый, растерянный, мять въ рукахъ картузъ и повторялъ:

— Такъ что ужъ прощайте!..

А у самого глаза были полны слезъ.

— Господи! Господи! — вопила баба. — За что казнишь? Этакое-то человѣка, хоршаго, да добраго, да смирнаго, да работащаго, кидать должна! Къ идолу итти, къ убивцу! Чтобъ опять онъ меня смертнымъ боемъ бить зачалъ, дѣтей калѣчилъ! Отъ такого-то человѣка! Меня-то какъ любилъ! Дѣтямъ моимъ лучше родного отца былъ!

— Такъ что ужъ прощайте... Такъ что ужъ прощайте! — поблѣвшими, дрожащими губами повторялъ поселенецъ.

— Эка баба-то какая горькая! — сказалъ мнѣ одинъ служащій. — И тамъ, въ Россіи, подлець-мужъ жизнь разбилъ, и здѣсь нашла было счастье, полюбила человѣка, — бросать должна.

— Такъ нельзя ли какъ-нибудь... Ну, не отправлять ее къ мужу...

— Невозможно. За мужемъ пришла, къ мужу и должна итти. Псрядокъ!

И вотъ эти „добровольно слѣдующія“, послѣ всѣхъ мытарствъ, поступаютъ“, наконецъ, къ мужьямъ, которыхъ онѣ спасли отъ тюрьмы цѣной собственной жизни, страданій, мученій.

Кто же приходитъ къ ней изъ тюрьмы вмѣсто ея „Стяпана“, мужика, приговореннаго за нанесеніе смертельныхъ побоевъ въ пьяномъ видѣ?

Выходить „жиганъ“, игрокъ, готовый проиграть и ее и себя.

Выходить „хамъ“, самое презираемое существо, даже въ каторгѣ. Наголодавшееся, отощавшее, полупомѣшанное отъ голодной жадности существо, готовое за одну копейку на все.

Выходить представитель несчастной „шпанки“, изолгавшійся, изворовавшійся, забитый, трусливый, несчастный.

И ей, шедшей за мужикомъ „Стяпаномъ“, придется жить съ „жиганомъ“, съ „хамомъ“, со „шпанкой“.

Есть исключенія. Люди, которые ухитряются „уцѣлѣть“ въ тюрьмѣ, выйти изъ нихъ такими же „Стяпанами“, какъ вошли. Ихъ спасетъ эта надежда:

— Приѣдетъ жена, приѣдутъ дѣти. Будемъ жить.

И, среди грязи и ужаса каторги, эта надежда ихъ хранить и спасаетъ.

Но это только исключенія.

Они спасены, но какой цѣной: Сакалинъ жизнь за жизнь требуетъ, страна ужь такая! — какъ говорятъ здѣсь.

А сколько напрасныхъ жертвъ! Сколько напрасно загубленныхъ жизней!

„Добровольно слѣдующую“ съ мужемъ отправляютъ на поселенье.

— Ни лошаденки, ничего! — слышите вы отъ поселенковъ, „добровольно послѣдовавшихъ“, въ глухихъ, голодныхъ сахалинскихъ поселкахъ. — Дадутъ тебѣ мотыгу (родъ заступа) много ли земли намотыжешь? Какая это пашня!

— Просили бы лошадь.

— Лошадей не дають, нѣту. Просили, просили — насилу коровенку въ разсрочку выпросили. Да и ту бродяги зарѣзали. Теперь и коровы нѣтъ и деньги въ казну каждый мѣсяць плати!

Это какъ нельзя болѣе частая жалоба.

Итакъ, нищенское хозяйство еле-еле идетъ, а тутъ, что есть, последнее бѣглые, бродяги разоряють.

Въ концѣ-концовъ ссыльно-каторжная — это повсемѣстно предметъ зависти для „добровольно слѣдующихъ“:

— Имъ и паекъ, имъ и все. А намъ что? Имъ ли не житье? Гуляй — не хочу. Отдадутъ сожителю, — не понравится ей — уйдетъ, другого дадутъ!

Жить — вѣчно дрожать, что любимаго человѣка, за которымъ пошла на каторгу, каждую минуту могутъ выпоротъ, по первому капризу, первой жалобѣ заковать и посадить въ „кандальную“. Изругать послѣдними словами за то, что онъ не снимаетъ шапки передъ какимъ-нибудь возвращающимся изъ клуба служащимъ, а онъ долженъ стоять въ это время безъ шапки, дрожа отъ безсилнаго бѣшенства и страха, и говорить:

— Простите, ваше высокоблагородіе!

Видѣть ежечасное, ежеминутное униженіе любимаго человѣка, тяжкое, часто гнусное.

Слава Богу, что на Сахалинѣ мало „добровольно слѣдующихъ“ интеллигентныхъ женщинъ.

Въ посту Александровскомъ вы встрѣтите маленькую, миниатюрную женщину, скорѣе ребенка, съ дѣтскимъ лицомъ, по-дѣвичьи заплетенной косой. На видъ ей лѣтъ 17.

— Должно-быть, дочь кого-нибудь изъ служащихъ?

— Нѣтъ, это жена ссыльно-каторжнаго Э.

Этотъ ребенокъ здѣсь, среди каторги. Ей бы, казалось, еще жить подъ крылышкомъ у родныхъ. А между тѣмъ жизнь этого ребенка такая трагедія, какой не вынести и большому-то, пожившему человѣку.

Ея женихъ, совсѣмъ еще юноша, убилъ своего товарища.

— Совершивъ это подъ вліяніемъ мозгового увлеченія! — какъ довольно витіевато объясняетъ онъ.

Его приговорили на 20 лѣтъ каторжныхъ работъ.

Ихъ любовь была „дѣтскою любовью“: они оба еще учились.

Но этотъ ребенокъ пожелалъ слѣдовать за своимъ несчастнымъ женихомъ. И рѣшимость принести себя въ жертву была такъ велика, что родителямъ молодой дѣвушки пришлось уступить. Она выхлопотала себѣ разрѣшеніе слѣдовать на томъ же пароходѣ, на которомъ отправляли ея жениха.

Это стоило большого труда. Это „не по правиламъ“.

Въ Одессѣ молодой дѣвушкѣ объявили:

— Вы можете отправляться только со слѣдующимъ пароходомъ. Съ этимъ — ни подъ какимъ видомъ.

Этая юная, со школьной скамьи дѣвушка бросилась хлопотать, просить, умолять, — и добила своего. Одесскій градоначальникъ приказалъ взять ее на пароходъ.

Что это было за путешествіе — можете судить.

И такъ-то тяжело ѣхать пассажиромъ на „каторжномъ“ пароходѣ. Тяжко плыть подъ это неумолчное громоханье, лязгъ кандаловъ, которые доносятся изъ трюмовъ.

А слушать эту неумолчную, страшную пѣсню, зная, что въ этомъ хорѣ звенять и его кандалы. Ходить по палубѣ, зная, что тамъ, подъ ногами, въ трюмѣ среди сѣрыхъ халатовъ и наполовину бритыхъ головъ, среди людей, потерявшихъ человѣческій обликъ, томится любимый человѣкъ.

— Она меня спасла! — говорилъ мнѣ Э. — Безъ нея я бы погибъ. Чтобы мнѣ было полегче, меня перевели въ лазаретъ. И вотъ въ Сингапурѣ ко мнѣ входитъ конвойный.

Въ Сингапурѣ пароходъ пришвартовывается прямо къ пристани, спускаются сходни. Близость земли дразнить каторжанъ. Конвойный предложилъ Э.:

— Слушай, за мной есть преступленіе. Какъ только пароходъ придетъ во Владивостокъ, меня сдадутъ подъ судъ, а военный судъ не помилуетъ. Мнѣ остается одно — бѣжать. Хочешь бѣжать вмѣстѣ? Одинъ я здѣсь, въ чужой землѣ, пропаду, я человѣкъ безъ языка. Ты человѣкъ съ языкомъ, знаешь по-ихнему, — вмѣстѣ не пропадемъ. Сегодня ночью я буду стоять на часахъ у лазарета, — вмѣстѣ и уйдемъ.

— Какая жажда свободы проснулась! — говоритъ Э. — Даже голова закружилась. Да какъ вспомнилъ, что здѣсь она, что она мнѣ всю жизнь отдала. Что я собираюсь дѣлать? И отвѣтилъ конвойному: „Нѣтъ“.

Побѣгъ, конечно, не удался бы. Англійскія власти живо поймали бы бѣглецовъ и доставили обратно. А тогда — вѣчная каторга, плети.

— Если бы не она, — погибъ бы я.

Несчастный Э. правъ. Она и въ каторгѣ здѣсь, на Сахалинѣ, его спасла, — но какой цѣной?

— Сахалинъ! Жизнь за жизнь ему отдать надо. Такой уже порядокъ! — вспоминается поговорка каторжанъ.

По прибытіи на Сахалинъ Э. помѣстили, какъ долгосрочнаго, въ кандальную тюрьму, а молодую дѣвушку пріютила семья доктора Л.

И началась „жизнь“ съ маленькими, грустными праздниками: получасовыми свиданіями по воскресеньямъ въ тюрьмѣ.

Ждали, пока Э. выпустятъ изъ кандалной. Но тутъ въ дѣло вмѣшалась сахалинская администрація. Она поняла разрѣшеніе слѣдовать за женихомъ такъ:

— Значить, мы должны ихъ немедленно перевѣнчать.

Молодой дѣвушкѣ было предписано:

— Или немедленно вѣнчаться или уѣзжать.

Свадьба состоялась въ Александровскомъ соборѣ. Жениха съ конвойными привели изъ кандалнаго отдѣленія.

Это была картина вѣнчанья среди слезъ, — вѣнчанья, на которомъ всѣ плакали.

— До сихъ поръ, какъ вспомню, сердце переворачивается! — рассказывала мнѣ жена доктора.

Изъ церкви „молодые“ зашли въ домъ доктора Л., напились чаю, а черезъ 10 минутъ Э. снова отправили въ „кандалную“. Брачный пиръ былъ конченъ.

Г-жа Э. осталась жить въ семьѣ доктора.

Свиданья съ мужемъ, какъ раньше съ женихомъ, попрежнему происходили по воскресеньямъ въ тюрьмѣ.

Чего-чего не вынесла эта маленькая страдалица „новобрачная“.

Она ученица консерваторіи, отличная піанистка, которой сулили блестящее будущее, и она должна была ходить играть на вечеринкахъ у гг. служащихъ. Играть имъ танцы, аккомпанировать ихъ пѣнію, — все это, конечно, „изъ любезности“.

— Ну, чего вы идете? — говорятъ ей, бывало, въ семьѣ доктора Л. — До того ли вамъ? Вы посмотрите. Извелись совсѣмъ, на себя непохожи...

— Нельзя, нельзя! — отвѣчаетъ она. — Присылали звать. Могутъ на меня обидѣться, — и на „немъ“ выместять!

Кто былъ на Сахалинѣ, кто видѣлъ, какъ дрожать несчастныя женщины за своихъ безправныхъ мужей, тотъ пойметъ, какимъ ужасомъ, вѣроятно, сжималось сердце бѣдняжки при одной этой мысли.

И она шла играть.

Гг. служащіе считали неудобнымъ подавать руку „женѣ ссыльно-каторжнаго“, и она, приходя на вечеринку играть „изъ любезности“, дѣлала общій поклонъ и немедленно садилась за піанино, ожидая приказанія.

— Играйте!

Особенно ее допекало всесильное лицо, — правитель канцеляріи, и тогда уже душевно-больной, вскорѣ затѣмъ посаженный въ сумасшедшій домъ.

— Послушайте, какъ васъ! — говорилъ онъ обыкновенно съ юпитерскимъ величіемъ. — Играйте то-то! Не такъ скоро! Играйте медленнѣе. Теперь играйте веселѣе! Что вы, чортъ знаетъ, какъ играете!

Она плакала и играла. Играла, низко наклонясь къ клавишамъ, чтобы не замѣтили слезъ:

— Еще обидятся.

И все для „него“.

Это длилось нѣсколько мѣсяцевъ. Какъ вдругъ на Сахалинѣ прїѣзжаетъ изъ Петербурга очень вліятельное лицо.

Въ честь прїѣзжаго въ Александровскѣ, въ пожарномъ сараѣ, обычномъ мѣстѣ спектаклей, былъ устроенъ гг. служащими любительскій спектакль и танцевальный вечеръ. На спектаклѣ, въ качествѣ музыкантши, была и г-жа Э.

Вліятельный гость, передъ которымъ все преклонялось, вошелъ, оглянувъ собравшихся, замѣтилъ стоявшую у піанино г-жу Э., направился прямо къ ней и сказалъ:

— Здравствуйте, мое дитя!

И... поцѣловаль ей руку.

Онъ зналъ ее по Петербургу.

Все измѣнилось въ одинъ моментъ. Г-жа Э. была окружена женами гг. служащихъ. При встрѣчѣ съ ней послѣ этого уже издали снимали фуражки. Всѣ наперерывъ выражали ей свое вниманіе и заботливость.

Ея мужъ вскорѣ былъ выпущенъ изъ тюрьмы. Ему поручили завѣдывать метеорологической станціей и дали даже маленькое жалованье. Ей дали мѣсто учительницы.

Они живутъ въ крошечной, уютной квартиркѣ при зданіи метеорологической станціи и школы. У нихъ есть ребенокъ.

Украшеніе ихъ квартирки — это великолѣпное піанино, которое прислали ей родные изъ Россіи. Подъ піанино въ вѣнкѣ изъ колосьевъ портретъ ея великаго учителя — А. Г. Рубинштейна.

Музыка—это все, что красить ея жизнь въ долгіе, долгіе сахалинскіе зимніе вечера, когда за окномъ стонетъ и крутитъ пурга, а несчастный мужъ сидитъ и рисуетъ или пишетъ стихи.

Музыка, строгая, классическая, ея единственная радость послѣ ребенка, и играетъ она такъ, какъ не играетъ, быть-можетъ, никто. Только очень несчастные люди могутъ очень хорошо играть. Въ ея игрѣ чудится столько страданія, и горя, и муки, и слезъ...

Они счастливы, какъ можно быть счастливыми на Сахалинѣ. Но то, что пережито, навѣкъ испугало ее. Этотъ испугъ свѣтится въ ея дѣтскихъ глазахъ. Вся жизнь ея — трепеть. Трепетъ за него.

Легкомысленный, еще мальчикъ, — онъ любитъ немножко „позволить себѣ“, какъ говорятъ на Сахалинѣ, — пройтись по улицѣ со знакомымъ служащимъ или прїѣзжимъ. И надо видѣть ее въ такія минуты.

Вѣдь впечатлѣніе отъ прїѣзда „вліятельнаго лица“ уже улеглось. Мало ли на кого, мало ли на что можетъ нарваться ея мужъ. Не

понравится какому-нибудь служащему, что ссыльно-каторжный такъ „свободно“ разгуливаетъ. Поклонится онъ, по легкомыслию, недостаточно почтительно какой-нибудь мелкой сошкѣ. Кандальная недалеко, и ссыльно-каторжные подлежатъ тѣлеснымъ наказаніямъ.

— Я пойду вмѣстѣ съ вами! — говоритъ Э.

И эта маленькая женщина какъ-то вся пугливо сжимается, словно ужасъ ее охватываетъ, вотъ-вотъ сейчасъ ударять.

И передъ постороннимъ человѣкомъ его въ неловкое положеніе ставить не хочется. Она деликатна по природѣ, деликатна до безконечности. И за него она боится.

— Мнѣ нужно тебѣ сказать два слова! — старается она его отозвать въ сторону.

— Вѣчно у тебя секреты. Послѣ скажешь.

Даже зло беретъ:

— „Вѣдь за тебя же бояться! Какъ ты этого понять не хочешь!“

— Молодъ еще, никакъ понять не можетъ, что онъ уже ссыльно-каторжный! — какъ объяснялъ мнѣ одинъ старый служащій.

Стараяешься уже прийти къ ней на помощь:

— Знаете ли, я лучше одинъ пойду, мнѣ къ такому-то еще зайти надо.

— Вотъ и отлично, и я къ нему зайду.

Наконецъ она кое-какъ оттаскиваетъ его въ сторону, что-то быстро, быстро шепчетъ съ умоляющимъ видомъ, и онъ, немного покраснѣвъ, говоритъ:

— Знаете ли, я, дѣйствительно, потомъ одинъ приду... У меня тутъ еще дѣльце одно есть...

Слава Тебѣ, Господи!

Странную пару представляютъ они.

Онъ, способный, даже талантливый, но какъ-то поверхностно, все быстро схватываетъ, все быстро ему надоѣдаетъ, дилетантъ, считающій себя гениемъ. Онъ любитъ попозировать, порисоваться всѣмъ: стихами, рисунками, даже своимъ преступленіемъ. Онъ считаетъ себя человѣкомъ необыкновеннымъ и спокойно принимаетъ ту человѣческую жертву, которая ему приносится.

Она тихая, трепещущая, робкая, безконечно деликатная, скромная, словно не сознающая, въ своей деликатности и скромности, величія той жертвы, которую она приноситъ.

Онъ любитъ ее, но иногда капризничаетъ, „командуетъ“. Она думаетъ только о немъ, ухаживаетъ за нимъ, словно за тяжело больнымъ, и никогда никому не жалуется на долю, которая выпала ей.

Когда она говорить объ ихъ сахалинскомъ житьѣ, она старается счастливо улыбнуться. И эта „счастливая улыбка“ на блѣдномъ, печальномъ лицѣ, — словно слабый лучъ свѣта на мглистомъ, облачномъ осеннемъ небѣ.

Если разговоръ идетъ при немъ, а они неразлучны, эта женщина-ребенокъ смотритъ за нимъ, какъ за ребенкомъ, — она спѣшитъ взглянуть на него своими испуганными глазами, словно боится:

— Не замѣтилъ ли онъ, что ей тяжело?

Только разъ, да и то безъ него, у нея вырвалось слово, которое перевернуло мнѣ сердце.

Я привезъ ей поклонъ отъ корабельнаго инженера, — она изъ семьи моряковъ, — который зналъ ее маленькой.

— Кланяйтесь и ему отъ меня. Вы его увидите, а я... я вѣдь никогда.

Она спасла своего „жениха“.

Но стоитъ ли его жизнь такой жертвы?

И когда я пишу теперь объ этой мученицѣ, мнѣ стыдно за мою блѣдную прозу. Она стояла бы того могучаго стиха, которымъ написаны „Русскія женщины“.

— Это что за женщина?

— Сожительница ссыльно-каторжнаго! — презрительно говоритъ служащій.

— Здѣсь получилъ?

— Нѣтъ, изъ Россіи пришла. Гувернанткой она у него была. Семья-то за Г. пойти не захотѣла, а гувернантка пошла, подавала прошеніе, — разрѣшили въ видѣ исключенія. Ребенокъ у нихъ тутъ есть.

— А какъ живутъ?

— Какъ съ нимъ можно жить! Тфу, а не жизнь.

Этотъ Г. занималъ очень важное общественное положеніе. Онъ сосланъ за очень скверное преступленіе.

Каторга — ужасная вещь. Словно щипцы, которыми колятъ орѣхи. Она удивительно „раскусываетъ“ человѣка. Раскусить всю эту скорлупу, которая называется общественнымъ положеніемъ, и видѣть сразу, было ли какое-нибудь зерно, или одна труха.

Этотъ Г., какъ я уже говорилъ, удивительно пришелся въ каторгѣ „по мѣсту“.

Занимается мелкими мошенничествами, пьянствуетъ, — его любимое общество — каторжанинъ-грекъ, сосланный за грабежи, спе-

ціалисть по взлому кассъ, ничѣмъ другимъ въ своей жизни не занимавшійся.

„Сожительница“, пошедшая за нимъ на Сахалинъ, спасла Г. Безъ нея сидѣлъ бы онъ въ кандалной тюрьмѣ и, при его замашкахъ, натерпѣлся бы всего. Благодаря ей, онъ живетъ на свободѣ, своимъ домомъ, пьянствуетъ.

А она живетъ, всѣми презираемая „сожительница“, интеллигентная женщина, которой приходится проводить время въ обществѣ громилъ, за водкой повѣствующихъ о своихъ походахъ.

Живетъ и не жалуется.

— Пожалуйся! Бьетъ онъ ее, когда пьяный!

— У насъ была тутъ одна интеллигентная женщина, добровольно послѣдовавшая за мужемъ, Добрынина. Окончила гимназію она, — рассказывала мнѣ жена начальника округа въ селенѣ Рыковскомъ, — умерла, бѣдняжка, отъ воспаленія почекъ. На новое ихъ поселъе послали. Тамъ, въ землянкѣ, и умерла. Гдѣ же женщины такое вынести.

Знаете ли вы, что такое новое Сахалинское поселъе?

Кругомъ тайга, хвойная, мертвая сахалинская тайга. Молчаливая. Ни шороха ни звука. Только дятель нѣтъ-нѣтъ застучить, словно крышку гроба заколачиваютъ. Жутко, тихо. Вѣтеръ сбилъ въ колтуны вершины сосенъ.

Кому-то изъ гг. служащихъ показалось, что здѣсь хорошо будетъ устроить поселъе. Его назовутъ по имени и отчеству инициатора: какимъ-нибудь Петрово-Ивановскимъ или Аванасьево-Михайловскимъ.

Сюда, въ этотъ дѣвственный лѣсъ, пробираясь по валежнику, по тундрѣ, приходитъ партія поселенцевъ. Рѣдко съ пилами, — пилъ обыкновенно „не хватаетъ“. Съ топорами и съ веревками. Вотъ и все для борьбы съ тайгой.

Ночуютъ подъ открытымъ небомъ. Валяютъ деревья и мастерятъ землянки. Кой-какъ изъ стволовъ сколачиваютъ срубикъ, для теплоты обкладываютъ землей, въ видѣ крыши наваливаютъ валежникъ. И въ этихъ темныхъ берлогахъ спать, днемъ выхода на работу: выкорчевывать пни, поднимать новъ безъ лошадей, безъ сохъ, — одними заступами — мотыгами.

Разъ ударилъ мотыгой, — два вершка земли вскопнулъ, другой разъ — опять два вершка.

Такъ вершками отнимаютъ землю у тайги, медленно, медленно, нехотя раздвигается тайга для новаго поселъя.

Работа голодная.

Приѣдять паекъ поселенцы,—отправляютъ по очереди двоихъ въ постъ за пайками. Идутъ тѣ съ топорами, плутаютъ по тайгѣ, про-
рубаютъ себѣ въ чащѣ дорогу, валяютъ деревья въ быстрыхъ горныхъ
сахалинскихъ рѣкахъ, и по этимъ мостамъ переходятъ. Пока-то они
еще дойдутъ, пока пайки получаютъ, пока назадъ придутъ, половину
голоднаго пайковаго довольствія дорогой съѣдятъ, а тутъ жди.
Случается, недѣлю ягодами однѣми питаются и работаютъ до изне-
моженія, борются съ тайгой, а наборовшись за день, грязные, пот-
ные, мѣсяцами не мытые, валятся, какъ попало, въ темныхъ землян-
кахъ. Заболѣешь,—помощи ниоткуда. Лежи, выздоравливай или
умирай въ землянкѣ, гдѣ и дышать-то нечѣмъ.

Въ такой землянкѣ, на такомъ новомъ поселкѣ, и жила, и схва-
тила воспаленіе почекъ, и умерла несчастная Добрынина, интелли-
гентная женщина, приѣхавшая дѣлать каторгу съ мужемъ.

Какая жизнь, какая смерть...

Слава Богу, что на Сахалинѣ мало добровольно слѣдующихъ
интеллигентныхъ женщинъ.

При мнѣ въ Одессѣ отправлялась вслѣдъ за мужемъ, сослан-
нымъ за убійство во время ссоры, интеллигентная женщина.

Моряки — „добровольцы“ хлопотали, чтобъ устроить ее какъ можно
лучше. И каюту ей дали подальше отъ машины, чтобы спокойнѣй
было. И лонгшезъ кто-то на палубу изъ своей каюты вытащилъ:

— Это будетъ вамъ!

И было что-то въ этой заботливости и трогательное и печальное.

— Словно вы, господа, на казнь еѣ везете и послѣднія минуты
ей уладить хотите!

— А на что же мы еѣ веземъ?!

Уроженцы о. Сахалина.

Одно лицо, посѣтивъ постъ Корсаковский, на югѣ Сахалина,
захотѣло непременно увидѣть:

— Уроженца острова Сахалина.

Ему привели двадцатилѣтняго парня, и „лицо“ торжественно,
всемирно расцѣловало этого „уроженца“.

Я не знаю, что именно привело его въ такой восторгъ.

Онъ цѣловалъ, я полагаю, не этого несчастнаго парня,—онъ
цѣловалъ еще болѣе несчастную идею о „сахалинской колоніи“.

Передъ нимъ было живое олицетвореніе этой идеи,—свободный
житель Сахалина, не привезенный сюда, а здѣсь родившійся, здѣсь
выросшій.

Я видѣлъ много этихъ „живыхъ воплощеній идеи колонизаціи“. Я видѣлъ уроженцевъ о. Сахалина на свободѣ, видѣлъ ихъ въ послѣдственныхъ карцерахъ, видѣлъ въ тюрьмахъ отбывающими наказаніе за совершенныя преступленія, — и не скажу, чтобъ они приводили меня въ особый восторгъ.

Я рассказывалъ уже, какъ отыскивалъ палача Комлева, закончившаго уже свою дѣятельность, числящагося въ богадѣльщикахъ и пришедшаго въ постъ Александровскій „на заработокъ“, предвидѣвши казнь.

— А вонъ, ваше высокоблагородіе, — сказали мнѣ, — изволите видѣть на концѣ улицы махонькую избушку. Туда и отправляйтесь. Онъ тамъ у польки нанялся дѣтей нянчить. Вѣшать да за дѣтьми ходить, — больше ни на какую работу онъ, старый песъ, и не способенъ!

Въ маленькой избушкѣ возилась около печки рослая, здоровая баба! По угламъ пищали трое ребятишекъ.

— Посидите тутъ. Комлевъ съ самымъ махонькимъ въ фондъ (казенная лавка) пошелъ. Сейчасъ будетъ.

„Полька“, крестьянка Гродненской губерніи, отбываетъ еще каторгу.

Она пришла сюда, — бабы особенно не любятъ сознаваться въ преступленіи, — „по подозрѣнію въ убійствѣ мужа“.

— Потому и подозрѣніе упало, что меня за него силкомъ замужъ выдали, а за мной другой прихлестывалъ. Ну, на насъ и подумали, что мы „пришили“.

Въ каторгѣ она выучилась говорить, — не на русскомъ, а на каторжномъ языкѣ.

— Меня сюда послали, а съ которымъ я была слюбившись, слышно, въ Сибири. Вотъ и живу.

— А дѣти чьи? Изъ Россіи привезла?

— Зачѣмъ изъ Россіи. Дѣти — здѣшнія. Эти двое, старшенькія, отъ перваго сожителя. Поселенецъ онъ былъ, потомъ крестьянство получилъ, на материкъ ушелъ. А меньшенькій, котораго Комлевъ нянчить, — теперешняго сожителя. Кондитеръ онъ. Черезъ мѣсяцъ ему срокъ поселенчества кончается, крестьянство получить, тоже на материкъ уйдетъ.

— Ну, а вотъ этотъ отъ кого?

— Этотъ? А кто жъ его знаетъ!

— Ну, а когда кондитеръ твой на материкъ уйдетъ, тогда ты что жъ съ дѣтьми-то дѣлать будешь?

— А другого сожителя дадутъ.

Такъ „отбываетъ каторгу“ эта женщина, когда-то не вынесшая жизни съ нелюбимымъ мужемъ, и теперь переходящая отъ „сожителя“ къ „сожителю“ съ тупымъ, апатичнымъ видомъ.

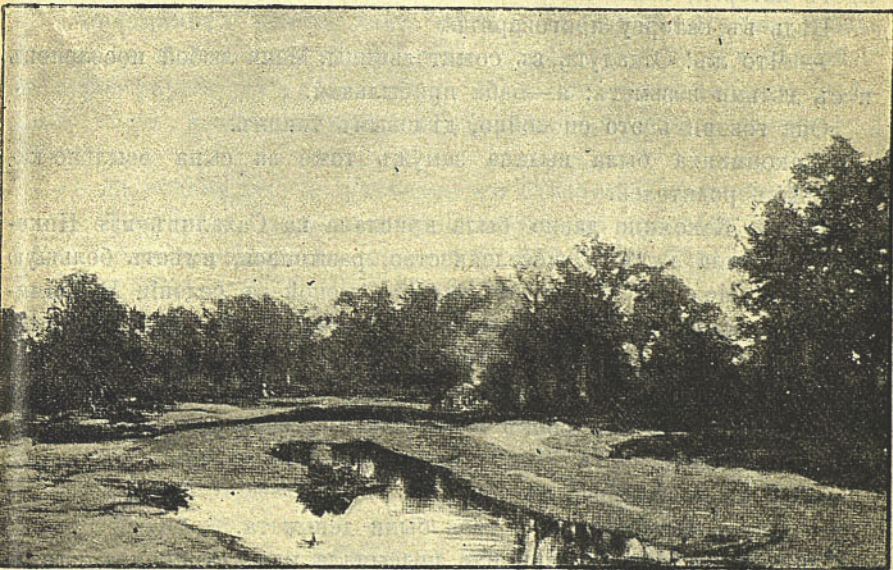
Въ это время въ избушку вошелъ Комлевъ.

На рукахъ, которыя привыкли драть и вѣшать, онъ бережно несъ годовалого ребенка.

Я отложилъ бесѣду съ нимъ до другого раза.

Палачъ съ ребенкомъ на рукахъ...

— Зайди ко мнѣ завтра... Только безъ ребенка!



Виды сахалинской природы.

Что будетъ потомъ съ этими дѣтьми, которыя родятся отъ сожителей, по окончаніи поселенчества уѣзжающихъ на материкъ, которыя родятся „кто его знаетъ отъ кого“ и растутъ здѣсь на рукахъ палача?

Знаменитость „поста Корсаковского“, и его „преlestница“ — „молодая Жакоминиха“.

Отецъ и мать Жакоминихи были ссыльно-каторжные. Она родилась на Сахалинѣ.

Она ничего другого не видала, кромѣ Сахалина. Говорить на томъ же языкѣ, на которомъ говорятъ въ кандалныхъ тюрьмахъ. И когда ей говорятъ, что есть другія страны, вовсе не похожія на Сахалинъ, она только съ недоумѣніемъ отвѣчаетъ:

— Да вѣдь и тамъ людей „пришиваютъ“ изъ-за денегъ!
Ее очень интересуется вопросъ:

— Правда, что въ Россіи не нужно снимать шапокъ передъ чиновниками?

И это кажется ей очень страннымъ.

Она знаетъ только два сорта людей: чиновниковъ и „шпанку“.

У нея двое дѣтей, которыхъ она очень любитъ и на которыхъ тратитъ все, что „добываетъ“.

Дѣтей она одѣваетъ, какъ „чиновничьихъ дѣтей“, — для себя ждетъ каторги, какъ чего-то самого обыденнаго.

Вѣдь въ каторгу приговорять!

— Что жъ! Отдадутъ въ сожителиницы. Меня любой поселенецъ и съ дѣтьми возьметъ: я—баба прибыльная.

Она говоритъ это спокойно, дѣловымъ тономъ.

Жакомина была выдана замужъ тоже за сына ссыльно-каторжныхъ родителей.

Семья Жакомини давно была прислана на Сахалинъ изъ Николаева, отбыла каторгу, поселенчество, разжилась, имѣетъ большую торговлю. Молодой Жакомини жилъ съ женой въ селеніи Владимировкѣ, держалъ лавку, охотился на соболей. Жили, по-сахалински, очень зажиточно. Но молодой бабѣ приглянулся поселенецъ. „Парень-ухватъ“, отчаянный, изъ „Ивановъ“, какъ зовутся удалцы каторги. Онъ кончилъ срокъ поселенчества, собрался на материкъ, и объ отъѣздѣ сказалъ Жакоминихѣ только наканунѣ.

— А меня возьмешь съ собой?

— Взялъ бы, если бы у тебя были деньжата.

Въ тотъ же день Жакоминиха подсыпала мужу стрихнина. Стрихиномъ травятъ соболей, и онъ есть въ домѣ каждого охотника

Преступленіе было совершено изумительно откровенно. Жакоминиха поднесла мужу отраву въ то время, какъ въ сосѣдней комнатѣ работники дожидались ихъ къ обѣду.

Когда Жакомини грохнулся на полъ, вбѣжали рабочіе и тутъ же около него подняли „поличное“—рюмку съ остатками порошка.

— Самъ отравился!—сразу объявила Жакоминиха.

И первое, что сдѣлала, сейчасъ же начала вынимать изъ сундука деньги.

Она была страшно изумлена, когда ее притянули къ слѣдствію, и объясняетъ это только интригой со стороны стариковъ Жакомини.

— Какъ же къ слѣдствію? По какому полному праву на материкъ не пускаютъ? Нешто есть свидѣтели, что я ему отраву подносила.

Это, какъ я уже говорилъ, глубочайшая увѣренность каторги, что, если только нѣтъ свидѣтелей-очевидцевъ, стоитъ „судиться не въ сознаніи“, и никто васъ обвинить не имѣетъ права. А если и обвинять, то неправильно, не по закону.

— Должны оставить въ подозрѣніи, а не осуждать!

Состоя подѣлствомъ, Жакоминиха совершила новое преступленіе,—опять „безъ свидѣтелей“

Однажды могила Жакомини была найдена разрытой. Въ крышкѣ гроба было прорублено отверстіе.

Собравшіеся „сахалинцы“ моментально узнали, чьихъ рукъ дѣло:

— Жакоминиха! Это ужъ всегда такъ дѣлается! Дѣло первое!

„Жакоминихѣ“ началъ часто сниться ея покойный мужъ. А если начинаетъ мерещиться убитый, надо разрыть могилу и посмотреть, не перевернулся ли онъ въ гробу. Если перевернулся, надо положить опять какъ слѣдуетъ, и убитый перестанетъ являться и мучить.

— Да почему жъ, непременно, это сдѣлала Жакоминиха?

— Помилуйте, да она съ малолѣтства это средство знаетъ. Съ дѣтства между убійцевъ!—совершенно резонно отвѣчаютъ служащіе на Сахалинѣ.

— Ну, и баба!—говорю какъ-то поселенцу.

— Да вѣдь оно, ваше высокоблагородіе, можетъ, по-вашему какъ иначе выходить. А по-нашему, по-корсаковскому, завсегда случится можетъ. Потому здѣсь въ каждомъ домѣ корешокъ борца имѣется...

Борецъ—ядовитое растеніе, растущее на южномъ Сахалинѣ.

— Каждый держитъ!

— Зачѣмъ же?

— Случаемъ—для себя, коли невтерпѣжъ будетъ. Случаемъ—для кого другого. Только что она не борцомъ, а трихниномъ отравила. Только и всего. А то бываетъ. Потому Сахалинѣ.

Викторъ Негель, молодой человѣкъ 20 лѣтъ, подслѣдственный арестантъ, содержавшійся въ карцерѣ Александровской кандалной тюрьмы, пожелалъ меня видѣть по какому-то дѣлу.

— Вы съ Негелемъ остерегайтесь оставаться наединѣ!—предостерегалъ меня начальникъ тюрьмы.

Для моихъ бесѣдъ съ арестантами предоставлялась тюремная канцелярія въ тѣ часы, когда въ ней не было занятій. Арестантъ входилъ одинъ, безъ конвойныхъ. Конвойные оставались ждать на дворѣ.

— Цапнетъ онъ васъ чѣмъ-нибудь, выпрыгнетъ въ окно на улицу и дастъ стрелкача: тамъ всегда толпятся поселенцы, дадутъ

возможность бѣжать. А ему больше ничего и не остается, какъ бѣжать. Это, батюшка мой, человѣкъ, который въ своей жизни еще дѣлъ натворить!

Негель, дѣйствительно, не внушалъ симпатіи. Въ канцелярію вошелъ юноша небольшого роста, плотный, коренастый. Злые раскосые глаза. Онъ былъ очень раздраженъ долгимъ сидѣніемъ въ карцерѣ. Необыкновенно ясно выраженная асимметрія лица. Узенькій низкій лобъ. Короткіе, густые, мелко вьющіеся волосы, жесткіе, какъ щетина.

Наша бесѣда съ нимъ длилась часа три, и, когда безпокоившійся начальникъ тюрьмы зашелъ въ канцелярію посмотреть, не случилось ли чего, онъ остолбенѣлъ отъ изумленія. Картина была престранная!

Негель ревѣлъ, какъ дитя. Я утѣшалъ его, отпаивалъ водой и, совершенно растерявшись, гладилъ по головѣ, какъ маленькаго ребенка.

— Что вы сдѣлали Негелю?! — только и нашелся спросить начальникъ тюрьмы.

Передавая свою просьбу, Негель разсказалъ всю свою жизнь. А она, дѣйствительно, такъ же ужасна, какъ отвратительно его преступленіе.

У него убили мать. Черезъ десять мѣсяцевъ послѣ этого онъ самъ совершилъ убійство.

Убилъ жену ссыльнаго М. Онъ былъ вхожъ какъ свой въ эту семью. Негель зашелъ къ нимъ, когда самого М. не было дома, а жена хлопотала по хозяйству.

— Гдѣ Иванъ Ивановичъ?—спросилъ Негель.

— А тебѣ какое дѣло!—будто бы отвѣтила ему рѣзко М.

Негель схватилъ желѣзную кочергу и началъ ею бить несчастную женщину по головѣ. Это было, дѣйствительно, звѣрское убійство. Негель продолжалъ ее бить и мертвую. Билъ съ остервененіемъ: лица не было, зубы были забиты ей въ горло.

Покончивъ съ убійствомъ, онъ убѣжалъ, вымылся, переодѣлся и, когда убійство было открыто, прибѣжалъ на мѣсто однимъ изъ первыхъ.

Пока составляли протоколъ, Негель няньчился и игралъ съ маленькими дѣтьми только что убитой имъ женщины,—ихъ не было при убійствѣ: они были въ гостяхъ у сосѣдей.

Негель больше всѣхъ высказывалъ сожалѣнія, ужасался, негодовалъ на „злодѣя“ и даже указалъ на одного поселенца, какъ на убійцу.

— Зачѣмъ? Золъ ты на него былъ?

— Нѣтъ! А только это всегда такъ дѣлается. Всегда другого „засыпать“, чтобъ съ себя подозрѣніе снять. Это ужъ такъ водится. За что онъ убилъ такъ звѣрски несчастную женщину?

Говорятъ, что Негель, выслѣдивъ, когда М. ушелъ изъ дома, явился съ гнусными намѣреніями.

Негель говоритъ, что покойная кокетничала съ нимъ и переплатила у него въ разное время 50 рублей.



Арестантскіе типы. Въ одиночной камерѣ.

Когда она дерзко отвѣтила ему, Негель сказалъ ей:

— Ты чего жъ на меня, какъ собака, лаешь? Деньги ни за что берешь, а лаешься? Только крутишь!

— А чего жъ и нѣтъ? Ты еще малолѣтокъ, тебя можно и окрутить.

— Я каторжника сынъ, — отвѣчалъ ей Негель, — меня не окрутишь!

М. будто бы расхохоталась, и Негель, не помня себя, началъ ее бить. Онъ пришелъ въ изступленіе, не помнитъ, долго ли билъ, и потомъ, придя къ трупу, съ удивленіемъ смотрѣлъ:

— Эхъ, я ее какъ!

— Вотъ я ее за что убилъ,—вовсе не такъ, здорово-живешь, а за 50 рублей!

— Да развѣ за 50 рублей убивать людей можно?

Лицо Негеля стало еще сумрачнѣе и мрачнѣе.

— А ни за что ни про что людей убивать разрѣшается? У меня мать убили. За что? Вонъ, онъ говорить, что убилъ ее, съ ней жимши. А я вамъ прямо скажу, что вретъ. Никакой коммерціи онъ съ ней не имѣлъ! Три копейки ему и цѣна-то вся! Вы посмотрите на него!

Его мать, 50-лѣтнюю женщину, зарѣзалъ его же учитель, поселенецъ Вайнштейнъ.

Вайнштейна приговорили на 4 года каторги. Это приводитъ Негеля въ бѣшенство:

— За мою мать на 4 года?! А вонъ безногаго за то, что женщину убилъ, на 20 лѣтъ! Что жъ это! Послѣ этого судъ—это просто вторыя карты!

Негель — уроженецъ Сахалина. Его отецъ и его мать, оба сосланные въ каторгу за убійства, встрѣтились въ Усть-Карѣ и вмѣстѣ попали на Сахалинъ.

Онъ не помнитъ отца, но воспоминанія о матери заставили его разрыдаться.

И такъ странно вздрагиваетъ и сжимается сердце, когда этотъ злобный, безжалостный убійца, рыдая, говорить:

— Мама! Моя мама!

— Когда убили мать, я озлился, я другой человѣкъ сталъ. Ага, значить, людей ни за что ни про что убивать можно! Хорошо же, такъ и будемъ знать!.. Онъ, Вайнштейнъ, и меня погубилъ. Мама изъ меня человѣка сдѣлать хотѣла. Если бы онъ ея не убилъ, я бы никогда не былъ каторжникомъ. Я при мамѣ совсѣмъ другой былъ. А теперь что я?—Каторжникъ. Приговорятъ лѣтъ на десять. А потомъ, Богъ дастъ, заслужу и безсрочную.

Его просьба ко мнѣ заключалась въ томъ, чтобы я попросилъ губернатора:

— Пусть меня переведутъ изъ Александровской тюрьмы въ другую. Здѣсь Вайнштейнъ сидитъ, и долженъ я его зарѣзать.

— Почему же „долженъ“?

— Долженъ. Меня въ одиночкѣ держать, а какъ въ общую пустать, я его сейчасъ „пришью“. А мнѣ еще въ безсрочную идти не хочется. Пусть меня съ нимъ въ одну тюрьму не сажаютъ! Мнѣ его не жаль, мнѣ себя жаль!

— Ну, хорошо! А той, которую ты убилъ, тебѣ не жаль?

— Часомъ. Мнѣ ее такъ бываетъ жаль, что плачу у себя въ одиночкѣ. Ее и дѣтей. А какъ вспомню, какъ мать у меня убили, всякая жалость къ людямъ отпадаетъ.

И его раскосые глаза, когда онъ говоритъ послѣднія слова, смотрятъ съ такой непримиримою злобою!..

Въ тойже Александровской тюрьмѣ я встрѣтился съ Габидуллиномъ-Латыней, молодымъ татаринѣмъ, тоже сыномъ ссыльно-каторжныхъ.

Онъ родился, выросъ, совершилъ преступленіе и отбываетъ наказаніе на Сахалинѣ.

— Въ тюрьмѣ-то еще лучше! Въ тюрьмѣ жрать даютъ, а на волѣ съ голода опухнешь!—посмѣивается онъ.

Его преступленіе, дѣйствительно, ужасно.

Съ двумя поселенцами, они втроемъ убили съ цѣлью грабежа жену одного арестанта, ея 14-лѣтнюю дочь и 6-лѣтняго сына.

Совершивъ убійство, Габидуллинъ и его соучастникъ убили своего третьяго товарища:

— Чтобъ при дѣлѣжѣ больше осталось!

Несчастную женщину, бывшую въ интересномъ положеніи, нашли съ разрѣзаннымъ животомъ.

— Это для чего?

— А это такъ! Посмотрѣть, какъ ребенокъ лежитъ!

И Габидуллинъ конфузливо улыбается, упоминая о своемъ любопытствѣ.

И на настойчивыя требованія каторги этотъ огромный, съ идиотскимъ лицомъ татаринъ, начинаетъ уродливо сгибаться въ три погибели, показывая, „какъ лежалъ ребенокъ“.

Каторга грохочетъ.

— Ну, другихъ тебѣ не жаль, хоть бы себя пожалѣлъ! Вѣдь вотъ въ тюрьму за это попалъ, въ каторгу!

— Такъ что жъ? Здѣсь, на Сахалинѣ, всѣ въ тюрьмѣ были.

И этотъ „уроженецъ Сахалина“ смотритъ на тюрьму, какъ на нѣчто неизбѣжное для всѣхъ и cadaго.

Нѣтъ сахалинской тюрьмы, гдѣ бы ни сидѣло „уроженца“.

30 лѣтъ слишкомъ на Сахалинѣ родятся дѣти, растутъ среди каторги, въ атмосферѣ крови и грязи, и съ самой колыбели обречены на каторгу.

Я думаю, что это большой грѣхъ противъ этихъ несчастныхъ.

Конецъ I-й части.

